

К 1134822

И. В.
Евдокимов



КОЛОКОЛА



БИБЛИОТЕКА «МОСКОВСКОГО РАБОЧЕГО»



И. В. Евдокимов



КОЛОКОЛА

РОМАНЫ И РАССКАЗЫ

К 1134822



МОСКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ
1989

**ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина**

Составление, предисловие и примечания
О. Ю. АВДЕЕВОЙ

Евдокимов И. В.

E15 Колокола: Романы и рассказы / Сост. О. Ю. Авдеева.— М.: Моск. рабочий, 1989.— 736 с.— (Библиотека «Московского рабочего»).

В ряду возвращаемых нашей литературе имен достойное место должно занять и имя Ивана Васильевича Евдокимова (1887—1941).

Эта книга — первая полная публикация его основных произведений после долгих лет забвения. В книгу включен главный труд писателя — роман «Колокола», сюда вошли и роман «Чистые пруды» и рассказы.

Перестройка связана с новым взглядом на отечественную историю, особенно историю русских революций. В связи с этим особый интерес представляет роман «Колокола» — эпическое полотно, запечатлевшее революцию 1905 года, революционную ситуацию в России, настроения ее верхов и низов. В «Колоколах» подняты далекие друг от друга пласты жизни — рабочая слободка и дворянская семья, бунтующие крестьяне и помещичья усадьба, революционное подполье и собрания черносотенцев.

Произведения Евдокимова отличаются художественной смелостью и глубокой культурой.

4702010201—175
E—M172(03)—89 Без объявл.

ББК 84P7

ISBN 5—239—00537—0

© Составитель, автор предисловия
и примечаний О. Ю. Авдеева, 1989

«РЕВОЛЮЦИЯ ДЕЛАЕТСЯ НЕ ПО ТРАФАРЕТУ...»

*(Судьба И. В. Евдокимова в зеркале
его литературного дневника)*

В бюллетене Государственного издательства за 1927 г., где приводились статистические данные о популярности книг и их авторов, рядом с Горьким, Бабелем, Гладковым, Леоновым, Зошенко было названо и почти неизвестное современному читателю имя — Иван Васильевич Евдокимов. Во второй половине 1920-х гг. книги Евдокимова пользовались большим успехом. Издания романа «Колокола» следовали одно за другим (роман переиздавался в те годы девять раз), было выпущено четырехтомное собрание его сочинений.

Литературная биография Евдокимова была трудной. Она началась, несмотря на длинную предысторию, в 1925 г. и, по существу, в 20-е же годы кончилась. Это был настоящий, хотя и короткий взлет. Не было вины Евдокимова в том, что он не имел продолжения. «Я хочу писать о любви, о смерти, о радости жизни, но ведь нельзя эти темы уместить в план пятилетки, — писал Евдокимов. — Опускаются руки... Лучше бы я был сторожем на рыболовном затоне»¹. Уцелев в годы репрессий, он продолжал работать до самой своей смерти, но не был уже тем Евдокимовым, который поразил читателей 20-х годов художественной смелостью и глубокой культурой. Теперь, когда многочисленные пробелы в истории советской литературы постепенно начинают заполняться, вместе с книгами Андрея Платонова и Ивана Катаева, которые так же, как и Евдокимов, были чле-

¹ В статье использованы материалы, хранящиеся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (ф. 198), Отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького (ф. 82, 43 единицы хранения). Основная часть архива И. В. Евдокимова хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ф. 1246, 814 единиц хранения). В ЦГАЛИ находятся и его дневники (1907—1941 гг.), которые являются основным источником для изучения биографии и творческого пути Евдокимова (ф. 1246, оп. 3, ед. хр. 112--157).

нами московского литературного объединения «Перевал», должны вернуться к читателю и лучшие книги этого забытого ныне писателя.

Иван Васильевич Евдокимов (1887—1941) детство свое провел в Кронштадте, где его отец служил боцманматом-фельдфебелем, а с восьми лет жил в Вологодской губернии, на берегу Кубенского озера. О родителях, их необычном «деревенском романе» Евдокимов подробно рассказал в автобиографии. Отец — сильный, волевой, способный человек, только во флоте научившийся грамоте, мечтал об образовании для своих детей. Но младший, любимый сын — будущий писатель — учился через пень колоду и в земской школе, и в двухклассном министерском училище, долго не находил своего места в жизни, хоть и перепробовал несколько занятий: пытался торговать, работал писцом, телеграфистом, статистиком. Только в 1911 г. — двадцати четырех лет от роду — Евдокимов сдал экзамены в Вологодской гимназии, получил аттестат зрелости и поступил в Петербургский университет.

При всех метаниях любовь к книге, интерес к литературе проявились рано, еще в земской школе. Писать начал с двенадцати лет. В 1908 г. в вологодской газете «Север» была опубликована первая большая статья Евдокимова, посвященная книге Леонида Андреева «Мои записки».

В Петербурге Евдокимов начал думать о поэтическом поприще. В сборнике «Чемпионат поэтов» (1913), который в послесловии был назван молодыми авторами «поэтической потасункой на символической могиле скорбника Брюсова», было помещено стихотворение Евдокимова «Горилла» — подражание одновременно и Валерию Брюсову, и Игорю Северянину. В том же году вышла небольшая поэтическая книжка Евдокимова «Городские смены», часть тиража которой он, оскорбленный резкой критикой, бросил в Неву. Евдокимов продолжал писать стихи и позже, в его архиве сохранился рукописный стихотворный сборник «Осень 1921 года», в котором преобладают мотивы одиночества, неприятия провинциальной пошлости. Судя по дневниковым записям, желание публиковать стихи остыло после разговоров с Брюсовым, с которым он часто встречался в 1922 г., во время подготовки собрания сочинений Пушкина.

В Петербурге литературоведческие и искусствоведческие статьи Евдокимова печатались в журналах «Русский библиофил», «Старые годы», «Современник». Попытка опубликовать прозу в то время не удалась. «В 15-м году писал рассказы один

за другим, но получил отказ от Измайлова — упал духом», — вспоминал Евдокимов.

Молодой писатель находился на перекрестке самых разных литературных влияний: «Помню, с каким обожанием я взглядывал на Б. Зайцева, только что были прочитаны его «Волки», он был для мечтательного юноши каким-то полубогом». Одну из статей Евдокимова редактировал А. Н. Тихонов-Серебров, друг М. Горького. Имя Горького много значило для Ивана Васильевича, его рассказ в автобиографии об увлечении книгами Горького — не только дань литературным пристрастиям того времени. «Начал свою литературную деятельность прямым подражанием Горькому: многие тетради заполнены перепевами горьковских мотивов и тем», — писал Евдокимов в 1927 г. Он вспоминал о встрече с Горьким сдержанно: «Случайно был им обласкан». Письма же 1915 г. полны восторженных рассказов о сближении с редакцией журнала «Современник», о знакомстве с печатавшимися там беллетристами, наконец, о встрече с Горьким, который предложил Евдокимову чаще сотрудничать в журнале. Это было огромное событие для скромного студента, которое, впрочем, ничего не изменило в его жизни: Евдокимов не сумел написать статью, заказанную Горьким, был занят университетскими делами.

Вскоре произошла семейная драма: разорившийся отец оказался в долговой тюрьме. Осенью 1915 г. Ивану Васильевичу пришлось бросить университет и вернуться в Вологду. Здесь Евдокимов, работавший конторщиком на железной дороге, встретил революционный, 1917-й год. «Шел я по Кирилловской улице в Вологде в этот день, была слякоть. Только что радио на площади приняло по воздуху о победе большевиков, — вспоминал он. — На углу я встретил какого-то солдата, который в страшной ненависти прошептал мне: «Б-буржуй». Я опешил, остановился, засмеялся, окликнул его и сказал: «Слушай, ты ошибся». Он, крадучись, подошел ко мне со злыми глазами (я даже встухнул в душе) — и вдруг мы оба засмеялись... Я сам не верил в длительную победу: мне казалось — это на неделю. Тогда было все непонятно и неясно».

Начались трудные дни — голодные и холодные. В 1918 г. Евдокимов перебрался в Вологодский молочно-хозяйственный институт, расположенный в пятнадцати верстах от города. Он заведовал библиотекой, читал лекции, организовал школу в деревне Агафоново, много занимался общественной работой. И все же позже он вспоминал об этих годах, как о напрасно потерянных: «Я так плохо жил, что весь 19-й и почти весь 20-й год находился в каком-то отчаянии».

Однако не так уж мало было сделано за это время. В серии «Памятники художественной культуры на Севере» вышли две книги Евдокимова: «Вологодские стенные росписи» и «Два памятника зодчества в Вологде». Итогом десятилетних разысканий в области истории Вологодского края, иконописи (Евдокимов составил словарь северных иконописцев), архитектуры, прикладного искусства стала книга «Север в истории русского искусства» (1921). Молодой искусствовед, доказывавший, что в «соборном творчестве» русский народ достиг небывалых высот, с горечью признавал: «Давно уже известно — нет и не было у русских людей соперников в умении разрушать свою художественную культуру, кромсать, коверкать с самым благодушным видом, а потом с безмятежным сознанием забывать о содеянном зле». Его слова об опасности разрушительных тенденций для русской культуры оказались пророческими. И относились они не только к тем, кто громил церкви и жег иконы. Сам Евдокимов, великолепный знаток русской иконописи, оказавшись в столице, почувствовал себя «автором немодных книг» и никогда уже не решился вернуться к этой столь им любимой теме.

В августе 1922 г. жизнь Евдокимова круто изменилась. Он переехал в Москву, началась его работа в Государственном издательстве. Он стал техническим редактором книг по искусству. Художники К. Ф. Юон, Н. П. Ульянов, В. Д. Фалилеев, И. Н. Павлов, скульптор Н. А. Андреев, архитектор А. В. Щусев, искусствоведы П. П. Муратов и А. А. Сидоров — вот постоянный круг общения Евдокимова. Он вошел в Общество по изучению русской усадьбы, которым руководил талантливый, рано погибший искусствовед В. Г. Згура. В 1923 г. одну за другой Евдокимов написал книги о В. Е. Борисове-Мусатове, М. А. Врубеле, книгу о русской игрушке, текст к альбому гравюр И. Н. Павлова «Провинция». Делались эти книги для заработка, задумывались как компилятивные, но работал он добросовестно, встречался с современниками художников, собрал немало новых сведений, писал темпераментно, интересно. Книги получились.

А вот с собственным творчеством дело было сложнее. Шла постоянная внутренняя работа, Евдокимов много читал, половина заработанных миллионов (в соответствии с тогдашним денежным курсом) оставалась в книжных лавках. Появлялось немало замыслов: написать роман «Тараканьи бега», составить книжки рассказов, статей. Но поначалу его литературная деятельность в Москве ограничивалась только публикацией рецензий в журналах «Печать и революция», «Среди коллекционеров».

Чтобы работа сдвинулась с мертвой точки, нужен был толчок. И он был получен. В октябре 1923 г., во время очередного пере-

гряхивания кадров в Госиздате, Евдокимова, как человека беспокорного, открыто заявлявшего о «фальшивой атмосфере» в издательстве, хотели уволить. «Небрежность, игра в генералов, интриги, времяпровождение в разговорах, подавление всякой инициативы, равнодушие к книге», «везде и всюду бумаги», «чисто чиновничий, убыточный аппарат», «сойдет — вот общий лозунг» — такого рода язвительными замечаниями о деятельности Госиздата пестрит его дневник. Однако бюрократическая машина не сработала, и неожиданно для себя он не только не был уволен, но и попал в лучший отдел издательства — литературно-художественный, впервые оказался, как заметил сам Евдокимов, «в демократической литературной среде». Он познакомился с С. А. Есениным, С. А. Клычковым, Л. Н. Сейфуллиной, В. В. Казиным, Вс. В. Ивановым, Л. М. Леоновым, В. Я. Шишковым и скоро стал среди писателей своим человеком.

В это решающее для Евдокимова время в его жизнь вошли Д. А. Фурманов и А. К. Воронский. Завязались два главных узла его судьбы, возникли две дружбы, две любви, многое определившие в его творческом пути.

19 февраля 1924 г. Евдокимов писал в дневнике: «Умираю от зависти к поэтам и беллетристам. Грустно сижу на службе и наблюдаю, как катится мимо меня голодный, оборванный, довольно жалкий, но печатающийся поток беллетристов и поэтов». Наступило время, когда он уже не мог не писать. Быстро были завершены рассказ «История об одном яблоке», повесть «Расстрел», шла работа над романом «Шеломово озеро». Эти вещи остались неопубликованными, главы романа, отправленные на конкурс журнала «Красная нива» (август 1924 г.), не были замечены. Дневник рассказывает о «ежедневных прогулках по ночным улицам со слезами на глазах», о «пробах, тоске, муке душевной», о «безумной карусели» поисков тем, стиля, формы.

В декабре 1924 г. Евдокимов написал повесть «Сиверко», которая вскоре была напечатана в журнале «Октябрь». Это был незамысловатый рассказ о жизни провинциального городка, о двух семьях — рабочей и буржуазной, о двух мальчишках — Кенке и Горьке, Акиндине и Игоре, принадлежавших к разным слоям общества, их детской привязанности и о том, как развела их жизнь. «Всюду чувствуется несомненная даровитость автора и его умение наблюдать», — писал об этой повести Горький.

В апреле 1925 г. у Евдокимова родился замысел большой вещи, которой суждено было стать его лучшей книгой: «Весь вечер обдумывал повесть из эпохи 1905 года, из времен моей романтической молодости, множество выплывало лиц, но сде-

лалось страшно, потому что полотно сразу развернулось на много печатных листов, и пришел герой — Егор Яблоков». Сначала роман так и предполагалось назвать — «Егор Яблоков», позже — «Пятый год». Но первый вариант названия суживал действие, во втором автору виделась ненужная тенденциозность. Роман был назван «Колокола».

Разный колокольный звон звучит в романе — «тяжелые колокола песни» на рабочей маевке, «звнящий колокольным звоном воздух», который вдыхают арестанты по дороге в суд, звеньяющие «колокольцами жандармские шпоры», «гудящий, звнящий небесный колокол» во время жестокого обстрела рабочих баррикад и, наконец, «погребальный звон разгрома революции», услышанный Егором Яблоковым по дороге в Сибирь. Звучание самого романа можно уподобить звону колокола в память первой русской революции.

Евдокимов поражал читателей великолепным знанием поднятого им материала. А. С. Серафимович говорил ему: «Вот то место, где Егорка убивает Просвирнина. Я сразу почувствовал, что пишет человек не со стороны, а свой, глубоко знающий и язык рабочий, и обстановку». Д. Бедный, прочитав главу «Венский шик», спросил: «Описываете виденное?» Евдокимов записал в дневнике, что он «наврал» Д. Бедному, ответив утвердительно, на самом деле — «все выдуманно». Это и так и не так.

Провинциальную Россию, описанную в «Колоколах», Евдокимов знал и любил. Если в первые годы жизни в Москве он был счастлив, что удалось вырваться из удушливой, тесной для него Вологды, то потом его взгляд все чаще стал обращаться к родным местам: «Никогда прежде у меня не было такого чувства России с ее огромными расстояниями, как теперь, здесь в Москве. И я сладостно жмурюсь, закрываю глаза и переживаю к этим просторам какую-то новую, просветленную любовь. Долгие годы житья в провинции сказались на душевной привязанности к провинциальной России».

В основе рассказа о рабочей слободке лежал личный опыт жизни на окраине Вологды — на Кобылке. Не понаслышке писал Евдокимов и о революционном движении. «Около 1905 г. в Вологде была довольно обширная колония политических ссыльных: либералы, сионисты, социалисты, революционеры, народники, социал-демократы, бундовцы. У каждой из политических группировок были кружки, составляющиеся, преимущественно, из учащейся молодежи», — рассказывал Евдокимов.

Шестнадцатилетним юношей он вошел в кружок, которым руководил Н. П. Брюханов (после Октябрьской революции — крупный государственный деятель, нарком продовольствия,

финансов, член ЦИК СССР). Евдокимов вскоре стал «организатором» железнодорожного района и Моршанского пехотного полка, вел кружки моек с водочного завода, мыловаров, кожевников, выбирался в подпольный районный комитет под именем товарища Ивана. В 1905 г. состоял в революционной организации Черняевских курсов в Петербурге, во время манифестации 18 октября 1905 г., которая была расстреляна генералом Мином, нес знамя.

Революционная работа была важнейшей частью жизни молодого человека. Так было до 1908 г., когда пришло разочарование, «выдохся пыл, который владел мною лет пять», — вспоминал Евдокимов. Он навсегда отошел от партийной работы. «Ни одна партийная группировка мне не близка, — писал Иван Васильевич в 1924 г. — Но к большевикам я ближе, чем ко всем партиям, вместе и порознь взятым, а главное — ненавижу мещанина всей душой».

Позже некоторые критики находили, что отдельные части романа соединены механически. Воронский предложил называть «Колокола» не романом, а «хроникой 900-х годов». Евдокимов же справедливо считал, что нашел в романе нетрадиционное композиционное решение, при котором не нужен «главный» герой. «Там герой эпоха», — подчеркивал он. В «Колоколах» подняты далекие друг от друга пласты жизни: рабочая слободка и дворянская семья, бунтующие крестьяне и помещичья усадьба, революционное подполье и собрания черносотенцев. «Широчайшее полотно, где без героичничанья и сюсюкания даны дни 905 года» — такова была обобщающая оценка Фурманова.

В романе десятки действующих лиц. Не всех автору удалось показать с одинаковой отчетливостью. Евдокимову порой не хватало глубокого проникновения в психологию героев. Сам он с горькой иронией писал: «Я какой-то внешний описыватель мира. Но я не хочу этого внешнего, описательного, мне этого мало, меня не удовлетворяет сеть, которую я тку». Он чувствовал, что как писатель он сильнее там, где есть яркие внешние характеристики или действие. Фурманов считал образцом достоверности «романтические и реальные» главы о побеге Алеши и Лии. Образы, которые, по замыслу Евдокимова, должны были занять центральное место (Савва, товарищ Иван, да и Егор Яблоков), не всегда конкретны, зато второстепенные герои — буян и пьяница Просвирнин, горничная Пелагея, городской Сидор Мушка, церковный сторож Никита — кладбищенский философ со своеобразной присказкой: «Мое дело сторона», — изображаются убедительно.

Сторож Никита, постоянный посетитель винных погребов, за двугривенный позволяет устраивать в своей сторожке нелегальные собрания. Он не верит в серьезность устремлений подпольщиков: «Ребята в надежде живут: получшеет жизнь маленько, мое дело сторона! Да где уж получшеет? Хуже бы не было. Да и отчего она получшеет, когда те же человеки на земле жить будут? Человек-то, мое дело сторона, его хлебом не корми, дай ему всё одному, а другому ничего». После разгрома восставших рабочих тот же Никита, ворча, помогает скрыться руководителю подпольщиков товарищу Ивану. И именно Никите приходится хоронить и оплакивать расстрелянных рабочих, которых десятками привозят ночью на кладбище, чтобы к утру и следа не осталось от утопанных пьяными солдатами могил.

Евдокимов говорил, что озеро Чарыма тоже герой романа. «Живым» называл Чарыму Фурманов. Запоминающийся художественный образ, пронизывающий всю книгу, всплесками возникает в самых неожиданных местах. Он так же неназойлив и естествен, как весь образный строй романа. В дневнике Евдокимова записаны слова писателя Ю. Л. Слезкина: «У нас у всех истерика, а у тебя полное спокойствие. Будто утром вышел на берег большого озера. Такая свежесть, тишина». Евдокимов сознательно стремился к простоте, он ставил перед собой цель устранить деланность, удержаться от внешних эффектов. «Лишь бы не было ничего ходульного,— писал он,— лишь бы читатель не чувствовал сочинительства, а воспринимал все как дневник или мемуары».

Видевший следы книжности и вычурности в языке многих современных ему писателей, Евдокимов избегал стилизации, пытался опростить язык, вернуться к полнокровной и богатой народной речи. Но порой он злоупотреблял местными выражениями. Он рассказывал в дневнике, что многие из его первых читателей были заинтригованы словами «журжак», «подчеревок», «кафля», «шаяла» и проч. Горький писал Евдокимову 13 мая 1926 г.: «В Орле не все говорят вятскими словами, а в Новгороде астраханец не будет понят... У нас в каждой губернии говорят по-своему, но писать надобно русским литературным языком».

Порой свои приемы, находки Евдокимов повторял. Любая выразительная деталь (например, «вымя подбородка» — характерная черта облика ротмистра Пышкина) при многократном употреблении надоедает, стирается. Горький отметил и другой, по его мнению, главный недостаток романа — длинноты, «сугробы слов», которые нагромождает автор. «Боритесь с собствен-

ным недоверием к вашей силе, будьте скупее, не пустословьте! — писал Горький. — Читатель — не дурак, он Вас почувствует, когда Вы ему покажете себя таким, каков Вы есть, — человеком, который одержим желанием показать людям горькую, страшную, смешную, жалкую и всяческую правду, как Вы ее видите, чувствуете».

Роман был принят критиками с интересом, но особенно высокую оценку ему дал Д. А. Фурманов. Горький был прав, когда писал о неуверенности Евдокимова в своих силах. Увлекающийся, прямолинейный, мнительный, с резкими перепадами настроений, всегда неудовлетворенный собой, Иван Васильевич старался выглядеть уверенным, даже самоуверенным. Но на деле было иное: спокойная внешняя маска, а сердце, «как у затравленного зверя». Поддержка Фурманова оказывала живительное действие. Фурманову, виднейшему деятелю Московской ассоциации пролетарских писателей, боровшемуся против кастовой замкнутости этой организации, понравилась повесть «попутчика» Евдокимова «Сиверко». Он настоял на ее немедленной публикации в Госиздате. С этого момента Евдокимов обрел защитника и помощника.

В сентябре 1925 г. он читал Фурманову «Колокола». Вечер за вечером просиживали они в редакции, гуляли, разговоры, в которых Евдокимов проверял свои творческие замыслы, продолжались часами. «Д. А. Фурманов несколько раз сегодня плакал во время чтения, и когда я кончил, в величайшем возбуждении заявил, что я написал первую подлинную вещь о революции», — писал Евдокимов в дневнике. Он запомнил слова Фурманова: «Я плакал три раза в жизни. Первый — на моих глазах погиб отец красноармейцев; во-вторых — на похоронах Ильича и в третий — над многими страницами «Колоколов». Фурманов бросался на выручку Евдокимову во всех издательских конфликтах, он отвез главы «Колоколов» в «Правду» и «Известия» с просьбой напечатать их вместо его собственных очерков, с его восторженных слов литературная Москва узнала о появлении нового романа.

Фурманов собирался писать о «Колоколах» большую статью, но не успел (сохранились только заготовки к ней). Помешала болезнь. В марте 1926 г. Евдокимов находился среди близких друзей, дежуривших у постели умирающего Фурманова. Он писал и некролог для «Красной нови», писал трудно, потому что не считал Фурманова крупным писателем. Не сразу осознал Евдокимов всю невозполнимость потери, но воспоминания о Фурманове прошли через всю его жизнь, из года в год повторялся в дневнике стон: «Незабвенный Митряй!» С таким безого-

ворочным признанием его таланта, с такой бескорыстной любовью Евдокимову уже не пришлось больше встретиться.

Иначе складывались отношения с А. К. Воронским, редактором журнала «Красная новь», которого справедливо называли «Иваном Калитой русской литературы». Ему, старому революционеру-подпольщику, удалось объединить вокруг журнала лучшие литературные силы страны. С первого дня знакомства с Воронским в дневнике Евдокимова появляются записи: «мой кумир», «мой магнит», «моя любовь». Он подчеркивал, что Воронскому удалось создать вокруг себя «кристально чистый воздух порядочности». Воронскому, который был для него высшим авторитетом (Евдокимов называл его «Белинский наших дней»), он и отнес роман «Колокола». Евдокимов считал для себя честью публикацию в «Красной нови», в популярнейшем для своего времени журнале. Роман Воронскому понравился, вопрос о его печатании скоро был решен. И все же свое чувство к Воронскому Евдокимов называл «странный», «неразделенной» любовью. Воронский относился к Евдокимову сдержанно, время их сближения было впереди.

Летом 1926 г. Евдокимов бросил службу в Госиздате — «пустился в неведомое плавание свободного человека». Работа у него спорилась. В августе и сентябре, за полтора месяца, он написал три десятка рассказов. «Кончаю одно. Откладываю в сторону и начинаю другое, почти без помарок», — отмечал он в дневнике. Авторитетный критик 20-х гг. В. П. Полонский, чувствуя, что рассказы созданы на одном дыхании, говорил: «Вам все дается, видимо, легко. Как будто вы собрали кружок лиц — и непринужденно им рассказываете. У вас громадное воображение».

Рассказы из сборника «У Трифона на Корешках» — трагические. Изломанный медведем мальчик, конокрады, зараженная сифилисом деревня, казаки, рубящие головы красным, и красные, отправляющиеся «на охоту» за женщинами, — с неприглядными сторонами жизни сталкиваемся мы в них.

Воронский, прочитавший рассказы, впервые говорил с Евдокимовым равнодушно, «с возбуждением, даже с раздражением». Он не был согласен с позицией Евдокимова, но рассказы задели его за живое. «Неблагополучно у Вас в душе. Ваша фраза в рассказе «Казнь» — «мерзок человек» — проходит во всех рассказах. Глубокая безнадежность. Книга производит мрачное впечатление... Надо дать какой-то поворот винта. Вы, может быть, мучаетесь сами. Но мне, как читателю, зачем мучиться? Вы свихнулись...» — убеждал Воронский. Он и позже не раз замечал, что недостаток рассказов видит в том, что в них

нет «романтических покровов, которые, например, всегда, среди всех ужасов, он чувствует в Горьком». Но для своего журнала он отобрал именно те рассказы, которые больше всего критиковал: «Казнь», «Офицерские жены», «Кони». «Да их Главлит не пропустит, целые куски там надо выламывать», — говорил он, стараясь при этом опубликовать рассказы без купюр.

Евдокимов не уступал в этом споре. Его вывод был таков: «Революция делается не по трафарету, ее делают грешные и прекрасные люди. У меня нет ходуль и ходульных представлений. Жизнь — штука сложная, нелепая, заковыристая. Нельзя ее изображать в венце и бармах, она лоскутная, истерзанная, глубокое озеро, бездонное... Переделывать, даже после слов Воронского, не стану». И в то же время в следующих книгах Евдокимова уже нет такого обнаженного трагизма и «жуткой оголенности жизни», такого накала страсти и самораскрытия, которые придавали его рассказам подлинность, пугавшую критиков.

Юмористический цикл рассказов Евдокимов включил в сборники со скромными названиями «Проселки», «Овраги». «Люблю грешным делом посмеяться, — писал он, — материал сейчас богатейший для углубленного и резкого слова». Житейский опыт был у Ивана Васильевича большой, наблюдательность острая. В своей литературной работе он старался опираться на реальную действительность. Так, «Медведи» — изложение подлинного события, произошедшего в костромской глуши, «Воры 12-го полка» — переложение его собственной газетной заметки. И в юмористических рассказах писатель «рисовал по бытовой основе», которую прекрасно знал.

Московская жизнь Евдокимова начиналась в общежитии в Печатниковом переулке. Позже удалось переехать на Чистые пруды, где он отвоевал себе две комнатки в коммуналке. Жизнь шла, как он писал, «в обстановке шипящих примусов, в запахе коллектива, в харках, стуке сапог, громких голосов, пьяных криков». Да и «Правила общежития» ему пришлось писать не только юмористические — несколько лет он работал управдомом.

Евдокимов признавался, что учится у современных юмористов. Он много читал М. М. Зощенко, Е. Д. Зозулю, А. Зорича, В. Я. Шишкова. Он видел во многих рассказах Зощенко трагическую основу, считал, что, когда Зощенко показывает, как «в ванной живет человек, женится, родится ребенок, приезжает мать и т. д.», — это не только смешно, но и жутко. И сам он стремился к тому, чтобы после чтения его рассказов остава-

лось нечто большее, чем «легкий угар смеха». «Калейдоскопа не надо, надо мысль и здесь», — подчеркивал он.

Евдокимов писал, что сборник его рассказов можно было бы назвать «Правила общежития», потому что главную черту современной жизни он видел в ее регламентированности, которая, как паутина, опутывает всех и вся, лишая людей инициативы. Сам не раз оказывавшийся в унижительном положении «маленького человека», который не может ничего изменить, Евдокимов боялся этой связанности, охватившей общество, высмеивал ее в своих рассказах — смешных и вместе с тем грустных.

Иван Васильевич часто читал рассказы на литературных вечерах, в 1927 г. он иногда выступал по двадцать раз в месяц. Успех был большой. Но в журналы рассказы проходили с трудом. «В одном месте — половой проблемы не надо, в другом месте — массу не идеализировал», «со мной обращаются как с контрреволюционером», «дикая боязнь шуток, как будто от шутки погибнет Советская власть», — жаловался писатель. Самые острые его рассказы так и не были пропущены цензурой, остались неопубликованными.

Евдокимов говорил о своих книгах: «Я перекликался с прошлым из сегодня». Он и в самом деле много писал о дореволюционной России, но его уязвляла позиция критиков, видевших в нем только исторического романиста.

Весной 1927 г. возник замысел романа «Чистые пруды», обращенного к современности. Евдокимов предполагал написать «традиционный роман с общей интригой». Героиня романа Миля, Людмила Говоркова, вместе с мужем, офицером Григорием Засецким, переживает «зверскую и романтическую эпоху» революции и гражданской войны, бегство белой армии. Скитаясь по странам Европы, Миля попадает в Англию, расстается с патологически ревнивым Засецким и выходит замуж за угольного короля Оскара Эванса. Но, получив письмо брата-чекиста, она принимает решение вернуться в Москву, на Чистые пруды.

«В книге много моей души», — писал Евдокимов. Ему удалось многие страницы романа. Выразительны сцены пикника отчаявшихся офицеров, убийства красными солдатами старика свекра и его собаки, встречи Мили с «золотоглавым» в марсельском кабаке (прототипом был любимый Евдокимовым Сергей Есенин).

Однако исходная мысль, с которой началась работа над романом, была спорной. Евдокимов справедливо утверждал, что «главная рецензия — читательская», но при этом он упрощал стоящие перед ним задачи. Пытаясь запрограммировать успех, он ориентировался на ту часть читателей, которой нужен «яркий

и ясный примитивизм». Ему казалось возможной замена глубокого психологического рисунка «внешней жизнерадостной занимательностью». «Я не хочу писать для подлой, гнилой и фальшивой интеллигенции,— писал Евдокимов,— а только для масс, еще слабо развитых, мало знающих... Читатель устал от описаний гражданской войны как баталии, от производственных произведений Гладковых, ему нужна жизнь, любовь, таинственное в жизни, романтика, острый сюжет».

Роман был написан быстро. «Окончил его в 19 дн(ей) ужасной, нечеловеческой работы»,— отмечал Евдокимов. Может быть, поэтому ему не удалось избежать торопливости в развитии сюжета, в некоторых главах он сбивался на скороговорку. Евдокимов опирался на свое действительно богатое воображение, но жизни эмигрантов или английских буржуа он не знал. Недаром один из критиков ядовито заметил, что путешествие героев романа Евдокимова ограничилось Чистыми прудами, ошибочно принятыми им за Ламаншский пролив. В романе чувствуется некоторая манерность, есть и языковые огрехи.

Вокруг «Чистых прудов» разразилась настоящая критическая буря, которая, как считал Евдокимов, уничтожила его литературное имя, созданное успехом «Колоколов». Критики утверждали, что автор романа «Чистые пруды» перешел в «лагерь новобуржуазной литературы», книга была признана вредной, ее запретили приобретать для библиотек. Обвинения были единодушными — Евдокимова признали, в соответствии с жестокими штампами того времени, «апологетом английской буржуазии». Сейчас это кажется смешным. Критики, однако, нащупали характерную особенность романа, которую в то время не могли Евдокимову простить и которая делает книгу интересной для современного читателя. Скорее всего, это получилось у Евдокимова непреднамеренно, но к эксплуататору Эвансу, безнадежно влюбленному, читатель чувствовал не отвращение, как тому полагалось быть, а, скорее, жалость. Миля же, обманувшая и ограбившая старика, и ее брат Леонид Говорков, отправивший родителей в ГПУ, отнюдь не вызывали восхищения. Пытаясь наполнить роман «социальным дыханием эпохи», Евдокимов показал те стороны «новой морали», которые вытеснили естественные человеческие чувства — благодарность, верность, когда ради счастья человечества, великой, но далекой цели, допускались обман и предательство.

Сначала Евдокимов думал назвать роман «Срубы». В этом названии отразилась его мысль о том, как не просто разобраться современнику в неясных и незавершенных процессах своего времени. «Не вся ли наша жизнь такова,— писал он,— сделаны

только срубы, а крыши нет». Автору романа «Чистые пруды» удалось уловить реальные общественные противоречия 20-х гг., но осмыслить их до конца он не сумел, и трактовка его была двусмысленной.

Дневник Евдокимова зафиксировал важное событие в его жизни — 16 декабря 1926 г. он вошел в литературное объединение «Перевал», которое было создано А. К. Воронским из литературной молодежи в противовес организациям пролетарских писателей (МАПП, ВАПП), претендовавшим на гегемонию в литературе. Стараясь усилить группу, Воронский ввел в нее писателей старшего поколения — Н. Огнева и И. В. Евдокимова.

Ивана Васильевича ждала в «Перевале» «чертова уйма трудов»: он взял на себя всю черновую, организационную работу, секретарство, проводил заседания, вел борьбу за представительство в Федерации советских писателей, подготовил сборник критических статей перевальцев, выступал с докладами на перевальских вечерах. Он был автором устава и декларации «Перевала» (январь 1927 г.), подписанной шестьюдесятью писателями, среди которых были прозаики М. М. Пришвин, А. П. Платонов, И. И. Катаев, А. Г. Малышкин, А. А. Караваева, Б. А. Губер, поэты Н. Н. Зарудин, Н. И. Дементьев, М. С. Голодный, В. Ф. Наседкин, Д. Алтаузен, Д. Б. Кедрин, критики Д. А. Горбов, А. З. Лежнев и другие. Декларация подчеркивала, что, в отличие от ВАПП, «Перевал» «считает необходимым создание такого общественного мнения, которое бы не запугивало писателя», «способствовало свободному творческому соревнованию». Первостепенное значение придавалось вопросам преемственности культуры, овладения мастерством. Перевальцы выступали «против всяких попыток схематизации человека, против всякого упрощенчества, мертвящей стандартизации».

Евдокимов считал необходимым развернуть работу «Перевала» в провинции, создать Всесоюзное объединение рабоче-крестьянских писателей. Своей пропагандистской работой он способствовал росту группы и надеялся на создание большой организации, которой по силам будет бороться с вапповцами. «Всех заражаю и сам заражаюсь,— писал он.— Каждый день я вербую то одного, то другого писателя... У «Перевала» яркое и самобытное лицо. Если нас механически не задавят, то в текущем году литературная Россия разобьется на две половины: «Перевал» и ВАПП». Эти надежды Евдокимова не сбылись. «Перевал» как крупная литературная организация не состоялся потому, в частности, что ядро группы не разделяло этих устремлений Евдокимова.

Активность Евдокимова в «Перевале» помогла ему теснее сблизиться с Воронским. В феврале 1927 г. отмечался пятилетний юбилей «Красной нови». Евдокимов был в числе организаторов, «исходил сотни верст», чтобы подготовить приветственный адрес Воронскому. Теперь выступления и поездки Воронского и Евдокимова стали совместными. Но суть отношений осталась прежней: восторженное преклонение со стороны Евдокимова и холодноватое одобрение Воронского, который если и упоминал о нем в своих статьях, то лишь снисходительно называя «прочным попутчиком».

Положение самого Воронского в журнале давно было непрочным, Евдокимов, возмущаясь, называл травлю «Красной нови» «антисоветской работой коммунистов». В июне 1927 г. Воронский был окончательно отстранен от редакторства — он был связан с Троцким, входил в блок оппозиции.

Перевальцы, оставшиеся верными своему патрону, оказались под подозрением. «Участие в группе с политическими лидерами,— писал Евдокимов,— делает тебя каким-то объектом для посторонних целей, с литературой не связанных». Неприятие перевальцами ВАПП, поддержка литературной позиции Воронского истолковывались теперь как сочувствие оппозиции. К тому же Воронский был в глазах Евдокимова идеалистом, человеком в белых перчатках, не желающим видеть в своих противниках просто «спаянную группу жуликов», не прибегавшим к их методам борьбы — и потому обреченным.

Позже оставшиеся в живых участники группы (а из них немногие пережили 1937 г.) упрекали Евдокимова в измене, считали, что он испугался за свое литературное положение. Он и сам не отрицал того, что испугался. «Не хочу быть стрелцом»,— повторял он. Да и не один он ушел из группы, не выдержав напора вапповской критики.

Но была и другая причина. В дневнике Евдокимов рассказал об эпизоде, который ярко показывает издержки групповщины. Порой и Воронский действовал под влиянием полемического ожесточения. По его просьбе Евдокимов разыскал в Румянцевском музее материалы, компрометирующие поэта В. И. Нарбута. Крупный литературный функционер тех лет, сторонник ВАПП, Нарбут, как оказалось, ранние свои стихи публиковал в суворинском «Новом времени». Это была выигрышная карта в борьбе с ВАПП. (Кстати, через два года сам Евдокимов попадет в такую же, опасную по тем временам, историю. Некий бдительный читатель выяснит, что ранние статьи Евдокимова публиковались в кадетской газете «Эхо» и что сам он проходил гласным в Вологодскую городскую управу по спискам кадетов.)

Став заведующим издательством «Земля и фабрика», Нарбут прямо спросил Евдокимова о его сомнительных поисках. «Я уже научился лгать, я отказался,— писал Евдокимов,— но умные глаза этого человека бесповоротно решили мне не поверить». И все же договор на издание собрания сочинений Евдокимова в ЗИФе Нарбут подписал — Иван Васильевич был сражен его благородством. Это и послужило главным толчком к выходу из «Перевала». «Художнику не надо участвовать ни в какой группировке. Ему надо быть одному. Можно бороться с вредными направлениями в литературе (ваппизмом) и не состоять в противоположных группировках», — к такому выводу пришел Евдокимов. 20 октября 1927 г. он написал заявление о выходе из «Перевала». Произошел резкий разрыв и с Воронским и с перевальцами.

«Эта проклятая моя влюбленность в Воронского, длящаяся четыре года, ничего мне не принесла, кроме вреда», — пытался уверить себя Евдокимов. Но разрыв с Воронским не прошел даром, потому что это был отказ от лучшего в душе. Именно в нем была одна из причин (другая — смерть жены) последовавших затем творческих срывов.

В 1928—1931 гг. ЗИФ выпустил Собрание сочинений Евдокимова в четырех томах. Кроме рассказов в него вошла трилогия «Заозерье», над которой он работал с перерывами с 1926 г. В первых двух книгах «Заозерья» Евдокимов вернулся к прежним своим темам — дореволюционная деревня, барская усадьба, монастырь. Третья книга рассказывала о керенщине, победе большевиков, восстании крестьян против новой власти, гражданской войне. Книга пролежала в издательстве два года и была опубликована только после вмешательства А. В. Луначарского. «Прочитанный мною роман Евдокимова... доставил мне удовольствие при чтении,— писал Луначарский.— Он содержит в себе очень большой и сочный кусок революционной жизни... Такими свидетельствами швыряться нельзя».

Перестройке в деревне посвящена повесть «Зеленая роща» (1931). В повести «Дорога» (1932) он вновь обратился к своей первой книге «Сиверко», довел ее героев до первых послеоктябрьских лет. В романе «Архангельск» (1933) Евдокимов создал детективный сюжет, рассказывающий о раскрытии посольского заговора Локкарта и гражданской войне на Севере. В 1934 г. был опубликован автобиографический роман Евдокимова «Портрет Василия Мещерина».

Среди этих книг была и добротная проза, были и явные неудачи, но все они были подвергнуты одинаково уничтожающей критике. В 1928 г. генеральный секретарь РАПП Л. Л. Авер-

бах говорил на пленуме ассоциации: «Волна мещанства и обывательщины приходит вместе с многотомными собраниями сочинений Лидина, Малашкина, Евдокимова». Это было, может быть, самое мягкое из того, что Ивану Васильевичу пришлось выслушать и прочитать о себе в эти годы. Он метался, перерывы, когда работать не мог, становились все длиннее. «Сплошная пустота в душе», «нет интереса к работе, ни к себе, ни к чему», «душевный крах» — так он сам характеризовал свое состояние.

Тоску усугубляла, — об этом Евдокимов писал в дневнике, — обстановка в стране. «В тысячах учреждений заседают тысячи комиссий, конференций, съездов, льются ушатами пошлые слова, преуспевают подхалимы, сплошной сыск, поиски несуществующих врагов загораживают идеи, дело, работу, пустой и нелепый формализм убивает у людей инициативу, мысль, энергию. Полное моральное угнетение личности. Видимо, и это все делает мою жизнь и силы мои подорванными. Что тут можно написать свежего, радостного, поднимающего силы? Ничего. Все как-то томятся. Надо быть дико слепым, чтобы не заметить такого тяжелого состояния своей страны и не горевать об этом», — писал он 15 апреля 1929 г.

Евдокимов старался убедить себя, что положение небезнадежно: «Я же не могу не видеть, что руководители-коммунисты, настоящие, старые партийцы, старая гвардия, хотят, как уж умеют, сделать страну счастливее». Ему казалось, что нужно стремиться указывать им на ошибки, помогать исправлять их. Скоро он понял, что это было прекраснодушное и опасное заблуждение.

В октябре 1931 г. Евдокимов выступил на собрании Союза писателей в прениях по докладу рапповского критика А. П. Селивановского «От попутничества к союзничеству». Евдокимов хотел, кажется, немногого: он просил оставить за выступавшими «право на сомнение». Он оспаривал идею Селивановского, который разбил «попутчиков» на правых, скатившихся на буржуазные позиции и «впавших в маразм», и левых, «переходящих к социализму» и на этом пути создающих свои вершинные произведения. Он считал, что нет подъема у задерганного критикой (за «Вора» и «Унтиловск») Л. М. Леонова в «Соти» или у М. С. Шагинян в «Гидроцентрали» и нет упадка у Вс. В. Иванова, оставленного в «подозрительных попутчиках». «Попутчиков забили, заклевали, — говорил Евдокимов. — Если они не стали писать хуже, то они будут писать хуже». Кроме того, Евдокимов посмел выразить неверие в очередную демагогическую кампанию тех дней — «призыв ударников в литературу». Особое возмущение вызвало то, что «еретик» Евдокимов

не отказывался от своих слов. «Я никогда не лгал,— говорил он,— не имею к этому ни вкуса, ни желания, репутацией приятного человека не дорожу».

Не таким уж смелым человеком был Евдокимов, но именно он попытался высказать то, о чем думало большинство. Думало и молчало. Правда, молчание тоже было опасным: «Евдокимову сочувствует классовый враг»; «нужно выбрать, с кем идти — с пролетариатом или с Евдокимовым».

«Когда в Ленинграде выступил В. Каверин с реакционной речью, лучшая часть попутничества сама же разоблачила Каверина. У нас, в Москве, выступил И. Евдокимов с объективно реакционной речью, и наши попутчики обходят это молчанием»,— возмущался критик С. Рейзен. Он был не одинок. Евдокимову припомнили его «опусы по иконографии», его книги теперь называли «политически вредными», «антипартийными». «Пусть запомнят Евдокимовы...» — кричали ораторы. Критики так расходились, что А. А. Фадееву пришлось урезонивать их. «Книги писателя Евдокимова, выступившего на дискуссии ВССП с чужого голоса...— писал он в сентябре 1932 г.,— тоже были признаны «реакционными», что никак не соответствует действительности».

В начале 30-х гг. Евдокимов написал несколько пьес. Одна из них — «Последняя бабушка из Семигорья» была поставлена в 1934 г. в Малом театре. Конфликт этой социально-бытовой комедии заключается в том, что старуха Федосья не хочет смириться с разводом сына. Конец был счастливым: осознавшая свою ошибку бабка вступила в колхоз, где ей обещали платить трудовки за сказки. «Без сказок и жизнь не в жизнь!» — восклицал один из героев пьесы. Воистину так: Евдокимов и сочинил сказку. Правда, особенным успехом она не пользовалась.

Кроме того, им были написаны роман «Жар-птица» (1936), документальная повесть «Учительница Н. В. Покровская» (1937) о работе деревенской школы в Истринском районе, маленькая повесть «На солнце» (1937), которая имела подзаголовков «Из записок художника», но рассказывала не о художниках, а о рыбаках. Еще с 1927 г. Евдокимов мечтал описать свою «пагубную страсть», когда забывается всякая литературная работа, а «на уме червяки, раки, хлеб-тесто, закидываю удочку даже во сне». Страницы, посвященные рыбной ловле, и в самом деле интересны, но они связаны искусственным сюжетом, который несколько портит общее впечатление.

31 декабря 1938 г. Евдокимов радостно констатировал: «В этом году меня не разносили на части». Больше ни на что он уже не претендовал: «Только бы дали возможность работать

дальше, не умереть бы с голоду, не задушили бы редактора...» По сути дела, он отказался от художественного творчества. «Избрал себе биографический угол и буду в нем трудиться, как умею», — писал Евдокимов в 1939 г. Он вернулся в искусствоведение, написал биографические повести «В. И. Суриков» (1933, в переделанном виде — «Повесть о великом художнике», 1938), «Репин» (1940), «Левитан» (1940), «Крамской» (1941). Он сохранил в них живой язык, умение увлекательно рассказывать, но теперь он старался писать нужные для читателя книги, быть полезным, сознательно ограничивая себя теми темами, в которых можно было оставаться искренним. В последний год жизни (Евдокимов умер в августе 1941 г.) он работал над повестью о Лермонтове.

Вспомним и еще об одной работе Евдокимова, столь важной в его жизни. С 1907 г. и до конца своих дней он вел дневник сохранились сотни его дневниковых тетрадей. Иван Васильевич писал дневник только для себя, о мемуарной книге на дневниковой основе он мог только мечтать, понимая, что в 30-е гг. это была мечта неосуществимая времена для мемуаристов были более чем неблагоприятные. Особенно интересны дневниковые тетради, посвященные литературной жизни 20-х гг. Этот дневник — уникальное свидетельство московского летописца тоже должен найти своих исследователей и читателей.

Словами из дневника, заветной мыслью Ивана Васильевича Евдокимова, согревавшей его в самые трудные годы, и хочется закончить короткий рассказ о его судьбе: «Как меня ни отлучают от церкви, а я все этой церкви самый преданный сын. Пускай не признают, ругают, издеваются, а до кого-то мои книги доходят, кого-то радуют, волнуют...»

О. Ю. АВДЕЕВА





АВТОБИОГРАФИЯ

Отец и мать мои — уроженцы Северного края. В сорока верстах от Вологды, на берегу Кубенского озера, расположились по соседству две деревни — Котлово и Никулинское. Малоземелье, суглинок, жалкие покосы по оврагам и на болотах... Небольшие эти деревни были очень бедными. Но в полуверсте находится Кубенское озеро: шестьдесят три версты длиной и четырнадцать шириной, рыбное и ловучее. Рыбацкий промысел, тяжелый и опасный, ежегодно оплакиваемый и проклиняемый вдовами, был существенной поддержкой и для моих родичей. Все же достаточно обеспечить не могли ни хозяйство, ни рыбная ловля. Мужики уходили на заработки, главным образом на земляные работы, или же плотничали по городам. Женщины, управляясь с хозяйством, неустанно плели кружева. Они работали на кружевниц из богатого торгового села Кубенского, получая от них шелк и сдавая им готовые косынки, шарфы, салфетки. Работа на себя была как редкость. Вологодские кружевницы до революции пользовались повсеместно в России известной славой.

Дедушка Федор и отец мой, Василий Федорович, работали землекопами в Рыбинске, на Онеге, на Свири, в Ладоге. Бабушка Афанасия — высокая, жилистая, суровая — вела хозяйство в деревне. Отец мой ходил на отхожие промыслы до самой солдатчины.

Мать моя, Анна Васильевна, плела кружева, рыбачила со своим отцом и помогала ему на мельнице. У дедушки была ветряная мельница. Мельница эта препятствовала деревенскому роману моих родителей, так как дед и бабка мельницей своей весьма гордились и желали для своей дочери более зажиточного жениха. Однако роман зашел далеко... По тем временам, да особенно в деревне, положение моей будущей матери было отчаянное.

Отца сдали в солдаты и назначили во флот, в Кронштадт.

В ту же зиму, уйдя в Вологду продавать кружева, мать моя бежала в Петербург. Беременная, без денег, с узелком белья, она приютилась на время у дальней родственницы, работавшей на фабрике за Нарвской заставой. Пришлось очень трудно: жила всякой случайной работой, стирала, мыла полы, мела улицы. Тут родился мой брат.

Пробедствовав полгода, она как-то поступила кормилицей в семью генерала Ставровского. Эта работа казалась спасением. Служила она в семье Ставровского, кажется, года два-три.

За это же время отец мой выучился грамоте, обнаружил способности и был произведен в боцманматы-фельдфебеля. Высокий, стройный, с гигантской силой матрос, всегда трезвый, опрятный, смелый, решительный, он сыскал расположение начальства. Вскоре мать приехала в Кронштадт — и они повенчались.

Я родился 22 января (старого стиля) 1887 года. Лет до восьми прожил в Кронштадте среди матросов, в 4-м флотском экипаже, где отцу была отведена казенная квартира. Довольно рано помню себя и окружавшую меня среду. Фельдфебель тогда был немаловажной фигурой в своей роте, особенно когда ротные командиры, по рассказам отца, были сплошь пьяницы. Такой командир зависел от своего подчиненного, так как последний мог всегда подвести его перед командиром полка. Рота отца считалась образцовой. В личном укладе жизни отец подражал офицерам. У нас были денщики. Один такой денщик, Иван Кулаков, пестовал меня. По воспоминаниям отца и матери, он был настолько же глуп, насколько ряб и веснушчат.

— Настоящий матрос должен быть на своем месте, — говорил отец, — такого совестно в прислуги брать. Дурака посадить на кухню — рота будет выше качеством.

Но для меня Иван Кулаков был, конечно, существом ни с кем не сравнимым: он водил меня гулять, делал мне луки, мы с ним купались в заливе, он пел песни, играл на гармонье, он меня укачивал спать и рассказывал мне сказки.

Живя спокойно за исправным фельдфебелем, командиры делали ему всяческие поблажки. По несколько раз в год в 4-й роте устраивались танцевальные вечера, пускалась своя и посторонняя публика по билетам, бойко

торговал пьяный буфет; в Рождество бывала елка. От этих вечеров отец получал немалую выгоду.

Отчетливо вижу громадную 4-ю роту с кружащимися людьми, слышу звон стаканов, бутылок, особенно — щелканье пробок, музыку, шум... На мне — новенький матросский костюм; Иван Кулаков широко раскрыл рот и смотрит на танцы, держа меня за руку... Тоненькая мать торгует пирожным и все, мне кажется, чего-то боится. Только отец носится туда-сюда и, пробегая мимо меня, улыбнется, сожмет в горсть лицо мое и почему-то всмотрится пристально в Ивана Кулакова... Это понятно теперь: Кулаков жестоко напивался. Он визгливо кричал тогда, плакал и всем кланялся в ноги. Однажды я вцепился в него, и меня едва оттащили. Пьяного Кулакова отец приказывал садить в карцер. Матросы охотно хватали и волокли его. Кулаков, уливаясь слезами, кричал мне:

— Вань! Вань! Вань!

Отец мой не выносил пьяных людей. При виде их он весь морщился, бледнел и беспокойно мигал.

Кулакова под мой рев утаскивали.

На десятом году сверхсрочной службы во флоте отца перевели в Петербург. Там он не прижился, вышел в отставку и вернулся на родину. Я было начал привыкать к Петербургу, а тут повезли по железной дороге, на лошадях... Живя на острове, я никогда не видал полей, хлебов.

— Какая высокая трава! Мама, какая высокая трава! — восклицал я в изумлении.

Отец отчего-то рассердился и, — будто сейчас слышу его голос, — сказал:

— Это рожь, дурак!

За десять лет отец уже оторвался от деревенского хозяйства. Приехал он в деревню с некоторым запасом денег, — кажется, до полутора тысяч. Сначала были сделаны попытки заняться рыболовством, но ничего, кроме любительства и развлечения, из этой затеи не получилось. Так же была неудачна предпринимательская попытка сколотить дуван на паях с мужиками. Приобретен был громадный невод. Год выдался неловучим: за бесценнок невод продали.

На остатки в Никулинском, в старом амбаре у дедушки, открылась мелочная торговля...

Много лет спустя, — я уже был взрослым, — как-то мать извлекла из сундука громадную конторскую книгу и показала отцу. Книга была исписана крупными отцов-

скими каракулями. В дальнейшем книга служила матери на кухне для разных целей: закрывали квашню, кадку с водой, пригнетали пасхальный творог. В книге этой были записаны долги за мужиками ближайших к Никулинскому деревень. Незадачливый торговец через год подсчитал свои убытки. Кроме пряников, нескольких связок баранок, банки леденцов осталось еще в кошельке двести рублей. Амбар заперли каким-то зеленым замком, содрали деревянную вывеску неудачной фирмы, а сласти довольно долго радовали нас с братом в праздничные дни.

Закупая товар в селе Кубенском, отец познакомился с местным богатеем, владельцем многих торговлей в округе, внес ему последние средства в залог и поступил приказчиком в местечко Сяму, шестьдесят верст от Вологды.

Постоялый двор, две лавки, кабак, маслодельный завод, амбары и ряды, ряды, ряды, Сямский Богородице-Рождественский монастырь с высокой оградой и башнями — вот все строения на Сяме. Тут я провел детство, самые ласковые и прекрасные годы жизни.

Местечко расположилось на большой дороге, на древнем Кирилловском тракту. Жили мы в одной комнате, отделенной от кухни маленьким полутемным проходом. Летом пользовались горницей в мезонине. Прямо перед окнами, с горки, через поля, за версту лежало налитое через края Кубенское озеро.

Три раза в год — Благовещение, Петров день и Рождество Богородицы — на Сяме бывали ярмарки. Карусели, гармоньи, пахнущие бакалеей и мануфактурой торговые ряды, тысячи горластого и толкающегося народа, крики, песни, красно-синие кустики из детских шаров, колеблющиеся над головами, ржание коней, колокольный звон — как-то особенно волновали сердце и запомнились навсегда.

Обычно на Сяме было молчаливо и уединенно: только скакали мимо редкие тройки, тихонько ползли мужицкие обозы, правились с котомками после Пасхи на заработки мужики и оставляли на тропках скорлупу от крашенных яиц, гнали рекрутов в ноябре, проносили чудотворную икону со сбора, да еще в монастырские помочи, — жали монастырскую рожь, — крутились в глазах цветные бабьи ситцы и шла полуночная топотня у монастырских, стыдливо закрытых ворот и на большой дороге.

В подторжье приезжал хозяин и занимал нашу квартиру. Еще накануне вся наша семья, кроме отца, выселя-

лась на монастырский скотный двор и жила там до конца ярмарки. Скотным двором называли большой двухэтажный дом, населенный монастырскими скотницами, стряпухами и работниками. Помещался он около плотины на речке Крутец, саженьях в ста от монастыря. Совершенно отчетливо припоминаю, какое негодование было в моей детской душе, когда приходилось нам убираться из своего жилья. Даже ярмарка становилась менее таинственной и увлекающей. Я и теперь еще не могу спокойно вспоминать об этих унижительных переездах.

Монастырь с его послушниками, монахами, старцами; ярмарка, большая дорога, озеро с парходами, с баржами, с рыбацкими парусами, спасательная лодка из Каменного монастыря¹, видного на сто верст, словно плывущего по озеру, появлявшаяся в бурю,— способствовали очень раннему моему развитию. Годам к двенадцати я знал многие из смертных грехов, имел повышенную ко всему любознательность и жадность, проглатывал всякую книгу, попадавшуюся под руку.

В полутора верстах от Сямы, в деревне Березники, я учился в земской школе. Школьная библиотека, как-никак все же занимавшая порядочный шкаф, к выпуску меня из школы была прочитана. В монастыре, где я был певчим, у игумена Феофана брал я жития святых, Четьи-Минеи, журналы «Кормчий» и «Палестинский вестник», описания монастырей, «Троицкие листки». Отец выписывал «Биржевые ведомости» и «Сельский вестник». Я, так сказать, одновременно получал духовное и светское образование.

Отец мой чуть-чуть писал, трудно читал, однако поощрял меня, заставлял читать себе вслух, особенно матери, которая так и умерла, не осилив грамоты. Он крепко мечтал дать своим детям образование. Мечты его, правда, принимали иногда комическое направление, но они были трогательны своей скромностью.

Где-то он увидал табель о рангах, должно быть в «Сельском вестнике», и с того дня настойчиво желал, чтобы дети его рано или поздно перестали быть лицами «податного сословия». Меня он, подталкивая к более прилежным занятиям, очень соблазнял чином коллежского регистратора. Когда я уже был студентом, он спра-

¹ В середине озера, на маленьком каменном острове, расположен древний, XIV века, монастырь. (Сноска автора.)

шивал меня с большим любопытством: какой дают чин окончившим университет?

В земской школе под влиянием чтения я начал сочинять. Первые мои попытки вызвали большой гнев отца. Подражая почерку Пушкина,— почерк мне попался в какой-то книге,— я начал писать мельчайшими буквами. Отец всегда любовался чистенькими тетрадами моего старшего брата и прекрасным его почерком. Тетради младшего сына представляли унылое зрелище. Пока я еще писал крупно и по линейкам, отец, вздохнув над неровными и кривыми буквами, мог печально примириться, мог все-таки прочитать отдельные слова,— теперь же письмо было совершенно немыслимым, непреодолимым и даже дерзким.

Взглянув на меня из-под кудлатых серых бровей, сунув мне тетрадь в руки, он приказал:

— Читай!

Перепуганный автор оказался не более удачным читателем. Я загнулся на первой же строчке и смолк. Отец бывал часто вспыльчив и неудержим на руку. Получив заслуженное, я всплакнул, а потом был посажен за переписку по линейкам незадачливого сочинения.

Потеряв возможность портить тетради, я не отказался, однако от привычки мелкописания, усердно упражняясь на стенах, на лоскутках бумаги или просто на гладком столе грязным ногтем, воображая перед собой бумагу. Отец беспощадно изгонял это увлечение, прикладывая, куда придется, наказующую длань.

Первым, кто поощрял меня к сочинительству, был деревенский портной Налимов. Он обшивал нас на дому, приходя из деревни Горки, в полверсте, с собственной ручной машинкой и оставаясь у нас до окончания работы. Бывало это в декабре — январе.

С большим пылом я читал ему мои сочинения, не занимавшие более одной странички, в то время как он сосредоточенно думал, разглядывая старый продранный пиджак, отданный в перелицовку, и отмечая на нем мелком какие-то знаки, или, держа на руках воротник, пришивал его сверкающей иглой. Кроме того, что он внимательно слушал, он много мне рассказывал.

Старик был поражен и взволнован, когда я почти слово в слово записал один его рассказ о Николе Угоднике и прочитал ему. С тех пор, встречая меня летами на рыбной ловле в устье речки Крутец, впадающей в Кубенское

озеро,— старик был завзятым удильщиком,— он нежно и ласково брал меня почему-то за ворот рубашки или пиджака и говорил:

— А, Ванюша! Клёв на рыбу! Каково, паренек, берет? Дай-ко, дай-ко я погляжу твою справу!

Налимов опускал на песок ведерко, бережно клал свои удочки и, выдернув мою леску, осматривал ее, затягивал наново узелки и перевязывал крючок. При этом он тихонько посмеивался:

— Ай, ай, Ванюша, да ты восьмерку не умеешь делать! Привыкай. Подь сюда. Гляди вот. Надо восьмеркой, или то же, что морским узлом. Вот так! На такой привязке ты рыбу, как собачку на ошейнике, станешь водить. Лесá лопнет, удилище напополам — а крючок ни за что не слезет!

Я учился у старика. И мы усаживались с ним вместе на песок. Был молчаливый уговор: закинув удочки, Налимов немел, а я не смел ничего спрашивать, мы только перемигивались, когда брала рыба, и он жалчиво показывал головой, когда я делал промахи.

После заката я провожал его, завистливо заглядывая к нему в ведерко, в котором всегда, мне казалось — несправедливо, было больше рыбы, чем у меня на веревочке. Я расспрашивал его об уловах в прежние времена, старик воодушевлялся и рассказывал мне о своих неправдоподобных удачах.

На скотном дворе, в странноприимной, воспитывалось несколько бесприютных сирот, монастырских ребятишек. Некоторые из них были негласными детьми монахов, игуменов, казначеев от монастырских скотниц. Они жили со своими матерями примерно до десяти — двенадцати лет, а потом их переводили в кельи. Одни были сапожниками, другие — певчими, третьи — пастухами, четвертые — келейниками. С ними, сверстниками моими, и прошло все мое детство.

Большую часть времени проводили мы за монастырской оградой, по кельям, играли в городки, в костыги, в карты. Отец очень стеснял мою свободу, но в то же время невольно способствовал ей.

Будучи человеком религиозным, но занятым, он — должно быть, из усердия — заставлял меня часто ходить к утрням, обедням, вечерам, всенощным, к тому же я еще и пел, чему он из того же усердия не препятствовал,— я имел возможность под законными предложениями

предаваться всем играм и наслаждениям с моими друзьями вместо скучной церковной требы.

Я любил монастырь, его сады, древние башни, зеленые огромные ворота, золотое кадило у надвратной иконы за решеткой, колокола... Устав от игр, я забирался в нижнюю низенькую церковь, прижимался в полумгле к теплой печке; какими-то странными переживаниями волновалось стесненное сердце; я слушал тягучее пение в нос, глядел на цветные лампы, на кадящие тонкую копоть свечи...

Религиозного чувства у меня никогда не было. Его в зародыше убил отец, будя к ранним утрениям, в пять часов, когда так тепло и сладко спалось. Шел я в церковь невольником, с болевшей головой, уважал четьи-минейных святых, побаивался их, но не имел никакой охоты подражать им. На церковную службу смотрел как на тяжелейшее наказание.

Но монастырская декоративная обстановка, несомненно, подействовала на пробуждение во мне художественных наклонностей и восприятий. Помню, например, какое очарование вызывали пасхальные ночи. Гулкий ночной звон, тревожный шум озера в темноте, огни фонарей и колеблемых свеч в полях, выстрелы из старой пищали с игуменского балкона, безмолвная, только что проснувшаяся толпа с блистающими затаенными глазами,— и острый, и пленительный запах вереса. Хорошо! Это было так красиво, что снова неповторимо. Уже утерялись те молодые чувства, которые тогда были обнажены, как ствол дерева, только что очищенный от коры.

Лес, грибы, рыбная ловля, купание, игры чередовались и никогда не прискучивали. Особенно же были обольстительны теплые летние ночи у озера. Отец изредка разрешал уходить туда. Горел ровно, как в большой печи, костер, играли и возились на отмелях волны, где-то на болотах вскрикивали дежурные журавли, и паслись на заливных лугах кони в ночном. Брат мой умел оглушительно и дико свистать, засовывая в рот два пальца. Кони испуганно ржали, и долго был слышен их торопливый, задыхающийся, убегающий топот. Согревали чайник, варили яйца, пекли картошку, прыгали через костер, кидали головни в озеро и радовались, как закипала вода от них. Ночь текла ласково, спокойно, тепло, наполняя ребяческое сердце глубоким и тревожным ожиданием...

Кончил я земскую школу. Учился плохо, ничего не делал, был рассеян и баловлив.

Мой брат уже был определен отцом в город Череповец, в Александровское техническое училище. Радую отца белыми коломенковыми брюками и такой же курточкой, топором и якорем на фуражке, приезжал он летами на каникулы. Мечта о коллежском регистраторе претворялась почти в действительность. Надо было и меня, в изодранном костюме, исцарапанного в драках, с почерком, напоминавшим вороныи следы на снегу, приблизить к высокому званию.

Меня отвезли в двухклассную министерскую школу в село Новленское — десять верст от Сямы, — где я и пробыл две зимы. Жил на хлебах у заведующего школой, учился скверно, за разнообразные проказы был не раз дран своим квартирным хозяином, поощряемым к тому разочарованным во мне родителем.

Занятиям мешала любовь. Окна учительской квартиры находились против окон домика моей возлюбленной — ученицы земской школы. Я подходил к своему окну и наклеивал на стекло лист бумаги с одним огромным словом «л ю б л ю», написанным красным карандашом; она наклеивала маленькую бумажку, — и сама она была крошечная, — на которой я не мог ничего прочитать.

Любовные муки заставили меня написать возлюбленной письмо, оно было прочитано товарищами по школе, — вырвано у меня из рук и озорства ради с хохотом передано учителю.

Школы помещались в одном доме. И стояли мы с возлюбленной по неделе на коленях, каждый в своем классе. На молитве мы переглядывались и краснели. Дома выдрал меня отец за первую мою любовь вне обычных и частых отеческих внушений.

Весело было расставаться со школой, но кое-чему все-таки научили, скорее, научился сам, потому что перечитал все имевшиеся в школе книги.

Осенью повезли меня в Череповец. Но не удалось моему отцу увидеть меня с топором и якорем на фуражке. Вступительные экзамены я выдержал, но поступал я на казенный счет и нужной для поступления пятерки не получил. Брат мой был своекоштным; содержать нас двоих отцу было не под силу.

По возвращении домой меня не драли, но отец был огорчен и долго величал почему-то дармоедом.

Кажется, в том же году хозяин перевел отца на работу в Вологду. Поселились мы в квартире из двух теснейших комнат, так что громадный деревянный сундук со всяким скарбом, — спал я на нем, как себя помню, — не взошел и, освобожденный от содержимого, помещен был в дровянике. Квартира была на окраине города, на немощенной улице, на Кобылке.

Работал отец с девяти утра до десяти вечера. Жалованья получал тридцать пять рублей в месяц. На Сяме были у нас собственная корова, несколько свиней и огород, дававший огурцы, капусту, морковь и картофель. Теперь должны были жить на одно жалованье. Несмотря на тогдашнюю дешевизну жизни, мы много лет кое-как питались и долго жили по маленьким квартирам, постепенно выбираясь с окраины поближе к центру, чтобы облегчить отцу ежедневную утомительную ходьбу. Семья состояла из трех маленьких сестер, брат еще учился, ежегодно надо было платить за него.

Мне исполнилось пятнадцать лет. Я доставлял отцу одно огорчение за другим. Он не знал, куда меня девать. Чтобы я не лоботрясил, как он любил выражаться, и чтобы я был под его постоянным наблюдением, он заставил меня торговать. Два года я торговал с ним. Отец, жалея меня, обычно отсылал домой часов в шесть вечера с разрешением погулять, но с непременным обязательством к десяти часам — время его возвращения — быть на месте.

В это время я увлекся до самозабвения театром. Почти каждый день я ходил на галерку. Увлечение было так необоримо, что я часто не имел сил уйти с половины спектакля. Ныло и болело сердце, грустно возвращался около полуночи, тихо стучал в окно, мать не спала, тихонько открывала двери... Иногда отец не просыпался и все обходилось благополучно, но нередко бывал я избиваем. Хотя билет на галерку стоил двадцать семь копеек, но так как только по воскресеньям отец давал на гостинцы, денег всегда недоставало. Ухитрялся брать у матери, проходил по бесплатным контрамаркам, проскальзывал в толпе, дружил с билетерами.

Жалкий провинциальный театр в нелепом, уродском амбаре, широкоплечие завывающие трагики, духовой оркестр из семи человек, сентиментальные и пошленькие пьесы, дикая давка и духота на галерке, потолок,

почти висящий над головой,— но все это было оценено после, тогда же не было ничего более дорогого и любимого.

Естественно, что самого потянуло к драматическому сочинительству. Накрошив из всех виденных пьес по кусочку, как-то связав эти лохмотья, написал я два длиннейших действия. Один знакомый пьяница чиновник подверг разгрому драматическое произведение, особенно налегая на незнакомство автора с правописанием. Он же посоветовал переделать в пьесу «Воскресение» Л. Н. Толстого. Кажется, тут же, убежав от своего критика, принялся я за переделку. Зря была произведена и эта работа: кто-то уже переделал другой.

Однако пользу из этих неудач я извлек. Долго с тех пор, что бы я ни читал, всматривался в написание слов, в знаки препинания, в согласование предложений, стремясь зрительным путем восполнить недостаточность своего школьного образования.

Праздношатающийся детина, которому исполнилось семнадцать лет, явно неспособный к торговле, занятый бумагомаранием, колол глаза отцу. Он пытался куда-либо пристроить меня. Водили меня по различным канцеляриям правительственных учреждений, меня брали в писцы, но, поглядев через день-другой мою каллиграфию, с улыбкой просили больше не беспокоить. Заставил меня отец готовиться на классный чин с каким-то спившимся офицером. Ничего путного не получилось и не могло получиться.

Проведал отец о школе для лесных кондукторов в городе Тотьме. Снарядили меня на жительство туда с корзинкой белья, с зимней одеждой, с деньгами на месяц, но я не выдержал испытаний, проиграл в «три листика» все деньги, кроме одного рубля, и опоздал на обратный пароход.

В незнакомом городе, один, осенью, на холодной пристани, уселся я на свою корзиночку и прождал парохода пятьдесят часов. За рубль мне выдали билет 4-го класса с обязательством грузить на остановках дрова вместе с матросами. На билет 3-го класса у меня не достало двадцати пяти копеек. Сутки я ничего не ел. На берегу торговали бабы жареной печенкой и звонко кричали:

— Печенка на спичках! Печенка на спичках!

Это так готовится печенка на деревянных вертелах. Печенка пахла удивительно: ни один запах не поражал меня так во всю мою дальнейшую жизнь!

На вторые сутки я удивился своей неопытностью: я голодал, можно сказать, сидя на деньгах. Немедленно было продано сторожу на пристани личное полотенце. Наелся я печенки без всякой меры. Зато всю обратную дорогу простонал на лавочке у машинного отделения, глядя свой каменный живот...

Отец нерадостно встретил меня и впервые назвал недорослем, чтобы потом злоупотреблять этим наименованием.

Однако удовлетворение и некоторое примирение с моей судьбой наступило у него все-таки, кажется, в ближайшую весну. Я поступил телеграфным учеником на постройку железнодорожной линии Вологда — Петербург. Фуражка с желтым кантом доставляла отцу большое удовольствие: это был почти уже чин. Учеником телеграфа и потом телеграфистом я служил до осени 1905 года.

В Вологде была политическая ссылка. Лет с шестнадцати я бывал среди ссыльных, участвовал в кружках, распространял прокламации по городу и по железной дороге, посещал массовки, хранил у себя нелегальную литературу.

На мое развитие политические ссыльные оказали большое влияние. Когда наступил 1905 год, я был большевиком. Меньшевик было для меня ругательным словом. Правда, разницу между большевиком и меньшевиком я воспринимал более чувством, чем разумом, но упорно подчеркивал свою большевистскую принадлежность.

На телеграфе было несколько таких же, как я, молодых людей, увлекавшихся политической деятельностью и писательством. Мы составили кружок.

Я находился всецело под обаянием творчества Максима Горького, старался ему подражать и буквально не расставался с зеленоватыми книжками издательства «Знание». Биография Максима Горького, пережитая как воображаемая личная жизнь, конечно, еще более усилила мечту о писательстве.

Жажда знать, учиться никогда не покидала меня. Много прочитав, я для своих лет был неплохо развит, но в то же время, едва мне попадала книга потруднее,

я сознавал свое бессилие в одиночку одолеть ее. Возникло сознание в необходимости стройного, систематического образования. Университет становится так же притягателен, как недавно притягателен был театр.

Фуражка с желтым кантом недолго тешила отца, желание же увидеть на сыне студенческую фуражку с синим кантом захватывало. Отец тогда уже перешел на службу к другому купцу, получал значительно больше жалованья, брат служил помощником машиниста на камских пароходах и даже высылал деньги, словом, семья экономически крепла.

Осенью 1905 года, покинув навсегда телеграф, я отправился в Петербург, на общеобразовательные курсы А. С. Черняева на Петербургской стороне.

Но вместо занятий,— и невозможно было заниматься,— я проводил целые вечера на университетских митингах; митинговали и на курсах; просиживали долгие часы на различных районных собраниях, докладах, дискуссиях; на Церковной улице завелась собственная конспиративная квартира слушателей курсов. Революция захватила и перевернула все мирные академические стремления.

Года три я состоял в Вологодской большевистской организации, был избираем членом районного комитета железнодорожных мастерских, числился организатором района, организовал десятки кружков в мастерских, на винном складе, на мыловаренном заводе, среди пекарей и булочников, хранил у себя оружие, пироксилиновые шашки, обучался за городом стрельбе из маузеров на случай вооруженного восстания, нес охранную службу дружинника по городу в предотвращение черносотенных погромов, держал связь с казармами Моршанского полка, распространял и расклеивал прокламации...

Долгое время не было никаких иных интересов. Со всей юношеской готовностью и самопожертвованием делали мы в то время рискованные и непродуманные поступки. Организация накапливала оружие. Один рабочий-токарь привез из Сормова шесть двадцатифунтовых бомб и, так как его квартира была подозрительна, передал на хранение другому рабочему, моему товарищу одних со мной лет. Бомбы, чтобы не колотились, были чуть-чуть переложены паклей и лежали в двух открытых высоких коробах. Помещены они были в темном чулан-

чике в сениях, заваленном углями, корытами, кадками с огурцами и капустой, всякой хозяйской рухлядью. Молодой рабочий-слесарь жил у другого рабочего и не стеснялся. В чуланчик ходила хозяйка и косилась на короба. Для чего-то в бомбы были введены раньше времени запальники. В городе начались обыски. Мы получили приказ запальники вынуть и бомбы уничтожить. Ночью, со свечкой, с горящими глазами, мы осторожно вынули шесть запальников и в следующий вечер утопили бомбы в реке, спустив их в прорубь. Помню то страшное напряжение и осторожность, с какими вынимались запальники: было сознание, что в случае неудачи весь дом, мы сами перестанем существовать. Когда мы благополучно вернулись из чулана в комнату, сели, закурили, я неуверенно и робко засмеялся, а у моего товарища был влажный лоб. Но в душе оставалось радостное и горделивое чувство от выполненного поручения.

Неоднократно меня обыскивали. Все сходило благополучно. Бедная моя мать только крестилась. Отец не знал. Я служил в то время писцом в городском ломбарде, потом статистиком в земской управе, получал небольшое жалованье, отец примирился с некоторыми моими неудачами на поприще просвещения, как будто даже временно перестал обращать на меня внимание.

В таком маленьком городе, как Вологда, моя юношеская революционная работа была, конечно, более страстной, чем значительной. Если бы я даже был более подготовлен к ведению ее, она и тогда бы мало усилилась в своих размерах. Агитатор же я был с краснеющими щеками, с бегающими от смущения глазами и с голосом, выпаливающим совсем не то, что ранее обдумалось. Однажды на квартире Н. П. Брюханова, нынешнего наркомфина, в длинной и узкой комнате собрано было человек пятнадцать пекарей, я должен был разъяснить им политическое и экономическое значение всеобщей забастовки. Язык мой плел такую чушь, я начал так издали, пытаюсь раскрасить мои выводы образными сравнениями, взятыми из житейского обихода, что вскоре умолк, заметив откровенно улыбавшиеся на великовозрастного мальчика пожилые лица рабочих. В другой раз я приехал на фабрику «Сокол», под Вологдой. Хорошо, что со мной был еще один товарищ,

портной по профессии, несомненно уступавший мне в развитии, но очень недурно говоривший.

Я был «главным». Мне было поручено встретить рабочих в лощинке недалеко от фабрики. Рабочие шли на обед в ближайший поселок, где они жили. Пока никого не было, я важно ходил по лужку, но, когда начал накапливаться народ и пора было начинать, я долго не мог выжать из себя ни одного слова, сердце скакало, как листок на ветру, шевелились без толку губы; наконец я что-то изрек, пошел было быстро-быстро и окончательно запутался. Тогда мой товарищ кинулся на выручку и дело исправил. Мне осталось на долю не вовремя и некстати ожесточенно раскидывать прокламации. Искренно и печально я завидовал дарованию портного, даже поглядел ему в рот, словно там-то и находилась разгадка его умения говорить. Зато вечером в маленькой комнатухе в небольшом собрании я вел себя совсем как «главный», и ко мне прислушивался даже сам оратор. Это немного успокоило от неудачи «перед массами».

Годы эти вспоминаю всегда с особым растроганным чувством: будто бы больше никогда так не горел впоследствии.

Около 1908 года кружки стали разваливаться, порывались связи: отдалялся 1905 год, завлакиваясь разочарованием. Вернулся и я к прежним своим стремлениям, совсем было вытесненным революцией. Зимой 1909 года я занимался на аттестат зрелости, правда чередуя скучнейшие занятия по математике и латыни с чтением западных и русских классиков и собственными прозаическими упражнениями, причем последних было больше, чем непосредственных занятий на аттестат зрелости.

Отец в этом году начал вести собственное дело. Я мог взять репетитора — гимназиста восьмого класса.

Предпочтение занятий чтению и сочинительству позволило мне выдержать только первый экзамен. Урок не прошел даром. В следующий год я принялся более основательно за работу и наконец в злейшее время министерствования Кассо, в 1911 году, получил аттестат зрелости. Держало нас, экстернов, кажется, человек тридцать — сорок, выдержало два.

В университете я учился на историко-филологическом факультете. Должно быть, написано мне на роду:

ко всем школам обнаруживать полнейшее равнодушие. Я занимался усиленно своим самообразованием, просиживал все дни в библиотеках Академии наук, Академии художеств и в Публичной, много писал, но на лекции почти не ходил.

Слушал всегда, не пропуская, блестящие лекции профессора-историка С. Ф. Платонова, посещал изредка профессора И. А. Шляпкина, главным образом — его просеминарий по древнерусской литературе, ходил на Ф. Ф. Зелинского, А. И. Введенского и А. А. Спицына. Университет дал мне известное умение методически работать. Вопросы искусства и художественной литературы занимали меня всего.

В последний год студенчества я начал было печатать статьи по истории русской литературы и по истории древнерусского искусства в лучших тогдашних журналах, напечатал два небольших рассказа и несколько стихотворений, но полное разорение отца вынудило меня оставить университет, выехать из Петербурга и поступить на службу. На руках у меня к этому времени была жена с ребенком. Отец не мог мне помогать, едва содержа свою семью из трех малолетних дочерей и жены. Он пошел по прежнему своему пути, устроившись десятником по земляным работам на Мурманскую железную дорогу, а потом — на румынский фронт.

Противная служба конторщиком и счетоводом в управлении по перешивке железнодорожной линии Вологда—Архангельск на широкую колею, с обязательными вечерними занятиями, прервала всякую мою литературную работу. Три долгих, бесплодных года пришлось вычеркнуть из жизни...

В 1918 году я перешел на службу в Вологодский молочно-хозяйственный институт заведующим библиотекой.

Года были тоже не из легких, но после бессмысленного, автоматического счетоводства новая работа показалась положительно незаменимой.

Кроме библиотечарства был заведующим и преподавателем агафоновской школы I и II ступени при институте, лектором по истории русского искусства в Институте народного образования, в Пролетарском университете, председателем месткома союза работников просвещения, членом всяких комиссий и председателем продовольственного комитета. Для рабочих и служащих института

организовал вечерние курсы и читал на них историю литературы; на курсах по подготовке преподавателей II ступени в Вологде читал новейшую русскую литературу.

Молочный институт находится в пятнадцати верстах от Вологды. Высшее учебное заведение, выстроенное до войны, с прекрасными каменными и деревянными постройками, с центральным отоплением и электричеством, с учебным совхозом — целый маленький городок — жило бедно и трудно.

Три раза в неделю тащился я в Вологду на институтских клячах читать лекции, добывать продовольствие в губпродкоме и Экосо, добывать необходимые учебные пособия и деньги для школы. Пятнадцать верст ездили часа по четыре, в обрат — часов по пяти. В кармане — кусок хлеба, редко яйцо, на ногах — грандиозные продранные валенки, на плечах — ветхая шубенка... Дьявольский холод и голод!

Возвращался обычно около полуночи, перемерзший до пределов возможного. К приезду жена топила печку. С трудом разденешься — и долго обогреваешься, почти сунув ноги в огонь.

Тяжело было, изнурительно недоедание. Болела жена, ребенок, сам превратился в скелетообразное существо. Было немало и комизма сквозь слезы: лекции читал в шубе и шапке, так как в ИНО и в Пролетарском университете не топили. Поглядишь на свои валенки, на дрожащие руки, на слушателей твоих, прижавшихся от холода друг к другу стенкой, — и расхохочешься. А то едешь по городу на жалких одрах, встретится знакомый и кричит:

— Заезжайте! У нас сахар есть!

А у самого сияет лицо.

Много сил и здоровья растрчено в эти замечательные годы.

Институт только назывался молочным, молоко же выдавалось по полфунта в день детям, и то не всегда. Несколько сот исхудалого интеллигентного и рабочего населения билось за сохранение института, отстаивая здания от морозов, от всевозможных разрушений, вызываемых недостатком необходимых ремонтных материалов.

Иссякал артезианский колодец, питавший жилые помещения, лаборатории, опытные станции, центральное отопление, электрическую станцию, скотные дворы.

Все население института было мобилизовано — и в лето провели воду из речки, протекавшей через болота и низины за версту от института.

Выгружали сплавы сырого леса для отопления из той же речки — огромную годовую норму в несколько тысяч саженей, тут же сами пилили, кололи, укладывали в поленицы... Жали, косили, садили овощи, убирали хлеб, картофель, корнеплоды, копали гряды...

В досуги от службы и общественной работы, ночами довольно много писал. Не давалась чисто художественная работа, но можно было делать исследовательскую работу по истории русского искусства. Я тогда опубликовал в двадцать печатных листов монографию «Север в истории русского искусства», награжденную Цекубу премией; в областном отделении Госиздата выпустил две книги о «Памятниках художественной культуры на Севере», сотрудничал во всей местной прессе, рецензируя книги и журналы, помещая статьи по литературе, театру, искусству... Вся эта работа приносила некоторое удовлетворение, но вдали от литературы, среди узких специалистов — животноводов и молоковедов — частенько бывало уныло.

Заскучав свыше сил осенью 1922 года, я прислал заявление в Государственное издательство на имя заведующего О. Ю. Шмидта, фамилию которого узнал из газет, с просьбой дать какую-либо работу в Москве. По правде сказать, послал заявление без всякой надежды на успех, больше от отчаяния, чтобы дать выход накопившемуся нетерпению и тоске. Но через неделю меня вызвали в Москву, и я был принят в ГИЗ на службу техническим редактором.

В ближайшие два года я продолжал исследовательскую работу по искусству, издав книжки о художниках Борисове-Мусатове и Врубеле, в 1925 году вышла из печати первая моя повесть «Сиверко», в следующем году напечатал роман «Колокола». С тех пор нигде не служу и занимаюсь исключительно литературной работой.

Москва, 1927





КОЛОКОЛА

Роман

НА ЗЕЛЕНОМ ЛУГУ, НА ЧИСЛИХЕ, В ЕХАЛОВЫХ КУЗНЕЦАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях улицы были узкие. Мостили улицы там фашинником еще при царе Косаре. Проточные канавки в дождяные дни всплывали там паводками, а из канавок шел нехороший дух. Ходили тогда по бревнышкам или перескакивали с фашины на фашину. На каждой улице стояли кабаки, чайные, съестные, а на крестах — ларьки с хлебом и квасом. У кабаков валялись вповалку пьяные: всё видно. У кабаков стоял бабий и мужичий горлан. Бабы в ярости строгаили своих пьяниц, совали им по загривкам, а потом, натруждая большие животы, ташили их домой, обшаривали на ходу карманы и увертывались от пьяного размаха.

В получку бабы становились у кабаков на дежурку. Сговорчивые мужики из бабьих рук выпивали по стаканчику, озорники куражились и пропивали всё. Выли тогда бабы на крыльце, грозили кулаками кабатчикам и вытирали передниками обидно-унылые слезы.

Перед праздниками улицы гавкали глотками, бала-лайками, гармошками, ухали песнями, бухали по земле сапогами, сапожищами.

В праздники к постовым городовым на подмогу и устрашения ради прибавляли из участков по конному городовому на конец. Постовики стояли на своем месте, а конные ездили взад и вперед и не давали собираться кучками. Ребята сидели на заборах в обшарашку и кричали: н-н-но́, нно́б, н-н-н-о́. Городовые сердито оглядывались на заборную конницу. Где можно было подступиться лошадям, сгоняли ребят и замахивались плетками. А ребята сваливались вовнутрь дворов, выжидали, как отъедут, высовывались в калитки, в проломы и на скору

руку пускали из рогаток мелким камнем. Лошади при-
вскакивали на месте и махали хвостами. Конные городо-
вые хватались за спины и скакали на выстрел, злобно
стучали в ворота, вызывали хозяев... Выходили бабы,
жалели городских, а потом истошно визжали в защиту
своих дитёв.

Для отвода глаз мужики урезонивали баб и подбав-
ляли тем жару бабьему сердцу.

Так до сумерек,— время городовым по участкам
ехать,— с ребятами и бабами, до поту, до надсады, воева-
ли городовые. Вечерами тут посторонним посетителям
раздавали затрещины: называлось это «поход дать».

Побаивалась ходить на Зеленый Луг, на Числиху,
в Ехаловы Кузнецы благородная публика!

Жил тут рабочий люд разного звания: ткачи, мыло-
вары, кожевенники, каменщики, бондари, слесаря,
токаря, полотеры, сапожники, железная дорога. Жили
грудно, в обхватку, в обнимку. Из окошка в окошко
решали дела заводские, любовные, сплётенные. Зимами
раздевши перебегали друг к другу. В город, на чистую
половину, ходили только по большой нужде — на базар
да за покупками. И то больше бабы. Покупали нечасто —
нечасто и ходили. Рабочие частили в город после Петрова
дня продавать на базаре утятню. На Петров день рабочие
артелями уходили за двадцать верст к Николе Мокрому
за утками, настреливали уток тьму,— лучшие стрелки
считались,— и продавали потом домоседу-горожанину.
Еще Первого мая, раз в год, завелось так в недавнее
время — выходить на главную улицу и показывать кому
следует рабочее изделие — красный флажок.

На бульваре тогда,— бульваром благородная публи-
ка отгораживалась от черной городской стороны,—
с большим выбором пропускали в город. А где же убере-
жешь? По задворкам да по закоулкам пробирались
к условленному месту. Не все тогда ворочались назад.
Ночью нагрядывали гости, шарили в домишках, переры-
вали скарб, лазили по чуланам, по чердакам, по сара-
юшкам. Увозили. По улицам рыскали в темноте согля-
датаи. Сигали на огонек за ситцевыми занавесками,
сторожко и с опаской прикладывали уши к опушкам:
не гудит ли где человеческий улей? Подсматривали кое-
где и не без прибыли, кое-где знали и подсмотреть.

Беспокойная сторона Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы
Кузнецы!

За Зеленым Лугом, на выезде, на московском тракту, махали черными крестами-крыльями коровинские мельницы-столбьянки и крупоруши. А поодаль от них на холмике белела часовня белорижцев. Еще подалее плавало на много верст между луговин, осок и камышей низкобережное озеро Чарымское. Не жил там человек, не дымилось его жило. Зимой бегали там матерые волки в метелях и месячных ночах, наскакивали на мужичьи обозы, шли за обозами, светили дороги красными вспыхами волчьих взглядов, выли на поджарое свое брюхо, рвали отставшую сучонку на шерстяные кусочки, заблудшего человека уносили в сугробы: нищий люд — богомолки, богомольцы уложили чарымские дороги косточками.

Веснами Чарыма набухало подо льдом. Колобродили вливные речки с луговин. Качало Чарыма день-деньской от берега до берега ледяную свою упаковку. Потом трескалось посередине, выливались закраины через кромочки берегов, убегали вспять речки, речушки, льды плыли в луга лебяжьими косяками поверх ивняковой, ольховой щетины, Чарыма ухало ветрами, дуло холодными пышками на город, — надевай шубу.

Не видать и конца-краю Чарыме. Утопли луга, осоки, камыши, сгнули под серебряной крышей людские дороги, только один Никола Мокрый качался белым кораблем вдалеке, будто объезжал свою мокрую землю, — едет-едет, а доехать не может.

Доливалось Чарыма до белорижцев, до коровинских мельниц, скатывалось до городской околицы, топило Свешниковскую мануфактуру, кожевенные заводы Бурлова, мыловаренные Марфушкина, кирпичные Прилуцкого, останавливалось у насыпи чугунок, у депо, у слесарно-механического Мушникова.

Высыпала тогда мелкая рабочая челядь к разливам, перескакивала с кочки на кочку, ладила дощатые плоты, на колышках в одиночку правила по летним дорогам, по полянкам, по канавам с лопухами и крапивой. Добиралась она до капустных огородов, выдёргивала в наклоне огородные колья — прорывала заторы, перескакивала на льдины и катила враскачку в улицы.

Лопались с лязгом льдины, будто железные цепи, челядь барахталась в крутне, плыли по воде шапки, картузы, орудие ребячьи головы. Выскакивали из домов бабы, мужики, папки и мамки. Мамки плакали и жалостливо протягивали вперед руки, наклоняли в дугу корпуса,

папки с бранью лезли в разлив, брели тяжело в высоких охотничьих сапогах, хватали за шиворот с мясом ребяг и вытаскивали на сушу. Мамки драли за волосы челядь и волокли домой на обсушку. Но челяди разве есть уём?

Доплывали ребята на плотках до белорижцев, залезали на крышу часовни, обнимали разноцветную, как набоечный подол сарафана, главку и усаживались верхом на князьке. А ветер хлестал полотнищами парусов, хотел сдуть с крыши, сердитые облака поводили усами, ветер наклонял голову, ёжил...

Плот обрывало с привязи, уносило...

Хохотали озорники, богохульствовали, храбрились на князьке.

А сумерки словно подкрадывались со всех сторон... Вместе с сумерками приходил в гости страх и щекотал спину. Все дальше и дальше казался город, будто относил его разлив, города не было, вместо города стояли у далеких пристаней в огнях ночные пароходы. Вдудались огни — и тухли, тускнели, убавлялись...

По разливу неслись, как улетающие птицы, вопли: — Спаси-и-ите! Помоги-и-те! Ма-а-ама! Па-а-па!

Плакало матурино сердце от надрывных ребячьих голосов, взбаламученно толкся народ в улицах, а не подступишься за темнотой к белорижцам.

Все неясней, все тише в ночном ветре доносились голоса.

— Ой, касатики!

— Дитятки несчастные!

— Да спасите же, спасите, нехристи!

— Сама спасай.

— Стервецы!

— Поезжай на сарафане!

— Шкуру спустить надо с мягкого места!

— Дьяволята!

— Замерзнут в ночь. Простынут.

— Ой, заковенеют!

— На крыше сидят.

— Снесет ветром.

— Ручки устанут держаться — и распусятя!

— Как же, братцы?

— Лодку бы!

— Где ее возьмешь?

— Ой, и что мне горе-горькой! Сенюшка, Сенюшка, батюшка!

— И почто ты нечистый понес, баловня окаянного!

Позванивали во мраке льдины, терлись друг о друга с курлыканьем, шушукала вода, выл ветер тысячами глоток — и нет-нет в ветряном хоре плакал жалкий кричонок:

— Ма-а-ма!

Спасальщики разжигали костер у самой воды, только бы не подмочила. Красные мухи винтили густо в темноте, красная метла мела темноту, кидалась в разные стороны, задевала за крыши...

— Не дело надумали,— ворчал старик,— пожара как бы не было. Искра на ветру хуже керосину.

— Спалим улицу. Кто отвечать будет?

— Вишь, какой ветрина!

— Не бросать же ребят без помощи!

— Им разглука.

— Сердце у ребят, поди, скакуна перескачет с перепугу!

— С огнем легче: людей видят.

— Слышишь?

— Домой просят. Плачут.

— Часовенки бы не снесло.

— Ну! Часовня сделана на заказ. Не снесет.

— Подмыть может.

— Ах, наказание, право! И костер неладно, и ребят жалко!

— Не подкидывай, не подкидывай много! Пожарные увидят и нагрянут: не расхлебаешь каши!

— И как их туда угораздило, негодников?

— Поркача им завтра прописать надо.

— Достать бы только сперва: а дёра будет. Неделю назад оглядываться не перестанут.

— Кстати, отцов с матерями отодрать как следует. Чего смотрят? Ребят наделали, а наставить уму-разуму не хватает в калабашке!

— Разве за ними уследишь, дурень? Сам маленьким не бывал? Мы сами с тобой все детство на заборе просидели. Ребенок — мышá шустрее. Ты отвернулся в сторону, а его и след простыл, будто дождинка в воду упала.

Ночь спала над Чарымой, над белорижцами. Темным небесным одеялом закрылись звезды, бледная немочь месяца, беленые млечные холсты. Чуялось — клубили, завивались, бодались там облака под шалым ветром, гонимые по небесным бездорожьям.

Ребята не сводили глаз с костра и охрипло-закоченело кричали о помощи.

Все убывал и убывал люд. К свету оставались у костра одни отцы и матери. Натаскивали отовсюду досок, чурбаков, сколачивали большой дощатый плот.

Как только брезжили чарымские волны, мелькала белая грудка белорижцев, сталкивали плот и отчаливали... Гнали отцы плот, изгибались на кольях, а ребята на коньке, как воронье, прижимались друг к другу, додрагивали последней дрожью, молчаливо звали плот глазами...

Плот подшмыгивал к часовне, отцы хватались за крышу и снимали ребят на дощатое судно.

— Свво-ло-чи!

— Негодя-я-и!

— В воду головой паршивцев!

Отцы сверкали глазами, а на берегу ждали мамки с платками, с шубенками, вскрикивали на каждый качок плота, тянулись к воде, наклонялись над ней...

— Вáнюшка!

— Сеня!

— Мишанькá!

Закутывали, обнимали, целовали, волокли домой...

— Промерзли?

— Голубчики наши!

— Да разве так можно!

— Озорники!

— Я вот ему задам дома. Он у меня будет, сукин сын, баловать! — шипел отец.

Шли-бежали. В спину бил, злобясь, ветер с Чарымы, подгонял шаг.

Паводок стихал. Смеялся Зеленый Луг, Числиха, Ёхаловы Кузнецы над ребячьим озорством. Смех и горе. А матери озорников не могли наговориться о своем счастье.

— Святые угодники, Манефьюшка, оборонили детей наших, белорижцы батюшки,— говорила мать Вáнюшки матери Мишаньки,— не разгневались они на детей малых, несмышленышей... Те ведь по детскому своему разуму на крышу святую с баловством залезли. Виданное ли дело — всю-то ноченьку на ветру, на юру, в худой одежке, провертеться на коньке, не простыть, смертынька не пришла, кашля и того нет знику! Без божьей помощи разве усидеть, не сдуть ветру? Да, как щепочку, такой

ветер от земли подымет ребенка, не то что с крыши! Мужиков больших у костра шатало за домами, за деревьями, а тут на самом виду! Мой-то Кирила стегал Ваню, ярился, как бык, а я у него на руке повисла, оттормошила, не дала... Ночью мне будто в уши кто нашептал: поняла я все, все поняла...

— И я, и я не дала парнишку лупцевать,— отвечала мать Мишаньки,— у мужика сердце к порядку привыкло: ему обед к свистку, жена бы портки стирала, ребята сидели тихо-смирно, люди бы ничем не попрекали. А как это можно сидеть ребятам старыми стариками? Детство-то бывает не один раз. Насидятся еще, в рот воды набравши, как образумятся. Я твои слова, Анна Ивановна, будто сама в себе слышу.

— Дай вот только обсохнуть хорошенько земле, обещание я дала, Манефьюшка. Пойду к белорижцам, поклонюсь им за Вáнюшку. Мой супруженек лясы точит — отчего, грит, за нашего Ваньку святые пристали, а в прошлом году в полуую воду пятеро ребятишек утопи в Чарыме? Так, бескрестник, и говорит, зубы околачивает. Может, потому и потопли, что в родителях веры не было! Не узнаешь всего на свете, Манефьюшка, отчего и как что бывает! Я вот иду летом у часовенки, не пройду мимо, какая ни висит на вороту спешка, беспрерменно зайду. Мне, может, белорижцы добром и отплатили за мое уважение!

— Чего там говорить, Анна Ивановна, святое это место. Не поставят часовенку где не след...

— И озеро Чарымское по святости произошло. В часовне видала иконку: будто город какой, не наш теперешний, стеной деревянной обнесен, а вокруг стены татары, татары, что те поля ржанные народу! Норовят, видишь, город в полон взять... Подальше там, в уголку, река течет: отвели злодеи реку от города. Ни хлебушка, ни водицы в городе нету. И явись тут на поле два воина в белых одеждах, как Борис и Глеб, вот как раз на месте часовенки— и начини они татарву крошить саблями... Бьют-бьют, перебить не могут: татарина, как песку, в поле. Хоть и святые ангелы белорижцы были, а где же двоим осилить тысячи? Поустали. А народ на стенах сидит и на чудо глядит. Где бы на подмогу, а им и невдомек. Ангелам тоже людей на подмогу звать не приходится! Бог увидел — ангелов татары-то одолевают, рассердился, махнул рукой на престоле... Рухнула под татарами земля, откуда

ни возмись вода, а в воде рыба... Так озеро Чарымское на этом месте и очутилось. Народ от страха вповалку на землю. Поди, день лежал: голову боялся поднять от земли. Нашелся тут в городе дурачок Гришанька. Он народ-то дубовой палкой ну колотить по спинам, с земли подымать. Открыли тут ворота городские, пошли всем народом к озеру Чарымскому, а святые белорижцы на холмике лежат, благоухание от них идет ангельское. Похоронили их с почестями на том самом месте: однодневную часовенку выстроили. Гришанька народу открыл, отчего ангелам смерть пришла. В силе своей ангельской обнадежились. Господь бог в наказание им послал смерть, как и простым людям посылает. Вот какие, Манефьюшка, прежде страсти на свете были: бог людям показывался! А белорижцы как были спасители нашего города, так и остались. Кто им почтение оказывает, тому и удача и помощь в нуждах. Бог-то, видишь, души не чаял в дурачке в Гришаньке: из-за него и город спас от татар. Чарымское — божье озеро. Бурное оно, сердитое. А отчего бурное? На дне бог оставил татар живьем. Живут они там тысячи лет, стоят будто лагерем, на город глядят. Бог им тоже в наказание за Гришаньку да за ангелов обет дал: не будет-де вам смерти, покуда город не возьмете. Так сказал, а с места татары сойти не могут. Вот они и плачут и кричат тысячи лет, руками машут, головами трясут, на воду дуют, оттого и бури на Чарымском.

— Сама, сама слыхала, Анна Ивановна, как кричат. Шла я по бережку, в девках еще, погода такая ветреная, будто насквозь ветер продувает,— и стало вдруг не по себе так... Присела я на песочек, кровь глаза обожгла ровно, а в ушах гудут человеческими голосами... у-у-у... татары проклятые. Едва ноги со страху от земли отделила.

— Другие бабы смеются, Манефьюшка, к мужикам подыгрывают, а я верю — так это и было.

— Безо всякого сомненья, Анна Ивановна. Такое дело разве можно выдумать? Вместе пойдем к белорижцам. От сиротства избавили, заступники!

— Обсыхало бы только скорее!

Разлив стоял неделю, медленно отплескиваясь назад, оставляя льдины на дорогах, на огородах, на потопленных низких сараюшках, на собачьих будках. А в канавках, в ложбинках, в задворных прудах застревала чарымская рыба. Ловили ее тут намётками и вершами.

Пятился разлив и оставлял по себе короткую память: каждый год особенную. Долго еще летали над улицами чайки, кричали о рыбе, белыми гирьками сваливались за ней в мельчающую воду ложбинок.

По центральным улицам носилась пыль, серели оконные стекла, морил жар, в белых туфлях ходили женщины по начищенным метлами мостовым, а над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами, как в огромной прачечной, повисал балдахином седой пар чарымских вод.

Кашлял в тумане прохожий человек, закутывался тепло, глядел себе под ноги, а земля, будто мокрое белье в чане, хлюпала под ним.

И везли тогда по полой воде на кладбище каждый день хоронить рабочих от Бурлова, от Марфушкина, от Свешникова, от Мушникова. Везли, а за гробом кашляли Марьи, Агафьи, Лизаветы, а за платьем держались пристяжные — ребята с мокрыми носами. Увозили, а убыли не было: другие вставали на пустопорожнее место у станков, у котлов, у краснорожих печей, в проходных будках.

И сколько же народу рабочего на свете — не переведешь!

До Петровок, — считали бабы, — гостил туман-кашлюн, пока не высушали его рабочие груди, пока не впитался он и малым и большим весь и без остатка в нутро.

В первый бестуманный вечер, как на праздник, вылезали посидеть на крылечках, на скамейках под окошками, встретить лето, поглядеть на чистое вечернее небо, какое оно есть.

Переводились туманы, попросыхали улицы до первых дождей, можно было проходить в начищенных сапогах, кабаки торговали хуже и хуже, кабатчики сидели у дверей и шелушили семечки, белые шестерки от нечего делать лежали брюхами на подоконниках, ловили мух, мужики с бабами проходили мимо, не глядели, кабатчики напрасно делали зазывные поклоны.

Катил летний хозяин по небу золотобровый, обрастала земля зелеными шурами, наливались деревья ветками, листочками, плодами, шумела над землей мука белая, мука черная, мука пшеничная, от загара растрескивались просёлки, большаки, тропинки, — пережег, перепалил золотобровый, выпил весенние речки, ручьи, зачерп-

нул золотыми пригоршнями из больших рек, озер и морей.

Несло над землей болотною гарью, дымом трав, дымом цветов, крепким ржаным ветром, жаром зажженных глин и песков... Захлебывались на земле, как на горячем поду, и чистая и черная сторона городская.

А ночью на Числихе у Флора и Лавра сторож бил в набат: пожар на Числихе.

В тесных улицах долго и тревожно пахнуло гарью. Просыпался обеспокоенный человек ночью, — снился ему пожар, — и крестился. Будто смирнее становилось на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях, замолкали гармошки, песни, на сердце ложилась тоска, когда у соседа был неостывший покойник.

А потом вдруг в Ехаловых Кузнецях на всю улицу шум. Журжак с журжей не поладили, вынесли сор на улицу. Журжа в разодранной юбчонке выскочила в окошко, закричала, завизжала. Пьяный журжак выскочил за ней без пояса, с сапогом... На углу засвистел в свистульку городской, схватил журжака. Завысовывались из окон, из дверей, из ворот, из калиток головы, подола, сапоги, руки... Побежали со всех концов. Журжа плакала, закрывая стыдливо голый зад. Журжака ругали, пересмеивали, вязали веревкой и вели в участок.

Журжак упирался, как козел, обеими ногами, бодался головой, оглядывался назад через плечо и кричал на журжу:

— Ре-е-е-жиком заножу!

— Что деется, что деется, молодые хорошие! — шамкали старухи.

Журжака толкали в спину, тащили, помогали идти коленком. Журжа глядела вслед, жаловалась бабам на жите горькое, на побои журжацкие... Бабы стыдили за срам и жалели.

Отшумев, отсмеяв, отспорив, люд весело расходился. Мужики, разогретые журжей, лезли к бабам, те брыкались, посылали к журже, не откидывали руки от обнимки, льнули... Ребята-журженята сновали по улицам, названивая в звонкие колокольцы глоток. А журжа покачалась-покачалась за воротами, выглянула на улицу и, крадучись, заспешила в участок — освободить журжака...

И опять жизнь пошла по своему кругу, как часовая стрелка, шагая по черным ступенькам.

У кабака Митюша Козырь в перепляс плясал с гулящей девкой и визглявил:

У-стюшкина ма-а-ть
Собира-а-лась помирать,
Ей гроб теса-а-ть,
Она по полу пляса-а-ать...

По улицам ночью ходил буян Иван Просвирнин со своей артелью. В темных закоулках колотили встречного и поперечного, паляли из бульдогов, показывали большие самодельные ножи, с уханьем уходили в ночь, хохоча и слушая во мраке, как бежит напуганный человек по колкому фашиннику.

Приходили родины, свадьбы у Флора и Лавра, в Рощенье, на Крови, на Подоле, приходили гостины, праздники, именины, похороны. Любили, плакали, смеялись, пели на черной рабочей стороне...

Рвали рассветный и вечерний воздух гудки, ныли над крышами рабочих домишек, замолкали с воем, оставляя долго не умолкавший звенящий зуд в улицах, в тупиках, в переулках...

Над жизнью, над горем, над радостью, никогда не уставая, валил густой сажный дым красных фабричных труб. Будто стояли они дозорными, стерегли люд на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях, ходили за ним по пятам, загоняли в свои рыжие корпуса-корабли изо дня в день от шести до шести, от шести до шести.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стычка произошла в Ехаловых Кузнецях.

Иван Просвирнин катил свое большое тело на кривых ногах посереде дороги, давил крепко и густо сапожищами весенний чавкающий снег, мотал большой черной головой каждому своему шагу и нес на отлете стиснутый кулак, как маленький котелок.

За ним подхрамывал Клёнин, уставал догонять, напрыгался через силу, да шел враскачку Кукушкин, засунув руки в карманы ватного пиджака.

Навстречу не торопясь двигался Егор Яблоков. Сжав зубы, паля злыми темными глазами, Просвирнин положил на грудь Егору широкую пятерню, скомкал ее вместе с отворотами пальтишка, уперся в снег колесами ног и тряхнул.

Клёнин и Кукушкин невесело заухмылялись, пряча глаза где-то за плечом Егора.

Спокойно глядя в темную муть бесившихся глаз Просвирнина, Егор остановился.

— Ты помни, Егорка,— зашипел Просвирнин,— мы тебе пересчитаем ребра! Ты не мути на заводе. Двум медведям не жить в одной берлоге. По-о-нял?

Егор наморщился, крепко и твердо оторвал руку Просвирнина от пальто, своротил с дороги и сказал:

— Хорошо. Я понял. Но и ты кое-что запомни!

Просвирнин тяжело и грузно захохотал вслед уходившему Егору. Клёнин тихо подхохатывал, а Кукушкин щурился пьяными глазами.

— Егорка! Слышь, Егорка! — кричал Просвирнин.— Отчаливай к себе в Сормово! Ты нам не ко двору. Оглянись, что ли! Не беги!

Егор быстро уходил, глядя себе под ноги и ёжась в пальтишке.

— В другой раз! — сказал Кукушкин.— Никуда не уйдет. Пошли дальше.

— Мы-ста сормовские! Мы-ста путиловские! — кривлялся звонко и вызывающе Клёнин, переступая с ноги на ногу.

— Мы ему спесь выьем, ребята, непременно! — рычал злобно Просвирнин.

Вечером в окошко Егора забарабанили. Егор отвел в сторону ситцевую занавеску и вздрогнул. К стеклу прилипли глаза Просвирнина. Они смотрели в упор и не мигали — черные, горящие. Просвирнин потянул раму.

— Отвори, Егорка! Надо поговорить. Выдь на улицу! — и криво усмехнулся, продолжая тихо барабанить по стеклу.

Егор задернул занавеску, прислушался к заскакавшему под рубашкой сердцу, вытер вспотевшие вдруг руки о штаны, подошел к столу и сверху в стекло затушил лампу.

— Идет! — сказал торжествующий голос Просвирнина.

На крыльце затоптались. Кто-то пересмехнулся.

— Отойдите, ребята, на дорогу! — опять сказал Просвирнин.

Егор слышал в темноте, как ходили в груди часы, и будто каждый удар слышал бы всякий, кто зашел в комнату. Он ждал. Его ждали за окном. Устали ждать. Снова

тихо забарабанили. Барабанили долго и настойчиво. Егор порывался к окну и останавливал себя.

— Егорка! — звал Просвирнин. — Егорка! Трус! Выдь на минутку! Честное слово, не тронем. Поговорим по душам, Егорка!

Что-то долго и несвязно говорили на крыльце, а потом опять барабанил Просвирнин:

— Егорка! Хуже будет! Выходи на мировую.

Егор, скучая, переживал, когда уйдут. Ныло где-то внутри, в горле сохло и жгло.

Уходя, топтались на крыльце, заглушенно ругались, бросили в окно мокрым снегом. Ночью проходили мимо дома с песнями и гармоньей, останавливались, всходили на крыльцо, шарили раму... Егор отодвинул кровать к задней стенке и вертелся всю ночь... Так и началось главное.

За Егором следили, подстерегали его, вели с ним задирающие разговоры на заводе, на улице. Рабочая сторона твердила, шептала, думала о ссоре, ожидала развязки. Егора крадучись предостерегали. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы робели перед пьяной удалью Просвирнина, терпели давно и молча и шум и грохот просвирнинской артели. По ночам боязливо слушали топот проходивших по фашиннику ног, уханье и рев песен, плотнее прикрывали рамы, тушили огни, с опаской выходили за ворота, прятались к заборам, убегая от голосов шнырявшей во мраке артели. Городовые заискивающе усмехались на проказы Просвирнина и козыряли ему днем. В кабаках, трактирах Просвирнин пил и ел, ни за что не платя. Вваливался он с опущенной черной головой, хлопал наотмашь дверь, подходил к стойке и кричал:

--- На-л-лей!

За ним подходили другие. Бежали шестерки, размахивая ручными салфетками. За столиками рабочие будто приседали и становились вровень с бутылками, с пивными кружками, стаканчиками. Затихали пьяные. Кабатчики услужливо торопились, хватали графины, выплескивая щедро водку дрожащими руками, наливали через края...

--- Закусочки-то, закусочки-то! — стрекотали голоса.

— Н-не на-до! — хрипел Просвирнин. — Нал-ли-вай ребятам.

У стойки темной грудой громоздилась просвирнинская артель, пожирала закуску, лазила руками в тарелки,

опустошала графины, роняла и била посуду, харкала и сплевывала на пол, топталась на плевках — и гомонила между собой, не глядя ни на кого в трактире.

Потом артель проходила на чистую половину. Шестерки таскали туда графины, бутылки, подносы с закусками. Рывкала трехрядка просвирнинского музыканта Сашки Кривого «Дунайские волны» и наполняла кабак плачем и стенанием. Просвирнин запевал, артель подхватывала — начиналась гульба. Из кабака, кто поосторожнее, поспешно уходили.

Иногда уходить не удавалось. Просвирнин рассаживался у стойки и никого не выпускал. А то обходил столы, всматривался в лица, наклоняясь низко горящими глазами, поднимал руку и бил. Завязывалась драка. Бились кулаками, стульями, выхватывали ножи, валили на пол, хрипели на полу и топтались ногами.

Трактир пустел. Тогда Просвирнин подходил к кабатчику, накреньясь вперед своим широким, как полотнища дверей, телом, как бы глядя, брал его за бороду, всматривался в открытые глаза, убежавшие в стороны, и шипел, злобно беснуясь:

— Зов-в-и полицию!

Кабатчик робко делал улыбку. Как собака перешибленной лапкой, махал рукой и выдавливал подобострастно:

— Куда уж, Иван Иванович? На друзей жалоба — срам.

Просвирнин держался за бороду, скрипел всеми зубами, подрагивал лицом и быстро отдергивал руку. Кабатчик вытирал на лбу пот, метался за стойкой, переставлял посуду, выдвигал кассу в замешательстве, звенел рюмками.

Просвирнин молча качался у стойки и наконец протягивал поверх графинов и закусок темную и грузную ладонь:

— На артель царских!

Кабатчик радостно совал кредитку и пожимал лапу, со смешком закрывая ее своей ладошкой. Сашка Кривой играл марш, шестерки распахивали двери, и артель гуськом вышагивала на улицу. Так Просвирнин поочередно обходил все кабаки и трактиры на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах.

Хмуρο и молчаливо бил он кувалдой весь день в кузнечном цеху после бессонной ночи, пил коростными губа-

ми воду из бачка, глядел на горящее железо красными глазами и косился на бригадира.

В шесть часов за проходной будкой собиралась из разных цехов его артель и вместе шла в город.

Ночью к ней прибавлялись свешниковские, бурловские и мушниковские. Артель выходила на гулянку.

Была у Просвирнина журжа — Аннушка, мойка на винном складе. Девушки бегали от Просвирнина. Увидал он Аннушку на улице и стал ходить за ней неотступно. И пьяный и трезвый болтался у ворот Аннушки, сидел на мостках и поджидал, опустив голову в землю, просиживал ночи, бил у ней стекла, ломал палисадник. Потом пришел к ней ночью и сделал ее своей журжей. Аннушку утром вынули из петли — отходили. А на другой день она сама пришла к Просвирнину и осталась у него.

Когда приходил Просвирнин в ярость на улице, перегораживала его артель поперек улицу, разгоняла гулянку, била и громила кабаки, разворачивала перила, — бежали бабы к Аннушке и звали ее.

Аннушка торопилась с бабами... Тогда люд смеялся. Просвирнин останавливался с занесенной рукой, оглядывался по сторонам, застенчиво улыбался, утихал, охватывал огромной рукой за плечи маленькую, как девочку, Аннушку и, покачиваясь, смолкая, ступая в короткий шаг с ней, уходил.

— Что подол делает! — гоготал люд сзади.

А потом нещадно били Кукушкина, Клёнина, отрывали планки у гармоньи Сашки Кривого, выдергивали волосы у Алешки Егорова, гнали их с улюлюканьем и гамом вдоль улицы. Ребята на подмогу отцам пуляли по ним из рогаток, бабы кидали чем попало и визжали.

Потом приходила расправа с обидчиками. Просвирнин вымещал за товарищей: пускали в ход ножи, трости, кастеты, проламывали головы, дробили ноги, укорачивали жизнь. Били заодно городских, отнимали шашки и ломали, били проходящую публику, стаскивали извозчиков с сиденья, гоняли по улицам на извозничьих клячах, бросая их у кабаков, попадали в участки, где их, в свою очередь, в холодных били пожарные.

После побоев подолгу отлеживались на квартирах и сидели неделями в арестном доме на Кобылке.

Стихала тогда жизнь на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях, мирно и трудно катясь надсадной работой, плясками, песнями... Аннушка ходила — краше в гроб кладут.

Но дни прятались за дни. Будто на многих тройках с колокольцами, с ширкунцами вдруг вырывался Просвирнин из-под запора и наверстывал потерянные драки, буйства, поножовщину.

— Вышел! — говорили на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях.

— Изводу на него нет!

На всех фабриках и заводах раздавался гул от первой ночи, повисали над каждым угрозы расправы, страха, тревоги. Из месяца в месяц, из года в год.

Егор работал с Просвирниным на железной дороге в мастерских. Цехи были рядом: токарный и кузнечный.

Еще не освоился Егор в мастерских, но уже знал всю подноготную Просвирнина: нашептали товарищи, наговорили ночные крики на улицах. А на пятый день Просвирнин подошел в перерыв к станку и сказал:

— С тебя, Яблоков, надо литки с поступлением! Ставь четверть! В получку разопьем. Иде-ет?

Токаря кругом засмеялись.

— Дешево и сердито, — продолжал Просвирнин. — Без отступного ничего не выйдет.

Егор близко всмотрелся в Просвирнина и ответил:

— Я не пью.

— Невелико дело. Мы за тебя выпьем. Верно, ребята?

Токаря снова засмеялись, но ничего не сказали.

— Так приготовляй четверть, Яблоков, — уходя, кинул Просвирнин, — дожидаться будем. Не ты первый, не ты последний. Порядок такой.

Красный, Егор усмехнулся и сощурил левый глаз щелочкой:

— Посуленного три года жди. Не пришлось бы тебе, Просвирнин, из своей четверти наливать!

— Поглядим уж.

Токаря обступили Егора:

— Чёрт с ним — поставь! Беда будет!

— Со всех берет. Изувечит разбойник. Все откупались. Раз пристал — не отвяжется. Ты не знаешь его. Плюнь! От греха подальше.

Егор твердеющим голосом заговорил:

Нет, ребята, этому потакать нельзя. Свой со своего тянет! Его надо в выучку. Он на испуг берет.

— Смотри, Яблоков, каяться будешь. Эта сволочь не в пример другим... Нахрапом возьмет.

В получку снова пришел Просвирнин:

— Яблоков, как насчет литок-то?

— Да все так же,— отсмеивался Егор.

— Не поставишь?

— Не поставлю.

— Твердо?

— Как камень.

— Твердый ты человек. Только мы не таких твердых видали,— угрожающе загнул Просвирнин.— Без магарыча ты со мной каши не сваришь. Попомни!

Токаря заотдвигались и стали уходить.

— Я с тобой варить каши и не собираюсь.

— Так... так...— раздумчиво догнусавил Просвирнин,— в наш приход со своим уставом, как попы говорят...

Приходила получка за получкой. Просвирнин приставал. Пьяный, поймал Егора на улице и затащил к себе. Дома обхаживал Егора.

— Ты со мной подружись, Яблоков,— бормотал он,— я за тебя, ты за меня. В кулак зажем завод, как у Аннушки!

— Ты и так завод в кулаке держишь,— отвечал Егор.

— Один ты покориться мне не хочешь. А я тебя согну. Честное слово, согну. Ты передо мной, как моля перед щукой. Я заглотну тебя.

— Костей во мне много.

— А я костоправ. Чавк, чавк — и готово.

И когда Егор вырвался от Просвирнина, тот высунул голову в окошко и долго глядел ему вслед пьяными глазами, будто примеривался, с какого места лучше схватить Егора.

На другой день Егор встретился с Аннушкой. Остановились. Встретились еще раз. Поговорили. А потом зачастили встречами, держали друг друга за руку и не могли накупаться: он в серой, она в синей воде глаз. Люди увидели. Сказали Просвирнину. Тот приметнее заскользил взглядом по Егорову лицу, а взгляд — будто уголь горячий выскочил из красной топки.

И началось: артель на артель — артель Яблокова, артель Просвирнина. Аннушка с фонарями на лавочке у дома сидела, а из окошка с нее глаз не сводил Про-

свирнин, травинкой доставал до щеки. Вдруг затихло на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах после фонарей Аннушкиных, будто шайку свою распустил атаман. Целый месяц Просвирнин ни с кем не сказал на заводе слова, не видали пьяным на улицах, сидел дома сидень сиднем.

— Очухался, дьявол!— говорил люд.

— Стережет Аннушку.

— Ай да Яблоков!

— В середку ударил.

— В середку не в середку, а около этого.

— Несдобровать ему, мастеровщинка! Могилевской губернией смердят делишки. Просвирнин, он за Аннушку под кувалду ляжет. И баба тоже сера. Напополам к обоим прилипла.

— Чья только возьмет? Егор — тот исподтишка, ребята, ножку подставит,— Ванюха с оглоблей разбежится, а Егор его и пырнет...

— Ишь ты! Егора руку удержишь?

— А ты чью? Кому не насолил три раза на хлеб Просвирнин?! Кому?

— Да ясно, всем.

— Общее дело. Просвирнин — хуже болезни у нас. Сторона наша из-за него двор нечищенный: вывозить надо. Зажал, прохвост, всех кучей и в одиночку, как лед в половодье в зажорах.

— Отдубасить его, чтобы закашлялся... чтобы не для чего было с постели вставать — заживет вся сторона без шуму и скандалу. Ведь выйти, ребята, нельзя без опаски! Бабы, будто запрещенные, с сумерек носу не показывают на улицу.

— Гляди за Егором — и весь тут сказ! Он не промахнет!

А Просвирнин с артелью опять забушевал. Вырвался с черной половины на бульвары, выкорчевали в ночь все скамейки, покидали в канавы, повыдвигали вверх тормашками на дороге и кресты, перегасили фонари, пооборвали телефонные проволоки и переплели улицы.

Утром водили на допрос. Никто не показал против. Обошлось.

Он гулял, а Аннушка, видели, к Егору ходила: полушалак на глаза.

С субботы на воскресенье занабатили на Подоле, на Крови, в Ро́щенье. Задержнулось темное небо кумачом с горошком-искрами, поплыли багряные облака по красному киселю, заныряли вороны в беспамятстве с головешками рядом и закричали коротко и дико.

На Числихе из окошка через дорогу баба на ухвате горшок соседке в окошко подает: не домá — растопка огню. Занялась улица, будто прострелило огнем целый порядок, а крыши тут и там повязались красными платками. Побежал народ с ведрами, с пожитками, с малыми ребятами на руках; заверещали свиньи, свинушки, замывчала телка, замыукала на трубе кошка, примерилась перескочить огонь и на лету вспыхнула красной головешкой; баба, сарафан на голову, кинулась в дым и смрад, вынесла обгорелый узел с тряпьем; Иван Просвирнин в вышибленное окно выкидывал Аннушке всякую рухлядь, рубаха на нем шаяла, жгла; напротив затягивали домишки мокрой парусиной и поливали с крыш из ведер и леек.

Огненный паводок разливался без уёма, как чарымские воды весной. В треске углей, в сухом шуме красной огненной воды плескались острые людские крики, рубили разогретый воздух неугомонные голоса суетившегося люда и горько плакали детишки.

В улице было тесно от народа. Одни стояли и глядели блестящими, отражающими огонь глазами, другие носились с вещами в окна, двери, складывали вещи грудками на улице, проталкивались с бранью между ленивого люда. Вместе с другими заводскими Егор едва волочил ноги от усталости. Аннушка сидела на своем скарбе и мельком, когда проходил он с кладью, касалась серыми дозорами глаз до его темных от сажи рук и разорванного пиджака. Проходил мимо Просвирнин, таща в одиночку кадки с огурцами, с капустой, набитые одежкой сундуки, деревянные кровати, поднявшие над ним раскоряченные ноги с паутиной и пылью. Аннушка глядела на его круглые и кривые ноги, уминавшие развороченный фашинник. Он косился на нее острым зовущим взглядом.

Из города любовались на алые крылья зарева: каждый год горели Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы. Побайвалась ходить благородная публика на черную

сторону! Посылала пожарные машины. Пожарные гнали из города с колокольцами и трубили в медные рога. На мосту у бульвара машина села колесами в деревянную труху, лошади вырвали передок и проскочили в переулок без машины. Пожарные побежали за лошадьми, тпрукали; шатались из стороны в сторону факелы, как пудовые свечи в церкви, и поджигали ночную темноту. Другая машина по кальям и вымоинам ползла в объезд с Кобылки, доползти не могла.

А Числиха горела не торопясь, выгорала сколько надо. Подпрыгивал на лошади пожарный верховой со свечой, опрометью кидался обратно, швыряясь факелом, прискакивал снова. Пожарные бросили машины, прибежали с багорцами, с топорами. Медные головы запылали от огня зеркалами. Багорцы заковылялись в воздухе: тянись не тянись — не дотянешься, нет подступа, невтерпежку от огня. Пожар дул жаркими воротами красных губ — отодвигал и люд и пожарных. Голоси не голоси, бабы, — до пустыря выгорит!

Просвирнин уселся около Аннушки и заглянул ей в лицо. Аннушка повела уныло в сторону и передохнула. И сразу Просвирнин стиснул кулаки, наклонился вплотную к ней, трясущимися губами зажевал воздух и полувывизгнул:

— Я... тебе... гляделки вышибу!

Аннушка сжала плечи, будто хотела спрятать в них свою маленькую голову, передвинулась на другой узел и чуть прикусила губы мельчайшими зубками.

— Я ему... кишки выпущу... Перемигивается! Не вижу, думаешь, я? Стибря вот сейчас при всем народе... и в огонь его брошу... Из-за тебя на пожар пришел. Узлы наши таскал, сволочь. Твои узлы...

Аннушка вдруг засмеялась и зажала рот, испуганно оглянувшись на осуждающие людские глаза. Просвирнин недоумевающе раскрыл губы. Аннушка быстро, как колокольцы под дугой бегут, зашептала ему:

— Аника, дурак, воин! Егора разве знал, у кого пожар? Головой, как бабьим подолом, сплетни подбираешь! Постыдись! Для растравы тебе говорят! А ты, как бык, рогами бодаться! Говори лучше, где жить теперь будешь? Такого разбойника никуда добрые люди и не пустят.

— Не наводи тень, Анна,— успокоенно отвечал Просвирнин,— я тебе замок знаешь куда повешу? Не дожить мне теперь. Наплевать мне на все.

— Что, на улице кровать поставишь? Спи без меня. Сам к Егору толкаешь, пьяница! Позвать, что ль, Егора сюда? Посмеяться над тобой, козулей?

— У-у! — заскрежетал Просвирнин зубами.— Дохлая кошка.

Пришли пешим строем солдаты к шапочному разбору, перегородили улицу, оцепили вещи, отогнали люд, не подпускали к пожару. Огонь к утру устал, будто застылся своего ночного разбоя, улегся на последних красных венцах срубов.

И опять золотобровый вышел из-под земли, кинул золотыми веретенами в землю, опутал ее золотой пряжей, зазвенел на золотых шапках церквей, поплыл золотой лодкой по чарымским глубинам, золотыми листьями расплавился в окнах на Числихе.

Покатилось, как раззолоченная карета, утро. Шипело, и шаяло, и тлело пожарище.

Будто выдернули у Числихи зубы во рту, оставили гнилые корешки на разводку — печи голландские, русские, чугунки... Стояли они на пепелище каменными застывшими чернецами.

Вон на шестке опрокинулся глиняный горшок с обожженной кашей. Вон торчало опаленное уцелевшее крыльцо с распахнутыми дверями, а кругом — обгорелая пустота. Вон два столба остались от ворот, как две поднятых к небу обугленных кумельки. Вон скворечник покачивался на длинном шесте, словно игрушечная курная изба.

Улицу заняли столы, табуретки, укладки, деревянные кровати, кадушки, корыта, детские санки, глиняные корчаги и нечищенные ведерные самовары.

Ушли пожарные. Разбрелся понемногу праздный люд по домам. Погорельцы сидели на своем закопченном скарбе и молчали. Около баб влежку спали ребятишки. Постарше играли землей, дрались, жаловались матерям.

Заводские кучками толпились около погорельцев, ободряли баб шуткой, голосом, доброй усмешкой.

— Мы вот тоже в третьем годе погорели, ровно с купки нагишом на улицу выскочили. Думали — шабаш: из построя вывалились навсегда. А ничего. Обошлось. Забывать стали.

— Забудешь тут!

— И пожар из-за ничего вышел — из трубы печку выкинуло.

— Кому смешки, а кому слезы каменные.

— Из одёжи что осталось?

— Одежду-то всю вытаскали. В чулане деньги сгорели.

— Чулан денег был?

— Чулан не чулан, а на первое обзаведенье хватило бы.

— Деньги — дело наживное. Сам на сверхурочные насядет. Товарищи помогут. Оправитесь, матка! Вишь, ребята из песку дом строят. Значит, дело будет.

Бабы повертывали головы к детишкам и горько усмехались.

— Страховку, братцы, всем надо делать. А мы всё отлыниваем, думаем, надувательство. В городе кажинный дом с бляхой от страхового общества. Как пожар, сорвал бляху — и в карман. На другой день — в контору. Подаешь бляху, а тебе деньги отгребают лопаточкой. Пожарный заработок!

— Наши дворцы в страховку не примут. Страховщики нороят по каменной части... Где безопасно...

— А как же в деревне? Там только церкви каменные да фундаменты: на тыщу верст пол-аршина.

— Мужики обществом страхуют в земстве.

— И нам так надо: собраться улицей.

— Бёз года неделя на Ехаловых был пожар. На Зеленом Лугу на одной неделе три раза загоралось. Смотри — теснота-то какая! Не дома стоят, а штабеля с дровами, деревянный порошок. Чиркни спичку — и пошло. Удивленье берет — горим мало. Другой раз думаешь — на растопку живем. Ребят бы только вытащить на случай пожара.

— И пожарные тоже черти... к концу пожаловали. Дураки, ходят надо всем городом на каланче: глаза по ложке, а не видят ни крошки.

— Пожарные ни при чем. Тут никто не поможет, когда к огню подступа нет.

— Городскому голове по шапке надо. Вот что. Думе. Они, брюханы проклятые, около своих домов щебеночкой усыпают, панельки устраивают, садики разводят, а нам от городских денег ни шиша не остается. Мы на болотинедохнем, в грязи, в канавах. Разве у нас улицы? Не улицы у нас, а скотий прогон в деревне осенью. Как

тут не гореть, когда к нам никакая помощь не доскачет из-за мостов да из-за дорог. А и доскачет — пользы не больше. Где у нас вода, водопровод? Из бочки пожарной да из ведерка пожар такой заливать — смех. Такое приспособление для самоварной трубы в пору, а не для пожара.

— С мостков и начинать надо.

— По-настоящему, всю нашу стройку следовало спалить к черту, — сказал Тулинов. — Ровное место оставить. Навалить заново земли, укатать катками, как бульвары делают, размежевать по ниточке и каменных домов построить. Улицы тоже в камень. И чтобы не гуськом по улице ходить, а шестерке лошадей в любом месте поворачиваться. Водопровод там в каждую квартиру, газ, электричество. Так за границей живут рабочие.

Старик токарь Кубышкин насмешливо ухмыльнулся на Тулинова и заскрипел тоненьким, как у девочки-малолетки, голоском:

— Ишь ты, поскакун какой! Приехал из Америки на зеленом венике! Дай тебя одернуть маленько. По книжке говоришь. Не подумал, какие капиталы надо для этого? Да я, может, в каменном доме, ты меня спроси, и жить не желаю! Мне деревянной давай.

Егор подтолкнул Тулинова под локоть и засмеялся. Тулинов разъярился на Кубышкина:

— Ну, что же? Можно, кому надо, деревянных построить. Капитала хватит. Объяви нам всем на улучшение нашей жизни, да мы все бы помогли устройству.

— Да! На словах помогли. Сам первый лататы бы дал. Заграница, заграница! Дальше своей перёгороды не бывал, а тоже заграница! Побасенки одни. Там небось рабочим не много чище нашего живется! Сколько мастеров в России из немцев? Чего им надо у нас, ежели у них благодать? Лезут — отбою нет. У себя житье славят, а лезут к нам. И выходит по пословице — всякий кулик свое болото хвалит.

Вдруг Просвирнин замотал своей тяжелой головой и зарычал на Кубышкина:

— Чего же тебе тогда надо, чертова перечница? Не знаешь? Ты куликом и выходишь, раз не способствуешь хорошей жизни.

Кубышкин ёрзнул на месте, поперебирал ножками и запищал:

— Потихе, потихе, Ваня! У старого человека язык может поперхнуться со страху или от параличу отнимется. Ты вот у нас до того деспособствовал жизни на Числихе, во святые угодники тебя надо.

Все засмеялись, громче всех засмеялась Аннушка. А Просвирнин не спускал глаз с Егора. Егор это чувствовал, пересилил себя и будто ничего не слышал. Тогда Просвирнин оборотил свое лицо к Аннушке и прикрикнул на нее:

— А ты чего, дура? Что тебя, ангелы тешат?

— Какое уж тут ангелы! — хохотала Аннушка. — До ангелов ли тут, когда о тебе разговор идет!..

Аннушка остановилась, бросилась глазами в Егора и лукаво спросила:

— Правда, Егора?

Просвирнин зашевелился на месте; все переглянулись. Егор смущенно кашлянул и не ответил ей.

Кубышкин зазвенел дальше:

— Языком, Ванюша, не много наспособствуешь! Ты делом способствуй. Ежели бы человеку дать такие руки, как он в мыслях своих раскладывает, да он бы с неба все лишние звезды снимал.

— И снимаем, — заволновался Тулинов.

— По-твоему, пентюх, — опять вмешался злыми глазами и дрожащим голосом Просвирнин, — лучше рылом в чей-нибудь сапог тыкаться? Ваксу на рожу переносить?

Тут рассердился Кубышкин:

— Бормота ты, бормота! Вошь всегда думает о себе не меньше, как о слоне. Вот и мы так. А на самом деле рубаха на тебе есть, а ворота у рубахи нету. Ты, Ваня, кузнец, а повадка у тебя баринова, баринова, анбиции в тебе, как пару в котле.

— От таких, как ты, и горим, — завизжал в негодовании Тулинов. — Где бы всем заодно, душа в душу, по согласу... У тебя один смысл, у другого тысяча смыслов. Соедини зараз — гора треснет. А по-твоему, наплевать друг на дружку. Я тебе скажу для примера. Смотри с неба луна. И всё равно ей, что мост, что человек, потому — дура она. Ты на луну похож.

— А ты Брехун Брехунович! На одном месте не две вырастают разные ягоды? Посмотреть на тебя: будто пальто на тебе сидит, а оно, видишь, рядом повешено. Ты с налету думаешь. А налетишь на столб, лоб не устоит. Ты столб подрой сначала, покачай его, он и ляжет.

Улучшение жизни от себя приходит. Всех ты обвинил — и пожарных, и голову, и Думу, а себя позабыл. Мы спяна огнем пренебрегаем, осторожности у нас нет, в порохе закуриваем...

— Лысина у тебя, как у апостола, а рассужденье, как у быка у пестрого. Песочница ты старая! — бросил злобно Просвирнин. — У-х! Так рука и зудит у меня. Все к черту надо перекувырнуть! Все вверх пупом надо поставить! И нас всех к черту! Спать, сжечь, в ступе истолочь!..

— Ты, ты, Кубышка! — кричал во всю мочь Тулинов, прыгая на месте. — Ты уставишься в одну точку — мигать разучился. От самих да от самих... Мы-то отчего такие, не подумал? Оттого, что на сквозняке живем, дует во все пазы, во все щелочки, спина от работы колесом, глаза в землю глядят — деньги ищут, не потерял ли кто? Я тоже хочу удовольствия. Обмыться я хочу от грязного положения. Почему им можно, а мне нельзя? По-твоему, попал человек в лужу, век ему сидеть в луже? Правильно я говорю, Егор?

— Правильно, правильно, — отвечал Егор, — я за тебя стою.

Просвирнин оскалил зубы на Егора и задирающе швырнулся словами:

— Яблоков за чужих баб стоит, а больше ни за кого. Он баб улачивать мастер. Ты, Тулинов, держи от него свою бабу подальше.

Швырнулся словами Просвирнин и приподнялся на руках, будто хотел прыгнуть на Егора.

— Оставь с глупостями! — заюлил Тулинов. — Дай до шабашу спор довести. Кому чего, а тебе все одно! За своей бабой следи! На чужих баб нечего тыкать. Была бы сучка, кобель найдется!

Аннушка весело захохотала. Заводские поддержали смешком. Фекла Пегая, вдова, по ляжкам себя похлопала и насмешливо на Просвирнина надвинулась:

— Егор Петрович не тебе чета! Любая баба не откинет такого молодца.

Просвирнин потемнел и обвел всех загоревшимися глазами:

— Бабий угодник!

Егор и тут промолчал, пряча свои глаза за глядевшую на него в упор Аннушку.

Старый Кубышкин схватил Тулинова за пиджак и подтянул к себе:

— А я, а я тебе скажу — жизнь улучшение помаленьку делает. Ты, ты не Тулинов, а Петушков. Ты, как петух, зря горланишь.

Тулинов взъярился на старика:

— Да кой черт, наконец? Мне вот годов немного, а лет двадцать помню назад. За двадцать годов на Числихе два фонаря новых поставили да пять полицейских будок срубили. Какая мне от этого корысть? Я будто гляжу в окошко с постоянного двора на жизнь, а она — чужая, а мы — приезжие...

— Ты занозишься не по плечу, Тулинов! Не в этом главная суть. Хлеба край — везде рай, нет ни куска — везде тоска.

— Тебе и хлеб-то Христа-ради подают. Как собаке голодной на весу показывают, на нос кладут. И сыт ли ты по-настоящему, вот что скажи? И много ли ты сыто? Раи твои вешнего снега недолговечнее. Навалится хворь из-за спины, капиталов твоих на чуни не хватит. Не от болезни, сначала от голоду ноги протянешь.

Кубышкин засмеялся мелким, дробным, как песок, смехом:

— Помирать все равно: что на полу, что на постеле. На Числихе мрут, на городу мрут. Смерть — баба расхожая. В комнату войдет — ни крестом, ни перстом от нее не отмахнешься. Господь бог, я тебе скажу, не только что людей, лесу не уравниал. Ежели я прозываюсь Микиткой, Митрея из меня не сделаешь. Ваше степенство так и останется вашим степенством. В тебе пустая зависть живет. Ты, видно, около студентов пиджаком потерся. Они заразительные.

Тулинов махнул рукой:

— С тобой говорить — только мертвого смешить.

— А у тебя, видно, загривок нетронутый. Не насовала тебе жизнь вот сюда, сюда, как следует...

Кубышкин потыкал себя под бока, в шею, в губы, подергал себя за кустики волос около лысины, в живот себя кулаком пырнул...

— Ты на готовое в жизнь пришел и артачишься... Конь ты с норовом, больше ничего. Легко с места тронуться, а попробуй обжиться на новом: слезы по заднему месту потекут. Поумнее нас с тобой люди порядок установили. Знали, что делают. Не тронь его, щепнем

завалит, браток. Со временем все придет, чему придти надо.

— Само придет? — сердито нахмурился Егор.

— Само не само, а придет. Не от нас с тобой, а от жизни. Раньше вот человечье мясо за говядину считали, а нонче разве ты станешь кушать человечину?

Фекла Пегая, вдова, рассердилась на старого Кубышкина, затолкала, затормошила его, закричала над самым ухом:

— С голоду не то что человечину, крысу с головки обсосешь. Нам не привыкать голодать. Ты вот брюхо-то из-за пояса распустил чего? От голоду? Жир копишь, пониманья для других людей лишился. А?!

— Постой, баба, ноги мне давить на старости лет, — отпихнулся Кубышкин, — поотдались малость. Я тебе скажу, отчего с комара дождик скатывается. Оттого, что комар жирный. Вот и я такой жирный. А тебя от голоду на колокол, похоже, разносит. Смотри, у тебя сиденье-то будто карета.

Фекла застыдилась, откачнулась от старика и выкинула напоследок:

— Чем укорил, пень старый! Нездоровьем укорил! Мне хуже хомута карета-то эта. Назад брюхо перевешивает.

— А ты не поддавайся, — засмеялся Кубышкин. — Грузило спереди подвяжи.

Тулинов сморщился на старика и с сердцем сказал ему:

— Ты все притчами говоришь, от дела бегаешь. Ездют на вашем брате, кому ездить охота, наездиться не могут. Где бы всем миром лес корчевать, ваш брат на карачках ползает, дорогу загораживает другим. Тьфу!

— Ох вы, корчевальщики! — обиделся Кубышкин. — Двум собакам шей не разлить, а туда же! Проветрись, парень, проветрись от угару! Угар у тебя, должно быть, в голове от пожара?

— Эх, народишка!

Снялись солдаты с охраны. Разбрелся, нехотя двигаясь, остальной люд. Зазвонили к утрени у Флора и Лавра, на Подоле, в Рощенье.

Шаяло и тлело пожарище и дымило над погорельцами. А они сидели часами терпеливо и молча.

На полдень заныли гудки у Свешникова, у Марфушкина, у Мушникова. Торопливо шли мимо рабочие

с работы и на работу, сумрачно взглядывали на шающую рану пожара, опинались около погорельцев — и уходили.

— Где сам-то?

— Квартиру ищет.

Бабы жевали хлеб, кормили грудью детей, закрывали груди снятыми с головы платками, застранили от мух полусонных сосунов, застранили от золотобрового, глядевшего на землю через золотую трубу в темечко, в слипшиеся жаром мешочки век.

Пошел люд от обеден. Стали подъезжать одиночки-ломовики на дрогах. Задвигались, как живые, столы, кровати, укладки, корчаги и замелькали над улицей, усаживаясь на дроги в тесноту, друг на дружку верхом. Люд дружно помогал. Поклали вещи, освободили улицу от постоя, и возы со скрипом поползли по Числихе на новые квартиры. Бабы несли детей, мокрыми глазами прощались с привычными наседалами, оглядывались на свои старые кухни и крылечки, оступались о фашины. Мужья шли рядом с возами, поддерживали дорогую кладь в ухабах и рывтинах, подставляли плечи под накренивавшиеся возы, заботливо одергивали слабнувшие веревки увязок.

— На Зеленый?

— В Ехаловы?

— На Кобылку?

— Квартира ничего. На дворе свой колодец.

— Тараканов зимой выведем — выморозим.

— Оклейки нет, беда. Газетами оклеена.

— Цена подходящая.

— Свиной есть где держать?

— В дровянике сделаем помещение.

— Прилуцкие там живут. И скорняки.

— От завода малость подальше. Ходьбы больше.

— Раньше вставать.

— Спать теперь некогда. Сызнова надо к колышку прививаться. Эх, все дымом вышло! Будто теперь и беднее нас на свете нету!

— Отойдем. Судьба и попа женит!

Последний уехал Просвирнин. Он стерег свой скарб, усевшись на железный сундук; он не сводил усталых от бессонницы глаз с пожарища и хмуρο здоровался с проходящими рабочими. Никто не останавливался около него, обходили груду вещей второпке и не отглядывались. А спины ухмылялись над сторожем. Сашка Кривой

принес водки. И они роспили, попеременно булькая в рот из горлышка.

Аннушка ушла искать квартиру. Вернулась она поздно с ломовиком, к вечерням. Просвирнин засуетился около нее, Сашка Кривой начал складывать вещи на дроги. Поехали. Аннушка грустно шла за возом, как будто на возу стоял гроб. Просвирнин робко заглядывал на нее сбоку и молчал.

Вдруг она остановилась и злобно сказала ему:

— Ты не ходи! И Сашки не надо! Потом придешь. Насилу пустили. У Спаса на Болоте за углом третий дом. Я одна. Ломовик поможет.

И пошла.

Просвирнин и Сашка Кривой отстали, немного подошли, остановились, Сашка Кривой громко чему-то засмеялся, а потом повернули обратно.

После запора кабаков и трактиров Просвирнин в разорванной вдоль спины рубаше, без шапки, с пивной бутылкой в руке, впереди своей артели переходил из улицы в улицу и скандалил. Сашка Кривой разводил на гармонье. Кукушкин тащил железную трость и хлестал по воротам, по палисадникам, по рамам. Клёнин носил пиджак Просвирнина и во все горло горланил, кончая и начиная снова, без передышки и остановки:

Милка моя,
Подманилка моя!
Не успела подманить —
Стали люди говорить!

— Эх, говорить! — стонал во всю грудь Просвирнин и размахивал бутылкой.

Артель топотала и ухала на улицах, била прохожих, щупала баб, загибала подолы, тащила в темноту от фонарей, бабы кричали и вырывались под хохот гуляк, звенели и рассыпались оконные стекла, стекла фонарей, где-то плакали, кричали, в темноте слышался свист полицейских, будто кто беспрерывно бросал на фашинник костяные шарики и они катились сотнями, тысячами с фашины на фашину.

Под утро ворвались на Кобылке в публичный дом, разогнали гостей, заперлись там, выпили все вина, всю водку, ходили попеременно в зеркальную комнату и брали голых проституток на полу, на коврах...

С ревом и гвалтом снова выкатились на улицу, шатались от палисадника до палисадника бегущими ногами,

ломились с заднего крыльца в трактиры и яростно стучали по ставням.

На Зеленом Лугу вдруг наткнулись на Егора, вынырнувшего из переулка.

— А-а-а! — закричал Просвирнин, схватил его в обхват вместе с руками, стиснул, дрожа и воя, впился ему в глаза черными огнями глаз, еще раз крепко прижал к себе, словно боясь упустить, а потом быстро оттолкнулся и с размаху ударил по лицу.

Кинулась, беснуясь, вся артель к Егору, смяла его, сдавила, закружились, как крылья мельницы на ветру, кулаки над ним, сверкнул лунным блеском нож. Егор пронзительно закричал никому не знакомым плачущим голосом. Потом крик смолк, но кричало еще в утреннем свете затихающее эхо, и другое, сухое, деревянное эхо сразу возникло в улицах: по фашиннику убегали от перекрестка. Егор остался лежать темной грудкой на дороге.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На Крестовоздвиженскую ярмарку подул ветер с гнилого угла. И раздулся на две недели. На Покров пришла настоящая осень. Коровинские мельницы днем и ночью махали черными крестами крыльев. Чарыма вздулось беляками и выкатилось на луговины. Сивые невода тумана оплели Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Будто выжимали на небе невода, и дождь мокрыми вениками мел крыши, улицы, мостовые. Проточные канавки пузырились, и пузыри гонялись друг за другом. По желобам с крыш бежали дождевые воды и лились через края в замачиваемые кадушки. Ветер, как ястреб, треплющий птицу, кидался на деревья, и, как летящие перья терзаемой птицы, летели алые и темно-бронзовые листья. В глотки труб забирался туман и глушил гуд, а ветер подхватывал его, как легкий пух, и отшвыривал за город, за Чарыму. По скользким деревянным тротуарам с работы, на работу, подняв воротники пальтишек и пиджачонков, бежали рабочие, бабы шлепали заброженными подолами, волоса бабьи слипались с платками, водовозы с мешками на головах катили по мостовой, а в бочках бултыхалась и булькала вода.

В октябре Егор первый раз пришел в мастерские. В руках не было прежней уверенности, они подраги-

вали. Глаза Егора напряженно следили за ними. В перерыв обступили токаря и зашумели:

— Побледнел, Егор! Как выжил только! Ножом, стерва!

— И за что, спрашивается?

— Боком ему вылезет за это!..

— Пулю в рот сукину сыну!

А потом из котельной показался Просвирнин, увидал Егора, поперхнулся кашлем, постоял вдали и, нахмурясь, повесив голову на грудь, пошел прямо к станку. Токаря перестали шуметь. Пододвинулся вплотную, ухмыльнулся, оглядел всех и сказал:

— Что за шум, а драки нет?

Никто не ответил Просвирнину, а только Егор уперся глазами в глаза:

— Тебя нет — нет и драки.

Просвирнин невесело покривился, вытер черной ладонью запотевший лоб, отвел глаза в сторону, к дверям, замешался, искоса уставился на Егора и выдавил хриплым горлом:

— Будто так?

Вдруг громко засмеялся старый токарь Кубышкин. Просвирнин перевел глаза на него и злобно крикнул:

— Чего тебя прорвало? Мешаешь вести сурьезный разговор!

Старик смолк. Просвирнин внимательно взгляделся в него, обвел токарей недовольными глазами, опустил нерешительно голову и протянул руку Егору:

— Поздороваться охота: давно не видались.

Токаря охнули и зашевелились. Егор качнулся к Просвирнину, но тут крикнул резко и торопливо Кубышкин:

— Не давай... не давай ему, прохвосту, руку! Не заслуживает он!

И толкнул протянутую руку к полу.

Просвирнин задергался, глаза заморгали, он трудно передохнул и отступил, покрасневший, назад. А тогда зазвенел тонко и на весь токарный цех Тулинов:

— Разбо-ойник! Сво-о-олочь!

Закричал и замахал снова руками Кубышкин; закричали, захлебываясь, все, один за одним...

— В маши-и-ну его!

— Управиться с ним!

— Поножовщик!

— Своего брата колет, гадина!

Просвирнин подумал глубоко, будто заглянул в себя, отрывчато, дрожа, швырнул слова:

— Поглядим-посмотрим! Кто кого? А только Егорке и Тулинову скажу: им это дело задаром не пройдет!

— Ладно! Иди себе,— загудели токаря.— Найдем на тебя управу! Погоди. Будет, побаловался!

— Заготовляй домовище!

— Мерой не ошибись!

— Пускай Аннушка саван шьет!

— Мы тя, дьявола, успокоим!

— Что, на самом деле, ребята? Прямо житья нет! В щель зажал!

— Всем миром надо на него! По-деревенски!

— Плакальщиков не будет!

Просвирнин враскачку дошел до выхода, повернулся, прислонился к косяку и напоследок насмешливо сказал:

— Чур, от своего слова, ребята, не отказываться! Уговор такой!

— Дело ясное! — ответил за всех Кубышкин.— Я и то по-стариковски на гулянку выйду. Иди себе тихим ходом. Не поя и не кормя, врага не наживешь, просвирка чертова!

Токаря весело засмеялись и затормошили Кубышкина.

— Спасибо, ребята, в обиду не дали,— сказал Егор.— Держись теперь крепче друг за друга. Поодиночке ему не попадайся. Артелью надо.

— Ты остерегайся пуще всех,— заботился Тулинов,— на тебя у него сердце в горячке. Полоснет, другой раз не так счастливо отделаешься.

— Всю, всю шайку надо вывести из слободы: и Кукушкина, и Клёнина, и тальянщика этого... С корнем выдернуть надо,— волновался Кубышкин.— Посадка была сурьезная, выполоть надо того сурьезнее. Подчеревок ему опростать начистую, чтобы червяку делать было нечего... Вот как надобно...

Сережка обнял старика за спину и пощекотал мизинцем:

— О! Разошелся на старости лет, что те молодой! Кипяток, а не человек! С таким старшиной взаимим всю волюсть возьмем!

— Просмеешь, сосун,— весело отбрыкнулся Кубышкин,— стариковская закалка крепкая! И помирать не страшно, впору... Стариков-то вон и в Библии хвалят!

Потому опытности много. А Ваньке гостинец в хребет надо. С ручкой, ехидна, подкатился к парню! Потрошил недавно... а тут... с ручкой... У! У! Егор, приготовил, что ли, гостинец? А? Братишка в кармане?

Егор задумался и улыбнулся старику:

— Есть!

— То-то! Не сдрейфишь? Рука не закачается? Качки не даст?

— Нет!

— Мне, старику, стыдно в слободе жить под запором, а об вас и разговору нет. Свой брат все мозоли обступал и загрибок горячий от его колотушек...

И на второй и на третий день проходил Просвирнин токарным цехом, ни на кого не глядя, торопясь к дверям. Тулинов подмигивал ему вдогонку, а Кубышкин, довольный, бормотал:

— Будто шелковый. Во ка-а-ак пугнули, двуглавые орлы! — И, подумав, добавил: — Может, без смертоубийства обойдется? И так исправление наступит? А, ребятки?

Сережка сердито накиннулся на старика:

— Что, задние ряды проверяешь?

— Я... я... ежели всем цехом — по перегородам не хожу, — залепетал Кубышкин.

— Нет, Силантий Матвеевич, так не обойдется. Сам ты сорвал мировую. Просвирнин, как ремень на маховике: зубами не разгрызешь, — вмешался Егор.

— Ну, что ж, ну, что ж, тогда и устосаем, — сговорчиво и тревожно согласился Кубышкин. — Вы заедала... мы подмогала...

Сережка не мог простить старику:

— Подмогало ты языком, вижу, а на деле как бы Ваньке косушку не поставил в угощение!

— А ты больно прыток! — рассердился Кубышкин. — Что я такое худого сказал али сфальшивил? Старика бы чем уважить, скажи старик слово неподходящее, к примеру, а он ему рад-радешенек в бороду харкнуть... Молодой, да ранний, ястреб!

— Не пуши, старик, хвостом. От тебя самого скороговорку слышал: нашего пономаря никому не перепономарить, покуда сам не перепономарится!

— А тыфу мне на тебя, злыдня! — плюнул Кубышкин и виновато наклонился над работой, недовольно шевеля седой грядкой усов.

Из мастерских уходили артелью.

За Просвирниним ковылял Клёнин и руки в карманы шагал Кукушкин. Проходили широкое поле от мастерских до слободы и глядели искоса друг за другом. Шли медленно и крепко ступали по размокшей от дождей глине, давали обгонять себя другим рабочим. На Числихе расходились в разные стороны.

Тут, на Числихе, на пятые сутки встретил Егор Аннушку. Издали слились серые и синие воды глаз. Аннушка свечкой, сквозь ветер и дождь, горела навстречу. Егор оглянулся. Всюду шли люди. Аннушка торопилась, не отрывая глаз от Егора. На руке у нее поскрипывала маленькая корзинка, и торчал из нее высокий лычей моркови. Как близко сходились, Егор быстро кинул в ветер и дождь неслышно для других:

— Не останавливайся, Аннушка! На Чарыме... Утром... Завтра...

Аннушка поняла, сразу сошла с тротуара и, не поглядев больше на Егора, перешла по улице на другую сторону.

Егор сожмурился под козырьком картуза. Сердце засмеялось частым боем. В глазах мелькал серый выношенный сак Аннушки и шли быстро-быстро-быстро мокрые от дождя полусапожки, а пониже шерстяного чулка торчком стояло пестрое маленькое ушкó.

Навстречу шли бабы, девушки в таких же саках, но Егору они были чужие и ненужные, он давал им дорогу, на ходу здоровался — и шел дальше, забывая о встречах.

Ночью ныла просвирнинская рана в боку. Егор осторожно гладил ее по рубчику, пока не начинала гореть она от тепла и пока не начинало палить бок... А тогда рана замолкала, засыпала и глаза смежались, покойно укладывались в запавших ямках.

И снилось Егору окно, а в окне на виду вырастала зеленая и нежная ботва моркови, заполняла тесно окно, свешивалась в комнату зелеными хвостами, обрастала стены, потолок, пол... Потом в окне, раздвигая зеленые перышки моркови, показывалась Аннушка в белом платке и радостно звала:

— Егора!

Егор просыпался и кидался глазами к окну.

За занавеской серело раннее утро, лил осенний плакун-дождь, ветер хлопал на крыше прохудалым железом. Под клекот дождя Егор опять забывался. Открывался

тогда потолок, и мокрое небо шаталось над головой. А по небу летели угольки летних птиц. Вытянув с высоты над кроватью шею, они кричали что-то Егору. На кровать капал частый, ситяной дождь. Егор закутывался и не мог закутаться. Ветер срывал одеяло, надувал его пазухой, трепал... Птицы спускались все ниже и ниже; он видел маленькие круглые бисеринки глаз. Птицы летели густо, тесно, задевали крыльями лицо, ресницам негде было укрыться... По подушке прыгали воробьи и долбили в раковинки уха. Вдруг из-за подушки поднялась стая горластых журавлей и загородила свет как дымом. Пронеслась... Покружила высоко белая лебедь и села на грудь, распушив крылатое платье.

Егору стало душно и страшно, он закричал, но не услышал своего голоса. Тут рванул вихрь... И птиц и одеяло сорвало вихрем, понесло кувырком в небо. Откуда-то показалась Аннушка. Егор схватился за железные столбики кровати и проснулся. Колото в ране редкими уколами. Будто продергивали в рану нитку с иглой и выдергивали обратно.

Егор дрожал от холода. Руки были дряблы, сводило их легкой судорогой, под кожей горели искры, а в стекло капал дождь мокрые жалобы: кап, кап, кап, кап, кап...

Снова Егор забылся, скорчившись грудкой. Опять летели птицы над кроватью — и не было уже ни потолка, ни стен, ни пола. Кровать стояла на желтой мокрой глине, а кругом раскрылись поля. В полях, как солдаты лагерем, с винтовками в козлах, стояли бронзовые суслоны ржи. Несло туман, заволакивало небо, подносило туман к кровати. Из тумана выбежала Аннушка. Егор протянул к ней руки. А за Аннушкой, тяжело ступая через полосы, шел на огромных ногах Просвирнин. Аннушка бежала, а Просвирнин шел. И она не могла убежать. Егор закрыл в страхе глаза — и спустил ноги с кровати.

На заводах пели шестичасовые гудки. Егор вслушался и узнал свой гудок. Ветер стих. Гудки были так отчетливо ясны, словно кричали они тут рядом, на дворе. Егор остался.

За стеной вставал квартирный хозяин, сапожник Корёга.

Он кряхтел и стучал деревянными колодками. На кухне квартирная хозяйка щепала лучину для самовара. Егор прилег на кровать, шаря налитую снами голову.

В висок бил уверенный и грузный молоточек. Голова горела. А сердце тревожно колебалось, как лист на течении.

Гудки перестали кричать. На кухне загудел в самоварной трубе огонь. Егор втянул густой и жирный запах кожи. Кожей пахли стены, потолки, пахла его комната, кожаный запах был в одежде, в дыхании. Егор задумался о Корёге, встававшем с утренними гудками в собственном заводе, на кожаной табуретке, продавленной годами. Сон прошел. И нельзя было уже уснуть снова. Он сравнил себя с Корёгой. И он всю жизнь, где бы он ни был, где бы ни ночевал, когда бы ни ложился накануне, просыпался в шесть. Словно в шесть утра весь мир гудел гудками и будил спящих. Егор под стук молотка Корёги зажмурил глаза и увидел, как шадровитый Тулинов, подбоченясь, стоял у станка, прошел в котельную Просвирнин, оглядел мертвый станок Егора, остановился... Может быть, он побежит домой к Аннушке?

«Прогул... прогул»,— подумал Егор и улыбнулся.

Табельщик отметит его: в бригаде неполная смена. Бригадир поведет рыжим усом. В получку ему недоплатят...

В окна опять забил, как ласточка крыльями, частый и широкий дождь.

Егор быстро прыгнул с кровати и торопливо стал одеваться. Корёгу звали на кухню пить чай.

— Один гвоздок... один гвоздок забью! — выкрикнул Корёга.— Чичас! А то колодка выскочит.

— Ну, шишлюн старый! На базар пора мне идтить! Опосля заколотишь!

— Ка-а-к можно!

И Корёга сильно и уверенно загремел молотком.

Егор вышел задами через огороды на другую улицу, осмотрелся и заспешил к заставе. Он нахлобучил картуз и поднял воротник пальтишка. Дождь стрекал стальной крошкой по картузу и скатывался на грудь, впитывался в спину, обмокал на воротнике.

Егор обогнул подальше коровинские мельницы. У мельниц уже стояли ломовики с возами под брезентом. Битюги переступали косматыми клёшами ног и встряхивали навстречу дождю гривастыми головами. За бело-рижцами Егор вошел в кустарник, побежал к Чарыме, беспокойно шурясь на пустые чарымские луговины.

Горбыль поднимался у Чарымы за кустарником, а на нем росла высокая, обглоданная весенними льдами сосна. Неподалеку от сосны стояла убитая молнией дуплистая береза. К березе с обеих сторон привалил кто-то на борта две старых дыроватых лодки. Егор заглянул под них, снял мокрый картуз, встряхнул, вытер руки о подкладку пиджака и, наклонившись, подлез под прикрытие. Под лодкой лежало умятое прелое сено. Егор растормошил сено, перевернул и, набрав в руку и сжав комком, заткнул дыру в днище. Дождь перестал капать. Егор прилег на сено. В жидком тумане будто где-то надымили валежные костры, вдалеке краснели заводские огни в верхних этажах, а из труб текли черные дымные реки. Под ними махали крыльями мельницы. Над городом подымались низкие дымки растопляемых печек. Клубами серой шерсти, стогами, ватными кипами запрудили небо облака и неслись и неслись над городом, над фабриками и заводами.

Егор слушал бивший о лодку дождь, глядел на заводы, на мельницы, на город, на убежавшие от него облака, и весь мир казался ему огромной, никогда не перестающей работать мастерской. И вот даже его сердце все стучало и стучало, не уставая работать, как Корёга стучал о колодку, как вертелись на заводах колеса машин, дымились и топились печки, потрескивали, как шел нужный земле дождь. Егор задумчиво разрывал травинку на тонкие, колечком свертывавшиеся волокна и разглядывал у самых глаз.

Аннушка подошла незаметно и юркнула под лодку, и он вздрогнул от неожиданности уже у ней на груди. Она прижалась к его губам, прикрыла его собой, схватила его за плечи и вдавила голову в сено долгим, могучим поцелуем. Оторвалась... вздохнула... и опять прижалась крепко и больно. Губы раздалились, и белые зубы Аннушки раздавили губы Егора. Он тихо простонал и положил ее с собой. Охватив ее одной рукой за шею, другой рукой он, суетливо ища пуговицы, расстегнул мокрый сак Аннушки и откинул полу. Аннушка изогнулась, сунула обе руки к нему под пальто и сжала за спину, не выпуская пересохших и горевших губ, вбирая их в рот, глотая его дыхание.

Под лодкой было почти темно, но Егор видел зовущие, стыдливые глаза Аннушки и дрожавшие легкой зыбью ресницы. Капал на днище лодки настойчивый и упорный дождь, пахло сеном, землей, гнилым деревом и размокшей смолой.

Они устали, ослабели... Руки Аннушки перестали сжимать... повисли. Свалились на холодную отсыревшую землю, как подрубленная, увялая ботва. Егор положил свою голову рядом с головой Аннушки. Волосы их переплелись и спутались. Аннушка потянулась, повернулась вдруг к Егору боком и зашептала:

— Егора, я, кажись, затяжелела! Никогда так не было... Дите от тебя будет...

Егор раскрыл сытые глаза и отвалился от Аннушки, как наевшийся ребенок от материнской груди. Аннушка уткнулась в его плечо.

Так они долго и молча лежали. Потом губы нашли друг друга снова. Егор целовал свежие холодные яблоки щек Аннушки и грел маленькие палившие уши. Аннушка водила ресницами по его лицу и часто мигала.

Вдруг она приподнялась на локте, отстранила Егора, внимательно поглядела на него и звонко расхохоталась.

— Ха-ха! — смеялась Аннушка. — Ну и фатера у нас! Ха-ха! Нашли местечко полюбовнички, нечего сказать! На юру... под зонтиком!..

Посмеялась и нахмурилась. Егор потянулся к ней. Аннушка уперлась руками в грудь Егора:

— Будет, Егора! Побаловались — и будет. Хорошенького понемножку! Лодке, поди, стыдно глядеть на нас! Будто... в первый раз!..

Егор не послушался и стиснул Аннушку:

— Тебе что: ты мужья жена!

— Я с Ванькой сплю через пень в колоду. Постничаю... Право, Егора! Он несолоший. Пьяный в стельку приходит каждую ночь. Не до того... У порога чурбаном свалится и спит. А ты... ненасыта, ненасыта... покойничек мой милой!

Аннушка прижалась к Егору, задумалась, задрожала вся, губы горько сморщились... Егор тревожно зашевелился и дрогнувшим голосом залепетал:

— Аннушка! Аннушка! Ты что?

И начал стирать с ее рук слезы.

— Мне... жа-а-лко тебя,— зашептала Аннушка,— думала... не увидимся. Ванька пришел тогда после пожа-

ра, спала я, сдернул одеяло... закричал: «Ревя не ревя, потаскуха, кончил теперь Егорку...» В сердце у меня как дернет... Будто когда на машине... вагоны дергает. А я гляжу на него спросонья. Испугалась Ваньки. Первый раз испугалась по-настоящему.

Аннушка всхлипнула и обняла Егора за шею, не справляясь с бежавшими густо слезами:

— Ванька за волосы вцепился... и трясет. А у самого глаза выскочить хочут... За тебя... и за свою жизнь заплакала я. Ванька стащил с кровати голову так к себе, к глазам самым... впился, как дьявол на картинке: узнать на душе всю подноготную хочет... — Аннушка передохнула и часто задышала на грудь Егору: — «Об Егорке плачешь?» А самого трясет, как на морозе лошадь у кабака... мужики когда запьянствуют на весь день в деревне. Тут я... схитрила... вывернулась, замазала Ваньке буркала враньем... — Аннушка усмехнулась сквозь слезы. — «Засудят теперь тебя, поножовщик! За решетку захотел... Молодость свою гноить... в Сибири».

Аннушка остановилась и засмеялась. Засмеялся Егор, целуя ее в мокрые глаза.

— Ванька как отскочит... Будто шатнулся из стороны в сторону... Захрипел мехами-то. Полкомнаты враз проглотил. Да ка-а-к хлестнется мне в ноги... да ка-а-к заплачет!.. Гляжу я ему в спину, а спина широкая, будто комод, в грязи вся, пиджак горбом ходит... Едва унялся, черт! Прощенья просил, тебя жалел, рассказал все как было. Просидела я у окошечка до обеден. Будто заново прожила жизнь...

Аннушка замолчала.

— Ну, ну? — жаднел Егор.

— Что — ну, ну? Тебе чего? — пошутила Аннушка и блеснула взглядом. — Тебе интерес опустя пору, а мне каково было, не знаешь? Немилой рядом... на постеле... а милой на тот свет ушел навсегда.

— Ушел и обратно пришел.

— Пришел-то пришел, да надолго ли? — тревожно сказала Аннушка. — Ох, я и смеюсь и плачу, и радость у меня внутри, как птичка, поет. А где-то под сердцем, дальше дальнейшего, опасно, грозитя будто кто-то, оставливает радость...

Над лодкой вдруг затрепетали крылья и закаркала ворона. Аннушка охнула. Егор поморщился.

— Слышишь, слышишь? — испуганно затвердила Аннушка. — Не к добру это! Как разговор подслушала! Откуда и взялась... А? Егора! Я боюсь. Что-то будет?

Ворона пересела на убитую молнией березу и снова закричала жалобно и горько.

— Пустое! Вороны кричат перед дождем. И человека они чувствуют. Летела мимо... услышала: говорим — и закричала, дура!

— Так ли, Егора?

— Потом... может, кто идет по лугу...

Они прислушались. Колотился о днище серый воробей-дождь. Егор осторожно высунулся из-под лодки, осмотрелся кругом. И тогда третий раз закричала в страхе ворона, поднялась с шумом с березы и кинулась через Чарыму.

— А, черт! — выругался Егор и насмешливо упрекнул Аннушку: — Вороны испугалась. Просвирина на цепочке водишь, а перед вороной в бегство.

Аннушка сидела молча. Она провела по волосам, пригладила их, повеселела. Она похлопала Егора по руке. Он задержал руку и прижался к ней щекой.

— Дальше... хорошее начинается, — заговорила Аннушка. — Сижу я так... плачу под платком. Разузнать о тебе охота, поглядеть на тебя. А боюсь встать с места. Ванька вскочил со сна. И ко мне. Спрашивает, как маленький: что делать? Хитрее хитрого будто кто подсказывает мне. Я Ваньку ругать. «На завод не ходил, — говорю. — Все и узнают». Ванька व्यюном...

Егор остановил Аннушку, заглянул ей в глаза и грустно сказал:

— Ты — хитрая. Ваньку обошла, а меня сразу позабыла насовсем?

Аннушка виновато покраснела и низко опустила голову. Она отворотилась от него и долго молчала. Трудно вздохнула потом и опять зашептала:

— Я... я... испугалась... баба я. Косточки у меня тонкие... не мужиковские. Ты не сердись, Егора! Сызъянила перед тобой. Такая уж я слабенькая и нечистая на совесть.

Егор положил к ней на колени свою голову.

— Где же мне было: я робкая. Участь у меня такая непракая, обидная.

Егор улыбнулся и поколотил шутливо пальцем по ноге Аннушки.

— Нет, право, не вру, Егора. Ванька мой надоумился. «Беги,— говорит,— узнай». И побелел весь... На что черненький, а тут блеее благородной барышни сделался. Я на улицу. Бабы — кто во что горазд. Кастят меня... заплевали всю. А мне бабы слова, будто горох в стену. Не таковая я. Не вольна я в своем сердце. Не я первая, не я последняя в любви. Несут меня ноженьки, сами переставляются... в больницу... Пашка — сиделка знакомая — и шепнула мне: «Доктор грит, ничего... до свадьбы заживет...» Задирчиво так смеется: «Дотаскалась, стравила мужиков?» Видно, сказала так, а самой жалко стало: видно, больно уж лицо у меня сморщилось. И пожалела: «Жив-де живехонек, не такие раны видывали, скачи себе кобылкой домой». Как сказала, будто разгладилось у меня сердце внутри. Иду домой, а улица-то, а небо-то, а свобода-то наша — ух, веселые, приветливые!.. Завеселел и Ванька...

Аннушка склонилась к Егору и закачала его голову на коленях, весело смеясь. Егор сел рядом с ней, обнял за спину и заговорил близко у лица:

— Аннушка, уходи от Просвирнина!..

Аннушка забила в руках:

— Что ты, что ты! Кончит он и тебя... и меня... за один раз. Не говори, не говори, Егора, не дело. Знаю я... не помирился ты с ним... Он опять распалился на тебя. Не кажись ты ему на глаза. Сиди больше дома. Сегодня я...— Аннушка поперхнулась словами, скосила на Егора лукавые, смеющиеся глаза,— думала не ходить... а... сама пришла. А ну, как он узнает? А ну, как он застанет нас здесь под лодкой?

Аннушка испуганно вытянулась, жадно и напряженно вслушиваясь, как шел дождь и Чарыма тихо плескалась о берег.

— Ты совсем стала напуганная... Это ты видишь? Для него ношу.

Егор вынул из пиджака темно-сизый браунинг.

Аннушка застранилась от револьвера:

— Убери! Убери! Не надо... не надо! Брось его, брось его!

Егор спрятал браунинг. Аннушка прильнула к нему, горячая и нежная, покорная и гибкая.

— Мы любим, как воры. Зачем нам скрываться? — сказал Егор.

Аннушка целовала лицо, руки, шею Егора, и вместе с поцелуями приходило забытие, слова путались, горела

голова, и густое горячее дыхание мешало думать. Они срослись в ласке, обвилились руками-ветками и дрогнули...

Аннушка опомнилась первая, оторвала свои влажные губы и спрятала глаза под острыми ресницами.

Под лодкой посветлело.

— Пора, Егора, пора. Ванька обедать придет. Я пойду. Сперва я. Ты посиди, покуда не войду в город. Не увидал бы кто!

— Когда придешь? — держал за руку Егор.

— Знак дам, не кличь меня, как пойду... Будто за нуждой заходила под лодку, ежели попадетсЯ кто навстречу. Не выглядывай зря!

Аннушка на ходу поцеловала Егора, встряхнула сак и выскользнула из-под лодки. Вдруг опрометью вернулась, обняла долгим упругим обручем рук, вздохнула на груди и умоляюще заглянула под ресницы:

— Егорушка! Стерегись Ваньки!

Она тихо сошла с горбыля, одергивая платье и скидывая с него прильнувшие травинки. Егор подполз к краю лодки и глядел на сполстившийся, облежалый сак Аннушки, на пестрое ушко полусапожка. Он провожал ее взглядом. Луга были пусты. Аннушка быстро и прямо шла к городу.

Егор выждал. Он ушел от лодки в глубь луговины, нашел на размытом берегу Чарымы гладкую темно-синюю плитку, круглую и маленькую, как олашка, помахал ею в руке, а потом сильно и твердо кинул. Камень свистнул и, скача, заскользил по легкой ряби Чарымы...

В полдень Просвирнин сидел за столом против Аннушки, молча ел и беспокойно оглядывал ее. Аннушка стойко и незаметно ловила его взгляд.

— Что ты в рот воды набрал: ничего не говоришь? — сердито и насмешливо бросила Аннушка. — Дела не веселят? Али что сказать хочешь, да смелости не хватает?

Просвирнин покосился на нее.

Аннушка взмахнула острыми, как ножи, глазами на Просвирнина и обозленным голосом крикнула:

— Чего на меня сыщиком глядишь? Не вижу, думаешь, я? Какого нанюхался опять бабьего подолу, ревнивый черт?

И от обиды Аннушки Просвирнин вдруг прояснел, смяк, радостно взглянул на нее.

— Не шуми, Анна,— задумавшись, сказал он.— Будто в ушах кто ковыряет от твоего крику. Я это так... с устатку. Давай хлебать по-хорошему!

Хитрый, как зверь, глаз Аннушки скользнул и упал в ложку, резнул ее обглоданные деревянные края.

С обеда закричал свисток. Аннушка провожала Просвирнина на работу и заботливо спрашивала на крыльце:

— Табак-то взял?

Просвирнин пошарил в кармане и кивнул головой. Аннушка защелкнула задвижку, встала у окна и, подбоchenясь, смотрела долго и уныло, как катилось по улице, покачиваясь деревом на ветру, большое черное тело Просвирнина.

Ночью, лежа в кровати, Аннушка говорила ему вразумительно и тихо:

— Я как увидала,— на базар ходила,— обиды и твои и мои мне в лицо... На другую сторону от противного зазнайки перешла, не то что что... Пройти мимо из-за тебя тошно, а ты... Местечка из-за него во мне не осталось немятого...

Просвирнин виновато вздохнул.

И казалось Аннушке от тяжелых объятий Просвирнина: навалилась на нее широким и мокрым днищем лодка на горбыле, а на убитой молнией березе с запрокинутыми сухими сучьями к небу каркала ворона о чьих-то человеческих жалобах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Надуло с Чарымы серо-сизые облака, и в ночь они обвалились на землю белым заячьим пухом. Тут прихватило первую порошу ядреным утренником, и снег обжился. К заговенью рванули враз метели, навывли, нашипели, намели снегу, как на Рождество. На Введение была оттепель. Шел густой, проливной дождь. Разбил он укатанные дороги в тяпушку, смыл с крыш без остатка белые башлыки, приземлил печечный дым до застрехов, а небо заголубело, поднялось выше, будто весной. Трое суток шаталась погода, а на Федора Студита снова заледело. Затянуло к утру небо грузными и брюхатыми облаками: будто нависли полати над землей. А с полатей потихоньку, понемногу, с передышкой просыпалась сперва белая колкая крупа, застрекотала по крышам, по ледяной

дорожной корочке, за крупной повалил самоходом, все расходясь, мягкий, ужимистый снег. На другое утро выстрелил мачтой дым из трубы, и морозное рыжее солнце заблестело негреющим круглым окном. Зима обосновалась.

Тулинов ходил в баню со своим парнишкой. Мишутка бежал по морозцу впереди и нес узел с бельишком. Месяц рассветился на небе, будто серебряное солнце. На Кобылке была светлынь. Мишутка подпрыгивал на одной ножке, скакал в сугробы и с кряхтеньем вылезал на дорогу.

— Озорник! — унимал отец. — Начерпаешь в катаньки снегу: насморка будет. Перестань, говорю!

— Папка, прыгни разик, — не слушаясь, говорил Мишутка. — Кто дальше прыгнет?

— Я вот тебе прыгну по шарикам. Отстань вертеться сорокой!

Мишутка пошел смирно, оглядывался на отца, потом вытащил из-под мышки узел и стал его подкидывать над головой, весело крича и ловя на лету.

— Не набалуешься ты, заноза? — сердито окрикнул Тулинов, когда узел упал на дорогу, Мишутка поскользнулся и растянулся рядом. — Сломаешь еще ногу балующи. Ишь, месяц отчеканил снег-то, как рельсы... скользко.

Мишутка взвился с дороги, кинул еще раз-другой узелок и пошел вровень с отцом, натянув на уши глубокую шапку.

— Что, уши мерзнут? — забеспокоился отец.

— Щипает их.

— А ты побег. Скоро дойдем. Мамка самовар наставила. Хватим чайку — холод и отойдет. Мамка кренделей купила.

— Сушки?

— Нет, витушек.

— Я витушек не люблю.

— Люблю — не люблю! Ешь, чего дают. В витушке, дурачок, больше сдобы, она мягкая, с телом... А сушка, как трава. Один звон на зубах. Ну, скачи, скачи, не отставай!

Завернули за полицейскую будку. Тут Мишутка, увидав городского в овчинном тулупе, сидевшего на тумбе и дымившего из стоячего воротника цигаркой, зашептал отцу:

— Знаешь, папка, как мы летось этого городского с ребятишками обошли?

Тулинов оглянулся на городского, быстро шагнул вперед и наклонил ниже голову к Мишутке.

— Он на посту уснул днем. Мы с ребятами подкрались к нему к самому... Гришка ремешки у шашки и перерезал. Ножик у Гришки вострый. Одним нажимом толстую ветку срезает. Мы шашку и уволокли. Ка-а-к Гришка резанул ремешки... городской... он пошевелился, а проснуться и не подумал. Глядеть мы на него ходили без шашки. Близко-то боязно, мы издали. Стояли-стояли мы... городской глядел-глядел, да ка-а-к побежит за нами!.. А мы... давай ходу! Гришка бежит, а через плечо на него повернулся и нос показывает. Догадался городской. На другой день шашка у него была новенькая... Хорошо, не признал нас, а то бы нам... Пожалуй, папка, за это и в тюрьму садят?

— Хорошим, хорошим делом бахвалишься,— сердито заговорил Тулинов.— Вот домой придем, как спущу тебе штаны да по распаренной заднице намозолу вицей! Разве мыслимо так безобразничать? От земли не видно, а поступки под стать большому хулигану.

— Так не я же, папка, а Гришка. Я за компанию бегал. Я первый и убежал.

— Трус ты, значит, выходишь, а суешься. Догони вас тогда городской, отца бы натаскали по участкам, дрянь! Не смей больше никогда с Гришкой ходить. Увижу, кожу спущу с хребта.

— А мамка знает. Она меня за подволоски натаскала.

— Так и следует. Мало еще за подволоски, волосы надо начистую выдергать, все волосья...

Мишутка замолчал и понурил голову. Тулинов мельком повел на него глазами, ухмыльнулся в бороду и покачал головой.

Любопытствуя, стыдясь; обдумывая свои слова, Тулинов спросил:

— Куда шашку-то дели?

Мишутка обрадовался несердитому отцовскому голосу и залепетал весело:

— Шашка, папка, оказалась тупая: не рубит. Гришка наточил лучше своего ножичка. На Чарыме мы верстовые столбы рубили. Ка-а-к даешь, так дерево и вопьется! Иступили всю. Кончик отломился. Видно, о гвоздь ненароком ударилась. Бабы шли мимо... Мы испугались, чтобы не увидели. В Чарыму далеко-далеко закинули.

Потом ныряли, как бабы прошли, опускались в воду с ручками, не могли ошарить.

— Новое дело! На привязи тебя, баловника, придется держать дома. Кто тебе велел в Чарыме купаться, дьяволенок? Есть речушка Ельма, в ней и купайся. Насилу тут не потонешь, а то в Чарыме... И потом — столбы рубить! Казенное добро портить! Скажи мне тогда, я бы тебя разуважил, озора!

— А я больше не буду, папка,— серьезно сказал Мишутка.

— Не надо, не надо, Мишенька! Баловство до добра не доведет. Большой вырастешь, стыдно будет.

— Тебе тоже было стыдно?

— Чего стыдно?

— А всего. Сам ты рассказывал, озоровал-то как маленькой в деревне. У лошади из хвоста волос-то на лёску дергал. И как лошадь-то лягалась. Зуб-то тебе на передку выкорчевала.

Тулинов засмеялся и шутливо поддал ему рукавицей ходу по шапке. Мишутка опять понесся бегом, высоко закидывая большие материны катаньки. Он остановился вдалеке и стал разглядывать месяц. Подошел отец.

— Папка, ты остановись,— попросил Мишутка.

— Это зачем такое? Новые выдумки!

Но остановился около Мишутки.

— Отчего мы идем — и месяц идет за нами. Нейдем — и месяц остановился. Отчего это, папка?

— Месяц по небу ходит безо всякой остановки. Будь у него ноги, как у человека, ты бы и увидел, как он все идет-идет-идет — и не останавливается. А теперь он круглый. И незаметно, как он идет, а будто стоит.

За углом, у кабака, заиграла гармонья, и кто-то на всю улицу вывел пронзительным и тонким голосом:

Здравствуй, ми-и-лая моя-а,
За пор-р-ог запнулся я-а-а!..

И много пьяных нескладных голосов подхватило:

За пор-р-ог запнулся я-а,
Да а здравствуй, м-ми-лая моя-а!

Затопали ноги, хлопнулась стеклянная дверь со звоном, отскочила и еще хлопнулась, захрустел снег...

— Папка, это Просвирнин! — испуганно шепнул Мишутка.

Тулинов остановился, попятился назад и дрогнувшим голосом тоже шепнул:

— Нет, это Кукушкин!

Из-за угла вышла черная пьяная просвирнинская артель и повернула посередь дороги. Сашка Кривой, шатаясь, широко разводил меха гармоньи, Кукушкин запевал, артель, шарашась вразброд, подхватывала.

— Папка, побежим! — дернул Мишутка отца. — Бить будут!

Тулинов опомнился, взял Мишутку за руку, оглянулся на пустую месячную улицу, помялся на месте и пошел навстречу. Его узнали. Просвирнин громко и довольно захохотал. Тулинов свернул в снег, съезжился под шапкой, но ему заступили дорогу.

— Ночевали здорово! — запищал Клёнин. — Та-в-а-рищ Тулинов! В баньку ходил?

— Тащи его! — крикнул Кукушкин.

Сашка Кривой перестал играть, подпрыгнул к Тулинову и пнул его из-под гармоньи в живот. Тулинов выпустил руку Мишутки, протяжно ойкнул и упал в снег. Мишутка громко прокричал и с ревом кинулся к отцу. Его отшвырнули. Тулинова сдернули со снега, поставили на ноги и трепали по дороге, кидая от кулака на кулак, отшибая застраивающие руки, валились от пустых размахов в снег, трудно вставали и ныряли снова в черную кашу тел головами вперед. Били молча, только взыгрывала на задеваемых ладах гармонья Сашки Кривого, стонал Тулинов и звал на помощь жалобный, тоненький, отчаянный голосок Мишутки. Мишутка кружил с узелком под мышкой вокруг драки, совался под ногами, просовывал руку в кучу, хватал отца и тянул к себе.

Вышли за ворота и калитки бабы, мужики, но не смели подойти, шумели между собой, кричали... Из кабака ковыляли пьяные, лезли в драку, размахивали кулаками, падали в снег, сшибаемые локтями и ударами наотмашь. У дальней полицейской будки суетился городской, скидывал тулуп на руки какой-то бабе. Поддерживая колотившую по ногам шашку, он бежал по дороге и резко свистел...

Сашка Кривой вдруг развел гармонью и заиграл «Дунайские волны». Артель пошла... И напоследок Просвирнин, выскочив, ударил Тулинова по голове сверху.

Кровь полилась по виску, по волосам. Мишутка размазал ее на отцовской щеке, вымазал свой нос. Люд подбежал от ворот и калиток, прикладывали к голове снег, размахивали руками, всхлипывали...

— Кровь, кровь унять надо! — звонко звенели бабьи суматошные голоса. — Ой, ой, изойдет кровью!

Артель раздалась надвое, пропуская городского. Тот было остановился. Но артель обошла его, соединила свои крылья и двинулась дальше.

Городовой растолкал голосивших баб и важно заговорил:

— Кто-о? Что-о? Кого?

Мишутка, показывая на плевавшего багровой слюной отца, горько и возмущенно кричал:

— Это Просвирнин! Это Просвирнин! Он ударил кистетом!

Тулинов поднялся с дороги. Слабо и устало он сказал сыну:

— погоди, Мишутка, не вопи. Подь-ко, дай сюда узелок.

Бабы поддерживали на весу узелок и помогли его развязать. Тулинов сунул Мишутке развалившееся бельешко, скомкал в руке платок и зажал пробой на голове.

— Матушки! Чавкает! — охнула баба. — Девоньки, чавкает!..

— Кто такой будешь? — допрашивал городской. — Из-за чего драка вышла? К чему тутотка мальчонка? Кому в свидетели идтить? В участок надоть для протоколу. Кто что скажет? Айда в участок!

Тулинов положил одну руку Мишутке на голову, а другую держал на алевшем платке. Он недовольно посмотрел на городского:

— Какой там участок? Без протокола обойдемся!

— Без протоколов! — зашумел люд.

— Не первый раз головы ломают!

— Не железная, не заржавеет голова, зарастет пуще прежнего.

Пьяный рабочий влез в толпу и задыбал, заикаясь, перед городovým:

— Ты... ты... разбойнику дорогу... открыл. А... а... на-а-с в участок!

Люд весело и довольно загоготал.

— Квартира у меня рядом,— проговорил Тулинов бабам,— живо дойдем. Мишутка, ходи ножками. Самовар поди убежал.

Городовой схватил пьяного за грудь и тряс его. А тот, не стоя на ногах, валился на него и клюкал носом в плечо городовому.

Тулинов с Мишуткой пошли. За ними начал расходиться люд. Двери кабака звенели стеклами, отскакивали, шелкались, впуская и выпуская народ. Городовой громко, бесясь, вопил:

— По какому праву пьян? По какому праву приставанье делаешь?

Городовой свистел в свисток, будто сыпали мелкую щебенку через железную решетку, просеивали, мельчили на ухабистую дорогу,— и раскатистый треск и свист кружились в жадной и гулкой поморозне Кобылки.

Мишутка, давясь всхлипываньями, жалчиво спрашивал:

— Папка, тебе больно?

Отец, зажимая зубы, дыша носом, выравнивая голос, отвечал:

— Не больно, Мишутка, не больно! Большой вот вырастешь, отплатишь за батьку!

Мишутка горько плакал:

— Отплачу... Как еще отплачу! Я из ружья выпалю!

— Пали, пали, Мишутка, не давай себя в обиду.

Месяц огибал верными дорогами ночное небо, закрывал звезды, просвечивал серебряной струей канву легчайших облаков и шел за Мишуткой без остановки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С полдня пришел на работу Тулинов с перевязанной белой головой. Мастерские забормотали. Рабочие глядели в пол и думали о белой голове Тулинова.

— Отыгрывается! До челяди добрался!

— Уговор, ребята, дороже денег!

— Случай бы только!

— Случая ждать — три года прождешь!

Во весь остальной день не спорилась работа, будто вхолостую шавкали передачи, был только шум в ушах и надсмехающийся скрежет колес, колесенков, железа, чугуна, пыльного дерева.

Просвирнин, лениво неся свое тело, скучая, прошарашился в паровозосборный цех с мастером. Мастер шел бочком, сбочку трусливо мигая на лохмача глазками, и торопился к ним. Токаря угрюмо глядели исподлобья. Старый Кубышкин плюнул и растер ногой. Сережка тихонько просмеялся:

— Забрало, старина?

— Заберет тут! — буркнул Кубышкин. — Э-эх ты, ходовая!

Кубышкин сосредоточенно заработал, потом скоро придержал станок и опять плюнул, отшвыривая ногой упавший кусок железа.

Обратно прошел Просвирнин, забирая ближе к станкам, насмешливо поглядывая на молчавших и отвернувшихся токарей. Он увидел белую голову Тулинова, покривил щекой и вызывающе крикнул. Никто не отозвался ни взглядом, ни словом. Токаря затаились, будто вбежал в мастерскую зверь.

А после гудка молча и согласно пошли за Просвирниным, толкались о него в проходной будке, шарили любопытными и жадными глазами его спину, черную кужлявую папаху с продранной макушкой, высокие, кожей подбитые валенки.

По полянке с тусклыми коптилками немногих фонарей вливались в мастерские и выливались из мастерских две черных изогнутых ползущих дороги. К ним подбегали со сторон черные людские тропки, а между тропками, как редкие кустики, шли рабочие в одиночку, ныряя в снег.

Токаря наступали на задники Просвирнину. Сашка Кривой отстал и беспокойно шнырял глазом назад, наводя его на токарей, как на прицельную мушку, и нацеливаясь белком. Кукушкин и Клёнин торопливо обогнали токарей. И как хромал мимо Клёнин, Сережка весело закричал:

— Рупь пять! Рупь пять! Рупь семь гривен! Рупь семь гривен!

Клёнин сбился с шага, скожурился в пиджаке, запнулся, удерживаясь на хромоножке, неловко замотал руками. Позади громко и густо захохотали.

Сережка завопил:

— Рупь двадцать! Рупь двадцать!

Тогда Просвирнин оглянулся. К нему подскочили Сашка Кривой, Кукушкин и Клёнин, сразу повернулись лицом — и загородили дорогу.

Токаря надвинулись... Старый Кубышкин внезапно взвизгнул, выругался, сшиб с Клёнина вязаную шапчонку, вцепился в волосы, свалил Клёнина и, непрерывно визжа, сел ему на спину, тыча носом в снег и шаркая его по снегу лицом. Сашка Кривой затопался, завертелся на месте. Кукушкин прыгнул на Тулинова и дернул его за повязку. Разматывалась белая марля, а Сережка рвал губы Кукушкина острыми крючьями пальцев, а на спине у него висел Анс Кенинь, с размаху швыряя кулаком по бокам. Сашка Кривой осел с испуга, кружил по дороге, кричал и без толку грозился. Мясников подскочил к нему, легко и стремительно ударил по кривому глазу, валя на дорогу. Тут Просвирнин вырвал одним рывком Кукушкина и пнул Сережку тяжелой гирей кожаной обсоюзки катанька в подчеревок. Руки у Сережки впились в живот, он присел и закатался воющей собачонкой под ногами. Просвирнин грузно и тяжело заработал котелками кулаков, сминая под собой головы, руки, плечи, будто мяся черное мохнатое тесто из человеческих тел. Тогда Егор полез за пазуху, вырвал из-за пазухи револьвер и выстрелил. Все мгновенно отпрянули с дороги, замерли, только выл Сережка и хрипел Сашка Кривой, перемогаясь под Мясниковым. Егор выстрелил второй раз.

Первым побежал Кукушкин. Просвирнин схватил на дороге свою папаху и понесся за Кукушкиным, громя катаньками. Бах-бах-бах — стрелял Егор, гонясь за ними. И вместе побежали крики, рев, гвалт... Токаря кинулись вдогонку, оставив на дороге стонавшего Сережку. Старый Кубышкин трусил вслед и визжал, визжал отчаянно, падал, вставал, захлебывался усталостью. Сашка Кривой убегал в сторону, проваливаясь в снег, и слышно было, как о штаны хлесталась и терлась кожаная куртка. Клёнин вылез из сугроба к Сережке с разорванным в красные червяки лицом и пнул его здоровой ногой. Сережка взвизгнул, поймал ногу, ухватился за нее, свалил его и, яростно хрипя, сдавил горло. Клёнин вывернулся и кусал ему руки. Обессилев, ругаясь, они сели на дороге, тяжело дыша и жалко отплевывая окровавленную слюну. К ним подходили

отовсюду рабочие, окружая темной навалившейся грудкой. Поднимали и отряхивали снег.

Просвирнин с Кукушкиным пробежали заставу и через старое пожарище свернули в огороды.

Перезаряжая на бегу кассету, Егор замедлил шаг. Просвирнин с Кукушкиным уходили. Тулинов, держа растрепанные на голове клочья марли, надал, обежал Просвирнина, схватил его за подсилки, рванул и уронил на себя. Просвирнин вырвался, отряхнув Тулинова, вскочил, но тут добежал Егор и вплотную выстрелил.

Просвирнин закричал долгим плачем, упал на колени, скорчился, обвил свою шею крепко рукой и захрипел:

— Егорка! Черт! Не тр-р-онь!

Егор, дрожа, прикусывая себе губы, близко у лица качнул револьвером, изогнулся весь, сдавил протянутую к нему руку Просвирнина и выстрелил в грудь. Просвирнин ткнулся носом в снег.

— И Кукушкина... и Кукушкина! — кричал Тулинов. — Он в сарай забежал. Дай мне револьвер!

Тулинов вырвал у Егора револьвер. Набежали с криком токаря, окружили лежавшего Просвирнина, оглянулись к дальним фонарям на поляне и замолчали, прислушиваясь, как хрипел и свистел носом Просвирнин, глядя, как содрогались ноги и сводило их медленными рывками.

— Выходи! — кричал Тулинов. — Выходи, говорят!

И заглядывал в распахнутые настежь обгорелые ворота сарая без крыши. Потом злобно и вполголоса прошипел:

— А-а-а! В уголок забрался!

И раз и другой пальнул из ворот в серую неясную полутемноту. Кукушкин крикнул — и смолк. Старый Кубышкин опомнился и тревожно проговорил:

— Будет ужо палать! Народ взбаламутим. Никшни, ребята, теперь!

Кубышкин кинулся к Тулинову, выхватил у него револьвер и полез в сарай. Тулинов зажал голову руками и опустился у ворот на снег.

— Где ты тут, сукин сын? — слышался спокойный и ровный голос Кубышкина. — Откуковала кукушечка?

Вдруг все вздрогнули и поморщились. Громко и жалобно зарыдал Кукушкин в сарае:

— Дедушка! Дедка! Не тронь, пожалей!

И вслед сказал ласково Кубышкин:

— Дурень, да нешто убивать тебя лезу! Выходи, ежели жив, на народ! Показывайся! Кончили драку. Одного устосали — и хватит. Не реви дуром! А то застрелю на самом деле.

Кукушкин робко выходил из сарая с повисшей, чужой рукой, сторонясь сидевшего на проходе Тулинова. Токаря безмолвно усталились на остановившегося неподалеку Кукушкина.

— В руку тебя? — спрашивал Кубышкин. — Так тебе и надо, негодяю. Жалко, что в башку не попало. Атаманто, вишь, лежит-полеживает, в аду ему черти уголья разгребают. В свидетели теперь пойдешь: доказывать на нас, стерва!

Токаря задвигались, обступили Кукушкина, будто боясь выпустить. Тулинов часто задышал за спиной у него.

— Ну, что молчишь? — крикнул Егор.

— Говори! — хрипнул Тулинов.

— Будет оплошка! — сказал равнодушно Анс Кенинь и крепко взял Кукушкина за руку.

— Так как, ребята, решаете? — спросил Кубышкин. — Один ответ теперича гуртом, а не в розницу.

Токаря теснее сжались около Кукушкина. Тот вдруг снова захныкал:

— Не буду, не буду, товарищи! Убейте, не выдам!

Токаря подумали, переглянулись. Анс Кенинь выпустил руку.

— Мотри, Кукушка лешева! — угрожающе пододвинулся Кубышкин. — Слова держись! В могиле достанем. Дело нешуточное: Сибирью пахнет. Смекнул?

И Кубышкин постучал коготышками по голове Кукушкина. Тот послушно замотал головой. Еще раз все подошли к Просвирнину, прислушались, перевернули его на спину, склонились к нему. Большие, как две стеклянных пробки, глядели раскрытые мертвые глаза.

— Вот и дождался Ванька! — проговорил Кубышкин со слезами в голосе. — Вот и достукался! А чего бы не жить, дьяволу, по-людски! Попаданье хорошее вышло.

— С двух раз, — сказал Егор.

— Гляди, Кукушка, и твоя копеечка не щербата. Рядом нарочно лежать не пришлось. Обмозговывай себе на ус, хлебаючи. Может, себе на шею не застрелили? А? Как говоришь?

Кукушкин серьезно и твердо ответил:

— Один раз поверь, дедко!

— Ну, то-то! Так хорошо. По-товарищески.

Кубышкин погладил Кукушкина по спине.

— Ребята, таскать будут сильно... Бери наизготовку: видом не видал, слухом не слыхал. Расходись теперь кто куда... навынос...

Токаря стали расходиться. Кубышкин наклонился к уху Егора и зашептал:

— Пистолет-то я упрячу. Шутка денег стоит. Тебе нынче не приходится показывать ножа перочинного.

Кукушкин, прижимая простреленную руку к груди, пошел с Кубышкиным. Старик бодро шагал по крепкой снежной дороге, покашливал и тряс бородой. Кукушкин чувствовал, как в рукав сочилась кровь и рубаха прилипла к садневшей и нывшей в руке дырке.

— Придешь домой,— учил старик,— рубаху долой, на рану ковш воды, самого холоднячку: чтобы зажало ямку-то и ржа от пули вышла, ниточки там от рубахи смыло. Тополевой примочки хорошо в рот-то открытой, в устье приложить. Есть примочка в хозяйстве? Нет. Можно и без примочки. Лаком еще заливают. Лак есть? Есть лак, лаком и залей. Дома-то, кто посмекалистее, чистой новиной туго-натуго, до отказа пускай руку завязывают. От натяжки мясо к мясу прилипнет и, глядишь, срастется лучше прежнего. Не хулигань потом. Жизнь на волоске удержалась. Ты что, ты пристяжной, а вместе с коренником плеть и по тебе угадала. Да мало, да мало! Гляди, о зароке не забудь. Ваньке туда и дорога. Об нем там давно скуку имели. Сволота был покойник, царство небесное. Стынет вот теперь на морозе. Собаки нос отгрызут. Не жалко нисколько. Ребята бы не ответили! Ты крепко, смотри, держись. Баб пуще всего остерегайся. Пристанет серой, а ты молчи. Стой на одной ноге, как Симеон Столпник полгода в столбе на одной ноге стоял. Бабий язык, как флаг на ветру, качается, вредит делу хуже вереда. Сашку Кривого повидай. Заткни ему остальной-то глаз. Клёнину скажи — мало ему, мостолыге, ребра проверены, молчок-де — другую ногу ломаем. Он червяком изовьется — и смолчит, подлый человек. Всем своим скажи. наших ребят ни в какую не проведешь! Конец слободе маяться. А ты сам опосля радовать-

ся не перестанешь. И от сего дня первый товарищ. Нутро-то у тебя, Кукушка, не все пропито?

Кукушкин пересилил боль и шум в ушах, покрывил лицо усмешкой и тихо простонал:

— Есть еще маленько...

— Нам много и не надо: будет и маленько. Где уж много ожидать от такой паскудной жизни!

Кубышкин дошел до своей квартиры на Зеленом Лугу и остановился.

— Отворачивай оглобли,— живо и улыбаясь проговорил старик,— не забывай, Кукушка, обещанного! Утречком вся каша заварится. Раньше Ваньку найдут, может, ночью. Нет, ночью отдых свой бережет полиция. Не сплхуешь? Ну, в добрый час! С войны не с войны, а рука на привязи! Задавай топтуна!

Кубышкин зашаркал в калитку. Взялся за кольцо, обернулся к уходившему Кукушкину и закричал вдогонку:

— Лаком залей густо-нагусто. И пе-ре-тя-ни!

Кукушкин остался один. Он шел все тише и тише, перемогаясь, посовываясь на бугорках. Снег скрипел под ногами как-то по-новому резко, больно, и каждый скрипок отдавался в ране. Так бывало прежде дома, когда мать на кухне точила ножик о ножик и лязг царапался внутри, хотелось не слышать лязгающих зубами ножей. Вместе с болью будто перешел дорогу Просвирнин и помешал идти. В голове закувыркалось, зазвенело, разбилось, будто он свалился головой, животом, руками в каменистый бочаг, в желтые пенки взмученной воды. Потом дно оттолкнуло, поддавая в пятки, и голова проломила упругую звонкую крышку воды, вода кисло залила нос, горло и слепила глаза.

Кукушкин привалился к перильцам, приткнулся губами к ним и жадно слизал тонкую пленку снега. На перильцах осталась оттаявшая черная вымоинка, как дубовый листок. По улице шел люд взад и вперед. Люд с опаской сворачивал с тротуара и осуждающе прищуривал глаза.

Шли бабы, остановились и насмешливо заговорили:

— Что, родименький, неможется?

— Мать моя, назюзюкался-то как! Гляди-гляди, губищами-то снег огребает, что те лопатой!

— Не нашел, пьяная харя, места почище?

— Эй, парень, язык занозишь!

Бабы прошли, весело названивая голосами. От снега в голове посветлело. Придерживаясь за перила, охраняя болевшую руку, Кукушкин поплелся. Он добрал до Аннушки. Постучал в окно. В окне заколебался прыгающий ламповый свет. Аннушка не торопясь сняла со стены лампу, вышла в сени и, загораживая ладонью огонь от ветра, отворила дверь. Отворила и сморщила брови:

— Нет его, не пришел. Чего надо? Где разошлись? Спозаранку за пьянку?

И потянула закрыть дверь. Кукушкин заторопился:

— Аннушка, Ваньку... пристрелили!

Аннушка вскрикнула. Лампа закачалась, закланялась в руке.

— На всполье... На пожарище... Мне руку насквозь... Сказать зашел о Ваньке...

Зазвенело в голове, будто сбросили с высоты стеклянную посуду. Одну и другую. Он опустил на ступеньку.

Скоро Аннушка выбежала из дверей, завязывая на бегу платок, задела его по лицу, не заметив, шубейкой — и кинулась по улице. Отовсюду бежали бабы, ребятки, рабочие.

На пожарище уже толкся люд. Аннушке дали дорогу. Горел на снегу маленький ручной фонарь и багрово светил на лежащее тело. Лицо Просвирнина было закрыто папахой. У изголовья, на широком березовом полене стояком, с шашкой между разошедшихся ног, сидел городской. Аннушка всхлипнула. Колени пригнулись. Она сняла папаху с лица — и зарыдала. Городовой пошевелился, поднял папаху, закрыл снова лицо и недовольно сказал:

— Не приказано трогать покойника. Как есть, так и должно быть. Плачь, а рукам воли не давай!..

Люд сердито и возмущенно загудел, зазвенели колокола и ширкунцы бабьих голосов.

— Нам что, — оправдывался городской, — мы по службе поступаем.

Аннушку отвели к сараю и посадили у ворот. Оставили одну. Люд расступился в стороны, чтобы видно было покойника. Аннушка прижала голову к коленям, дрожала от тихого плача и тихо укоризненно шептала:

— Ой, Егора! Ой, Егора!

ГОЛУБОЙ ДОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дом был голубой, с мезонином. Дед любил все голубое. Завещал подкрашивать. И подкрашивали. В доме было тринадцать комнат. Бабушка приказала в боковушке сделать перегородку: стало четырнадцать комнат. Кормилец с тех пор не плакал в трубе. Внучка в «Описи прибылых и убылых вещей» называла боковушку «комнатой двенадцать А»; она сомневалась в существовании черта, но число тринадцать признавала опасным.

В коридоре лежала, раскорячась, широкая, как фургон для перевозки вещей, печь. На старинных кафлях лиловыми, зелеными и голубыми красками были изображены зайцы, собаки, птицы, женщины и мужчины. На кафлях с мужчинами написано было под глазурью: «Кто мя исхотит», «Хочу ее поуняти», а на кафлях с женщинами другие надписи: «Всегда мне покорен», «Сие мне угодно есть»; зверюги были оставлены без надписей, кроме птицы, под которой значилось: «Нос свой очищает».

Дед за два дня до смерти прожег набрюшник у печки. Сорок зим он просидел без приключений у печки — тут приключилось, и его позвали на тот свет без промедления и задержки.

Из коридора в мезонин штопорилась желтая лесенка: пробегала кошка, можно было по скрипу сосчитать, сколько в лесенке ступеней. У входа на лесенку стояли, как два часовых, две деревянных колонки. За печкой, под паучьей вуалью, постаивали дедовские часы Ивана Логинова, 1792 года, с маятником вроде донышка от небольшого бочонка. А к часам громоздились кованые сундуки-головники, комоды красного дерева, шкафы, брюхатые шифоньеры. Тут, будто терраса с отвалившимися по переду перильцами, лежал диван с обмятым сиденьем: дедушкин зад был и широк и грузен.

Когда дед был молодым, до женитьбы, принимал на этом диване женщин. Раздевался он донага и шубу надевал на нагое тело, укладывался на диван и притворялся больным. А потом схватывал женщин, клал с собой и запахивал шубой...

Часы уже не ходили лет сто. В кузове часов прятались дети, когда играли в прятки. Но еще удобнее было прятаться в шкафу, будто в крытом крыльце, под висячими

на коромыслах дедушкиными сюртуками и под бабушкиными платьями-колоколами. Дети залезали туда, прикрывали дверцы и ждали, пока кто-нибудь по надобности не откроет шкафа. Тогда они рычали и хватали открывальщика за ноги, ноги дрожали, а хозяин ног вскрикивал от испуга, совал в темную шкафную пасть руку, вытаскивая проказника на свет.

В тринадцати комнатах густо стояла мебель: толстый человек задевал то за павловское кресло, то за николаевский диван. Как убирали комнаты, таскали и волочили по полу деревянных стариков, будто пароход грузился у пристани и по подмостям матросы катили бочки, везли тачки с мешками, сваливая их в грохочущее паровозное пузо.

В кабинете у бабушки по стенам были шкафы с книгами. За прозеленевшими от пожилого возраста стеклами, прижавшись друг к другу, в тисненых переплетах, как лакеи в золотых ливреях, а по-бабушкину, как в иконостасе, стояли книги второго столетия. Из кабинета, с цветными стеклянными шлемами на голове, в перемычках, выходила на террасу с двух полов дверей. Через цветные шлемы, уходя на ночевку, солнце ложилось на паркет цветным одеялом. На бабушкином столе против двери белело чучело зайца. Дедушка любил зайцев и разводил их до самой кончины. Похоронить бабушку не успели, пришла заячья смерть: на поминках зайцев съели, только чучело оставили на своем месте. Потом из тринадцати комнат, из коридоров, из передних, из-под кресел, из-под диванов, из-под плинтусов вымели мешок мохнатых заячьих орешков и в саду прогорошили гряды для удобрения. Потом долго проветривали комнаты, не глядя на погоду, кутались в платки, надевали шубы от холода, маялись флюсами, а терпели, выводя заячий дух.

За домом бабушка разбил десятину под сад. Насадил в середине кружало из тринадцати лиственниц и каждой лиственнице дал женское имя: Марья, Агафья, Алевтина, Аграфена, Роза, Чеслава, Амалия, Тамара, Сара, Мэри, Псиша, Мадлен и Королек.

Как пополнили лиственницы, от посадки лет через пятьдесят, бабушка в круглых мраморных медальонах развесил на лиственницах золотые имена своих любовниц. Бабушка никогда не всходила на кружало, а дед любил там качаться в гамаке.

За кружалом, на островку, в темно-зеленом ошейнике водяных лилий белела колонная беседка-ротонда. Росли тут густо, непроходимо сирени, как рожь растет. На островок был радугой перекинут мостик, а под него подплывала, гуляя, белая лодка «Лебедь».

По высокому забору, как щучьи зубы, торчали гвозди. Раз забрались в сад воры, дедушка спустил собак, воры побежали, побезли на забор, один вор от торопки повис на шулятиках. Дедушка принес вора в дом на руках. Долго лечил рваное место травами, пока не затянуло рану розовой лапкой, пока вор в окно не выскочил и не убежал с дедушкиным халатом. Забор выходил на пустырь, на проезжую дорогу. Дедушка любил забавляться невинными забавами. Приказал он в заборе наvertеть дырок, подолгу дежурил у дырок и проходящую публику поливал из диделевых чиркалок водой.

Дом деревянным своим гербом, от которого осталась одна львиная лапа, ерзавшая на гвоздике и скрипевшая в ветреную погоду по опушке, выходил на бульвар против Зеленого Луга. Там, за опущенными шторами, за фикусами, за столетниками, за чайными розами, за лаврами, за лилиями, за пальмами, наскучив менять мужей, привередничая от женских болезней, желтая и серая, как запыленная охра на заборе у дороги, жила Александра Александровна Брянчанинова с замужней дочкой Людой, с женатым сыном Анатолием, а при них — невестка Галина, зять Вольдемар Пуговкин; в мезонине жил жилец — учитель Тур, на кухне — Аграфена да Пелагея, под ногами — собака Карушка и кот Василий Васильевич.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сегодня с утра Александра Александровна терла себе виски, нюхала нашатырный спирт и щупала пульс, ожидая паралича сердца. Лечась от полноты, она накануне покушала лимон и потом запила его молоком. К полдню Александра Александровна расхворалась. Она сидела долго и настойчиво в некоем укромном месте, испуская оттуда подавленные стыдливо стоны. Она сидела, а другие бегали в сад, за сирени. На кухне Пелагея с Аграфеной передразнивали Александру Александровну и крихтели, заливаясь веселейшим смешком.

Люда с рюмкой подошла к маленькой дверце и осторожно поскреблась ноготочками:

— Мамочка, Иноземцевых капель!

Александра Александровна сняла крючок и зашептала в щелку:

— Как ты кричишь, мой друг! Тише! Ах, Люда, я так страдаю!

Она просунула два пальца в щелку, и рюмка исчезла за дверью. Люда ждала. Скоро пустая рюмка просунулась обратно, и в щелку опять зашептал испуганный голос:

— Очень крепко... Не слишком ли много ты накапала, мой друг?

— Нет, мамочка, нет.

— Не стало бы крепить меня?

Дверь защелкнулась крючком. Люда подходила несколько раз, прислушиваясь к мамочкиным стонам. Потом подошла Аграфена, застучала в дверь кулаком и закричала:

— Барыня, мужик дров наваливает! Будешь, что ль, брать?

— Ах! — стонала за дверью больная. — Дура набитая! Отойди!

— Дрова нужны, чего отойди! Последнюю ношу принесла из дровяника.

— Боже мой! Скажи Людочке, ты не понимаешь, я занята...

Аграфена отошла с ухмылкой в глазах, недовольно бормоча:

— Тоже занятие, подумаешь: в нужнике сидеть!

Вечером болезнь надула живот у Александры Александровны, он распух, отвердел, как большой барабан в оркестре. На живот клали бутылки с горячей водой, завернутые в ручные салфетки, разглаживали живот беленным маслом, затягивали в набрюшник, закутывали и подтыкали одеяло со всех сторон. На ночь поставили у кровати дубовое дедушкино судно, с грохотом волоча его из сеней. Ночью Александра Александровна бредила, часто звонила в колокольчик, вызывала Пелагею и умоляющими глазками глядела на нее:

— Пелагеюшка, ты не сердись на меня! Мне страшно одной. Всякие приходят несуразные мысли в голову. Даже пот пробивает. Ты сядь на стул — вон туда в уго-

лок, подальше от кровати: от тебя пахнет кухней. Я не могу выносить кухонного запаха — меня мутит.

— Мне спать надо, — бурчала Пелагея.

— Я знаю, Пелагеюшка, но как же я?

— А мне какое дело? Я не железная. День работай — и ночь не спи. Мне это, барыня, не по характеру. Я баба сырая. Я сама могу захворать от неспросыпу.

— Ой, ой, Пелагеюшка, матушка! Ой, потри у пупка! Ой, клещами схватило! Тащит! Тащит!

Александра Александровна загромычалась на кровати, перебирая пальцы запотевших рук.

Пелагея обрушилась коленками на пол, сунула шершавую руку под одеяло, нащупала пупок и начала винтить около пупка, разгорелась от работы, взмокла, ладонь запалило огнем и всю руку. Александра Александровна зажмурила глаза и вся вытягивалась. Пелагея работала, как на кухне, серьезно, основательно, важно, сбила одеяло, простыню, колебала кровать...

Александра Александровна уже недовольно говорила:

— Пелагеюшка, дует: закрой одеялом. Потихе, потихе, ты раздавишь мне живот!

— Чего животу сделается? Живот растягивается, будто резина. Кровь надо разогнать по кишкам — легче будет.

— Спасибо, спасибо, Пелагеюшка, достаточно, не трясись больше меня.

Пелагея поднялась с колен, вытерла руку о простыню и, зевая, молча остановилась у кровати. Александра Александровна взглядывала на Пелагею из-под ресниц и удовлетворенно журчала:

— Ты сядь, немножко посиди, Пелагеюшка!

— Спать надо, не сидеть, — сердилась Пелагея. — Вон они, петухи-то, орут!

— А тебе очень хочется спать?

— На то и ночь дана, чтобы спать. Кому ночью спать не охота?

— Я не могу спать. Я не хочу.

— Захоти — и уснешь. Зажмурь так глаза, будто от солнышка, крепко-накрепко и считай: раз баран, два баран. Сотни две насчитаешь баранов — беспременно слюнка из роту вытекёт, и позабудешься.

— Я попробую, Пелагеюшка, я попробую.

— Благодарить будешь, барыня, средство это верное.

— Хорошо бы. Я тебе сделаю, Пелагеюшка, подарок. Ты не оставляешь меня больную.

— Покорно благодарю, барыня, не позабудь только, как утречком очкнешься!

— Ну, может быть, не завтра, а как-нибудь к случаю... Я очень ценю твою любовь ко мне... Все спят. Весь дом молчит. Одной так жутко. А ты — со мной...

— А-а-а! — зевала Пелагея.

Александра Александровна тревожно слушала зевоту. Пелагея, отзевав, мялась на одном месте, одергивала на себе рубаху, чесала зад и говорила:

— Я на кухню пойду, барыня? Что, в самом деле, — я не нанималась сидеть ночами! За матерью у нас в деревне дочь первая ухаживальщица. Людмила Григорьевна ночку может и без своо супруга обойтись, поухаживать за мамашей. Ваш хлеб-то уплетают за обе щеки — за ушами пищит!

Александра Александровна строго прервала Пелагею:

— Убирайся к себе на кухню, раз не хочешь быть в комнатах. Разбуди и пошли ко мне Людочку. Осторожно, смотри, разбуди! Не взбаламуть весь дом!

Пелагея весело юркнула из спальни и зашлепала босыми ногами по коридору. В тишине гулко запрыгал стук по дому, кашлянули половицы, прошуршали обои и будто кто-то за обоями пошарил невидимой рукой. Александра Александровна поморщилась и пошептала что-то корочками губ. Люда быстро набрасывала на себя капот в темноте. Муж шептал:

— Людок, у тещи опять поносная смерть?

Люда отшептывала:

— Володька, это свинство! Пелагея может услышать. Мамочка действительно страдает.

— Поэтому будить людей надо?

— Ты не будись — тебя она не зовет.

— Этого бы еще недоставало!

Пелагея лезла за Аграфену на кровать и зло бормотала:

— Окаянная сила! Мужика бы тебе для разглуски! Не дрыхнется! Обожралась — и прет из нутра.

Александра Александровна радостно манила рукой входящую дочь, тянула к себе и целовала в лоб:

— Людочка! Вольдемар не проснулся?

— Нет, мамочка, он спит, как медведь зимой.

— Какой завидный сон! А я в тревоге. Мне смертельно страшно. Пелагея нагрубила мне: ей сон дороже человеческих страданий! Бесчувственное животное! Ты одна у меня, Людочка! Ты не посетуешь на свою старенькую маму! Побудь со мной, пока я не усну.

— Хорошо, мамочка, я побуду, я с удовольствием. Может быть, тебе надо что-нибудь сделать?

— Нет, ничего. Ты сядь на коврик рядом. Помолчим. Мне говорить тяжело. Я скоро усну в твоём присутствии.

Люда села на коврик, прижалась головой к кровати, и слушала, как под одеялом булькал и переливался мамочкин живот. Она отталкивала сон, но глаза задерживались веками, ноздри втягивали маленькими хоботками затхлый запах постельного белья, человеческого пота, ночникового воздуха...

— Людочка, ты уснула?

Люда спросонья раздельно отвечала:

— Н-е-т, ма-мо-ч-ка!

А голос будто задумывался на последнем слог.

— А у меня остыли бутылки...

Люда молчала. Александра Александровна раздраженно теребила ее за рукав.

— Ты что, ты что, мамочка? — просыпалась дочь.

— Люда, не хитри! Ты заснула. Все... все спят... одна я...

— Мамочка, тебе кажется. Я не сплю,— бодрилась Люда.— Я совсем не хочу спать.

— Друг мой, не лги! Я не осуждаю тебя.

— Уверяю тебя, мамочка!

— Ты несносна, Людмила! Я же вижу. Что я сказала?

— Когда, мамочка?

— Последние слова...

— Последние слова? Ты ска-за-ла последние... слова...я... я... забыла.

— У меня остыли бутылки!

С полу дуло. Люда подвертывала под себя капот, ежилась, как от просыпанной по спине холодной дробы, кашляла.

— Что же делать, мамочка?

— Надо поставить самовар. Надо разбудить Пелагею.

— Неловко, мамочка, она недавно легла.

— Ах, вам неловко, а мать должна мучиться!

— Я поставлю сама.

— Но зачем же самой? Пелагея — здоровая баба, она поспит днем. Пойди подними ее.

Люда, пошатываясь, ушла. Александра Александровна вслушивалась в разговор на кухне и морщила лоб от ожидания... Охнул старый паркет, будто кто-то переступил в комнате и пошаркал ногой, шмыгнула мышка под обои. Александра Александровна побледнела, по телу выступила испарина, рука задрожала вместе с язычком колокольчика. Люда вернулась на звонок с напуганными глазами, будто в них еще колотился колокольчик.

— Мамочка, воды нет, такое несчастье! Пелагея грозит завтра уйти от нас. Она очень недовольна.

— Боже мой! Боже мой! Какая мука! Я всем, всем в тягость! Все против меня!

— Ну, успокойся, мамочка, не говори так. Я заплачу.

Люда припала к изголовью матери и стала вытирать ее влажный неровный лоб.

— В одну из таких ночей я умру в этой комнате,— плакала Александра Александровна,— и никто, никто не увидит моего последнего вздоха. Все будут рады избавиться от старой женщины-брюзги...

Дочь закрыла ладошкой рот матери, не дала говорить и прижала седую голову на мягкую подушечку своей груди.

Под утро Александра Александровна заснула, похрапывая под тяжелым одеялом, вздрагивая мелкой морозной дрожью. Люда на цыпочках ушла из комнаты, оглянувшись в дверях на белое большое тело матери. Люда устало сняла капот, залезла под теплое одеяло к мужу, сунула свои маленькие ледяные ножки между ног мужа, прикорнула, прилипла к его широкой спине, вцепилась обнимающими руками поперек живота и, медленно отдрагиваясь озябшим станом, начала впитывать густой жар его тела и нагретой постели.

Володька проснулся, сжал ледышки ее ног, весь придвинулся к ней, потянул за руки и зашептал:

— Зяблик ты мой! У тещи понос кончился?

Люда шутливо затолкала его подбородком в спину и стиснула руками крепкий живот:

— Володька, не фамиллярничай!

Александра Александровна проснулась за полдень. Проснувшись, она пролежала минутку, не шевелясь, прислушиваясь к животу, а потом начала тихонько гладить его. Наболевший живот сопротивлялся глаженью легким нытьем, поуркивал где-то вглуби, как поуркивает кошка за шкафом, докушивая мышь. Александра Александровна печально охнула. На колокольчик пришла Пелагея с чулками. Александра Александровна медленно села на кровати и протянула ногу. Пелагея натаскивала чулок и со смехом щекотала подошву:

— Отоспалась небось, барыня! Добрые люди наработаться успели. Скоро павжнать пора. Ишь ноги-то как налились — будто водянка! А все ото сну нездоровье.

Александра Александровна молча наклонилась, пощупала толстую розовую ногу, покачала головой, а от нажима на ногу осталась ямка и долго не проходила.

— Шарь не шарь — дело косарь! — насмешливо гудела Пелагея.

— Перестань молоть вздор! — рассердилась Александра Александровна. — Делай свое дело. Какая сегодня погода?

— Нет, барыня, ноги от погоды не раздувает, — не унималась Пелагея.

Александра Александровна захлебнулась своим голосом и взвизгнула:

— Дура, я не об этом спрашиваю! Оставь мои ноги в покое. Мне погоду нужно знать.

Пелагея спокойно выпрямляла пальцы в чулке:

— Погода ничего. Лучшего жалать нельзя. Собаки высуня язык бегают.

— У тебя постоянно эти глупые поговорки и нелепые сравнения.

— Мы, барыня, сызмалетства в чужих людях. На кухне-то нас некому наставить. Поговорочка другая умного слова стоит. Веселье от нее делается в душе.

— Только не от твоих поговорок.

— Да разве они мои, барыня? Они деревенские. Я что?

— Ты не в деревне живешь, а в благородном доме. Не смей мне никогда говорить этих глупостей!

— Молчок, барыня, не заикнись больше, тресни моя пестёрка!

Александра Александровна изнеможенно улыбнулась и, опершись на плечо Пелагеи, встала, переступила несколько шагов, морщась от боли в ногах.

— Походи, походи маленько, пускай через силу,— бормотала Пелагея,— ноги надо ходьбой разминать. В ногах дурная кровь застоялась от брюха.

Александра Александровна послушно хромала по комнате, выпячивая большой живот, обтянутый панталонами, мельком взглядывала на себя в зеркальное полотнище, косившее живот на сторону белым надутым мешком, и горестно гримасничала.

Пелагея тормошила постель, бегала на заднее крыльцо вытряхать одеяло, матрац, накрывала и убирала постель, вздыбливая подушки. Выкатила дубовое судно. Александра Александровна отдернула шторы, вытолкнула окно и отковыляла от сквозняка в сторону. Она села к бабушкину туалету с облезлыми боковинами, разглаживала отеки под глазами, хмурилась, хмуро прикрывала липкую отвислую грудь. Издали в зеркало ухмылялась через плечо Пелагея. Щеки у нее были алые, гладкие, шелковые, волосы черные, будто черное дерево на бабушкиной шкатулке, а глаза ясные, как косые капли дождя на солнце.

Александра Александровна невесело впивалась в нее глазами. Под ложечкой набухала тоска и быстро поднималась к горлу. И она сердито спрашивала:

— Почему вечером не было воды? Мне самой ходить на реку от двух прислуг? В следующий раз я пошлю тебя среди ночи за водой.

— Воды, барыня, было много, полная кадушка. Сами же по бутылкам разлили. За вечер-то пять раз самовар подогревали — не напасешься. А с речки ведра, барыня, не шутка таскать — спина треснет. Ведерко принесешь, а другое погодишь...

— Вот, вот — лень, я знаю. А за что я плачу деньги? Как можно на ночь оставаться в деревянном доме без воды? А если пожар? А если кто заболеет? Ты, например, сама заболеешь?

— Так что же? Заболею — туда мне и дорога. Что с водой, что без воды. Ах, барыня, барыня, от воды здоровья не прибавится! Пожару ежели быть, ведерком не зальешь. Пожарные вон, у губернаторского дома пожар был, из водопроводу реку вылили, а дом сгорел, как свечечка.

— Чтобы была, была, была! — закричала Александра Александровна, покрасневшая и разгневанная. — Не о чем рассуждать. Твое дело исполнять приказания, а не рассуждать. Я плачу тебе жалованье.

— Что жалованьем попрекаете? Как так все по-вашему было бы, мыслимое ли дело? Вы бы, барыня, меня что нехорошее заставили делать, а отвечать кто будет? Мало ли по хозяйству воды за день-то уходит! Водовоз нам всю бочку и не подумает отдать: для всех домов возит. На речку-то, барыня, к слову сказать, я не нанималась ходить. Я не лошадь. Опричь как из нашего дома, никто не ходит на речку. Хорошие хозяева прислуг тоже жалеют.

— Ты так, ты так? Сама виновата, а обвиняешь других? Я не держу тебя. Я тебе сегодня же выдам паспорт.

— Воля ваша, барыня, понапрасну только в сердце входите!

— Убирайся отсюда!

Александра Александровна от волнения прихромала к раскрытому окну, загородилась шторой от простуды, из-за шторы вбирала, как насосом, воздух в себя и вытирала с лица проступивший пот.

Пелагея стучала-гремела на кухне. Трещала жестяная самоварная труба, прыгала вьюном по полу конфорка, хряснула разбитая тарелка. Пелагея гневалась. Отволновавшись, Александра Александровна позвала Пелагею, и та, насупившись, принесла в большой красной руке кофейник, поставила его на круглый столик около туалета, одернула ковровую салфетку, а заодно и свое платье и вдруг весело сказала:

— Кофейку, барыня! За ночь-то поди отошала!

Александра Александровна просветлела:

— Хорошо, Пелагеюшка, я выпью.

На кухне Пелагея с Аграфеной шептались, затыкали носы, только груди от смеха ходили ходуном и плескались под кофточками.

— Лачет!..

— Прихехе своего вспоминает!

— Скоро в нужник побежит!

— Пойдем за уши держать!

Кухарки между делом забавлялись над Александрой Александровной. Они слышали ее голос в кухонном чаду

и плитяном зное, шипели на нее, как масло шипит на раскаленной сковородке.

Александра Александровна протянула унылый день, а как пришло новое утро, все недуги разлетелись испуганными птицами. Александра Александровна ходила по всему дому, распоряжалась, играла на рояле, читала любимого своего писателя Монтепена, забавлялась с котом Василием Васильевичем, кидая клубок ниток в зале и подтаскивая к себе. Василий Васильевич гонялся за клубком, вспрыгивал к ней на колени, толкал пушистой мордой в грудь и выпускал когти, а потом взбирался к ней на плечо и, уткнувшись усами в прическу, мурлыкал. Александра Александровна прогуливалась с ним из комнаты в комнату, снимала по пути с мебели соринки, пушинки, сдувала пылинки и оставленные Анатолием опилки от выпиливания замысловатых узоров на коробочках. Потом она вышла в сад с Василием Васильевичем и по мостику поднялась в беседку. Василий Васильевич спрыгнул на землю и начал гоняться за вертевшимися в сиренях воробьями.

Александра Александровна присела на лавочку и задумалась на кубовое небо с белыми цветами облаков, на свистящих ласточек, летавших вокруг звонницы у Спаса на Болоте, на румяные, как щеки Пелагеи, яблоки, горевшие в глубине сада незажженными фонариками. Прошел мимо Анатолий с обнаженной загоревшей грудью, бормоча какие-то стихи и разводя руками, не замечая в рассеянности матери. Александра Александровна поглядела ему вслед и покачала головой.

Пришла Пелагея к мостику и стала чистить песком кастрюлю, расшарашив упругие красные ноги. Кастрюля шмыгала у нее в руках черными боками, терлась о песок, потом быстро начала гореть медным золотом с блистающими разводами. Пелагея отставляла кастрюлю от себя и, перекладывая голову с одного плеча на другое, любовалась возникающим блеском. Довольная, она еще пуще стала тереть кастрюлю и громко запела:

У меня миленков тридцать,
Побежала я топиться,
Прибежала на реку —
Все сидят на берегу.

Мимо нашего окна
Пробежал теленочек,
Я теленочка за хвост —
Думала, миленочек.

Пелагея остановилась, перестала тереть кастрюлю, задумалась, поглядела куда-то в глубь сада зорким взглядом и уставилась в темную, густую от тины воду, будто видя там золотое дно с самоцветными камнями и гуляющими по нему рыбками. Вдруг она шаркнула кастрюлю, откинула наотмашь попавший в песок камень и рассыпалась еще звонче, чем начала:

Дай бог бури, дай бог граду
Убить бурого коня,
Чтоб не ездил на свиданье —
Не расстраивал меня.

Спаси, господи, помилуй —
Меня миленькой покинул
И соломкой затрусил,
Чтобы комар не укусил.

Александра Александровна раздвинула залезшие под крышу беседки сирени и прищуренными смешливыми глазками уперлась в алый влажный рот Пелагеи, раскрывавшийся песней:

Месяц светит, как целковый,
Ясны звезды — четвертак,
Мой милашка бестолковый,
С посидёнки ушел так.

Тут Пелагея для чего-то потопала ногой, расцвела глазами и шелками щек, перевернула кастрюлю броском на руках и взвизгнула, ухарски замотав головой:

Говорил, у палисаду
Боле разику не сяду...
Дорогой, не осердись,
Боле разу не садись.

— Не очень-то нужно! — добавила Пелагея, будто разговаривая с кем. — Найдется вашего брата!

Александра Александровна зажала рот и безмолвно затряслась сразу головой, плечами, грудями.

Пелагея сказала, а потом грустно сморщилась, вздохнула, повела рукой по кастрюле замедленно и осторожно и тихо, протяжно, печально заклокотала:

Походили мои ноженьки
Дороженькой любой,
Заросла теперь дороженька
Атавой зеленой.

Александра Александровна громко засмеялась в беседке и похлопала в ладоши.

Пелагея вскрикнула, выпрямилась и выпустила кастрюлю из рук. Кастрюля покатилась в воду и утонула. Пелагея увидела Александру Александровну и загремела на весь сад:

— Ах, барыня, от испугу у меня росток подался. Кастрюля утонула. Шестом теперь доставай поди. Чужой человек, думала, в биседке.

— Спой еще, Пелагеюшка! — сказала Александра Александровна.

— Ну, нет, шалишь, барыня! Я для кустиков пою, в одиночку — и так осрамилась при господах за наши деревенские завирушки. Кастрюлю вот доставай теперь из-за пеня-то, ворона неповоротливая! А где она — и не уследишь!

Пелагея низко наклонилась над водой, отгоняя рукой наплывавшую тину и открывая большие, сизые, как голуби, глаза.

— Ты скорее, скорее, Пелагея, — тревожно проговорила Александра Александровна, — кастрюлю засосет тиной. Надо быть осторожнее. Она стоит денег.

— Не видать, дьявола!

— Ты смотри внимательнее. Ты пощупай палочкой.

— Есть когда тут с палочками прохладжаться. Неглубоко, барыня, в луже-то? По титьки будет?

— Я не знаю.

— Тонуть начну — мужиков покликай. Утону — блазнить вам буду по ночам.

— Постой, постой! — закричала Александра Александровна. — В саду Анатолий. Я позову его.

— Ну-у! — пренебрежительно воскликнула Пелагея. — Он в ковшике потонет. Я сама. От этого помогайщика корысти меньше, чем от воробья.

Пелагея подняла подол до живота, запахнула его на спину, повернулась к Александре Александровне белым задом и, держась за ветку сирени, полезла тихонько в воду, шаря дно ногами. Александра Александровна жадно смотрела на крепкий зад, как огромная, очищенная от кожицы осенняя репа.

Вот репа поплыла в воде, тина облепила ее, поползла в промежности. Пелагея одной рукой вздернула платье выше за спину, тина хлынула по спине — и остановилась. Пелагея отыскала ногой кастрюлю, встала в нее и, волоча по мягкому дну, стала пододвигаться к берегу. Вытащив кастрюлю, Пелагея сердито кинула ее далеко от себя.

Придерживая у груди загнутое платье, Пелагея оглядела свое потемневшее и зазеленевшее от тины тело, потом быстро расстегнула пуговицы у кофточки и через голову обнажилась вся.

Александра Александровна беззвучно смеялась и тряслась жидкими, набухшими под белым платьем грудями. Пелагея скинула с живота густой слипок тины, оглянулась по сторонам и захохотала:

— То ли не тигра, барыня, я? С крапинками!

— Мойся, мойся скорее,— сквозь слезы говорила Александра Александровна.— Перейди по мостику сюда. Тут вода чистая.

— Да, перейди! Барин увидит. Откышкни его подальше! Из-за кустов, неровно, шаст на самую масленицу!

— Он далеко. Не бойся. Анатолий, Анатолий!

— Э-ге! — отозвался Анатолий.

— Не ходи сюда. Сюда нельзя.

— По-че-му? Что такое?

— Я позову тебя.

— Хо-ро-шо!

Крепко шлепая босыми ногами, согнувшись станом вперед, поддерживая дыни груди, Пелагея грузно промчалась по мостику и присела под сиренью. Потом вошла в воду, заплескалась, засновала, как челнок в кроснах, мокрыми руками по спине, по животу, по круглым, как два серпа, бедрам. Пестрое от тины тело засияло, забелело, как белая сирень в каплях росы. Бесстыдное рыжее солнце навело на него свое золотое зеркало, смахнуло искры воды с него пушистыми лапками, окутало его нежно-розовым душем лучей.

— Помогай, барыня! — весело выкрикнула Пелагея.— Кастрюля-то чья? Не моя поди!

Александра Александровна заторопилась из беседки, сходя по ступенькам. Пелагея испуганно взглянула на Александру Александровну и смущенно забормотала:

— Ой, как же можно, барыня! Виданное ли это дело? Тюфельки запачкаете. Не надобно, не надо! Ой, да и что же это за срамота! За язык меня дуру кто тянул! Стыдобушка, стыдобушка-то какая! Люди просмеют, барыня, ежели кто узнает! Ой, не грязнитесь, барыня, понапрасну!

Александра Александровна, смеясь, подошла к ней, трудно наклонилась к воде, зачерпнула в пригоршни воды и стала поливать на спину, а потом стала гладить

по спине, проводя от шеи до зада и обратно. Пелагея молча торопилась домыться и ойкала.

— Какое дело! Какое дело! Барин-то не идет? Надоест ему ждать, и придет! Что, право, барыня, на смех делаете! Я сама, я сама! Не надобно, барыня!

Александра Александровна замочила в воде широкие открытые рукава платья, с них бежала вода и лилась на белые туфли.

— Тебе не достать до спины,— тихо говорила она,— я помою тебе спину. Ты не стесняйся. Вот уже ты блестя.

Александра Александровна прислонилась к Пелагее, гладила, шарила ее, взяла в руки обе груди и надала бронзовые соски, задержала их, растерянно усмехаясь.

— Будет, будет, барыня! Ой, как и благодарить только! — стыдилась Пелагея.— Чистенькая я, как дитё из корытца! Не трожь титьки!

Александра Александровна разогнулась сильно и задохлась. Пелагея кинулась обратно по мостику, прямая и белая, как огромная лебедь. Она накинула на себя одежду и звонко и радостно начала смеяться, хлопая себя по бедрам:

— Вот так кастрюлька! Вот так и почистила! Ха-ха! Ой, грехи, право, на белом свете! Купка не купка, а вроде купки, барыня, вышло! Барина-то позвать надо: чего ему на дежурстве сидеть.

Александра Александровна устало вошла в беседку и кивнула ей головой.

— Анатолий! — негромко она позвала сына.— Теперь можно.

Анатолий с недоумевающим видом показался из-за беседки и остановился в нерешительности, взглядывая то на мать, то на Пелагею.

Александра Александровна, усмехаясь, спросила:

— А? Что? Интересно? А вот и не скажу!

Пелагея, лукаво посматривая на Анатолия, опять чистила кастрюлю.

— Странно! — обиженно сказал Анатолий.— В своем саду нельзя свободно двигаться. Какие-то тайны!

И пошел через мостик по направлению к дому, отворачиваясь от Пелагеи.

— Барыня, не говорите никому,— серьезно просила Пелагея, как ушел Анатолий,— проходу молодые господа не дадут. Что хорошего!

— Не скажу, не бойся! Зачем им говорить? Ничего особенного и не случилось.

И, уходя в дом, Александра Александровна предостерегающе добавила:

— Не урони снова кастрюлю. Осторожнее.

Пелагея шаркала из всей мочи, кряхтя и сопя над кастрюлей.

Прибежал Карушка, понюхал ее, высунул язык, как кусок ветчины, ткнул мордой в кастрюлю и, получив удар по носу, шарахнулся в сторону, оседая на задние лапы.

Василий Васильевич протрусил мимо Пелагеи, неся настороженную мордочку по следам Александры Александровны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

К полдню расплавился воздух вокруг и потек в раскрытые окна дома щедрым густым жаром. Золотые квадраты солнца шелушили паркет, выжигали темно-синие шторы и цветную мебель, сушили в горшках чайные розы, пальмы, лилии. За завтраком сидели красные и потные, вяло кушали и тяжело дышали, выпивая пузатые графины кваса.

Александра Александровна затворилась к себе, сняла легкое белое платье и прилегла на кожаный диван. Кожа дивана жадно впила ее пот и охладила разморенное и усталое тело. Спокойно и тихо вздымался большой живот в панталонах.

Александра Александровна лежала неподвижно, жмуря глаза в пухлых темноватых подглазниках, собиравшихся в сморщенные комочки. По голым рукам ходили мухи. Легкое прикосновение мушиных ножек было неприятно, но не было охоты шевельнуться. Полетала муха около лица и села на нос, крутясь на нем. Александра Александровна сдула ее губами и опять замерла надолго.

Потом толкнула в виски и отозвалась в сердце забота: Александра Александровна вспомнила о пустой бабушкиной шкатулке, из которой утром она вынула последний золотой.

Александра Александровна поднялась и позвонила в колокольчик. В комнату заглянула Пелагея.

— Найми извозчика в банк.

Пелагея побежала на соседнюю извозчичью биржу. Александра Александровна оделась и поджидала у окна, опираясь на малиновый зонтик. Пелагея, скромно сидя на краешке сиденья в пролетке, босая, со сбившимися волосами на щеки, довольная, подкатила к дому на белой лошаденке.

— Полтинник, барыня, взад и вперед!

Александра Александровна медленно вышла к извозчику, осмотрела лошадь в перламутровый лорнет и, прежде чем сесть, спросила:

— Лошаденка у тебя не с норовом, дружок?

— Хе! — осклабился извозчик. — На таком камню, барыня, лошадь смирнее пролетки.

— Ну, вот и хорошо: не растрясет.

— Куда там растрясет, барыня!

— Рессоры у тебя исправные? Ты их осматривал?

— Будьте покойны, барыня! Нам без осмотра нельзя. Как со двора долой, не то что пролетку, а и лошади-то заглянешь под хвост. Хе-хе!

— Ты веселый, голубчик, я вижу! — усаживалась Александра Александровна, поддерживаемая под локоток Пелагеей.

— Веселья у нас хоть отбавляй, барыня! — смеялся извозчик. — С господами едешь, навеселишься за день-то. С одним одно веселье, с другим — другое.

— Да, вы ведь, извозчики, хорошо зарабатываете, я слышала! Затем на вольном воздухе вы закаляете свое здоровье...

— Мы — народ могутной, что говорить!

Александра Александровна раскрыла зонтик. Лошадь тронулась. Березовые бульвары зеленели шелковыми кронами; солнце золотыми прожекторами раздвигало густоту крон и лежало поперек крепко укатанных желтых бульварных каналов; на скамейках сидели в белых чепцах няни, около них копались в песке беленькие детишки; везли детишек в колясках, на пышных кружевных подушках; стояла коляска с поднятым желтым верхом над сонным гуляльщиком; брел по бульвару нищий старик с суковатой палкой, с лысиной, как второе, померкшее, солнце... По дороге припорошивала пыль изпод лошадиных копыт, расседалась с фуканьем под колесами, пылила редких прохожих, летала серым дымом над Пятницким, заросшим осокой, прудом.

Александра Александровна подъехала к банку, где лежала ее выручка от продажи последней, Ильинки. Рассчитаны, высчитаны были деньги с запросом на много лет вперед, чтобы хватило, чтобы не пришли черные безденежные дни. Тут же лежало завешание на дом и на несъеденные пустоши за Николой Мокрым.

Извозчик дожидался у банка. На обратном пути извозчик говорил:

— Хорошая это штука банк, барыня! Но! Пошла! Дома держать деньги по нонешним временам — не рука. За один раз ни при чем останешься. Влезет вор, к примеру, в форточку — всех капиталов лишит... Да, пожалуй, на голове рубаху завяжет узлом, а то кишки выпустит из брюха. Конечно, банк для тех, кого деньги любят. Нашему брату банк ни к чему, потому нечего в ём нам делать. Капиталам нашим в кисете простор. У вас поди, барыня, много денег? Сколько именьев поди, строенья, одежды всякой загранишной?

Александра Александровна засмеялась:

— Ты мне нравишься, извозчик! Я очень люблю простых людей. Я тебе охотно скажу. Я не богаче тебя.

— Хе-хе! Поверить нельзя, барыня!

— А ты поверь.

— У вас не те добытки, барыня, как у нас. Веры насильно нет. Ежели бы денег не было у вас, не почто и в банк ездить. Мы вот только с чужим деньгам к банку приворачиваем да на окошки глядим.

— А мы, голубчик, вывозим из банков. У нас капиталов становится все меньше и меньше. Как ты сказал, добытчиков у меня совсем нет. Сын с женой, дочь с мужем — и все живут на мой счет.

— Да, это хорошего мало. На шарамыжку, значит, живут. Нет, вот у меня так парни работники... и бабы ничего. Крестьянство правят в деревне — из десятка не выкинешь. Еду я своим овсам али там оржаными, будто на глаза какая блажь находит — похвастать охота.

— А мне нечем, нечем хвастаться! — сокрушенно сказала Александра Александровна.

Проехали бульвары, заворотили к голубому дому, извозчик натянул вожжи, тпрукнул у крыльца и оборотился:

— А вот и скатали!

Александра Александровна открыла ридикюль, заговорила ладошкой от извозчика кредитки и, роясь в мелочи, говорила:

— Давно я хотела спросить, да все забывала... Скажи мне, извозчик, почему вас называют, скажи без обиды, ваньками?

Извозчик недовольно зашаркал задом по сиденью и сердито забурчал:

— Господам делать нечего, вот и называют всякими названьями.

— Я, дружок, никогда так не называю, но мне очень любопытно...

— Чего тут любопытного, когда человека ругают нехорошими словами?

— Ну, все-таки. Почему дано такое прозвище?

— Не могу знать, барыня, не иначе — первый извозчик на свете Иван был.

— Может быть! Может быть! Да, да, это ты верно! Вот ведь не придет в голову такая простая мысль: первый извозчик был Иван.

Александра Александровна подала деньги извозчику.

— Прибавьте, барыня матушка, — любясь новеньким серебром, сказал извозчик. — Овес нынче больно дорог стал. И харчи тоже недешево стоят. Гривенничек на чай не пожалейте!

Александра Александровна торопливо вылезла из пролетки и полуиспуганно ответила:

— Достаточно, достаточно, дружок, такая была ряда. Я счет деньгам сама знаю. И экипаж у тебя очень тряский, неудобный. В следующий раз уж... подороже...

Александра Александровна свернула зонтик и поворотила извозчику широкую кружевную спину из кремового шелка.

— Э-эх! — крихтел извозчик. — Хи-и-ми-ки! — И, помолчав, закричал: — Барыня! На вашей бирже стоим завсегда. Ехать придется — зови Ефима Топорищева: фамиль наша.

Александра Александровна, не оборачиваясь, кивнула головой.

Вернувшись к себе, Александра Александровна заперла комнату, вытряхнула из ридикюля деньги, пересчитала, несколько раз ошибалась, складывая на бумаге карандашом цифры трешников, пятерок, десятков. Потом вынула из бабушкина туалета бабушкину шкатулку,

положила туда деньги, осторожно умяла их пальцами, покрыла чековой книжкой и заперла.

И, как всегда бывало, когда Александра Александровна вынимала деньги из банка, она расстраивалась, сердито ходила по комнате, вздыхала, раздраженно кричала на Пелагею; снова начинали ныть застарелые женские болезни, и бодрые минуты удалялись, казалось, навсегда. Александра Александровна больше не выходила в этот день из комнаты, улеглась в кровать, в кровати обедала, никого не допускала до себя, кроме Пелагеи, радостно и озабоченно бегавшей на колокольчик до поздней ночи. Раздражение не прошло и на другой день. Утром вошел Анатолий и смущенно сказал:

— С добрым утром, мама.

— Что так? Что с тобой? — насмешливо протянула Александра Александровна. — Ты нездоров? Ты по ошибке зашел? Давно уж не бывал у меня в комнате. Чему я обязана твоим посещением?

Анатолий покраснел и засмотрел злыми глазами. Тогда Александра Александровна закричала:

— Сколько тебе?

Анатолий неопределенно сделал пальцами и молчал. В дверь ревниво заглядывала Люда.

Александра Александровна сердито достала из карельского бобика с вечера заготовленную кредитку и подала ее Анатолию, держа за краешек двумя пальцами. Еще накануне Александра Александровна разбирала все свои кредитки и откладывала на утро в бобик самые засаленные.

Анатолий небрежно сунул кредитку в карман, помялся, постоял на одном месте и часто замигал.

Александра Александровна невесело ухмыльнулась и скрипуче сказала:

— Сошлись сын с матерью, и поговорить не о чем... Ну, иди теперь, Анатолий, до следующего раза.

Люда ластилась целый день к Александре Александровне, предупреждала ее желания, обнимала ее за талию, заглядывала глубоко в глаза и долго крепилась.

— Ты меня интригуешь, — легонько улыбаясь, говорила Александра Александровна, — ты о чем-то хочешь спросить? Ну, спрашивай!

Люда тихонько шептала на ухо:

— Мапочка, у тебя был Анатолий?

— Был, был,— тоже шептала Александра Александровна.— Ты же знаешь! Ты же заглядывала в двери!.. На вот тебе на твои булавки...

Александра Александровна вкладывала ей в руку кредитку и нетерпеливо снимала со своей талии Людошкину руку.

Люда словно загорала от солнца смуглым блеском и целовала мать в дряблую щеку...

На Александрю Александровну, ей казалось, обрушился весь город.

Александра Александровна платила по счетам водовозу, прачкам, полотерам, в лавки, отдавала жалованье Пелагее и Аграфене, замок у бабушкиной шкатулки звенел и звенел, шкатулка становилась глубже и вместительнее, а раздражение Александры Александровны доходило уже до ментолового карандаша: она холодила лоб и виски.

Пелагея раньше времени сделала кровать Александре Александровне и катила в комнату, как нагруженную тачку, дедовское дубовое судно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В шесть часов вечера подавали обед. За круглым столом на снопе тонких ножек,— в старину любили, чтобы деревянные ножки мешали настоящим ногам,— располагалась Александра Александровна рядом с Людой и Анатолием, а напротив сидели Володька и невестка Галина. Люде хотелось сидеть с мужем, Анатолию хотелось сидеть с женой, но Александра Александровна считала их маленькими и держала при себе.

Александра Александровна молча оглядывала свою семью и глотала маленькими осторожными глотками суп. Люда подливала суп мужу, брату, обнося невестку. Анатолий морщился и шаркал на стуле, словно ему кололо сиденье. Галина Сергеевна спокойно кушала, подливая себе сама. Александра Александровна и Люда смотрели за ее рукой, переглядывались, мигали Володьке, но тот старался спрятать свои глаза в тарелку. Александра Александровна иногда предупреждающе кашляла, а Люда шипела, будто над столом кружилась пчела. Анатолий тогда с розовым, вспотевшим внезапно носом нескладно трещал стулом, приподымался и несвязно бормотал:

— Га... Галин... Га...

Александра Александровна осуждающе вглядывалась в пушистый от усов рот сына и насмешливо спрашивала:

— У тебя паралич? Что за га-га-га?

Анатолий кидался глазами в мать и громко отрезал:

— У меня хуже, чем паралич!

Александра Александровна поводила плечами под коробившимся платьем. Люда наклонялась к рукам матери и, глядя снизу на брата, говорила:

— Анатолий, у тебя на усах капуста!

— Где? Где? — в страхе тараторил Анатолий. — Не может быть!

Он хватал салфетку и крепко обтирал усы, разглядывая на салфетке мокрое место.

Тогда Галина смотрела большими темными глазами на Люду, та кидала серые взоры навстречу, и они сходились на поединок, вздрагивая и загораясь от встречи.

Обед проходил в молчании, только стучали о фарфор ножи, звенели стаканы, шаркали переставляемые под столом ноги да Пелагея носила кушанья, хлопая дверью и шатая стол, когда ставила на него блюда и миски. Шумно расходились из-за стола. Но на другой день нетерпеливо ждали шести часов. Анатолий часто подводил стрелку вперед, взбираясь на стул в столовой, брюхо у Анатолия быстро голодало. Раз в неделю приходил заводить часы часовой мастер и каждый раз удивлялся на часы, уходившие вперед каждую неделю по-разному.

Засиживались за столом подолгу, когда за обедом был гость. Тогда не скрещивались косы глаз невестки и золовки.

И вот уже вторую неделю обедали с глазу на глаз. У Александры Александровны были приступы почечуя. Она сидела за обедом на большой пуховой подушке, отчего голова ее приподымалась над столом, как на стуле у зубного врача.

— Ты думаешь, ничего, Люда, я кушаю суп? — сказала печально Александра Александровна.

— Суп нежирный, мамочка! Ничего, по-моему!

— Я опять провела ужасную ночь. От поросенка я откажусь. Ты не находишь, гренки сегодня не отличаются от черствой булки?

— Да, мамочка.

— Эта Аграфена вгонит меня в гроб. Суп пахнет дымом и какой-то горечью. Ты бы, Люда, понаблюдала за ней. Малейшая неосторожность, и желудок замучит меня.

— Я непременно понаблюдаю, мамочка.

— Ты строго прикажи ей, чтобы она процеживала суп. В супе остались волокна накипи, а в накипи — жир. Мне жир очень вреден: я могу умереть от несварения желудка.

Анатолий повернулся к матери и тревожно заговорил:

— Но почему ты, мама, не пригласишь доктора? Может быть, все это очень опасно?

Александра Александровна сделала безнадежно ручкой и горько задумалась, потом тихо промолвила:

— Ах, твои заботы, Анатолий! Ты, Анатолий, не услышишь даже, когда твоя мать умрет, занятый только своими делами.

Анатолий растерянно оглядел всех, побагровел и резко бросил:

— Какими же мне, я не понимаю, заниматься делами?

Мать расслабленно вздохнула и сжала жирные губы:

— Оставим это, Анатолий!

— Знаешь, мамочка,— вдруг испуганно сказала Люда,— Пелагея опять оставила ложку в молоке!

Александра Александровна заволновалась:

— Что ты говоришь? Ты сделала ей замечание?

— Да, я сказала.

— Ах! Эта Пелагея меня раздражает. Она никак не может усвоить самых обыкновенных вещей.

— Да. А живет у нас несколько лет. Она пришла еще до женитьбы Анатолия.

Анатолий кашлянул и уперся в стол глазами. Галина вскинулась вся к Люде и недоумевающе спросила:

— При чем тут женитьба Анатолия?

И перестала кушать.

— Я просто хотела определить,— многозначительно и лукаво протянула Люда,— с какого времени Пелагея живет у мамочки.

— Довольно глупое определение! — резко швырнул Анатолий словами, заливаясь краснотой от лба до шеи.

Все тяжело замолчали.

— А вот и сладкое! — прервала молчание Александра Александровна,— но я буду без сладкого. Анатолия

и Люду мы также оставим без сладкого. Они не могут ужитья в ладу даже за обедом.

Пелагея, уходя, хмыгнула носом. Александра Александровна скосила на нее сердито брови.

— Люда, тебе не кажется,— подозрительно, вполголоса, проговорила Александра Александровна,— груш было больше?

Люда посмотрела на вазу с грушами и с жаром воскликнула:

— Да. Это Аграфена. Она воровка.

Галина резко двинула стулом и торопливо ушла из столовой. Анатолий, дожевывая кусок груши на ходу, протягивая руки, кинулся за нею. Из коридора доносился его тревожный, просящий голос:

— Гали-и-ночка! Гали-и-ночка!

— Она смешна! — недовольно прошипела Александра Александровна.

— Она же деревенская учительница! — подшипела Люда.

— Но ты, Люда, чрезвычайно неосторожна: говорить при ней о Пелагее! Она может понять.

— Пусть, пусть узнает!

— Фи, фи, Люда! Анатолию же будет хуже.

— Этому колпаку так и надо.

— Людок!.. — попросил и голосом и глазами Володька.

Люда угрожающе закричала на него:

— Володька! Ты не вмешивайся! Я знаю твои шуры-муры с этой кошкой. У вас дружба.

В столовую вернулся, будто придавленный непосильной тяжестью, Анатолий, сел на диван и закрыл лицо руками.

— Не при-ня-ла? — проскрипела мать.

Анатолий промолчал — и вдруг, отшвырнув от лица руки, взвизгнул на сестру:

— Я... я в следующий раз в тебя запущу вилкой! Я плесну на тебя супом!.. Я... я плюну!

— Ана-то-лий! Замол-чи-и! — строго вмешалась мать.

Люда озлилась и вспыхнула:

— А я расскажу ей... твоей... репетиторше... про твои шашни с Пелагеей...

— Она не поверит, не поверит тебе... Я сам кое-что расскажу про тебя Володьке.

Володька засмеялся, подсел к Анатолию и громко на ухо протрубил ему:

— Я, Толька, все знаю про свою жену. Можешь не рассказывать. Я даже знаю больше, чем знаешь ты.

— Твоя жена дура, дура! — взвыл возбужденно Анатолий. — Я всегда стеснялся ее при народе. Она всегда была дурой!

Александра Александровна зажала уши и со стоном пошла из столовой:

— Я не могу... я не могу... Анатолий, ты груб, ты ужасно груб!

Люда вышла за матерью, потом рывком раскрыла дверь, сделала нос брату, оглянулась назад и спокойно, плавно, внимательно, вкрадчиво спросила:

— Анатолий! Я пришлю к тебе Пелагею?

Анатолий ухватился за голову, горько замотал ею, затрясся весь, отчаянно восклицая:

— Как глупо! Как глупо!

— Пустяки! — сказал Володька и закурил папиросу, делая дымные колечки и попадая в них пальцем.

— Но как же! — стонал Анатолий. — Ты понимаешь, Володька, мать нарочно наняла Пелагею, как только увидела во мне мужчину. Ты понимаешь, приходила целая рота наниматься кухарок. Мне велено было из-за двери смотреть, которая понравится. Ах как мне стыдно! Галина не должна знать!

— Брось рассказывать — все знаю, — смеялся Володька, — теща была сводней!

— Нехорошо, понимаешь, про мать говорить... А иногда у меня в голове возникают чудовищные слова. Я просил несколько раз отказать Пелагее. Положение у меня, понимаешь, нелепое. Подействуй ты как-нибудь на свою дуру. Она не любит Галиночку и... и хочет ей неприятности. Поговори с матерью. Она тебя уважает. Только Людка не должна знать.

— К чему это? — возражал Володька. — У Пелагеи золотые руки. Другой такой Пелагеи больше на свете не существует. Теща не согласится.

— Понимаешь, я терплю мученическую муку. Я скажу тебе по секрету... Когда никого дома нет, Пелагея приходит ко мне и... тащит... меня на кровать. Я запрусь на крючок, она... стучит, понимаешь, на весь дом кулаком по двери.

— Ну, ну, а ты?

— Что я? Положение у меня, понимаешь, идиотское! Как ей отказать — скандал устроит. Она издевается надо мной... Ляжет на Галиночкину кровать и... глупо смеется... рукой меня манит... Я... как вор... как преступник... ну, ты сам понимаешь! Гади́на шепчет мне на ухо: «Толенька, дролечка моя!» А у меня кости болят от ее рук. Ужас, мерзость, трагедия!.. Я после нее... сижу, понимаешь, дураком и верчу палец о палец...

— Хо-хо! — залился Володька. — Бой-баба! Лип к ней, теперь не отлипнешь!

— Я тебе как другу открылся. Не говори Людке. Что мне делать, что мне делать? Понимаешь, она мне свиданья назначает за городом, когда долго не удастся поймать меня в доме. В коридоре встретится... щекочет... или щиплет меня... Так вульгарно... по задку... хлопает. Я, понимаешь, страдалец, самый настоящий страдалец!..

— Ха-ха! — заливался Володька, давясь папиросным дымом. — Молодец, молодец Пелагея! Как она нашего барина оседлала! Ох! Хо-хо! Ха-ха! Надо будет при случае рассказать Галине Сергеевне!

— И ты... и ты издеваешься? — в отчаянии бормотал Анатолий. — Галиночка не перенесет этой пошлости! Зачем, зачем, ну, зачем я связался с этой грязной бабой? Это все мать, мать, это ее домашняя... гастрономия!..

— Не валяй дурака, Анатолий, — серьезно выговорил Володька. — Теща сводничала из-за любви к тебе, здоровье твое драгоценное оберегала.

— Это ужасно, ужасно, Володька! Мне надо уехать и увезти Галиночку. Я буду служить, работать... Мне надо начать новую, чистую жизнь...

— Никуда ты не уедешь! Служить ты не можешь и работать не можешь. Плюнь на все. Пускай идет как идет...

— Но ведь плачет душа!.. Томится... Я хочу избавиться от прошлого и... не... могу.

— Не представляйся зря — я тебя вижу поперек. Разве тут в Пелагее дело? Ты с Аграфеной не спал? А до Аграфены сколько было? Каяться устанешь!

— С Аграфеной... один раз...

— Да потому, что она тебя на соборного звонаря променяла. Я вот подучу ее, чтобы она отбила тебя от Пелагеи.

— Ты все смеешься, Володька, а у меня на сердце слезы.

— Никаких слез у тебя нет. Слезы у тебя — химические. Ты просто жеребец. Твой дед тебе по наследству распутную кровь подарил. И от тещи попала кровинка.

— Неловко, Володька, неловко. Мне вот даже тебя стыдно. Так бы все нутро и выплюнул куда-нибудь. Забыть, забыть все, увлечься чем-нибудь, а я ничего не люблю, кроме женщин. Ах, все это ерунда! Все это не так! Галиночка — единственная женщина, перед которой я преклоняюсь... Прошлого нет, нет, его не было, там была только... физиология. Галиночка не должна знать обо мне ничего грязного! Ты подействуй на Людку, я прошу тебя. Она влюблена в тебя. В ней наша похабная кровь... Ты оттолкни ее одну ночь, и она все для тебя сделает.

Володька наморщил лоб, как старое дерево в складках у дороги:

— Для чего я буду это делать? Ты пакостничай один. Мне, может быть, даже выгодно рассорить тебя с Галиной Сергеевной.

— Что? Что ты говоришь? — испуганно закричал Анатолий. — Ты этого не сделаешь!

— А может быть, сделаю!

— Но почему? Галиночка так к тебе хорошо относится. Ты раздавишь ее... Я виноват, я гадок, но Галиночка!.. Володька, ты откажись от своих слов!

— А если я люблю Галину Сергеевну?

Анатолий раскрыл свои огромные зеленые глаза, зарозовел весь, протянул вперед руки и залепетал:

— Ты... ты... ты с ума сошел! Я... я не отдам тебе ее... Я... я... ты... ты можешь нравиться... ты! Что я говорю?.. Я... конечно... шучу.

Володька захохотал на всю столовую и вдруг злобно заговорил:

— Ты дурак! Я тебе отомстить хотел за твою подлость. Ты ведь подл! Ты никого не видишь вокруг себя по-человечески, ты носишься как с писаной торбой со своими маленькими и жалкими настроеньями. Ты — хам, самый настоящий хам! Ты мне предлагаешь проделать гадость с твоей сестрой, лишь бы тебе вывернуться из неловкого положения! У тебя нет даже братских чувств! Ты поместил бы свою сестру в публичный дом, ежели бы ты мог и если бы тебе была выгода! Ты продал

бы ее торговцу живым товаром за одно свое маленькое желание. Ты мне мерзок!

Анатолий остолбенел, завизжал, вспрыгнул с дивана, словно из спинки дивана выскочили все пружины и вытолкнули его:

— Как ты смеешь так говорить! Кто тебе дал право меня оскорблять!

— Паяц! — спокойно забурчал Володька. — Не из-за тебя, из-за Галины Сергеевны прикрою твое исподнее белье! Нам с ней обоим приходится терпеть унижения в твоей семейке!..

Анатолий, вдруг просветлевший после слов зятя, заскакал на одной ножке:

— Володька, Володька, ты, право, понимаешь, меня не понял!

Володька поднялся и, не сводя с него упорных глаз, уходя, сказал:

— Чего тебя понимать? Ты виден, как чернильное пятно на белом. И ты глуп, как месячный щенок. Ты вот и сейчас забыл продолжить свое искусственное негодование! Какая ты шкапотина!.. Запомни это!

Анатолий завертелся в столовой, пнул загнувшийся край ковра, скатал на столе хлебный шарик — и задумался.

В столовую вошла Пелагея. Анатолий вздрогнул и быстро перешел к раскрытому окну, повернувшись к Пелагее спиной. Пелагея неторопливо убирала со стола, гремела тарелками и недовольно говорила:

— Нагадили-то, нагадили-то сколько! Половины не сожрали, остальное свиньям!

Потом подошла к Анатолию, отодвинула его упругим, как надутая шина, горячим плечом, ослабилась на него белыми зубами, заглянула сизыми, воркующими голубями глаз под ресницы ему и стала вытряхивать в окно скатерть. Зад ее, обтянутый ситцевым платьем с лиловыми разлапистыми цветами, дрожал и колыхался в глазах Анатолия, а через плечо, жадно повернутые к нему, ласкали глаза и атласные глянца щек. Анатолий бросился из столовой.

Пелагея выронила в окно скатерть, разъяренно оборотилась вся и прокричала вслед обиженным и дрогнувшим голосом:

— Заяц! Заяц! Заяц!

Каждый вечер из года в год в десять часов в столовой сверкал серебряный самовар, окруженный фарфоровыми чашками с позолотой фабрики Гарднера. Казалось, что на синюю скатерть прыгнули большие церковные купола с Василия Блаженного и стали маленькими.

К десяти часам собирались все Брянчаниновы. Из мезонина приходил жилец — учитель городского училища Тур. Потом приходили завсегдатаи — Кирик Чернов, Никита Витковский и Федя Ветошкин, студенты, приятели Анатолия. А за ними приходили приятели приятелей, подруги Люды и старые друзья Александры Александровны. Когда кто-либо из привычных посетителей не приходил, о нем беспокоились, посылали с Пелагеей записку, а на другой день встречали восклицаниями и возгласами, словно он вернулся из кругосветного путешествия пешком и еще не обмахнул пыль с сапог. Зимой желтые огни гасились около часа, и снег хрустел под спешливыми шагами расходящихся гостей. Витковский и Ветошкин жили рядом. Они добежали до своих крылец, не надевая шинелей в рукава, внакидку. Чернов завертывал за угол. Другие уезжали на извозчиках, скрипели калошами по бульварам, скрывались в Заречье, в центральные улицы, в узкие старые переулки Козлёны, Жен Мироносиц, Пустыньки. Летами чай собирали в беседке. Первого мая выносили туда большой железный сундук, по рисунку инея на обивке называемый «морозом», устюжской работы, с замысловатыми звенячими замками, недоступными для воровских фомок. Сундук стоял в беседке до бабьего лета, когда перебирались с вечерним чаем в дом. В сундуке хранилась особая чайная и столовая посуда, употреблявшаяся летом. Пили чай при свечах. В ветреную и дождливую погоду пролеты беседки задерживались плотной парусиной. На кухню подавали сигнал в большой рупор, как на пароходе. Выдумал рупор Анатолий. Он и вызывал прислугу.

— Покричи,— говорила Александра Александровна.

Анатолий снимал рупор с гвоздика на колонке и гудел:

— А-а-гра-фе-на-а! Пе-ла-гея-я!

— Э-эй! — отзывались глухо и далеко с кухни и наставляли в окна внимательные уши.

— С-со-ли!

— Вто-ро-е!

— Са-мо-ва-а-р!

Сначала смеялись, а когда рупор, забытый на гвоздике на ночь, украли ребяташки, лазившие за ягодами, и пришлось почти подбегать к самой кухне для вызова кухарок,— бегать надоедало, бегали по очереди,— то заказали новый рупор. Иногда в рупор Володька играл военные сигналы, а Витковский декламировал: «Укажи мне такую обитель» и «Брат мой, усталый, страдающий брат».

Сад наполнялся тогда густыми и дикими звуками, грохотала гулкая жесть, дребезжала, раскалывалась с металлическим скрежетом, царапала воздух и будто заставляла самые деревья морщиться, изгибаться ветками и дрожать недовольной корой. В беседке зажимали уши и хохотали, а на крылечках соседних мешанских домишек говорили:

— Барыня кантует!

— Дикасится на старости лет, шлюха!

Постовые городовые приходили в Рождество и Пасху с поздравлением, приходили еще почему-то в юбилейный день основания Общества вольной пожарной дружины, получали по рублю и равнодушно внимали нарушению тишины и общественного спокойствия в летнюю пору. Выходили недоразумения с вновь назначаемыми городовыми, но они улаживались после первого объяснения, когда городской уходил от барыни, ухмыляясь кухаркам и предупредительно закрывая голубую калитку от посторонних осуждающих глаз.

Александра Александровна любила сама разливать чай, Люда передавала. Оберегая свое здоровье от ночной прохлады, Александра Александровна к одиннадцати уходила в дом, Люда пересаживалась на ее место, а на место Люды садился Володька.

— По регла-мен-ту-у! — кричал Анатолий в рупор.

Из-за яблонь, сквозь лиственницы, в двенадцатом часу загорался желтый огонь в мезонине: то приходил из города Тур. Он уклонялся от чаепития в саду: давно и настойчиво он кашлял, гнил легкими, выхаркивая их весной и осенью красными плевками.

Анатолий кричал в рупор:

— Тур! Иди чай пить!..

Галина Сергеевна отнимала рупор и не давала звать Тура. Но чаще Анатолий успевал прокричать. Услышав звук трубы, Тур медлил, волновался, раздумчиво стоял

у окна и слушал, как смеялись в саду, как будто смеялась сама ночь; смех вкрадывался ответно в сердце и будоражил его. Потом он переводил близорукие свои глаза на небо, видел подмигивающие ночники-звезды, месяц в серебряной упряжке, курившиеся трубы облаков и вздыхал, ероша волосы. Ему становилось жалко не насмотреться на эту ночь со звездами и месяцем, закрыть окно и отгородиться старой, скрипевшей петлями рамой от смеха и веселья беседки.

А голоса звали:

— Тур! Тур! Тур!

Вот и сегодня они звали, и Тур беспокойно прислушивался.

Тур обмотал горло теплым шарфом, поднял воротник пиджака, как краешек у противня, спустился по наружной лестнице во двор и, внимательно глядя на свои ноги, осторожно ступал между гряд и клумб на колеблемое в беседке, будто расплавленная медь, пламя свечи.

— Тур! Тур! Тур! — кричал рупор.

— Я не Тур, а Туркин, — тихо сказал он, входя в беседку.

— Иначе — заблудший Тур, представитель самого скучнейшего на свете учения, — произнес Чернов, широкий, как итальянское окно, склонившийся к столу белой рубашкой с кубовым галстуком.

— Заматерелый во утробех! — прооктавил Витковский, прищурившись глазками, как желуди в темноте ресниц.

— Зачем вы пришли? Вам вредно! — укоризненно сказала Галина Сергеевна.

— Пустяки! — отмахнулся Тур.

— Ему вредно только женское общество, — сказала Люда, — он потом не может долго спать.

Тур закашлялся.

— Да, женщины очень утомляют. У меня здоровье, как у киевских богатырей, — Чернов погладил свою большую грудь, — а я тоже ношу женщину в груди и не могу спать.

— Вам лучше носить тяжести, — засмеялась Галина Сергеевна.

— Можно и тяжести. Женщина стоит любой тяжести.

— А я предпочитаю женщин носить на руках, — зазвенел весело Анатолий.

Галина Сергеевна потупила глаза и легонько покраснела. Люда усмехнулась за самоваром. Федя Ветошкин задумчиво посмотрел на Анатолия и, скрывая усмешку в складочках губ, выговорил тихо:

— Анатолий находится под влиянием рассказа о похищении сабинянок. Он вчера прочитал об этом в старой исторической хрестоматии. Володька ему принес.

— Да,— вставил Володька,— он при мне прочитал раз пять о сабинянках и хочет написать собственный рассказ.

Анатолий не ответил, насупился и начал жадно глотать чай.

Густая и теплая темнота, как нагретые человеческим телом меха, обнимала и окутывала ночной сад, подгорала на свече и падала чернотой наземь.

— Так вот, Тур,— сказал Витковский,— мне тут один мужик припомнился: рубят у отца беседку в саду. «Люди,— говорит,— барин, на свете становятся все меньше и меньше, а машины все больше и больше». Это сравнение, я тогда же подумал, очень подходит к марксистам. Они механизуют людей.

— Ну да, ну да,— оживился Тур,— все это очень хорошо, очень остроумно, очень образно. Мужики мастера говорить присказками. Но вы-то чего с такой охотой повторяете мужицкие каламбуры? Повторяете, будто какое откровение! Будто какую-то самозащиту видите в мужицкой наблюдательности! А я вам скажу, друзья: законы исторического развития общества непреложны. И как бы вы ни кудахтали, как бы вы ни возмущались их железной необходимостью, они свое дело делают. Не человек механизмуется, труд механизмуется и будет механизмуваться. И только в этом благо...

— Ах! — перебил Чернов.— Машины заменят человека, человеческий труд сведется на нет — и начнется гармоническое развитие личности... Все это мы знаем и слышали. Но какая в этом непреоборимая тошнота и скука! Я вот электротехник. Мне ли, казалось бы, не понимать и не ценить техники, а я ненавижу ее. Она, проклятая, просвечивает электричеством внутренности человека... Вместо кишок, вместо расстройства желудка организует этаким аппарат, аккумулятор, двигатель... Марксисты, особенно наши российские, напоминают мне огородников. Посадит этаким самый марксист-огородник семя на грядку и сидит над ним, как кура на яйцах, дожид-

дается, когда семя выйдет на волю. А ничего и не выходит...

— Положим,— возражал Тур,— редкое семя пропадает в почве. Вы рассуждаете, как рассуждали ваши старые бабушки. И вы — в этом смысле — реакционеры. Мы вот тут жуируем, чаи распиваем да разговоры разговариваем, а заглянуть бы сейчас в Числиху, в Ёхаловы — что там делается?

— Я знаю,— вставил Володька,— что они там делают: денная смена пьет по кабакам, а ночная смена на работе мечтает напиться завтра.

Тур горячился, кашлял и прикладывал крепко к губам платок:

— Пускай, пускай, а все-таки за ними будет победа. Как только они поймут свою историческую роль, они молотом, как кузнецы кувалдой, железной бабой, разобьют вдребезги классовое общество.

— И откуда в тебе эта тупость мысли, Тур? — глядел и говорил с сожалением Чернов.— И эта глупая мечтательность? Надо сотни лет, чтобы раскачать тупую и серую рабочую массу, не говорю уже о России, где надо во сто раз больше времени. А что с мужичками будете делать? В фабричном котле будете вываривать? Да пойми ты, если бы рабочие, предположим невозможное, захватили власть в стране, мужики бы их вручную смололи на жерновах, как муку мелют.

— Может, так и случится: до поры до времени всякое загадывание — пустое дело. Путь к счастью, наверное, даже будет кровавый и тяжелый, но по какому другому пути можно прийти к счастью? Никаких других путей нет. Все другие пути — обман пролетариата. Рабочие — цемент нового мира!

— Пошлости, пошлости говоришь,— сердился Чернов,— казенные истины, казенный ты человек, Тур!

Где-то в саду забила крыльями спросонья птица и взлетела в деревьях, другая птица заворковала, затоковала, зашелестело дерево в темноте, словно пролился невидимый фонтан на землю... В беседке замолчали и прислушались к птичьему бреду.

— А я вот,— вдруг сказал Володька,— смотрю в жаркий день на мух, особенно после обеда, и думаю: а ведь мухи-то на-аши ходят по скатерти. Я — собственник.

Тур серьезно мешал ложечкой в стакане. Свеча доплывала в подсвечнике, капая на подставку. Пламя извивалось, распрямлялось широкими языками по темной бронзе, как распрямляется примятый ногой на лугу мак.

— Рано или поздно, — ни к кому не обращаясь, мигая на свечу, тихо говорил Тур, — мир устроится. И, может быть, скорее, чем мы думаем. И наша задача — приближать это устройство. Я буду счастлив, если мне удастся пробудить сознание хотя бы у одного рабочего...

Кирик Чернов засмеялся и завсплескивал руками:

— Ты счастливый человек! Ей-ей, ты счастливый! Тебе не о чем думать! У тебя все додумано до конца: на такой-то странице то-то, на такой-то то-то. У тебя на мозгах нанесена этакая схемка, чертежник, профиль пути... Бытие определяет сознание — и баста. Пролетарии всех стран, соединяйтесь — другое баста. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Лассаль, Карл Каутский, Плеханов — третье баста. У тебя перед глазами фантастические рабочие чуть ли не завтра восстанут, перекувырнут мир вверх тормашками и начнут из пальца высасывать демагогический рай. От всей этой брандахлыстики получается не рай, а раёшник. Твои герои недалеко еще отошли от зверей. Им надо еще доказывать полезность мыла, а ты их делаешь пупом земли. Развращаете вы их своей болтовней. Жалкая кучка интеллигентов выдумала себе очередных богов и ползает перед ними на четвереньках. Одни мужиков славят, другие — рабочих. А мужики пропагандистов — урядникам, а рабочие — администрации.

— В Европе, — вставил Ветошкин, — кое-какие данные есть для скучных выкладок Маркса, а у нас впору бы выучить вежливости городского.

Тур возмущенно захрипел:

— Вы... вы комнатные люди! Вы послушали бы, что говорят рабочие. Вы послушали бы, как они относятся к японской войне! Вы рабочих только у кабаков видите. В рабочем нутре урчит, бродит, там назревает революция...

— Ха-ха! — захохотал Анатолий. — Нарывает революция!

— В некультурной стране революция? — спросил Витковский. — Может быть, даже социальная революция?

— В мезонине у него революция!

— Ах, Тур, Тур!

Уже таяла и вторая свеча. Ночь отодвигалась от беседки. Сквозь сирени угадывалось, будто разрастались по саду белые цветы и захватывали одну полянку за другой, белили темноту, прогоняли ее из заросших аллей. В беседке молчали, словно забыли все человеческие слова и никак не могли вспомнить их снова.

Люда складывала грудками посуду.

Володька перетирал полотенцем и носил в сундук.

Тур поднялся первым и тихо заковылял по саду. За ним уходили другие.

У крыльца Тур, волнуясь, говорил вполголоса:

— Вот вы увидите, вы увидите! Вы слепые... Она идет, идет...

— Дойти только не может!

— Скачет мальчик на палочке!

— Ужó тебя городской!

— Не шутите громко,— предупреждала Галина Сергеевна,— это становится опасно. Везде рыскают сыщики. Вчера в земской управе в библиотеке был обыск.

— Правительство... то понимает надвигающуюся для него опасность,— шептал Тур,— обыски, аресты, ссылки, виселицы... А вы благодумствуете! А вы спокойно спите!..

— Ты не спишь зато и другим мешаешь спать, бродишь ночами над головой у нас с Галиночкой!..

Володька и Люда закончили уборку посуды. Люда зевнула и, вытягиваясь, положила руки на плечи мужу. Володька жадно схватил ее, поднял и понес между влажных кустов сирени, черной смородины, акаций. Люда прижалась к нему, закрыла глаза, подставляла лицо под ночную росу, кидавшуюся с веток холодными каплями.

Снова сходились в беседке. Пили ненасытными губами молодость, поцелуи, жизнь, не считали вечерних часов, закатов, опадающих рос. Трубил Анатолий в рупор, Тур прятал в кармане платок с красным горошком, тлели взгляды на оплывавших свечах, струились смехом, негодованием, спорами...

Текли лета. Земля, как дно золотого океана, прорастала цветами, зелеными травами, плодами. Над землей шелестели пахучие по́лы ветров, будто подбирали они все запахи цветущих долин, лесов и цветников земли. В густом цветочном воздухе ходили бронзовые женщины с обнаженными шеями и носили упругие, не устающие рожать животы.

Несколько раз в году устраивались званые вечера. Тогда приходили дальние родственники, знакомые для званых вечеров, барышни для танцев и нужные в житейских обстоятельствах люди. Столы тогда уставлялись в зале. Накануне Александра Александровна выезжала в банк. Пелагея и Аграфена надевали выходные сарафаны и получали по белому переднику из железного сундука в коридоре. На столах было тесно от кушаний и вин, как на прилавке в гастрономическом магазине. Когда Витковский и Анатолий поочередно вылезали из-за стола и выходили покачиваясь из зала, Александра Александровна давала знак выкатывать столы в столовую. Алая Пелагеев ловко выметала сор, Ветошкин топал ногой. С кухни приходили старичок-тапер с пробором на голове, в клетчатом пиджаке с малиновым галстуком и садился за рояль.

Танцевали за полночь, обхватывая крепко и горячо женские талии, оставляя на белых платьях потные пальцы рук, касаясь ненароком грудей, вздрагивая от прикосновения ног и запахивающегося на колени платья.

На разогретых диванах, в тесноте, в полуобъятиях пылали кипятком крови и сдерживали дыхание. С диванов жадно смотрели, как плыли мимо, кланялись и дрожали белые вазы женских торсов, как из белых ваз вырастали розы, васильки, колокольчики женских голов, а вокруг ваз обвивались черные руки-змеи мужчин. В гостиной играли в преферанс старички, старухи, неуклюжие и некрасивые молодые люди, не имевшие надежд на обладание женскими сердцами, любившие по бульварам и на ночных улицах.

Званые вечера были похожи один на другой, как похожи были одна на другую белые колонны в зале, вставшие в хоровод по паркетному полу.

Званный вечер был под Ильин день. После ужина тапер сел за рояль. И пары закружились.

Анатолий бродил за женой и шептал ей в уши:

— Гали-и-ночка! Мы уедем из этой пошлости... мы в голубые края... и... и... разные страны...

Галина Сергеевна, супя брови, как два крыла ласточки, шептала:

— Уйди от меня: ты пьян! Не давай повода издеваться!.. Не замечай меня...

— Володька! — шептала полупьяная Люда и клала ему на колени горячие руки, — на тебя смотрит Галина. Я ей не позволю, я ей устрою скандал. Ты — мой!

— Пускай смотрит эта кикимора, — шептал Володька, захватывая пересохшими от вина губами кромочку розового уха жены, — ты мой, мой шип-шип-леночек!

Люда звонко засмеялась, кровь кинулась ей в лицо и осталась ожогами на щеках.

— Пойдем в комнату... сейчас... при всех... — бормотала Люда.

Глаза ее полузакрылись и глядели на Володьку в узкие щелки через золотую травку ресниц.

— Скоро, скоро... Когда уйдут...

Люда жала руку Володьки и острым ногтем мизинца колола ее.

Приятеля Анатолия сплетничали за колоннами, разглядывая Люду:

— Похабная семья! Мамаша для сынка и для дочки пример... добродетели...

— Да. Она толк знает...

— Ты подумай, она последнего своего мужа совершенно замучила... изревновала. Болван такой был... Говорят, постоянно сидел на кухне около кухарок. Любил помогать картошку чистить. Никому не давал щепать лучину для самовара. Наготовит белую грудку и... доволен. Потруился, видите ли! Так вот, достаточно увидеть Александре Александровне — пуговица у него на жилетке не застегнута, выходила из себя. Устаревать стала: боялась за своего заскребыша... Как бы не отбили кухарки!

— Ха-ха!

В креслах приятельницы Александры Александровны умильно глядели на танцующих и обменивались дружескими шепотками:

— Все труднее и труднее, Мария Ивановна, становится жизнь. Вы подумайте, мясо стоит четырнадцать копеек, масло — тридцать пять!

— Ах, не говорите, дорогая, все, все поднимается в цене. Мы с вами в один год вышли замуж: мясо стоило шесть-семь копеек, масло — пятнадцать. А теперь, а теперь!

— Мы доедаем последний лес.

— Вы продали Миглеевскую дачу?

— Я так плакала, плакала... Муж проиграл в клубе земские деньги, надо было внести в кассу — и к тому же дочери на выданье... Жалованья не хватает. Пришлось расстаться с дачей. А лес-то, а лес-то какой! Корабельный лес! Купчишка Кирпичников приобрел. Уже вырубает. В Кореневе остался один дом. Требуется большого ремонта. Крыша протекает, обвалилась терраса, в прошлом году упали хоры. Едва-едва спаслись дети: играли они в зале. Счастливый случай: чуть-чуть не на головы свалились хоры.

— Вот, скажите, холили, холили дачу и вдруг... Мы тоже не знаю как сводим концы с концами. Через два-три года, кроме жалованья мужа, не останется решительно никаких доходов. И местность, знаете, под городом очень беспокойная и опасная. Мужики по полгода на фабриках, снюхались со студентами, с революционерами, нахватались от них верхушек... Представьте, два месяца назад на дверь в канцелярию мужа осмелились наклеить ночью какой-то безграмотный листок. Мужиков в этом листке призывали не платить подати, не ходить в солдаты, и даже против религии были кощунственные слова. Хуже того — там сказано про земских начальников. Степочка мой с тех пор выезжает в волость с большой опаской. Того больше боимся мы за него. Эти хамы могут подстеречь в перелесках, у мостов, — приходится и ночью ездить, — и убьют... Вы слышали, как они жестоко расправляются с конокрадами?

— Да, да, да.

— Эти звери стали очень распушенными. В деревне пьянство, разбой, разврат.

— Как доживем только свой век?.. Дворянство падает. Наша уважаемая Александра Александровна тому наглядный пример. Вы подумайте, вы подумайте, она выдала свою дочь за какого-то канцелярского писца без роду и племени.

— Кто он такой, я точно не знаю? Где она его откопала?

— Вы видите, у нее расхожий двор. Где-то ее вечный студент Толенька познакомился с ним и притащил в дом. Говорят, с Людочкой было что-то неблагополучно... Она увлеклась цирковым атлетом. Необходимо было потушить начинавшийся скандал. Этот писец только что вернулся раненый из Маньчжурии. Без места, без куса хлеба, он с радостью приютился на готовые хлеба.

Людочка, конечно, втюрилась в него по уши, — она на мужчин неразборчива. — и стала дамой...

— Ха-ха! Как это зло сказано!

— Правда, он мужчина видный. И, говорят, очень неглупый. Но проходимец. Смотрите, смотрите, как кокетничает с ним Людочка! Даже неприлично! А знаете, чем он теперь занимается?

— Ну, ну?

— Он букинист.

— Ха-ха! Ха-ха!

— Букинист Пуговкин! Ха-ха!

— Но может быть, это выгодное занятие?

— Полноте! Но хотя бы и так! Срам-то какой! Зять столбовой дворянки — букинист! Ха-ха!

— Толечка недалеко ушел. Он ухаживал за моей Зиной. Слава богу, что я избавилась от такого зятя. Пожалуй, Пуговкин лучше.

— Я... слышала... Зиночка... плакала.

— Ах, что вы! Это досужие разговоры. Зиночка едва от него отбилась. Он так к ней приставал! Она даже, оскорбленная, не пожелала быть на его свадьбе.

— Женился он на простой учительнице. Приданого — одни учебники. Людочка и невестка терпеть не могут друг друга.

— Я слышала — невестка себе на уме. Держит себя очень высокомерно, несмотря на низкое происхождение. Толенька у ней под башмаком. Ее побаивается сама Александра Александровна. И вообще, говорят, она — революционерка.

— Не разберешь тут толком. Опасный дом. Александра Александровна будто бы души не чает в зяте, а может быть, и... еще что-нибудь?

— Хи-хи! Ах, что вы? Она же старуха!

— Императрица Екатерина Великая до восьмидесяти лет жила с молодыми мужчинами!

— Конечно, Александра Александровна... старая путешница, между нами будь сказано... От нее все может статься!

— И будто бы Пуговкин добивается склонности у Толечкиной жены. Людочка ревнует. У них происходят безобразные сцены. Анатолий, как рехнувшийся, ходит за женой, не видит и не слышит... Горшки за ней выносит... Подумайте, я слышала, даже кухарки тут замешаны вместе с господами...

Дамы закрыли платками рты и подавленно засмеялись, искрясь друг на друга задвижками глаз, дошептывая на ухо рассыпавшийся бисер дружеских излияний. Люда, танцуя, остановилась около них и, запыхавшаяся, упала на порожнее кресло. Дамы приникли к ней:

- Милочка, как ты похорошела!
- И раздобрела!
- Тебя мы не узнаем!
- Твой муж — душка! Высокий, стройный!
- У него военная выправка!
- Он, кажется, георгиевский кавалер?

Люда знала цену расспросам. Она зарозовела и вспыхнула внутри, как огонь под жаровней, но приветливо заулыбалась и, задышав вместе с колотками сердца под корсетом, отвечала, делая трубочкой рот:

— Он простой солдат. Но он мой муж — и этим все сказано.

Люда поднялась с кресла, протянула руки, на талию к ней легла рука кавалера, и, качнувшись лүками крепких бедер, она, как легкий экипаж, покатила по круглому залу.

— Действительно, этим все сказано! — недовольно шепнула одна дама другой.

- Но не уйти ли нам после такого приема?
- Она неучтив!

Александра Александровна, кончив играть в карты, обходила гостей. Дамы поспешно усаживали ее рядом с собой.

- Людочка — вострушка!
- Она, кажется, вполне счастлива?
- Как трудно жить!
- Молодежь веселится!
- Пусть попрыгают!
- Придет время — насильно не заставишь себя сделать лишний шаг.

— Анатолий... вот кончит университет... Невестка со странностями, но она женственна...

- Она служит в земской управе?

— Не хочет есть мой хлеб. Анатолий каждый месяц приносит ее жалованье мне и получает его тут же от меня на мелкие расходы.

Александра Александровна засмеялась. Дамы покачали головами, и все трое, склонившись друг к другу, начали вытирать заслезившиеся от смеха глаза.

— Подходит старость. Болею. Очень маюсь животом. Зиночка выходит замуж?

— Как будто бы, не знаю еще!

— Скрытная, скрытная!

— Нет, право!

— Тур у вас живет давно?

— Да. Он ведь воспитанник моего покойного мужа. Тот подобрал его в своей деревне как способного мальчика. Я привыкла к нему, как к своему. Мы же и окрестили его из Туркина в Тура. Вы посмотрите, у него действительно голова походит на голову тура. Вы бывали в Зоологическом? Он застенчив, словно девушка в брачную ночь. Как-то Людочка выскочила на него в одной сорочке. Ха-ха! Тур закрыл лицо руками и отвернулся к стене. А та, плутовка, поборов смущение, — он же не похож на мужчину, — встала позади и принялась гладить по волосам. Потом с хохотом убежала.

Дамы быстро переглянулись и хитро заулыбались. Александра Александровна сделала вид, что не заметила, и продолжала со смехом:

— Мой дурачок Анатолий и посейчас его дразнит. «Тур», — говорит и погладит себя по затылку. Тур краснеет и шевелит пальцами. Уморительно! Так веселится молодежь!

Александра Александровна кивнула головой дамам и перешла к другим гостям.

Дамы заговорили вполголоса, придвинув вплотную кресла:

— Уморительно! Нечего сказать!

— Нет, какие у них вольные нравы!

— Я больше ни ногой в этот дом. Да, да. Будут приглашать, я скажусь больной.

— И я. Это невозможно!

— Эти постоянные сборища молодежи! Две молодые дамы. Я многих гостей встречаю в первый раз. Я не знаю, какого они круга!

— Какой-то своеобразный колорит на этих званых вечерах.

На диване в гостиной Ветошкин, бледный и злой, бурчал Зине:

— Зачем ты привезла свою мать?

— Но как же, Федя, было сделать? — оправдывалась Зина. — Ее тоже пригласили.

— Ты отправь ее — и останься.

- Это немыслимо. Мы встретимся завтра.
- Ты придешь ко мне?
- Нет, неудобно. Могут узнать. Я жду тебя в четыре у Герасима Преподобного.
- Не обманешь?
- Отделаюсь от жениха — и приду.
- Ты прогони его совсем. Он у тебя отвратительный!
- Лучше тебя.

Зина шутливо поколотила веером по его лицу и перебежала в залу к матери.

— Мама, я так утомлена... я затанцевалась... я хочу домой.

— Вот как! Послушайте, Антонина Ивановна, не мы, а нас, стариков, тащат домой с бала!

Галина Сергеевна стояла у колонны с Туром и что-то тихо говорила ему. Тур глядел из-под очков, блиставших под спустившимися на лоб волосами.

Анатолий подбегал, дыбал на тонких ножках, подтаскивал приятелей... Они обступили говоривших и дышали им через плечи. Анатолий шумел визгливо и резко:

— Смотрите, ребята, Тур у меня публично отбивает жену! Ха-ха!

Галина Сергеевна угрожающе, вполголоса, процедила на ответ:

— Толя, надоело и... противно. Прошу тебя!

— Гали-и-ночка! — бормотал Анатолий. — Я... я от преизбытка чувств!

Галина Сергеевна неловко отодвинулась к Туру от покачнувшегося мужа.

Приятели потащили Анатолия:

— Пойдем, Толька, ты, брат, пока что здесь лишний... Еще успеешь надоесть!

— Галиночка, — испуганно спрашивал Анатолий, — я лишний? Я лишний?

И пытался вырваться из рук приятелей к жене.

Галина Сергеевна долго и внимательно смотрела в бегавшие по сторонам глаза мужа, тот не выдержал ее укоризненного, грозившего взгляда, махнул ручкой, смялся, повернулся на каблуках, бороздя паркет, и отошел.

— Ему не надо пить, — сказал Тур, — он делается странным. Таким бывает человек, когда потеряет что-нибудь ценное для него.

Галина Сергеевна отыскала глазами в толпе Анатолия и отвела их к Туру:

— Вы не знаете его. Он ревнует меня. И становится... неприятен.

Тур покраснел, закашлялся, смял в кулаке платок, приложенный к губам, и сунул его, вжал в карман, будто боясь, что платок упадет нечаянно на пол.

— Ко мне?

— Ко всякому мужчине. И даже к женщине.

— Нелепо как! Как нелепо! — пробормотал Тур и вытер проступивший под серыми кисточками волос на лбу горячий пот.

Володька сидел среди стариков в маленькой гостиной. Его держал за отворот пиджака друг дома старичок Лихарев и гнул савил:

— Владимир Васильевич, петровского времени у меня все выдающиеся тиснения налицо. Восемнадцатый век у меня представлен так — пальчики оближешь. Маленький провал имеется в эротике. Вы мне, друг любезный, — я пришлю вам записочку, — подыщите один ассортимент... Вам я советую собирать *ex-libris*'ы. Могу, конечно, в обмен на недостающие у меня книги предоставить вам дублеты имеющихся у меня *ex-libris*'ов, так сказать, положить начало вашей коллекции. Могу вам посоветовать продолжать начатое было мною в молодости коллекционирование типографских опечаток и всевозможных книжных ляпсусов. Чрезвычайно увлекательнейшее дело, оставленное мною по непредвиденным, чисто служебным обстоятельствам моей разъездной по губернии службы в должности следователя. С величайшей готовностью уступлю вам сорок малого размера папок с вырезками, вы сами понимаете, конечно, за соответствующее предоставление мне разыскиваемых мною и неуловимых доселе книжных инкунабул. Собираание *ex-libris*'ов и типографских опечаток не требует специальных знаний и подготовки. Вам, как начинающему, это будет весьма подходящее коллекционирование.

Володька почтительно поблагодарил старичка и дерзко посмотрел ему в глаза:

— Благодарю вас, Иван Дмитриевич, но я думаю заняться составлением словаря всех книг в нашей губернии, вывезенных, разворованных и мошенническим путем попавших к собирателям.

Лихарев Иван Дмитриевич изумленно взгляделся в собеседника:

— Но... какая цель? И... где у вас соответствующая подготовка?

— Цель — доказать вредность коллекционирования, развращающего собирателей, делающего их опасными членами общества.

— Вы меня мистифицируете, дорогой Владимир Васильевич! — дрожащим голосом воскликнул старичок. — Коллекционирование — великая цель жизни. Коллекционеры — высшие существа, не от мира сего на земле. Если бы все образованные люди начали собирательство в его бесконечных разновидностях, все задачи политической и социальной истории человечества были бы разрешены. Коллекционирование — это удаление в пустыню, аскетизм. Во всем мире прекратилась бы борьба партий, парламентов, классов. Человечество отрелось бы от всяких будничных интересов. А вы хотите заниматься каким-то уголовным розыском среди коллекционеров, этих лучших существ культуры... При ваших взглядах на коллекционирование трудно понять, почему вы посвятили себя прекрасному, с моей точки зрения, посредничеству по доставлению высшей радости собирателям, выискивая для них по таинственным подвалам и чердакам памятники человеческого ума и гения — книги всех времен и народов! Вы вашей затеей, надеюсь, которую вам осуществить не удастся, нанесете вред культурному собирательству. Я первый откажусь покупать у вас и не пожелаю вас видеть у себя, предполагая дурные цели вашего посещения. Я бы сказал даже больше — в проекте предполагаемого вами труда скрывается тайная оппозиционная мысль — ошельмование представителей интеллигенции и дворянства, занимающихся собирательством. Ваши цели встретят осуждение у всякого благомыслящего человека.

Анатолий, ухмыляясь, подошел во время разговора к Лихареву и вытянулся. И как только тот кончил, Анатолий пьяно обнял старичка и закричал:

— Ток! Ток! Ток! Иван Дмитрич, а когда возвратятся в дедушкины шкафчики плавающие-путешествующие книжечки... этикие золоченые... этикие маленькие крошечки... хи-хи... с амурчиками, огурчиками, симпампурчиками?..

Старички весело заперекидывались глазками.

— Годик, а то и другой годик,— продолжал Анатолий,— они в безвестном отсутствии... не показываются... а местечко в шкафу пустенькое... братцы их скучают, Иван Дмитрич! Мы, может, с Володькой торговать хотим дедушкиными книгами? Нам... эти книжечки... топ-топ... капитал составят!..

— Так его, так его, старого греховодника! — незаметно подплыла Александра Александровна.— Торговать не торговать, а сувенирчики дедушкины на место... на место...

— И будут, и будут, дорогая! — зажмурился Лихарев, целуя руку, знакомую губам сорок лет.

— Когда же они будут? — не переставала улыбаться Александра Александровна.

— Скоро, скоро, скоро!

И вдруг, приятно отулыбавшись удалявшейся Александре Александровне, старичок повернулся к Володьке и обиженно сказал:

— Я, к крайнему сожалению, Владимир Васильевич, должен просить у вас объяснения касательно вашего поведения. Не счесть ли мне ваши слова о почтенном деле собирательства и не менее уважаемых собирателях и коллекционерах как очень прозрачный намек о находящихся у меня книгах из библиотеки, ни в коем случае не связанной с вами, выданных мне моей дорогой и близкой по духу Александрой Александровной на прочтение и ознакомление?

— Ива-а-н Дмитрич! — опять вмешался Анатолий и пьяно обнял старичка.— Не увиливайте! Придется вам книжечки на полочку поставить... Дружба дружбой, а... а книжечки врозь... Я к вам завтра, угодно не угодно, приеду за малюточками... Приеду, приеду, Иван Дмитрич!

— Постой, братец! — оттолкнул его Лихарев.— Ты через градус!.. Дай кончить. Я жду ответа, Владимир Васильевич.

Володька уперся неморгающими глазами с ответом в них в беспокойную зыбь глаз старичка — и выдавил:

— Я не думал, Иван Дмитриевич, что вы собираете еще книги по черной магии и отгадываете чужие мысли. Впрочем, как вам угодно, так и понимайте!

— Ну, хорошо, очень хорошо! — засеменил другой старичок в прюнелевых сапожках,— недоразумение исчерпано! Иван Дмитрич получил удовлетворение, и... все по-хорошему!

Коллекционер продвинулся бочком и вытолкнул себя в залу.

— Этакие эти занозы молодые люди! — недовольно протянул он примостившемуся к нему старичку.

— От греха подальше!

— Глядит не мигнув, сказав дерзость старому человеку! И так это грубо... откровенно... книжонки пустые... Правда, они бы не помешали, вы понимаете, для полноты собрания, так сказать — для округления, но я завтра же, завтра же их отошлю... с благодарственным письмом и... с таким, знаете, деликатнейшим намеком царице моих молодых чувств Александре Александровне: благодарю, не ожидал.

— Вот, вот, вот!

Часовая стрелка перекачнулась за двенадцать. Старичок-тапер чаще и чаще сбивался нажимать педаль. Меньше и меньше кружило пар. Танцы оканчивались сами собой. Аграфена второй раз кормила на кухне тапера.

После танцев играли в фанты, в почту, в кошку-мышку, в шарады. Анатолий посылал одну за другой записки Галине Сергеевне: «Галиночка! Полюби твоего сирого для мира Тольку». И Галина Сергеевна отвечала: «Комедиант! Ты сегодня ничего не получишь».

Анатолий шарашилсЯ объяснитьсЯ с женой, наклонялсЯ к ней с умоляющими, ненасытными глазами. Она говорила ему вполголоса:

— Я уйду к себе, если ты подойдешЬ ко мне еще раз. Мне стыдно. На тебя гримасничают.

Анатолий отошел, замолк, прислонилсЯ к роялю, беспомощно вытянув по лакированной спине рояля свою руку. Ему носили новые и новые записки, он, не читая, складывал их стопочкой.

Зало шумело. Звонко вскрикивали девушки в мужских руках. Смеялись и хлопали в ладоши над неловкими игроками в кошку-мышку, над несуразными ответами шарад.

Анатолий безучастно глядел и скучал.

Володька показал глазами Люде на брата и шепнул:

— Или дошел... или представляется перед новой шашней!

А Люда вдруг злобно сжала пухлые губы, отчего они стали похожими на красную пушистую ткань, и бросила резко:

— Что тебе от него надо? Тебя никогда не любили так женщины, как моего брата!

Володька сделал преданные глаза:

— Кис-кис-кис!

Люда заулыбалась и поежилась, почувствовав за своим стулом пониже корсета осторожно прильнувшую к горячему бедру горячую руку.

Перед рассветом разъехались последние гости. По комнатам устало раздевались Брянчаниновы и Пуговины, в мезонине ходил Тур. Аграфена с Пелагеей проветривали комнаты через раскрытые окна и двери, дежурили, пока кислый запах папирос, сигар, вин, цветов не выдымится на улицу.

У НИКИТЫ НА ПОГОСТЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Всю зиму шли с Чарымы тучи с снежной поклажей и разгружались на погосте у Федора Стратилата, на Наволоке. Давно садили сосну за каменной оградкой, но не поднималась она выше человеческого роста, обламывало ей голову снегами, раздавалась она только вширь и хирела. Высокое, прямое дерево — сосна, не любит она тучности! Впрок шла кладбищенская костяная земля серебробровому тополю и сизому ветляку, а глубокая снежная навал пуховой периной грела сосуны-корни. Как обтаивал снег по весне, черной решеткой лежали у комлей сломанные веточки, ветки тополей и ветл. А не убывало. Когда приходило время рядиться на Троицу, трескались припухлые от зеленого сока и клея почки и складно разворачивались листками. С прохладцей скатывалась полая вода с погоста, подмывала могилы; поклончивое дерево ветла изгибалась за водой, а тополя мокрогубые и вверх лезли и в обхват полнели. Будто и не было сердитой, ломучей дереву зимы. И густели на погосте с избытком дерева от солнечного согрева тенистой рощей-плескуньей.

Церковную сторожку тополя обложили осадой, трубу закрыли лапами, нависли бровями-наличниками над окошками. Никита-сторож лазил с топором каждую вёсну, сек, рубил, крушил тополя, они снова неунимчиво

налезали. А на корню срубить жалко, бок обтесать того жалче — погорбишь дерево. Так и стояли хозяевами.

— Тополь, как гнилой зуб,— говорил Никита.— Распаршивое растение! А попробуй без тополя? Зимой с погоста сдует. А то за ночь на голову вместо шапки сажень белого товару наладет. Так-то, племяш! И от тополя служба немалая!

Сережка смеялся и поддакивал:

— И нам кстати.

— И вам усторонье хорошее.

Другой год в сторожке у Никиты собирались заводские и фабричные кружки: Сережка свел с дядей-бобылем. Платили Никите по двадцать копеек за раз, на веники; сорили много в сторожке. Сдавали на сохраненье Никите книги, листки; нужных людей прятали в сторожке. Когда прятали нужных людей, платили дороже. Промышлял Никита по-родственному. Складывал двугривенные в кисет, а по субботам шел в город в ренсковой погреб. Любил Никита бальзам.

Поп зазвонил к Никите по требе в неположенное время. Никита застранил попу дорогу в сторожку и вкрадчиво и виновато вьелся голосом:

— Племяш с товарищами зашел, батюшка! Ну, конечно, и винишко в угощенье дяде, мое дело сторона!

— Не место вино на кладбище,— твердо сказал поп,— пусть закладывают у себя дома.

— Это верно, батюшка. А как же к дяде и не зайтить племяшу! Ровно бы родство почитать след?

— Родству я не мешаю. Я против вина, Никита, говорю. С вином сторожка церкви плохая.

— Так я-то, батюшка, чуть дыхну, мое дело сторона! Да и племяш-то у меня не больно усердствует. Боле для плепровождения времени. Церковь я блюду, кажись, так банк с деньгами солдаты не блюдут.

— Церковь — самое главное. Без повторенья чтобы в следующий раз...

Собирались в неделю два раза. Летом и осенью ходили с лугов. Перелезали в условленном месте через ограду под ветлой. Избоченилась тут ветла в поле широким боком — и прикрывала. Ходил тогда за оградой Никита и бил в колотушку мелким горошком. Когда не работала колотушка, пережидали на той стороне под ветлой и не перелезали. Уходили и так. А то колотушка, помолчав, затевала свою деревянную игру и звала. Во всякое другое

время Никита сидел у калитки, поджидая от города, и остерегал. Сережка к дяде ходил напрямиком.

Выставляли на стол, как собирались, зеленый стаканчик, каменные крендели и заговоренную бутылку водки: не убывала она, под красной занавеской в горке дежурила у Никиты. Окно Никита держал под ставней. В старый, заброшенный склеп за сторожкой под ржавым замком без ключа,— замок от дурака,— носил Никита полежащее, отворачивал березовой плахой, прислоненной в уголок, надгробную плиту, вынимал кирпичину в коробке под плитой, вкладывал в выбоину нужное, кирпичом закладывал и плиту поворачивал на положенное место.

Когда не платили в срок на веники, Никита не подымал колотушки и не выходил на лавочку к калитке. Исправляли дело через Сережку.

— Ты поглядывай, Серега,— сердился Никита,— выдачу путают. Беру мало, и того не отдают в срок. От фатеры откажу мигом.

Сережка припасал деньги и пересмешничал:

— Деньги верные, сам знаешь! Какой ты ешь леволюционер после этого: подождать деньги не можешь!

Никита пугался:

— Ты, Серега, это напрасно, мое дело сторона! Чуть что, смотри, я не повинюсь. На тебя свалю все происшествие. Уговор такой был. От тебя на заварку пошло дело. Дядья не ответчики за племянников.

— Как еще и ответишь-то!

— Шутки шутишь! Я, брат, сбоку припека. Мне царь не мешает. Я не согласен против него идтить. До чужого дела мне надобности нет.

— Деньги зачем берешь тогда? Это тебе и зачтется.

— Бальзаму охота, потому и беру. Бальзам для брюха очень пользителен. Брюхо у меня, как дупло сухое, кишки подсыхают, до ветру по неделям не хожу. Оставлять без вниманья брюхо, скажешь? В тюрьме и то брюхо лечат. Зачет мне верной за брюхо.

— Вот поглядишь! Нет, дядька, одним гужом воз ташим. Не отыграешься на пустой!

Никита хитро поблестел глазками:

— Коли так, забирай бумажки. Мне с полицией ваядаться смыслов нет. Я отроду в участке не бывал и не бывать бы отроду. Раньше времени помирать мне,— насмотрелся я на покойников,— ремиз. Я по-хорошему, без ответа ежели, по согласу, один коленкор, а с ответом

ежели, мое дело сторона, отводом затворюсь. Отскакивай назад, Серега! Изба моя сору не хвалит.

Сережка ухаживал, угощал дядю табачишком и выдавал ему жалованье. Никита разглядывал деньги, задушивался, и губы сами выговаривали:

— Прибавки хочу просить, Серега, продешевил я попервоначалу. За фатеру в самой раз, а маета получается на поход, да еще и маета-то какая! А за что? За риск?

— Не прибавим,— как отрубал Сережка.

— А надо бы. Ну, да уж и так ладно. Платили бы без прижимки. Колотушка у меня не купленная, самоде-лишная!

Пугался Никита, когда шевелилась полиция в городе, шарила в ночь на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях. Слух шел утром от баб. Плакали бабы на речке, полоща белье. И пожарные рассказывали:

— Привезли! Двоих привезли. Засудят, не иначе...

Стучался Сережка вечером в сторожку, ломился... Никита недовольно и не спеша выходил к дверям.

— Это я... Сережка! — кричал племянник.

— Чего надоть?

— Отопри.

— Не отопру. Нашел время по ночам шляться. Иди себе. Меня дома нет, мое дело сторона! Сплю я. Покойников-то перебудуешь, стучолка нелагожая!

Сережка стучал в рамы, в стекла. Тогда снова выходил Никита:

— Не отстанешь ты, мышь летучая? Полгорода на стук прискачет.

— Отопри на минутку,— молил Сережка,— никого нет. Дай опнуться!

— Не пушу, не пушу,— приоткрыв двери и не впуская в сени, сердитым шепотом шептал Никита,— говори скорей: зачем пришел? Не ночевать ли? Постели у меня нету. Ну вас всех к ляду малиновому, мое дело сторона! Ну, что ль!

Сережка совал в темноте Никите узелок и шептал:

— Ухорони, дядька!

— Не возьму, не возьму,— хрипел напуганный голос,— кончил я, насовсем кончил служить...

Но Сережка убегал. Никита плевал долго и растерянно вслед, а потом крадучись шарашился в темноте к склепу, осторожно, не скрипя железом, снимал замок и лез в тайник.

Придвинулась весна. Обтаяла у сторожки тоненькая кромочка снега. Будто всплыла сторожка на воде в белой губке снегов. Заездили по талым дорожкам грачи на погосте. Зачернели тополя весенней чернью. По черным вечерам зывала сова, и раскрывался над городом низкий темно-багровый шатер от огней. Никита курил на крыльце подолгу, с расстановкой, поколачивал сапогом об отходившую землю и разговаривал сам с собой вполголоса:

— Да-да. Сидишь, говоришь? А что сидишь, и сам не знаешь. Вольготно прохлаждаться, ежели жизнь веселит. А какое веселье бобылю? У совы и то сама есть, мое дело сторона. Вона как подхоркивает! Перья поди в зад у дрючит? А тебе жизнь по переносице. Выдумали тоже заведение — кладбище! Раньше в курганы зарывали. Какого беса курган стеречь? И почему так: одни сторожа, а другие графы? Он-те в постельке похрапывает али там выпивает по маленькой, огурчиком закусывает, о графин пальцем колотит. Что весна ему, что зима — одна погода. Смерть жилки подрежет — весь свет в церквѣ зажгут, пудовики закадят и панасадил, певчие по ѐм глотку дерут за двадцать пять рублей, голосами по-ангельски выводят жалобы. А сами у него под каблуком кашляли, мое дело сторона. Смерть — она на вороту. Говитан близко, а смерть еще ближе. Подохнешь тут! Сережке — скарб. Окромя Сережки, некому. И скарба-то всего на три цалковых. Поди унесет-таки и на три цалковых. Бутылок из-под бальзама корзина в придачу. Куда бутылки-то? В разбивку бутылки! А сторожка другому сторожу отойдет. Без сторожа дня не будут. И нельзя. Может, сторожу опять-таки имя Никита. С ребятами, с бабой тут обживется. Огород разведет, куриц... А может, и свиней? Нет, свиньи не подходят: могилы, окаянные, изроют, мое дело сторона. Куришь, говоришь? Завертывай другую! Табачишко в кисете есть-таки! Торопиться некуда. У последней пристани и живешь-то, могилевская волость, мое дело сторона! Выбирай любое место. Да, выбирай! Похоронить похоронят... на купленное место только не пустят — карман узок. У оградки подкинут. Крестишко там соорудят на первое обзаведение. Повалится крестишко — отметины о тебе и не будет. Кому надо знать, жил-де на свете сторож Никита? А для чего, спрашивается, жил — небо коптил, мое дело сторона!

Никита глубоко и жалобно вздыхал, выплевывал сигарку, попадал в нее слюной, наклонясь со скамейки, и, не попадая, засовывал рукав в рукав, отшвыривал сигарку ногой.

«Язык устал говорить пустяки! Пожалуй, бородавку набьешь на кончике,— кто-то шептал в уши,— я-сно!»

Сова трепетала крыльями, голосом... Снег оседал в темноте и разваливался на могилах, будто с маленьких низких крыш.

«Вылезают — вылезти не могут,— думал насмешливо Никита,— закупорены крепко, мое дело сторона! Попробуй вылези сама пробка из бутылки! На совесть работаем! Хорошо делаешь — на чай поминальщики дают. И э-эх, та, как эту блажь в голове пересилить, чтобы тепло было голове под шапкой — и больше ничего. Разглушка одна выходит в непутёвых Сережкиных ребятах, разглушка с опаской! Ну, как ненароком проведает чужой глаз? Не прове-е-дает! На кладбище человек зря земли не притопчет. Земля противная, человечинной отдает. А ребята роют яму, в надежде живут: получшеет жизнь маленько, мое дело сторона! Да где уж получшеет? Хуже бы не было. Да и отчего она получшеет, когда те же люди на земле жить будут? В какой закладке вышла лошадь в дорогу, перегон откачала — в серебряную сбрую ряди лошадь, лишнего шага не переступит. Человек-то, мое дело сторона, его хлебом не корми, дай ему всё одному, а другим ничего. По-братски ребята Сережкины жить хотят, а Ваньку Просвирнина укатали! Вон он тут под ветлой червивеет, драчун! Надрался до ручки! И лежи, коли не умел с самим собой сладить! И э-эх, ты! Какое о чем рассуждение правильное, поди никто не знает? Живут так, будто все знают, а на поверку день да ночь, ночь да день! И больше никуда. В омут головой человек окунывается в жизнь, пятки в небо глядят... А чего глупые пятки в небе увидят, мое дело сторона?»

Закуривал опять Никита, слушал тонким ухом, как бежала где-то водица под снегом, ветрогон-ветер весенний шарил на колокольне мелкие колоколишки, и терлись о них языки, словно ехали где-то далеко тройки за тройками с ширкунцами и бубенцами. Плотный, будто ледяной, родник обмывал лицо и всякое голое место, весенний ветер лился в горло и в ноздри Никите свежей густотой прохлады.

Надышав широкую грудь, уходил Никита в избу. ставил самовар и пил чай, капая в стакан за стаканом черный и липкий деготь бальзама. Нагнетал за кран самовар, подтаскивал его ближе к себе, щелкал стречком по медной опушке — и вдруг размягчалось лицо, губы сладко расходились, смежались щелочками устало и опухше глаза, Никита трудно поднимался с табуретки, пошатываясь на полу, как речной маяк на зыби, и вслух осклабясь говорил:

— А и отдохнуть тебе, Никита, негрешно! Ложись спать, добрый молодец! Ги-ги!

ГЛАВА ВТОРАЯ

В апреле на Страстной ночи стояли теплые, вороные. Никита в четверг, обходя погост, колотушил изо всей мочи. В избе у него было много народа. Сережка привел незнакомого барина со светлыми стеклышками, бритого, с тросточкой, тонконового, в серой шляпе: из-за границы приехал. Пальтишко на нем было обмызганное, конопатое, а руки тонкие, благородные и голос тонкий, колокольчиком. Спозаранку пришли свои ребята: Тулинов, Егор, Кеня, Мясников, Кукушкин, учитель-чахотка Тар-Тарары — и привели впервой каких-то заводских и мастеровых. Пришли две молодых не то девки, не то бабы из рабочих: никогда прежде не были. Под ветлой лезли и лезли, как кончили в церквах читать Двенадцать Евангелий и прошел народ, больше ребятенки малые, со свечками по домам.

Смирно сидели в избе и шептались. Сережка тоже из-под ветлы сегодня вылез, а не прямоком. Барина подсаживал на ограду. Смеялись оба. Никита, когда барин на ограде показался, ударил в колотушку сплеча, даже в руке стало больно.

— Может, дядька, звон начнешь, как архирию, больно колотишь? — шепнул Сережка в ухо.

Никита обиделся, перестал стучать и забурчал:

— Чем не архирей, ежели такой переполох у тебя? Нагнал народу — изба трещит!

Барин назвал Никиту товарищем и подал руку. Никита запутался с колотушкой, освобождая руку, притронулся до руки барина и услужливо забормотал, идя быстро вперед к сторожке:

— Вот сюды, сюды... О могилку не запнитесь. Фонаря я, дура, не смекнул принести. Серега, сбегай за фонарем, мое дело сторона!

Сережка и барин весело засмеялись.

— Будет, дядька, смешить,— сказал озорно Сережка,— стучи в колотушку. Мы с товарищем Иваном одни дойдем. Два шага дороги. Пусти-ка меня вперед, чего зад вилкой держишь?

— Брысь ты, дуб!..— крикнул обозленно Никита и замешкался на месте.

Его обошли. Барин осторожно и хрупко кружил между могил. Никита не отставал, вглядывался ему с любопытством в спину, нагибаясь вперед. Потом, подумав, поднял колотушку и забил... Иван вздрогнул, потянул шеей. Никита перегнал барина у сторожки, отворил широко двери и полез в сени, топоча ногами в привычной темноте.

— Будто вельможу дядька тебя встречает, товарищ Иван! — громко сказал Сережка, наклоняясь в дверь за ним.

— Даже неловко,— шепнул Иван.— Чего он, право?

Никита открыл дверь в избу. В сени выскочил желтый подсолнечник света и хлынул серыми гривами табачный дым. Никита посторонился и пропустил барина, поправлявшего на ходу стеклышки.

Никита крепко закрыл за собой дверь и, не сводя глаз с барина, опустил на порожек.

Товарищ Иван огляделся, присел на краешек к столу, положил пальтишко на колени и прикрыл его серой шляпой. Все молчали. Егор тогда шепнул Сережке:

— Колотушку-то надо выпроводить. Не к чему ему знать лишнее. Покупной он человек. Иван, может, секретное скажет в докладе. Скажи, дороже заплатим за сегодняшнее.

Сережка подкатился к Никите:

— Дядька, постеречь бы тебе!

Никита недовольно поглядел на племянника:

— Можно и постеречь. Послушаю малость, что эн-тот... стеклышкин... говорить станет — и постерегу, мое дело сторона!

— Поздно бы не было, дядька! Нам эту птицу под большую охрану дали. Не разварзаемся с ним! Не убежали, скажут! Организация тебе сулила награду за сегодняшнее...

— Пора начинать! — кто-то сказал с лавки. — Время идет... Все в сборе!..

Иван откашлялся и потрогал шляпу.

— Минутку, товарищи! — выкрикнул Егор, глядя к двери. — Товарищ Никита на сторожку спервоначалу встанет от бродячего народу.

Все повернулись к Никите. Иван усмехнулся, вспомнив о колотушке. Никита не выдержал буравлющих глаз, поспешно вскочил, заторопился и повалил в двери, охранно заколотя в колотушку уже в сенях. Сережка выскользнул за ним и замкнул дверь.

— Почто запираешься? — сердито из-за дверей зашумел Никита. — Что за новости такие! Не хозяин в своей избе, выходит?

— Ну, отопру! Какой ты, право, дядька! — откладывая засов, засмеялся Сережка. — Ты в другой конец отойдешь, а тут... черт ее знает... кто и шаст прямо в избу. Тебе понадобится, ты в окошко постучи. Твой стук знаю небось...

— Запирай, когда так, мое дело сторона, — согласился Никита. — Вот почто только мокрохвостых привели: избу опоганили. Бабье ли дело по мужику бабе равняться? — Никита помолчал и добавил: — Беловолосенькая-то ничего: товар крепкой! Как зовут-то?

— Аннушкой. Ваньки-покойника журжа. Затворю, значит, дядька? Стучи. Некогда прохлаждаться!

Сережка щелкнул засовом и убежал.

— Про-свир-ни-ха? — протянул удивленно Никита. — Во-о-т кто-о-о! Она-то почто пришла?

Никита пошел кругом, раздумывая в бороду: «Муж на кладбище поляживает, а она подолом над могилкой вертит! Знал бы, не пустил, сучонку... Ну-у и ле-во-рю-ция! Пустяковина, а не ле-во-рю-ция. Где баба замешается, окромя похабства, ничего не будет. Подстилки чертовы! Выходит... Егоркину полюбовницу охраняю? Егорка на охрану посылает, а с ним заодно Сережка вислоухой! Тьфу!»

У ограды, недалеко от Святых ворот, кто-то зашабаршил и покряхтел. Никита испуганно рванул колотушку, подошел к решетчатым воротам, прислушался, взгляделся во тьму, в слабо белевшее пятно и зыкнул голосом:

— Кто там бродит ночью по ограде?

Кто-то охнул, приподнялся и покорно ответил:

— Мы, прохожие, добрый человек. Не бойсь, не воры какие. Столяры мы...

— Чего вам надобно у ограды?

— Нужда застигла. На хутор свой идем, на побывку, на праздничек лугами...

— Почто гадите у ограды?

— Какое гаженье? За ночь подсохнет... Не в штанах нести, когда хлеб... стучится... в устье...

— Проваливай, проваливай, безобразники!

— Сичас... уйдем,— лениво ответило белое пятно, снова приседая,— нам... лу-га-ми...

Никита обогнул погост. Он перешагивал через могилы, вспоминал по именам и по отчеству покойников, хваля и ругая их, смотря по памяти. Отогнал свистом долгим и пронзительным, сунув пальцы в рот, табунок забредших с лугов коней из Прилуцкой слободы под городом. Послушал с усмешкой испуганное ржанье коней. Кони взвили хвосты и бросились по лугам, мягко колотя по земле раскованными копытами. Никиту потянуло к избе. Он осторожно пододвинулся к окошку, приваливаясь к косяку. Из-за ставни выливался тоненький бабий голос: дзинь-дзинь-дзинь. Никита долго не мог разобрать слов. Он сделал ухо трубочкой и прильнул к щели. С трудом Никита начал понимать слова, но они вызванивались в окно оторванно, отдельно, стирались для слуха, как на могильной плите замшавелые, высеченные по камню слова пальцем ощупаешь, видишь глазом, а прочитаты нельзя.

В голове у Никиты чаще других слов шевельнулись слова: «рабочие...», «товарищи...», «Ермания...», «Хранция...»— и Никита довольно и удовлетворенно подумал: «Ишь ты, о загранице повествует! Человек-то он приезжий, загранишной... А что Сереге заграница, почто? И другим тоже? Мине, к примеру, мое дело сторона? Аннушке тоже. Ей кобеля надо, а тут ученость! Награду обещали... за пустяки. Тешат маленьких. Ну, не пьют — и то хорошо. Лево-рю-ция! Господа промеж себя не ладили: и ле-во-рю-ция, мое дело сторона! На свою сторону привечивают, чтобы супротивника накрыть вовремя... Подыгрывают... Рабочим и мужикам ка-а-к живется неповадно, кто это не знает? Как есь по этому месту и бьют. Жулье! А нам что: плата есь — и ладно, мое дело сторона! Можно и постучать. Застанут ежели, худо! Да где тут застать! Кому в святой четверток охота из

дому выходить? Одни дураки шляются. В избе-то сидят! Сиди — и ушами хлопай, мое дело сторона! Образованные разведут голосом лучше гармоньи! Вон у образованных книг-то сколько! Говори — не переговоришь!»

И Никита махнул рукой, пропала охота постучать в ставню и вызвать Сережку. Он ходил в вороной и теплой ночи кругом, курил, чиркал за ограду слюной, нюхал давшие почку тополя, грыз залежалый в кармане баранок, усаживался на каменную ступеньку у паперти и спокойно, равнодушно служил погосту, ребятам с завода, господскому потайному делу.

Наскучивало сидеть на улице, холодал, собирался в избу, но глаза легонько и сладко укладывались на покой. Никита прилегал на руку и дремал. Вскakiвал он от ночного шелеста голубей на колокольне и колотушил, будто наверстывая усердием за молчаливую дремоту. И снова шел в обход по кладбищу.

За склепом в железном фонарике с голубыми и розовыми стеклами у черномраморного креста теплилась неугасимая лампада по купце Сосипатре Свистулькине. Торговал вином при жизни Сосипатр Свистулькин. Никита оправлял на ночь изo дня в день лампаду в фонаре. По праздникам ходил ко вдове. Выносили ему за труды пирога с вязигой кусок. На пирог капала густая литая капля запеканки из стаканчика. Не держала, по обещанию, у себя в буфете вдовствующая Свистулькина, кроме запеканки, других вин. Светил теперь Свистулькин церкви своим фонарем, будто второй сторож на погосте.

Шел Никита к фонарю и, наставив медную луковицу часов на розово-голубой отблеск неугасимой лампады, глядел на чересполосицу часов. Приходило время — отбивал в повесочной колокол десять, одиннадцать раз. Часы с погоста слышали только луга, он сам, покойники, ночевавшие в канун отпевания в церкви, да опять покойники, лежавшие в домовищах в земле.

За ставней тот же голос просился в уши и был, как немой, непонятен и косноязычен. Пришла крепкая, теребливая скука. Никита стукнул Сережке.

Вышел Егор за двери и сразу окатил холодной водой:

— Кончаем, товарищ Никита! Пропешедралуй еще разик: нет ли кого? Выходить сейчас начнем. У ветлы взгляни.

Окатил — и ушел, запирая двери.

Никита опешил, хотел рассердиться, а только сказал:

— Где Серега-то? — И, не дождавшись ответа, насмешливо кривляясь, добавил: — Мне бы на ночевку, ваше благородие! А?

Никита вяло походил около сторожки, прикусил зубами клочок бороды, навалился на рогатый угол и раздраженно завыводил:

— Распоряженье гу-бер-на-тор-ское, вши-ва-я биржа! Убил одного человека... баба его понадобилась, стер-р-ва! И не отрыгнулось!.. Днюют и ночуют в избе, сук-к-и, а меня же и хоронят! И, скажи на милость, дураком считают, сами дураки!

Обида родилась сразу, как искра в сигарке, ожгла глаза, скользнула по рукам и застряла перебоем в сердце.

— А я ли не стерегу другой год! — воскликнул вдруг Никита и швырнул колотушку под скамейку. — Серега тоже прохвост! Пле-мян-нич-ки пошли!

Расходились в двенадцать молча, сторожко, по двое, ныряли под ветлу и, не гремя о железную крышу оградки, спускались в луга.

Барин со стеклышками вышел первый с учителем Тар-Тарары, прошел мимо, не заметил и на ходу сказал:

— Удобное место, знаете! И сторож... с официальной колотушкой!.. Показывайте, как идти! Я вижу только свои пенсне.

Учитель тихо засмеялся:

— Я тоже ничего не вижу. Варварская ночь! Я... больше на ощупь...

— Ну, на ощупь так и на ощупь. Шагаем. Там где-то лезть надо!

— Найдем.

Никита прижался к стене, пропустил и зло подумал вслед: «Как на костылях, идут. И труба в глазу не помогает. Спасибо не сказали за помещение и... за хлопоты. Надсмешки еще над колотушкой. А без колотушки совсем бы пропали, бездомные!»

Серезка с бабой вылезал последним:

— Надо дядьку, Олюнька, покликать. Куда он запропал? Потом и пойдем.

— Вон кто-то стоит, — сказала Олюнька.

— Дядька, ты?

— Ну, я... Чего тебе? — выкрикнул Никита дрожащим от гнева выкриком.

Олюнька вздрогнула от неожиданности.

— Во голосина! — фыркнул Сережка. — Напугаешь неровно! Женщина назад подалась со страху. Уходим мы, дядька. Я завтрачка забегу.

Никита помолчал и буркнул:

— Ладно. Хоть и не забегай — не заплачу.

— На сердитых воду возят, дядька, — шшутил Сережка. — А я прискачу.

И пошли в обнимку.

Никита разомлел вдруг... Отлегло у него сразу на сердце от веселого Сережкина голоса, от обнимки Сережкиной. И он весело крикнул вдогонку:

— Кралю-то береги!

Сережка и Олюнька засмеялись, не видные за темнотой.

— Поиграй в музыку, дядька! — задорно стрельнул Сережка из-за sklepa.

— И-де-е-т!

Никита засуетился около лавочки, ошарил колотушку и задрезжал мельчайшим зерном.

В темноте звонко переливался смех, будто роняли бубен и плясали с ним.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сережка с Олюнькой кружили по лугам и никак не могли дойти до города. То на дороге возникал круглой шапкой горбыль, то сухой валежник, нанесенный чарымскими разливами, хрустел и заплетался под ногами. Тогда останавливались и садились. То Олюнька находила на небе замысловатые звездные узоры, как бархатные поля с серебряными колокольчиками, показывала Сережке рукой — и опять останавливались. Подолгу глядели на горящие небесные лампы, и Сережка прикидал удивленными губами к удивленным губам. Рука у него устала обнимать Олюньку и вести ее. Они шли рядом, раскачивая качели рук.

У коровинских мельниц лежал старый смолотый жернов. Олюнька села на него. Сережка свернулся ногами на земле и облокотился на ее колени. Олюнька сняла с головы картуз и со смехом откинула в темноту:

— Чего паришь голову?

— Я... вот как тебя поташу!

Сережка крепко стиснул ноги Олюньки. Она обняла его за голову, наклонилась, вдавила в колени и навалилась сверху грудями, трогая в коленях быстрыми пальцами лицо Сережки:

— Задуш-у! Не отпуш-у! Не вывернешься, кот!

— Я бы век так лежал,— бурчал Сережка,— тепло и не дует.

— Прискучило бы. А чего бы вылежал-то так?

— А мне ничего и не надо, как с Олюнькой сидеть. Ей-ей, Олюнька, как это... сделалось, веселье у меня на душе страшное. Все бы смеялся и прыгал щенком. На людей прыгать охота.

— Известный ты пустосмешник!

— В цеху у станка стою... Задумаюсь... А ты будто тут рядком дуешь на меня.

Олюнька отлегла грудями и беспокойно сказала:

— И чтобы не делать так! Еще пальцы напрочь отхватит! Куда мне уroda: на божницу ставить? Али вместе побираться под окошками?

— Не отхватит... А и отхватит — за тебя не жалко.

— Так тебе я и поверила. Все вы до поры до времени улещиваете, а потом — в зубы. Много нашей сестры глаз вымочило. Не объедешь. И люблю, а не поддамся.

— Хвастунья ты!

— Ничего не хвастунья, а в аккурат как раз.

— Я не таковский, Олюнька, и есть. Ты меня толком не разобрала. Мне насильничать и в голову не придет, как другие ребята. Люблю я взасос, а руки у меня позадь супонью стянуты.

Олюнька прижалась к Сережке. Звезды догорали последним огнем в проходящей ночи. Они устало шевелили серебряными ресницами, уходили выше, мельчали, будто тухли на ветру.

— Опасайся я,— шептала Олюнька,— не ходила бы по ночам с тобой по пустому полю птиц пугать.

— То-то и оно. А поцеловаться не грех. Губы не сотрутся. Чего им сделается? Наклоняй-ко вишенье!

— И в обнимке мера есть.

— Ску-па-а-я, ну-у!

Олюнька, играя, приблизила губы, коснулась, чуть потерлась ими и схватила жадно, крепко, тягуче...

За спиной поскрипывали мельницы. Ветер спал, обесилев дуть и шататься над землей с шестой недели поста. На шестой неделе шел лед, ветер заработался, гоня дождь

на подмогу весенней тайке снегов. Он только теперь ворочался во сне — и тогда, как птица перекладывала крыло на крыло и затихала в гнезде, давали легкую качку мельничные кресты.

— Вот когда прижмем хвост богачам да царям,— задумчиво сказал Сережка, дыша горячими губами,— и нам, Олюнька, житье будет другое.

— Ты это к чему?

— Больно полусапожки на тебе худые, вот к чему.

Сережка просунул палец в дырку на полусапожке с бочку и пощекотал охолодевший чулок. Олюнька откачала ногу:

— Усмотрел тоже, беда какая!

Она начала одергивать платье на полусапожки и закрывать их подолом, приступая носками на оборку:

— Не гляди, не гляди, чего, право?

Сережка засмеялся:

— А вот и погляжу. И не совсем видно, а видно.

Сережка приподнял краешек подола. Олюнька хлопнула его по руке, зажала подол между полусапожек — и застыдилась.

Вороняя ночь исходила серыми яблоками облаков. Луга показались под серой золой прошлогодней травы. В дыму наползавшего из-за Прилуцкой слободы пасмурного рассвета круглели купола стогов и вразброд бродили кони в ночном. И казались купола стогов палатками чьего-то кочевого стана. Будто спали в палатках люди, а вокруг ходили и наедали травяные мешки для денного пути кони.

— Я боюсь, Сережа, как бы слезами не отлились собрания эти... И будет ли толк? У нас на винном складе сорок баб и девок посуду моют, а мы только с Аннушкой на кружки ходим.

— Вы подталкивайте других.

— Я и сама-то ничего не морокую. Больше... из-за тебя хожу.

Сережка бережно обнял Олюньку, обвив ее рукой. Она подняла его руку повыше, на талию, и погрозила пальцем.

— Крепыш ты у меня, Олюнька! Нельзя и дотронуться! Я по-безгрешному. Рука сама легла.

— Не туда ложится, куда след... Баловаться привыкнешь, отвыкать трудно.

— Никита-то как сказал: краля? Краля ты и есть! Ни тпру ни ну!

— Тебе хотелось бы по-другому?

Сереежа серьезно взглянул на Олюнюку и, дрогнув ноздрями, покачал головой:

— Нет... нет... нет...

Небо загустело тяжелыми надутыми облаками. Они медленно текли с востока. Будто шел весенний лед плесами широких льдин, он не переломался в луках, в зажорах, в речных петлях, его выносило сразу, дружно, бесшумно на попутных парусах — и наносило на город. Рассвет снова потемнел, как начиналась подряд другая ночь. Солнце утонуло в облачном ледоходе и не показывалось.

— Аннушка одна только много понимает,— сказала Олюнюка,— откуда набралась? Ваньку убили... На другой день поступила на склад. И работает, как мокрое горит. Баб она сомущает. Кричат-кричат бабы, а по ее выйдет. На заводах сколько работает — тысячи? Раз-два и обчелся с понятием. Кабы все на Аннушку походили. Мне за ней не угнаться. Ничего у них только с Егором не выходит. Аннушка сохнет, и Егор сохнет. Все этот противный Ванька замешался.

— Да. Наделал делов Ванька. Сколько народу из-за него пересидело в тюрьме. А не допытались! Ты говоришь: с сознанием народу — сахару на блюдечке. Так что? Тут горсточка, там горсточка — гора и наберется. Слышала даве — по всей России разрастается лес...

— Может, так говорится только. Баринье все ездит. И докладает.

— От кого же, как не от образованных, научимся? Егор книг прочитал ондрец, а и то путается. Баринье, Олюнюка, липовое. Складно говорят, на баринье и походят. Другие ребята не верят. Конечно, мы не без разницы. По мне, так на разницу наплевать, лишь бы дело шло. Они нам нужнее нужного. Время придет, все выйдут. Вон, гляди, Ванька озлел слободе, прохвост, таскали-таскали на допросы, ни один не сболтнул лишнего слова. Будто Ванька сам себе пулю в спину пустил, а Егора и вблизи не было.

— Одна Аннушка Егору не простила.

— И Аннушка не выдала. Простить — ее дело. А слободе поперек не пошла. Присяжные в два счета решили дело. Кукушкин с Егором да с Тулиновым поцеловались у суда и вместе выпивать ходили. Кукушкин

какой парень стал — цены нет парню. Во переворот! Вся артель Ванькина, как дерево трухлое под топором в труху...

— Аннушка смиренная была какая при Ваньке...

— Будешь смиренная. Кулаки-то у него были не ситный хлеб. Боялась. Оттого и в революцию кинулась.

— Любил он ее без памяти, разбойник. Бил, это ты напрасно костишь покойника, мало.

— Ну, со страху была смиренная.

— Я вот у тебя тоже смиренная.

— Ты недотрогистая, а не смиренная.

— А ты рад девку, здорово живешь, под себя подмять!

— И это... не худо.

Сережка наклонился к отсыревшим в рассвете красным рукам Олюньки, взял в свои ладошки и задул на них:

— Измерзлись! Какие руки-то конопатые... шаршавые! Это у тебя от воды иссёкли. Вытирай крепче. С сырыми на улицу выходишь, они и секут...

— Вытирай не вытирай, когда целый день в воде мокнут. Молоком спасаюсь: на ночь натру — и отойдут. А то саднеют, будто в кислоте какой лежали, кожу тянет, полстит. Чего на руки уставился, а то на полусапожки? По косточкам разглядываешь!

Олюнька рассердилась и оттолкнула от себя Сережку:

— Найди себе девку в белых тюфельках, чтобы ручки были тоже как тюфельки, как трава вялая... Она тя, может, обоймет слаще. И народу, нос кверху, есть что показать!

— Мы любее с шаршавыми, с конопатыми проживем!..

Сережка стянул Олюньку с жернова и посадил рядом, сжимая тело в обхват напряженными загрубевшими руками.

— Ну тебя, обнимальщика! Сак замараешь! Будет! Пойдем домой. Гляди, как свет бежит с неба... Торопится. Туча-то какая — свалится еще.

— Тут зато не замараешь... и сиденье помягче...

Сережка быстро просунул одну руку под ноги Олюньке, а другой, обвинив талию, пересадил Олюньку к себе на колени.

Олюнька обтянула платье на коленях, зажала ноги, уселась удобнее, примеряясь задом, положила ему на плечо голову.

Они затихли, замолчали. Кровь, как соки под корой дерева, невидимо лилась извилистыми жилами, несвяз-

ная, пьяная, толкучая, вытекала в свившиеся руки, палила сольнувшиеся губы и грела-грела-грела, прили-вала теплотой, невидимо проходившей сквозь пористые одежды в скважинки ниток, узлов, строчки... Сердце Сережки колотило в упругие холмики грудей Олюньки отчетливыми, слышными, тугими толчками.

Олюнька зевнула. Сережка подтолкнул, помешал... Она засмеялась и стала вставать.

— Натягивай паруса, значит? — спросил Сережка, покачиваясь. — Ноги-то у меня затекли. Впереплет были.

— Ишь, отсидел, сидючи с милой. Искра в ногах! Так и до простуды недалече. По ночам росы злые, едучие...

Они пошли к городу нетвердым, качливым шагом. Остановились у калитки, на Зеленом Лугу.

— Я... зайду к тебе? — попросил виновато Сережка, шныряя глазами по щели забора.

Олюнька нахмурилась:

— Нет, нет, увидят. Скажут, ночами ребят вожу. Ты ополоумел? Ты опять за свое?..

Олюнька подумала, быстро оглядела улицу, прислушалась, повернула ослабевшего Сережку лицом к улице, горячей атавой тела прижалась к спине, поддержала крепко и сильно Сережку, рывком поцеловала его сбоку, толкнула вперед, скрылась за калиткой, вбежала на крыльцо, сунула за опушку руку, достала ключ и помахала им Сережке. Он видел только одну голову Олюньки за забором. Олюнька не отпирала двери, она подмаргивала ему глазами и морщила брови, кивая головой к плечу. Сережка, не понимая, стоял и хмурился. Олюнька нетерпеливо махнула рукой вдоль дороги — и отвернулась. Сережка нахлобучил картуз.

Олюнька поднялась на цыпочки, еще раз взглянула, приложила к платку руку «честью» и вошла в дом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как перелезли под ветлой, так и пошли рядом. Молчала Аннушка, молчал Егор. Молчала ночь. Молчливо лежал предпраздничный город вдалеке с ночными маяками огней. Не слышно было шагов в лугах — и было так просто идти молча. В городе Аннушка услышала тяжелый нажим каблуков Егора о каменную колкую

мостовую, а в ушах Егора забился частый, убегающий шаг Аннушки — и стало немого.

У Девичьего монастыря, у Святых ворот, маленькая монашка спускала на проволоке фонарь. С тихим поскрипыванием он плыл сверху. И сразу башенки ворот усекались, сливаясь с ночью. А на землю лег широкий янтарный круг огня. Фонарь качался у пояса монашки. Ворота стояли обезглавленными, с черной дырой калитки на боку. Руки монашки суетливо двигались у поплавок с фитилем, будто вдевали в ушко иголки нитку. Белое лицо, как снег на черном перегное полосы, наклонилось над лампадкой. Прошли мимо. Монашка подняла длинные неровные ресницы. Свет лампы зажегся под ними, и два темных глаза, горящих голубым отливом — будто небо упало в них, — приметно и горько поглядели на Егора. Монашка отошла к стене и взялась за проволоку. Янтарный круг с фонарем посредине казался огромным, плавающим на воде поплавок.

Аннушка вошла в тень, остановилась, повернулась к монашке, взглянула мельком на Егора и недружелюбно сказала:

— Чего она, глазами проглотить тебя хочет?

Монашка услышала голоса, взглянулась в темноту и перестала подтягивать фонарь кверху. Фонарь, как золотое кадило, закачался и закланялся перед воротами. И вместе с ним качались и кланялись вдруг выступившие в полумраке башенки ворот.

— Зна-ко-о-мая?

Егор тихо, обрадованно ответил:

— Нет. Я не знаю ее.

Тогда Аннушка схватила крепко руку Егора, прижала к себе и потащила. Часто, задыхаясь, дрожа, заговорила она:

— Пойдем, пойдем... Я ревнивая. Ты думаешь, я забыла тебя... разлюбила?.. Не помню каждый день и час? Чуждаюсь тебя, думаешь, не говорю с тобой?.. И все прошло? Ничего, ничего, ничего не прошло!

Аннушка закричала над самым ухом. И повелительный голос словно топал ногами на Егора:

— Говорят, не прошло! Ах, Егора, Егора! Как на сердце больно! Давит сердце какая-то рука в кулак... Не хочет отпустить. Сердце туда-сюда, а везде стенки. Будто в клубке с нитками сердце... в середочке. Держи меня крепче, я шатаюсь. Постой, я продышусь.

Егор осторожно поддержал ее.

— У тебя... у тебя платочка нет? Слезы вытру... Что я — у самой платок на голове.

Аннушка рванула платок с головы и закрыла лицо. Волосы Аннушки пошевелились на щеке у Егора, скользнули по глазам, мешали, но Егор сам тянулся к ним, опутывал ими губы, глаза, щеки.

Аннушка торопилась, бежала, останавливалась, опять бежала, держась за Егора. Изнемогла...

Сели на бульваре у архиерейского сада на скамейку. За высоким дощатым забором плескалась и переливалась вода, а потом редко, уныло, глухо булькала о камни и гудела. Будто задевал кто-то в саду о жилу виолончели.

— Сердце у меня стало плохое. Вот как плотина у архиерея. С дырой. Ты не подумай, я набиваюсь к тебе. Как тогда сказала, так и будет. Отжила я с тобой. Тянет, ой как меня тянет к тебе! А я за вожжи себя. Егора, Егора, зачем ты убил Ивана! Так бы и жили мы с тобой: украдчи слаще жить.

— Аннушка, но ведь он бы убил меня! Ты пойми, подумай. Вся слобода рада его смерти. Мы сто раз говорили с тобой.

— И... напрасно говорили. Это я... я убила Ивана. Ты только выстрелил. Бросила бы я тебя, ничего бы и не было. А я не бросила. Баба я. Ты слышишь, я зову его Иваном? И ты не называй его по-другому. Не надругивайся! И тебя мне жалко... Вот как жалко!

Аннушка обняла Егора и, раскачиваясь из стороны в сторону, дрожала на плече у него.

— Аннушка, он против всех шел.

— А не убивал... не убивал! — зашептала Аннушка, отстраняя и отталкивая Егора. — Я полоумная, скажешь? Из любви к нему маюсь? Ненавижу его! Все тряпки его сожгла. На память ничего не оставила. На могилу его плюнула. Он жизнь мою, как дерево, с корнем вырвал и бросил на дорогу, на пыль, под колеса, под копыта. Будто по телу мне долго-долго бороной таскали. Изменяли меня всю тройками да верховыми. И большой воз по мне прокатился. Сердце у меня озлело... Сердце у меня только тебя и заприметило. А чтобы через смерть получить счастье?... Ненастоящее это счастье! Отстань от меня, Егора! Смотри со стороны, как я чахну. А может быть, и повеселеет. Я живучая... Я противная. Руки на

себя накладывала, как он, дуру, меня обесчестил. А ничего... прижилась. В счастье краешки губ, будто в вине, измочила. Кровь на них и осталась. И вино жжет. Губы колючками шиповник тычет. Ты думаешь — бабы только спать с мужиками годятся? Увидят портки — и ничего не надо? Ан нет! Не все это: полмала портки. Говори чего-нибудь! Зачем ко мне подкрадываешься? Пережидаешь, как вытеку вся? Не молчи, не молчи!

Егор дотронулся до руки Аннушки, но она вскочила, закричала, затопала ногами:

— Не ходи за мной! Не ходи! Я одна пойду!

Аннушка скрылась в темноте березовой аллеи. Егор долго сидел, ничего не слыша, ни о чем не думая. По бульвару прошел человек и, на ходу закуривая, чиркнул спичкой. Егор вздрогнул и очнулся. Из темноты показалось освещенное лицо и напуганные глаза. Егор вспомнил, что и он давно не курил. Ощупал в кармане смятую коробку папирос, вынул и закурил, смотря на красный кончик затеплившейся папиросы.

На архиерейской плотине зашуршал, обвалился ком земли, вода заглохла. И долго в саду стояла тишь. И снова рассыпалось на плотине, будто зерно из мешка, и кто-то начал набирать в узкогорлые кувшины воду: бульк-бульк-бульк — и разливал их: шль-шль-шль...

Егор, медленно и глубоко вдыхая табак, докурил, отстрекнул окурочок — и пошел по бульвару. И сразу же из темноты, из-за деревьев вышла Аннушка:

— Какой сторож-то у тебя!

И голос был другой, колеблющийся, ломкий, отступающий...

Крепко и зло сказал Егор:

— Ты тронулась!

Он сжал ее за руку и повел:

— Где бы жить, лучше не надо теперь... Поле чистое, ровное, гладкое, как плита: никто не мешает.

— Это родимчик меня бьет, Егора. Отец у меня от вина сгорел. Я и вышла трясуня подлая. А ты — дубовый! Из тебя не согнешь дуги: концы раскочнутся.

В голосе Аннушки была насмешка и нежность.

— Дубовый не дубовый, а хозяин себе. У дуба у этого червоточина большая живет. Залечить бы...

— Это не я ли червоточина? — вспыхнула Аннушка. — Бабы другой захотел? Постничать надоело? Я из рук выскакиваю-выскальзываю налимом?

МАГАЗИН «ВЕНСКИЙ ШИК»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Гостинодворской площади, на Толчке, где при Иване Грозном по цареву указу урезали пятьдесят три боярских языка, в доме генеральши Наседкиной открылся магазин шляп. Сначала генеральша Наседкина жила в обоих этажах, потом на один этаж победнела и сдала низ. Генеральша Наседкина перебралась вверх с горничными, кошками, приживалкой и собаками. Перебралась и села у окошечка.

На черном поле вывески с золотыми разводами посредине — «Венский шик» — вывесочный мастер Серафим Пятачков в правом уголку расписался белилами, а в левом покрупнее высеребрил: «Мадам Эсфирь Марковна Шмуклер».

На Прогонной улице истари были шляпные магазины, но там был «Парижский шик», и шляпницы повалили на Толчок. Сама генеральша Наседкина спустила по лесенке семь пудов своего веса, купила приживалке шляпу с анютиными глазками и приказала записать за ней, в счет аренды за помещение на будущий год.

Эсфирь Марковна Шмуклер прибыла из Лодзи. Зубной врач Наум Соломонович Калгут лечил, пломбировал и вставлял зубы державе российской. Держава российская была полицеймейстером, супругой его с деточками, третьим полицейским участком с приставами и околоточными и старшим советником губернского правления. Наум Соломонович Калгут похлопотал перед властями за родную тетеньку Эсфирь Марковну Шмуклер, повидался с генеральшей Наседкиной, прельстил ее золотыми кружочками, — и тетенька из Лодзи беспрепятственно проследовала с вокзала на Толчок с Берточкой, с Лиечкой, с Мосей и с большими, шляпным товаром набитыми сундуками. В субботу богобоязливая Эсфирь Марковна Шмуклер с деточками сходила в синагогу — и начала торговать.

На новоселье первым пришел Арон Моисеевич Зелюк — жених Берточки. Арон Моисеевич Зелюк прибыл еще за год раньше и промышлял себе на хлеб описанием в местных газетах пожаров, смотров вольнопожарной дружины, отъездов и приездов высокопоставленных лиц и трогательных архиерейских богослужений. Вторым при-

шел Наум Соломонович Калгут и третьим — постовой городской Сидор Мушка. Городовому с новосельем дали рубль, обещали платить помесечно и закрыли за ним двери. Сидор Мушка на самом деле был Сидором Ивановичем Конёвым, но так как винишко ему шло впрок и Сидор Иванович бывал частенько под мухой, столь неподходящее прозвище прилипло к нему второй бородавкой на носу.

Уходя, Сидор Мушка благодарил за рубль хриплым и густым бурчанием нутра:

— Ежели что — покликайте... Спррравим!..

Сила у Мушки была знаменитая, рост — первый в городе, в кармане — веревочка. По Толчку много шляется пьяного и скандального люда. Мушка хватал в обхват и не умел разжимать рук. Попадало по двое — и на двоих хватало обхвата. Но тогда он тихонько и вежливенько взывал к глазевшему люду:

— Братцы, достаньте веревочку! Скрутить надобно. Боюсь опустить.

Отворачивая широкий полицейский карман, доставали веревочку. Мушка брал ее зубами, зубами распускал ее и, мотнув кверху, ловко вязал руки назад, упираясь коленами в спину пьянице аль загулявшему молодцу. Был Мушка трехпалый. Вез он в участок вора-скокаря, а тот, как кошка, шипел и рвался из рук. Мушка обозлился, ухватил его пальцами за щеку в зажим и оттянул щеку. Вор заорал, искривил рот, поймал пальцы — и два пальца отъел, изжевал. Правда, вор в участке и помер на другое утро, а двух пальцев с тех пор не доставало у Мушки. С тех пор Мушка и не разжимал рук с поперек, а на извозчика клал поперек на дно пролетки, садился сверху на серединку и наваливался на затылок в упор.

Гости на новоселье ходили по комнатам, осматривали, хвалили, размежевывали...

Бойко заторговала трудолюбивая Эсфирь Марковна Шмуклер.

— Ой! Как и к вам к лицу эта шляпка, дамочка! — говорила Эсфирь Марковна, всплескивая руками. — Если вы еще возьмете это эспри... и... эту очень даже замечательную ленточку... мы вам нашьем на тулейка... ой, какой будет вид и какая картинка! Берточка, пойдй в магазин!

Из-за темной занавески, висевшей в углу комнаты, с иглой в руках выходила черная кругленькая грудастая Берта.

— У Берточки ручки что-нибудь особенное!.. У Берточки ручки лучше машина! Она вам сию секундошка нашьет.

Перед зеркалом вертелась, примеряя шляпы, модница. Она не отнимала рук от головы. И было две женщины — высоких и стройных два сосуда с ручками — в магазине и в прозрачной ванне зеркала.

Подъезжали на извозчиках, на рысаках новые и новые покупательницы. Выходила тогда из-за занавески и Лия. На низком прилавке горбились раскрытые круглые бадейки картонок, четырехугольные картонные коробки. Эсфирь Марковна торопливо снимала и снимала с полок другие, сдергивала крышки, раскрывала синим, голубым, карим глазам оранжереи цветов и гамм.

— Ну, и разве можно лиловый променять на розовый? Розовый, это — фи! В городе Вене кремовые шляпы носят очень и очень даже благородные женщины! Лиечка вам покажет такие страусовые перья... каких нет-таки в городе Москве и в городе Париже... Вот вы только потрогайте, какой они выделка! Ах! Заезжайте, пожалуйста, на той неделе! Я привезу такой товар... вы и все будете ахать! И что вы говорите? Она будет носиться не один, а пара сезон!

Берта с Лией помогали примерять шляпы. Мося стоял за прилавком и получал деньги. Эсфирь Марковна отпускала товар.

В спокойное время, летом, Эсфирь Марковна глядела в окно на Сидора Мушку, — он стоял через площадь напротив, как второй электрический фонарь, — или выходила из магазина на лавочку подышать толчковским воздухом. Лия с Бертой работали за занавеской. С улицы видно было, как согнулись двумя кронштейнами две спины и не разгибались. Мося, скучая, стоял в дверях магазина, с большим носом, будто поставленная на ребро ладонь. На нем были модные начищенные ботинки, короткие брюки, а большой палец левой руки был засунут в маленький карман пиджачка.

Зимой леденела дверь, магазин заглохал, Эсфирь Марковна не показывалась на лавочке, Лия с Бертой не видны были за лампой, только Мося ходил в столо-

вую «Низок» за угол и в маленьких судках приносил обед.

— Вот они, жида, — говорил Сидор Мушка, — трудиться мастаки. И знают, выжиги, чем торговать. Да шляпа для городской бабы не знай чего дороже. Они ей на кумпол-то и прикладывают ведрышки с птицам... с хвостом... с цветом... Та, дура, подол винтом, задницей трясет, а на голове — дурость сидит. Жид любит дело чистое: он те не станет на посту стоять. Нашли дурака! Али там в дворники, в золотую команду, в водовозы... Он метит по торговой части. И гляди, как разживаются! Приедет он те в город — три булавки на прилавке. Свои так не оставят: мигом натааскают ему товару гору. Поддержка у них друг другу. Бегаёт он спервоначалу высуня язык, — ровно кто за ним с палкой гонится, — как муравей, из магазина в магазин разные штуки таскает... Потом чинно сядет за свое дело. И сидит. У кого дешевле товар? У жида. Наш пузан нос от тебя воротит: бери не бери товар, сказал цену — топором отрубил, характер выдерживает. А тот тебя улещивает, обхаживает, будто гладит по спинке, веры ему на волосок нет, потому жида жулье от рожденья, а товар навалит по дешевке. Тем и берут: оборот у него во какой, денег больше. У него деньги зря не лежат, не ржавеют: он их работать заставляет. У него деньги, как блохи, скачут из рук в руки. Наши купчики деньги в кадушки кладут, солят, ровно капусту. Зароет где-нибудь, будто клад в подвале. И покою нет: не украли бы? Где бы оборот — они лежат. А расход какой опять у жида? Кушает он с наперсток. Отчего только они толстые бывают? Насчет, прости господи, бабов — он закона своего боится. И кобелить ему некогда. Водку пьет только о своей жидовской Пасхе. И водка-то ненастоящая... Прозывается пейсаховкой: на пейсах, вишь, настаивают. Его вот чуждаются наши!.. А зря ругают. Он те хоть глазом и вертит: один глаз под шесток, а другой на восток, — с усмешкой бранное слово снесет от тебя, поможет тебе в горести лучше своего. К примеру, вот я... Приду когда: так и так. И рассказывать нечего: знает, что не шляпку на башку мне пялить надобно, а поедрёнее... Парнишка-то носач, в ящик рукой — юрк... и достает. И этак по-жидовски хрюкает: жалованье-де тебе, Мушка. Нет, что говорить, уваженья достойны и жида: по трудолюбию — первые. Так дело пойдет, за-

берут Россию в полон. По-моему бы, их из губернии в губернию посылать, которая губерния по торговле и по капиталу отстает. Как направили дело, наших посадить, а их гуртом на другое место. Большая бы польза получилась для государства! Изъездили бы так всю Россию, потом в одном каком месте зажать в кулак, похуже где, а то и выселить вовсе. Вот Шмуклерша, гляди, как кадило раздувает! Труже-ни-ки! И дело-то пустое — спина не заболит, а всего человека требует. Барышнишки-то с молодых лет не приучены к пустосмешкам — всё сами, вся семья зарабатывает хлеб. Скро-о-мно живут, от земли не видать! Газетчик один в сером пинжачонке бегаёт, тоже из жидов, жениться собирается на старшой-то, Берточке, деньги копят. У нас чем денег меньше, тем свадьба скорее — нищих плодят. Еще зубодер гостится, Калгут, по-ихнему значит серой кот. Все про себя и остается: не проживают, а наживают. Любят только в церковь свою ходить: синагога тоже ведь церковь, по-ихнему.

И шла от Мушки по городу добрая и тихая слава: живут, не мешают жида, торгуют «венским шиком».

И медленно, не торопясь переваливались зимы, лета. Генеральша Наседкина прибавляла в весе. Был с ней первый удар, — Кондратий Иванович знак дал, — и обошлось. Часовых и золотых дел мастер Буби-Козыри оказался фальшивомонетчиком. У губернатора жена сбежала с морожеником. Покривился новый дом на Прогонной: кирпич подрядчик поставил жульнический, непрокаленный. Умерла нищенка: в тряпье у нее нашли двадцать тысяч. На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях рабочие разбойника убили: не давал никому житья. И опять все тихо. Дуют ветра, восходит и закатывается солнце, пожарные выезжают по фальшивой тревоге вовремя и опаздывают на настоящие пожары, осенью воры воруют в погребах... На Рождестве и на Пасхе бывают два студенческих вечера, благотворительные базар и «лошадки». Студенты разъезжают по домам, по лавкам, по магазинам и развозят билеты. В среду и в пятницу, по постным дням, нахлынывает на Толчок деревенщина с луком, картошкой, капустой, овсом и рожью. Изю дня в день, изю дня в день со всех городских посадов и концов воют фабричные и заводские гудки да трезвонят колокола на островерхих колокольнях.

Эсфирь Марковна не успевала напастать товаров: ездила она за товарами с большим рыжим чемоданом в Москву, в Петербург, в Варшаву. Когда долго не ехала обратно, спрашивали о ней покупательницы, а Сидор Мушка выговаривал за долгую отлучку:

— Барышней-то уведут самоходкой. Разве можно на девку положиться? Арошка вон как финтит!

Весело отвечала Эсфирь Марковна:

— Вы очень замечательный и вы какой наблюдательный человек, Сидор Иванович! Вам надо давать угощение...

— Угощение оно... угощение,— смутился Сидор Мушка,— конечно, и стерегу я магазин, особливо ночью, ровно свой кошелек...

— Ой! Да как же и трудно вам живется на службе! — сочувствовала Эсфирь Марковна.— Деточки у вас есть?

— Не хотишь ли — уступлю... отбавлю? Ребята первый сорт. Жанатые есть. Последыш малец... заскребыш... с голым брюхом лужи меряет...

— Ах, ему надо гостинчиков!.. Вы заходите в магазин и получайте маленький подарок от меня вашему ребенку!

— Хо-хо! С нашим одолжением. Благодарствовать не устанем за ласку. Вот подрастет парень, отдам к тебе в мальчики... там... на посылках бегать... А то все Моисей сам мостовую топчет... Кардонки по всему городу, будто рассыльный, разносит...

— Ах, у нас столько заказа! Самые благородные дома берут «венский шик». На квартиру носит.

— С уваженьем — это лучше. Публика за уваженье и не надо — возьмет лишнюю шляпёнку.

Приходили товары на товарную станцию — Мося с накладной ехал выкупать. Возвращался Мося с ящиками, сидя на возу с ломовиком и глядя вдоль кривых улиц по высокому тыну своего носа.

— Моисей Захарыч, есть новенькие? — кричала в окно горничная генеральши Наседкиной.

— Не без того!.. — сумрачно отвечал Мося.— Мамаша наша со всеми фирмами знакома. Мамаша из-под земли достанет.

— Ах как интересно! Дамочкам опять разор! Поглядеть бы, какие они, новенькие-то! Этакие... с кочками... со страусовым хвостом... больно хороши!

За окнами, внутри, взвизгивали одна-другая собачонка. Большой пудель прыгал на окно и показывал свою морду рядом с горничной.

Недовольно говорила горничная:

— Пошел, Пушок! Марш на место. Не велено... не велено!

Горничная сталкивала пуделя вовнутрь комнат и снова обращалась к Мося.

У Моси тек с носа-ладошки пот. Он возился с ящиками, помогая снимать с валька, он шел в магазин за ящиком, поддерживая его на спине у ломовика.

— Отчего они такие тяжелые? — спрашивала горничная. — Шляпа и вся-то весит золотник.

Мося небрежно бурчал:

— Галантерея незаметный, а очень тяжелый товар. Каркас... ленточки... Каркас тяжелый... И всякий покупка. Тут шляпа на закрышку.

Ломовик, косясь на окно, пренебрежительно к горничной и поддакивая услужливо хозяину, тянул:

— Им легко носить одну-две ленты, а... намотай на себя ленты со всего города, какая будет тягость! Закашляешь себе!..

— Отстань, отстань, Пушок! Нельзя на улицу! — сердито грозила голосом горничная, оборачивалась и отталкивала прыгавшего на нее сзади пуделя. — Мешаешь слушать... Что вы, Моисей Захарыч?

Мося шутил:

— Почему вы собаке мешаете смотреть на наш товар?

— Ах! — смеялась шутке горничная. — Барыня боится: не выскочила бы Пушок из окна и не связалась с чужими собаками.

— Ну и что же тогда будет?

— Сами знаете... что...

— Собака побегает — и прибежит домой. Я больше ничего не знаю. Собака так умна, чтобы не уходить от хорошего хозяина.

— Она... породу испортит... принесет другой породы щенят.

Горничная стыдливо закрывалась рукой.

— А... так, — лукаво шевелил носом Мося. — Вот отчего Пушок сидит в неволе!

И, встряхнув руками, вынося ломовику деньги за перевозку, Мося спрашивал:

— Почему вы сегодня гуляете на окошке? Разве нет дома генеральши?

— На крестины поехала к племяннику. Нам и простор.

— И чего вы делаете, когда нет генеральши?

Горничная весело фыркнула:

— Собак стерегу, чтобы не разбежались... да на вас гляжу...

— И что вы на меня глядите? И что вы во мне видите?

— Что надо, то и вижу.

Мося довольно ухмылялся, поднимал высоко кверху нос и еще спрашивал:

— А где же половинка генеральши?

— И приживалка уехала,— злобилась глазами и голосом горничная.— Приживалка и ребенка будет держать. Барыню только в книге запишут. Будь дома приживалка, не погуляла бы и на окошке я. Ха-ха! Какой вы занятой, Моисей Захарыч! Вот... какой занятой... и не передашь! Ха-ха!

— А вы очень беленькая и... очень даже беленькая!

— Ха-ха! — весело звенел голос горничной.— А ну вас совсем!..

Горничная скрывалась за шторами. Мося, как рубил воздух своим носом, опускал голову, хитро улыбался под ресницами и уходил в магазин.

Эсфирь Марковна Шмуклер, как поднимался и поднимался доходами «Венский шик», часто и помногу пересылала подарки бедным своим родственникам в Лодзь, в Бердичев, а в столицы отвозила сама.

— Вы знаете,— говорила она генеральше Наседкиной, уплачивая ей аренду и дожидаясь, когда та напишет расписку, а потом будет долго считать деньги и разглядывать их на свет в фисташковом своем кабинете с большой фотографией генерала Наседкина на стене и картиной огромного бульдога с красными глазами на другой,— мы, евреи, очень большой жалость имеем ко всякой бедность... Ай, сколько я посылаю селедочков и мануфактур за черту! Помогаю я, помогут мне. Так денег и мало, ой как мало!

Урчала генеральша глухим голосом:

— У кого и деньги, как не у вас? Евреи и в Америке все банки захватили. У каждого еврея в Америке есть дядя-банкир.

Эсфирь Марковна улыбалась на дрожавшую жирную руку генеральши и на широкое, отсыревшее от натуги писания лицо.

— Евреи плодятся, как кролики,— глушила генеральша,— поневоле будешь посылать. У вас, наверно, по всей черте оседлости сидят Шмуклеры?

— Ах,— вздыхала Эсфирь Марковна,— очень-очень много. И в Москве, и в городе Петербурге.

Генеральша разглаживала деньги на книге, принимала к ним подслеповатыми глазками и вертела деньги на свету. Недоумевающе она говорила:

— В столицы евреев не пускают... Они и туда умеют проникать. Мы беднеем год от году, а вы богатеете. Вот дом-то пока генеральши Наседкиной, а потом, пожалуй, будет мадам Шмуклер. Племяннички, как кукушки, у меня: своего гнезда не выют.

— Как это плохо и печально!

— Печалься не печалься, с собой дома не унесу.

Генеральша снова переглядела все деньги, пересчитала, придавила чугунным пресс-бюваром на книге и вопросительно наклонилась к Эсфирь Марковне:

— Фальшивок, кажется, нет?

— Как можно! — воскликнула Эсфирь Марковна.— Мося получил в банке!

— Ого! — удивилась генеральша.— У вас деньги в банке лежат?

Эсфирь Марковна шевельнула рукой по воздуху и сладко сказала:

— Немножко... Немножечко!

— А у меня ни шиша! — насмешливо бросила генеральша и начала трудно вставать с кресла.— Следующую аренду не задержите. Условие разорву за три минуты просрочки. И неустойку возьму сполна. Этот... как его... зубное здоровье... дешево снял... облапошил!

— Какая цена! Какая цена! — в ужасе шептала Эсфирь Марковна.— Дороже всех торговцев плачу! И помещение не совсем-таки... Широ. Берточка кашляет... У Моси ножки зябнут...

Генеральша загромыхала хохотом, наступая на уходящую с поклонами Эсфирь Марковну:

— Не сбавлю... не сбавлю... Меня, мать моя, не разжалобишь! Генералы жили, холодно не было, ножки не зябли, порода понежнее... Ха-ха! Хо-хо! Будь здорова! Ах, да! Вот... запаматовала я... про столицы говорили...

слыхала я... будто еврейки-курсистки, чтобы в столице жить, билеты желтые берут на проститутток... И на осмотры ходят как проститутки. Хо-хо! А сами девственницы. Ха-ха!

— О, да! О, да! — сказала резко Эсфирь Марковна. — И этот позор есть для евреев!

— Цеп-ка-я нация! — пренебрежительно поморщилась генеральша. — Ха-ха!

Вдруг нежнейшим шепотом позвала генеральша Пушка, отвернувшись от Эсфирь Марковны:

— Пупсенька, Пупсенька, ангельчик мой, пойдй сюда! Ну, да пойдй же сюда, славный!

Пушок, выгибая спину, выставяя вперед передние лапы, радостно вильнул хвостом, лайкнул и закружился вокруг широкого колокола-платья генеральши.

Изредка Шмуклеры с Арошей Зелюк, с супругами Қалгут ходили в театр и покупали ложу в складчину.

Мося был домосед и не ходил в театр. Берта с Арошей гуляли в антракте по фойе. Берта подрагивала кругляшками низких бедер, широко выходявших за платье, и весело смеялась. Ароша, тоненький и щуплый, вертелся зайчиком и наклонялся шепотом к ее багровому уху. Сзади прогуливались остальные Шмуклеры и Қалгуты.

Когда приезжали на гастроли знаменитые братья Рафаил и Роберт Адельгеймы, ставили «Уриэль Акосту», «Қина», «Отелло», «Разбойников», в театре сверху до низу сидели евреи. Будто яблоня в яблоках, краснели девичьи щеки, и Берта с Лией плакали. На Адельгеймах к Шмуклерам Ароша и подвел высокого студента, как большой-большой ржаной сноп:

— Это вот Алеша Уханов. Я говорил вам.

Лии пришлось подать руку последней, и она покраснела, когда глаза наткнулись, остановились друг в друге и скозились в разные стороны, нелегко отрываясь.

В антракте Алеша смешил и Берту и Лию прибаутками, веселыми рассказами, просто и легко брал Лию под руку, будто знал ее так давно, как Ароша знал Берту. И Лия думала, глядя на сцену после звонка, что она никогда не слыхала такого колокольчатого милого смеха, каким смеялся Алеша Уханов.

У магазина Эсфирь Марковна сказала Арону:

— Он очень любит смеяться! И он очень молод! Арон, вы хорошо его знаете?

— Как сам самого себя!

Ароша с Бертой, Лия с Алешей с тех пор часто ходили гулять на Прогонную улицу, на бульвары. И куда шли, на них падали, будто с высоты, певучие птицы, вились столбиками и звонили-звонили-звонили дрожащим голосом Алеши.

Сидор Мушка глядел вслед парам, постукивал на морозе рукавицами и делал под башлыком хитрое, самодовольное лицо:

— Хе-хе! Шмуклерша в гору идет! Сын городского головы, шутка ли, знакомство водит! Девки день и ночь трудятся, а вот... свела же... протобестия, нашла лазейку! Ух, жида эти и мозгачи! Сорвет парень ягодку али не сорвет?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Савва, он же Чубук, он же Иван Иванович, никогда не спал тем настоящим и обыкновенным сном, с закрытыми плотно глазами, с похрапыванием и свистом в безмятежном носу, со стоящими у кровати ботинками и висящими на спинке стула брюками и пиджачком, каким спал город, когда приходило время спать. Савва не любил белой раскрытой постели. Он притыкался на кресле, на лавке, на половике, на сене, на ходу, не раздеваясь и не снимая ботинок.

Днем, когда было лето, и когда было нужно, и когда было можно, Савва уходил за город, за Чарыму, в места безлюдные, в заброшенный кирпичный завод, раздевался там и мылся в Чарыме. Иногда он не мог побороть сна. Глаза кто-то сильнее его закрывал сразу. Савва перемогался — и не перемогал. Тогда он отсыпался. Голова свежела. И хотелось радоваться, и хотелось смеяться на потяготу тела. Просыпался от страха, вскакивал рывком на ноги. Он слышал голоса, но вокруг было безлюдно. Он успокоенно садился на землю и не торопясь одевался. Приходил он на Чарыму с узелком в газетной бумаге, менял белье и заворачивал в газету грязное.

Часто была гонка. Унюхав его след, сыщики шли по пятам. Савва кружил по улицам, по переулкам, по проходным дворам, перелезал через заборы, входил в дома, прятался под мостами, пока не уходил от сыщи-

ков. И вместе с ним скрывался, и прятался, и кружил узелок с бельем. Запоздно он заносил его к Никите. Оттуда брал узелок Сережка, и мать Сережки стирала белье.

Был еще портной Янкель Брук. Жил он на заднем дворе, в старой бане на Золотухе. Пробирался и туда Савва со своим узелком.

— А! Вы принесли материал! — говорил Янкель, пряча свои глаза от мастеров. — Очень хорошо. С примеркой я приду сам. Мы еще не начинали шить, но вы, пожалуйста, будьте покойны: бруки будут на вас как вкопанный...

Узелок и связывал и мешал. Хотелось швырнуть его от себя в канаву, хотелось подкинуть к забору, но у Саввы никогда не было столько денег, чтобы покупать новое белье и швыряться старым.

Зимами приходилось трудно. Мерз в легком осеннем пальто. Не мылся месяцами. Оставлял на ночевках после себя насекомых. Было стыдно и горько ловить гадливые испуганные взгляды чистеньких, накрахмаленных, с белыми пухлыми руками адвокатов, докторов, литераторов. Ночевал у рабочих. И там давали гребень, стригли, кипятили самовар... Сидел за перегородкой голый, а на кухне рядом стирали черное, просаленное, завшивевшее белье. Бабы шутили, шаркая белье в корыте:

— Чеши на заслонку. Упадет вша — и позвонит.

— Копайся знай! — покрикивал рабочий. — Не лето теперь голышом сидеть. Суши в печке скорее верхнее.

Жарили в печке брюки и пиджачок. Савва надевал на голое тело калёную одежду и весело смеялся: тело млело в тепле и переставало чесаться.

Выходил, оглядывая улицу, из ворот. Прослеживали... Скрывался обратно, наблюдал в щель, будто влезая в нее, пережидал...

Савва знал и помнил каждый изворот улицы, проходные дворы, полицейские будки, сыскное, жандармское, посты сыщиков, знал сыщиков по лицам, по походке, по смене одежды, по той особой, неповторимой ухватке ходить и носить в глазу ловучий огонь. Лишь закрывал глаза, Савва помнил все явки, имена и прозвища товарищей, помнил адреса нужных квартир в столицах, а там — новые явки явок, новые имена и прозвища... Настороже, таясь домов, людей, деревьев, охранял и измерял каждый свой шаг, оберегал явки, терял связи

и налаживал их, попадал в ночные засады и облавы, прятался на крышах, в дымовых трубах, на чердаках, в собачьих будках, за помойками и колодцами, подлезал на животе в подворотни, замерзал в сугробах, выступал на кружках, на массовках, пробегал десятки верст с сухим и шершавым от жажды языком.

И так Савва жил неделями, месяцами, годами...

Приходило внезапно изнеможение. Уходил от сыщиков — и вдруг останавливался. Хотелось спать, хотелось пойти им навстречу и сложить назад руки, чтобы больно и крепко скрутили, отвели и, главное, дали уснуть-уснуть-уснуть, и, главное, не прятаться ни от кого, не вертеть головой направо и налево и не уставать вытянутыми жилами на шее, не думать, не чувствовать, спать-спать-спать...

Сыщики бежали стремглав. Кидал на них последний острый взгляд — и сердце вскакивало, выпрыгивало из груди, толкало-толкало-толкало вперед, не давался... Жажда уйти сменяла усталость — и он уносился Саввой, Чубуком, Иваном Ивановичем.

Уходил и смеялся, передыхая от погони в безопасном месте, вытирал липкий, мокрый, усталый пот.

Ночью он лежал, приткнувшись на диване в богатой и роскошной квартире. И не мог закрыть глаз. От недосыпа приходила бессонница. Проклятые, золотистыми цветами, обои приковывали глаза, дразнили и кололи, вдыхал запах кожаной мебели, духов, цветов — и не было нужного чудесного сонного вина. Каждый городской камень сторожил Савву, — сон давал изворотливость, хитрость, проворство, — глаза не закрывались.

Как висячий желтый фонарь на ветру, Савва подрагивал на ногах и сипло, подолгу говорил на массовках, на кружках, на собраниях, слушал тугим ухом, хрипло кричал, морщился, а потом снова уводил сыщиков от товарищей, тщетно искал приюта на ночь, хранил безопасность спавших в укромных местах складов литературы, оружия, техники...

В шесть утра он слушал фабричные и заводские гудки... Иваны, Петры, Сидоры, Марьи всплывали разом в отягченном, усталом мозгу, вспоминались лица, волосы, улыбки, скрюченные большие руки с твердой кожей, сигарки, бороды... Савва снова собирал для себя кружки, массовки, собрания и говорил, в секунды укладывая сказанное часами, высеченное, как на камне, такими

мелкими-мелкими-мелкими бисерными строчками. Так... так... так...— была кровь в настороженной голове. Савва видел, как протянулись к нему телеграфные провода от фабрик и заводов, изо всех улиц города, с задних дворов, из особняков, а повыше, над городом, на высоких фабричных трубах, провода шли со всей России. И провода оглушительно, звонко, уныло гудели в ушах. Он хватал их руками, они ускользали, обрывались, он, как телеграфист, работал на клавиатуре... торопился... не успевал... В бреду, будя хозяев, Савва просыпался, а пальцы все еще суетились и колотились по подушке.

Пил жадно и ненасытимо воду, морщась от липкой и душной испарины, косил глаза на белевшие окна и ждал дня. Савва вскакивал, искал бумагу, карандаши, присаживался к столу и быстро, давя грудь о стол, писал на одной стороне листа, ровно, четко отставляя букву от буквы.

Резко рвалась боль в сердце, закусывал губы и... переживал, когда боль утихнет и когда остынут вдруг вспыхнувшие щеки.

И опять трусил по улицам неделями, месяцами, годами...

Савва сваливался... Тогда в ночь он шел к первой загородной станции, садился в поезд и уезжал... Там, в маленьком городишке, в гостинице, Савва отсыпался, отдыхал... Ночами валились на него листы железа с высоты, он закрывал голову от них, а они, выгибаясь, летели-летели-летели, шаркаясь около головы железным скрежетом,— и будили. Савва привык к однообразному железному сну. Был и другой сон — и к нему привык Савва. Гнались за ним солдаты, улица узилась, из калиток, из ворот выходили дворники в красных рубахах, в жилетках поверх, рубахи казались короткими юбками, дворники показывали на него длинными колючими пальцами. Пальцы доставали его, перегораживали дорогу и смыкались впереди. Савва бежал, а пальцы заострялись стальными наконечниками, трехгранными иглами штыков. Тут вырастал полосатый верстовой столб, а на столбе белела деревянная дощечка, а на дощечке черными дырками букв глядело окно: «Л е н а». Савва просыпался. Сибирь всплывала в снегах, в тюрьмах, в густых тынах тюрем, в широких рукавах Владимирки, как Волга у Каспия, растекшихся за Уралом. Савва помнил дорогу страшную и трудную под звон кандалный туда, дорогу

узкую, звериную, свободную оттуда... Сны о ней повторялись...

Савва возвращался обратно. На вокзале выходил из вагона бритый, неузнаваемый человек с маленьким саквояжем, в синих очках, с тросточкой, проходил мимо стерегущих глаз сыщиков и спокойно садился на извозчика.

Савва снимал комнату на людной улице и переставал быть Саввой, Чубуком, Иван Ивановичем. В комнате жил солидный господин, живущий на проценты с капитала, любитель моциона, театра, цирка, обедающий по ресторанам и увеселительным заведениям, иногда ночующий не дома и приезжавший изредка навеселе утром с дамами.

Бессрочный паспорт с полицейскими пометками возвращался из участка. На втором, на третьем месяце солидный господин исчезал. Квартирная хозяйка находила на столе деньги за квартиру. В ночь полиция и жандармы оцепляли дом. В комнату входили с обыском, рыли, поднимали полы, обдирали обои... На подоконниках, на косяках, слезя глаза, мучились прочитав кем-то написанные неразборчивые слова. Карандаш стерся, обпылел, выцвел — и глаза у чтецов плакали, краснели натугой. Обыскивали квартиру, весь дом... Городовой из дворницкой звонил по начальству. Входили и выходили жильцы: их поворачивали, загоняли в одну квартиру. В постелях заставляли любовников, рогатых мужей, проституток, воров, растратчиков, банкротов, сбежавших от долгового отделения... Находили веселые картинки: продавали картинки в городе из-под полы. Снимали со стен открытку с орлом, вырывавшим у девушки с обезумевшими глазами книгу с надписью «Закон». Укладывали в мешки портреты Байрона, Шиллера, принимая их за портреты Желябова, Софии Перовской. Срывали со стен «Остров мертвых» Бёклина. Раскрывали книги с закладками, прочитывали благонадежные места и уносили книги в красных переплетах. А Саввы не было.

Захватив с собой рыдавшую хозяйку, оставляли в квартире засаду. Сыщики кружили по всему кварталу и долго потом шаркали по мостовым настойчиво, бесплодно. И с тех пор жильцы в страхе замечали, как долго некий провожатый сопровождал им в отдалении, отучивая выходить из квартир. Как обыскивали, пристав оглядывал с ног до головы, записывал в маленькую

книжечку брюнетов и всякой другой масти, где в квартирах находили книги и картины.

Немногие выдерживали сопутствующего человека, шли в участок и просили освободить, клянясь в патриотизме. Пристав разводил руками и таинственно говорил:

— Не в силах! На то высшее распоряжение начальства! — И успокоительно добавлял: — Вы-ы-нуждены! Враг подтачивает... Попробуйте... в жандармское отделение!..

Пугаясь жандармского отделения, отшатывались назад, сочили сердце муками негодования, обиды, страха... А сыщик оберегал, остерегал, заглядывал через кухню к предосудительному патриоту.

Савва укрывался. И снова к нему тянулись телеграфные провода от фабрик, от заводов, от явок, от кружков, от дальних и близких городов. Он не спал, не мылся, вшивел, голодал, хрипел от собраний, споров, речей, бесновался от провалов, ожесточался, застёганной клячей трусил по окраинам, заводил новые связи, связи трудные, опасные, ровкие...

Медленно и вяло дымили фабрики и заводы... И катился от них ровный, уверенный гул по окраинам. Савва скучал, сомневался... А иногда Савва издали видел, как выходили рабочие из ворот, из проходных будок, из калиток, звонко шумели, толкались, бежали друг за другом, подставляли ножки, кидались зимой снегом, летом катались в борьбе на придорожном лужке... Тогда и он молчаливо кидался снегом, боролся, кричал, пробегал проходные будки, скрипевшие калитки и широкие рты ворот с темно-рыжими корпусами, горами рваного железа, хлопковых куч и ящиков за ними.

И на смотре первого мая, когда первый раз праздновали маевку, он видел красное знамя, такое детское, маленькое, кусок девичьей красной ленты, — а оно вырвалось головней над Прогонной улицей. Савва задрожал, проглотил слюну, лицо вдруг состарилось, передвинулось, искосилось, он отвернул глаза на забор, замигал часто и влажно. Потом наскочили драгуны... И как проливные дождевые струи, засверкали над головами шашки. Савва побежал вместе с другими, а лицо растерянно и счастливо плавало несходящей улыбкой.

Он ждал: от того радостного года первомайский праздник, — единственный праздник в году, — пробирался

на Прогонную через все кордоны и пикеты сыщиков, жандармов, солдатни... Прогонная все густела и густела...

И когда в один год заперли Прогонную со всех сторон, рабочие длинными черными колоннами, как многие составы вечерних поездов, развернулись и пошли по бульварам. Шли по бульварам — и пели. Савва первый раз слышал, как умели рабочие ворочать тяжелые колокола песни:

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный,
Раздайся, крик мести народной!
Вперед! Вперед! Вперед!

Сыскоса, из-за заборов, коснули тяжелые ливни пуль... Закрошилась белая береза, забились напротив звонкие стекла в рамах, задырявели, плеснулись вбок на перила рабочие составы поездов, закутермились тысячи плетучих ног и рук, хлынули по бульварам открытые плотины убежавшего люда, легли на выгнутые колеса бульварных аллей другие, и подымались головы, и бились о землю, прижатые ливнем. Савва задумчиво говорил сам с собой, покачивая и укладывая простреленную ногу у Никиты на Погосте:

— А идет! А идет!

И опять начались те же неверные, обманчивые будни. Чаше и чаще не слушалось Саввы разбухшее под левым соском сердце. Оно вываливалось в подмышку припухлым мешочком и отстраняло от тела левую руку. Сердце вдруг переворачивалось в груди и кидалось в голову комками крови, названивало в ушах далеким звоном с островерхих колоколен. А главное, оно мешало ходить. Савва застревал на заборах, сваливался с них и не мог встать, отползал в бурьяны, лопухи. Сыщики ходили рядом, а он пригибал к земле голову. И глаза всплывали обидными лужицами слез.

Сердце ненадолго уgomонялось. Савва опять кружил, неся легкое бремя любимых забот и тревог, неделями, месяцами, годами...

И не доносил.

Июльский зной был как костер: палило сверху, палило снизу. Сверху наклонялось на грудь и тяжело дышало рыжее, плавкое солнце — львиная голова с огненной бородой:

Рыжий красного спросил:
«Где ты бороду красил?» —
«Я на солнышке лежал,
Красной бородой дрожал!»

А снизу пыль лежала густая, зола-перекаль, пылила, порошила горячим паром, обдувала Савву под брюки, под рубашку, осаживалась на шее жгучими каплями солнечных рос.

В гостинице «Золотой якорь» остановился коммивояжер завода «Шарикоподшипник». Он внес в номер маленький чемодан и футляр с мандолиной. В первый день коммивояжер выходил и вернулся поздно домой: бегливая, настойчивая работа коммивояжерство! И не играл на мандолине: все коммивояжеры очень любили играть на мандолинах. Утром он долго не вставал, с завязанным горлом пил чай — и опять лег.

Сердце у Саввы лезло в подмышку, грудь теснило и распирало. Будто хотели разорваться ребра и не могли совладать с прилипшей тягучей кожей. В горле стоял толстый храк и замком запирал дыхание.

«Лежать... лежать,— переваливались мысли,— надо отлежаться... тогда пройдет».

Лакей тревожно заглядывал в двери.

Савва поманил его рукой, одними пальцами, и прохрипел:

— Доктора... не зовите. Это припадок... Это пройдет само... Завтра встану.

Лакей сочувствовал:

— Служба ваша аховая: как собака бегай, предлагай товары!

Савва насильно улыбнулся.

Ночью он держался застывшими руками за кровать, отгибал голову на подушке, пережидая редкое и болезненное дыхание. Сердце то стучало колотушкой и поднимало левый сосок мелкой и сильной дробью, то замирало ная... И тогда холодная зимняя вода катилась по телу, замораживала, заледеневала...

Савва думал: «Как долго длится припадок? Неужели это — смерть? И я... умру?»

Забывшие и затишья сменялись кашлем, хрипом, клочущим в горле горячим воздухом, бившимся в раскрытом подавившемся рту. В забывании повторялись сны старые, привычные, пугающие. И еще тяжелей, невыносимей было просыпаться от них и корчиться в золотом электрическом свете. Нога свалилась с кровати... Ей было холодно. Но Савва не мог отделить ее от пола.

Время ночное — как долгий путь в темноте. Савва все шел-шел-шел — и не мог дойти.

И вдруг в уши ему звонко, переливчато, с перебоем ударил звон. Он раскрыл глаза, пошевелил пальцами, легко и свободно вздохнул, понял: звонили к обедне у Афанасия Александрийского на Сенной. Коридор проснулся. Лакеи стучали чайниками. На подносах дребезжали и стеклянно звенькали стаканы. Шаг лакейский — торопкий, шаркающий — мешался с шагом грузным, приземляющим, богатым шагом...

Савва сел на кровати — и тогда снова перекувырнулось проснувшееся сердце, завозилось в клетке большой запертой птицей, затрещало, и замахало, и забило птичьими крыльями. Савва обессилел и вытянулся в удушье.

Очнулся он на полу. И опять звонили жидким звоном у Афанасия Александрийского на Сенной. Савва понял: звонили ко всенощной. Он поднес к глазам руки — и вдруг заметил посиневшие голубикой ногти.

Савва осторожно поднялся на ноги, прошелся по комнате, задохся, не веря, боясь своих шагов, и стал медленно одеваться.

Держась за перильца, Савва спустился по лестнице, вышел на Сенную площадь и заковылял поперек.

Савва огляделся у калитки желтенького дома на Козлёне. По пустой улице везли на дрогах в низких плетеных корзинах поросят. Поросята визжали и высовывали мордочки в дырки между прутьев, толкали и качали корзины. Савва сморщился от боли, качнулся, выпрямился испуганно и позвонил.

— Зелюк, — тихо сказал Савва в угловой маленькой комнатушке, — я, кажется, умираю... Сердце... Я в «Золотом якоре». Следи... Когда умру, сообщи в областной комитет. Пускай посылают другого. Береги технику...

Зелюк засуетился, забегал по комнате, усаживал на стул опухшего и одряблевшего Савву. У него дрожали большие красные губы, глаза отчаянно бегали на гипсе лица.

Савва дрогнул голосом:

— Прощай, Арон! Кланяйся ребятам... всем. Хвоста не было за мной...

Они обнялись и поцеловались. Зелюк забормотал:

— Савва... Савва... оставайся... у меня... я... провожу тебя...

Савва укоризненно покачал головой и пошел, трудно передвигая ноги. Зелюк кинулся на кровать, свернулся

калачиком и закрыл голову подушкой. Подушка покачивалась и пищала жалобным тоненьким плачем.

Ночью Савва умер.

Зелюк с утра сидел в Пушкинском сквере напротив «Золотого якоря». На широкой площадке, окруженной широколопастными, подрезанными, как огромные шапки-боярки, вязами, дети водили хоровод.

Маленький, будто кролик, мальчик тихо запевал:

Как у наших у ворот
Муха песенки поет,
Муха песенки поет,
Комар музыку ведет.
Ай-люли, ай-люли!

И хор подхватывал с восторгом, с печалью:

Комар музыку ведет...

Зелюк вслушался, не мог оторвать глаз: ему было не по себе. А мальчик поднимался голосом кверху, как по ступенькам:

Стрекоза плясать пошла,
Муравья с собой звала:
«Муравейка, милый мой,
Попляши-ка ты со мной!
Ай-люли, милый мой!»

Зелюк положил рядом на скамейку книгу. И как быстро он захлопывал ее, упала сверху капля и брызнула от книги обратно в глаза.

Мальчик звонко, как сыпались серебряные деньги на плиты, тосковал:

«Я и рад бы поплясать,
Да уж очень я устал.
Ай-люли, я устал!
Всё соломинку таскал
Из подвала в сеновал».

Хор забрызгал, заплескался печальным припевом:

Ай-люли, в сеновал...

Дети молча завертелись, вытягивая друг у друга ручонки, медленно перешли к широкому усталому шагу, дрогнули на месте, как останавливаются карусели, передернулись раз-другой и вкопались в песок. Мальчик-запевала засеменял ножками из круга, вытирая потные щеки. Зелюк больше не смотрел и тер настойчиво и больно переносицу, проёзжая рукой на закрывавшиеся веки.

У парадных дверей «Золотого якоря» привалились к столбам сыщики. Прошел внутрь наряд городских. Потом подъехала с красным крестом карета. Потом широко раскрылись двери. Двое городских выскочили из дверей, отогнули полотнища к стене и держали их. Савву, прикрытого пальто, вынесли на носилках, положили на мостовую, перехватились руками и стали вкладывать в карету. Собирался люд. Подъезжали извозчики с биржи, подхлестывая лошадей.

Городовые отгоняли.

Карета отъехала. Городовые вошли обратно в здание. Зелюк подумал: «За-са-да» — и улыбнулся горько. Площадь пустела. В Пушкинский сквер вошли два сыщика и сели в крайней аллее за сквозной решеткой.

Тут Зелюк заметил недалеко от себя: за толстокомлевым вязом сидел человек и насмешливо косил на него один глаз. Зелюк принужденно зевнул, потянулся, взял книгу и близко подошел к хороводу. Зелюк постоял, скучая, скользнул глазами в жадные глаза сыщика и вышел на площадь.

— Вон куда забрался,— слышал Зелюк разговор извозчиков.— Дело, видно, замышлял какое... да смерть и настигла.

— Смерть, она не разбирает ни дня, ни часу!..

— Продувные эти бестии — сицилисты!

— Везешь вот другой раз барина... Кто его знает, может... может, в кармане у него бомба... Шарахнет сзади... и кон-че-но!..

— Что ему дался извозчик — министр какой? Это ты зря. Я скажу тебе, они простой народ не трогают...

Зелюк шел не оглядываясь и вел за собой сыщика.

Ночью колыхалась и жалобно пищала подушка в желтом домишке на Козлёне и красные маленькие глазки глядели упорно, сиротливо в тихую темноту.

На смену Савве приехал Иван, он же Волк, он же Лука Будкин.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Упала лампада на проржавевшей цепи в спальне генеральши Наседкиной. Лизнуло шторы, обои, мягкое — и заполыхало! И потекла красная плавь по паркетным полам, под плинтуса, под переборки, открыла внутрен-

ние двери, проглотила портьеры — и заохала по комнатам большими красными кострами, затрещала сухо, отчетливо, неумолкаемо. Собаки подняли лай, кидались в окна. Кошки заняли на подоконниках. Горничные выскочили с криком на улицу.

Тут Сидор Мушка, дремавший у будки на лавке, раскрыл глаза и увидел на месте дома генеральши Наседкиной огромный красный фонтан. Забили в набат. На каланче вертелся фонарь. Через площадь бежал люд, запинаясь, падал, вставал — и бежал снова. Мушка кинулся в будку, затопал оттуда с медной трубой — и затрубил тревогу. Соседи генеральши Наседкиной вытаскивали вещи через окна и двери и складывали на площади. Из улиц, выходивших на Толчок, вынеслись с факелами пожарные-верховые и подскакали к пожару. Погодя загревели пожарные дроги, лестницы, багры — и медные, покрасневшие щеками пожарные машины выкатили на площадь. На огонь сразу бросились с рукавами, лестницами, баграми. Коромысла пожарных машин ковылялись, как ковыляются лодки на валом расходившемся Чарыме, как ковыляются зимние обозы на переносных снегами дорогах.

Генеральша Наседкина приехала из гостей, не могла выйти из экипажа и на всю площадь закричала:

— Пупсенька! Пупсенька! Где мой Пупсенька? Дайте мне моего Пупсеньку!

И заплакала, и развалилась, как тесто, вылезшее из квашни, на руках приживалки.

Извозчик поглядывал то на пожар, то на плакавшую генеральшу Наседкину, ерзал на сиденье. И потом несмело сказал:

— Мы ночные... Нам некогда. Деньги за конец пожалуйста!

Извозчика не слышали. Он недовольно повернулся с сиденья и бурчал:

— До того ли, конечно... добра сгорела груда. А мы тут ни при чем. На чужую беду жалобно, конечно... А без денег как же возить? Барыня, а, барыня?

— Пупсенька! — выла генеральша Наседкина.

— Деньги давай! — осмелел и рассердился извозчик. — О собаке печаль, а человеку убыток делаешь! Рассчитывайся, говорят! Ездока прокараулю. Чего там канителишься? Мы не от богатства ночки на воздухе проводим... и не по охотке какой!..

Генеральша Наседкина взвизгнула приживалке:

— Отдай, отдай этому... И помоги мне выйти. Пупсенька!

Приживалка зашипела, швырнула извозчику деньги и помогла генеральше выйти. Извозчик пересчитал деньги, снял шляпу и тронул лошадь.

— Покорнейше благодарю, барыня, — серьезно и спокойно сказал извозчик.

Генеральше подали стул из груды наваленных соседских вещей. Генеральша плакала и взывала.

Осуждающее проскрипел извозчик, отъезжая:

— Заладила одно и то же! Как насадка, на самом деле! О собаке убивается: «Кво-кво-кво!»

Рукава, извиваясь, ползли по земле, поднимали на огонь медные горла и шипели белыми выстрелами клокотавшей воды. Огонь пил воду пересохшими губами — и его не могли напоить. Он захлебывался в одном окне, откидывался назад, словно опрокинутый толчком, а в другом окне он лез вон, выпячивал большую красную грудь — и рябиновые волосы, вставшие дыбом, подпирали крышу.

— Людей нет ли? Людей нет ли? — кричали на площади.

Пожарные подставляли к окнам лестницы — царапали закопченную опушку дома. Люд перебежал с места на место, вытаскивал вещи, качал машину, подхватывал багры, распрямлял рукава. Уставали одни, подбегали другие. Лишь поодаль стоял лесной темной опушкой люд равнодушный, неподвижный, жадно глядевший на пожар. Ему махали руками, звали его помогать, но на лесной опушке глаза не видели, отворачивались, а ноги переминались на месте и будто устали ходить.

Прогромыхали все пожарные части и прыгнули на огонь, поливая мутной желтой водой крепнувшее пламя.

Тут только вдруг все заметили сиявший в огне золотобуквенный пряник вывески «Венский шик».

Бывают такие беспробудные долгие сны, когда снятся человеку пожары, и не торопится он пробудиться. За закрытыми глазами снуют у него пожарные, топчется люд, скрипят багры и рубят топоры, а в рот и в ноздри уже заползает едкая серая гарь.

Эсфирь Марковна Шмуклер вскочила на кровати. В красной комнате не было стен, потолка, а только кру-

тился и завивался под потолком, у стен, как пыль на дороге, подкрашенный огнем дым.

— Мося! Берточка! — закричала Эсфирь Марковна.

— Мама! — закричали и Мося и Берточка.

И, склонясь к полу, они начали разыскивать друг друга. И спереди и сзади рванулись двери, зазвенели продавленные стекла, ветер ухнул по комнатам, и дым пошел на улицу, зацадил едучей кислотой, качнулся над вывеской и проглотил ее золотую спину, замазал пухлой пуховкой гари и Серафима Пятачкова, и мадам Эсфирь Марковну Шмуклер. А вместе с наглотанным дымом, зажатым кашлем во рту Шмуклеры поняли людской шум за стенами, треск огня и громкие, злые приказы слов:

— Выхо-о-ди-и! Выхо-о-ди-и!

— Выноси-и! Выноси-и!

— Таска-а-й! Таска-а-й!

Комнаты пожигали от дыма: ветер пронес дым сквозняком и угнал на площадь. А в двери, в окна лезли пожарные факелы, люд, медные рты рукавов, скрюченные когти багров и наносники багорцев.

— Дры-ых-нете?

— Что-о, заспали-и-сь?

— Сгорите, черти!

Эсфирь Марковна похватила руками продымленную пустоту комнаты, зашаталась, ее подхватили и вывели на площадь.

Мося метался по магазину, а через его голову летели с полок картонки, коробки, шляпы с дрожащими перьями, будто выпускали из клеток птиц, и они непривычно, летнув круг, садились на землю. За птицами разматывались ленты и, как кишки, путались под ногами, мешали ходить, тащились за подошвами, за каблуками, крестили подъем...

Берта с цветочным горшком выскочила за Эсфирь Марковной, полунагая, безумно глядевшая на толпу из сбившихся торчком черных кос. Потом взвизгнула, увидав дрожавшую в полузабытьи мать рядом с генеральшей Наседкиной, и подскочила к ней. Какие-то бабы окружили их, отгоняли мужчин, откуда-то взялись шали, юбки, простыни...

В двери ножками кверху торопились стулья, прокачался широкий диван с охапкой лент на нем, дрожали на нежных стеблях накрененные цветы, расплзались и падали столбики картонок, хрустели и рассыпались,

разминаемые ногами... И так было много цветов, что казалось, «Венский шик» торговал цветами. Эсфирь Марковна с Бертой сидели будто в низкорослом кустарнике, выросшем на площади. Люд подсмеивался. Генеральша Наседкина сквозь слезы улыбнулась и на минуту забыла Пупсика.

Мося в длинной ночной рубашке выскакивал из дверей магазина на народ, повертывался и убегал внутрь, ничего не вынося и бестолково размахивая руками.

— Жид-то ополоумел! — шептал люд. — Штаны-то бы надел!

— Кто хошь спятит, когда столько добра пропадает! До штанов ли человеку теперь! Ишь как носом-то загребают!

— Жида — они жальчивые к своему богатству!

— Пожарные спасли. Задохлись бы, пархатые!

— Добра этого не жалко! Одним жидом меньше. Поди сами и подожгли: шубу выворачивают. Как так не слышать — над головой горит! Треск-то какой! Дым всю ноздрю вывернет. И в глазах ест.

— Выжидали, притворы!

— На глаза намазывают...

— Видимость одна.

— Товар застрахован, а дом — чужой.

— Генеральше теперь крышка: жрать будет нечего. Телеса-то спустит!

— Еще пуще раздобрееет: поди в банке насовано по гроб жизни денег. Да заново собак разведет завод.

— Генеральша не пропадет!

Огонь по опушке добрался до низу. В боковуше, наверху, рухнул потолок, продавил пол, мешок искр выкинулся в окно на площадь.

Тогда Берта захныкала и, вцепившись в колена матери, закричала:

— Мамочка! Мамочка! Это... я... погубила... это я!

Эсфирь Марковна жалобно и безумно затвердила на всю площадь:

— Вос хостэ гемахт, Берточка! Вос хостэ гемахт, Берточка!.. Там!.. Там!.. Там!..

И показывала рукой на землю.

Радостно прокричал какой-то догадавшийся человек:

— Деньги в подвале! Деньги показывает!

Люд задвигался, заухмылялся, замотал головами:

— Ишь ты!

— У ково что болит, тот о том и говорит!
— Кому что, а жид не позабудет!
— Деньги для жида первее всего!
— И русский тоже не откинет!
— Жид-жид, а сами, подлецы, мизинца его не стоите!
— Брань всегда брань!
— А к чему она?
— Полицию! Полицию! Где полиция? Пристав!
Пристав! — заорал, появляясь в дверях, пожарный.—
Околоточный надзиратель! Скорей, скорей сюда! Да поторапливайся!

Сидор Мушка растолкал люд, наклонил голову и вставился в двери магазина. За ним побежал пристав, околоточные, городовые.

Люд замер, надвинулся, недоумевая, к пожару.

— Полицию зовут! Слышите? Полицию зовут!

— Видно, что есть!

— Погиб кто? Завалило потолком?

— Ах ты, батюшки!

— Да чего они там делают?

— Поглядеть бы, право!

Берта положила на колени к матери голову и крепко прижалась к ней. Эсфирь Марковна бегло шмыгнула глазами по надвигавшемуся люду, пошевелилась, поехала под шалью — и не сводила стоявших прямо глаз от дверей. Мося высунулся раз, другой — и скрылся, словно кого-то ища и не находя, не находя, не находя...

Из магазина, держа под руки, Сидор Мушка вывел двоих людей в темно-синих блузах. Они закрывали глаза ладонями и, как слепые, ощупывали мостовую шарком подошвы. За ними третьего околоточный держал за воротник пиджачка. Мося что-то бормотал приставу, а тот весело ухмылялся и сжимал в кулаке сдернутый с Мосина плеча рукав ночной рубашки. Эсфирь Марковна жадно глядела и держалась за БERTУ.

Люд охнул... зашевелился... нахмурился...

Кто-то вопросительно крикнул:

— Во-о-ры?

По толпе заперекатывалось, покатилося:

— Воры... воры... воры!

Тут генеральша Наседкина взвизгнула, вставая со стула:

— Поджига-а-те-ли! Во-о-т они, поджига-а-те-ли!
Люд постоял, качнулся назад — и людская волна
замахнулась, нависла злобно и ревуче.

— А-а!.. — загудели камни мостовой, дома, небо, эхо...

Волна подбиралась к ногам, закручивалась с боков,
находила быстрее-быстрее-быстрее... Пристав лизнул из
ножен шашку, околоточные мелькнули повторными
движениями, а Сидор Мушка выставил горло гремевшей
трубой:

— Осади-и наз-з-з-ад! Осади назад!

Пристав выскочил вперед, махая шашкой и крича:

— Пожа-а-рные! Пожа-а-рные!

Волна отскальзывала, бормотала, глохла...

Все обратились к неизвестным людям. Дом генераль-
ши Наседкиной горел свободно и весело. Пожарные
опустили рукава. Вода лилась мимо огня, вяло, зря, на
грязную мостовую. Машины остановились, коромысла
поднялись кверху.

— Не напир-а-ть! Не подходить на шаг! — ревел
пристав.

— Поджига-а-тели! Поджига-а-тели! — вопила гене-
ральша.

— Смерть им! — кричал люд.

— Поджигателей укрываете!

— Бери, ребята!

— Чего там прохлаждаться!

— С поличным поймали!

— Дава-а-й их!

— Жида город поджигают!

— Полиция за жидов держится!

— Жида подкупили фараонов!

— Забир-а-а-й!

— Жида — подножный корм для полиции!

Пристав суетливо поскакал на месте и взревел на
генеральшу Наседкину:

— Молча-а-ть! Заткни-и-те ей горло! Отвеча-а-ть
заставлю!

Двое городских угрожающе замахали кулаками над
генеральшей. Генеральша Наседкина остолбенела, съе-
жилась, замолкла и от стыда закрыла лицо руками.
Неизвестным людям Сидор Мушка скручивал руки наза-
ди — и торопился, одним глазом стреляя в толпу. А люд
опять надвигался, и гул непрерывный, будто гремел
гром издали и все нарастал, будто гроза уже шла над

городскими предместьями, первые облачные отряды уже вступали на площадь, гром ворочал камни гнева и беременеющей расправы... Задние ряды подталкивали, навигали на шашки и на дырки выстроившихся в ряд наганов.

Неизвестные связанные люди жались друг к другу, шеи коротели, в ушах жужжала дрожь, а рядом кругом клокотал черный кипяток в черном котле. Мося согнулся. Эсфирь Марковна и Берта неподвижно сидели в цветах. Большой фикус тихонько покачивал лабуньками листьев.

С грохотом и жестяным треском осела на один бок крыша. Генеральша Наседкина протянула вперед руки... И вместе с приживалкой вдруг ясно стали слышны их голоса:

— Тушите! Туши-и-те!

Брандмейстер опомнился и погнал пожарных к пожару:

— Кача-а-йте! Кача-а-йте!

— Растаскивай баграми!

— Воды! Воды!

— Отпирай колонку!

— Сукины дети, не разевай рот!

— Честью, честью прошу! — отчаянно шумел пристав. — Стрелять буду! Извозчик! Извозчик!

Городовые свистели и махали извозчикам. Извозчики начали настегивать лошадей, норовя убраться с площади. Городовые побежали за ними. Но дорогу извозчикам перегородила рота солдат, быстро выдвинувшаяся из переулка. Городовые нагнали извозчиков, сунув им в горбы, а те молча отодвигались, дергали вожжами, оборачивали лошадей.

Люд, как раздвигаемые бурей деревья, раздался перед солдатами. Пристав зашептал фельдфебелю скороговоркой, указывая на неизвестных. Фельдфебель сердито кинулся на шипевший люд:

— Марш! Откатывай лопатки!

Люд послушно начал сдавать. Солдаты встали серой глядящей цепью. Неизвестных посадили на извозчиков. Они разом оборотились на пожар и долго из-под ладошек смотрели на него, на повисшую поперек обгорелого фасада почерневшую вывеску с золотым загаром слов «Венский шик» и на отвалившиеся, как крыша оранжереи, стеклянные полотнища магазинных дверей.

Люд кричал вслед жадно, обидными, неотомщенными голосами. Кто-то швырнул камень. Камень провизжал и ударился о дугу. Извозчики погнали лошадей. Пристав топал ногами, как огромные черные тараканы, в блестящих шпорных сапогах на Эсфирь Марковну, на БERTУ, на Мосю:

— Жидовские морды! Ехидны! Подкопщики!

Недоумевая, спрашивала генеральша Наседкина:

— Ка-а-к? Ка-а-к?

— Вот-с! В вашем доме-с... Ищем-с! Три года! И... нашли-с!

Пристав наклонился к маленькому, как божья коровка, уху генеральши.

Приживалка гневно искосила брови и заохала:

— Ах, жида! Ах, жида!

Пристав гаркнул городовым:

— Взять их! И... обыскать на месте! Стрелять при попытке к бегству.

Сидор Мушка злобно размахнул сапогом и, не подымая ноги, исподтишка пнул БERTУ:

— В-вставай, с... с-очь!

Мося тонко выкрикнул:

— Кто смеет бить? Нас бьют! Господин пристав!

Пристав с усмешкой в глазах моргнул Сидору Мушке:

— Нельзя бить, Конёв!

И протянул раздельно, оторвав конец слова:

— Пу-блич-н...

— Слушаюсь! — громыхнул Сидор Мушка и вполголоса забурчал, забормotal, заегозил: — Ну-у! Ковыляй, Фирка! Ты... наперед... Моська! Кажи носом бабам дорогу. Во-о-т ка-а-к пришлось!..

БЕРТА горько ныла и держалась за бедро. Фельдфебель отрядил троих солдат с винтовками. Шмуклеры пошли усталой, волочащейся походкой. Впереди шагал Сидор Мушка, крепко и гулко переставляя на камне большие, как копыта битюга, каблуки сапожищ.

Люд, недоумевая, шептал:

— Повели... повели... Шмуклершу повели!..

— И ребят повели!..

— Заодно, видно, с поджигателями!

— Говорил я... говорил я: жид спроста ничего не сделает.

— Мушка! Этих-то за что?

— За дело! — важно прокричал Мушка. — Опосля узнаешь. Открыва-а-й дорогу!

Люд загоготал в спину:

— Э-эй, жидове! Не отставай от Мушки!

— На косушку ему не позабуди!

— Он не откинет винишко!

— Тверезвенник он!

— Жиды, цветы-то захватите!

— Повянут без вас цветочки-то!

— Что без шляп-то? Что без шляп-то?

— Воины, жидовочку-то пошарьте!

— Ух ты и... жидовка ядреная!.. Сыпь знай!

Люд гоготал вслед долго и весело. Мальчишки бежали с боков, забегали вперед, делали из подолов рубах уши и кричали:

— Свинячье ухо! Свинячье ухо!

Сидор Мушка добродушно урчал:

— Я вот вас! Жиды свинины не кушают, а вы дразните, озорные! Фирка! Ты как насчет свинины смекаешь?

Солдаты шли молча. Шмуклеры не отвечали Мушке.

— А! — торжествовал Мушка. — И сердать таперя тебе не полагается. Шиш тебе и мальчонка мой в услуженье пойдет! Остримилась на весь город! Думалось: и черёдная баба, ан... какие оказии получились! Хи-итрая! Да недохитрила! Пугало огородное, хорош и я — уваженье делал, будто каким благородным людям да богатым. Тьфу! Тьфу! Отродясь не отхаркаюсь!

Дом догорал. Зарево уже побледнело и исходило розовевшим выцветшим ситцем. Ушли в предутренние дрогнувшие сумерки дома. Пожарные лениво ковырялись в пожарище, оттаскивая обгорелые бревна на дорогу. А тут, играя медной стрелой воды, заливали не торопясь. Но люд не расходился. Нагнали полиции, густым тыном заслонившей приземлившееся пожарище. Подъезжало заспанное тревожное начальство: полицеймейстер, жандармы, офицеры... Сыщики колесили глазами в толпе, подслушивали, заводили разговоры, приглядывались... Начальство светлело у огня мундирами, эполетами, кителями, окружало генеральшу Наседкину пестрым хвостом и дожидалось конца пожара. Скакали взад и вперед с приказаниями конные городовые и наклонялись с лошадей к начальству. Люд жадно и терпеливо стоял.

Потом брандмейстер стремительно кинулся к полицеймейстеру и вытянулся перед ним, щелкнул сапожками и столь же стремительно кинулся на пожарище, крича на пожарных. Пожарные ожили, замахали топорами, дружно и легко расчищая дорогу начальству, поливая горячую золу из трех рукавов сразу.

Поперек пожарища пролегла широкая, чуть дымившаяся полоса.

Из-за ярмарочного дома протопали по мосту казаки и поскакали к пожарищу. Люд колебался. Передние ряды повернули спины, задние отодвинулись к домам, к воротам, к калиткам, но устояли. Навстречу казакам отошел от генеральши Наседкиной полицеймейстер и повел рукой на люд. Казаки вплотную сгрудили лошадей. Мохнатый живой забор пошел вперед, перебирая ногами, оттесняя люд в тупики и переулки. Казаки кричали:

— Спать пора! Расхо-ди-сь!

И помахивали нагайками, сторожко глядя из-под чубов.

Начальство пошло на пожарище. Генеральша Наседкина под руку с приживалкой проследовала к середине, наклонялась, показывала, подносила к глазам белый платок. Потом пригромыхал на площадь фургон Шиперко и остановился, как хутор, у пожарища. Люд не отрывался, не дышал... Пожарные и городовые полезли под землю. Люд ойкнул, выглядывал из-за хвостов казачьих лошадей, смотрел в промежности, тихонько отводя хвосты на стороны.

— Братцы! — кто-то весело и восторженно выкрикнул. — Машины... машины... из-под земли достают!..

— Колесо!

— Станок, ребята, с колесом!

— Ящики!

Городовые по двое бережно переносили в фургон таинственные машины.

— Подкоп, не иначе!

— О, штука!

— Ловко заправлено: у жандармов на носу.

— Значит, сицилисты орудовали, а не поджигатели, братцы!

— Взрыва бы не было?

— Какой взрыв! Взрыв был. От взрыва и загорелось, видно! Сплоховали!

— Как кур во щи попались!

— Во-о-т тебе и шляпки... модны-е-е! Шляпки, да, кажись, медные... с обсоюзкой!

— Шмуклерша-то, Шмуклерша-то, братцы! Кто мог подумать!

— Продалась сицилистам!

— Может, сама такая есь?

— Ну, какое там! Нашему сараю двоюродный плетень сицилистка она. И балакать-то она и по-людски не сможет! Сицилисты... те речистые!

— А я вот... По-моему... из-за денег... Жида смерть деньги любят.

— Всякий деньги не откинет!

— Сгубило жидовку золото!

Хлопнула дверка, и фургон покатиł обратно. Начальство тоже разъезжалось. Пристав подошел к казакам и опять затопал, закричал на неуходивший люд:

— Чего стоите столбами? Какое такое представление? Все кончилось! Расходись! Ж-живо! Никто не будет допущен!..

Казаки начали сердиться, толкая люд задами лошадей. Повернулись, побежали двое к пожарищу... Казаки завертелись на седлах, озлели... Гикнул один казак, нагнал, наскочил — и нагайка щелкнула, взвилась, впи-лась, закричала на спине. Люд заторопился, отхлынул глубоко в тупики и переулки, расходясь.

Утро пришло пасмурное, слезливое. Был базарный день. К Толчку подъезжали мужики из деревень, шли бабы с Зеленого Луга, с Числихи, с Ехаловых Кузнецов. Казаки не пропускали. Во весь день дотлевало и дошаивало пожарище. И за казацкими лошадьми весь день тлел и шаял люд. Городовые увозили куда-то на дрогах цветы вперемешку с коробками и картонками, оглядываясь, совали в карманы пестрые хохлы лент.

Посты сняли ночью. И тогда люд побежал на угольки к дому генеральши Наседкиной.

Сидор Мушка задумчиво глядел на пустое место в знакомой и полной еще вчера бочке домов на Толчке. Потолкавшись на пожарище, останавливались у Сидора Мушки и судили и рядили.

Сидор Мушка охотно и жарко говорил:

— Пожарные как обшарили комнаты за людям... слышат-послышат: в чуланчике под полом стучит... голос человеческий зовет. Пожарные по полу раз топо-

ром, другой раз. Дырку прорубили. Рука и вылезла. Тут... они за полицией. Тоже смекалистые! С полицией доску подняли. Трех рабов божьих выволокли, сицилистов. Пожарный один в дыру слазил. А я за ним... Пожарный просветил факелом, будто днем. Поглядели мы — а там машины разные и ящички. Генеральша прежде вина тамotka хранила. Ма-а-ленькая, махонькая такая комнатуха-погреб, а в боку земля выбрана еще на такую комнатуху. Года три, говорят, под землей, сволочи, жили. Обогреваться к Шмуклерше вылезали. Тюфяк там широкий на полу. Спали, дьяволы, в норе — не иначе. О! Спасаются ныне люди ка-а-к! На что машины были — не добрались чередом в полицию!..

Сидор Мушка грустно замолкал, долго вздыхал и завистливо добавлял:

— Пожарным большая награда будет... А для меня один конфуз! Не уследил, верста!

И злился сразу Сидор Мушка:

— Чего обступили? Али не на посту стою для вашего брата? Чего свет заслоняешь?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Задолго перед тем, как погорела генеральша Наседкина, начиналась тогда еще весна, пришли за полночь в «Венский шик» три человека и не вышли обратно. Были эти три человека Сергей Бобров, Матвей Ахумьянц и Ваня Галочкин.

Рядом с кухней, в чуланчике, был глубокий люк, где хранила генеральша в добрые богатые времена своей жизни вина. На две половинки откидывалось творило в чуланчике, а под творилом опускалась на дно узенькая деревянная лесенка к полкам и маленьким висячим шкафам по стенам. В люке было сыро и душно, и пахло там крепким и затхлым запахом старых вин.

Гости Эсфирь Марковны Шмуклер спустились в люк. На полу там стояли: ручной типографский станок, выщербленная от времени касса с ящиками для шрифта, бидон краски, железная металлическая доска, а на полках лежала бумага и свертки со шрифтом. Мося светил семилинейной лампой с отражателем.

— Квартиру берем,— сказал смеясь Ваня Галочкин,— помещенье подходящее. Тесновато! Ну, да в тесно-

те, да не в обиде. Понадобится — расширим. Эге! Да для лампочки крюк налицо! Давай его сюда!

В промежутке между двух полок был вбит гвоздь для лампы. Ваня Галочкин принял от Моси лампу и повесил ее.

— Захлопывай дырку, Мося! Мы тут назавтра снарядим корабль. Может, и хорошо поплаваем!

Сергей Бобров сказал:

— Ты закрой крышку, Мося, не видать ли через нее свет?

Мося осторожно закрыл творило и прошелся по нему. В чулане было темно: творило надежно прикрывало свет. Мося посидел во всех уголках чулана, отворял и затворял двери в коридор, зажигал спичку, припадал глазами к смыку половинок творила... Тогда он приподнял одну половинку и радостно свесился в люк:

— Шик! Венский шик! Даже ничего-таки не видать!

— Ну, добре! — вяло и медленно ответил Ахумьянц.

Бобров испытывал помещение:

— А ты еще раз, Мося, закрывай... и слушай, как мы будем говорить.

Мося слушал, стараясь не пропустить шороха пролетающих пылинок.

— Ну, как? — шепнул Бобров, подымаясь кверху по лесенке.

— А? Ты что говоришь?

— Ты слушай там. Закрой крепче. Ну, ты слышишь?

Где-то глухо раздавались непонятные шепчущие звуки.

— Да, немножко слышно...

— Это худо, — поморщился Ваня Галочкин. — Дай-ка я сам проверю. Ахум, говори. И постучи внизу щеткой. Урони чего-нибудь...

Ваня Галочкин вылез в чулан и вместе с Мосей принялся слушать.

— Придется обивать пробкой — тогда могила, а не помещение. Так нельзя работать. Один шнырок полиции — и пропали. Говорить... и с пробкой надо шепотком.

Ваня Галочкин недовольно спустился в люк.

— Я говорить не буду, — серьезно заметил Ахумьянц. Бобров добавил:

— И не о чем говорить нам. Пробкой — это хорошо. Предосторожность — тоже очень хорошо.

Галочкин щелкнул пальцами:

— Я думаю, надо уйти глубже в землю. Подковырнем бочок... Подальше от крышки. Звони в колокол — никто не услышит. Мося да девицы земельку вытащат... Куда только бочок выходит? Вот... хотя бы этот?

Галочкин погладил рукой стенку, Мося поднял глаза к потолку и соображал. Он заторопился, зардовался...

— Удобно! Очень даже удобно! Этот идет под комнату.

— Тем лучше. Подроем! Дощечками укрепим — и пошла рысью.

Галочкин задумался:

— Н-да! И крышку надо к черту! Крышка не годится. Да еще и с кольцом крышка. Надо настлать пол двойной: в середине пробку. Запаковывать так запаковывать по-настоящему. В углу, подальше от дверцы, вынимались бы две доски — и хватит. Гулять нам ходить не приходится.

Бобров и Ахумьянц согласились:

— Это верно!

— Пока работаем на риск так. Завтра опочинимся. Спать тоже здесь. Выползать наверх нашему брату запрещено. Мося, а где же параша? Где Прасковья Ивановна?

Мося засмеялся:

— Есть, есть... большой, новый полковник — и с крышкой...

— Носить не выносить тебе полковника, Мося. Жалуем тебя завсегдашним парашником. Вот еще бы жрать отвыкнуть: ни парашу не выносить, ни лишний раз квартиру не портить. Выметайся, друг Мося! Придави деревянной плитой. Кончим разборку — и вылезем. В твоей мы теперь власти: запрешь наверху — и тyani ножки по рогожке.

Мося ушел. Они принялись за установку оборудования и за разборку шрифта. Бобров следил за лампой, не сводил с нее глаз, потел и заговорил сам с собой:

— Лампа не годится, она сжигает всю дыхалку. Надо свечи. Дорого, а надо. Лампа — и чад, и вонь, и жарко...

Ваня Галочкин зевнул и подмигнул лампе:

— Темновато, Бобёр, со свечкой. А, кажется, придется!

На рассвете кончили работу и перебрались в комнату Эсфирь Марковны. Торопливо, стоя, пили чай, глотали куски. Ваня Галочкин твердил:

— Пол, пол главное. С крышкой — пустое дело: никакой конспирации, будто на улице.

— Ну и в чем дело? — ласково говорила Эсфирь Марковна. — Завтра будут доски. Для магазина нужны полочки, ну и доски приедут с лесного склада.

Галочкин учил:

— Доски надо брать шпунтовые — одна в одну. Ты, Мося, так и бери шпунтовые. Плинтус один возьми, чтобы было все под орех. Лес бери сухой. Оборудуем уголок на двадцать лет. Я хоть и наборщик, а кое-что смыслю и по плотницкой и по столярной части. Отец у меня столярил. Нагляделся я у него. Смастерим не хуже мастеров. Сперва пол, потом подкоп. В ночь начнем работишку. Парашку утром и вечером.

Берта и Лия весело засмеялись. За ними ухмыльнулась Эсфирь Марковна, прыснул Мося и, сдерживая смех, закачался Бобров. Ахумьянец серьезно и сосредоточенно курил.

— Жрать тоже два раза. Пить — ведро в день. Хорошо бы туда отвод от водопровода сделать.

— Галка, Галка! Не увлекайся, — сказал Ахумьянец. — Ты, пожалуй, и электричество захочешь?

— Там увидим! Сами мы как залезем туда — больше и не покажемся. И вам тут нет ходу. Ваше дело дощечку отворачивать.

Все засмеялись еще раз.

Ваня Галочкин оглядел Ахумьянца и Боброва:

— Кажется, ребята, все условлено?

Они помолчали. Бобров вытянул шею и протянул руку:

— А куда же мы будем ходить в баню?

Ваня Галочкин поколотил Боброва по голове и приподнял у него путаницу рыжих волос:

— Мы тебя в параше будем с Ахумьянцем мыть.

Берта и Лия отвернулись. Плечи у них тряслись и покачивались груди.

— Мыться будем там. Мосе новая работа. Мося, ты банщик!

Бобров, подумав, еще сказал:

— Ну а где же воздух под полом... под пробкой?

Ваня Галочкин закричал:

— Чушь! Чушь! Дыры будут — будет воздух. Открывать дыру будут? Будут. Яснее ясного. Теперь, кажись, всё?

Ахумьянец засветился глазами и сердито пробурчал:

— Всё, да не всё: курить мне последний раз!..

Ахумьянц закурил папиросу, затягиваясь изо всех сил, вбирая в рот щеки и выпуская дым носом. Потом он открыл коробочку, грустно заглянул в нее и отдал Мосе.

Шмуклеры проводили товарищей в чулан. Мося закрыл творило и прижал его крепко ногой. Эсфирь Марковна долго ворочалась в кровати. Берта с Лией тревожно шептались. Мося глядел грустными глазами на пеструю дорожку половика, лежавшего поперек комнаты.

Погрозили холода зацветавшей черемухе, неделю было сиверко, а потом весна созрела сиренями и на полях сменялись цветы желтые, красные, лиловые. Забрел в поднявшуюся по пояс рожь подобревший грач и каркнул от жарины. Солнце пролилось из солнечных хоромин золотыми ушатами. После линючих дождей от бульваров пошел липкий зеленый березовый дух, а из архиерейского сада понесло сосновым смоляным квасом. На Пятницком пруду, как большие свинячьи уши, расположились кубышки. Иссиня-серая, поднялась со дна летняя тинка: то зацветала июньская вода.

Мося давно навозил шпунтовых досок на Толчок. Новенький неструганный шершавый пол прикрывал люк. Две доски вынимал Мося у задней стенки чулана, подавая еду и принимая парашу-полковника. Плинтус с горбинкой обегал пол рамкой, и только в углу, где упирались доски-открывашки в стену, обломан он был с кое-какой хитрецой. Торчал неровно облом колючими лучинками — и обманывал. Мося натаскал в чулан пыли и грязи, негодящих коробок, навалил картонок до потолка и лазил в угол, шебарша и разминая картонную и бумажную навал.

На четвертом месяце Мося забегал с коробками по городу, по заказчицам, подкидывал землю, где было укромно и был недостаток земли: в бурьяны, в речку Золотуху, на огороды...

А Эсфирь Марковна разводила цветы — столетники, фикусы, пальмы, чайные розы и герани — в больших горшках. И росли цветы по всем пяти комнатам, в магазине, на окнах, в земле своей, теплой, разрыхленной лопатками Боброва, Ахумьянца и Вани Галочкина. Сидор Мушка облюбовал большой цветок в магазине и погладил лапучие листья. Эсфирь Марковна улыбнулась Мушке

и подарила ему цветок. Подарила и один, и другой, и третий... Сидор Мушка хвалил Шмуклершу и разносил о ней добрую славу. Наум Соломонович Калгут воспы-
лал к цветам неукротимой ревностью и наразводил у себя
цветов целый комнатный сад. Берта подарила Ароше два
больших горшка с белыми и красными чайными розами.
Гибли у Ароши чайные розы, менял худую неплодovitую
землю, сердито бил горшки, не стыдился принимать час-
тые Берточкины подарки.

Комнатушку вырыли и передвинули туда типографию.
Ваня Галочкин кричал Мосе оттуда слова бранчливые,
Ахумьянц и Бобров хохотали и стучали щетками, а Мося
долго не отзывался, откладывал доску в чуланчике
и просовывал голову:

— Ни-ни! Даже, как камень, молчит!

Ваня Галочкин весело посвистел и важно поколотил
себя пальцем в лоб.

— Вождь, а не голова! — сказал Ахумьянц.

Эсфирь Марковна поехала тогда в Москву за това-
рами к знакомым фирмам с рыжим чемоданом, а за ней
вдогонку прибывали товары. Мося перевозил товары
с вокзала, помогал ломовику вносить ящики в магазин —
и модницы городские приезжали за шляпами.

Славно и бойко торговал «Венский шик». Эсфирь
Марковна частила в Москву, не успевала навозить
ходкий галантерейный товар. И как добрела она от тру-
дов праведных, не забывала Эсфирь Марковна пло-
довитое еврейское семя: слала родственничкам подарки
во все концы и закоулки Российской империи. Любит
еврей соленую рыбку, селедку, шуку фаршированную,
любит еврей курочку. Эсфирь Марковна посылала
далеко подарки: не дойдет курочка, не дойдет скоропор-
кая щука — посылала Эсфирь Марковна в бочонках
живучий соленый сельдь. Берта с Лией паковали. Мося
вкладывал в середину бочонка жестяную банку сердцевин-
ной, а в банке были бумажные изделия Боброва, Ахумь-
янца, Вани Галочкина. Сельдем уминали банку —
и в укупорку. Вонький, непривлекательный товар катили
в бочонках в вагоны, в пароходы, пинали на сходнях
пинком злым и умученным грузчики.

Судачила генеральша Наседкина на селедочный
жидовский дух в доме, на костяные обьедки в помойке.
Как чистили ретирады, генеральше Наседкиной казалось:
пропахивала она селедками. Душили в комнатах сосно-

вой водой тогда. И генеральша Наседкина уезжала на прогулку. Эсфирь Марковна смеялась с Берточкой и Лиечкой над генеральшей, а Мося таскал из рыбных рядов селедки.

Ароша Зелюк ходил в гости три раза в неделю. Он останавливался у окошка, где Берта и Лия работали с восьми до восьми, прилипал к окну, кланялся и поводил плечиками. Берта и Лия махали ему ручками и приятно улыбались. Зелюк кричал:

— Что вы хотите сказать? Я на полном ходу к вам. Но вы еще не кончили свои трапка?

Генеральша Наседкина направляла лорнет из окна, презрительно морщилась и бормотала:

— Ка-а-к эти жида кривляются со своими женщинами!

А Зелюк кричал:

— Вы пойдете гулять в сад? Я имею немного денег купить вам мороженое. Вы не кушаете мороженое? Все барышни очень любят мороженое! Ну?

Генеральша Наседкина хлопала окном и пережидала. Ее раздражал веселый въедчивый голос жениха Берты.

Сидор Мушка глядел исподлобья от будки и жалостливо ухмылялся, как Арон Зелюк кричал на всю площадь перед своей невестой, вертелся на маленьких каблучках и мотал белым кувшином головы.

Шли мимо люди, отвергивались со смехом в глазах от пестрого, как полосатый кот, человека, откидывавшего назад голову с острым блоком кадыка, дрожавшего под кожей. За стеклом глянцевели глаза Берты и Лии. Люди задерживали шаг и вдруг неприязненно охватывали фигуру топтуна-человека раздраженными глазами, кидали на ветер подчеркнуто-слышно:

— Мотри! Жид в любовь играет с жидовкой!

Зелюк, наторчав в глазах Сидора Мушки, наслушавшись слов зряшных и бессильных, весело входил в магазин. Эсфирь Марковна кивала ему приветливо головой, отвечая на его кивки, и сладко и нежно картавила:

— Берточка там за занавеской! Пройдите, пожалуйста! Я извиняюсь... Я занята с дамочками!

Эсфирь Марковна ласково, масленясь глазами, наклонялась к своим покупательницам и шептала:

— Это жених Берточки. Такой умный, такой умный! Такая голова, такая голова! Папаша у него был в Бердичеве общественным раввином. Арон знает весь талмуд.

И Эсфирь Марковна чмокала губами.

Посетительницы сочувственно глядели в глаза Эсфирь Марковне, слышали от нее не один раз о женихе Берты и брезгливо говорили шепотом:

— У вас скоро будут внуки!.. Вы кого больше любите — девочек или мальчиков?

Эсфирь Марковна хитро улыбалась, взгляд ее понимал враждебные слова, но она наивно и просто отвечала:

— Ой, еще не очень близко до деточек. Берточка еще будет ожидать, как у Ароши будет хороший гешефт... Деточки... такие маленькие... такие маленькие... Очень хорошо!

Посетительницы громко и раскатисто засмеялись, представив себе маленьких черненьких жиденят. Эсфирь Марковна тоже смеялась, довольная своей хитростью, своей незаметной насмешкой над покупательницами. Арон Зелюк скрывался за занавеску и крепко пожимал руки Берте и Лие. Там они разговаривали вполголоса.

Скоро Мося запирает магазин: Арон вынимал из кармана рукопись и передавал Мосе.

— Как дела, Арон? — спрашивала Эсфирь Марковна.

Зелюк серьезно и страдальчески глядел на Эсфирь Марковну:

— Тихо, товарищ Эсфирь! Последнюю прокламацию полиция забрала всю. Сел один товарищ... Навел сыщиков на других... Пропала зря работа. Савва тут едва увернулся. Полиция носится по всему городу. Каждую ночь обыски... аресты... А масса — каменная... Неприступная... Массовка была назначена: не состоялась. Никто не пришел. Не знаешь, как подойти к массе. Один провал за другим.

Спрашивал Мося:

— А кружки идут?

— Среди учащейся молодежи много кружков... Но ведь это полдела. Среди рабочих кружки быстро разваливаются. На заводах шпионаж. Есть провокаторы. Слежка идет, кажется, за всеми обывателями.

— Ну, вы всегда каркаете! Это, может быть, у нас, а в других городах лучше.

— Везде одинаково. Медленно, медленно идет дело.

Зелюк вытягивался от нетерпенья, словно хотел бежать, подталкивать, крутить медленно оборачивавшееся колесо рабочего движения.

— И в самой организации — ерунда. Меньшевики отнимают половину сил, сбивают рабочих с революционного пути. Полторы недели дискутировали о вооруженном восстании. Рабочие и смеются и блудятся в трех соснах. Социалисты-революционеры отняли мыловаренный завод: рабочие там связаны с деревней, на каждый праздник уходят в деревню. Выперли нас с кожевенного завода: один большевик на заводе остался. И... тот колеблется.

Сердито сказала Эсфирь Марковна:

— Ну и что же из всего этого? Надо опускать руки?

— Я не опускаю руки.

— Вы плачете у Иерусалимской стены, как старый еврей. Если бы мы стали только плакать, нам не надо ничего другого, а только лечь в землю. Вам надо учиться работу делать у Вани Галочкина. У вас, Арон, половинка сердца совсем гнилая...

Зелюк засмеялся:

— Такая минута! Такая минута!

Арон шел гулять с Бертой. Прытко вертелся он около нее на народе. Он нежно вел ее по улице под руку, останавливался с гулявшими евреями, еврейскими мамами, стаскивая с головы серую шляпу, и таинственно подбегал за репортажем к важным городским особам. Задыхаясь и проглатывая слюни вертевшимся кадыком, забегал снова Зелюк в «Венский шик» в условленное время, совал Мосе рукопись и полушепотом метал слова:

— Стачка, стачка! Забастовка! Три завода встали... совсем встали. Требуют увольнения мастеров... И прибавки жалованья. Экономическая... по пятнадцать копеек в день. Все вышли в обед. Кричали. Грозили кулаками. Организация на ногах, ночью надо сделать листочки. До свиданья, и я побегу в одно место!

Глаза Зелюка сияли зажженными огнями. Толстые губы были красны, как подсолненное мясо.

Эсфирь Марковна насмешливо толкала Зелюка к двери:

— Вы совсем еще не взрослый мужчина в тридцать лет. У вас седые волосы, но вас старше Берточка. Вы идите, идите скорее в одно место. Мося принесет проклятий.

Мося часто мучился зубами и ходил с перевязанной щекой. Он звонился тогда к Науму Соломоновичу Калгут. Наум Соломонович вертел колесо, наставлял

ему в рот один глаз и маленькое зеркальце, нюхал ватку на щипчиках и лазил с тонким железным волоском в дупляные зубы. Наум Соломонович лечил зубы подолгу, был очень строг и заставлял больных ходить месяцами в свой маленький кабинет. Наум Соломонович был тонок, как вложенный в чехол зонтик, но у него была длинная, как щука, борода. И такой же неуместительный и щуко-бородый дедушка в черной шапочке висел у него под стеклом в кабинете, а под ним висела на стене одна полка, а на полке поблескивали золотыми переплетами двенадцать томов «Истории израильского народа» Гертцля и три коренастых тома в зеленом сафьяне «Жизнеописание великих людей из евреев».

Повертев колесо с висящей на нем кишкой, напоминавшей кишку от клизмы, и поковыряв в зубах у больного, Наум Соломонович садился за столик в углу и усаживал напротив себя на кресло больного. Наум Соломонович расспрашивал его о последних городских новостях и решительно обо всем, что происходило на свете. Наум Соломонович открывал кабинет в девять часов утра и закрывал его в десять вечера. Наум Соломонович за день столько узнавал нового и неожиданного и с таким жаром рассказывал это новое, неожиданное, что прозывался в городе телеграфом.

Он умел угождать, досаждать и нравиться людям. Толстым и желчным и генеральше Наседкиной он раскрывал «Жизнеописание великих людей из евреев» и показывал картинки Спинозы, Мендельсона и Рубинштейна, а потом американских банкиров, одного французского генерала и двух еврейских легионеров бурской войны.

— Вы думаете, евреи так-таки не имеют замечательных людей? Это очень большая ошибка. За пару веков евреи очень много имели замечательных людей. Евреи тоже хотят кушать и иметь деточек. И зачем евреям завязывать веревки на шее? На всем свете нет гетто, кроме России. И это даже очень нехорошо. Кому мешает Наум Соломонович Калгут в такой большой стране, как Россия? И почему он не патриот? Ой, когда вы узнаете, как евреи любят свою страну, свою родину! В Америке евреям свобода... А они плачут о России...

Твердили толстые и желчные:

— Да... да... конечно.

— Верти зубодробилку-то,— грубо обрывала генеральша Наседкина,— креститься надо всем, тогда пустим.

Наум Соломонович осторожно усмехался:

— Христос тоже был еврей...

— Не еврей, а бог,— сердилась генеральша Наседкина.

— Ну, бог,— соглашался Наум Соломонович.— А кто создал христианство? Кто были первые христиане?

— Тем лучше,— радовалась генеральша Наседкина,— святое крещение и принимайте. Поговорка хотя бы и есть у нас, не обессудь уж: «Жид крещеный, что вор прощенный»; ничего... примем... и земли дадим.

Молодым сионистам Наум Соломонович читал выдержки из «Истории израильского народа» Гертцля и обсуждал с ними планы переселения в Палестину.

Начальству Наум Соломонович рассказывал еврейские анекдоты в лицах и очень смешил начальство. Оно тряслось на высоком стуле и забывало зубное расстройство.

Наум Соломонович понимал толк в дамских нарядах, знал все названия материй, опытным взглядом прикидывал цену на материю, а добротность ощупывал рукой, ерзая по ворсу:

— Какой на вас костюмчик! Это английская мануфактура... Самая лучшая... самая замечательная. Первый сорт. Сорт А. Наши русские мануфактуры — для простого народа. Вам шила Раскина! О, это первый портниха в городе!

К Науму Соломоновичу приходили лечить зубы сыщики, сидели в приемной, дожидаясь очереди, взвешивая шустрими гляделками посетителей. Наум Соломонович узнавал сыщиков, встречал осторожной улыбкой и серьезно усаживал на стул:

— На что вы жалуетесь?

Сыщик неловко совал палец в рот. Наум Соломонович качал головой:

— Ай, ай! Как вы запустили свой рот! У вас такие хорошие зубы. На зубах у вас цела эмаль... Но вам долго надо лечить зубы. Ой, я боюсь, у вас один зуб с гангреной. Козьей ножкой, козьей ножкой надо другой. Я положу вам лекарства...

Сыщик мотал головой.

— Вот мы почистим, почистим, одна минута.

Наум Соломонович старательно заглядывал в рот и пускал колесо.

Сыщик кричал и подпрыгивал на пружинившем стуле.

Наум Соломонович тревожно и сочувственно спрашивал:

— Вы на что жалуетесь? Какое место у вас больно? Теперь можно класть лекарство. Вы через месяц не узнаете свои зубы. Вы думаете, легко лечить больной зуб? Ой, вы не знаете, какая нужна ловкость дантисту!

Наум Соломонович открывал сыщику двери кабинета и говорил на прощание:

— Прошу завтра. Но я должен каждый день наблюдать ваш зуб.

Наум Соломонович становился у зеркала и трясся от смеха в своем кабинете. Воротнички подтыкали тоненькую шею, и щучья борода качалась, как мочалка на ветру на протянутой поперек двора бельевой веревке.

Мося лечит зубы подолгу. Наум Соломонович брал у него свертки, сверточки, вытряхивал из коробочек пахучие скипидарные листы с крепко оттиснутыми на них буквами и уносил из кабинета в свою спальню. Наум Соломонович возвращал коробочку Мосе обратно, и тот уходил с той же коробочкой, с какой пришел, и с подвязанной щекой.

А погода приходили по очереди три разных человека, входили в кабинет, крепко закрывали двери, придавливали. Наум Соломонович узнавал, замирал, устремлялся выкаченными черными глазами на человека. А те говорили:

— Мы от Созона Петровича.

— А кто такой Созон Петрович? — испытующе спрашивал тревожный Наум Соломонович. — Я не знаю такого.

Человеки ухмылялись:

— А ваш дядюшка.

Наум Соломонович тогда манил человека за собой пальцем, прыгливой походкой шел вперед в спальню и выдавал пахучие Мосины подарки. Пароль иногда меняли.

Приходили другие люди и по-другому спрашивали Наума Соломоновича:

— Отец Иван у вас был?

— Откуда он?

— Да от Николы Не Плюй В Колодец.

— Был, был,— весело радовался Наум Соломонович,— и оставил вам посылочку.

Савва и Тур писали местные прокламации. Зелюк бродил за репортажем по городу, заходил в общественные уборные, отдыхал в садах, читал на бульварах. Савва подстерегал его в условленном месте. Чаще всего он подходил к нему нищим с корзинкой на руке, протягивал руку для подавания. Зелюк лез в карман — и из рук в руки переходил тонкий папиросный лист бумаги. С Туром было труднее. Тур был близорук. Зелюк выдумывал встречи с ним в безопасных местах, стерег его на пути из городского училища в голубой дом на бульваре. Ночью Зелюк прокрадывался к голубому дому, в сад, к единственному кедру у высокого забора, где отодвигалась доска. Тур всегда ожидал его, закутанный в вязаный шарф. Он молча подавал листок, Зелюк молча брал — и Тур слушал шорох вылезавшего из сада Зелюка, а потом шаршился по саду к себе в мезонин.

Тур весной слег, писал в кровати. Зелюк стал встречаться у кедра с Галиной Сергеевной, а потом он заходил к ней в земскую управу и получал рукописи.

Эсфирь Марковна привозила в рыжем чемоданчике рукописи из столиц. Везли их попутчики, приходили они в переплетах книг и в деревянных выдолбах ящиков.

Ахумьянц, Бобров и Ваня Галочкин и днем и ночью уже работали год, редко поднимаясь из подземелья. Была трудная и жестокая зима. Маленькая керосиновая столбьянка согревала закупоренный, пропитанный скипидаром, краской и сырой влагой воздух. Подпочвенные воды, как крупная шагреня, выдавливались из стенок, стенки отпотевали. На отсыревшем тюфяке, как смоченная и непросохшая типографская бумага, поочередно болели они и, пересиливая себя, вставали на работу. Ныли и слезились глаза в полумгле, и ячмени пересаживались с одного века на другое. Ноги деревенели, пухли, и больно дергало под коленками.

Открывали творило, как запирался «Венский шик», с восьми вечера до восьми утра, проветривали помещение. Стерегли у поднятых досок за коробками и картон-

ками, чередуясь, Мося, Берта, Лия и слушали внизу тяжелый всхлипывающий храп спящих, крикливый бред больных, вздрагивали, преодолевая сон, прислушивались к шуршащей темноте и ждали-ждали-ждали дѣрга звонка в передней. Сменяли друг друга с усталой улыбкой и токавшей в виски крепкой кровью. Скрывали друг от друга, как засыпали у отверстия и просыпались, дрожа от беспокойства и втайне мучаясь неделями за сладкие часы сна. В денные часы воздух проникал под творило только узкими шелками под плинтусом и в проверченные дырки пола по углам. Воздуха было мало, и был он густ, как запирающее горло сусло.

Ваня Галочкин просыпался ночью и тихо, протяжно тянул:

— Слу-ш-а-й!

Потом вполголоса говорил:

— Это я посты проверяю. Кто дежурит? Мося? Девицы, значит? Спать поди хочется? А?

— Хочется.

— Не уснешь?

— Нет.

Ваня Галочкин перевортывался и вздыхал хрипевшей грудью.

Когда дежурил Мося, Ваня Галочкин шутил:

— Мося, ты не сердчай, ежели... выпалю я во сне...

Мося смеялся и бурчал:

— Ну и что ж? А... я... отодвинусь...

И замолкали.

В годовой юбилей в люк спустили бутылку портвейна и папиросы Ахумьянцу.

Ваня Галочкин с Бобровым разделили поровну вино. Ваня опорожнил полтора стакана, захмелел, с покорными влажными глазами улегся на тюфяк и откашлянулся:

— Знатно! На животе будто кто почесывает!

Бобров перелил в бутылку свою долю и сказал Мосе:

— Я буду пить рюмками. Дай рюмку, Мося.

Ахумьянц высунулся ночью в отверстие и жадно, ненасытно курил, пока не выкурил все папиросы. Радостно бормотал Ахумьянц, облизывая повлажневшие губы:

— Хорошо! Хорошо! До следующего юбилея!

Мося тихо смеялся на огонек папиросы, а потом припес полотенце и, махая, выгонял дым из чулана.

Алеша Уханов увидел Лию в окно — и прошел мимо. Потом захотелось взглянуть еще раз, что-то такое захотелось досмотреть в склоненной над работой фигуре. На другой день он ходил взад и вперед у окна. Берта заметила его первая и толкнула Лию. Эсфирь Марковна взгляделась из-за цветов и засмеялась:

— Нет, это не сыщик. Но вы больше не сидите у окна. Это — кавалер.

Отодвинули рабочий стол в глубь магазина. И как отодвигали, Лия взглянула возмущенными, злыми глазами на голубые кружки глаз Алеши, вдруг дольше, чем надо, глядела, заволновалась и жалко опустила ресницы. Он смешался за окном и неловко оступился на панели.

Арон Зелюк весело шутил:

— Товарищ Берта, может быть, кавалер нравится вам? Тогда вы перестанете быть моей невестой!

Эсфирь Марковна сказала:

— О! Она и так очень долго сидит в невестах. Покупательницы мои спрашивают: и когда будет Берточкина свадьба? Они не видали еврейской свадьбы!..

Берта подумала, ухмыльнулась, с усмешкой провела глазами по серому пиджачку Арона:

— А он очень хорошенький... кавалер! Розовый, как ленточка. Товарищ Зелюк около него никуда не годится.

— Товарищ невеста,— подсмеивался Зелюк,— вы не очень-таки... Я не возьму вас замуж целых пять лет. И вы останетесь старой еврейкой.

Мося волновался:

— Надо глупые шутки перестать. Это совсем плохо, если ходит у магазина кавалер. Лишний человек для дела мешает. Чего ему надо? Чего он ходит?

Эсфирь Марковна посмотрела на расстроенное лицо Моси, на ерзавшие по лацканам пиджачка юркие пальцы — и задумалась. Эсфирь Марковна помолчала. Потом она повела рукой на окно:

— Отодвиньте еще дальше столик. Тюлевую занавеску надо снять. Пускай будет занавесочка другая.

Лия сидела в глуби комнаты, а когда Берта выходила в магазин, она вскакивала со стула, отгибала кончик темной занавески и выглядывала за окно.

Алеша проходил мимо окна, останавливался, закури-вал — и досадливо косил голубые лампы глаз на плот-ную занавеску.

Тут его захватил Арон Зелюк, обнял за спину и зазвe-нел тоненьким звонким смехом:

— Что ты делаешь? Кого ты выглядываешь за пустым окном?

Алеша смутился:

— А, Зелюк? Я... так...

— Ну, чего так, когда ты смотришь в окно!

Зелюк тихонько повел его по мостовой, ступая в шаг сбивавшейся походки Алеши.

Тот заговорил сразу горячо, возбужденно:

— Ты... смеяться будешь, Зелюк! А... пусть! — Он махнул рукой. — Я... я... меня поразила одна девушка-мастерица... шляпница. Я кружу неделю. Она, видимо, заметила... и обижена. Окно занавесили. Ничего не видать... Я... я же без всякой дурной цели... У нее замеча-тельное лицо.

Зелюк защекотал под бока Алешу и шепнул:

— Вот так революционер! Да ты Дон Жуан!

Алеша расстегнул студенческую тужурку и сдвинул на лоб фуражку и вспотел:

— Какой там Дон Жуан! Одно другому не мешает. А девушка прелесть! Она работает целый день. Ее эксплуатируют... Ее надо завербовать в кружок. Жив не буду — познакомлюсь.

Зелюк поморщился и скрыл в глазах беспокойство. Он сухо и осуждающе сказал:

— Ты все еще гимназист. Такая восторженность в глазах серьезного человека — это ненужное баловство. На тебя... — Зелюк запнулся и вьелся глазами в Алешу, — на тебя нельзя положиться. Ты тянешь к юбке!

Тот враждебно отстранился от Зелюка:

— А ты мне смешон. Брось пожилые истины! Революционеры не святые отцы, а люди... Ты узко понимаешь. Я больше тебя революционер. Ты... ты сухарь. Ты рассу-ждаешь так, как рассуждали фальшивые герои-р-р-ре-волюционеры в романе Мордовцева. Читал «Знамение времени»?

-Зелюк осторожно взял Алешу под руку:

— Читал эту чепуху. Но лучше не было бы этой... ползучей интеллигентской закваски... речей и женщин!

Алеша засмеялся:

— Иди, иди вперед! А я... назло тебе и... всем правоверным ортодоксам... пройду еще раз мимо «Венского шика».

Алеша повернулся и крупно зашагал по площади, делая Зелюку сзади фигу. Зелюк затаил усмешку в недвольных глазах, оглянулся на стройно и крепко шагавшего к «Венскому шику» Алешу — стремительного, уверенного в себе — и успокоился. Зелюк поскакал обычным своим живым и мелким шажком. И живо, и отчетливо, как шаги, законченно и стройно, в голове Зелюка обдумывались и строились планы: «Хорошо. Пусть будет так. Ну и что же делать? Надо... использовать... использовать... направить. Надо отвести речку в сторону, когда она бежит не туда, куда ей бежать следует. Бережка надо выложить камнем... и спустить туда речку».

Алеша был организатором студенческих кружков. Зелюк встречался с ним на собраниях. Через Зелюка организация посылала ораторов и пропагандистов на студенческие массовки, в кружки, на организационные собрания. У Алеши на квартире, в большом каменном доме на Дворянской улице, хранили литературу. Он выезжал с отцом своим, городским головой, на серо-яблочных рысаках в город, а у отца был друг-министр, масляные заводы, мануфактурные магазины, пароходы и элеваторы. Алеше козыряли городовые, и он лучше всех на студенческих вечерах плясал русскую.

Зелюк радостно и хитро стрельнул глазками на свои вычищенные у толстоногого армянина ботинки. Зелюк пошевелил губами: «Это будет очень заметно... и даже совсем незаметно».

Лии хотелось поставить стол на старое место и повесить тюлевую занавеску вместо темной: в глубь комнаты ей было трудно и темно работать. Она ночью дежурила в чулане. Ваня Галочкин сопел на тюфяке внизу и бормотал слова страшные, бредовые, а Лии казалось — внизу лежал не Ваня Галочкин, а тот, у оконный, голубоглазый, и ей было жалко его, и страшно уснуть, и страшно отдать, когда зазвонит ночной звонок в передней.

Арон Зелюк первый раз пришел поздно вечером и постучал в окно. Эсфирь Марковна громко охнула и крикнула:

— Мося, стучат!

Мося дрожащими руками захлопнул отверстие, уронил картонки и выскочил из чулана. Эсфирь Марковна подождала, покуда не показался из чулана сын, и бегло спросила:

— Ты сделал хорошо?

Мося нетерпеливо провел по воздуху ладонью и наклонил свой огромный нос, засовывая большой палец левой руки в боковой карманчик. Тогда Эсфирь Марковна подошла к окну и откинула занавеску. Лия встала посреди комнаты и замерла. Берта схватила книжку, раскрыла ее и засмотрела на прыгавшие по странице черные муравьи букв.

Но это был только Арон Зелюк. Он быстро вошел в переднюю, запыхавшийся и белый. Арон заплетался, словно зубы мешали языку. Зелюк широко раскрывал рот:

— Я должен вам сказать... что умер Савва. Он вчера был у меня и сказал: пас, Арон, и я иду умирать в «Золотой якорь». Я... я... видел... утром из садика... Савву повезли в карете... Надо поставить уши прямо... Из садика пошел шпик... и Зелюк очень долго гулял с ним...

Эсфирь Марковна бросила нетерпеливо и укоризненно:

— Но вы не привели шпики сюда, Арон? И почему вы не пришли раньше?

— Я не мог прийти раньше, товарищ Эсфирь! Я же вам говорю — я бегал собакой по городу.

— Ах, как вы неосторожны, Арон! — воскликнула Эсфирь Марковна. — Ну и уходите наконец домой и дайте людям спать. И кто вас так плохо учил конспирации!

Арон ушел. Эсфирь Марковна обняла Берточку и Лиечку и тихо сказала:

— Зелюк очень добрый. И он плачет о Савва.

Эсфирь Марковна закрыла глаза и позвала Мосю:

— Ну, умер — значит умер! И не будем говорить там! — Эсфирь Марковна показала рукой на пол. — Что из того, когда они будут знать? — удивленно спрашивала себя Эсфирь Марковна и отвечала сама себе: — Горе делает работу хуже.

Эсфирь Марковна горько задумалась:

— Савва был такой, такой революционер! И социаль-демократ! Старый... революционер.

Мосья высунулся в отверстие и позвал:

— Это я, я, Мося! Это только пустой тревога. И можно зажигать огонь.

— А, черт! — выругался Ахумьянец спокойным и напряженным голосом.

Ваня Галочкин плюнул и крикнул:

— Лиха беда почин!

Сергей Бобров недовольно проговорил:

— И почему так кричать и махать саблей?

Мося охватил руками колени и сел у отверстия терпеливо ожидать утра.

Опять в восемь открывали «Венский шик», в восемь закрывали, Зелюк приходил к своей невесте Берточке, Савву заменил Иван, Мося ходил к Науму Соломоновичу Калгут с подвязанной щекой, Эсфирь Марковна ездила за товарами с рыжим чемоданчиком, а Лия звала голубоглазого Алешей. Зелюк привел его на гастроли братьев Адельгеймов, и Лия подала первый раз Алеше дрогнувшую руку.

Алеша обнял Арона в уборной за низкую, на маленьких ножках, талию и шепнул ему:

— Ты... ты, Зелюк, знаешь, у-у-удивительный человек! Но... но какое совпадение!

Арон удивленно и хитро посмотрел на него:

— При чем тут совпадение? О, ты очень недогадлив! Это устроил я. Мамаша совсем даже не хотела. Мамаша у Лиечки старая еврейка. И она боится молодых людей.

— Тем более, тем более,— радовался Алеша.— Но как ты привлек ее к работе?

Зелюк самодовольно протянул:

— Это надо уметь. Это — мой секрет. Лиечка делает маленькое дело... И как раз она может делать маленькое дело.

С тех пор в условленные дни Зелюк с Покрова на Козлёне, Алеша с Дворянской улицы к восьми вечера подходили к «Венскому шику». Берта и Лия откладывали в сторону каркасы, ленточки, эспри, страусовые перья и стучали магазинной стеклянной дверью на улицу. Мося запирали дверь. Уходя, шептали Мося:

— Мы ненадолго, Мося. Пара кругов по бульвару!

— Почему не три пары кругов? — шутил Мося.— Зачем на весы класть прогулка?

Бульвары зелеными каналами уводили далеко от Толчка, сворачивали в сады, зелеными воротами открывали площади и выгибались в бока прудами. Берта с Арошей шли впереди, а за ними отставали Лия с Алешей.

Зелюк ласково ворчал:

— Вы слышите, товарищ Берта, нас нагоняет тройка с колокольчиками?

Берта повертывала голову на веселое треньканье переплетавшихся голосов позади и пожимала плечами.

Сумерки выглядывали из-за домов, из-за деревьев. Усталое, красное от долгой денной дороги солнце тяжело дышало и уходило за собором на ночлег. От прудов подымался долгоногий туман и тянул бороду к бульварам. Пустели дорожки: разбредались люди по домам. Алеша вел Лию под руку и задерживал шаг. Она со смехом торопилась и не могла сдвинуть упирившегося Алешу. Они толкались по бульвару, перебегали от скамейки к скамейке, хватали друг друга за руки и бормотали слова случайные, нежные, оберегающие. Между вечерних огней как будто светились в темноте окна парходных кают в порту, они шли домой молчаливые, сторбленные усталостью, вяло и лениво расставаясь у «Венского шика».

Была осень. Лия вышла навстречу Алеше одна — Мося лежал больной: Берта не могла пойти.

Желтый березовый бульвар был тих и недвижим, было тихо и желтое небо, и как янтарь были лица Лии и Алеши в солнечном заходе. Осеннее повечерие быстро перешло в ранний, как смуглый человек, вечер. Они молча шли мимо Пятницкого пруда. Вдруг Лия сбилась с шага, освободила руку и сказала:

— У меня развязались ботинки.

Она села на скамейку и наклонилась к ботинкам, шаря в темноте шнурки. Алеша присел у ног, и руки их столкнулись. Он забормотал:

— Я завяжу... я завяжу...

— Не надо, не надо! — тревожно сопротивлялась Лия.

Он уже положил ее ноги к себе на колено, она приподняла их, он неумело возился со шнурками, шнурки хлестали по рукам и вывертывались. А потом он стиснул теплые тонкие ноги Лии, прильнул губами к чулкам, обнял ее с земли, и слова, как дыхание, выговорились сами:

— Люблю... люблю тебя, Лиечка!

Он ткнулся к ней в колени лицом, целовал руки, ноги, живот... Лия схватила его голову, дернула к себе,

наклонилась к самым глазам и губами против губ шепнула:

— Но зачем ты целуешь пуговицы?

Губы нашли губы и надолго срослись. Алеша, не обрывая поцелуя, поднялся и сел рядом, схватил всю Лию и прижал к себе, будто хотел спрятать, вдавить в себя...

В темноте шаркнули шаги... Лия сильно вырвалась, встала иправила прическу:

— Пойдем. Могут увидеть.

Алеша взмахнул руками, поднял ее легко и свободно и побежал со смехом по бульвару от шаркающих шагов:

— Убежим, убежим от дяденьки!

Он задохся, дрожащими губами сдавил на весу губы Лии и поставил ее на землю.

Лия с полночи дежурила у отверстия, сменив Берточку. Она сидела в темноте, кусала усталые и размякшие губы, чувствовала, как на них остался смеющийся рот Алеши.

Бобров стонал во сне и кричал:

— Тише, тише, да тише же!

Лия сладко жмурила глаза и улыбалась Боброву жалеющей и холодной улыбкой.

Утром Лия крадучись чуть сдвинула стол к окну. На полу остались пятнышки от ножек стола. Оглядываясь на занавеску, Лия терла пол утюгом, затирая пятнышки, пошаркала ногой, пятнышки убавились, полуслились с полом, но кидались в глаза и смеялись над ней. Лия покраснела и закидала пятнышки обрезками лент.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отдождел октябрь, и закидалось небо снежинками, метелями, втрами. Окна «Венского шика» закрылись морозными тюлевыми занавесками. Алеша водил Лию по белым улицам, грел ей стынувшие руки горячими пышками. На морозных щеках Лии оставались белые пятна от проказливых губ Алеши.

Тут приходил Сидор Мушка и шептал Эсфирь Марковне:

— А я по знакомству скажу, может, и нас не оставишь: в доме у тебя того-этого...

Вздрогнула и замигала Эсфирь Марковна:

— Что такое?

— Следить за магазином велено в полиции. Жених Арошка — причина. Начальство говорит: с сицилистами путается. Как бы и тебе не было нахлобучки! Ты мотри, я ведь из уваженья уведомил... Молчок! Арошке-то, лучше будет, заверни оглобли. И парень-то паршивой... ободранной... гнида... плевком перешибешь! А девка у тебя... Ух, мяса сколько! Есть за что подержаться! — Сидор Мушка ослабился и захохотал. — Не под стать ему девка, вертуну. Как на шалнерах, облезьяна облезьяной поворачивается!

Эсфирь Марковна закатила глубоко под лоб глаза, вздохнула и простонала:

— Бедная Берточка! Бедная Берточка! Но... какой вы друх! Но какой вы друх, Сидор Иванович! Вас сделают старшим городовым! Вас сделают околоточным надзирателем!

Сидор Мушка довольно закашлялся и заперевдвигал свое прямое, огромное, как несгораемый шкаф, тело на месте:

— Куды-ы уж! В будке бы не шевелили!

Эсфирь Марковна дружески погладила по рукаву Сидора Мушку, сунула ему в руки деньги и благодарно проговорила:

— Сидору Ивановичу надо рублик! Сидору Ивановичу надо рублик!

В ноябре луна луне кинула погоду. Заморозило на тридцать дней с хвостиком, заморозило ровно, крепко, хозяйски. Сидор Мушка не вылезал из тулупа. Двери в магазин отскакивали. Белый ноздреватый пушистый иней, как слежалая соль, пополз в зажимах дверей. Мося косарем оскребал его, а он нарастал за ночь. В люке было холодно. Керосинка будто грела самое себя, а Ване Галочкину, Боброву и Ахумьянцу не оставалось жара. В очередь, когда стирала белье Лия, у Боброва на рубашке была кровь, и он кашлял ночами, как в кадушку. Грудь пела, и скрипела, и бухала от кашля.

— Не брызжись, Бобёр! — говорил Ваня Галочкин. — Брызга у тебя вредная!

Топили квартиру сухим, стойким березняком. Печи закрывали красными, как каменка в бане, а выдувало, а выносило тепло через старые пазы и рамы: топили улицу. Ночами дежурили в чулане в шубах и дули на

коченевшие руки. Ахумьянц дрожал и не мог согреться под двумя фуфайками.

— Я хочу на Кавказ,— твердо и жалобно сказал Ахумьянц.— Я замерзаю!

Ваня Галочкин ничего не ответил, только посмотрел в глаза Ахумьянцу и увидел там отчаянье и угрозу. Ахумьянц часто ночью высовывал из люка голову и, стремясь согреться, глубоко вбирал полутемный остывающий воздух чулана. Ахумьянц переставал работать.

Тогда, утром, в канун зимнего Николы, пасмурным городским утром в огнях, только открыли «Венский шик», в дверь пролез обледенелый стоячий воротник Сидора Мушки, и сосулечные усы весело задвигались между ушей воротника:

— Арошку-то?.. Зачистили — туда ему и дорога! Ночью обыски делали. В участке сидит. Ходил туды утром я по своим надобностям, ан там...

Сидор Мушка поперхнулся, сглотнул затаившую сосульку, покосился на выглянувших из-за занавески Берту и Лию, махнул на них сердито мохнатым рукавом тулупа:

— А вам чего? Не до вас дело. Сидите там!

Берта и Лия ухмыльнулись. Сидор Мушка понизил голос и шепнул Эсфирь Марковне в лицо:

— Девке-то теперь слобода. Антирес живо к арестанту пропадет. Его заката-ают, заката-ают! Башку-то вы-стри-гут!

Эсфирь Марковна согласно и сочувственно кивнула головой Сидору Мушке. Он помолчал, помялся, посмотрел на оконные морозные тюли и еще сказал неуверенным и робким и довольным голосом:

— Я вот... вот все и поджидал, как магазин-то отворите. Думаю: сказать не сказать? А ка-а-к не сказать хорошей барыне?

— О, вы, Сидор Иванович, золотой человек! — воскликнула Эсфирь Марковна.

Сидор Мушка взялся за ручку дверей, пошевелил шапку на голове, недовольно бросился глазами на Мосю, рывшегося в кассе, и тихонько сказал:

— Так оно и бывает...

Потом осмелел, подошел поближе к Эсфирь Марковне и громко спросил:

— Вот... я... жалованье у нас курицам на смех! У бабы корыто морозом расщеляло... Дура, на мороз вы-

несла корыто в пару. Новое надо покупать. А купил-то и ни шиша. Что я скажу, Шмуклерша: вперед за месяц бы получку получить?

Эсфирь Марковна весело мотнула головой:

— Кому другому, а Сидору Ивановичу, ой, я всегда готова сделать, как он хочет!

Сидор Мушка сунул деньги в карман, уронил гривенник, кряхтя и краснея подхватил его рукой, притопнул валенком, отодрал от полу непослушными пальцами и буркнул, уходя в дверь:

— Благодарим покорно!

Дверь затворилась с шумом, но снова отворилась, Сидор Мушка наполовину всунулся в магазин и прокричал:

— До Нового году и носу не покажу. Мы... тоже... честь знаем!

Мося визгливо захохотал. У Эсфирь Марковны затряслись под пуховым платком старые разбухшие груди. Берта высунулась из-за занавески с горящими глазами:

— Царский слуг-г-а!

В ночь пришли с обыском. Берта услышала звонок в передней и вместе стук на черном ходу. Она вздрогнула. Не попадая под плинтус будто растолстевшими сразу досками, с трудом закрыла отверстие, разбудила всех — и пошла отпирать. У Лии разошлись широко ресницы, и она не могла ими двинуть.

В комнатах затренькали жандармские шпоры, застучали тяжелые сапоги и кожаные валенки городских. Эсфирь Марковну, Берту и Лию толстая рыжая баба увела в магазин и начала обыскивать, шмыгая руками в волосах, под мышками, под грудями, в промежностях, задевая за волосы, делая грубую, подчеркнутую боль. Эсфирь Марковна стояла бледная и затаившаяся в себе. Берта и Лия отвернулись от матери и стояли, как две низкорослых рябинки у плетня. В соседней комнате обыскивали Мосю, и он твердил тревожно и глухо:

— Ну и что? Ну и что?

Кто-то заорал возмущенно и затопал ногами:

— Мол-ча-а-ть!

Мося замолк. Берту и Лию рыжая баба привела к Мосе и встала у дверей. Эсфирь Марковна переходила из комнаты в комнату с жандармами, и при ней обыскивали, роясь в белье, в книгах, в мебели, за обоями,

оглядывали полы, припадая к ним ушами и слушая, отыскивая люки, лазили со свечой в дымоходы, открывали, обжигаясь, печные дверки, отдушины.

В магазине навалили груды шляпных картонок и коробок на прилавок, а потом вытряхивали шляпы в одно место на разостланную по полу бумагу. Эсфирь Марковна видела, как городовые незаметно совали в карманы ленточки, а ленточки выпускали из карманов розовые, голубые и черные уши. Страусовые перья дрожали на шляпах, как в живом птичьем хвосте, а брошенные на пол, они были как кивера конницы. Шляпы на полу всё прибывали и прибывали. Они уже скатывались с груды к сторонке, как курицы с пестрыми хохлами, разбегавшиеся от взлетевшего над ними ястреба. Городовые лазили по пустым полкам и гладили ладонями их гладкие хребты, подымая пыль и черня руки.

Из магазина уходили, досадуя и затаенно стыдясь погрома, подчеркнуто супя брови. Сидор Мушка важно протащил кожаные валенки мимо Эсфирь Марковны и не поглядел на нее, не узнавая.

Часы много раз били: Эсфирь Марковна сбилась со счета. Обыскивали комнаты и перешли на кухню. Два городских трудно, опасливо и торопливо открывали тяжелое, захоженное, сросшееся с полом творило в подвал. Впились в творило, как впиваются метельными ногами в огни деревни заблудшие пешеходы в полях. Три жандарма вынули наганы и направили впереди себя. Эсфирь Марковна устала, изнемогла, сердце рванулось, перебилося, замерло, на лбу выступил мелкий дождь, и одна капля наплыла на слезивший глаз.

Творило грохнулось о пол, и, будто вытряхивали мешок из-под пшеничной муки, пыль поднялась густо и серо над люком. Переждали, отфыркнулись, осветили люк свечой — и полезли. Долго и старательно осматривали, выстукивали. Жандармы, конфузясь, осторожно убирали наганы в кобуры.

Рассвет колотился в окна розовыми льдинками. Серые, оплывшие от бессонья глаза жандармов и городских, скучая, глядели в пустой подвал, в раскрытые двери развороченных комнат с кроватями, с мебелью, вытянувшейся гуськом, с поднявшими ножки кверху диванами.

— Кажется, всё? — вздохнул облегченно жандармский офицер и закурил, щелкая серебряным портсигаром с рубином. — Сени обысканы?

— Так точно!

Эсфирь Марковна придерживала груди, шатавшиеся над частившим сердцем.

А Сидор Мушка уже выкидывал из чулана картонки и коробки.

— Чуланчик, ваше благородие!

Все повернулись к чулану и ждали. В узкие двери, как дым из трубы, шла густая, надсадная пыль.

— Стой! Стой! — приказал жандармский офицер. — Не пыли так! Ты словно улицу подметаешь!

Сидор Мушка услужливо гаркнул:

— Я начистую, ваше благородие! Вороху тутотка воз.

— Остановись! Не надо!

Эсфирь Марковна замерла. Сердце уныло заныло, и глаза сузились, замигали, как фитиль в догоревшем ночнике. Сидор Мушка посторонился. В чулан брезгливо прошел жандармский офицер, закрывая рот платком. За ним вошли два жандарма.

Эсфирь Марковна жадно слушала, привалясь к стенке чулана. Стучали о пол. Разворашивали падавшие картонки и чихали над дрожавшей свечой. А потом офицер со смехом сказал вполголоса:

— Жидовская опрятность! Тут не живут лет двести! Какое скотство!

Еще раздалось несколько ударов частых и отрывистых о пол, о стены. Эсфирь Марковна прижалась щекой к холодной переборке и одним глазом глядела через коридор на запывавшее розовой дрожью окно в комнате Моси: морозные тюли алели от алого зеркала солнца, наводившего его на город. И навстречу им загорелось светлое зерно в глазу, сияющее, острое, режущее, как алмаз.

Офицер выскочил из чулана и плотно обтер губы платком. С презрением и гадливостью он сказал Эсфирь Марковне:

— Какая у вас отвратительная грязь! Неужели нельзя жить чище? Ведь это же свалка!

И смахнул с шинели приставшие пушинки страусовых перьев.

Эсфирь Марковна удивленно, непонимающе, мягко хитря, ответила:

— Ой! И чего же вы хотите от чуланчика? Какая особенная грязь?

Офицер содрогнулся плечами.

Берта, Лия и Мося не отрывали глаз от дверей. Рыжая баба выглянула в коридор. Прошел мимо офицер и махнул рыжей бабе рукой. Она обернулась внутрь комнаты злыми пестрыми глазами:

— Теперь можно!

И пошла.

В столовой составляли протокол.

Эсфирь Марковна не подымала успокоенных глаз на Бертю, Лию и Мосю, спокойно отвечала на задаваемые вопросы и приветливо улыбалась на шутки офицера. Берта и Лия сидели бледными черными арапчатами. Мося жевал большие красные губы и лукаво глядел по своему огромному носу на скользившее перо офицера. В столовой закурили папирос. В дверях стояли городовые и курили махорку, несмело выпуская дым в коридор.

— Честь имею кланяться, — сказал офицер, уходя. — Извиня-я-юсь за беспокойство!

Эсфирь Марковна ухмыльнулась:

— Ой, какое беспокойство! Никакое беспокойство!

Сидор Мушка пригнулся к уху Эсфирь Марковны и шепнул:

— А всё из-за Арошки-поганца!

Отскрипели по снегу жандармы и городовые. В комнатах открыли форточки. Эсфирь Марковна села за стол и отвалилась на спинку стула, долго проводила по глазам, а глаза смеялись и слезились. Мося, засунув большой палец левой руки в боковой карманчик пиджака, важно ходил по столовой. Берта и Лия возились у печи, прижимаясь к ней зазябнувшими животами.

Эсфирь Марковна отсчитала про себя восемь прозвеневших в боковой комнате ударов часов и озабоченно сказала:

— Берточка! Надо типографию поить чаем.

Мося побежал в чулан, открыл творило и позвал:

— Товарищи, вы не умерли еще там от штреха?

Ваня Галочкин засмеялся в темноте:

— Умерли не умерли, а поджилки трясутся. Ахум! Зажигай светильню! Пронесло!

Они все поднялись к отверстию. Мося хватал в полутемноте руки и пожимал.

— Очень и очень даже здорово,— вздохнул Бобров,— но наверное ли они ушли далеко?

— А что они, по-твоему, на завалинке сидят? — шутил Ваня Галочкин.— Мося, Бобёр тряся около меня, как рыба на крючке. Ногу городского в дырку видел.

— Ты очень храбрый, Ваня, а я трус,— спокойно отвечал Бобров,— но, Мося, почему они нас не нашли?

— Ах, они так искали, так искали! И не могли найти! В кухне они лазили в подвал и стучали в стенка...

— Что ты сказал? Они спросят у генеральши о другом подвале — и придут снова!

В голосе Боброва было беспокойство, страх и отчаяние.

— Будет тебе чепушить! — досадливо буркнул Ахумьянц. Он помолчал. И вдруг задышающим голосом закричал ликующе: — Братцы! Дайте мне сегодня покурить!

Ваня Галочкин присвистнул и хохотнул. Мося, радуясь, затараторил:

— Гут, гут, гут!

В девять часов на двери «Венского шика» Мося вывесил на круглой крышке от картонки объявление:

МАГАЗИН ЗАКРЫТ НА ПАРУ ДНЕЙ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В голубом доме Брянчаниновых встретили Новый год. Алеша знал Анатолия с детства. С годами разошлись. Встретились на улице. Постояли. Поговорили. С осени Алеша начал бывать в голубом доме. А потом стало нужно бывать.

Перед Рождеством Галина Сергеевна вложила в руку Алешу письмо и шепнула ему:

— Передайте Лиечке.

Алеша скомкал письмо, и ему показалось — покачулся от неожиданности.

— Вы ее знаете? — шепнул и он.

— Нет. Но так нужно. Вы будете ей передавать. Она — дальше.

Алеша понял и взглянул в нее удивленными и близкими глазами:

— Это Зелюк?

Галина Сергеевна сухо ответила:

— Нечистая сила.

И они оба улыбнулись, каждый своему заветному.

Алеша пришел под Новый год за письмом и остался за полночь. После ужина и шампанского и подвыпивших речей Ветошкина, Чернова и Алеши Анатолий сел за рояль. Гости перешли в белый зал. Начались танцы.

Галина Сергеевна сидела на диване и любовалась стройным телом Алеши, ходившим вокруг Люды и уносившим ее, будто отделяя от паркетного пола, по кругу. Тур сидел рядом и морщился и бурчал ей:

— Несерьезно это, несерьезно... Конспирация, революция тут сами по себе. Плясун! Ловкий плясун!

— И красивый.

Тур недружелюбно глядел на мерцавшего голубыми глазами Алешу, проходившего в танце мимо дивана и звеневшего нежнейшим смехом.

— И полезный!

Галина Сергеевна весело твердила свои возражения Туру.

— И мне хочется потанцевать. Нельзя?

Тур поднимал очки кверху и молчал.

— А? Можно, Тур?

— Вам можно. Танцы для вас не всё.

— Как жаль, что вы не умеете танцевать. Я бы хотела сделать с вами несколько туров. Только с одним с вами.

По залу кружилась одна пара: Люда и Алеша.

Галина Сергеевна восторгалась:

— Замечательно, замечательно! Вот мастер! Никому и в голову не придет, что у этого танцора в кармане прокламация для типографии.

Тур сделал брезгливое лицо и возмущенно вздохнул:

— Не нравится мне, не нравится это...

— Как вы невзлюбили его, прямо непонятно! У вас против него что-то личное.

— Да ничего нет, ровно ничего,— волновался Тур,— а было бы... поборол в себе.

— Чего же вы раздражаетесь и брюзжите, как Александра Александровна, когда у нее болит живот?

Тур неловко зашевелился на диване и завозился задом. Прозвенели ослабевшие пружины, и он покраснел красными пятнами на серых и хмурых щеках.

— Легкомыслие меня бесит в человеке. И довольство собой. Не верю я ему. У него гладкие и пустые руки. Он от скуки с нами. От безделья. Не учится,

потому что богат. Революция для него — мода... романтизм... не внутреннее, не органическое. Его привлекает таинственность, загадочность... и некоторая опасность... нравится... вот так же... как пляска... И это от богатства. Приятно сорить деньгами и... и... играть в революцию.

— Ну вас! Ну вас! Вы несправедливы! — Галина Сергеевна засмеялась. — Не все ли вам равно? Разве он плохо делает, что ему поручено?

Тур задумался:

— Нет, хорошо. Хорошо до поры до времени, пока не надоело. Это мне и тяжело. И все они... такие молодчики... Рабочие слушают, слушают, глядят, глядят, а в глазах недоверие. Ничего не скажут, а чувствуют притворство. И это вредит работе. От них на других перекидывается подозрение... на организацию... на партию... Наносные пески!

Алеша остановился против дивана и белейшим платком вытирал пот с лица, просто и радостно лучась довольством собой, белым залом, веселой новогодней ночью.

Анатолий повернулся на стуле от рояля и ревниво укорял Галину Сергеевну беспокойными взглядами. В зале хлопали в ладоши Алеше и Люде.

— Новый год начинается весело, — белели эмалевым блеском зубы Алеша, — я люблю потанцевать...

— И, кажется, выпить? — сказала Галина Сергеевна.

— И выпить, и покурить, и сыграть в карты, и на билльярде, и множество всяких «и», — добродушно болтал Алеша. — Человек, кто бы он ни был, по-моему, не гербарий, чтобы положить себя в папку и замкнуться.

Тур, не глядя на него, проворчал:

— Словом, *carpe diem*?¹

— Что же плохого в *carpe diem*? Лозунг этот сильный, молодой. Античные люди умели и работать, и отдыхать, и думать. Вы не танцуете, Галина Сергеевна?

— Танцую. Неважно, а танцую. Один вальс.

И Галина Сергеевна встала с дивана. Алеша радостно потер руки и захлопал в ладоши:

— Вальс! Анатолий, вальс!

Анатолий заиграл. Алеша изгибался около него и ласково касался на ходу его волос, шепча быстро на ухо и не ломая танца:

¹ Лови день. Употребляется в значении: не теряй времени (лат.).

— Отобью жену!

Анатолий ниже наклонялся к роялю, мотал головой и путался в клавиатуре.

Тур грустно прижался в угол дивана, снял очки и лениво протирал их скучавшими руками.

Вальс кончился. Его повторили. Галина Сергеевна долго не приходила. Рядом с Туром сели Ветошкин и Чернов и злословили, подтыкали Тура под бока, дергали его за рукава пиджачка, нашептывали в уши слова, слышанные им сотни раз, измятые и бескостные, как невыспавшееся лицо.

Тур отталкивал их, сердился и усмехался уныло на несдержанный смех.

Подошла Александра Александровна с прищуренными насмешливыми глазами:

— Тур спит?

Чернов ответил, смеша Александру Александровну и Ветошкина:

— Нет, что вы, он мысленно поправляет ребячьи тетради. На святках, говорят, ему штук двести со всех классов подвалили тетрадей. И он осточертел. Спрашивал сейчас у нас, как пишется слово «мелкий» — через мягкий знак или без мягкого знака.

— Ах, болтушки! — сказала Александра Александровна. — Тур, не поддавайся!

Смотрели мельком вслед уходящей Александре Александровне, и Ветошкин шептал:

— Какая у нее нелепая задница! Как будто к ней пристало огромное дедовское судно и его прикрыли платьем.

Тур больно и жалобно сморщился от гоготания студентов, осуждающе разводя руками.

Чернов дружески обнял Тура:

— Целомудрие! Святое целомудрие! Как только ты управишься со своей женой, если она у тебя будет когда-нибудь?

Гадливо и серьезно пробурчал Тур:

— Циники! Грязные циники! Вы не замечаете... как от вас пахнет!

Ветошкин и Чернов засмеялись:

— Чем, чем пахнет? Любопытно!

Тур не ответил, а студенты продолжали хохотать.

Раздельно, повышая голос в шорохе и шарканье ног танцевавших, в ветре шлейфов, в звуках рояля, проговорил Чернов:

— Женщина есть собственность мужчины — конечно, по воззрениям буржуазного общества. Ты, Тур, не сердись! Нам... это шампанское намастило языки.

Алеша круглым поворотом посадил Галину Сергеевну на диван и перенес свою руку на талию Люды.

— Вот как мы-то! — запыхалась Галина Сергеевна. — А вы все кукситесь и бранитесь? И обдумываете?

Тур нежно взглянул на колыхавшуюся усталую узенькую грудь и пододвинулся к Галине Сергеевне:

— Я в порядке... ответственности... прошу вас, Галина Сергеевна, я должен, предупреждаю вас... Уханов не должен знать, от кого и что он получает в конвертах...

— Как вам не стыдно! — сверкнула обиженными глазами Галина Сергеевна. — Вы привыкли иметь дело с ребятами в школе!

— И со взрослыми за стенами школы.

Тур хотел улыбнуться, а глаза не слушались и хмурились:

— Я твержу и буду твердить: Зелюк сделал глупость, что поручил в столь важном деле пользоваться нам такой... какой-то... случайной... вот-вот оборвется... связью через Уханова.

— Тур, я смеюсь. Видите, я смеюсь над вашей осторожностью. Алеша предан делу и увлечен им. Зелюк знал, что делал. Уханов вне всяких подозрений от жандармов и полиции. Больше ничего не требуется. Алеша — танцор, гуляка, повеса — для всех. Перестаньте, говорят вам, хмуриться. Вы, я подумаю, завидуете его легкости, с какой он делает самые противоречивые вещи.

Тут Галина Сергеевна отпрянула от Тура и вскрикнула.

Тур схватился за грудь, закашлялся, побагровел, очки соскользнули с носа, он беспомощно половил их одной рукой по воздуху, очки упали на пол и разбились... Из-за усов хлынуло красное и пролилось на диван, на брюки и на бледные кисти рук Тура. Анатолий оборвал игру, кинулся, роняя стул, к Галине Сергеевне. Диван окружили перепуганные люди. Тур медленно отвалился к диванной спинке, и лицо, как белый ком ваты, выделилось на темной обойной материи.

Алеша неся из-за колонн с плещущим стаканом воды. Пелагея ужаснулась в дверях. Галина Сергеевна и Володька бережно положили Тура на диван.

— Галиночка! — шептал Анатолий жене. — Ты осторожнее! Ты... можешь заразиться!

И на тревогу мужа Галина Сергеевна резко отстранилась от него и вся скомкалась отвращением и негодованием.

Анатолий растерянно искал защиты глазами вокруг себя, словно все слышали и понимали Галину Сергеевну. Тура понесли в мезонин Алеша и Володька, а за спину поддерживали Ветошкин и Чернов.

Гости расходились, поспешно натаскивая в передней шубы, застегиваясь в холодных сенях, торопясь забыть кровавые густые пятна на блиставшем паркете. Люда озабоченно издали поглядывала на диван и наклонилась к уху Александры Александровны:

— Мамошка! Обивку на диване придется менять.

Александра Александровна вздрогнула, переступила ногами, будто наступила на что-то грязное и отвратительное, отклонила голову в сторону и оттолкнула от себя Люду.

И вдруг с лестницы в мезонине закричала Галина Сергеевна резко, повелительно:

— Анато-о-лий! Анато-о-лий! Доктора! Где же, где же доктор?

Анатолий закидался по комнатам, хватал на вешалке пальто, не находил шапки, искал калоши и, махнув в отчаянии рукой, выбежал на улицу.

Утром Галина Сергеевна спустилась к себе в спальню и прилегла на кровать, долго глядела в потолок не закрывавшимися глазами; тело было неживое, холодное, жили только глаза печальными, поблекшими цветами. Анатолий спал на своей кровати со здоровым ровным воркованием. Из рта у него вытекла сонная слюна, мутная и желтая, и размазалась по щеке. Галина Сергеевна как-то само собой перевела глаза на Анатолия. Обтянутое одеялом тело слегка колыхалось. Из-под одеяла видна была маленькая бледная ступня с перламутровой мозолью на мизинце, ногти были аккуратно и кругло подстрижены... Галина Сергеевна содрогнулась. Ее замутила трудно сдерживаемая рвота. Она зажала испуганными руками рот и отвернулась от Анатолия.

Пелагея с Аграфеной разводили для себя ранний утренний самовар на кухне и стучали железной трубой. Прошел по коридору на кухонные голоса Карушка и заскребся лапами у дверей. Галина Сергеевна уснула.

Очнулась она от тяжелого грохота за стеной. Она вслушалась. По комнатам волокли что-то тяжелое, тяжело громыхавшее и скрипевшее по полу.

— На себя, на себя тяни! Придерживай за спинку! — раздавался голос Пелагеи.

Галина Сергеевна вспомнила диван в зале, поняла, что это волокли в сени диван, и заплакала. И еще больше она заплакала о тишине над головой: в мезонине, где лежал Тур, не ходил он сегодня легкими отдаленными шажками.

Тур пролежал неделю. И всю эту неделю Тур мешал ей говорить, спать с Анатолием и ходить на службу.

— Галиночка! Галиночка! — вертелся Анатолий и кружил около нее.

Галина Сергеевна сурово отгоняла Анатолия и отмахивалась от него, как от дыма, евшего глаза.

Тур встал на ноги и снова ходил в мезонине, — она слышала, — от дверей до окна, от окна до дверей.

В конце святок в белом зале поставили диван с новой обивкой. Галина Сергеевна сначала недружелюбно посмотрела — и вдруг уселась на него, покачалась, погладила рукой упругие бока... В доме никого не было. Все куда-то разбрелись после обеда. Только на кухне Пелагея с Аграфеной мыли посуду и делали послеобеденную уборку. Только в мезонине был Тур, — она чувствовала, — и, может быть, ждал ее. Галина Сергеевна посидела на диване, напружив глаза на вечеровые колонны, — глаза настойчивые, решительные, — потом забралась на диван с ногами и легла на живот, уткнувшись в маленькую подушку с нашитым на ней шелками павлином.

С кухни, издалека, врывались в тишь дома резкие, скрежещающие стуки тарелок, лязг ножей, шарканье противней и плошек. Пелагея бегала в буфетную и носила туда вымытую посуду, похлопывала дверями и скрипела буфетной дверкой.

Понемногу стихала возня на кухне. Вечер накатывался на окна, густел, кто-то громоздил на небе серые завесы туч одна на другую. Галина Сергеевна слушала знакомые

вечерние часы жизни в доме. Пелагея перестала ходить в буфетную. На кухне все уgomонилось.

Галина Сергеевна заслушалась тишайшего молчания дома. Потом подумала о Пелагее и шепнула павлину на подушке: «Сейчас запоет». И Пелагея запела, как она часто и подолгу пела на кухне после обеда. Пела Пелагея себе под нос, когда дома были все, и легко, открыто, как в поле, в лугах, пела она без господ.

Галина Сергеевна слушала сначала озорные, скачущие молодым жеребенком частушки-коротушки и повторяла строчку за строчкой вперед знакомые слова, вслушивалась в незнакомые песенки и замирала над ними, легко смеясь или грустя, покуда они не забывались, смененные другими.

Пелагее надоели частушки, и вместе с ней они надоели Галине Сергеевне, как чистый, ясный звук отдельной клавиши, капавший в темноте, когда Анатолий убегал после ссоры к роялю и боязливо касался клавиши, певшей для него: Галлиночка! Галлиночка! Галлиночка!

Пелагея переменяла озорной свой голос на заунывный, протяжный, и по комнатам заволновались, закачались слова заунывные, протяжные, зовущие...

Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь.
Как по этом по колечке
Буду плакать день и ночь.
Где девался тот цветочек,
Что долину украшал?
Где мой миленький дружок,
Что словами обольщал?

Пелагея охнула и задержала голос, а потом он вылился, весь печальный и жалкий, как мокрое осеннее дерево, отряхающее дождь:

Обольстил милой словами,
Сам уехал навсегда...
Навсегда, навсегда, навсегда, навсегда...

Галина Сергеевна не дослушала песни. Она вскочила с дивана и торопливо пошла из зала.

Са-а-м уехал навсегда-ы-ы...—

пели плачущие слова.

В мезонине на столе горела свеча.

Тур стоял у окна, глядя на смежающиеся в сумерках сарай, садовые перильца, сваленные на снегу дрова...

На нем была белая рубашка без пояса. Тур оборотился на шаги Галины Сергеевны и начал шарить на стульях, на подоконнике, на полу пояс. Он топтался за столом, закрывал руками рубашку, боясь без пояса выйти навстречу Галине Сергеевне. Она видела смешную суету Тура, и суета была ей дорога. Сердце Галины Сергеевны извивалось под платьем в счастливой потяжке, и Галина Сергеевна звонко засмеялась. Она прошла за стол к Туру, положила ему на шею руки, взяла их в замок и медленно, не сводя глаз со съехавших на нос очков Тура, стала тянуть голову:

— Ничего!.. Брось! Турик мой! Турик мой!

— Что? Что? Что? — затрепетал Тур.

Галина Сергеевна положила ему на плечо голову и крепко сжала шею. Тур обеими руками схватил ее голову и, дрожа, как после долгой зимней дороги, в упоении и тревоге почти кричал:

— Немыслимо! Невозможно! Нет, невозможно! Я сойду с ума! Я не верю! Я упаду сейчас!

Они встали у окна. И молчали, и застыли в неподвижности. Свеча шаталась на столе красной кисточкой огня и кидалась неровными лижущими брызгами на белую рубашку Тура.

Пелагея выводила на кухне глухо и нежно:

Прощайте, ласковые взоры,
Прощай, мой милой, дорогой!
Разделят нас долины, горы,
Врозь будем жить теперь с тобой!

Аграфена подтянула густой дребезжащей фальшью:

Врозь будем жить теперь с тобой!

И скомкала песню. Пелагея несколько раз начинала снова, но голос сбился, песня не налаживалась. Аграфена захохотала. Пелагея зло и отчаянно крикнула:

— Чего прилезла, сатана? Пой одна, а другим не мешай!

Прощайте... Прощайте... ласковые...

Тьфу! Тьфу! — заплевалась Пелагея горько и жалобно. — На вот тебе за это!

На кухне раздался жирный и звонкий шлепок. Кухарки с визгом и хохотом завозились, застучали ухватами, кастрюлями, противнями, зазвенел стол с посудой, загромыхала упавшая на пол табуретка.

Сквозь грохот и возню заколотился у дверей колокольчик. Галина Сергеевна быстро поцеловала Тура, подхватила левой рукой платье и мелькнула по лесенке.

У Тура в руке дрожала свеча и, отекая вбок, капала на ботинки, на лесенку — скрипучий колодец вниз.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Алеша проезжал на сером жеребце мимо «Венского шика», придерживал лошадь и глядел на окно за тюлевой занавеской. Лия давно уже придвинула стол к окну и ждала его раскрытыми темными глазами. Она выходила и на углу садилась в лакированную пролетку или в сани с голубой спинкой. Алеша трогал лошадь. Серый жеребец уносил из города в поле. Там Лия вынимала из-под кофточки, из-за корсажа, из штанишек, с подпухшего живота листки — и он рассовывал их по карманам, под сиденье, под ножной коврик.

Когда надо было вынимать листки из штанишек, она медлила и внимательно косила глазами на Алешу. Он смеялся и не отвертывался. Она вопросительно говорила:

— Ну-у?

А Алеша весело просил:

— Дай мне посмотреть, как ты это делаешь!

И целовал ее в щеку, обнимая рукой за талию и осторожно нащупывая на бедрах шелестевшую бумагу.

Лия сопротивлялась:

— Оставь, Алеша! Ну же, скорее! Мне не совсем удобно так сидеть!

— Не оставляю, не оставляю! Вот и не оставляю! — кричал озорно Алеша и вызывающе наклонял немигающую голубизну глаз к ее просившим глазам.

Серьезно и угрожающе говорила Лия:

— Ты нехорошо шутишь! Отвертывайся! Я прошу... Я последний раз еду на лошади.

Он умирался, отводил глаза в сторону. Лия поспешно доставала листки из штанишек, наваливаясь на него спиной.

Алеша не глядел, но протягивал назад руки и пугал ее, щекоча и подтыкая. Освободив штанишки от бумаги, Лия хватала его за уши и трепала докрасна, до боли,

а он сильно охватывал ее и сдавливал покорно и ослабело на своей груди.

Серый жеребец скакал по большаку. Проезжали деревнями, селами, усадьбами. Опускали вожжи и как бы дремали в легком покачивании. А потом жеребец нес четверьмя быстроногими верстами обратно в город. Алеша высаживал Лию недалеко от «Венского шика» и медленно ехал домой, давая остынуть запотевшему мыльными клубами серому жеребцу.

Встречались на бульварах, в театре, на Прогонной улице. Она по делу выходила днем, с картонками в руках, уходила в далекие предместья, ехала на конке — он поджидал и помогал нести картонки. В укромных местах Алеша разглядывал картонки и выбирал листки и газеты, быстро перекладывая в портфель или завертывая в бумагу и перевязывая заготовленной ленточкой.

— Лия! Достаточно ли ты осторожна? — боязливо спрашивал Алеша.

— Тебя надо спросить об этом!

— Я собаку съел на конспирации, — горделиво сердился он. — Зелюк должен беречь людей. А для него люди, как камни на мостовой. Выбоины будут на дороге, другими такими же камнями заделают — и опять лошади стучат копытами.

— О! Ты не знаешь Зелюка! Он хитрее всех людей на свете!

— Будто так! Уж одно то, что Зелюк приносит прокламации тебе, девушке, ошибка. Ты случайно попадешься, ты не знаешь, какими дьявольскими способами и ловкостью обладают жандармы. Они у тебя вытянут такие признания, что ты сама удивишься, когда потом о них тебе скажут.

— Алешка! — засмеялась Лия. — Ты, я вижу, начинаешь трусить?

— Какие ты говоришь глупости! — резко прервал он.

— Так помни, — вся заструилась нежностью и лаской Лия, — девушки крепче мужчин. Найдут прокламации, газету? Не-е-т, они не узнают! Я не выдам Зелюка, пускай меня разрезают на ленточки.

— Неужели ты, Лия, так убеждена?.. — он запнулся.

— В чем?

— Ну... в революции.

Лия тревожно и жадно взглянула на задумавшегося Алешу:

— А ты? А ты?

Она просунула свою руку под его руку и вцепилась спрашивающими пальцами, голосом, глазами.

Раздумчиво, боря в себе сомнения, Алеша воскликнул:

— Я... да... О, я-то конечно!

И ему стало стыдно лжи. Он примяк к Лие, взял на ладонь ее маленькую руку,дохнул на нее и, закачавшись, проговорил:

— Нет... я вру... я не всегда... я устаю верить. Трудно, трудно... Рабочий класс еще... дикий. Интеллигенция боится выстрелить из ружья. Какая уж тут революция! Интеллигенции воевать зубочистками. Мужики — те рас-селись на тысячи верст. Они недоступны организации. И одной деревне до другой дела нет. Тысячи-то, тыся-чи-то верст мужицкой России объединить одной идеей?! Не-е-т! Это чу-у-до!

Лия рассердилась и возмутилась:

— Ты дрянь! Ты дрянь! Какой камень Зелюк! Какой он про́волока!

— Разве я говорю: не надо работать, не надо доби-ваться? — взволновался он.

— Не нужно больше говорить! И все очень понятно мне! — сказала печально Лия.

Они молчаливо пошли.

Вдруг она стиснула руку Алеши, гневно въелась в него глазами и едко, отчаянно, горько бросила:

— Ты можешь и не встречаться со мной! В чем дело? Тебе понравилась русская беленькая девушка? Она умеет лучше любить? О, я поняла: ты хочешь оставить Лию! Сделай такую милость! Лия не пойдет тебя просить о любви! Моя мамаша мне очень даже много раз гово-рила: «Лиечка, русские только играют еврейками». Тебе скучно с Лией... Лия умеет делать только шляпы и цело-ваться! Лия очень мало знает!

— Вздор, вздор, вздор! — засмеялся он.— Любят, Лиечка, разве за то, что люди много знают? Ах, какая ты чудачка! Дай, дай мне твои губы! — передразнил он голос Лии.

Она отодвинулась.

Алеша наклонился к губам. Лия откинула голову, закрыла рот ладошкой кверху.

Он со смехом прижался к ладошке.

Алеша провожал ее до «Венского шика» и вился около нее, как изворотливая повилика в траве.

— Тебе нельзя смотреть на других женщин! — серьезно шептала Лия, прощаясь. — Я тебя съем! И... обгложу косточка!

Он уходил, унося и оставляя в ушах радостный и бурный смех любви.

Пришел арест Зелюка, пришел обыск в «Венском шике», Лия невесело села в санки... Серый жеребец выкинул комья снега, швырнул еще и начал пылить серебряной порошей и пылил, покуда не выскочили через Зеленый Луг к Чарыме на укатанную ледяную дорогу. Она вынула листки из-под шубки и сунула Алеше. Он удивился:

— Опять листки?

— Ну, да, — недовольно ответила Лия. — Ты что же думаешь: Зелюк очень-таки все понимает. Зелюк сидит в тюрьме, ну, так в чем дело? Его товарищи поживают себе в городе.

— Молодец Зелюк! — вырвалось у него. — Какой он молодец!

— Моя мамаша очень сердита-таки на Зелюка, — продолжала Лия, — она так испугалась, так испугалась обыска! Всю ночь искали...

— Дур-ра-ки! Берта не плачет?

Лия засмеялась:

— И что же Берточка будет плакать? Зелюк разве на всю жизнь будет сидеть в тюрьме? О, его скоро выпустят! У него дома ничего не было.

— Откуда ты знаешь?

— Не такой Зелюк Афонька — держать дома ночью чего-нибудь...

Алеша с восторгом обнял Лию:

— И ты у меня молодец! Но как ловко, как ловко вы проводите свою старенькую мать!

Лия спрятала в воротник хитрившие и смеявшиеся в меху глаза:

— И ничего нет ловкого. Мамаше не нужно плакать под старые свои годы на Берточку и Лиечку.

Он привозил домой листки и газеты и прятал их в потайные ящики в столе, в зеркалах, в диванах. К нему приходили студенты и разносили листки по городу, в разные концы, отсылали за город и расклеивали в ночь.

Сидор Мушка видел, как выходила Лия к поджидавшему Алеше, и ухмылялся и бормотал весело:

— Дело на мази! Дело на мази! Ягоде не устоять!

Берта и Мося часто дежурили у отверстия за Лию. Эсфирь Марковна недовольно говорила:

— Лиечка, мне кажется, тут не совсем конспирация!

Но она отводила глаза в сторону, багровела, как маленькая яблоня с китайскими яблоками, и сердилась:

— Но почему мне не сходить с товарищем Ухановым в театр? Разве я плохо работаю? И разве плохо работает товарищ Уханов?

В театре они сидели в укромно-темных местах, горя близостью и жаром рук, ног, сомкнувшихся плеч. Волосы Лии касались его щеки, и он осторожно ловил ртом темную прядь. В перерыве она висела на руке Алеши, семена ножками за его широкими шагами. Ему улыбались знакомые женщины и девушки. Он иногда оставлял Лию и, переходя поперек фойе, подходил к ним, расшаркивался, целовал руки и делал круг, заглядывая на сверкнувшую острыми глазами Лию. Она бледнела и беспокойно шевелилась на бархатном диване.

— А вот и я! — весело садился Алеша рядом. — Отделался. Нельзя было. Давно не встречались.

Лия не отвечала, но, хищно раскрыв мелкие, как речной жемчуг, зубы, она исподтишка щипала его руку, вонзала колючие ногти и угрожающе придвигалась будто разгоревшимся на ветру пламенем глаз.

Алеша потирал болевшее место и смеялся:

— Ты кошка! Настоящая кошка!

А у Лии на глазах была ревнивая мутная пленка слез.

На ночных улицах после театра она кричала на него, рассыпая мелкий песок слов обидных и резких, отталкивала — и быстро шла домой одна.

Лия дежурила до утра у люка и плакала под хриплое дыхание Боброва и четкие трескучие ударики шрифта в верстатку.

Приходили новые встречи на тех же вечерних улицах, на бульварах, в скверах. В осенние вечера сквозь частое сито струил ленивый дождь, сидели урывками под развернутым зонтом на бульваре, Лия дрожала от холода и, бурно ластясь, шептала:

— Мигий! Мигий! Мигий!

У него подсыхали губы, опьянело руки искали груди, живот и тянули к себе.

— Лиечка! — задыхался Алеша и не договаривал, и глаза видели нагое смуглое тело Лии.

Доцветала рожь второго лета, как отставляли в «Венском шике» столик от окна и навешивали темную занавеску. Серый жеребец ускакал по большаку за подгороднее село Верею и задохся во ржах, роняя легкую пену усталости на желтую криулину дороги. Жеребец шел вразвалку по большаку, остановился — и вдруг свернул на ржаной проселок. Алеша подергал вожжами, но Лия вгляделась в забившую под ветром спину ржаных полей и устало сказала:

— А там очень красиво! Поедем туда! Брось вожжи!

Жеребец шел шагом по узенькому рубчику проселка, а колеса пролетки катились по глубоким колеям и осыпали за собой мелкий хрустящий камень. Пролетка наклонялась в глубоких колеях набок, и он поддерживал ойкавшую Лию.

— Но ты посмотри, какая умная лошадь,— говорила Лия,— она выбирает дорогу... идет, как по половичку!

Ржаные поля спустились с пригорка и разорвались зеленой неширокой низиной луговины, а дальше подымались на горку опять поля, шатавшиеся из стороны в сторону высокими колосьями.

— Лиечка, мы забрались далеко,— сказал он,— до Вереи будет версты три. А дальше Семигородние леса. Не поворотить ли назад?

— Нет, нет, я устала сидеть. У меня устала спина. Давай тут отдохнем. Пусты лошадь на луг — пускай она покормится. Трава густая, вкусная. А мы пройдемся.

Алеша огляделся вокруг. Лия в тревоге вытянулась:

— Ты что?

— Луг еще не кошенный,— сказал он,— могут увидеть мужики. Да никого, можно! Луг — верейских мужиков. Они — богачи! Можно немного и потравить.

Они вышли из экипажа и пустили лошадь в ложбину. Жеребец потянулся к траве. Мотая головой и звякая уздечкой, он стал жадно рвать скрипевшую на зубах траву. Вечереющее небо высоко плыло над головами. По дуге ржаных полей солнце скатывалось в низину, в кужлявые темно-синие глыбы облаков. Нижней своей гранью солнце задевало за рожь, и вдали колосья багровели, как тысячи зажженных свечей с колеблемым пламенем.

— Алеша,— нежно прошептала Лия,— будто рожь идет на нас... катится с горки... плещется... даже страшно...

Алеша глубоко вздохнул и молодо, задорно выкрикнул. Голос полетел по ветру, навстречу колосьям, закружился около них, жеребец вздрогнул и перестал рвать траву.

Она поморщилась и недовольно дернула Алешу за рубашку:

— Не кричи! Вечером лучше говорить тише.

Они сели на узкую межу. Рожь изгибалась над межей и звенела тишайшим неумолкаемым звоном, будто из каждого колоса дул легкий ветер, и усики колосьев терлись друг о друга, шуршали...

Солнце спустилось наполовину в облака огромным малиновым куполом неведомого собора, выстроенного на краю земли. И шел от него малиновый ясный свет и скользил по спинам полей дрожащими, переливающимися вуалями. Купол медленно погружался в облака, темнел, густел, израстал... И вот небольшой каравай хлеба постоял на облаках — и потонул, опустился на золотых цепях лучей в раздавшиеся облака. Тогда облака и тут и там вспыхнули: будто выросли всюду клумбы, будто еще выше поднялась хрустальная крыша неба и раскрылась бесконечная оранжерея с грядами причудливых цветов и деревьев.

Невидимая за рожью, заржала лошадь. Алеша поднялся и посмотрел на нее.

— Кто-то идет? — спросила Лия.

— Нет. Она, наверное, соскучилась по мне. Не видела, куда мы ушли, вспомнила — и заржала. Лошади часто зовут хозяина. Впрочем, надо взглянуть.

Он подошел к жеребцу, похлопал его по шее, огляделся, прислушался и вернулся.

— Потная вся, — сказал Алеша, — не прошла шаг. Загнали мы лошадь сильно.

Лия лежала на спине с пригнутым колосом в зубах и легонько проводила пальцем по гладкому стеблю ржинки.

На небе истекали последним багрянцем блекнувшие цветы оранжереи, и облака стали тусклыми, хмуревшими без солнца.

Он сел на межу. И сразу обозначился в его глазах круглый, пухлый живот Лии под белым платьем. А от живота шла к ногам опавшая складка между ног, и кромочка платья загнулась у коленка. Он горько и жалко раскрыл губы и поцеловал белое пятнышко коленка.

Лия вздрогнула, выпустила колос из рта, приняла губы Алеши и сдавила дрожащими руками его шею...

— Лиечка! Лиечка! — отчаянно шептал Алеша. — Я не буду, я не буду!..

Лия села на меже, закрыла лицо руками и низко наклонилась к коленям. Он глядел в землю и обрывал задумчиво траву, вырывал колосья с землей и складывал рядом.

Сумерки остывали и низили облака. Земля похолодела и отсырела легкой паутиной свежести.

Он робко обнял Лию. Она поежилась и не отняла руки. Тогда он приподнял насильно ее голову, заглянул в сухие, настороженные, обиженные глаза — и ждал ответа. Она застыдилась. На щеках зажглись два красных лоскуточка румянца и поползли ожогами по всему лицу.

— Ты... ты, — слабо зашептала она.

Он боязливо затих и задохнулся.

— Нехороший... гадкий...

И опять покраснела. Алеша радостно засмеялся, поднял Лию с земли, отряхал платье, разворачивал складки, а она шутливо навела на палец прядь его волос и осторожно дергала.

Жеребец застоялся. Он шел крупной рысью посвежевшими и уставшими качаться ржаными полями. Алеша крепко держал вожжи и с тревогой в качках подхватывал Лию.

В Верее кричали вдогонку скачущему жеребцу:

— Девку-то не оброни! Изломаешь девку-то!

Она одной рукой держалась за сиденье, придерживая другой шляпу, и наклонялась вперед затаившейся грудью навстречу шумевшему в ушах и скакавшему серым жеребцом ветру. За Вереей Алеша дал передышку жеребцу, опустил вожжи, раскрыл рот, но Лия быстро сунула руку на его губы и тихо сказала:

— Молчи! Ничего не говори. Скорее домой!

И она сама потянулась к вожжам. Он торопливо подхватил вожжи, и жеребец опять пошел крепкой рысью. Он следил за ходом лошади и мельком взглядывал на Лию, косясь из-под ресниц. Она недовольно и вдруг возмущенно закричала:

— Не смотри, не смотри на меня!

И засторонила от него маленькой рукой, приставленной к глубокой шляпе, надвинутой на глаза. Он покорно и молча управлял лошадьё, напружив вожжи.

С тех пор в то лето верейские мужики часто видели серого жеребца и судачили:

— И куда только гоняют, черти? Лошадь — позыв лошажнику. Девка кучерявая с чернотой! А парень — князь!

Пока не сжали рожь, они ездили в знакомую низину, на знакомую межу. И все повторялся вечер доцветавшей ржи.

В Емкипур богомольная Эсфирь Марковна ходила в синагогу с Бертой. Мося с Лией дежурили дома. Лия заплакала и сказала Мосе:

— Мося, у меня будет ребеночек!

Мося засунул в левый карман пиджачка большой палец, нахохлился и растерянно забегал глазами по ее фигуре.

— Ну! И как так можно! — закричал Мося. — И зачем было-таки делать? Ой, не говори мне ничего! Я все понял зараз!

Он убежал в чулан и, тревожно дыша над люком, грустно закачался на корточках.

Эсфирь Марковна вернулась из синагоги. Лия лежала на кровати, закрыв голову подушкой. Она слышала, как говорил быстро, захлебываясь, Мося в столовой. Лия вздрагивала под подушкой и крепко жмурила хотевшие плакать глаза.

Укоризненно сказала Эсфирь Марковна, приподымая подушку:

— Лиечка, нам будет трудно без тебя...

Лия тянула подушку к себе и не отвечала. Эсфирь Марковна тихо погладила ее по спине, а Берта села на кровать. И Лие показалось, как мать и сестра ласкали набухшего в животе ребенка. Она затеплела, вспыхнула бурным и клокочущим жаром внутри, прижалась к матери, обняв ее широкое платье, а Берта тепло навалилась грудями на спину.

Утром Эсфирь Марковна сказала Мосе, когда открывали «Венский шик»:

— Зелюк очень и очень неосторожный человек!

— О, какой пустой человек Зелюк! — негодуяше воскликнул Мося.

И он печально затих в магазине.

Лия работала у окна и шепталась с сестрой. Эсфирь Марковна часто заходила за занавеску и заботливо спрашивала Лию:

— Деточка, тебе не нужно полежать? Берточка сделает работу и за тебя!

И Эсфирь Марковна обшаривала круглевший живот Лии. Та боязливо косилась на окно и приваливалась к столу, розовея алыми лентами, лежавшими на стуле в кучке других лент.

И раньше Алеша приходил к своему отцу Глебу Ивановичу.

В Покров голова каждый год справлял день основания прадедушкиной фирмы «Уханов и К°». Нищих тогда кормили пирогами в нижнем этаже у конюхов и выдавали нищим по медному пятаку. Вечером у Глеба Ивановича ужинали. Приезжал губернатор. Перед приездом губернатора по парадной лестнице настилали большой ковер. Губернатор шел по мягкой лестнице, важно ступая по губернаторскому ковру и беря Глеба Ивановича под руку. Губернатор бывал недолго и уезжал. Пролетка губернатора откатывалась от парадного, Глеб Иванович кланялся вслед, подымался неспешно к гостям и делал знак прислуге. Губернаторский ковер закатывали в большое мельничное колесо и убирали в кладовую.

Гости под утро расходились по узенькой тряпичной пестрой дорожке и шаркали нетвердыми ногами по желтизне деревянных ступеней покойной широкой лестницы.

— Глебка — скот! — кричал обиженный мукомол Гришин. — Губернаторский подлиза!

— По дерюге... так по дерюге... мы и по дерюге... нам и по дерюге сойдет! — рычал пароходчик Варакин. — А только зазорно, зазорно, Глеб да свет Иванович, свое сословие ни во что ставить. К-к-крысе канцелярской чин чином... а нам... тьфу-с!

Глеб Иванович посмеивался и будто не слышал, радушно кланяясь уходившим гостям.

— Не при-д-у боле! — ревел полицеймейстер Дробышевский, приезжавший к ужину после отъезда губернатора. — Мы по-смо-отрим, кто-о кого-о и... кому-у!

Глеб Иванович был радостен и весел в этот знаменательный для столетней фирмы день.

Алеше, как вошел он утром к отцу, Глеб Иванович заулыбался и загудел:

— Как же-с, как же-с, приготовил, сынок, приготовил тебе маленькую дачку.

Глеб Иванович сунул в карман сыну перевязанную ниточкой пачку кредитных билетов и весело пошатал его на ногах.

— На разгулку и хватит! С умом и с малыми деньгами можно форс задать! Большие деньги сам наживай. Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит.

Алеша взгляделся в веселое, как налитое вишневым, лицо отца, гладкое, глянцево-блестящее. Борода у Глеба Ивановича росла в три волосинки, и он брился. Алеша заметил легкий порез на подбородке, подумал о порезе, хотел спросить, а язык выговорил:

— Я не за тем, папа. Ты... никогда не догадаешься...

Глеб Иванович перестал улыбаться:

— А? Что такое?

— Мне... необходимо... жениться.

Он сказал и усмехнулся смущенно. Отец нахмурился и, будто считая в уме деньги и откладывая на косточках цифры денег, заговорил часто и цепко:

— Так... так... так...

Глеб Иванович заложил руки назад, встал прямо перед сыном и развел наконец руками:

— Ну, действительно удивил!

Глеб Иванович прошелся по кабинету и на ходу, раздражаясь и волнуясь и волнуя Алешу, едко и насмешливо спрашивал:

— А не раненько? А жену ты прокормить можешь? Аль и с женой на отцовские харчи? А может, приданого кучу берешь? А приданое намерен проживать! А где ты откопал такое... эту самую... необходимую... невесту! А учиться — не учишься! А кобелить, кобелить, кобелить, видно, того... этого... мастеровщинка?

— Папа, у меня через полгода будет ребенок,— серьезно сказал Алеша.

Глеб Иванович встал за большой дубовый стол и грузно захохотал:

— Хо-хо! Ха-ха! Внучонок, так сказать! Нежданной-негаданной! Хоро-о-шенькое происшествие! Для юбилея-с! Ты... ты... — Глеб Иванович взревел, беснуясь: — Ты... вислоухий! Ты... ты делом не занимаешься, стрекозой прыгаешь! А еще... туда! Нехитрое дело ребят делать! Тебя... тебя бить некому в двадцать пять годов, побродяжка лакированная!

Алеша сжал свои маленькие кулаки, задергало часто и больно левый глаз, повело рот в сторону, и он побледнел белее глянцевиной упругой сорочки Глеба Ивановича, надувшейся на широкой груди пазухой.

— Кто она? — рявкнул Глеб Иванович. — Где ухановские деньги не плакали! На воспитательный... на родины и на прочее... Гривенник на крестильную рубаху, семитка на крест! Четвертной потаскушке!..

Алеша повернулся и пошел к дверям. Глеб Иванович прыгнул, схватил его за плечи и заревел над ухом:

— Ст-о-о-о-й! Отцу спину казать? Про-хво-о-сти-на!

Алеша задрожал, скинул с плеч отцовские руки, оттолкнул Глеба Ивановича крепко и злобно толчком в грудь и вышел.

Манишка у Глеба Ивановича продавилась и сломалась, вывалилась на пол запонка и покатилась. Глеб Иванович очумело забегал по кабинету, пиная кресла, стулья, швыряя со стола ручки, карандаши, книги. Отбегав полчаса, Глеб Иванович зазвонил в большой медный колоколец. Вошла маленькая, в белом передничке, горничная.

— Это что? Это что? — кричал Глеб Иванович, тыча в манишку и скидывая обшлага. — Перекрахмалили? Ломается? Досмотреть некому? Во-о-н! Во-о-н, дармоеды!

И Глеб Иванович со всей силой грохнул о пол медным колокольчиком. Горничная вскрикнула и убежала. Глеб Иванович расшваркнул настежь двери из кабинета и закричал в анфиладу комнат:

— Эй! Вы! Кто-о там? Позвать Алексея Глебыча!

За Алешкою прибежала горничная, экономка, старый лакей, повар.

Он твердо и ясно ответил на зов:

— Так и скажите: Алексей Глебыч к Глебу Ивановичу идти не намерен.

Слуги делали испуганные лица и шептали Глебу Ивановичу:

— Не нашли-с! Дома нет-с!

Глеб Иванович понял:

— Так! Так! Видно, самому искать пора!

Глеб Иванович ворвался к сыну в комнату, багровый и темный, как зарево ночью.

Алеша звонко и негодующе взвизгнул:

— Не смей, не смей ко мне в комнату входить без стука! Что тебе от меня надо?

Глеб Иванович лепетал в негодовании:

— Ты... ты прислуги... прислуги не постеснялся... унижить отца! Я... я тебя заставляю... высечь!

Алеша стукнул по столу кулаком, взъерошил на голове волосы и гаркнул отцовским хмельным и бесшабашным ревом:

— Это черт знает что такое! Ты пьян, отец!

Глеб Иванович вдруг опомнился, подошел вплотную к сыну. Алеша не отодвинулся. И они глядели друг на друга прямыми, острыми, взбешенными глазами. Глеб Иванович спокойным и насмешливым голосом сказал:

— Петух! Кто она? Откупиться можно? Честность заела?

И сын устало ответил:

— Папа, я люблю ее. Она — еврейка. Шляпница...

Глеб Иванович осел, сморщился, покачал головой и твердо, подумав, с расстановкой, точно вынимая слова изнутри, протянул:

— Жидовке невесткой моей не бывать. Ты, Ухо, и не заикайся мне. Ежели дурь из головы звоном не выйдет, марш из дому к своей жидовине. Не моргну бровями, так и знай. Опамнивайся теперь!

Сын усмехнулся и развязно пошутил:

— И внучат не примешь? Ну, так вот я тебе скажу — это дело решенное. Жену мою зовут Лия.

Глеб Иванович густо и гневно плюнул.

— Я от тебя ухожу. Не хочешь иметь сына в дому, сын найдет себе квартиру, комнату, собачью будку, а Лию не оставит.

— Помни! — угрожающе вставил Глеб Иванович. — С голоду будешь подыхать... штаны свалятся... копейки не дам. У меня тоже дело решенное.

Алеша небрежно махнул рукой:

— Мне ничего не надо. Я даже могу вернуть тебе твой юбилейный подарок. На вот, возьми! У тебя деньги к деньгам, а у меня ничего.

Глеб Иванович попятился и презрительно оглядел сына:

— Кошачьих подарков я не делаю, сынок! Деньги это твои. А только деньги последние. Не упрашивай меня, не приbedнивайся — не будет по-твоему. Помирать будешь — на похороны не приду. И ты на мои не ходи. Не рассчитывай! Помирать буду... на минутку на земле

останусь... не распоряжусь в твою пользу. Поцарапай, говорю, в котелке!

Сын отвернулся, швырнул, не глядя, деньги в угол.

Глеб Иванович встал в дверях, поймал беглый грустный взгляд Алеши, гнавший отца из комнаты, и на прощанье спросил:

— Алексей! У тебя глаза заблудились. Не послать ли за доктором?

Алеша сморщил лоб и нехотя бросил:

— Ты, пожалуй, еще счет мне за доктора подашь!

Глеб Иванович еще раз покачал головой:

— Так, так... Запомни на всю жизнь: нас отец за поленицу дров учил у дьячка, а мы при отце не курили до сорока годов, говорить не умели при отце... А ты... а ты!

— Прощай, папа,— просто и сердечно зазвенел голос Алеши,— все выяснено... Говорить нам не о чем. Готовься поidi к юбилею.

— Дур-р-рак!

И Глеб Иванович шваркнул дверями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наума Соломоновича Калгут взяли так внезапно, что он не успел вынуть из зубов ватки, не успел досверлить многие дупла, а под временными пломбами уныло и беспомощно заныли зубы... У старушек Наум Соломонович выдергал все корешки, но не успел изготовить для гладких проработанных ртов золотых челюстей. Столь же внезапно, как исчез Наум Соломонович, появились флюсы. Флюсы начали лечить домашними припарками и старым испытанным средством: нечаянно били по флюсовой шишке. Больной подскакивал, взывал, изо рта брызгало мутное содержимое, ярость разыгрывала в глазах и жар в голове, но флюс вдруг нежно и сладко укладывался на отдых, легонько подтягивался в щеке ямкой — и донывал. Временные пломбы выковыривали маленькими ноженками, а в дупла спускали растопленный воск, душили зубы табачным дымом и мазали разными веществами благородной и неблагородной пахучести.

Зубной техник Винтиков принес к Науму Соломоновичу пригоршню золотых коронок, пригнанных и примеренных с такой точностью, что, раз вдавленные на

свои места, они жили за гробом. Сгнивала человеческая кожа и облупливался белой костью череп, а золотые потускневшие коронки сидели в оскаленном рту.

У зубного техника Винтикова никто не принял золотых коронок, только два городских, сидевших в засаде на квартире Наума Соломоновича Калгут, осмотрели золотые коронки, долго перекачивали на жестких и темных ладонях, захохотали и положили на стол:

— Штука! Ой, и штука! Заня-ятная!

И сказал тогда один городской:

— Одначе ты посиди малость: смена придет, мы ты в участок отведем для допроса. Может, видимость одна — штука-то для зубов, а всамделишное-то какое оружие японское...

В приемной Наума Соломоновича около Винтикова городские садили все новых и новых посетителей. Ныли зубы у больных, они ерзали на стульях и жалобно раскисывались, лазили в рот пальцами, зубочистками, спичками... Городские хитро улыбались, перешептывались и показывали друг другу глазами то на одного, то на другого больного:

— Вон, больно морда подозрительна! У окошечка-то!

— И! Да! Гляди, как бы половины, а то и боле, не очутилось в сицилистах!

За день на кухню приходили к Науму Соломоновичу разные люди: стекольщик — вставлять разбитое стекло, молочница, угольщик с мешком углей, мужик с дровами, еще три молочницы, точильщик и двое нищих. Хныкали молочницы. Молоко к вечеру скисалось. Городские по дешевке покупали, наклоня тарки, полутарки в мохнатые пасти. Угольщик и мужик с дровами кланялись городским в пояс:

— Да и как же так, господин городской, лошади у нас на улице. Кормить пора. За двадцать верст дрова вез. Дровец каждому надобно. И угольков. Смилостивуйся! Сходи загони лошадок на двор. Набалуют ребята на улице, а то цыган угонит!

— А и мое точило денег стоит! — вставил точильщик.

Городские долго совещались. Потом выстроили впереди угольщика, за ним мужика с дровами и точильщика, вынули шашки и повели на улицу. Отпрукали лошадей на двор.

Точильщик поставил точило в сенцы.

Угольщик и мужик с дровами повеселели. Они вытащили из-за пазух завернутый в платочках хлеб и спокойно уписывали, густо посыпая солью.

— К-а-к у вас нынче хлеба? — гавкал угольщик.

— Рожь ничего, — подгавкивал мужик с дровами. — Неумолотна.

— У нас солома тоже с колокольню, а пользы от вышины нет.

Навечеру пришел большой наряд городских и выстроился полукругом напротив беленькой вывески Наума Соломоновича Калгут. За полукругом стал собираться люд.

Выводили из приемной, выводили с кухни. Повели торопливым напуганным шагом. Впереди шли дамы в шляпах с высокими страусовыми хвостами, за ними молочницы с мешками на спинах и звеневшими в руках тарками, точильщик с колесом через плечо, стекольщик с ящиком, угольщик-негр, нищие с корзинами.

На возах с углем и дровами правили городские и подпирали шествие.

Угольщик и мужик с дровами оглядывались на лошадок, запинаясь о камни мостовой, отставали... Городские злобно урчали и совали им под бока.

Накануне, ночью, Наум Соломонович, удивленно поводя плечами, жарко говорил у себя в кабинете:

— И почему я должен отвечать за мою тетеньку? Ну и пускай у меня снимут полы, пускай на кусочки разрывают шпалеры... Пускай открывают и мою внутренность и посмотрят пускай мое сердце! Я совершенно ничего не знаю... И в чем дело? Я знаю только свое зубо-врачевание! И я не какой-нибудь плохой мастер, как Шнейвес, который лечит зубы старым способом! Ваше благородие, разве у вас коренной зуб плохо сидит на своей шейке?

Жандармский офицер молча улыбался и прищуривал глаза. Наум Соломонович трепыхался, как трепыхается рыба на удочке:

— И скажите мне настоящую правду зараз! Я прошу вас говорить откровенно!

Офицер строго наморщился:

— Господин Калгут! Не мешайте нам! И прекратите пустую болтовню!

— Ну, я буду молчать. И что же такое?

— Ни слова! — крикнул офицер.

Наум Соломонович обиженно замолчал. Долго-долго делали обыск, водя за собой из комнаты в комнату Наума Соломоновича. Укрывали в усах улыбки на тоненькие волосатые ножки Наума Соломоновича, выглядывавшие из-под длинной ночной рубашки.

Наум Соломонович тихо дрожал и вздыхал, прикладывая руки к сердцу.

— Надо заставить одеться эту макаку! — шепнул офицер приставу и фыркнул.

Пристав ответил глухим внутренним смехом, заколыхав брюхо:

— Наденьте штаны!

Наум Соломонович растерянно огляделся.

— Где у вас штаны?

Наум Соломонович задумался, будто припоминая, где он оставил штаны. Он вспомнил, заторопился, закричал:

— В шпальной! В шпальной!

— Федышкин, принеси! — сказал пристав.

Наум Соломонович быстро натягивал штаны, вздрагивая от холода и беспокойства.

Обыск шел в последней комнате, а Науму Соломоновичу казалось, что обыск только что начали и еще долго-долго будут водить его за собой, а он будет дрожать под негреющим платьем. Но когда кончили и когда он услышал приказание одеваться, Наум Соломонович закричал:

— Но почему я должен оставлять свой кабинет? Я же говорю вам русским языком... И я же... и очень в ссоре с моей тетенькой!

Офицер насмешливо глядел на суету Наума Соломоновича:

— Хорошо, хорошо. Приготовляйтесь, пожалуйста, к отъезду. Нам незачем заниматься словопрениями. Кстати, как фамилия вашей тетеньки?

Наум Соломонович кашлянул и провел перед собой руками.

— Забыли?

Наум Соломонович обиженно бросил:

— Что значит забыл? И зачем я буду забывать фамилию моей тетеньки — Эсфирь Марковны Шмуклер?

Офицер возмущенно выслушал:

— Так, так! А вам неизвестна другая... настоящая фамилия вашей тетеньки?

Наум Соломонович хитро сверкнул глазками:

— Ну, и разве у нее есть другая фамилия? И как это можно?

— Ведите его! — прошипел офицер. — Вы, господин Калгут, плохой актер. Не приходилось ли вам знать вашей тетеньки Розы Самуиловны Соловей?

Наум Соломонович дрогнул, но громко рассмеялся:

— И очень даже много. Когда вы будете в Бердичеве, и в Бобруйске, и в Лодзи, вы на каждом угле встретите такую фамилию. О, в черте очень-таки много Соловейчиков!

Офицер пренебрежительно проскрипел около уха Наума Соломоновича:

— Нам все известно, господин Калгут! Извольте идти вперед! Напрасно вы корчите невинность и дурачите нас. Не при-дет-ся!

В ту же ночь увезли Алешу и Лию. Она подняла сонного ребенка, закрыла его одеяльцем, дала ему в закричавший рот грудь и села на извозчика рядом с городовым. Алеша ехал впереди и вслушивался. От тряской мостовой ребенок надрывно, отчаянно заплакал. Алеша в муке оглянулся на крик. Городовой дернул за руку и угрожающе приказал:

— Держи голову прямо!

Сзади вился, как дым, тоненький, нежный, ниспадающий и сразу заходящийся плач ребенка.

Прошел от Покрова год, когда Алеша разговаривал с Глебом Ивановичем и глядели они друг на друга упорными, несдающимися, скрестившимися в бою глазами. Алеша померк с того времени голубыми разливами глаз, щек и оброс бородой. Лия носила тяжелую кладь в теплом гнезде материнства, носила ее в восемь утра в «Венский шик» и в восемь вечера уносила. Жили они на Желвунцовской улице, далече от «Венского шика». Выходили каждое утро вместе: он бежал по урокам, она шла на работу в «Венский шик».

Поздно стучался Алеша.

И Лия грустно говорила:

— А я видела Серого! Проехал на нем твой отец. Он недовольно морщился:

— Как тебе хочется вспоминать? И напоминать мне!

Лия тревожно вглядывалась тогда в потемневшее лицо мужа.

В другие, веселые дни Алеша со смехом вбегал в комнату. В руках были деньги за уроки.

— Трудовые! Трудовые, Лиечка!

И она смеялась его радостью.

Он бормотал:

— А, знаешь, занятно: мне перестали козырять городовые... и... не узнают некоторые знакомые. Ха-ха!

Она отвечала горько:

— Ты беден... и женат на жидовке.

Алеша целовал жену:

— Милая моя жидовочка! Ты испортила род Ухановых.

Алеша задумывался над столом:

— Старика и я встречал на улице. Едет... Видит... Насупится... Я заверну на какой-либо двор, чтобы проехал. Почему-то не хочется видеть его. Неловко как-то! Крикнет: «Алексей»? Промолчу. Лошади быстро понесут. Ну, мы с тобой квиты: твоя еврейская мамаша не хочет видеть меня, мой драгоценный Глеб Иванович — тебя.

Она весело и лукаво хохотала.

Он тараторил:

— Но твои родственники лучше: жалованье тебе платят. Работать, работать, Лийка! Раньше так не было. Я живу под каким-то напором. И вся жизнь кажется другой!

Он гладил большой живот Лии и осторожно стучал по нему:

— Эй, кто там? Отзовись! Уханёнок!

Лия счастливо сияла усталыми ночами глаз на прожелтевшем от беременности лице и прижимала его теплую руку к трепетавшему животу:

— Слушай! Слушай!

Он кричал:

— Лягается! Он лягается! Шмуклерша, он лягается!

Лия шептала:

— Как я люблю тебя веселого! Мигий! Мигий! Мигий!

Алеша весело и легко ладил студенческое дело. Она приносила из «Венского шика» листки. Он рассовывал их в длинном университетском коридоре, за партами, в столовке, в библиотеке. Он скакал по урокам. Забирался на Зеленый Луг, на Числиху, в Ехаловы Кузнецы темными, глаз выкалывавшими вечерами в темные конуры рабочих, за Коровинские мельницы, к Никите. Он шептал в полузакрытое сном ухо Лии:

— Я устал.

В марте Лия родила. Сидор Мушка пришел в «Венский шик». Эсфирь Марковна подала Сидору Мушке руку:

— А у меня уже родилась маленькая внучка!

Сидор Мушка одобрительно покачал головой и еще раз подал руку Эсфирь Марковне:

— Проздравляю! Проздравляю! Славу богу! Пузо-то было с дом. Замучилась баба! Я все и то поглядывал и мороковал насчет пуза: как, думаю, разродится, не то хорошо, не то и не совсем?..

Эсфирь Марковна веселилась каждой морщинкой лица:

— О, и роды были очень даже легкие! Вот нате вам маленький подарочек, Сидор Иванович!

Сидор Мушка добрел голосом:

— В аккурат кстати: парнишке подметки надо подбивать. Так, так! Значит, с новорожденным!

Сидор Мушка в раздумчивости помялся, поглядел, помолчал и, робея, спросил:

— Так-то оно так. Все хорошо, значит, обошлось? Теперь только на ноги поднять дитю. А вот как с таким делом: будто дитё и русское, будто и жи... ой, что я, и еврейское, значит, середка на половине. А крестить бы лучше. И фамилия не какая-нибудь: У-ха-но-в. Фамилия русская, конечно, и понятна каждому человеку. Может, по-вашему, и Шмуклер хорошо, а только в Расее надо бы завести все фамилии русские. Чего там разные непонятные фамилии! Мужик с возом едет, вывеску читает, а ему и не понять вывеску!

Эсфирь Марковна перебила Сидора Мушку:

— Вы думаете — Лиечка не понимает-таки и не думает о своей деточке? Ну? Она по имечку Муся. Она русская...

— Я о том и говорю,— твердо и уверенно забасил Сидор Мушка,— может, в девчонке и капли нерусской крови нету и... кто тут разберет. Дело это темное. Помещение одно было еврейское, живот, значит, бабий еврейский... Какая из себя-то? Не черномазая?

— Ох! Она беленькая, как летняя шляпка шаломка!

Эсфирь Марковна с рыжим чемоданчиком ходила на Желвунцовскую, носила бабушкину любовь внучке. Когда был дома Алеша, бабушкин чемоданчик не рас-

кrywался, и Эсфирь Марковна, не глядя на Алешу, говорила:

— Ну, как ты, Лиечка, поправляешься? Я была у Ромочки Пинуса по делу — и зашла по дорожке к тебе. Деточка здорова?

Потом, погода, приходила Берта с узелком.

Алеша кричал:

— Машина! Машина! Как удивительно умеют работать евреи! Муся! Мусёнок! Ты тоже будешь так работать? А?

Лия сладко тянулась к мужу и беспокойно предупреждала:

— Ты напугаешь ее!

— Понимаешь, Лиечка, у нее совершенно сознательная мордочка!

Лия счастливо усмехалась в ответ и недоверчиво тянула, картавя:

— Ты выдумал. Она еще совсем крошка. Но она, правда, какая-то особенная...

Берта хохотала. И все трое, наклонясь к детской коляске головами, к темным пуговкам глаз Муси, заливались брызжущим, как дождь, смехом.

Берта уходила домой.

Был короток и голоден сон у Берты, у Моси, у Эсфирь Марковны в этот год. И приходили непробудные сны, тяжелыми ставнями закрывавшие молодые и старые веки.

— Дежурные! — шипел Ваня Галочкин снизу. — Нахрапываете? Отчего винтовка не у ноги? — И раскыскивал их, хватая из люка. — Товарищи! Я понимаю, трудно, всем трудно, но нет охраны... Гусей надо заводить...

Крепились и насторожались, умывались и бледнели от страха, ловя забытие. Сон укачивал на лукавых качелях. Тело посовывалось и руки хватались за пол. Днем торговали в магазине и стоя дремали. Заговаривались. Берта клала голову на вороха лент и засыпала. Лия толкала ее испуганными толчками, когда стучала входная дверь магазина.

Приходили ночи за ночами, со снами бесповоротными, жадными, заплескивающими... И тогда мертвела типография, дежурные. Вскрикивали и обманывали друг друга. В разморенные душные летние ночи, как запертый, закрывался рот, был страшен, и труден, и невозможен поединок.

Упала лампада перед иконой у генеральши Наседкиной — и не слышала Берта, и не слышал Мося, и не слышала Эсфирь Марковна. Берте снилось: вели ее на костер. Она плакала и не давалась. Размахивала руками в чулане. Привязывали к столбу. Зажгли красное подножье. Дым кинулся от ног под платье, пробился на грудь. Берта задохлась, закашлялась — и проснулась крича.

В квартире гроыхали шаги. Берта вскочила. Теплый и тяжело-густой дым разъел глаза, шарил лицо, пах, кружился под волосами вьюнами, болел в мозгах...

В это время Эсфирь Марковна громко и отчаянно вскрикнула в гомонившей людскими голосами чадной и смрадной темноте комнат:

— Бер-точ-ка!

Берта пошатнулась... Руки сами протянулись к отверстию, шаря доски, закрывали, вкладывали под плинтус, прижимали...

Мимо чулана прокачался красный кулак факела и проскочила нагнувшаяся к полу медная каска пожарного. И Берта, задыхаясь, выкинув просящие руки в темноту, полувидя, полуслыша, шла за факелом. Ее подхватили какие-то руки и поволокли... И тогда, заблудившийся в дыму, закричал Бобров в люке и заколотил в пол головой, руками, голосом...

Берта тянула жадно и долго ночной воздух на улице, выдыхала черную гарь покоробленным синим ртом и не могла выговорить метавшихся в глазах слов. Красные валы пожара перекатывались в комнатах генеральши Наседкиной, хлынули вниз, пролились по стенам — и тогда Мосю оттолкнули от дверей магазина городовые. Берта вспомнила, заплакала и закричала жалобно и горько:

— Мамочка! Это я... это я погубила!

Эсфирь Марковна сурово сказала:

— Вос хостэ гемахт, Берточка!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Глеб Иванович швырнул на пол медный колокольчик и, как шар, закатался по кабинету в вечерние часы того неожиданного июля, когда сгорел дом генеральши Наседкиной. Ночью Глеб Иванович со свечой протрусил в ком-

нату Алеши, где все стояло на тех же местах, как расставил сын, и где все каждый день обтиралось от пыли и ожидало его возвращения. Глеб Иванович сел за стол, сердито осмотрел потолок, стены, раскрытый пустой книжный шкаф, покривился на резавший огонь свечи — и вдруг положил голову на стол. Халат на спине сморщился, осунулся, заерзал. А под халатом будто запищал придавленный дверями щенок.

Глеб Иванович загонял рысаков. И все ездил, ездил... Дожарило, допекло августовское солнце, солнце фиолетовое, густое, обжигающее кожу, как глину, горячими устами. Прохрусталил замерзающий на камню сентябрь. И октябрь затрясся дождяными паводками над мокрыми улицами.

Тут только Глеба Ивановича допустили в тюрьму. Глеб Иванович скакал на рысаке по Кирилловскому тракту, не видел улиц, домов, он выдвинулся в санях вперед и не отрывал глаз от надвигающегося из-за города темного облака — глазастой тюрьмы.

Алешу вывели в тюремную контору. Глеб Иванович поцеловал его долгим тяжелым поцелуем — и отвернулся. Он рылся долго в кармане, отыскивая платок. Потом неловко махнул платком на глаза, засморкался, закашлялся, пискнул.

Сын спокойно и холодно глядел ему в глаза. Глядел и Глеб Иванович. Наконец он тихо что-то сказал, вздыхая и задыхаясь. В конторе ходил по ту сторону решетки надзиратель, крепко ступая на черный каменный пол. Он пытался не глядеть, но привычные глаза видели, и злились, и сучали.

— Ты что сказал? — спросил Алеша.

Глеб Иванович тогда заговорил:

— Насилу упротил. Добивался три месяца.

Сын резко швырнул злость:

— И не надо было просить. Зачем?

Глеб Иванович испугался. Надзиратель покряхтел, шаркнул ногой, но ничего не сказал. Растерянно, помолчав и потеряв лысину, спросил Глеб Иванович:

— Ты получал посылки?

Сын зевнул:

— Да, спасибо.

— Тебе достаточно?

— Вполне, но ты мне больше не посылай. Я не съедаю. А товарищам эти крокодилы тут не позволяют передавать.

Мне стыдно обжираться, когда моих товарищей кормят помоями.

— Тише, тише,— зашептал Глеб Иванович.

Надзиратель остановился за решеткой и предупредительно выкрикнул:

— Говорить можно только открыто.

Опять настало молчание, неудобное и стеснительное. Сын устало скользнул взглядом по выщербленному, захоженному арестантскими ногами черному полу и удивленно уставился на молчавшего отца.

— Да... так... вот,— заторопился Глеб Иванович,— морозы нынче стоят большие. Зима лютеющая... В затонах вымерзает рыба.

Сын жалко и грустно улыбнулся и полузакрыв глаза. Помолчали.

— А тебе не холодно? — спросил Глеб Иванович и смешался.

Сын озлобленно и хрипло прошипел:

— Поморозня в камере. Как тараканов, вымораживают. Начальник тюрьмы приумножает свои доходы: ворует дрова.

Надзиратель открыл дверь за решетку:

— Срок кончился.

Он вызвал из соседней комнаты другого надзирателя и молча указал ему на Алешу. Глеб Иванович засуетился, обнял сына, прижался к нему, держал его и бормотал:

— Я приеду... приеду... Теперь можно...

Глеб Иванович раз в неделю гнал рысака к тюрьме. До того он туго набивал бумажник кредитками, развозил кредитки в разные места — в канцелярии, на квартиры, в богадельни. Теперь, открывая золотым ключом двери в тюремную контору, он вбегал по узенькой лесенке. Надзиратели торопились. Свиданья удлинились. Соглядатаи не ходили за решеткой.

— Алексей! — грустно говорил Глеб Иванович. — Ты что же? Как ты думаешь быть?

Сын охотно и равнодушно отвечал:

— Сибирь, папа, Сибирь...

— Я хлопочу... Ничего не выходит... С поличным...

Глеб Иванович возмущенно и повышая голос твердил:

— Это она, она... Алексей, Алексей, как ты мог пойти на такое дело?

Сын задумывался над чем-то непонятным и чужим Глебу Ивановичу, теребил бородку и усмехался.

На масленой Глеб Иванович приехал в тюрьму веселый и радостный. Он оскалил золотые зубы, погладил сына по спине и выкрикнул:

— Ну! Устроилось! Трудно было, а добился. И не без слез...

Алеша недоумевающе стоял перед отцом.

— Да... девчонку, девчонку, Муську перевез к себе! Живет в твоей комнате. Мать долго не соглашалась. Умолил.

Глеб Иванович сиял.

Алеша, повеселевший, засинел глазами:

— Что ты говоришь! Ты был у Лии?

— Эге! Сколько раз. Мы с ней ничего — сошлись. Отцу и матери по заслугам, а для чего ребенку чахнуть в тюрьме при живом дедушке? Девочка наша... Наша, синеглазая... И родимое пятнышко на шейке. У бабушки на этом месте тоже было родимое пятно. Скоро пигалицу к матери и к тебе буду возить на свиданья.

Сын заволновался:

— Скажи, скажи, как Лия?

Глеб Иванович наморщился:

— Что ей делается! Она знала, что затевала. Ты... мы с ней и по-родному... не говори ты со мной о ней! Сердце у меня неохочее на нее... Девчонка — это другое! Я ее будто взаймы давал, в рост...

Алеша засмеялся:

— А знаешь, папа, я ведь только в тюрьме узнал о типографии. Лия мне никогда ни одним словом не проговорила.

Глеб Иванович пораженно протянул руки перед собой:

— И ты... и ты... смеешься?

— А что? Ты подумай, папа, какой характер. Самому близкому человеку не сказала!

Глеб Иванович жалостливо покачал головой.

Сын торжественно шептал отцу:

— Папа, такие люди не-по-бе-ди-мы!

И Глеб Иванович тогда крикнул:

— Ты слепой крот!

Крикнул Глеб Иванович, как кричал в своем кабинете, и тоскливо умолк, принизился на стуле, извинительно развел руками выглянувшему испуганному надзирателю и пофыркал носом.

Как потеплело и заголубело жавороночное небо весны, Глеб Иванович начал привозить Мусю. Девочка кричала

и взвизгивала под сводчатыми потолками, лепетала на коленях у Алеши, дыбала, теребила за бородку, запуская в нее белый мягкий кулачок. Глеб Иванович, растопырив руки, открыв рот, стоял около сына и не сводил с девочки раскрытых восторгом влажных глаз.

— Не урони! Не урони! — шептал он в тревоге.

Лия прижимала к груди Мусю и мешала ей лепетать. Глеб Иванович терпеливо тогда стоял в сторонке, переступал с ноги на ногу, скучал, поглядывал на часы. Когда истекал срок, он жадно хватал Мусю и уносил ее, плачущую и тянущую к Лие трепыхающие ручки и ножки.

В мае Глеб Иванович привез защитника.

— Ты это напрасно, папа, — невесело сказал сын. — Дело наше ясное.

Глеб Иванович рассердился:

— Ясное! Ясное! Покойник есть покойник, а плакальчиков на похороны нанимают! А для чего?

— Разве так! — грустно покоробился Алеша. — Форму хочешь соблюсти.

— Ничего я не хочу, горе мое! Для твоей... этой... черной тоже нанял говоруна. Ходит красной и пишет бумаги.

Глеб Иванович выразительно и сердито шепнул:

— В Сибири несладко, мальчишка! Тебе на третий десяток идет, а ума у тебя с наперсток! Защитник тебе кое-что расскажет. Слушайся его во всем. Слышишь?

Сын лениво и безразлично закрыл глаза. А Глеб Иванович нашептывал, срываясь в судорожный хрип:

— Скоро суд... Чего крылья опустил раньше времени? Держи нос выше, Алексей человек божий, празднование семнадцатого марта!

Защитник с беременным от бумаг портфелем кружил взад и вперед на рысках Глеба Ивановича.

Золотел, зеленел поздний май. Тюрьму проветривали от старой сырости. Раскрыты были во всех камерах окна. Алеша дневал и ночевал у решетки, тревожно глядя в чарымские поемные низины. Над низинами вились крикливые белые табуны чаек и клали яйца. Кидались на редких прохожих чайки, слетая с гнезд, задевали крыльями, стонали от страха, вытягивая шеи, и уводили от гнезд. Он вспомнил, как в детстве бродил по низинам с другими мальчишками. Чайки плакали и умоляли, снижались до рук, заглядывали в глаза грустными глазками, били в голову с налета, с размаха, провожали до города

криками, кидались слизким пометом. А они наклонялись к гнездам и зорили их, жадно, ненасытно хватая теплые яйца и складывая в корзинки небьющимися рядками. Алеша грустно и горько вздохнул. Потом разводили на Чарыме костер и в горячей золе пекли яйца. Не съедали яйца и кидались в мету, в большой синий камень на берегу. А чайки плакали в сторонке. Алеша шевелился у решетки и стонал.

На Чарыме ползли зеленые волны, а на волнах белые льдинки чаек качались, как в колыбели. Он тряс крепкую решетку, но она не двигалась. Стены держали замурованную решетку каменными неуступающими руками. Решетка холодила ладони. И приходило унылое бессилие. В напряженной груди колотилось дыхание, как короткие взмахи крыльев чайки. Он плакал, плакали чайки, плакали старые тюремные стены старой сыростью.

Звонили к обедням июльские теплые колокола, звонили густо, полно, радостно. Трезвонила с перебором колокольная мелкота, плясала, подпрыгивала, увивалась вокруг больших колоколов. Пели в вышине бессловесные медные и серебряные хоры детскими голосами, октавили большаки и покрывали тяжким звенящим гулом тонкую паутину исполатчиков.

Вели в суд. Алеша шел рядом с Лией и держал ее за пополневшую в тюрьме руку. Они слушали колокола обеден, вдыхали звон, звенящий воздух. И быстро, тихо, полными горстями коротких слов, в те немногие минуты короткой дороги, они сказали о долгих месяцах одинокой скуки тюремных камер.

В старое, о двух этажах, здание суда ввели их сквозь тын охраны, сквозь набившийся у входа люд, а сзади вдогонку дозванивали утихавшие колокола. И — вдруг остался в ушах звенящий плаун звуков, колеблемый, упавший в глухой и бездонный колодец. Двери за ними затворились.

За отгородкой от зала, на первой скамье сгрудились Ваня Галочкин, Бобров, Ахумьянц и Мося. Тесно прильнули к спинам Наум Соломонович, Эсфирь Марковна, Берта и Лия. Арон Зелюк сидел отдельно на стуле. И рядом с ним посадили Алешу.

Глеб Иванович трясся в первых рядах за барьером и плаксиво глядел в спину сына, будто он видел через нее лицо его, затаившееся в печали.

Целый день били стенные часы в зале. И все слышали придушенный часовой бой. Лия скользнула крадущимися глазами по глазам Глеба Ивановича и усмехнулась. И больше не оборачивалась. Алеша видел ее упорные ободряющие взгляды, двигался на стуле, будто хотел встать и не глядя ни на кого пойти из зала,— и застыл.

Наум Соломонович часто вставал, подолгу говорил. И тогда смеялись судьи, смеялись на скамьях и председатель поднимал колокольчик.

Эсфирь Марковна дремала, привалясь к Берте.

Председатель кричал:

— Ваша фамилия Роза Самуиловна Соловей? Вы привлекались два раза за участие в социал-демократической партии? Вы содержали квартиру для собраний в Варшаве? Вы бежали из тюрьмы?

Эсфирь Марковна молчала. Молчали Берта и Лия.

— Отвечайте! — ненавидел и бесился председатель.

Женщины смотрели насмешливо в упор на багровую голову председателя — и не произносили ни слова. Долгими денными часами молчали глухонемые женщины. Они были безучастны к людям, сидевшим за судейским столом, к темневшим направо присяжным, к защитникам, казалось, к самим себе.

Арон Зелюк грыз ногти и качал маленькой подскакивавшей ножкой.

Допрашивали Алешу.

Глеб Иванович привставал на скамье, садился, вытягивался вперед, шевелил губами и трясся непрерывающейся, настойчивой дрожью.

Опять звонили колокола вечерними голосами, головами усталыми, натруженными, и звон заскакивал в растворенные окна.

Зажгли огни. Говорили тихо, пересохшими голосами, шелестели хрупкой бумагой, молчали. Тогда Ваня Галочкин вскочил и загремел на всю залу:

— Кончай балаган самоходом! Упокойники!

Люд айкнул. Глеб Иванович обомлел. Обомлел суд. Бобров вцепился в руку Вани Галочкина и тянул его на скамью. А тот кричал:

— Палачи-и!

Ахумьянц откинулся на скамейке, выдвинул вперед ноги, постучал каблуками о пол и спокойно выговорил:

— Совершенно верно!

Председатель зазвонил дрожащей рукой в колокольчик. Часовые залязгали оружием, насильно посадили Ваню Галочкина и угрожающе сплотились у скамьи. Заседание прервалось. И суд удалился.

Ваня Галочкин вытирал потный лоб. Ахумьянц повертывал на свет ладонь и разглядывал ее на весу. Женщины усмехались и переглядывались с Алешей. Наум Соломонович осуждающе покачивал головой. Зелюк повернулся в зал и разглядывал публику выкатившимися, покрасневшими упорными глазами. Мося и Бобров шептались.

Снова открылось заседание. И опять били часы ровные хриплые числа. Тогда защитник Алеши сощурил ему глаза и показал на часы. Алеша выждал, встал и громко сказал, перебивая допрос:

— Господин председатель! Мне необходимо выйти.

Председатель сделал знак рукой. К Алеше подошли двое конвойных и повели.

Лениво переваливалось время. Скучали люди, столы, потемневшие окна, замирали обрываемые на середине слова, скучали царские портреты на стенах, и присяжные испуганно поталкивались на стульях от дремоты.

В тишину зала внезапно кинулись из коридора крики, суетливая стукотня сапог, лязг оружия... В двери ворвался конвойный, крича:

— Побе-е-г! Побе-е-г!

Лия вскрикнула.

Суд вскочил. Вскочила публика за барьером. Упал стул, забили часы. Зало закричало, заговорило... И в трое дверей из зала, толкаясь и спеша, выдавились живые перекаты человеческих волн и с шелестом рассыпались по коридорам.

Ваня Галочкин захлопал в ладоши. Женщины зашевелились и зашептались. Зелюк вытянулся тревожно на стуле и привстал. Бобров раскрыл удивленные, напуганные глаза. Наум Соломонович Калгут обнял сзади застывшего Мосю.

Ахумьянц звонко захохотал, застучал ногами и радостно выкрикивал:

— Пагады, не уходы! Пагады, не уходы!

Зима покачнулась. В февральские ночи волка сидячего на дороге заносит. А вечера — янтарные, опаловые. Снег нежным шелком шелестит под ногой. И брызжут в лицо серебряным дымом шипучие метели.

Глеб Иванович любил вечером прокатиться по улицам мимо глохнувших в снежном крутне фонарей, по безлюдью, по глуши пустырей и кривых переулков.

Был один такой февральский вечер. Глеб Иванович накатался, замерз... И Серый мчался по бесноватой, метельной улице домой. Глеб Иванович выпрыгнул из саней и застучал кожаными калошами к подъезду. Дернул звонок одряблевшей рукой. Кучер медленно отъехал на середину улицы и стал заворачивать во двор. Глеб Иванович постукивал кожаными калошами бегом на месте и ежился в шубе.

Тут от темной стены из-под балкона близко и молча подошла к нему маленькая женщина.

Глеб Иванович испуганно всмотрелся в нее, ахнул, схватил за руку и радостно зашептал:

— Ты... ты... как ты здесь?

Глеб Иванович не дал ей ответить. Не выпуская руки, потащил ее в раскрывшиеся на звонок двери, по лестнице, по коридору и, не раздеваясь, вбежал с ней в кабинет. Глеб Иванович суетливо зажег свет, сбросил шубу на диван и неумело начал стаскивать с нее пальто:

— Раздевайся здесь, здесь... Ты озябла? Сейчас! Ну, садись, садись сюда... за столик!

Глеб Иванович шумно опустил шторы, запер дверь на ключ. Он забыл снять посеребренную метелью бобровую шапку. Кожаные калоши гулко стучали по паркету и оставляли на полу мокрые пятна.

Лия села. Глеб Иванович придвинулся к ней со стулом и потирал застывшие руки. И жадный горячий голос трепетал:

— Говори, говори!

А Лия испуганно и дрожа и золнуясь спросила:

— Где моя девочка? Покажите мне Мусю!

— Будет, будет... Она здесь. Обогрейся сначала. Холодной нельзя... Простудишь! Алексей? Что Алексей?

Лия глубоко вздохнула и весело усмехнулась старику:

— Алеша за границей!

— О! — счастливо закричал Глеб Иванович. — Я не знал. Я передумал... за это время, не приведи бог!

— Я пробиваюсь к нему. Я бежала из Сибири. Второй месяц в дороге.

— Да, да, да... Как ты узнала об Алексее? Правду ли ты говоришь? — Глеб Иванович тревожно заглянул в глаза Лие.

— На границе взяли товарища. Он переходил из Германии с литературой. И привезли его в Сибирь. От него узнала. Но где же, где же Мусенька? Я... я три тысячи верст... сделала круг посмотреть на мою малютку.

Глеб Иванович захлебнулся суетой, быстро прикоснулся к ее рукам:

— Теперь можно: потеплели руки. Я сейчас принесу Мусю. Ты сиди. Не вставай. Не испугай девочку. Она забыла.

Глеб Иванович выбежал из кабинета. Лия крепко прижала маленькие руки к худой и свистевшей от частого дыхания груди, выдвинулась к двери, прислушиваясь к молчаливой, как бы переваливавшейся с боку на бок спокойной тишине дома. Глеб Иванович уже шел, громко говоря за дверями:

— Я тебе покажу тетеньку! Она — добрая!

Тоненький детский голосок спрашивал:

— А тья тетя?

— Наша... наша...

Глеб Иванович открыл двери и осторожно прошел в них бочком, оберегая ребенка:

— Вот мы какие! Вот мы какие! Мы еще не спим! Нам рано спать!.. Мы не любим рано ложиться!

Глеб Иванович поставил крошечную девочку посреди пола. Муся исподлобья оглядывала тетю и морщилась. Лия задохнулась, протянула к ней руки, сползла со стула на пол, обняла мягким кольцом остерегающих рук и прижалась к ней с тихим воркующим плачем и смехом. Девочка отталкивала тетю:

— Ти калодная! Ти калодная! Дедуска, тетка калодная!

Глеб Иванович подсел к ним на стуле, глядя Мусю по голове:

— Ничего, крошка, ничего. Тетя пришла издалека... с улицы. Обними тетю крепко-крепко. Во-от та-а-к!

Девочка освоилась. Скоро она бегала по кабинету, топоча ножками от стены до стены, лазила по стульям,

сталила с дивана дедушкину шубу на пол и уселась на мех, выдергивая пальчиками черствые волосинки енота. Она клала на колени к тете голову, а потом взбиралась на колени, вертелась — и слезала.

Глеб Иванович стоял у стола, задумчиво и робко глядя на девочку. А она хватала его за ноги, просовывала голову между ног и кружила вокруг ноги, хохоча и веселясь.

Потом Муся писала за столом, ломая карандаши, на большой дедушкиной книге с картинками и выдирала листы, кося на дедушку глаза.

Лия только тут заметила, что кабинет Глеба Ивановича был не кабинетом, а большой детской. Куклы, лошадки, погремушки, постельки, мишки, бибабошки лежали повсюду на столе, на стульях, на креслах, выглядывали из-за шкафов и торчали по углам.

И она трудно сдержала занывшее сердце, незаметно вытерев глаза платком.

— Ты хочешь кушать? — заботился Глеб Иванович. — Нам подадут сюда! Ты ляжешь на диване. Я сам тебе приготовлю.

Лия вздрогнула и беспокойно сказала:

— Нет! Нет! Я не останусь. Я должна скоро уйти. Еще немножко побуду... — Она наклонилась к уху Глеба Ивановича и шепнула: — Мне показалось: за мной следят. Я не хочу попадаться им... и вас подведу. Прислуга догадается...

Глеб Иванович посмотрел на нее долгим горестным взглядом и шепнул:

— Но где ты ночуешь? Не на улице же? Ты замерзнешь на снегу!

Лия усмехнулась:

— Как-нибудь! На улице безопаснее!

Глеб Иванович почувствовал, будто по старой его спинехватило пронзительным снежным ветром и снег посыпался за воротник. Он съежился и грустно, отчаянно сморщил щеки.

Муся устала. Она отталкивала тетю, дедушку, кидала на пол игрушки и раздраженно топала ножками, не давая поднимать игрушек. Тогда твердо сказал Глеб Иванович:

— Она хочет спать. Надо прощаться. Ничего не поделаешь!

Девочка закричала в слезах:

— Не кочу, не кочу пать!

Лия обняла последним долгим дрожащим объятием Мусю, подняла ее на руки и передала Глебу Ивановичу:

— Не-е-с-сите! Не-е-сите!

Глеб Иванович вприпрыжку вынес Мусю за двери. Когда он вернулся, Лия лежала на диване, уткнувшись в угол. Она зажимала рот и давилась слезами.

Глеб Иванович сел к ней на диван и стал, чуть касаясь, гладить по спине:

— Ну, ладно! Ну, ладно! Так уж, значит, надо! Сделалось и сделалось... Не стоит изводиться... Ты не бойся. Девочку-то уберегу... Ей со стариком не скучно. Ежели доберешься, Алексею так и скажи. Манифест какой будет — вас и помилуют. Муся вырастет большая... И заживем... заживем... Не плачь! Не плачь! Силы береги: дорога дальняя, трудная...

Лия долго рыдала, и Глеб Иванович, не отходя от нее, успокаивал находчивыми, любовными словами:

— Тебе водички не подать? Водой и не такие болезни лечат. А? Выпей рюмку-другую портвейна — повеселеешь, и полегчает! Портвейн как лекарство. Ты на меня не сетуй за старое... Я кондовой... Рад был тебя со свету сжить. Теперь ты своя. В девчонке полдуши твоей с нашей соединилось. Алексею расскажи обо всем. Может, и я за границу заеду поглядеть на немчуру... Денег вам вышлю, сколько надо. Живите себе. Алексей пусть только лазейку найдет для денег: как и кому высылать деньги. А то поживи тут. Отдохни. Укрою тебя: отовсюду далече, отовсюду близко. Места такие найдутся. Оставайся малость! Не так будет тяжело девчонку оторвать от сердца. Наглядишься на нее.

Но она встала, твердая и крепкая, как обожженный пенек:

— Вы меня проводите сами. Мне пора.

Глеб Иванович засуетился.

— Прислуга не догадалась бы, — испуганно говорила Лия, одеваясь, — начнет завтра говорить и наведет на мой след. Я не успею уехать. Я так... так неосторожно поступила! — В голосе ее было раскаяние и беспокойство. — Лучше бы... мне не видать!..

Голос Лии вдруг надломился.

Глеб Иванович говорил:

— Пустое! Пустое! Нечего на попятный двор... Повидала — значит надо было повидать. Медведица за дитём

в деревню к мужику приходит... на рогатину... не только человек...

Она робко улыбнулась и трудно выговорила:

— Прощайте, де-душ-ка!

— Прощай! Прощай!

Глеб Иванович обнял Лию, поцеловал и часто потыкал в лоб тремя пальцами.

— Мы... напишем вам... Глеб Иванович!

— Писать надо! Писать надо! — серьезно сказал старик. — Хоть на Петербург пишите... прямо на почту... Я сяду на поезд и покачу за письмом, за тридевять земель... Стой, стой, обожди!

Глеб Иванович подбежал к столу, выдвинул ящик, вытащил оттуда пачку денег и сунул ей в руки:

— Деньги в дороге — паспорт... и посох... Опирайся на него с устатку смело! Тут до Америки хватит...

Они вышли в залу. В дальней комнате где-то глухо плакала Муся. Лия останавливалась и стонала.

— Вот теперь так иди — иди по-настоящему! — подтолкнул Глеб Иванович ее. — Зажми уши и иди. Ребенку не кричать — какой он будет после этого ребенок?

Глеб Иванович отворил дверь в метельный шипучий ветер, подтолкнул Лию в спину, засмеялся в хватившем по лицу снежном ветре:

— Без толчка пути не будет! Стриги ножками!

Она юркнула в снежную пыль, мгновенно почернела, а потом закрыло ее снежным фонтаном, будто подняло в метель — и понесло.

Глеб Иванович долго стоял в дверях и вглядывался в метель.

— У! У! У! — кричал ветер, и шарил у него на груди холодевший бой сердца.

Глеб Иванович вернулся в кабинет, подобрал с полу игрушки, поперелистывал большую, изодранную Мусей книгу, походил, вынес в переднюю шубу, снял шапку, калоши и прошел в столовую.

В столовой был накрыт ужин. Глеб Иванович сел на обычное свое место, потянулся, как обычно, к тарелке — и остановился. Глаза сами собой поднялись к люстре над столом и зачем-то остро начали разглядывать знакомые хрустальные висюльки. Мысли закрошились вдруг осенним дождем в сухом и холодном электрическом свете. Муся лениво доплакивала засыпающие слезы.

Глеб Иванович не мигая глядел на огонь и слушал заостренным ухом чуть слышный клекот девочки.

Приходило прошлое без начал и концов.

В электрическом свете журчал внимательный голос губернатора в те миновавшие дни, когда погоня скакала за Алешей — и конная, и телеграфная, и пешая.

— Для нас нет ни малейшего сомнения, что вы принимали участие в побеге вашего сына. По-человечески я вас понимаю, но наши служебные отношения должны стоять над нашими чувствами. Я вынужден буду отстранить вас от должности городского головы. Вы скомпрометировали себя ужасно, непоправимо!..

Глеб Иванович повторил ту, прежнюю, улыбку в кабинете губернатора и ответил:

— Как вам угодно, ваше превосходительство!

Губернатор встал и протянул руку:

— Да, да. Очень жаль. Я весьма, весьма сожалею. Не исключена возможность и особого рода неприятностей для вас. Не обессудьте!

Глеб Иванович весело засмеялся, забарабанил по столу барабанный бой.

Из-за тяжелых штор, делая маленькое ухо сбоку, глядел Глеб Иванович всю зиму из кабинета на ходившего против его дома сыщика — и посмеивался. Раз отогнул Глеб Иванович штору: сыщика не было. Глеб Иванович испугался за Алешу, ноги вросли в паркет... Глеб Иванович испугался за сына, испугался за Лию, прочерневшую сегодня в метели.

Глеб Иванович заходил по столовой. Отрада налилась в груди и выкатилась веселым шепелявым свистом.

В спальне у Глеба Ивановича всегда горела перед Одигитрией лампадка. Он поздно улегся в кровать и лежал с открытыми глазами на Одигитрию. И опять копошились в глазах как вырезанные в памяти дни. Было худо. Защитник Алеши, Гарюшин, хмуро ныл:

— Меня высылают... Вы поймите, Глеб Иванович, это ужасно! Высылают в какую-то Кемь.

Глеб Иванович доставал из стола розовую пачку кредиток и, ласково отворачивая полу гарюшинского пиджачка, совал ему деньги во внутренний карман:

— Сверх всего прочего!

Гарюшин зажимал руку Глеба Ивановича и шутил:

— Боку мерси! Беоакуп мерси! Казенные подорожные! Алексею Глебовичу кланяйтесь!

Было жалко Гарюшина и весело за Алешу. Одигитрия глядела на Глеба Ивановича с красного поля ковчег, мимо лампад круглыми нежными глазами — и не осуждала. Сон наметывался темными строчками, кружил у головы и зажимал набухшие почки век.

Утром Муся стояла у дедушкиной кровати, прижималась щекой к дряблой, сморщенной руке Глеба Ивановича и спрашивала:

— А де тетя?

— Вот хватилась. Тетя была, да вся вышла! Ту-ту! Ту-ту! — смешно покричал дедушка.

— Уекала?

— На пароходике, Мусенька, на пароходике уехала.

— А ти тавай. Самовал пикит.

Глеб Иванович трогал Мусю по щечке и проводил ладонью по своему лицу, зажимуривая повлажневшие глаза. И как трогал Глеб Иванович Мусю по щечке, она задерживала руки дедушки и говорила:

— Дедуска, пототи, какие у миня абочки?

И Муся гладила свои красные щечки.

— Девочка моя! — восклицал Глеб Иванович.

Муся побежала к большой белой двери в кабинет. Кряхтя и надувая щечки, отворила щелку и пролезла к своим игрушкам.

Глеб Иванович начал вставать.

— Запрягайся, старик! — прошептали губы. — Леня прежде тебя родилась.

Глеб Иванович подошел к окну, отдернул шторы, поглядел на белые перины снега, обложившие за метельную ночь теплый его дом, и довольно, мирно, ласково зевнул.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Как вспыхнувшие огни люстр в темноте, возникали воспоминания и на берегу Женевского голубого озера. Алеша бродил по причесанным гребнем рук тропкам, и голубое Женевское озеро не плескалось, не умело шуметь, как шумело и плескалось низкобережное озеро Чарымское, как набегало оно в зыбуны зеленых низин кипучей сворой волн и как объезжал мокрое место белой горой Никола Мокрый, не мог объехать.

Он копил непроходящую, цепкую, будто сосновая смолка, грусть. А месяцы шли гуськом, как березовые большаки от села к селу. Он считал их и сбивался со счета.

Он вышел меж конвойных из зала. В широком коридоре один конвойный пошел впереди, другой пропустил его и остерегал позади. Алеша не слышал своих шагов.

Сердце билось колотушкой, толкалось в бока и мешало шаги. Из широкого коридора повернули за выступ. Тут была двойня дверей. Конвойный дернул одну дверь. Она была заперта. Он приоткрыл другую и показал. Алеша шагнул и задохнулся.

Тусклая, в мушиной пестряди, лампочка глядела с потолка, как конвойный, и беспокоила. Он вдруг похолодел. Ясно, будто в морозную ночь, вызвездило в голове, грудь встала спокойной заводью, и уверенно, и четко, и беззвучно руки уложили крючок на двери. Он, как по ладам гармони, провел пальцами по перегородке, нащупал, легко вывернул, приподняв в углу, широкую доску переборки и пролез в соседнюю уборную. Там на гвоздике висели пальто и фуражка... Алеша взмахнул руками и оделся. Густой и трудный шар перекатился в горле, застрял... Под надвинутой фуражкой, под козырьком, как два затаившихся зверька, выстроились глаза... Он оттянул шумно крючок и выдвинулся боком в коридор, пряча лицо, шагнул, пошел по узкой меже коридора у стены в темнеющий конец и свернул к черной лестнице, к сторожке. Алеша увидал у сторожки человека. Человек толкнул его в комнату, щелкнул замком, выдернул ключ и быстро отошел в коридор. Солдаты молча стояли у клозета. Они видели, как из запертой уборной вышел околоточный в серой шинели и ушел на черный ход. У входов и выходов стояла полиция. Солдаты приняли Алешу за дежурного околоточного.

Окно сторожки открывалось в ширококостные серебристые тополя сада, низко свесившие серебряную чешую листьев на забор, на заднее крыльцо. Он выглянул в окно и прислушался. Недалеко в вечерней темноте раздавались голоса городских, стороживших черный ход. Городовые о чем-то спорили: говорили сразу несколько человек.

Алеша широко заглотил тонкий и острый холодок темноты и выпрыгнул. Боль ударила в ноги, крутнулась в спине, опалила глаза. Он упал и пригнул голову к земле.

Голоса продолжались. Он отполз к забору, перемогая ушиб, поднялся, схватился за шершавые доски и кинулся вдоль забора. В глухом углу от вылез на брюхе в подрытое ранее место. В темноте заржала лошадь. Закашлял человек.

— Семен, ты? — шепнул Алеша тишайшим шепотом.

— Хватайся! — тревожно сказал невидимый в темноте человек.

Он нащупал гриву лошади. Человек подсадил его в седло:

— Держись!

Семен ударил лошадь ладонью по заду, и лошадь пошла вскачь, дрожа и разгораясь под седоком. Алеша вдруг окреп, отхлынула боль от спины, глаза прояснели, только деревянные ноги тупо уперлись в стремяна и были чужими.

Он проскакал Верею. Знакомым проселком, посреди голого жнивья, лежавшего под ногами колючими бородами, навстречу клокотавшему в горле и задувавшему глаза ветру вомчался в лес и задержал лошадь. Лошадь шла в темноте, как днем, обходя канавы, рывины, пеньки. Он присмотрелся. Черные бока узкой лесной просеки свисали к глазам. Уверенно кружа по тропкам, исхоженным давно с охотничьим ружьем, он нагибался под хватающими лапами деревьев, трепал усталую лошадь по шее и забирался в глубь Брюхачевской поскотины, на Ельники.

К полночи он остановился у лесной сторожки и постучал, не сходя с лошади, в горевшее красным углем окно. Собаки хватали за ноги.

— А я давно поджидаю! — сказал с крыльца лесник. — Здеся! Кыш вы! Мальчик! Шарик!

В сторожке топилась печь и дышала густым жаром в черную пасть устья. Старуха сидела против печи на лавке и чинила рубаху. Красные коровьи языки огня лизали лицо старухи, стянутое паутиной сеточкой морщинок.

— Бабка, ты залазь-ка на печку на время! — приказал лесник. — Мы тут переодевку сделаем.

Алеша начал раздеваться. Бабка полезла на печь. Лесник принял из рук Алеши шинель и понес к печке.

— Э-э! Жалко! Вещь-то какая! — сокрушенно и скупое сказал лесник. — Материал — первый сорт!

Он погладил серые полы шинели, похлопал рукой, пощупал доброту и швырнул шинель в огонь:

— Гори, загорай, чертова кукла! Псу под хвост!

Печь захлебнулась, померкла, задымила. Огонь долго справлялся с толстым сукном, разорвал красную дырку, выскочил в нее и охватил всю шинель шипящим и дрожащим суриком.

Алеша разделся догола, складывая на пол белье. Он стоял у печки, гладил себя по груди и смеялся. Лесник вышел в сени и принес ворох новой одежды.

— Носи, Алексей Глебыч! Папенька за новой не стоит! Обмозговано тут у папеньки все, как у колдуна! Обогрей малость одежду!

Алеша переоделся и прошелся по избе.

— Бабка! — крикнул лесник. — Все места прикрыты. Будет бока-то жечь. Спрыгивай! Принимайся за кормежку гостя!

Бабка молча накрыла в переднем углу стол. Двери из избы поскрипывали и хлопались: бабка таскала из сеней горшки, плошки, крынки. Лесник раздувал самовар у отдушины.

— Куда, куда столько? — испугался Алеша.

И вместе с загудевшей самоварной трубой загудел лесник:

— Отъедайся, Алексей Глебыч! Было бы впрок! Папенька об еде пуще всего позаботился. На полгода добра привезено.

Лесник поставил на стол самовар-брызгун. Клокотавшая вода возилась под крышкой и приподнимала ее, отдирая от боков и пузырилась протеками на черный поднос.

Лесник побелел оскаленными зубами, усаживая Алешу:

— Ну, вы тут домовничайте с бабкой! Бабка, ты жги одежду, пока вся не сгорит. Ты и сам понаблюдай, Алексей Глебыч, как бы что к рукам бабьим не пристало... Надо начистую, на дым одежду переработать. Кочергой шевели, переворачивай! Подкинь жару. Материя, она огонь гасит, фукает. А я погоню лошадь, куда следоват. Не бывала-де в наших краях... И все тут. Ох! И смекалист у тебя папенька, Алексей Глебыч! Будто не одна у него, а две головы. И денег ему не жалко на стоящее дело. Кормись, кормись, Алексей Глебыч, не у матки был, у мачехи...

Алексей задумался над пáрившим стаканом чая. Старуха сидела за самоваром, следила, когда нужно было налить, и жадно разглядывала его.

— Бабка! Кого нелегкая принесет,— не бывало случая, чтоб в такую даль да глушь ночью живой человек заживал,— не пускай! Бабка — мать мне. Она свое дело знает... Старуха — железная просвира. Видишь, молчит, а говорить умеет лучше коробейника. Поживешь — увидишь, какое это старое дупло крепкое.

Старуха поиграла кошечками морщинистых щек и скрипуче, как коростель, проскрипела:

— Титушка! Наговоримся завтра! Сперва управляйся с заказом-то! Время нужнее разговоров.

— Гони, гони, бабка! Запирайся!

Лесник вышел. Старуха заложила запор и вернулась к Алеше. У окна лесник завозился с лошадьёю, отвязывал, тпрукая, взобрался на нее, свистнул... Лайкнули собаки. Алеша услышал замолотивший вдруг о гулкую ночную землю бой копыт.

— Поскакал! — свернула трубкой ухо старуха и слушала глазами.— К утру вернется. Такой уговор был: лошадь угнать верст за пятнадцать в сторону и кинуть там, батюшка. Папенька лошадь-то на эту самую надобность и купили... Семен, кучер-то,— сродственник наш. Лошадка тутотка неделю стояла. Вчерась Семен угнал в город под тебя... Лошадь добрая... Тит пешечком придет. Ноги-то привышные... Такие дела, батюшка!

Самовар заглох. Только в нижнюю решетку провалился уголек и дотлевал красной ягодой. Алеша прилег на лавку, глядя на кашлявшую дымом печь, похожую на сивую старуху, шевелившую в ней кочергой. Грудка одежды убывала на глазах. В избе было душно, накалено, как в овине, заряженном перед молотьбой. Собаки часто лаяли и скреблись о крыльцо. Он поднимался на локте и ждал-ждал-ждал погони.

Старуха заметила:

— Ты что, батюшка, шею, как журавль, вытягиваешь? Никого нет. И быть не должно. Это на птицу они, на зверей каких. Упадет сук, они и на сук лают. У нас тутотка спокойно. В год один раз человек зайдет. Спи, батюшка, не сумлевайся ни о чем!

Алеша улыбнулся. Дремал. Сквозь не хотевшие закрываться ресницы видел старуху. Будто ночной кочегар у паровой топки, поддерживала она и кормила огонь.

Сквозь дремоту он слышал старушечьи скрипучие коромысла:

— Погляди, чем не колдунья, чем не чертовка? Ночью печь топлю и одежду палю! Али будто у разбойников!

Он молчал и ласково усмехался.

В помутневшие, отпотевшие рамы прокапало немного света, когда Алеша опять вздрогнул глазами. У печи стояли лесник со старухой и глядели на него. На полу дозванивала и подпрыгивала заслонка.

— Что у тебя, руки отсохли? — сердился лесник. — Ишь, разбудила! Ишь встрелся!

Печь протопилась. Лесник разгребал ножом на шестке груды серой горячей золы и ворчал на старуху:

— Догадки у самой нет? Отпороть надо было сперва. Ищи теперь. Может, не все и сыщешь! От одной беда будет!

— Что ты на меня-то? Не сам ли, ругатель, не спросясь, в огонь бросил? В печь залезать мне отпаривать?

Алеша не понимал, устало глядя на лесника. Тот повернулся и подошел к нему, отстраняя от себя серые, в золе руки. Лесник тревожно спросил:

— Не приметил, Алексей Глебыч, сколько пуговиц было на шинельке? Старая не отпорола. Пуговица, она пустяки, а по пуговице найдут все концы. Откудова, скажем, военная пуговица в сторожке взялась? Теперь из-за нее всю золу надобно сквозь решето пропускать. Пуговицы, хошь не хошь, сыскать следоват. Зарою я когда пуговицы под дерево — тогда шито-крыто. У, бабка!

На полу у печки старуха насыпала пеплу и топталась на нем, ощупывая пуговицы.

— Загадила ни с того ни с сего избу. Самой лишняя работа! — зудил лесник старуху. — Ищи, разыскивай теперь! Не отстану, покуда не перешарим до последней щепотки.

Старуха разозлилась:

— Не тебе придется мыть избу: не плачь по чужой спине. Отойди лучше. Без тебя пуговицы сами под пальцы попадутся.

Старуха схватила с полу заслонку и рывком заставила устье.

Лесник сел на лавку в ногах у Алеши:

— Укладывайся, укладывайся сызнова! Рано вставать. Эй, бабка, в заслонку играть не станешь боле?

— Ты голосом своим хуже заслонки будишь человека. Лесник свернул сигарку.

— Лошадка на месте,— говорил он сам с собой,— день пробегает, ничего... К деревенскому табуну пристанет. В волость поведут хозяина разыскивать. Подарок подкинули знатный. Ложись, ложись, ранняя птица! Я тоже порастянусь с устатку. Шел я не хуже другой молодой лошади, только что копыт нетути.

Алеша отвернулся к стене с отлежалого бока и подложил под ухо руку. Сердце било неунимавшимися крыльями. Ресницы, будто перышки, суживались и не могли плотно прилечь.

— Бабка, и ты ложись! Ты тоже устала, сердешная! Ночь и день на ногах!..

— Хоть пожалел-то, сынок, и то ладно.

— Плевой! Завтра доищем пуговицы! Труды бог любит. Что мы, окаянные — не спать?

Алеша вприсонье слышал, как скрипели под лесником полати, а старуха шаркала на печке одеждой и охала, укладываясь на палящий хребет. У глаз его была щелявая, как луковичная шелуха, стена, она наваливалась на него, спирала дыхание, словно отталкивала его и вместе с ним задыхалась. Храпели полати и печь ржаным и крепким сном. Алеша, как плясун на канате, качался и обрывался от забытья, хватаясь руками за лавку.

На Ельниках понесло березовый лист холодными утренниками. Будто желтые бабочки, вылетели листья тучей из чащи и засыпали полянку, затрепыхали мимо окон сторожки, свернулись червяками на крыльце. Березняк зашумел червонными водопадами и осыпался во весь день оскудевающим золотом. Ельник темно зеленел о бок свежей и не стареющей в осени иглой, только кончики иголок позолотели, и падали на хвою желтые слитки шишек. Пролетели белые облака лебедей. Пролетели долгоногие, долгошеие журавли. И небо вымерло, как пустой дом. Застеклевшее небо подпирало лес и хрустело о стекло ясными, как родниковая вода, днями. Наясневшись, охолодав, отпотело небо вдруг... Над полянкой остановились широкогорлые завитые трубы и рога облаков, перевернулись, качнулись, брызнули и потекли на землю тонкими суровыми нитками.

Алеша вперегонку спал с лесником долгим, как лесная ночь, непробудным сном. Прогрелся от сырых холодов,

спали калачиками собаки на крыльце, упрятав под брюхо морды. Одна бабка бродила по избе и, заскучав от ливня, булькавшего за окном по захлебнувшейся земле, проделав обряд, садилась в переднем углу с закрытыми глазами и не могла уснуть.

Тогда ночной ветер, покачав Ельники, улетал в город, бился застывшей грудью о тюремные стены, прокрадывался в щелки рам в камеры и дул холодно и щекоотливо.

Лия лежала с головой под одеялом и, трясаясь ледышками ног, жадно и долго дышала. Под темным шерстяным сводом будто стыли глаза у Лии, разучились закрываться, спать...

Зимой на полянке видны были заячьи лапки и лисиние четки следов, а по кругу, взмыленные морозами, в пене стояли островерхие, будто калмыцкие шапки, елки. Небо, чистое, как выметенный ветрами каток, леденело над полянкой в короткие, воробыными шагами мереные дни, а на закате лихорадило малиновыми разводами, красными лужицами и янтарными побегами облаков.

От сторожки протопали валенки лесника тропку в лес. По тропке бегали вперегонки собаки, и в уханке ходил взад и вперед Алеша. Глеб Иванович прокрался на Ельники в медведях. В ночь обернул обратно. И тогда Алеша другой ночью выехал с Семеном за Чарымское озеро, в маленький городишко, в самый маленький городишко на свете. Семен проводил поезд, завернул сани на старую дорогу и пошел рядом с лошадьёю, похлопывая морозными рукавицами.

На берегу Женевского голубого озера Алеша вспомнил, как старый еврей Куба Лурье перевел его через границу. Громыхнула русская застава пустым залпом, эхо перегнало его, покричало на чужой земле — и замолкло. Алеша еще долго бежал от родной земли. Дул холодный ветер от Вержболова и студил спину.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В то время как разгоралась и сердилась под Алешей лошадь у забора, солдаты переглянулись, и один дернул дверь в уборную.

— По-барски сидит, арестантская морда! — прошипел другой солдат. — Заперся, гляди!

— Конча-а-й!

Выждали. Ответа не было. Дернули снова. И снова только захрустел и зазвякал крючок за дверями. Солдаты засвиrepели. Расшваркнули злобно вторую дверь, вбежали, стукнули в перегородку кулаками.

— Выходи-и!

И затряслись, и простонали. Один солдат, как кошка, шмыгнул в дыру в перегородке и с криком выскочил в первую дверь, обламывая крючок:

— Побег! Побег!

Из зала, из судейских комнат, из канцелярии вывалился в коридор народ... Забегали, застучали, закричали, засуматошились... Сторож со щеткой незаметно влился в толпу и тоже начал бегать, суетиться, кричать. Толпа плеснулась на черный ход.

— Лови!

— Держи!

— Обыскивай!

— Запереть двери!

— Не выпускать никого!

Глеба Ивановича выкачнуло вместе с другими в коридор. Он потолкался и опустился на лавку. У него виновато светились потеплевшие счастливые глаза. И весь шум и грохот коридора были как свадебный поезд в молодости.

А тут подошел прокурор и ехидно и возбужденно сказал:

— Ваш сын, Глеб Иванович, не только преступник, но и ловкий трус!..

У прокурора лицо было будто вымороженное и выстиранное белье. На тонких подвернутых кромочках губ серебряным позументом кололись усы. Глеб Иванович охватил его глазами, сиявшими, как иллюминированные праздничные вечера, и насмешливо, презирая и ненавидя, ответил скороговоркой:

— А вы, Владимир Петрович, не прокурор, а... а... костоправ... без сердца и души. Вы как смеете отцу... говорить... такие...

Глеб Иванович привскочил и в беспамятстве упал на пол.

— Воды! Воды! Доктора! — закричали в коридоре.

Прокурор юркнул по лестнице вниз и взял свою будто лакированную и смазанную маслом головку в пахучие глянцевоe воротнички сорочки.

Глеб Иванович опомнился от забытья. Он освоенно огляделся и увидел Гарюшина. Гарюшин вызвался про-

водить его. Старик сжал, натуживаясь, худую гарюшинскую руку и не выпускал ее, пока ехали на извозчике до дома... Гарюшин не отнимал связанной руки, горделиво усмехался тайному веселию удачи и, стороня рот от извозчика, шептал Глебу Ивановичу:

— Кажется, прошло! Прошло, кажется!

Старик приближал губы к уху Гарюшина:

— Боюсь я! Погоди говорить! Не сглазь! Кошка сегодня три раза дорогу мне перебежала... Бежит, подлая, и мордочку ко мне!

Гарюшин укоризненно протянул:

— Глеб Иванович! Глеб Иванович! Ха-ха!

Глеб Иванович отпустил провожатого у дома и заторопился. Просеменил он через калитку на темный двор, в людскую, к Семену.

— Лошади обряжены? Здоровы?

Семен пил чай с женой. Он весело вылез из-за стола к хозяину, запахнул пиджак на брюхо и ответил:

— Не совсем благополучно, Глеб Иванович!

— А! — взвизгнул старик и пошатнулся.

Семен спохватился и быстро-быстро заговорил, суетясь в людской:

— Серый что-то на заднюю ногу припадает. Вот я фонарик засвечу. Поглядеть надо. Может, ветелинара — коровье здоровье — позовешь!

Глеб Иванович отвернулся, задерживая испуганную улыбку.

На конюшне Семен поставил фонарь на пол. На тени стены широко и смешно задвигался заросший усами и бородой большой рот.

— Испужал я ненароком. И сам испужался. Думаю, баба сметит, пропадай пропадом! Дело вышло под орех... Алексей Глебыч как из-под земли вырос... я его на седло... Ан и укатил...

— Хи-хи! — радостно засмеялся Глеб Иванович. — Молодцá! Молодцá! Ты про Серого-то так... на пушку сказал!

— От бабы я увернулся... Серый конь, как конь, о четырех копытах, в порядке.

Глеб Иванович поднял с полу фонарь и поднес его к удивленным остановившимся глазам Семена. Волнуясь и вздрагивая, Глеб Иванович надтреснутым голосом сказал:

— Спасибо тебе, Семен, должник твой на всю жизнь. И Тита... и Тита.

Семен лениво и спокойно махнул рукой:

— Какие там долги! Премного довольны и так!..

Глаза хитрили, и Глеб Иванович поймал острый и жадный смысл в них.

Он пошел из конюшни, роняя на ходу привычное хозяйское беспокойство:

— Не зарони тут: спалишь!

Погоня в полночь настигла дом. Всю ночь перерывали другие дома, шарили на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах, шарили у Гарюшина, рыскали по вокзалам, заперли все городские заставы винтовками, нагружали тюрьму крамольным поднадзорным людом.

Федор лежал животом на подоконнике в судейской сторожке и глядел на ночные мокрые тополя, мерил глазами Алешин прыжок и ухмылялся. Федора тянуло глядеть. Задожидло неделю. Было холодно. Холод обдувал голову, и тополь брызгался дождем, кропил и мазал лицо водой, а Федор, раскрыв окно, улегшись на подоконник, терпеливо глядел в ночную темень и заглядывал на невидимую внизу землю. Под окнами зашевелился кто-то, переступил... Федор испуганно крикнул:

— Кто-о здесь? Кто-о здесь?

Кто-то опять переступил, но не ответил ему. Федор, торопясь, закрыл испуганно окно, прижался разгоревшимся лбом к стеклу — и не мог никого разглядеть. В такую, забродившую по пояс одежды, ночь Федора вывели из сторожки и отвезли в тюрьму.

Следователь смеялся:

— Ты ничего не знаешь? Но почему было открыто окно в сторожке? Кто открывает окна в холодные вечера?

— Да рази у меня у одного окно настежь было? И вечерок-то рази был не теплый? Да рази во всем суде окошки не я же отворял да затворял? Жарища-то какая была! Напотели сколько жару! Наше дело совсем маленькое...

— Где ты был, когда мимо тебя прошел арестант, переодетый в шинель околоточного?

— В коридоре я подметал. Навозила полиция за день мусору — не до утра мне обихоживать помещение. А спать-то когда?

Следователь крупно черкал на листочке.

— Так. Ты подметал. А как он: бежал или шел?

Федор развел руками и ухмыльнулся:

— Да я же никого не видал. Кто его знает, как он утекал — бегом али не бегом?

— Ты же сказал: подметал, а он прошел мимо по коридору?

Федор удивленно поглядел на следователя и засмеялся:

— Да нет же: это вы сказали: он прошел. Вы и видали, значит. А я не видал. Я завсегда вечером, еще суд идет, подметаю.

— Тебе лучше сознаться во всем и рассказать, как ты принес шинель, кто тебе ее дал, как выломал ты доску в уборной и как все подготовил для бегства. Кроме тебя — некому. Если ты не сознаешься, тебя сошлют в Сибирь. Сознаешься, тебя, конечно, осудят, но осудят легко. Да, зачем ты на прошлой неделе после бегства вечером ходил на квартиру к Глебу Ивановичу Уханову, пробыл там полчаса, а оттуда зашел в трактир и пьянствовал до закрытия? Откуда ты взял деньги?

Федор наморщился и злобно забурчал:

— И в Сибири люди живут. Запугиваешь тоже! Вы, ваше благородие, околесицу зря не говорите и не сомущайте меня!..

— Бубликов, нельзя так отвечать: повежливее, повежливее! С тобой разговаривает следователь по особо важным делам.

— Что, на самом деле! Сами не устерегли, а с других спрашивают. Куда да зачем ходил, да сколько водки выпил? А никому и дела нет, сколько я водки выпил. Я свое дело знаю, а вы свое. А ходил я к Глебу Ивановичу судачить ему на его сына. До того как в арестанты меня посадили, молва пошла: Федор-де тут помогал. Вот я и ходил пенять отцу-то: как-де не стыдно вам человека ни при чем в свою кашу замешивать? Глеб-то Иванович еще мне на это и скажи: иди ты к такой матери, сторожишко говенный, не стану о тебя руки марать. Я с горя на последние и замочил... Какое мне дело, что арестант из-под носу ушел! Я убираю — арестантов стеречи я не нанимался. Эвто ваша печаль.

Следователь не сводил с него выпытывающих, ковырявшихся в сердце глаз. Федор равнодушно и прямо смотрел в глаза следователю немигающим столбняком.

— Ты рассуди сам: кому, кроме тебя, можно было так все предусмотреть и рассчитать: и шинель, и перегородку — и всё, и всё?..

Федор подумал и насмешливо спросил:

— А вы, ваше благородие, шинель видели на нем?

Следователь насторожился, изогнулся дугой над столом, жадно вглядываясь в Федора:

— Нет. А что?

— От конвойных слышали. Это и все от них слышали. Весь город говорит. Может, никакой шинели и в помине не было? Может, ни в какое окно он не выпрыгивал? Да и как выпрыгнешь, когда ключ-то у меня в кармане от сторожки был? Может, он в солдатской шинели вышел преспокойно в двери как ни в чем не бывало? Может, солдаты в двух шинелях пришли, ему одну и дали? А то в узелке раньше кто принес шинель и в укромное место заложил. Дом-то вон какой путаный, старинный! А то и так: в публике солдат был. Шинель свою снял, сунул кому следует, сам в тужурочке домой пошел. Полиция только для близиру стоит. Никому и в голову не придет, что не солдат катит, а сицилист. Не запутывай зря! Доска тут и совсем ни к чему. Толкни раз всю перегородку в нашем сортире, вся перегородка свалится. Может, солдаты сами и доски выкорчевали для отводу глаз. Кто их знает? Арестант полчаса на дыре исходит: они ждут себе. Ха-ха! Больно что-то несуразно! А тут из-за них майся! Не там, ваше благородие, ищите! За беспорошную службу-то благодарность! Ха-ха! Шинель выдумали! Сторож-де шинель раньше принес! Ха-ха!

Федор еще раз осторожно хохотнул и зажал рот рукой. Он стоял перед следователем руки навывтяжку. Волосы, как колосья, высывались из-за ушей, лезли на лоб, разваливались по пробору на стороны. Лицо его было веснушчато: словно обрызгано мелким брусничником. И два глаза — два василька круглых, с ресницами-усиками — выросли на этом конопатом поле.

Следователь отпускал его. Опять приводили.

— Почему ты часто глядел в окно и заглядывал вниз у себя в сторожке вечерами? Агенты наблюдали за тобой.

— Почему да отчего? Отчего да почему? Как маленькие, право! И в окно не погляди, и то нельзя... Я не в чужое окно глядел! Зароку я не давал к окошку своему не

подходить! Этак и в сортир, скажешь, почему, Бубликов, ходишь? А потому, как и все.

— Бубликов! Не груби!

— Я безо всякой всячины. А мне тоже обидно. Во мне старика больше сидит, чем молодого, а меня разгрызают хуже не надо...

Федор, как побитый дождями колос, потемнел, выцвел, и только не выцветали васильковые глаза, сидевшие двумя бочажками под холмистым и крепким лбом.

Конвойные пошли на каторгу вместе со Шмуклерами, Калгутом, Ароном, Бобровым, Ахумьянцем и Ваней Галочкиным. И тогда Федору выкинули из тюремной конторы его старый кошелек, а в нем рубль денег, и еще рубаху выкинули, заплатанную на локтях. Федор вприпрыжку выбежал из тюремных ворот и погрозил кулаком часовому.

В ларьке на Золотухе он купил махорки, сел на тумбу и жадно свернул покурить. А потом тихонько засмеялся под теплым от сигарки носом:

— Г-го-ло-вы! Адвокат — продажная совесть! Гони таперь монету, Глеб Иванович! Гони монету! Домишко надо сварганить в деревне: накопил-де! Хи-хи!

В этом году Глеб Иванович справлял сороковую навигацию. Пароходы его ушли с флагами, с музыкой... Летали над последними льдинками чайки. Прощальные свистки пароходов кричали весело Глебу Ивановичу сороковой раз. Глеб Иванович, так завелось, каждый год выезжал за пятнадцать верст к элеваторам, к своим цепным пароходам, волочившим цепь, как хвост, все лето и осень, таща отлежалое ухановское зерно от пристани к пристани на сотни речных верст. Глеб Иванович сороковой раз вернулся домой под хмельком. Но не подавалась хмельному засевшая клещом в сердце тоска. Глеб Иванович как ехал пятнадцать верст, обдавало его весенними лужами, кидало густыми лепешками глины из калей и ухабов, откачивался с одной стороны на другую и вздыхал громко в ответ на тайно громоздившиеся в голове мысли:

— Ах-ха-ха! Ах-ха-ха!

В кабинете на столе лежала толстая книга в папке с незнакомыми печатями и марками, с незнакомыми надписями. Он разорвал папку и долго разглядывал книгу.

В книге были изображены пароходы, котлы, машинные части. Глеб Иванович задумался. А потом вдруг вскочил и радостно закричал:

— Это Лешка! Это Лешка! Это не прейскурант! Это Лешкины штуки!

И он прильнул к каждой странице глазами, на свет, он торопливо листал книгу, ища в черных и жирных столбиках непочятных букв букв понятных, сыновних. И он нашел глубоко в середине, в брюшке букв, на разных страницах, зарытые буквы, собирал, складывал и сложил только одно слово: к-о-р-е-ш-о-к. Глеб Иванович наморщился, вспотел. И понял. Он подрезал корешок: переплет отвалился. И тогда Глеб Иванович увидел красную полоску по кромочке. Он расщепил двойной картон и вынул письмо Алеши и Лии.

Пришли дни, ровные, как рельсы. И Глеб Иванович покати́л по ним. Утром открывались большие белые двери в спальню к Глебу Ивановичу и вбегала Муся.

— Дедуска, тавай! — кричала девочка.

Глеб Иванович просыпался, наклонялся к ней с кровати, подхватывал ее за подмышки и высоко вздымал, радостно напевая:

— Мусенька! Мусёнок! Зайчик мой!

Рысак переступал с ноги на ногу у крыльца и косил глаз на Семена. Звонили к девятичасовым обедням по приходам. Служилый люд торопился к служебным вешалкам. Глеб Иванович ехал в магазины, в банки, в торговые конторы, отпускал лошадь домой и застревал в городе надолго.

Семен выезжал за Глебом Ивановичем после вечерен и всенощных. А дальше усталые вечерние часы Муся прыгала по кабинету, перекидывала дедушке мяч, гнала на дедушку легкий обруч, дедушка залезал, кряхтя, под стол, лаял большой и маленькой собачкой, показывал волка, держал Мусю на коленях, а она ходила с одной ноги на другую и норовила, хохоча, провалиться между ног, а дедушка ловил. Верхом, на кукорках, вез дедушка Мусю спать — и ему подавали ужин в столовую. Глеб Иванович оставался один.

Редко приходили посылки из-за границы. Глеб Иванович сидел тогда, запершись в кабинете, и няня не впускала Мусю.

Проходили месяцы, как знакомая каждому мушиным пятнышком лампа на столе. Занывало сердце, когда Муся, плача, будила его:

— Дедуска, тавай: у Муси лобик заварал.

И терла побледневшее личико.

Но Мусины болезни были короче ударов сердца дедушки. Не договорив, она уже смеялась в детской, раскладывала куклы в уголке:

— Дедуска, пототи, какая куколка!

Глеб Иванович присаживался на стул и глядел на маленькие, пеленавшие куклу ручки Муси.

В столовой за ужином, один, Глеб Иванович сбивался с проложенных рельс и задевал за костыли на рельсах. Часто он вдруг вставал и звонил, пока к нему не приходила прислуга:

— Заложить лошадь!

Глеб Иванович приезжал в клуб. Ему освобождали место, и Семен дожидался до рассвета. Глеба Ивановича вносили на руках в спальню и раздевали. Он не давался раздеваться, вырывал руки и тихонько пел, качая головой:

Ельничек, ах, березничек!
Березничек, ах, да ельничек!

А потом плаксиво и пьяно кричал:

— Нет... нет... у меня сына... Урод... урод уродился! Мусю держали утром в детской и не впускали в спальню.

— Дедуска пян? — спрашивала Муся. — Дедуска пит? Глеб Иванович горевал.

Покров опять подкатил с дождями и сиверком. Глеб Иванович не захотел справлять юбилея. Костыли на рельсах вывалились раньше времени. Вышел он за два дня до юбилея поглядеть на вечернее солнце на бульвар и присел на скамейку. Задумался Глеб Иванович на желтые ситцы берез и кумачи кленов. А как повернул голову в сторону — задрожал мелкой осенней изморозью.

К скамейке подполз безногий паренек, закопошился около него, гмыкая, протянул руку и дотронулся до коленка.

Глеб Иванович с ужасом открыл на него плачущие глаза.

— Кто ты? Кто ты? — вскрикнул Глеб Иванович.

Паренек вытащил из-за пазухи маленькую грифельную доску. На ней была надпись:

ГЛУХОНЕМОЙ ВАСИЛИЙ УРОД.

Глеб Иванович вскочил, сунул ему кошелек и заторопился по бульвару.

Вдогонку несло страшное: «Г-мам... г-мам». Безногий паренек спешил догнать, шаркая задом по песку и держа кошелек в зубах.

Глеб Иванович ворвался в кабинет, схватил карточку Алеши и, потрясая ею, закричал пронзительно:

— Василий Урод! Василий Урод! И я безногий! И я безногий!

В Покров дом Глеба Ивановича был глух и нем, как ночью. Юбияр лежал в кабинете и горько плакал.

ИСТОРИЯ О ШАПКЕ, О ТАЧКЕ, О ПОГРОМЕ И ЗАБАСТОВКЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тот год, как умер Савва, зимой Кукушкину помяло руку станком. Ползимы он болел. Но когда зажило, у его станка давно уже стоял другой. И стал Кукушкин на чистой городской половине паять, починять барскую кухонную посуду. А с Зеленого Луга, с Числихи, из Ехаловых Кузнецов носил он домой самовары и лудил. Жилось. Но вдруг надвигались безработные недели. Кукушкин переходил с одного завода на другой. Не брали. Голодал. Должал. Прятался от товарищей. Вил он по городу, как убежавший из зверинца зверь, и без памяти совался под ноги к прохожим.

На Толчке в базарный день били вора. Кукушкин, шатаясь в народе, первый услышал, как закричала какая-то женщина:

— Вор! Вор! Украл у меня!

Женщина, держа в одной руке кожаную ручку от ридикюля, другой показывала на ушедшего хорошо одетого человека.

Кукушкин заколебался, но женщина показывала на него. Кукушкин кинулся вперед, схватил вора... Тот, ухмыляясь, толкнул его, вырвался и бледный, как лежавший на крыше снег, возмущенно закричал:

— Это безобразие! Как вы смее? Обыщите меня!

Люд навалился. Будто затрещал, обломился большой забор и упал на бледного человека. Били на воздухе, били на разваленной тысячами человеческих ног снежной дороге, совали тычками в грудь, в бока, жали и давили стонавший живот. Кончили бить, когда вор был будто изрубленное мясо с мясной лавке. Волосы у вора слиплись в красной жижице. Не смотрели под багровыми волдырями глаза. Пальто рваными лохмотьями торчало вместо рукавов, воротника, пол — и на груди лежал вырванный клочок жилетки, привязанный на часовой цепочке к карману.

Выворотили карманы, обшарили — и не нашли денег. Человек лежал, размазывая кровь по снегу, молчал и слабо вздрагивал скрюченной, истоптанной ногой. Не нашли денег — и отхлынули, побежали, уходили, боязливо оглядываясь.

— Ошибка, братцы!

— Бабу бы надо отвалтожить чередом! В грех ввела!

— Ишь, сразу скрылась!

— Где, где баба?

— И за что избили человека: за одно подозренье!

Человек лежал одиноко на дороге всем видный и жалкий и укоряющий. Лошади с возами объезжали человека. Сидор Мушка бежал от будки, ныряя в хлипком, как студень, снегу. Люд стоял кружком вдалеке и отодвигался дальше и дальше от человека, не отрывая от него жальчивых, беспокойных глаз.

Кукушкин отошел вместе с другими. От ошибки, проколовшей будто насквозь зудящей болью сердце Кукушкину, он забыл о голоде, не мог глядеть на поверженного из-за него, издавленного побоями человека. Кукушкин грустно бегавшими глазами скользнул раз другой по молчаливому люду, отвернулся и быстро пошел с Толчка.

На Прогонной улице он еще раз увидел человека. Красной тучей его везли на извозчике городовые. Кукушкин простонал, остановился, замер, задрожал морозной спиной и сводившими на ходу руками. Он сунул руки в карманы пальто — и рывком вырвал правую руку. А в руке был ридикюль.

Кукушкин будто стал нагой. Он в ужасе оглянулся по сторонам и, не попадая в карман, начал засовывать ридикюль обратно. Таясь от прохожих опущенными гла-

зами, сдавив ридикюль в кармане, Кукушкин, в раз колотившему сердцу, торопливо и крупно зашагал домой.

Он не добежал до дома, не дотерпел... Прикорнул на густой и пухлой, как поднявшееся белое тесто в квашне, снежной скамейке на бульваре, осторожно вынул ридикюль, раскрыл его и обомлел. Ридикюль был полон серебра и кредиток. Кукушкин вскочил и почти побежал по бульвару, запыхавшись, будто загнанная на скачках лошадь.

Дома Кукушкин вывалил деньги в шапку сквозь пальцы без звона, чтобы не услышали соседи за деревянной чуткой перегородкой, и раздумался надолго, тяжело, мучительно...

«Снести? Отдать?» — шептал кто-то в уши.

Но денег было двести рублей. Кукушкин зажмурил глаза, не выпуская рук из шапки, стоявшей на столе мягкой ласковой бадейкой.

«Вор! Вор! Вор!» — стреляло в виски.

И пришла разрешившая взять, такая простая и напуганная мысль: «Кто же поверит?»

И будто кто-то сказал в комнате: «Не поверят!..»

Кукушкин обрадовался, а голос сам засмеялся невеселым смехом. Он спрятал под подушку деньги, схватил пустой ридикюль, сунул его в карман и опять выскочил на улицу.

Проходили часы. Кукушкин бродил по городу, не решаясь, не находя удобного места, чтобы выкинуть ридикюль. Дома ледяными вышивками окон, заборы щелями, калитки побелевшими от инея кольцами, улицы прохожими, собаками, извозчиками глядели на него и мешали. Люд проходил мимо — и, казалось, ухмылялся хитро и плутовато над ним. Городовые стояли на постах и похлопывали рукавицами.

Кукушкин вернулся домой. Подошел к крыльцу. Вдруг он оглядел в страхе и тревоге полу у пальто. В проху-далом пальтишке у кармана была дырка. В дырку выглядывал металлический глазок ридикюля. Кукушкин сразу вспотел и чуть не крикнул. Он сдавил в кармане ридикюль вдвое, прижал к телу подальше от дырки, простонал неслышно внутри себя, подумал и поворотил от крыльца. Руки сжались твердо, жестко.

У архиерейского сада он вырвал ридикюль из кармана и швырнул его за забор сильным освобождающим кидком. Ридикюль закружился, задел за корявые пальцы

тополей, открылся, отскочил от сучьев и упал в снег по сю сторону забора.

Кукушкин отчаянно завертелся на бульварной дорожке, придвинулся к блиставшему на снегу зажженным фонарем ридикюлю, протянул руку, желая закрыть ладонью блеск ридикюля от себя самого и от надвигавшихся по бульвару прохожих, а потом подпрыгнул на боковой тропке и помчался прочь. Он покружил, замечая следы, по Толчку, по Прогонной улице и зашел на свою улицу с другого конца.

Два дня Кукушкин крепился. Он зашил деньги в тюфяк толстой складкой. Он ходил голодный по городу, ища работы, но ходил недолго: его тянуло домой, ему мешала толстая складка мечтать о почерневшей и накипевшей кастрюле, о самоварной полуде, о протекавшем оцинкованном ведре и прогоревшей в плите коробке из духового шкафа.

Кукушкин подпорол складку и вынул первый полтинник. И как разменял в лавочке, как опустил в карман гладкие медяки и серебряную чешую гривенников — стало весело, свободно, легко. Твердым, уверенным шагом заходил Кукушкин по земле. Оделся. Берёг мятую руку в фуфайке. Чистил сапоги. Не покупал извозчичь папиросы «Трезвон», а покупал папиросы «Дюшес». И деньги не убывали...

Ехал Кукушкин в конке. Давили его на холодной площадке в передрождественские обжорные дни. Пахли ветчиной и снедью улицы, кухарки, саквояжи, плетенки, звенели винные бутылки в сутолоке, и булькалось вино в не долитых до горлышек посудицах. Ехал и Кукушкин с покупками, прижимая их к груди и отстраняя от них лезущий внабивку люд.

Скинул Кукушкин пальтишко дома, повесил его на недавно заведенную вешалку, расставил покупки на столе, отковырнул мерзлой колбасы, протер отпотевшую бутылку зубровки — и важно и удовлетворенно шагнул по комнате. Потянулся Кукушкин за папиросами в карман пальтишка и будто укололся в кармане... Замирая, не спеша, вынул Кукушкин из кармана темный незнакомый бумажник. Кукушкин откачнулся от пальтишка, погладил себя по голове, устало уселся на стул и устало свесил голову. Озноб прошелся по телу и застыл крупкой.

Кукушкин вытряхнул бумажник. Бумажник развернулся на три раствора. А в растворах лежали сотен-

ные, двадцатипятирублевки, десятки. Кукушкин сложил их грудкой, подсчитал и стал удерживать в груди больно надавившее в горло дыхание.

«Тысяча, тысяча, тысяча... и пятьдесят рублей», — завертелись в голове желтые, белые, зеленые, синие флажки кредиток.

Кожа на бумажнике была гладкая, нежная, как женские холеные руки, кожа пахла духами и каким-то неуловимым, необозначаемым безымянным запахом краски. И когда Кукушкин истриг ножницами бумажник на темные стружки, а стружки искрошил, завернул в бумагу и ночью подбросил в наст на бульвар, ему стало жалко бумажника.

Кукушкин не спал ночь. А все праздники он пролежал на кровати, подымая испуганно голову на всякий денной и ночной шорох за перегородкой, за дверями, за окнами. Никто не приходил.

Кукушкин разглядывал ночами деньги и, ликуя, трепетал, отсчитывал вперед, на сколько долгих месяцев ему достанет чудесных денег. А потом он холодел, плакал от незнания, и кто-то, казалось ему, подкрадывался тихонько невидимый, какой-то враг, злой и беспощадный. Тогда Кукушкин уходил на окраины, за чистую городскую половину, подальше от Зеленого Луга, от Числихи, от Ехаловых Кузнецов, занимал столик в трактире и молча пил. Он напивался. К нему подсаживались пьяницы завсегдатаи. Кукушкин угощал. Во хмелю он плаксиво кричал:

— Черт! Черт! Черт! Черт на меня работает!

Пьяницы обнимали Кукушкина и ласково шептали:

— Эх! И золотой ты человек! Гер-р-о-й!

Кукушкин дрался, раскидывая ногами и одним немым кулаком собутыльников. А те, будто шутя, загоразивались, увертывались и опять льнули-льнули-льнули, как летние мухи на пенки в жарко-медном вареньевом тазе.

В похмелье Кукушкин ждал прихода неизвестного беспощадного врага, усовывал под двойное дно, выделанное им в стуле, который раз пересчитанные деньги, ласково разравнивал их там и от грома закладывал ваткой. Но никого не было, но никто не приходил.

Скрывая свои сокровища, пряча от самого себя страх, прячась от пронырливо, казалось, глядевших людей,

Кукушкин снова искал работы, лудил самовары, паял и чинил барскую кухню.

— Работа есть? — спрашивал Тулинов.

Кукушкин испуганно взглядывал:

— До отвалу.

А Кубышкин говорил:

— Ты, парень, что-то в мясо не идешь. Живешь будто и ничего, а чахнешь!

— От руки это...

Кукушкина вдруг окачивала в сторожке у Никиты, как пыль, печаль. Он не досиживал до конца, срывался с лавочки и, будто гнались за ним, быстро перелезал под ветлой, гнал себя по молчавшим лугам, врвался домой, в темноте ошаривал стул с двойным дном и крепко-крепко держал... Воры не приходили. Только кто-то, кто-то передвинул стул к дверям...

Кукушкин пропускал собрания. За ним заходили. И вели его. Сердце ныло, как метельный ветер в трубе на юру, на пустыре... Он не слышал слов, речей.

На четвертой неделе поста вышел Кукушкин купить олова в железные ряды. В проходных железных рядах была толчея. Кукушкину отвесили олова в лавочке. Вместе с оловом он принес домой золотые часы.

Кукушкин застыл, как омертвелое дерево на пожарище. Часы сползли с руки и хлопнулись о пол. Стеклышко выкатилось, попрыгало и хрустнуло мелкими звездистыми скважинками, будто лед под колотушкой. Золотая крышка сдвинулась с места и согнулась. Кукушкин сам не знал, как ступила нога на часы, а часы мягко подались, словно уезжая под пол; он торопливо надавил и затоптался, запрыгал, заплясал на золотой каше.

И тогда Кукушкин занемог. Не пилось. Не елось. Не спалось. Он не заглядывал ночами под золотой стул. Он отшвырнул его в угол и навалил на него тяжелый слесарный инструмент.

Потом еще раз принес с базара Кукушкин старенький кошелек, а в кошельке было только два двугривенных.

И Кукушкин не стал ждать. Он взвалил на плечи стул, зажал в руке старенький кошелек, без шапки, без пальто, с помутневшими осенней мутью глазами вышел на улицу.

В участке Кукушкин молча перевернул стул, высыпал на пол деньги, бросил в грудку кредиток старенький кошелек и дико закричал:

— Это не я! Это не я!

Пристав дал знак. Городовые схватили Кукушкина, повалили и связали.

Кукушкин проснулся от тяжелого, как впившиеся в тело и затекшие веревки, сна. Он оглядел камеру. На нары вскочила мышь из уголка и забисерила светлыми глазами. Кукушкин улыбнулся. И будто только от его улыбки мелькнул серый пушок в воздухе — и исчез. Раннее солнце заглянуло сквозь решетки и повесило на стене острый, истекающий к полу алый меч. И как легкий прыгун-мячик, покатилась печаль от Кукушкина. Он вздохнул и, будто спеленутый и сладко проснувшийся в тепле ребенок, потянулся довольно.

Потолки и стены камеры забелили, засветили, выросли... Пришла, как вечернее лоно пруда, тишь, тишь льстивая, ласковая, а в ней мерно чашечкой кубышки качнулось сердце и заходило правильным отчетливым маятником.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кукушкин рассказывал, жандармский офицер записывал. Кукушкина уводили — жандарм хохотал, давя скакавший живот под жилеткой. Золотые брелки на цепочке прыгали и звенели, будто на жандарме была надета масленичная сбруя. Сначала допрашивали в участке. Из участка передавали сыскному отделению. Оттуда передавали жандармам. Три месяца передавали, а Кукушкин все рассказывал и рассказывал... Три синих папки начинались снова. У жандармов Кукушкин засел крепко и надежно.

— Да, да,— тянул жандарм,— я не спорю. Ну а скажите, почему же у вас мы нашли в столе, под столешницей, нелегальную литературу? Вы понимаете, что значит нелегальная литература?

Кукушкин незаметно дрогнул, но...

— Нет, не понимаю,— просто ответил Кукушкин и только тут вспомнил, как он прятал под столешницу книжки и листки. И Кукушкин укорил себя за неосмотрительность легким укусом губы.

Жандарм ухмылялся:

— Сказать проще: запрещенные сочинения. Да вы знаете! Вы желаете притворяться!

И жандарм застрожал:

— Прошу вас шутки бросить!.. Может быть, вам и под столешницу кто-то подкладывал книжки, а не вы сами их туда прятали и делали известные приспособления? Вы сами явились нашим наводчиком. У стулика вы изволили смастерить двойное дно. Мы сделали вывод: а почему бы вам и у стола не повторить подобное устройство? Что вы теперь скажете?

Жандарм снисходительно и скромно откачнулся в кресле и оглядывал Кукушкина.

— Что я скажу? — повторил Кукушкин, прислушиваясь к своему голосу и равнодушно останавливая невидящие глаза на светлых пуговицах жандарма. — А ничего не скажу.

Жандарм весело просмеялся:

— Как же так ничего! Вы не рискуете тут подсунуть нам басню о деньгах?

— О деньгах я говорю не басню, а истинную правду, — заволновался Кукушкин.

— Полноте... полноте... Подумайте — еще раз и... сознайтесь во всем, пока еще... не поздно.

Кукушкина уводили. Внезапно середь ночи лязгали замки у дверей, зажигался огонь, в камеру входил тот же жандарм, садился у кровати и, посмеиваясь, начинал:

— Вы извините... незваный гость хуже татарина, как говорится... но мы хотим как можно скорее внести ясность в ваше дело. Вы можете не подниматься и отвечать лежа. Не вставайте, не вставайте! Одна только справка.

Кукушкин садился на кровати, натаскивая одеяло на костлявые коленки.

— Скажите, когда вы были последний раз на собрании? И были ли с вами Егор Тулинов, Егор Яблоков и еще... Сергей Соболев? Они нам очень много рассказали про вас. Особенно про вашу дружбу с Просвирным, про ваши разбои на Зеленом Лугу. Видите, от нас ничего не скроется! Мы давно за вами следили. Вам выгоднее не остаться в долгу перед вашими болтливыми товарищами. С ними у нас разговор короток, вас же мы оберегаем, потому что мы чувствуем, как вы случайно попали и в уголовную и в революционную шайки.

Кукушкин взвешивал вкрадчивый, ласковый голос жандарма. Голос, как в лесных зарослях ветки, обнимал Кукушкина за спину, за голову, щекотал лицо, мигал в заспанных глазах.

Запаляясь ненавистью,— она сочилась блеском глаз, красными фиталями щек,— Кукушкин резко грубил:

— Чего привязался? Все сказал... Книжки мои. Нашел на улице. И конец. Ни на каких собраниях не бывал. Мало ли у меня товарищей из рабочих? Чего зря перебираешь фамилии? И врешь...

Жандарм ласково протягивал руки:

— Ну, ну, поосторожнее! Не надо так возмущаться. Спокойствие, спокойствие... Волнение выдает человека...

Кукушкин овладел собой:

— Не хитрите, ваше благородие! Напрасно ночей не спите... И товарищей моих в Иуды...

— Так, так,— живился жандарм.— Вы не допускаете с их стороны предательства?

Кукушкин засмеялся. Жандарм раздраженно переложил нога на ногу.

— Эх, ваше благородие! Вот ты и попался! Нечего им выдавать меня, когда нечего выдавать-то. Ничего секретного за мной нет. Ха-ха! Ка-а-к подкатился! Умо-о-о-ра!

— Мы посмотрим! Мы посмотрим! — сердился жандарм, уходя из камеры.

Поднимали с кровати Кукушкина и в первый и в последний сон. Вели к жандарму.

— Вы думаете, мы не знаем, что Просвирнина убил Егор Яблоков? Знаем, знаем... Мы знаем все. И вы напрасно упорствуете! Хе-хе!

Из недели в неделю, месяцами вливалось острое шило жандарма. Кукушкин вскакивал ночами от прострельнувшей по полу мыши, от задувшего в рамках ночного ветра, от собственного кашля — и отстранялся в тревоге к стене.

Кукушкина перестали водить на допросы. Жандарм больше не приходил. И когда он перестал приходить, вдруг Кукушкину показалась еще молчаливее камера, еще страшнее эти облупленные старые стены. Кукушкин вгляделся в один крошащийся у окна кирпич стены, потрогал его холодное темя, а из выдолбинки выползла жирная белобрюхая мокрица. Кукушкин поморщился от боли, резнувшей в ногах и задержавшей быстро-быстро, как отбегала, шевеля задом, мокрица по стене. Никто

не заглядывал в камеру, будто за стенами камеры была безлюдная пустота, не было ничего, некому было прийти оттуда и никто больше никогда не придет. Кукушкин вызвал жандарма.

— Я же сам, сам принес вам деньги! — закричал Кукушкин. — Вы записали это?

— А как же? — холодно ответил жандарм. — Вас заела запоздавшая совесть: вы и принесли деньги. Это в судебной практике довольно обыкновенно. Это часто бывает. Преступник приходит и сознается. Вон в деревне мужики каются перед всем народом... Больше ничего не имеете сказать?

Страх закричал в сердце сразу. Кукушкин давно выглядел каждую ложбинку стен, каждое клопанное пахучее пятно со смешавшейся кровью, быть может, тысяч сидевших в камере до него, каждый грибок сырости, напоздавший с полу, — и тогда месяцы обернулись годами, и он забился с головой под подушку, рыдал под ней, — и опять позвал жандарма.

— Вы эту шапочку знаете?

Жандарм нежно подбросил на ладони меховую шапку с кожаным верхом и серым кантом на сшивах. Кукушкин удивился:

— Это моя шапка.

— Хе-хе! Нет-с, не ваша. Шапочка эта принадлежит отъявленному негодяю и налетчику Мишке Ноздре. Вы знаете такого?

— Не-е-т.

— Будто? Может быть, вы на карточке узнаете его? Дежурный, отвезите господина Кукушкина ко мне в кабинет.

На большом зеленом столе грудкой лежали фотографии. Жандарм поднимал одну карточку за другой, направлял на нее из-под министерской жестяной треуголки свет и наблюдал за глазами Кукушкина. Жандарм время от времени стасовывал карточки и показывал Кукушкину одни и те же лица. Прошли мимо и обожгли глаза Иван, Клёнин, он сам... И вдруг засверкало живыми глазами темное, и жесткое, и пьяное лицо Просвирнина. Кукушкин в испуге ухватился за карточку Просвирнина, и руки заходили враскачку.

— Воспоминания-с! — подхихикнул жандарм и вырвал карточку. — Он предлагал нам свои услуги. Мы не взяли. Он нам не подошел. Он не пользовался доверием

рабочих. Но, но... делал весьма полезное дело, запугивая рабочих буйствами от увлечения революционной пропагандой. Не знаете! Не знаете! Не знаете!

Карточки, как в карусели плывущие лошадки, сменялись одна другой. Кукушкин задержал одну, всмотрелся, вспоминая...

— Ага! — затаился жандарм. — Напрягите, напрягите память! Где вы его встречали?

Кукушкин обрадовался:

— На Толчке... Вор это. Его при мне били. Я его первый схватил.

— Мы знаем, что вор. Но кто он? Как вы его называли между собой?

Кукушкин грустно и укоризненно посмотрел на белое глянцевоe лицо жандарма:

— Кто мы?

Жандарм сердито воскликнул:

— Да ваша шайка! Не хотите ли, я вам покажу и еще некоторые вещественные доказательства вашей преступной деятельности?

Жандарм выдвинулся из-за стола, повернул лампу под треуголкой светом на шкаф и открыл дверцу. На полках в ряд стояли шапки с кожаным верхом и серым кантом на сшивах.

— Тут-с девятнадцать шапочек... Двадцатая ваша шапочка. Все одинаковые... все с отличительным кантиком... все по особому заказу. Не вы их заказывали в шапочной Мошкова?

Кукушкин покачал головой, изумленно не сводя взгляда с жандарма.

— Тэк! Тэк! — веселился жандарм. — Ну и актерище сидит в вас! Ка-а-к ловко вы умеете играть! Да, жаль, жаль, очень жаль, что ваши таланты направились в дурную сторону. О! Наш народ очень богат самородками! Я всегда это говорил и буду говорить. Что вы молчите, господин Кукушкин? Где вы достали вашу шапочку?

Кукушкин пошевелился и радостно заулыбался, будто он нашел давно потерянную и забытую вещь:

— Я у Мошкова, у Мошкова... Я купил шапку у Мошкова.

— Дежурный! — громко выкрикнул жандарм. — Отвезите господина Кукушкина в камеру. Усилить стражу. И больше меня не вызывать.

Двери камеры захлопнулись. В дверной глазок вздувались две свечи часового и тухли. Кукушкина не выпускали из камеры. Параша воняла в углу, словно где-то чистили ночью и днем ретирады, и кислый, едучий запах пропитал стены, потолки, кровать, руки и волосы. Кукушкин зажимал нос, но запах мочи и кала был в дыхании, пахнул весь мир, пахли мысли, и крики, и слова Кукушкина.

Он бил кулаками в дверь. Эхо сбрасывалось гулом и катилось по коридорам. За дверями грозили часовые и не отпирали. Опухшие кулаки были розовы, будто не кожа была на них, а выцветший на солнце кумач. Под содранными ногтями запеклись густые черные ягодки крови. Кукушкин стучал локтями, пинался, терся спиной, кричал, хрипел и выл в задвинутое дверное веко.

Когда он не утихал часами, в камеру врывались конвойные, отшвыривали его от дверей и били. Кукушкин не унимался. Его привязывали к кровати, выламывая изжеванную станком руку. И тогда Кукушкин извивался от боли, тусклели осенними стеклами и плакали глаза, он стонал, как роженица в схватках.

В осенние линючие дни камера забархатела сизой и сивой плесенью, грибница поднялась от полу до потолка, и по стенам бежала намыленная густая вода. Кукушкин дрог. Белье было сыро и вяло. Будто надели на него не просохшее от стирки белье, оно прилипло и стягивало на спине, между ног, под мышками, хлюпало и чавкало жвачкой, слюнявилось, харкало, гнило... Вместе с ним гнил Кукушкин.

Страх одолел. Не было, а внезапно, как выстрел, завозилась вражда внутри против Егора, против Тулинова, против Ивана, против книжек под столешницей. Завозилась и не унялась. Заныла больная рука и напомнила о пожарище. Во сне привиделся сараюшка на пожарище. И будто второй раз в него стрелял Тулинов. Красная струя выстрела летела-летела-летела — метилась в грудь. Старый Кубышкин нюхал бородкой, пришепетывал, наклонялся, будто зыбка на очепе, и скрипел, скрипел... И разгорелся, разлился красный огонь злобы.

В октябре камера ослизла, как протухшая падаль. Кукушкину казалось: он червивеет в ней, слизнет... И так будет всегда. А за воротами, — только немного нешироких кукушкинских шагов, — мокрая улица, на голове у ней потное усталое небо, и люди идут одни, обходят грязь,

вытянулись по улице черным гуськом... И будут они ходить с работы на работу, будут ходить так, будут останавливаться на мостках у кротегусных зарослей с острыми мечами перилец — и закурят, толкнут друг друга, засмеются...

Кукушкину захотелось пойти на Зеленый Луг, на Числиху, в Ехаловы Кузнецы и понести оттуда к себе с блеклыми побегами на боках самовар для полуды. А дома, на кровати, в углу, в субботу захотелось вытянуть ссохшуюся спину — и так весело, устало полежать... И даже ходить по городу, искать работы, даже на черном ночном переулке попросить на хлеб — отрада, свобода...

Кукушкин перестал бить в двери. Он звал жандарма. Часовые смеялись за дверным веком:

— Отчаливай! Не приказано звать!

Он умолял.

— Говорят ведь!

Кукушкин лег на кровать, не вставал... заголодал... И тогда пришел жандарм.

— Отпускай меня! — пробормотал Кукушкин.

Жандарм строго и серьезно наморщился:

— Вы нам дадите нужные показания?

Кукушкин помолчал... отвернулся к стенке и злобно крикнул:

— Ну да, дам!

— Хорошо-с!

Морозный день, как золотая фелонь, повис над городом. Кукушкин пил морозное вино воздуха и быстро хрустел по знакомой дороге в Ехаловых Кузнецях.

«Кличка ваша Серый,— зудели последние слова жандарма.— Мы вас берем на должность осведомителя. Вот распишитесь в жалованье. Двенадцать рублей. Будете хорошо работать — прибавим. Не скоро, но прибавим. Раз в неделю по субботам будете извещать обо всем... В мастерские поступите сторожем. Это устроено... Вас ждут...»

Кукушкин расписался, взял деньги и выскочил за ворота. Он сощурился на горевший чистыми серебряными горами снег. Ноги помолодели, несли его легко и ровно. Снег пружинил под ногами и выдавливался из-под подошвы густым выходившим тестом.

В мастерских его ждали. Через проходную будку шли товарищи, трясли за руку и смеялись:

— Во Иордане крещающиеся!

— Отбарабанил!

Кукушкин отучился глядеть в глаза. Он скользил по сторонам и косил.

— К носу, к носу гляди! — шутил Тулинов. — Видно, совесть нечиста! В тюрьме потерял... Ха-ха!

Кукушкин отшучивался, а сердце палило горчичником. И Егор, и Тулинов, и Сережка, и Кубышкин расспрашивали. Он рассказывал.

Старый Кубышкин позавидовал:

— Дурень! Дурень! Этакое, можно сказать, навалилось счастье! И накося! Страм, а не поведение! В латерею ведь выиграл, в латерею!.. Почто, почто было отдавать?

— Через тебя и у нас шарили. У всех. Я в засаду попал. Зашел за тобой — и чок.. — вспоминал Сережка.

Кукушкин молчал. Дежуря в будке, когда проходила вся смена и мастерские за спиной грохотали, шипели, шуровали, Кукушкин ёжился на скамье, ныл молчаливыми думами, печально озирался, вздыхал, и будто кто-то говорил тихонько из каждой щели, из сучков, через крышу только одно слово: «Серый! Серый! Серый!»

Он глядел из будки на высокое и чистое небо, на кужлявый в снегу город, но не было, но не приходила радость. Будка была той же камерой. Камерой казался и этот город. И это высокое чистое небо было крышей камеры. А не все ли равно: маленькая или большая камера для человека?

Первая суббота непоправимо подползла к Кукушкину. Злоба прошла, остался стыд и позор. Но в субботу после шабаша он пришел в жандармское и стал у дверей в кабинете.

— Показания надо давать в письменной форме, — строго выговорил жандарм. — Вы скупы на показания... Что вы молчите?

Кукушкин пошевелился и трудно передохнул:

— Все... было... благополучно...

— Странно! Мы от других агентов имеем другие сведения.

— Я не знаю.

— Помните, — и жандарм сжал кулак, — помните наши условия: или свобода, или опять камера и... Сибирь! Привыкайте к работе... заводите разговоры... проникайте в кружки, на собрания... Мы следим за вами. Не думайте увиливать! Побольше, побольше инициативы, Кукушкин! А то... — жандарм встал и подошел к нему вплотную. —

А то рабочие узнают про вашу секретную службу... Мы... сумеем распространить среди них... через наших старых агентов такой... маленький, маленький слухок... Да-с! Выбирайте! Вот! Ага! Уже страшно?

Кукушкин прислонился к двери и побелел, отталкиваясь от жандарма вытянутыми в ужасе руками.

— Да. Мы были слишком к вам доверчивы,— садясь на стул и упираясь глазами в Кукушкина, весело заговорил жандарм,— что выпустили вас, предварительно не опросив как следует, конечно, в расчете на будущее, когда вы... я хочу сказать... выкинете из головы всякие прежние бредни и будете служить, как подобает настоящему служаке. Что вы знаете о подпольной типографии? Не приходилось ли вам оказывать какие-либо услуги Арону Зелюку?

Кукушкин свободно ответил:

— Нет. Я ничего не знаю.

— А сами вы ходили на собрания?

— Ходил!

— Адреса квартир?

Жандарм ёрзнул на стуле к столу и приготовился писать.

«Серый! Серый! Серый!» — заколотило в глаза, глаза ожгло, будто из глаз упали на щеки угольки и раздулись на щеках багровыми языками.

— В лесу,— тихо выговорил язык неправду.

И стало легко, ясно...

Жандарм недоверчиво всмотрелся в Кукушкина и положил карандаш:

— Что-то... это не так!..

Кукушкин холодно, спокойно, не отводя взгляда от насмехавшихся глаз жандарма, сказал:

— Я еще не успел... Я первый раз был в лесу. Тут... повредило руку... Тут... с этими... деньгами связался...

— Но кто вас приглашал в лес? И когда?

— Первого мая. Пошли все...

— Как так все? Кто все?

— Сами знаете кто: Егор, Тулинов, Сережка... со всех заводов были ребята. На Прогонной ходили...

Жандарм исподлобья осматривал Кукушкина и приставлял по столу пепельницей:

— И это все?

Кукушкин кивнул головой.

— Хорошо. В следующий раз поговорим более подробно.

Кукушкин бормотал, будто оправдываясь:

— Я что же? Я не привык...

Улицы шептали в уши: «Серый! Серый! Серый!»

Но сердце мягчело и сладко ныло: прошла первая страшная суббота. А дома опять свалилось отчаяние, давило на впавшую грудь, хрипело пересохшим горлом и стыло в усталых замутневших белках красными сеточками бессонниц. В будке смеялись проходившие товарищи. Лицо у Кукушкина было как скошенная пожелтевшая лужайка. На лужайке прятались два жалких, охваченных заморозками, поблекших голубых цветка.

Кончив дежурство, Кукушкин бродил по городу, забирался на безлюдные пустыри, уходил на Чарыму, неся, как ношу на сгорбленных плечах, тоску. А за ним бродил другой, остерегающий, человек. Кукушкин не оглядывался, но он чувствовал упорно смотревшие в спину два нанятых глаза. И в этом была радость...

«Не ваш, не ваш», — будто шептали губы.

Ночью в середине недели Кукушкин лежал на кровати с незасыпавшими глазами. Месяц зачерпнул ковшиком серебра и плеснул в окно, пролил на пол, обрызгал стену. Серебряные дорожки шевелились, ползали по комнате высматривающими сторожами. Кукушкин уставился вдруг на стену. На гвоздике висела шапка с кожаным верхом, обсыпанная месячной пылью. Кукушкин привстал. Будто шапка отодвинулась от него сразу ровно на столько, на сколько он привстал. Он повторил: и шапка опять отодвинулась. Месяц закачался за окном, потемнел: шапка ушла в полумглу и осторожно, медленно, таясь, то выходила, то пряталась... Месяц обогнал облака. Круглое серебряное блюдо месяца подлезло под шапку, и она рассеребрилась изнутри побелевшим мехом, чеканом верха и будто запередвигалась на блюде. Кукушкин вскочил, зажмурил глаза, наметился и вцепился вместе с гвоздем в шапку, сорвал ее, рванулся сам — и поймал шапку, сжал ее, засунул под тюфяк и лёг на нее. Серебряное пустое блюдо плавилось и плыло по стене, загибалось краями, тускнело, нагорала на нем мелкая чернь, кропила его... Кукушкин закрыл глаза на миг — и вместо блюда на стене был уже небольшой и потухавший шарик, потом шарик перевернулся в пазу

в куриное яйцо, еще дальше прокатился по пазу в угол и остался надолго там серебряным наперстком.

Кукушкин давил собою шапку, и шапка будто рассказывала ему. В шапочную Мошкова пришел человек и заказал двадцать кожановерхих, с серым кантом на сшивах шапок. Человек этот уплатил вперед за шапки и оставил Мошкову книжку с корешком. Заходили разные люди в шапочную Мошкова, подавали ему талон и получали шапки. Мошков подклеивал талоны в корешок и выдал девятнадцать шапок. Двадцатую шапку забыли, талончики засунули, потеряли... Пришел Кукушкин и купил двадцатую шапку. Пришел опять тот заказчик за двадцатой шапкой, а шапки не было. Потопал у прилавка, погрозился — и ушел. Мошков посмеялся... А тут в ночь подкралась полиция... Искали талонную книжку, водили, возили на допросы Мошкова... По шапке кукушкинской выловили девятнадцать карманников, двадцатый, Кукушкин, сам пришел. Сновали кожановерхие, серокантные на сшивах шапки на Толчке, в магазинах, в Гостином дворе, в конках, заглядывали в открытые пазухи с бумажниками, на брюшкa с золотыми цепями, на ридикюли, на тонкой женской ручке зевачие, стригли, высаживали, терлись в сутолоке... Завидев родную шапку, украв, совали, как в свой карман, в карман кукушкинский бумажник, часы золотые, старенький кошелек с двумя двугривенными. Оттого и пришел первый заказчик: Кукушкин деньги воровские на двойное дно положил.

Кукушкин вспомнил, как жандарм открыл шкаф с шапками. И, вспомнив и засунув под тюфяк руку, ощупав свою воровскую шапку, он заплакал, грузно ворочаясь под грузными отчаянными слезами.

Кукушкин расклеился, расщелял, как судно, выкинутое разливом на речной берег. Судно набочилось, отскочили поперечины, перекосило обшивку, искоробило нутро, и киль отвалился.

«Серый! Серый! Серый!»

И опять пришла суббота. И опять пошел предавать.

Крадучись, вечером Кукушкин долго кружил около жандармского отделения — и не решался.

Шли январские гапоновские дни. В мастерские проносили прокламации, и Сережка совал ему первому. Покупал Кукушкин газеты, прилипал к черным поясам букв, въедался в них слезившими глазами, и буквы, как

клопы, наливались кровью. Был недавно в солдатах Кукушкин в Петербурге, на Загородном, ходил на Неву, грыз семечки в Александровском саду, стоял на Дворцовой площади долгие усталые часы на смотру и глядел на светлые царские окошки полнощекого румяного Зимнего дворца.

И Кукушкин вспомнил не вспоминая. Выехал на коне со двора чугунный памятник — царский дядя Николай Николаевич, — и в сердце, точно на площади, рвануло во все стороны:

— Сми-и-рно-о-о!

Был тонок и писклив голос у царского дяди, будто у глухой бабы, и был царский дядя худ, и прям, и длинен, как древнее било, а на верхушке сидела маленькая, с кулак, голова. Он поехал по солдатским коридорам. Лицо его было и серо, и немо, и щербато, как дворцовая набережная. Глядя и не видя синими бусинками глаз, Николай Николаевич редко открывал рот — и тогда голос-пискун вонзался острым шилом:

— Здорово, молодцы!

Кукушкин опять услышал этот царский голос... И он побежал с Дворцовой площади вместе с рабочими, полез на решетку Александровского сада, накололся, упал в снег, пополз, а сзади пронзительно кричал Николай Николаевич, щелкая ладошами:

— Пли! Пли! Пли!

Кукушкин застонал. И вдруг он вздрогнул: кто-то подошел к будке, загородил свет, улыбнулся ему и протянул руку... Кукушкин откинулся к стенке, отстраняя руками: перед ним стоял Николай Николаевич.

Кукушкин с криком вскочил — и сразу забелела в глазах чистая и пушистая пелена полянки. Он робко, не веря, улыбнулся, опустил потом глаза и не смел поднять их: шла суббота.

В мастерских днем была сходка, летучая, как один поворот колес. Ныла измятая простреленная рука. Но он был чужой, он был враг.

«Серый! Серый! Серый!»

И он, Серый, должен был явиться сегодня...

Кукушкин решил. Он подошел к двери, потрогал холодную медную ручку... Дверь раньше растворилась, и на улицу прохромал Клёнин. Кукушкин обмер. Вдруг улица будто зажглась тысячами бесстыдных фонарей... Глаза ударились о глаза. Он крикнул. Клёнин только

поднял руки на голову, а Кукушкин уже подсек хромую ногу пинком, плюнул в лицо, ударил, закричал:

— Преда-а-тель! Преда-а-тель!

Кукушкин долго топтался, остервенелый и страшный, царапал лицо, впивался в Клёнина неразжимающейся рукой... Клёнин катался по земле и виновато твердил:

— Кукушкин! Кукушкин! Кукушкин!

Из жандармского выбежали жандармы, отволокли Кукушкина, подняли Клёнина и под руки увели в подъезд. Кукушкин вырвался — и кинулся в темноту. Закричали вдогонку:

— Стой! Стой!

Ахнули бегучие наганы... Пронеслись, как большие камни, пули. Семенил дребезжащий нагоняющий шлёп многих ног... Кукушкин уходил. Он выскочил на Прогонную улицу. Погоня отстала. Кукушкин вдруг остановился, прижался к круглой афишной вертушке, постоял, подумал...

На крутом спуске звенела желтыми вечерними огнями конка. Кукушкин пошел ей навстречу. Он долго стоял у рельс... И отшатывался на трензеля звонков. Так и шли мимо и уползали от него конки. И не уползли. Кукушкин огляделся кругом, махнул рукой и нырнул под такую тяжелую, толстобокую, громыхавшую железными круглыми лапами конку.

Кондуктор схватил рычаг. Конка поперхнулась... Осадила... Но прежде она уже наступила на Кукушкина, чмакнула густое мясо, забрызгала кровью лошадиный зад и коротко, торопливо, наспех крикнула...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Был один такой февральский день тысяча девятьсот пятого года... Перегнулось на землю высокое желтившее солнце, дуло оно негреющим огнем, прыгало зайчиками по шершавым зимним рамам и топилося куполами колоколен. На широкой столешнице снегов сияли, как крошки, просыпанные солнцем, самоцветные каменья. Ядренели стальными болванками дороги вдоль и поперек Чарымы. Придорожная ель крест-накрест вешила Чарыму, придорожная ель сыпала легкую серебряную порошу, а пороша играла на солнце в длинных и запутанных коридорах дорог голубеющими искрами. Коровинские мельницы

стояли в белых мехах: будто мельничьи избушки надели беличьи уханки и концы уханок повисли мельничными крыльями.

Мастерские с начищенными латуною окнами будто покачивались на причалах, а трубы жадно дымили перед долгим и дальним путешествием. На высоком заборе заиндевели широкие шляпки гвоздей; тянулись они пылавшими, огненными строчками.

Город с поседевшими горбатыми крышами искрился за полянкой: будто Млечный Путь упал с неба и изогнулся на крышах. А земное солнце — собор Софии — поднимался в середине пятиглавой золотой люстрой. Озябшее дно небесной купели румянело и текло с покатых краев легчайшими шкурками облаков...

Был такой морозный ясный знобкий февральский день тысяча девятьсот пятого года...

Начальник мастерских инженер Четыркин обходил с мастерами цехи. Надет был на нем синий суконный полушубок с барашковой опушкой по вороту и на рукавах. На тонкой талии морщили боры, и полы спускались короткой юбкой. Четыркин держал обе руки в боковых нагрудных карманах. Шел он прямой и крепкий. Из-под форменной с топорами и якорями фуражки двоились крупные медали глаз. Яркие и злые, будто у дворняжки над костью, вспыхивали они на мастеров, упирались коловратами на работавших и кланявшихся рабочих. Четыркин не отвечал на поклоны, словно цехи были пусты и станки работали сами собой. Четыркин кричал в громе хании станков, молотов, кувалд, останавливаясь перед застывшими твердо мастерами:

— Не вырабатываем! Я говорю: не вы-ра-ба-ты-ваем! Не вырабатываем нормы! Сбавить расценки! Удлинить рабочее время! Сменить бригадиров! Выгнать лентяев!

Четыркин топал ногами и вздувал в нагрудных карманах кулаки. Он подходил вплотную к станкам. Руки работников сдавали, путались...

Три раза в неделю приходил Четыркин в мастерские, три раза в неделю проходил он незадолго перед обеденным свистком по цехам. Рабочие видели: старел Четыркин у них на глазах, менял полушубки и всегда щеголял новенькой инженерской фуражкой. А голос был все тот же, нестареющий — голос-орун, и светлые медали глаз не отвечали на поклоны.

Сегодня, в этот февральский день тысяча девятьсот пятого года, загудел над крышами мастерских полуденный гудок: и остановились враз токарные, слесарные, столярные станки, поднялись молота, кувалды — и не ударили, замер паровозосборный, догремливая последними молотками на заклепках... Рабочие, обегая друг друга, торопились к выходу, в деревообделочный... Вошел туда и Четыркин. Вошел — и наморщился. Мастера переглянулись. В деревообделочном густо и жарко подымалась под блузами, под рубашками, под пиджаками огромная, как разорванные меха, грудь. И как вошел Четыркин, осенними станами птиц над сжатыми полями толкнулись рабочие, надавили грудями на спины, качнулись, будто поплескалась в озере вода... И гул, как запертый за дверями ветер, взвился под высоким железным сводом, разорвался, вскрутил над головой Четыркина, над убавившими рост мастерами. Четыркин выдернул руки из заповедных нагрудных карманов, только успел поднять их к глазам, только успел крикнуть...

Сзади, спереди, с боков пропорошил сухой пар опилок. Словно многие тарантасы, двуколки, ломовики застучали по каменной пыльной дороге. Четыркин, мастера захлебнулись пылью, а тысячи ног застучали, загромыхали колесами, поехали, забились на полу...

Тут Егор набросил на съезжившуюся в воротник голову Четыркина черный угольный куль... Он быстро продернул его вниз, шатнул Четыркина, тот растопырил локти, локти рывком смяли, Тулинов кинулся, ухватил куль в обхват на животе — и сдавил. В куле мотался из стороны в сторону, будто пойманный зверь, Четыркин, бодал головой, чихал, кренил куль и взад и вперед, а рабочие, трепеща, задыхаясь, закричали, загоготали: — А!.. А!.. А!..

И снова тарантасы, двуколки, ломовики, дроги с рельсами поехали по полу... Четыркина взмахнули кверху, остановили на воздухе — и понесли на руках. Черный угольный куль сыпал мельчайшую угольную дробь в прорешки рогожи, пушистое мочало свисало темной бахромой и черно пылило... Четыркин извивался на руках и кидался ногами. Тогда подскочил старый Кубышкин, ухватился за ноги, просунул между них голову, положил их к себе на плечи, твердо сжал и засмеялся:

— Кавалер, кавалер, не трепыхай зря!

Как справлялись с Четыркиным, схватили другие двух мастеров, кашлявших в опилочной пыли и дравших глаза царапавшими пальцами, схватили и надели кули, умяли сверху... Мастеров понесли. Третий мастер, Сидельников, раньше присел, выпятился задом из деревообделочного и побежал.

— Лови, лови Сидельникова! — гаркнул Сережка.

За Сидельниковым задребезжали торопливые ноги. В токарном Сережка швырнул ему на дорогу кусок железа, Сидельников запнулся и упал. Сели на него, сдернули пиджачишко, завернули на голову, Сережка вырвал помочи из-под сидельниковской жилетки и закрутил ими пиджак на голове.

Подталкивая и пиная в зад, таща за руки, погнали бегом Сидельникова...

На широком солнечном дворе черные кули мотанулись над головами и стали укладываться на подогнанные тачки.

— О-го-го! О-го-го! — ревел праздничный, веселый рабочий люд.

— Открыва-ай ворота!

— Музыку! Музыку, ребята!

— Сидельников-то! Сидельников-то! Ха-ха! Одежа выворачивает! Да-а-й ему под окорока!

Четыркин закрыл лицо руками в куле.

— Тро-о-гай!

— Кати-и!

Грянули на губах, грянули в полосовое железо, железо кровельное, застучали в доски, в ведра, затопали о землю. Старый Кубышкин ухмыльнулся и заскрипел тоненьким шепелявым языком:

Во лузях, во лузях,
Во зеленых во лузях...

Подхватили глотками, голосами, глазами, руками... Тачки покатили, разгоняя и разгоняя колеса...

— Урра! Ура-а! Урра-а-а!

— Улюлю! Улюлю! Улюлю-ю!

Рабочие бежали обок тачек, кидали снегом на кули, совали летучие совки и били-били-били в железо кровельное, в доски, в ведра. Будто валились крыши мастерских, станки, машины, верстаки, будто кричал весь мир всеми своими гневными голосами.

Тачки скрежетали, скрипели колесиками... И казалось, зачем-то колеса пробирались к телу, хотели размолоть, искрошить его, как мясо в мясорубке. От мастерских до ворот дорога, казалось, была так бесконечно долга, будто вторая прожитая жизнь, будто десятилетия сели на плечи незабываемыми короткими минутами тачечной гонки.

Тачечный поезд выскочил в открытые ворота... Егор первый скинул Четыркина в снег. На него свалили остальных, и на молчаливые черные кули посадили верхом Сидельникова.

— Груда мала! Груда мала! — ревели сотни голосов.

— Урра-а-а!

— Счастливо оставаться!

— Ха-ха! Ха-ха!

И еще раз загрохотали железным оглушительным боем кровельное железо, ведра, доски. Музыканты скакали вокруг кулей и притопывали ногами.

— Товарищи! — выкрикнул Егор. — Будет! Дело сделано! По домам теперь — щи хлебать. Кому через проходную — замкните ворота... И тачки на место...

— Ур-а-а! Урра-а-а! — покатилося над сверкавшей самоцветными крошками снежной поляной.

Музыканты швырнули на кули инструменты — и рабочие покатались к городу.

По узким дороженькам вырос черный людской кустарник. Он быстро шел, бежал, скакал и размахивал застывшими на морозе ветками-руками. Тачки скрипнули колесенками, ворота согласно и жирно подскрипнули широкой глоткой полотнищ и петель, стукнул вкладываемый изнутри деревянный запор, шмыгнули хрустящие шаги на снегу — и все стихло, остановилось...

Сидельников давно съерзнул наземь и несмело развязывался дрожавшими руками. Мастера прислушались... Они вылезли и не смотрели друг на друга, шаркая зауглившимися руками о снег. В куле Четыркина что-то колыхалось и ныло тончайшим собачьим скулением. Сидельников развязался и потащил за куль Четыркина:

— Петр Петрович! Петр Петрович! Мы вот сейчас!.. Мы вот сейчас!

— Не троньте меня! Не троньте меня! — застонал Четыркин и держал внутри куль.

— Петр Петрович! Ка-а-к м-о-ж-но?

И с Четыркина сняли куль. На снегу сидели три трубочиста. Сидельников дико взглянул на них, отвернулся, зажал рот и, отбежав, стал давиться смехом. Четыркин размазывал черную сажу слез на щеках, в подглазниках, на ссадинах. Угольная пыль казалась еще темнее на белой поляне.

— Боже, какой позор! Какой срам! — хныкал Четыркин.

— Петр Петрович, успокойтесь! Не мы первые, не мы последние! Из Америки переняли способ наши... дуrolомы!

— Ничего поумнее... своего... не могли выдумать.

Мастера отряхались, торопливо мокрыми руками гладили себя по лицам и осматривали друг друга. Сажа въедалась в лицо и не сходила.

— Пойдемте в контору. Там приведем себя в порядок. Все рабочие ушли на обед.

Мастера встали около неунимавшегося Четыркина. Он замахал руками и закричал на них:

— Оставьте, оставьте меня одного!

— Петр Петрович! Петр Петрович! Ка-а-к же так оставить вас одного? В таком виде...

Тут подскочил Сидельников суетливо:

— Я принесу воды. Сбегаю в контору.

— Уйдите же! — жалобно просил Четыркин.

Он взглянул на замазанные сажей руки, положил их на колени и вяло перебирал пальцами. Полушубок пачкал. Опушка на рукавах была черна и отливала темно-сизой блиставшей крупкой. Разорвался по шву карман и сыпал уголь в разрез. В ногах лежала скомканная фуражка с продавленным верхом. Инженерский значок — топор и якорь — съехал на козырек и держался по тулее на одной зацепке. Четыркин провел по зябнушему бобрику головы, а бобрик был шершав и грязен, бобрик был как неподметенный пол. Зад холодило от снега. Будто снег набрался под загнувшийся полушубок, набился в штаны, лез от зада на стынувший и мертвевший хребет. Зачесало под барашковой опушкой на воротнике, царапнуло шею... Четыркин сорвал петлю у ворота и вытряхнул насевший пласт угля. Повалились кусочки за рубаху и застряли у пояса холодной дресвой. Четыркин постонал и качнулся глазами. Черные кули лежали рядом тремя грязными кочками. Один куль разел угольную пасть и словно глядел на него. На примятом снегу была

посеяна мельчайшая глянцевая пудра. Оглянулись на него входившие в улицы рабочие — и полянка запустела. Только сидел один Четыркин с черным мокрым лицом, перебирал пальцами на коленях и раскачивался, посываясь головой.

Перегнулось солнце с неба на землю, горела софийская золотая люстра над городом, метали тихие огни громоздившиеся перед глазами крыши, снеговая столешница переливалась самоцветными камнями, и по забору солнце прострочило заиндевевшие шляпки гвоздей. Вокруг, вот едва отодвинуть глаза от кулей, от изогнувшихся листов железа, от почерненного снега, была чистота и ясность, была золотая свежесть дня — мирная, торжественная и глубокая. Четыркин почувствовал вдруг, как закололся уголь на поясе, как сдавило горло набравшейся сухой перхотью опилок, как захотелось укрыться от морозного, обнажавшего донага солнца, от пролетавшей птицы, провлачившей по снегу темную летучую тень куля.

Сидельников торопился с водой. Но Четыркин встал, расправил изломанную фуражку, сорвал значок с тулеи, откинул его в сторону, запахнул полушубок и медленно пошел поперек поляны к голубевшим чарымским проселкам.

— Петр Петрович? Петр Петрович?

Четыркин повернул негритянское лицо к Сидельникову, искосился, махнул рукой и заторопился, ныряя в хрупком насту. Сидельников встал с ведром у забора и будто замороженными глазами глядел ему вслед.

На послеобеденный гудок опять вырос на полянке человеческий кустарник. У ворот стояли городовые. Сторожа убирали кули, перекидывали через забор. Жадно и густо дымили трубы мастерских, споро грохотали и гремели станки, наковальни, молота, и как сотни зеркальных лучивших отражателей были усталые глаза рабочих в токарном, механическом, деревообделочном, котельном, вагонном цехах.

Четыркин шел чарымским проселком, не подымая глаз с обкатанной стеклянной дороги. И он наткнулся на морду лошади. Лошадь захрапела и в испуге свернула в снег. Из-за хвоста поднялся мужичий армяк, дернулась рука к вожжам, и голос злобный, матюшливый, как плетью, оплел ему шею.

— Заброда! Черной лешой! Чего лошадей пугаешь? Огрею вот ременницей!..

Лошадь, кося круглым, будто яйцо, глазом, обнесла дровни стороной и вывернула далеко от Четыркина на дорогу. Армяк кричал сзади и грозился кулаками.

Четыркин шел, запинаясь о намерзшие бугорки лошадиного кала, о выдавленные копытами, как цукаты, комки снега. Ноги у него разъезжались, как у старой, тридцатигодовалой извозчицей клячи. Вдалеке от Николы Мокрого по ровняку дороги шли обозы, бежали за возами собаки, трусили мужики... Четыркин испугался, повернул обратно. И тут нагоняли обозы, отходившие от городской заставы. Четыркин остановился, обвел глазами крепыши снежных сугробов по Чарыме, увидел на неблизких луговинах стога — и повернул к ним напрямиком. Ноги лыжили по насту, снег оседал — и держал... Он добрался до стогов, обдергал боковину у одного стога, сделал нору и залез туда...

И будто в сене ухоронилось, в каждой сенинке, июньское сенокосное солнце. Тепло шло сверху, снизу, с боков. Четыркину стало сначала жарко, потом от тела отлегло пот, и ровное нежное румяное тепло запалило кожу. Четыркин прилег щекой на сено, подвернул к подбородку горячие ноги и пролежал в норе дотемна. Сороки тормошились на шлемах стогов, перелетали на низкий ельник рядом, прыгали у норы и тревожно кричали. Четыркин шевелил ногой — и сороки подымались свистящими стрелами. Он не заметил, как сороки целый день, не устая, заглядывали в нору и как целый день он шевелил ногой и пугал их.

К сумеркам поднялся ветер, и мимо стогов с луговин, с Чарымы понесло тонкую шипучку снегов. Вместе с сумерками, зачинавшейся метелью Четыркин вдруг понял, понял в первый раз, как начал жить, что рядом с ним жили на свете другие люди. Ходил Четыркин один-одинешенек на свете, не видел, не замечал никого, три раза в неделю обходил мастерские, обходил месяцами, годами, возвращался домой и забывал суетливые рабочие руки, спрашивающие глаза мастеров и грохот машин, кативших для него неустающие колеса. Четыркину стало жаль себя, стало жалко ушедших в прошлое многих слепых годов, когда он был только один на свете. И Четыркину показалось — кто-то сказал ему в норе: «Ах, Петр Петрович, конечно, навсегда».

Четыркин сразу услышал клейкий и острый запах угля, рогожи, услышал железную музыку, и старенький тихий задорный голос запел в ушах:

Во лузях, во лузях,
Во зеленых во лузях
Вырастала трава шелковая...

Четыркин пролез в метелившую загородь, постоял, испуганно оглянулся... Со всех сторон вила, крутила, рассучивала метель белый лен. С Чарымы несло снежные лоскутья, лохмотья, пояса, а с луговин разворачивались куски за кусками холсты.

Четыркин трудно и долго выбирался на дорогу. Крадучись, он шел мимо мастерских. Горели белыми огнями сотни окошек, дрожали, как вывшая вокруг метель, корпуса, дым труб смешался с вечерней темнотой, только пахло в метели гарью и дымом.

Четыркин захлебнулся в хлестнувшей рукавом метели. И за метелью он увидел рядом с собой обгонявших его двух людей. Они наклонялись вперед головами, точно бодались с метельным усатым ветром.

— Вывезли... на тачке... сегодня... Четыркина,— говорил один раздельно, будто выпуская из окна белую бумажку на ветер.

И другой, так же срывая слова, говорил:

— Давно... было... пора. Его... негодяя... убить надо...

— Тачка... хуже... смерти...

— В куле... носом... в уголь... тыкали...

— Кошку... тычут... в послед...

Четыркин прижал в нагрудных карманах ладони к сердцу. Оно заколотилось, будто просилось выпустить из-под полушубка. И эти горевшие белыми саванами огней корпуса тогда стали Четыркину как прошлая, сегодня навсегда законченная жизнь. Он побежал...

Метель жужжала в ушах, в носу, над фуражкой, на барашковой опушке воротника.

Закрываясь от прохожих, Четыркин закоулками дошел до своей квартиры — и позвонил. Прислуга, вспыхнув на парадном электрическом светом, открыла дверь. Четыркин проскочил на лестницу, не слыша, как ахнула прислуга на негритянское лицо его и присела у недоуменных дверей.

В передней Четыркина встретила жена и протянула к нему заломленные руки:

— Петя! Петя!

А Четыркин опять размазал на лице сажу, всхлипнул и три раза тихо сказал:

— Куль! Куль! Куль!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На Чарыме обсыхал летами маленький каменный остров. Был он в пяти верстах от города. Приставали к нему в непогоду рыбаки, и жили на нем чайки. Туда ночью и выехали на лодке товарищ Иван, Егор и Тулинов.

На острове полыхал костер. Будто загоралось озеро в одном месте, вспыхивало и не могло загореться пожаром. Огонь вспыхивал и утихал — и тогда казался он маячной лампой на бакене. Тулинов греб, упираясь в вязанку собранных на берегу дровишек. Егор правил. Товарищ Иван неподвижно сидел в середине лодки и молчал. Под лодкой слабо курлыкала и переливалась вода. Весла черпали ее широкими ладонями и мерно стучали на уключинах. Лодка, сбиваясь в темноте с дороги, гнулась, как гибкое тело, под кормовым веслом, костер и лодка, казалось, плыли друг другу навстречу.

Огонь становился все различимее и яснее. Застраняли его порою спины. И тогда лодка шла на розовевшие отсветы в темноте. На полдороге осторожно сменились: Егор перешел в весла, Тулинов — на корму.

Подъезжая к острову, Егор три раза свистнул. И три раза ему ответили. Лодка вошла на освещенное полотно воды. Сережка наклонился с каменистого шершавого берега и схватил лодку за нос, уберегая от камней. Он подержал лодку, покуда из нее выходили, а потом все вместе подернули ее на берег и навалили на железную цепь грудку камней.

У костра было густо народу. Поворотились к приехавшим — и ждали, разглядывали. Старый Кубышкин потеснился на камне и дал место товарищу Ивану. И сразу зашептал ему в ухо:

— Со всех заводов ребята есть. Дело наклевывается. Ребята все на подбор. Егор, как цыган лошадь по зубам узнает, мастер людей нюхать.

Рассаживались кружком у костра. Сережка подкинул дровишек. Заглухавший костер повеселел, засмеялся золотым ощером углей, зафукал красным роем пчел;

повалил мохнатый спутанный дым, покидался туда-сюда, начал укладываться к земле и закурил пиджаками, картузами, кисетами.

Тулинов закашлялся, товарищ Иван отмахивал дым, другие низко наклонялись на колени, а Кубышкин выругался:

— Пошел, пошел, едун! У меня, братцы, глазной закат. Будто кислое яблоко на зубах дрызгает... Не кидай больше горючего. Одной ланпады нам хватит. Неровно рыба-кит выплывет со дна на огóшек.

— Кит о двух ногах.

— Совсем и огня не надо. Собрались все...

— Полиция верные сообщенья имеет от провокаторов... Поди ищет?

— Глаз бы друг дружке не выколоть — и ладно.

— Дело минутное. Каждый знает, для чего собрался.

Сережка потоптался тогда на костре и две большие головешки выкинул в воду. Костер перестал дымить. Огонь копался в золе и шипел, как кипучая вода между камней.

Товарищ Иван вынул из кармана вчетверо сложенный листок, качнул пенсне на переносице и подвинулся к огню. Все уставились на белый смятый листок, будто держал в руках товарищ Иван не виданную никогда раньше вещь.

— Мы, товарищи,— заговорил он,— в прошлый раз обо всем дотолковались. Повторяться не к чему. Собираться больше не станем, покуда не проведем на местах намеченное ранее. Сегодня слушаем только последние сообщения с заводов и выработаем наши требования.

Товарищ Иван замолчал. Егор прибавил:

— Завтра надо приступить к делу. Все уж обмозговали. Затяжка — вред. Долго ожидать — старость придет. Фабриканты подготовятся. И стачка пойдет хуже. Врасплох на медведя наскочишь — он медвежьей болезнью всю дорогу изгадит, в лоб да с подходцем идти, ружьем дразнить — встанет на дыбы и под себя подомнет.

— Дай мне поговорить,— тут перебил Кубышкин.— Не ндравятся мне тары-бары-растабары. Ребята все готовы. Сам знаешь, мастерские у нас гудут, будто ветер в трубе: гу-гу-гу-гу... Кой черт! Чего тут прохлаждаться? На других заводах тоже в носу не чешут. Ждут только сдвинуться с места.

— И у нас!

— Мы готовы!

- Разводи пары!
- Выйдем!
- Примкнем!
- Нас снимайте!
- Не отстанем!

Товарищ Иван начал опрашивать заводы. Говорили коротко, будто рвали слова, совсем не отвечали, а кивали головой. И Кубышкин веселился:

— О! О! Чем не солдаты?

А Егор спросил:

— Кому, товарищи, начинать?

— Мастерским!

— Кожевенному. У них свисток больно звонок!

— Ткачам!

— Кому, как не ткачам: пятнадцать тысяч народу!

Тряхнут мошной — наводнение на Зеленом Лугу.

— Гляди, горит как дворец-то у них! Будто поп в ризе. Башка-то соборной камилавки выше.

— А мы — будто плоты по земле плывут. Червяки, а не огни у нас. И народу шепотка.

— Может, не загадывать, ребята, у кого раньше выйдет?

— Сказал, дядя, тоже чушь. Тут разноголосица и получится!

— Не шутку затеваем.

— Бабам трепать у колодца впору так языком.

— Наметить беспреренно надо.

— Мы начнем, — сказал твердо ткач.

Он сидел поодаль на большом камне и сверху смотрел на красную жаровню костра. Будто все сразу пересели с места на место и оборотились к нему.

Чарыма тихо шевелилось о гладкие камни, зевало во сне легчайшей зыбью и закутывалось темным одеялом ночи, подтыкаемым в берега. Лодки горбатыми рыбами, вынырнувшими из-под камней, ходили на привязи. Островок, как вершина каменного дерева, вцепившегося корнями в озерное дно, покачивался спросонья. А над ним повисли с неба серебряные кисти звезд. В дальней черни неба сияла и моргала бесконечными серьгами, четками, бусами, ожерельями ткацкая фабрика. Ткач, а за ним будто все глянули на сонмы ночных огней фабрики и будто прислушались: не кричит ли завтрашний тревожный и радостный гудок? Снижаясь до грудей, до пояса, до колен ткацкой фабрики, прижимались к ней

и справа и слева нечастыми огнями другие заводы и фабрики — маломерки.

— Товарищи! — говорил Иван. — На каждой фабрике и на каждом заводе есть свои нужды. Пускай отдельно их и предъявляют на местах. Обсуждать нам их незачем. Так и примем. Заготовлены требования?

— Есть!

— Уложено все как следует!

— Ясно — у токаря одно, у слесаря другое, у кожевенника не похоже на молотобойца!

— Но есть общие требования, — перебил товарищ Иван, — с ними надо выступать от всех фабрик и заводов. Их нам надо разобрать. Прошу высказываться!

Торопясь, захлебываясь, дыша над костром сигарками, сгруживаясь в черные глыбы, рабочие обсуждали счета Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов сверкавшим вдали фабрикам.

— Администрацию долой!

— На тачки ее! Запором от ворот!

— Мы Четыркина с мастерами вытряхнули!

— У нас завтра вывезем!

— Третьёводни мастеришка мы одного за ворота пинком!

— Ночью не работать! С бабой поспать некогда!

— При огне хуже нет. Глаза, будто иголкой, подтыкает свет. Тяжело ночью. Развозит, как два дня поработал без отдыха.

— Спят все дьяволы на свете, а ты будто фабрика-пароход: у топки стой.

— Прибавки!

— Прибавки!

— Прибавки!

— Жрать нечего. Штаны свалились. Один гашник остался. Ребята одни сапоги на пятерых на разных ногах носят. Выпить не на что. На ночь баба перестирывает одно и то же бельишко, покуда не останутся одни кромочки. Брюхо будто в тюрьме от голоду.

— Прибавки!

— Прибавки!

— Расценки крепкие. А то кисель... Али студень... Ростепель на дороге... Кармана своего не знаешь. Карман твой в хозяйском животе под жилеткой.

— Как дождик осенью: то зарядит, то ясно.

— Собаку будто куском дразнят: дадут, а то и не дадут!

— Мало, да верные! Чтобы распорядиться я мог своими семитками.

— Скоту и тому дают одинаковую дачку. Худой хозяин не доглядит за животным — брюхо и подведет у скота...

— Двенадцать часов машине тяжело работать, не только человеку. Кости не железные у нас!

— Придешь домой — ни еда тебе, ни сон впрок не идут!..

— На детей некогда поглядеть!..

— Братцы, зачем и родиться было, ежели жизнь не для тебя, а для других, ежели жизни не видишь. В темнице... в башне сидишь.

— Восемь часов!

— Восемь часов!

— Восемь часов!

— В восьмерку я разработаю столько, да полстолька, да четвертьстолька!

— Знамо дело!

— Товарищи, — шевеля листок в руках, заканчивал Иван, — организация завтра отпечатает эти требования и распространит.

— Не всё, не всё! — выкрикнул Сережка. — Царя бы... к черту! Министров!..

Рабочие засмеялись. Кубышкин ерзнул на камне:

— Об них речь опосля!

— Кубышкина в цари выберем!

— А тебя в наследники!

Старик кинул в Сережку картузом. Сережка поймал картуз и сунул к себе за пазуху:

— С крестным ходом! До города не отдам, старичина!

Кубышкин махнул рукой, огляделся, ухмыльнулся, стащил с Тулинова картуз и надел на себя. Тулинов вздрогнул, схватился за голову, засмеялся — и остался сидеть так. С Сережки кто-то сзади сорвал картуз и швырнул в темноту. Рабочие засмеялись, меняясь картузами и быстро шныряя руками над костром. Кубышкин прижал картуз на макушке и перегибался в сторону, вытесняя Ивана. Улыбаясь, товарищ Иван встал с камня.

Чарыма медленно и лениво переодевалось. Обозначались смутными пролежнями берега, а на них черными

кучами, кочками осоки камыши. Ветер начал поддувать от Николы Мокрого, из Заозерья, с Лысой горы, от Василия на Етке. Он шатался, не находя дороги, подгонял ежиком зыбь, подхлестывал на пути островок и будто относил его со своего места.

— Пора, ребята, по домам,— вдруг сказал Клёнин.— Как бы на полицию не наткнуться. Она шнырять...

Егор, Тулинов, Сережка, Кубышкин переглянулись. А Сережка подошел сразу к нему и тихонько сказал:

— Ты погоди: дело есть. Наши поедут последние. Все сразу: место хорошее — полиция расчихает...

Клёнин присел на хромоножке и ничего не ответил.

Лодки отталкивал от берега Анс Кенинь, откидываясь назад и налегая грудью. Чарыма катилось к городу. В корму, в спину дул попутный ветер. Три низко осевших восьмерика быстро уходили, правя к берегу. На виду подрастал водяной бобрик, и скоро лодки, казалось, вывернулись из-под людей, люди сидели на воде, их несло, топя и окидывая брызгами. Ранний предутренний туман начал вылезать со дна. С неба заскользили бледные кисеи, они наматывались одна на другую. Над выцветавшими мельканиями ткацкой фабрики с маломерками будто пошел снег и закрыл их, запорошил хлопьями.

— Ну, какое еще, ребята, дело? Пора спать! — лениво зевая, сказал Клёнин.— Фуксом я попал сюда. Не для чего совсем. Кажись, все накручено на катушку!

Тогда на шею легла ему тяжелая, упругая, как гибкий очеп, рука Анса Кенинь. Клёнина окружили.

— Понял теперь? — крикнул, плюясь слюной, Тулинов.

Клёнин пожижел и побелел, как туман, обволокавший остров.

— Что вы, что вы, ребята?

— Провокатор! — загремел Егор.— Предатель!

Старый Кубышкин наклонился к земле, выбрал с острым мысом камень, забормотал, дрожа бородкой и головой и просовываясь к Клёнину:

— Дайте, дайте мне, старику, первому размозжить ему голову!

Кубышкина обнял Сережка и вытряхнул у него камень:

— Погоди, дедко, успеешь... Дай допросить.

— Я... я... нет,— не глядя ни на кого, трудно выговорил Клёнин.— На меня наплели!..

Потом он быстро приподнялся на хромоножке, выпрямился и закричал дико, отчаянно, краснея и натуживая горло:

— Давай очную ставку! Кто, кто, кто сказал?

Чарыма плеснулось, захлестнуло крик, он улетел к пустым берегам, в осоки, в луговины, перекликнулся там и стих...

Сережка засмеялся. Анс Кенинь сжал зубы. Они не укладывались один на другой, соскальзывали и стучали.

Егор допрашивал:

— За сколько ты нас продавал? С какого ты времени торговлишку открыл?

— Ты... ты не ходил в жандармское? — рыдая, спрашивал Тулинов.

Старый Кубышкин визжал:

— Ты... ты не говорил на Кукушкина?.. Не он, не он Иуда, а ты!

Анс Кенинь тряс Клёнина за шиворот. Голова его моталась на жилистой шее, и ножка, уставая стоять, приседала.

Спокойно и резко говорил Егор:

— Не отпирайся! Аннушка тебя видела у жандармского. Мы не поверили. Выследили тебя. Я тебя выследил... И Сережка. Сегодня ты донес бы о забастовке?

Клёнин молчал. Со всех сторон вцепились в него руки. Все дрожали. И под дрожащими руками Клёнин тихо шатался, словно падал, и ему не давали падать, держали его на ногах.

— Сволочь, говори! — заревел над ухом Анс Кенинь.

Клёнин моргнул глазами... Глаза шмыгнули между плеч и голов на Чарыму. Все было бело вокруг, непролицаемо, узко. Клёнин увидел нос лодки, уключины, всплеснувшие руками весла, а кормы уже не было видно. Клёнин жалобно и злобно выбросил, как камень в воду, отчаянный вопль:

— Спасите! Спасите!

Сережка схватил его за горло, давил и перерывал крик. Анс Кенинь тяжело ударил сверху по темени. Клёнин охнул, юркнул головой вперед и прикусил язык. На губах выдавалась красная пена, и в лузгах лопнули один за другим маленькие пузыри слюны.

— Завязывай его, завязывай! — завизжал старый Кубышкин. — Пора, пора ему помирать!

И еще раз спросил Егор:

— Не скажешь ничего?

И опять завопил Клёнин:

— Караул! Караул! Спасите!

Анс Кенинь зажал ему рот рукой. Тулинов и Егор вывернули ему руки назад. Сережка торопливо полез в карман, вытянул тонкую бечеву и скрутил руки. Старый Кубышкин вцепился в лицо и густо харкнул ему в глаза. Клёнин завертел глазами и встряхнул головой.

— Иуда,— стонал Кубышкин,— хуже Иуды...

Клёнина столкнули на камни, прижали... Сережка скручивал бечевой ноги. Клёнин вытерся щекой о камень и смазал харк. Он будто перестал понимать, думать. Он только лежал на земле, а над ним толклись какие-то посторонние ему люди, связывали ноги, совали ему в карманы пиджака, брюк, за пазуху камни. Клёнин вздрагивал от холодных, коловших тело камней, но свыкался, шевелился, укладывая движением удобнее камни на груди, на боках... Над ним говорили шепотом, и шепот дрожал:

— Не всплыл бы?

— Где же с таким грузом?

— Шуки и окунье полакомятся.

— Шуки нет... Окунь — те хорошо клюют на мясо.

— И раки не откинут.

— Гад ведь какой, ребята!

Клёнин слушал, различал голоса Сережки, Егора, Тулинова. Ныл во рту прокушенный язык, дёргало под коленком на хромоножке, а глаза глядели будто отпотевшими, ничего не видевшими осколками зеркала.

— Надо отвезти поглубже...

— Спустим ногами...

— Пузырь ему нальет, он стояком на слёжку и встанет на дне...

— Не накрыли бы, ребята, нас на берегу?

— Знает полиция али не знает про собрание на острове?

Тут Клёнин заморгал-заморгал глазами и, будто его спрашивали, спокойно сказал:

— Знает.

Вязавшие руки остановились. Но Егор засмеялся:

— Откуда она знает? Я его позвал на заводе вчера, а места не сказал. Сережка за квартирой следил. Клёнин сидел дома. Буди огородами вылазил, да не к чему ему было огородами. Сережка за ним зашел и привел.

— Да. Тогда не знает.

Клёнин вздрогнул. Он прищурился на Егора насмешливыми глазами, но от каждого слова Егора глаза разворачивались, умирали и круглели ужасом.

Сережка весело шутил:

— Ничего у тебя не выходит, Клёнин! Облапошили мы тебя... Долго ты не давался. По случаю пришелся. Веревочку сам на себя нес... Мы с Егором по шпионской части тоже доки. Большая докука будет жандармам.

Клёнин сморщился. Из глаз выкатились слезы. Тулинов начал хлопотать:

— Пора, ребята! Больно долго возимся с прохвостом... Себе дороже. Бери, Анс, за голову, а я за ноги... Нагрузили камней много... Пожалуй, не унесем? Сережка, ты главный камень у ног-то поддерживай на весу! Мне не осилить зараз всего. И в лодку всем нельзя: перекувырнем вместе с ним.

Клёнина подняли. Середнюю часть тела сразу оттянуло мешком, камни тупо врезались в тело, и Клёнин заныл...

— Не любо? Не любо? — зашипел Кубышкин.

Сережка кинулся на Кубышкина:

— Держи, старик, лодку: рано залоговать! Помогай!

Клёнин перемог боль от камней, завыл и забормотал:

— Товарищи! Ребята! Братцы! Не буду... Не буду! Заслужу!.. Убью самого... главного жандарма... губернатора... царя... Пожалейте бабу мою!.. Одна останется!.. Девчонку... сироту... пожалейте!..

Кубышкин крикнул, топнул с плачем ногой, схватил за руки Тулинова и остановил:

— Погоди, погоди!..

На Кубышкина злобно закричали — Егор, Сережка, Анс, Тулинов. Старик замялся и тихонько выговорил:

— Ребята, ладно ли делаем? Побить бы... да клятву?..

Клёнин зарыдал, извиваясь плетью:

— Силантий Матвеевич! Силантий Матвеевич!

Тулинов толкнул Кубышкина плечом. Егор навел на него упрямые, угрожающие глаза. Старик плюнул и пнул с визгом Клёнина в отвисавший в перегибе зад:

— Какой я тебе Силантий Матвеевич, душегуб? Не пачкай меня своим величием!

Клёнина понесли. Он забился, завертелся, размахиваясь телом, накренил лодку... На живот сел ему Сережка и крепко ухватился за борта. Выдавливая ему

лопнувшие зубы, разрывая щеки, он воткнул ему в рот острый камень... Крик смолк... Клёнин гнусел носом слова жалкие и косноязычные...

На берегу остались Егор и Кубышкин. Лодка скользнула в туман. В тумане закрипели уключины, гнусил, стихая, нос Клёнина, колотились в борта волны... А потом уключины перестали скрипеть, в лодке завозились, застучало гулкое дерево под сапогами... А потом тяжело хлюпнуло...

Кубышкин выждал, будто видя в белом снегу тумана, как укладывалась разевшая пасть волна и как мелкие-мелкие-мелкие торопливые пузыри лопались на волнах. Дрожащими губами Кубышкин сказал курившему Егору: — Спустили!

И сразу стали слышны уключины. В тумане заплескалась будто большая черная рыба — и лодка выскочила острым к островку. Сережка озорно закричал:

— Силантий Матвеевич, утопли!

Старик ничего не ответил. Он неловко забирался в лодку, долго примеривался, подтаскивал лодку к себе, придерживал рукой и наконец шагнул на середину. Егор оседлал нос и оттолкнулся от берега.

В тумане без пути и дороги ковылялось Чарыма, и вместе с ним покачивался туман, покачивалась лодка, покачивались люди... Лодка шла наугад. Долго ехали в тумане и не сказали друг другу слова: за них говорили чайки. Проснулись птицы голодные на поёмных лугах, в осоках, на кочках — и закричали. Спряталось под белой пеной тумана Чарыма, гуляли станами осмелевшие рыбы, слышали они чаечные крики и не уходили вглубь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ткачи начали. На Свешниковской мануфактуре, — не дошла черная стрелка до обеденного времени, — закричал гудок. И тысячи сердец ударили один такой ровкий удар, сжались, раздались губками и заколотились под синим теплом блуз. Будто посыпалось черное зерно гречихи из элеваторов — пошли со двора, из ворот, из калиток густо, плотно ткачи.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах, — так чернеют леса вдалеке, — зашевелились узкие пояса улиц; так разматывали катушки, тюки сукна,

сушила. На маломерках дружной артелью показались белые дымки у маленьких глоток — и гудки пристали к Свешниковской мануфактуре. Над рабочей слободой, над городом, над Чарымой, будто звон колокольной соборной Софии с концами и приходами, запели земля, облака, крыши... Из маломерных ворот, калиток, проходных будок, как из закровов, полилось жидкими струями зерно синее, голубое, розовое, красное. Словно огромными ковшами землечерпалок, ворота фабрик и заводов черпали рабочих и опрокидывали на улицы, на полянки, на площади... На фабриках малого роста не кричали кое-где гудки, стиснули зубы калитки и ворота, не отмыкали запоров сторожа... А как только подкатывался черный шар под ноги, хрустели замки, трескались доски, выгибалось железо пузырем — и гудок догонял, налаживался, нырял и тонул поплавком в звенящей воде воздуха.

Наскоро, подхватывая гудки трубами голосов, выводили мастеров за ворота, перевортывали тачки, надевали мастерам на головы дырявые ведра... Ручьи, родники, реки слились... Раскрылись на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах окошки, распахнулись крылечки, дворы: то высыпали цветными ситцами бабы, ребята, девушки.

Рабочая слобода пошла. День был ярок, как золотые колокола куполов Софии. Солнце скинуло с рабочих картузы, кепки, расстегнуло ворота блуз, рубах, раздвинуло полы пиджаков, опростоволосило баб и ёршики ребятишек. Красными гнездами поднялись над головами маленькие платки, ленты, и красный большой плат на белой планке из палисадника невысоко густел над передними людскими купами. В середине улицы подняли на руках рабочего в красной рубахе, смеясь, показывали на него пальцами, а он размахивал поясом. Рубаху раздувало, как большой красный костер. Вскидывали, качая, бабы ситцы над головами. Гудки провожали. Клокотал над шествием водопад гудковой музыки и глушил чистые, ясные, звонкие фонтаны начинавшихся песен.

Но уже хрипли гудки, срывались, истаявали. Оборвалась коротким унылым выкриком Свешниковская мануфактура — и будто выпала из оркестра большая труба, и будто оркестр пошел в обратную сторону. Малые трубы не выдержали запева, покричали обессиленно,

немного потужились и отрывчиво замерли. Шли тогда по Кобылке. И перекатилась, просыпалась медными гремящими листьями железная «Марсельеза». На фашиннике загрохотали обозы, цокнули конские копыта, повезли лафеты с тяжелыми пушками, пошли дома, развалились фундаменты, и тысячи каблуков нестройно, пыльно застучали по дереву... Словно лилась и плескалась под ногами вода, и был как течение вод широких шорох одежд.

«Марсельеза» вела. Кобылка заворотилась к бульварам и уперлась на кресте в два бульварных паруса. И по двум узким полотнищам пошли. Точно выступили из земли березовые корни деревьев и вырос невысокий поющий лесок. Он шел и шел вперед, вылезая березовыми корнями. А над леском реяли, как ширококрылые подёнки, листки. Вырывались они шелестящими стаями, кружились и садились на головы, на руки, на плечи. Как тысячи заведенных волчков, жужжали шаги по земле, как легкий ветер, покачивал идущий лесок, и звенела над ним металлическими доспехами разгневанная «Марсельеза»:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног,
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.

По булыжнику, пружиня звонкими копытами, выкинулись навстречу казаки — и осадили лошадей. Колющие черные пики наклонились наперевес, точно накренившаяся на подржавевших укреплениях острая решетка. Казаки не остановили Свешниковскую мануфактуру. Стучали по переду бабы полусапожками. Они первые цветными фартуками запестрели на площади. С бульваров подпирало, катилось огромное людское колесо, и каждый поворот его приближал к казакам. Те оглядывались, и пики неровно шевелились в руках, коротели, вставляли прямым, откидывались в стороны...

Бабы вдруг заторопились, подняли руки, выпятили груди переростками-яблоками... Первый ряд побежал... Словно с катушки начали разматываться голубоглазые, красно-розовые, синие ленты платьев, фартуков, кофточек...

— Колите! Колите! — закричала одна баба.

И другие одним визгом, тревожным стадом подержали:

— Ко-о-ли-и-те!

Готовьтесь! Лучше умереть сразу, чем жить, как мы живем!

Толпа охнула, закричала, заревела, забухала сапогами по булыжнику.

— Да-а! Да-а-а! — ударился валами, озерами, плотинами тысячный гул.

— Не уступим!

— Не сдадимся!

— Не уйдем!

Опять поднимали Егора. Поднимали товарища Ивана, Тулинова. Поднималась Олюнька на плече у Сережки. Милыми бубенчиками в Сережкином сердце набрякивал голос Олюньки:

— Товарищи! Мы, работницы, не отстанем от мужиков! Вместе умрем! Бабье сердце жалеть умеет, любить умеет баба и сердиться умеет. Бабье сердце сердитое на богачей!

Олюнька была как красный флаг. Она кончила, замолчала... Сережка, скаля зубы, держал ее за ноги и не спускал. Олюнька рванулась, соскользнула с плеча. Сережка, заливаясь хохотом, разжал руки.

Толпа хлопала Олюньке в ладоши и радостно-радостно смеялась. Ткачихи окружили Олюньку. Аннушка стукнула ее по спине, обняла сзади, мигнула бабам — и Олюньку качали.

Потом качали старого Кубышкина. Долго шумел старик, смешил, дразнил солдат... И не удержали его на весу. Белая борода покривила в сторону, старик взмахнул руками, захватал воздух... и закричал испуганно:

— Черти! Да держите же красная! Все слова выроню!

Запели опять, срываясь нестройными перекатами голосов, выравниваясь, загущая хоры...

Тут полицеймейстер Дробышевский зыкнул на площадь от Афанасия Александрийского:

— Р-расходись! Стрел-л-ять буду!

Он дал знак. На всех улицах, замыкавших площадь штыками и конницей, ожили козла с винтовками, вспрыгнули с мест, переступили лошади, натянулись поводья...

«Марсельеза» будто растаяла, утонула в колком и дробном грохоте толпы... Покачались. И кто-то звонко, пронизывая, крикнул:

— Садитесь!

И сразу рабочие рухнули на площадь... Рухнули и начали торопливо выбирать булыжник. Подняли его... Каменные кулаки тысячами тысяч встали над площадью.

Дробышевский остолбенел. Толпа загудела злым и нараставшим шумом, будто почуяла она необоримую силу в себе, будто шла от нее эта сила и раздвигала площадь, опрокидывала дома, сминала изготовлявшуюся конницу, солдатские цепи... Дробышевский побежал мелким, семенящим шагом к городской думе, открылась калитка перед ним, и он провалился в нее... Потом снялись войска — и ушли.

Зазвонил колокол у Афанасия Александрийского к вечерне. Широкополый поп в широкополой шляпе прошел в церковь... Звонарь крепко и старательно качал языком, гудя над площадью.

Тонкий лен табачного дыма выходил струйками из толпы: будто вырастали пушистые серые травы над головами. Снесли большим навалом поднятый булыжник на середину. Когда мостили, так лежал тут булыжник нехоженный, свезенный с полей и с речных берегов. Теперь стоял на нем Егор, всходил на него товарищ Иван, всходили другие. Из улиц, из ворот в бело-желтых домах, уставших стоять запертыми, протягивались жадные уши. И само солнце спустилось ниже, прислушиваясь и теплея...

Расходились с площади, взявшись за руки, в замок, спутав фабрики и заводы, спутав ткачей с мыловарами, кожевенников с токарями, с молотобойцами, с мойками, спутав Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Так на лугу зеленой густотой растут несхожие цветы, травы, лопухи и тянут хоботками корней родимый сок земли.

Рабочие ушли. Площадь была горбата и щадровита. Обнажилась земля, и шел от нее легкий пар дыхания. Словно выломали каменную стену тюрьмы и выпустили узницу. Площадь глядела серыми плешинами, лишаями.

Из городской думы выходили мундиры, аксельбанты, шашки. Качая головами, они бережно обходили рыхлую мякоть земли. Из застучавших оконных задвижек и шпингалетов высунулись подкрашенные рты, пудренные носы, кружевные чепцы и масляные лысины.

Тридцать раз купалось солнце в Чарыме. Кричали гудки в шесть утра, в шесть вечера, кричали в полдень. На Зеленем Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях ныло в те часы голодное брюхо, свирепели бабы и глядели на отощавших ребятишек такими приметными, жальчивыми глазами. Переживали гудки — и забывали.

Починили отболевшую оспой площадь. Топтали ее каждый день тысячи ног, жгли тысячи докуренных сигарок, и привыкла она слушать гневный грохот отчаянных песен.

Ночами вылезала полиция из участков, звонили жандармы шпорами в темноте, обходили спавшие дома и подымали с постелей, увозили спавших нужных людей... А днем начальство пряталось. Казалось зряшным и ненужным стоять городовым на постах, они часто уходили в будки покурить, посидеть с бабами, поиграть с ребятами в «свои козыри», в «акульки». Солдатские казармы держали на запоре и отменили отпуска в город. Раньше времени вывели солдат из лагерей и засадили в непроветренные за пол-года казармы. Коротко играли вечернюю и утреннюю зорю горнисты. Серые жандармские, полицейские шинели висели на вешалках в участках, в жандармском... В городе было тихо, как на погосте. Свернулись фигами большие замки на зеленых дверях казенок, и сидельцы протирали пылившуюся посуду. Редчали базарные дни. Денного начальства не было. Оно не управляло. Было ночное начальство. Как тать, шарило оно по городу и ползло по ночным улицам на брюхе.

На Свешниковской мануфактуре, в старой, заглушенной ставнями конторе было денное начальство. Управляло оно Зеленым Лугом, Числихой, Ехаловыми Кузнецями и слало гонцов в город... Искали гонцы городское начальство — и закрывались казенки, выходили из тюрем ткачи, слесаря, железная дорога, тушили огни в ночных ресторанах, кабаре, в кавказских погребках...

Толокся рабочий люд на лугу у старой конторы с ранних петухов до чарымской поздины, когда кулькало в Чарыму изопревшее от жары солнце, ковырялось на дне красными лапами, загребалось в донную тину, и черная ночная повязка завязывала глаза. На прощелявшей двери, на отвороте, наискось, как лента через

плечо, висела белая бумага, и были на ней твердо, неясно написанные карандашом три слова: «Собрание рабочих депутатов». В конторе теснились выборные от Свешниковской мануфактуры, от маломерок, от железной дороги, теснили выборщики голосами, криками, спорами... Курили и депутаты и выборщики... И было «Собрание рабочих депутатов» как парная баня, курилка, постоянный двор... Сидели, стояли, лежали на крылечке, в сенях, на мостовинах, на лугу... Раздавали из «Собрания» листки, книжки... С крылечка часто говорили Егор, Иван, Тулинов. С ночными поездками приезжали из Москвы товарищи Петры, Сидоры, Иваны, Егоры...

Обходили, кружа ночью, Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы Егор и товарищ Иван сторожкой походкой. Спал Егор у Никиты на чердаке, а товарищ Иван спал в дровянике на Золотухе у Янкеля Брука. Стерегли их на ночных крестах, на площадях, у заборов, у переездов... Аннушка прибегала спозаранку в старую контору: приносила еду и обнимала за косяком.

Кричали бабы в «Собрании рабочих депутатов» жалобы на мужей, журжи — на журжаков, журжаки — на журж, указывали девушки на озорников ребят, тягались бабы с бабами о дровяниках, о корытах, костили рабочие друг дружку за долг, за обман, за драку... Глядели виновато в пол журжаки, ребята, били в грудь, захлебываясь горем, баба о корыте, и мирились повздорившие ткачи, слесаря, кожевенники, мыловары...

Как в дымной черной печке, за прожженным самоваром столом, — был самовар в «Собрании рабочих депутатов» без поддона, — у крошек, у окурков, у опрокинутых блюдечек, у отколотых клинышками невымытых стаканов и кружек сидели судьи. В зеленой талонной книге с товарной станции, — перевозили по квитанциям из зеленой книги рогатый скот, собак, живность по всем железным дорогам Российской империи; нашли книгу у пакгауза, в мусоре, — писали на обороте постановления «Собрания рабочих депутатов». Был мал, как ноготь, карандаш, ломался, выскакивал скользким зерном из рук, не торопились искать, дописывали сажей, обгоревшим кончиком спички.

И несли бережно бабы, журжи, журжаки, спорщики, драчуны зеленую бумажку, показывали на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, хранили в сундуках, обвертывали в платок, перекладывали в бельишко...

На сороковой день, ночью, загорелась сушилка на Свешниковской мануфактуре. Загудели гудки испугом и звали-звали-звали... Огонь пошел на корпуса, махая красным знаменем зарева. Пробудились Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы, залили топотом, криком, шумом улицы. Из города погнали медноголовые пожарные команды, погнали солдат, конницу... Выехало начальство... И тут рабочие взревели в красном угаре пожара, перехватили пожарных за подсилки, отняли топоры, повалили пожарные машины, настегали коней с лестницами и баграми — и кони понеслись от пожара, продырявили рукава порезами, наперли на войска, на затрепетавшие зимней поморозней власти: Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы не давали тушить пожар.

Занялся, сухо щелкая, красным кольцом забор — и толпа отшатнулась на луг. Горой красных головней развалилась сушилка. Красная пыль понеслась над всей Свешниковской мануфактурой, и запылала огромным столбом башня у ворот.

— Ура-а! Ура-а! — торжественный и торжествующий крик перекатился весенними громкоголосыми грозами над пожаром, над солдатами, над старой конторой.

Егор сорвал с оглобли на пожарных дрогах звонок, зазвонил долго вытянутой рукой, взобрался на поваленную меднобокую пожарную машину, будто застывший пузатый ком пожара, и закричал, скача над головами толпы, призывом:

— То-ва-ри-щи! Собрание рабочих депутатов приказывает вам тушить пожар и помогать пожарным!

Толпа ахнула, загудела, зарокотала — и тысячами рук, ног и глаз кинулась к машинам, полезла в огонь, побежала с ведрами, лоханями, опрокинула забор, заштукеровывала рукава, затыкала пальцами, тащила их, как легкие пастушечьи плети, в рот огню, разметывала рукавами кровавые доски, рвалась и катилась черными вихрастыми клубками к корпусам... Прорвалась, вломилась, прыгнула через шипевший и дрожавший круглый венец забора. Свешниковскую мануфактуру отстояли.

А на другой день еще раз фабриканты и заводчики не приняли рабочую депутацию. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы заскрежетали зубами, и по ним прошел негодующий рев. Будто подняли фашинник на улицах, размахнули им и хлопнули о землю, а фашины покатались, загрохотали, затрещали на сломых.

На белом, из сахарной бумаги, щите крупно, столбиком суриком написал табельщик Митрофанов из мастерских рабочие требования, собрались под щитом у старой конторы — и двинулись в город.

«Вперед! Вперед! Вперед!» — звала и вела «Марсельеза». Качалась рабочая слобода, как расхолодившееся Чарыма в осенние ветреные ночи, ворчливое, бесноватое, закипевшее в низколобых берегах беляками валов.

Прибыли с трех вокзалов накануне солдаты из уездных городов, прибыли новые сотни казаков, драгун — и начальство объявилось.

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы наткнулись на железные, конные, стальные бульвары — и отшатнулись, замерли в устье Кобылки, в широкой пасти Фроловской, Гремячей, Бондарной...

А потом по белому щиту хлестнуло четками залпов — и пошел на Кобылке, на Фроловской, на Гремячей, на Бондарной кривой железный дождь... Всплыли, расплескались красными паводками канавки, легли бугорками рабочие, бабы, ребятенки на фашинник, посыпались с заборов, с крылец, с палисадников — и остались лежать. Дождь лил, краснея и дымя, черным градом стучал в стены, вонзался, застревал, пронизывал мягкое человеческое тело, продергивал в него горячую дратву. И кровь закипала в дырке, убегала, врываясь в голову, в глаза, в рот, подталкивала, совала под коленки прострелом — и валила наземь. Конница рубила, шинковала, строгала плечи, руки, перерубала крики, слезы, брань... Кони храпели, неслись, сбивали... И ни один конь не растоптал человека. Кони перепрыгивали лежавших, взносились на дыбы, рвали удила губы, бил по глазам свистящий огонь нагаек, шатались кони — и не топтали, не могли топтать распростертые трупы, раскидавшиеся белые руки, застекленевшие морозные глаза...

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы опустели. Только рыдали за рамами рабочие домишки, рыдали дворы; крадучись ползли раненые с дороги, сваливались в канавки, захлебывались, тонули, упирались руками, лицами в вонючий смрад стоков; стонали и приподымали с пыли искромсанные головы умирающие; валялись будто белым и коротким фашинником раскидавшиеся по земле руки...

Уковыляла конница. По всем улицам пошли патрули. Конные разъезды объезжали на дорогах трупы. Солдаты

отвертывались от лежавших черными навалами людей. Из-за заборов выглядывали дети.

Заходившее солнце пекло мертвое человеческое мясо. Мухи уже слетались на теплую кровь, ходили по стоявшим безмолвным глазам, запускали тонкие хоботки в красные разрубы сабель, пили, тянули мертвечину, закидывали раны пометом... На деревьях каркали вороны, слетали на дорогу — и бочком-бочком-бочком подбирались к трупам.

На громыхавших вальках пригнали ломовиков, складывали поперек трупы, тут же рядом складывали кричавших раненых — и увозили.

Траурная ночь, бессонная, как день, легла черными разбухшими облаками над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами. Ночью пошел дождь, замыл на улицах кровь, согнал ее с фашинника, прибил в расолодевшую землю...

Слушали в рабочих домишках, как бил дождь о крыши, о железные водосточные трубы, о стекла, и казалось, будто капала то рабочая кровь ночным дождем.

В шесть загудели гудки. Кричали они, торжествуя, над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами. И были эти настойчивые суровые голоса как второй железный ливень. Рабочие зажимали уши, закутывали головы одеялами, совались под подушки. Дождь неумолкающе капал-капал-капал...

Днем собрались у старой конторы. Стояли огромным черным гудящим станом. Белели завязанные головы, перевязки. И, как раненный, подымался над толпой красный развернутый флаг. Товарищ Иван взобрался на высокую поленницу дров у обгорелого забора. Звеня голосом, как разбитыми стеклами, он кидал близкие и понятные слова. Точно говорил не этот худенький, чахленький человек-косточка, говорила и дышала в нем стоявшая на земле затаившаяся толпа. И подымалась ее широченная грудь...

— Товарищи! Мирных путей нет и не было. И не будет. Вместо хлеба — свинец, нагайки, шашки... Над рабочей слободой пронеслась смерть. Ее послало самодержавное правительство, заводчики и фабриканты, ее послал царь. Нас ждут новые испытания! Нас стерегут. Мы, большевики, говорили вам, говорим, кричим: к оружию! Только оружием рабочий класс добьется победы!

Только вооруженное восстание рабочего класса даст ему освобождение!

У старой конторы нескончаемо вихрил воздух:

— Да здравствует вооруженное восстание!

— Долой самодержавие!

— К оружию!

— Смерть палачам!

И опять говорил товарищ Иван, говорил Егор, говорил Тулинов, плача и царапая себе грудь.

Словно низко опустились на землю тучи, тучи сталкивались, разбегались, трясли землю, кувалды голосов гремели ударами, а пустая Свешниковская мануфактура умножала громохание.

И опять карьером, пыльным многоногим волчком вынеслись казацкие, уланские, драгунские сотни из-за складов, из внутренних дворов фабрик и заводов. Толпа не побежала. Она быстро разобрала высокие штабеля дров, кирпич, камень, обугленные дреколья заборных перекладин — и ждала. Конница сбавила карьер, остановилась...

— Р-расходись! — кричал ротмистр Пышкин.

Толпа постояла, подумала, оглянулась, и глаза одних спросили глаза других, флаг медленно, лениво складываясь на ветру, опустился... Толпа разжижела, оторвались кучки, толпа дала узкие ростки людских протоков и начала развертываться по лугу.

Рабочие уносили поленья, кирпичи, черные перекладыны. Конница шла по пятам. И вот она разорвалась на отряды, поскакала, замахала нагайками, саблями. Раздулись конские хвосты. Рабочие заторопились, побежали... Конница обгоняла бегущие кучки, хлестала, ловила, хватала... По всем улицам Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов повели черными табунками зажатых между коней рабочих.

Лязгнули тогда окна, двери... Неистово кричали бабы, старухи, лаяли собаки, свистели в свистульки ребята, кидали камни, песок и стучали по заборам оглушительной дробью палок.

— Кровопи-и-вцы!

— Негодя-я-и!

— Палачи-и!

— Наймиты!

— Царская сволочь!

Как закапала накануне рабочая кровь ночью на крыши, на водосточные трубы, на рамы, Аннушка кинулась через огороды на погост. Она измокла под дождем, приставала мокрая упругая земля к полусапожкам, истяжелила. Аннушка бежала, падая, вставая, дрожа в серой влаге, обливавшей грудь, плечи, живот. Егор поджидал у ветлы. И сразу прошли муки. Аннушка ткнулась на грудь и затряслась шепотом:

— Жив, жив, жив, Егора!

Не любил Никита Аннушку. Егор не повел ее в сторожку. Он скинул мокрую шапку с копны сена, накошенного Никитой на зимние тюфяки, захватил охапку и внес в склеп. Аннушка разделась догола, закутал ее Егор в свой пиджак, села она на сено и запорошила густо сеном простывшие ноги. Вместе отжимали в темноте смокшее платье, рубашку, фартук... Уснули в уголку склепа в теплой колючей испарине сена.

Стачка кончилась. Фабриканты и заводчики купили вскладчину новые пожарные машины, внесли деньги на постройку новой тюрьмы в городе и вымостили Думскую площадь торцом ровным и гладким — не занозишь руки, не отковырнешь деревянной заусеницы.

Свешниковская мануфактура загудела первая, загудели маломерки — и рабочие пошли с узелками с шести утра. У нового забора вокруг Свешниковской мануфактуры уныло околачивались безработные с обвязанными головами, испитые, исхудалые, как вороха пожелтевших осенних листьев. На всех фабриках и заводах ввели постоянные расценки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надежда Ивановна Караулова жила в одноэтажном доме, широком, как три этажа, снятых друг с друга и поставленных рядом. Низкий тупой лоб опушки серел из-под крыши с напуском, и три надбровные деревянные дуги, вырезанные мелким барашком, чернели над большими круглыми верха́ми окон. Три окна выходили на низенькую террасу и казались стеклянными иконами. От них откинулось в стороны по дюжине небольших окон. Окна мельчили, так были близки одно от другого, словно рот с белыми зубами днем и словно челюсть со вставными золотыми зубами, когда вечерами в доме

горел огонь. Пониже тупого лба, на белой жести черной эмалевой краской намазаны были три отчетливых слова:

СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА

По улице пролегал путь на бойни. Каждое утро гнали мимо скот. С некоторого времени скот начал останавливаться тут, ревел и ковырял землю. Погонщики хлестали его плетями, пинали и, свертывая кольцом, ломали хвосты. Погонщики долго и трудно боролись со скотом, покуда не отгоняли его от дома. Надежда Ивановна, беснуясь, полураздетая выскакивала на террасу:

— Негодяи! Мерзавцы! Что вы тут наделали! Почему каждый день ревут животные? Я буду жаловаться губернатору!

Выходил за ней старый муж генерал и шамкал:

— Та! Та! Надин, это ушасно!

Погонщики робко и жалко стояли у палисадника:

— Мы, барыня, сами с ума сбились: отчего такое? По всей дороге ничего идут... До тебя дойдут — и, сама видишь, какое дело! Будто не благородный дом какой, а бойня. На бойне так орут перед смертью!.. Не иначе под улицей зарыто какое животное. Они его и жалеют.

Скот ревел перед домом. И было это непереносимо для Надежды Ивановны Карауловой. Был еще тогда Глеб Иванович Уханов городским головой. Уважил он почетную председательницу «Союза русского народа»: разрыли улицу, распотрошили большой канавой — и ничего не нашли, кроме сгнившего под булыжником старого фашинника и монеты времени Дмитрия Донского. Улицу опять заделали, монету поместили в музей, а скот ревел каждое утро... И драли его погонщики.

В круглом зале у Надежды Ивановны собиралось правление «Союза русского народа»: князь Кубенский-Белозерский, потомок Рюриковичей, державший почтовую станцию на Верейской дороге, три попа, рыбнорядец-миллионер затонщик Оксенов, пароходчик Варакин, начальник мастерских Четыркин и печеклад Степка Жила.

Надежда Ивановна жаловалась. Правление долго обсуждало странное поведение скота. Степка Жила, походивший на обглоданное козой дерево, скромно и робко сидевший поодаль от стола, заикаясь, заговорил последним:

— Не иначе тут озоруют леворюционеры. И конечно, жида. По-нашему, по-деревенскому... вот я ежели печи класть... мы-то не можем... а старики знали заговор такой... печку склали... А печка не печет... Печка воет... В печку можно замуровать дьявола... за печурку... Сказывают, бутылку с водой... с опилкам закупорь, в кирпич заклади... печка из дому выживет... житья не будет. Будто маленький ребенок, плачет, уливается...

Пароходчик Варакин потряс большой головой, как перезрелая, распертая в бока тыква, и накрутил на палец золотую часовую цепь с жилетки:

— Не мели, брехло, зря... И ни к селу ни к городу. Тут не о печке разговор. Печки на улице, кажись, нету?

Рыбнорядец Оксенов, рыжик с красными окуневыми глазами, любил наряжаться. Ходил он в цилиндре, в белой жилетке, носил модные ботинки и лил себе в карманы дорогие духи — пузырек на два раза. Надежда Ивановна узнавала его по запаху. Звенел звонок в передней, открывали дверь — и раньше Оксенова в круглое залo входил запах духов и рыбы.

Душистый рыжик вмешался в разговор и тоже осуждающе сказал Степке Жиле:

— Ты, Степан, брешешь! У меня на фатере в новом доме печеклады грозились все печи изгадить... Цену они за печи заломили, а я не додал при расчете... Одно бахвальство и мужиковские слова! Печи как печи...

— Да, вы, Степан,— тоненько прозудел князь Кубенский-Белозерский,— вы придаете большое значение народным суевериям...

Степка Жила покраснел, заторопился, испугался...

— Я для примера о печках. Тут, конечно, другое дело. Фокус какой подвели другой леворюционеры! Скотина тоже здра не заревет...

Случилось так: гнали на бойню запоздалый скот с вечерних поездов. Правление «Союза русского народа» заседало в тот час. Заревел скот, зарыл землю, лез в палисадник... Правление вышло на террасу. Надежда Ивановна зажимала уши и закатывала глаза. Скот, настеганный погонщиками, покатился дальше, унося убывающий рев и негодование Надежды Ивановны, негодование князя Кубенского-Белозерского, веселый кашель попов, фырк Варакина, Оксенова, трясущийся живот Степки Жилы, хмурые брови Четыркина. Тогда правление «Союза русского народа» поехало с жалобой к губернатору.

Была на бойню одна дорога, и губернатор не мог отвести ее. Поставили у дома городского. Скот ревел и при городском. Степка Жила мудровал: запало ему узнать причину скотского буйства. Он крутил, вынюхивал, залезал в палисадник и глядел из-под кротегуса на проходящие ноги. Городовой часто дремал по вечерам и спал, похрапывая, ночью... В то время шнырил Степка Жила. И он уследил.

Вышли из-за угла два гимназиста, оглянулись, вынули из пазухи по бутылке и начали что-то лить на деревья, на землю... Кульк, кульк, бульк — закулькали бутылки. Степка Жила выкатился дворняжкой из-под кротегуса, закричал, схватил одного за пальто, другой кинулся вдоль улицы. Городовой снял сонное бремя с глаз и перехватил из рук в руки за шиворот гимназиста. Степка Жила разбудил Надежду Ивановну.

В круглом зале зажегся огонь. Гимназиста ввели. Степка Жила втянул из бутылки темно-багровые капли и заурчал:

— Кровь в бутылке. Таперя, барыня, как же скоту не реветь на кровь? Он по своему... по скотскому разуму обизательно должен и рогом, и копытом, и мордой делать...

Степка Жила щелкнул гимназиста жирно и звонко по затылку. Фуражка слетела на пол. Гимназист вгляделся в Степку Жилу горевшими глазами, будто запоминая его на всю жизнь.

— Откудова, сукин сын, взял кровь? — трясся за грудь, выговорил Степка Жила. — Чей сын? Сказывай, а то мы тя на веревку... и в колодец!

Степка Жила еще раз приложил звонкую руку на щеку гимназисту, качнул его маятником в сторону, а городовой уравновесил по другой щеке наотмашь. Щеки гимназиста вспыхнули, и повлажнели глаза.

— Разгова-а-ривай!

Надежда Ивановна запахнула капот под мышками на колесившей груди, остановила Степку Жилу и городского, вцепилась за уши гимназисту и, закусив губку, принялась трепать.

Гимназист схватился за руки, отдирая, царапая, замотал головой, вдруг пнул коленком в живот Надежде Ивановне, вырвался и бросился бежать в двери. Надежда Ивановна вскрикнула, прокусила губку и поблелела.

Но гимназист не успел: Степка Жила сделал ему ножку, и он растянулся на полу, хлопнувшись о дверной косяк.

Надежда Ивановна, охая, села на диван. Степка Жила придавил гимназиста, тыча его в пол и расквашивая нос. Он обежал глазами комнату и радостно закричал городовому, указывая на круглый столик в углу. На столике лежала тонкая собачья цепочка... Городовой обшарашил гимназиста с головы, а Степка Жила сел на ноги и взмахнул цепью... Свистела и лязгала цепь на спине, на мягких местах, на ногах. Гимназист закричал, забился, заколотился на полу... Старый генерал в ночных пантофлях, в халате вышел из белых дверей и засмеялся мельчайшим, частейшим смешком. Он смеялся и приговаривал:

— Тук, тук, тук.. за дело, за дело! Розочка слаще! Розочек бы, розочек бы надо!

Надежда Ивановна раскачивалась на диване, глядя живот, и сквозь зубы, сквозь нывшую боль тянула злобно:

— Так его! Так его! Не будешь! Не будешь!

Связали цепочкой руки и подняли гимназиста с пола. Перемогаясь, кривя вперед свой стан, Надежда Ивановна подошла к нему сзади и рванула больно оттянутые уши и пощипала шею разрывающими совочками ногтей. Потом ручки перекинулись на голову, на короткий бобр, срывались, не ухватывали горстью... Надежда Ивановна забрала двумя пальчиками волоса кисточкой и шатала кисточку из стороны в сторону, будто корчевала крепкий, не вылезавший корень цветка.

— Хе-хе! — визгнул Степка Жила.— За пискуны его, за пискуны, барыня!

Гимназиста повели.

И началось дело. Служил на бойне ветеринарный врач Пожарищенский. Доставали от него кровь гимназисты на бойне и кропили кротегусы Надежды Ивановны. Открыли гимназические кружки. Нашли у Пожарищенского журнал «Дело» и казацкую нагайку. Пропал потом безвестно у сапожника Дунькина ребенок со двора... Ходил по городу рыжий еврей с шарманкой и тоже пропал. В оружейном магазине взорвался порох и разнесло дом. Выгорел квартал...

В Доме Всемилоштивейшего Спаса собиралась черная сотня. Шли туда мясники, купцы, ломовики, золоторотцы... Гладкие, как лакированные выездные экипажи, с золотыми крестами и панагиями, мягко катили попы

в задохнувшемся от жара и людской густоты зале темную вязь речей, служили, пели, крестили и крестились... На расписанных священными притчами стенах черными половиками чадил плакат:

«ЖИДЫ ПОГУБЯТ РОССИЮ»,— ТАК ГОВОРИЛ ДОСТОЕВСКИЙ.

«И ДВА ЖИДА СЧИТАЮТ ЗЛАТО ПЕРЕД РАЗЛОЖЕННЫМ КОСТРОМ»,— ТАК ПИСАЛ ПУШКИН.

«ЖИДЫ ОЖИДАЮТ МЕССИЮ»,— ТАК СКАЗАЛИ СИОНСКИЕ СТАРЦЫ.

«СМЕРТЬ ЖИДАМ!»,— ТАК ГОВОРIT РУССКИЙ НАРОД.

«ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО».

За эстрадой на стене, на огромном белом картоне круглел нарисованный земной шар. Поперек шара перевязью шла зеленая лента, а на ней, подпирая острыми верхами шар, неровно кололись буквы: «Е в р о п е й с к и е д е р ж а в ы», и вытаскивали канатами два черных человечка с красными надписями на фалдах сюртуков «Жи́ды» две буквы — «о» и «п». А под ними стояла липкая черная толпа с крючковатыми носами, брюхастая, жирная, с пузатыми мешочками золота на груди.

— Православные, что это значит, возьмите себе в сердце! — кричала Надежда Ивановна и гневно указывала перстом на заднюю стену. — Это значит, православные, что проклятые жи́ды во всем мире готовят смуты, захватили все деньги, банки, торговлю... Поглядите, они вытаскивают канатами две священных буквы — «о» и «п». Они хотят отнять у нас «отечество» и «патриотизм»! Они хотят основать во всем мире вместо европейских держав еврейские державы! Не позволим! Не дадим жидовскому мессии быть нашим царем! Клянитесь, православные!

Будто под полом, под землей, ворочалось огромное тысяченое чудовище, ворчалось, шипело тысячами ноздрей, хлестало хвостами, фыркало и, топя слюной, начинало реветь и прыгать на каменных копытах:

— Клянемся! Смерть жи́дам!

— Гимн! Гимн!

Чудовище встало, двигая поездами скамей, стульев, табуреток. Полиция становилась во фронт, прикладывая руки к козырькам. Князь Кубенский-Белозерский разма-

хивал руками. Надежда Ивановна поднимала портрет Николая Второго и держала его над головой. Залогрохотало, как сотни ревущих расстроенных органов:

Боже, царя храни...

Лиясь шумной прорванной плотиной, гимн гремел над красными потными лицами, извивался под потолком, как змей с горевшей пастью, потрясал стены, дребезжал стеклами. Он стихал — и тогда князь Кубенский-Белозерский тоненьким певком возглашал:

— Императору и самодержцу всероссийскому ура!

Срывались, сваливались с гор снежные крутни, обвали, обдавало плотной стеной грома:

— Ура-а! Ура-а! Ура-а!

— Русскому человеку житья нет,— бормотал на эстраде рыбнорядец Оксенов.— Везде жида. Лесопилки настроили. Хлебом торгуют. Фабрики наполовину жидовские. Газеты жидовские. К рыбе подбираются. На Вошме исстари владела наша фирма затоном, через подставное лицо на торгах отбил у нас затон Соломон Блюм. Подкупил оценщика за трешницу. И свой русский своему русскому ножку подставил! Так что не покупайте, православные, товар у жидовской нации! Своих русских купцов довольно покедова в нашей матушке Расее!

— Верно! Верно! — гремело зало.

И кто-то тихонько пролез между криков:

— Сачок ты, Оксенов! А товар у тебя гнилой!

Загалдели, посмеялись, загудели, громыхнули:

— Не перебивай! Не мешай!

Степка Жила вылез на эстраду и застучал кулаками по столу:

— Христианских детей таскают! Кровь тачают! Ребят наших свежуют! Поджоги делают! Съели у сапожника ребенка, косточек не оставили! Православные христиане, перед вторым пришествием живем! Как тут будешь жить, голова кругом идет! Правильно говорю?

Взвыл снова беспокойно и грозно, скаля зубы, дробя крики, рев и гам, зал. Вскочил, хлынул к эстраде, замал кулаками, заплакал женщинами, затопал ногами...

— А... а... а!

— Правильно-о!

— Долой! Смерть!

— Бе-е-й!

— Молитву! Молитву!

— Гимн! Гимн!

Попы, играя золотыми цепями крестов и панагий, затагнули:

Спаси, господи, люди твоя...

Молитва рассыпáлась, как с церковного блюда рассыпались на пол деньги, затихала и возвышалась, будто сливались реки в одном устье и рукавами отливались вдаль.

— Заступницу! Заступницу!

Попы откашлялись и затагнули:

Заступнице усердная,
Мати господа всевышнего...

— Русские люди! — дрогнувшим голосом говорил Четыркин. — Наше государство переживает смутное время. Прежде поляки, а ныне жиды подкапываются под твердыни самодержавия. Жидовские банкиры, не жалея денег, подкупают рабочих и крестьян. Бунтуют на фабриках и заводах рабочие, в деревнях — мужики. И не понимают, под чью пляшут дудку.

Тут перебил тихий и спокойный голос из людского навала в дверях:

— Четырка, куль позабыл?

Четыркин загустел кровавым лицом, сморщился, опустил глаза... Зало негодуя обратилось к дверям. Полиция полезла в толпу, придерживая шашки и выглядывая неизвестного.

— Кто, кто это?

— Чужие!.. Крамольники в зале!

— В участок! Задержать!

— Давай его сюда!

— Чего пускают без разбору?

— Измордовать жидовского прихвостня!

— Бомбу еще кинут...

Зало сразу поднялось — и стульями, скамьями, табуретками поехало от дверей, сжалось, сгрудилось потным ускакавшимися табуном. Полиция втеснила в зал публику и заняла все проходы...

— Идет великое нашествие, — продолжал Четыркин, — презренный, пронирыливый народ по милости глупых польских королей засел в нашем Западном крае. Правительство не выпускает его оттуда, но, как у деревенской бабы не переводятся вши, так невозможно

удержать жида в черте оседлости. Этот всемирный трутень пролезает в каждую щель, в каждую дырку... И вот заполонили Россию. Вам уже сказала наша уважаемая председательница, как хотят обратить они европейские державы в еврейские державы. По всей нашей земле ложью, клеветой, хитростью, подкупом они вытравливают любовь к отечеству, смеются над патриотизмом. Для чего это? Для того, чтобы закабалить русский народ, оседлать его верхом, раздробить нас на части — самим властвовать над нами. Отсюда и бунты, отсюда и настроение. Русские люди, берегитесь! Великие русские писатели, цари, митрополиты, святые старцы предостерегали давно от жида, а мы не слушались... Надо не опоздать, надо вовремя отрубить руки супостату!

— Отрубим! Отрубим! — заревел и затрещал гигантский барабан глоток.

— Пархатые!

— Детей ловят!

— Кровь сосать!

— Сосать... сосать... сосать! — чмокало и щелкало зало.

— А я вот несогласен... — тяжелый, как битюг, лохматый, в грязном фартуке, кладя на стол серую, будто нечищенные сапоги, руку, сказал ломовик, протолкавший к эстраде.

Зало жадно затаилось, наклонило многоглавую густоту вперед, словно изготавливаясь прыгнуть на ломовика, искромсать его, искусать, расплюснуть под молотами кулаков...

Осуждающе протянул один из попов:

— Строптивость есть зло.

Ломовик долго заикался, мямлил, отходил от стола, стучал растерянно пальцами, кровь наплывала будто из-под одежды на шею, на шелушчатое от летнего зноя лицо.

— Эй, оратель, говори, что ли! Опосля пообедаешь! — кто-то крикнул взади.

И зало засмеялось весело и ласково, будто пощекотали у него в горле пышной лапкой.

— Это почто же, — вдруг осмелел ломовик, — он вот... как его... не знаю... барин...

— Четыркин, — подсказал тот же насмешливый голос. Четыркин злобно сжал кулаки и выпучил глаза.

— Кажись, так. Над деревенским бабам смеется... над нашим бабам... Вши-де у баб ползают... Я так скажу: вши тут не для ча. Барину пересмешки разные легко и вольготно... А ты проработай с бабье... к примеру, на жнивье... Это не языком, как хвостом от мух, махать. Не вши от поту и с устатку забегают, а какой и другой, хуже нет, зверь выбежит. Ты дело говори... мы послушаем. Вши нам не в диковину. На вот, посажу и тебе для разводу...

Ломовик шутливо махнул в сторону Четыркина ладонью. Тот съежился, пошевелился на месте, поморщился, испуганно оглядывая свою тужурку.

Ломовика поддержали в зале:

— Молодцá!

— Говори, да оглядывайся!

— Жиды, жиды, а сами хуже жидов над народом смеются!

— Будет ужо. В баню ходить надо!

— Баринье сами, а ква, ква, ква!

— Варакин, за сколько фальшивки покупаешь?

— Караулиха, держи дыру за караул.

— Отец Иван, и-го-го-го!

Князь Кубенский-Белозерский зазвонил в колокольчик, и околоточные в разных концах зала закричали:

— Молча-а-ть! Ти-и-ше!

— Крамола! Крамола! — пищал князь Кубенский-Белозерский.

— Эй! Князь-ямщик!

— Боже, царя храни! Боже, царя храни!

— Гимн!

Зало раскачивалось на ногах... Оно ёрзнуло к выходам, смеялось, негодовало, гудело — и опять захрипел все покрывающий крепкой сетью гимн.

— Портрет! Портрет вперед!

— Хоругвеносцы! Хоругвю давай!

От Дома Всемиловейшего Спаса, тесня извозчиков, сворачивая пешеходов, придавливая к заборам, к палисадам, снимая картузы, шляпы, кепи, ползло и кралось по улицам шествие. На коне, в конногренадерском мундире в голове шествия делал смотр император и самодержец всероссийский Николай Второй. Бордовая рама заключала его вместе с конем в тесные пределы вчетверо сколоченного багета, пошатывалась,

и казалось — конь переступал, высовывал морду за раму, остерегающе оглядывал булыжниковый путь.

Егор с Сережкой стояли у ворот Дома Всемиловейшего Спаса. Они пропустили шествие. Егор тихо и тревожно шепнул Сережке:

— Пахнет погромом... Надо следить в оба.

Черная сотня множилась. Собрания гудели по чайным, по трактирам, по богадельням, в церковных домах.

На Толчке в базарные дни, в Гостином ряду, на Сенной, на Грибном болоте, у Казанской в Жестяниках, в Гробовых рядах, на важнях раздавали листки городовые, знатные дамы, Степка Жила; листки завертывали в товары по магазинам, оптовым складам, совали в карманы и густо оклеивали заборы, стены, телефонные и телеграфные столбы. Тонули, как крупинки отдельные в элеваторах, листки другие, ночные: ходили ранешенько надзирающие глаза на ловлю ночных листков, вычищали заборы, стены, столбы, заклеивали листками черным.

Мужики съезжались с вечера... Они подбирали листки и красные и черные, развозили по деревням, читали на сходах, на завалинках, в гостях, накапливали, курили, вырезали святых из черносотенных листков и наклеивали на стены.

Все нарастала и нарастала молва. Город готовился. На окраинах поднимались и закидывались высоко, загибая головы, рабочие песни — и сразу их топтали казацкие лошади, обливали горячим зноем нагайки, дырявили, трескуче лопааясь, пули. В центре, на базарных концах, у приходов, будто в огромном монастыре, будто в каждом доме были церковные хоры, тягуче и уныло служили. Каждый день проходили шествия «Союза русского народа» к губернаторскому дому, к архиерею, к Надежде Ивановне. Царские портреты кропили дожди, разъедала пыль. Они быстро менялись. И глядела с испода портретов крупными кеглями в рамочке из линеек одна надпись: «И. Д. Сытин. Цена 50 коп.». Царь жил на улице. Сходились по вечерам на бульварах черные и красные артели, попеременно бегали друг за другом, роняли фуражки, трости, кистени...

В Дом Всемиловейшего Спаса швырнули коробочку из-под сардинок — и разнесло высокие окна с простенками, покалечило князю Кубенскому-Белозерскому бок, рваную мушку посадило Надежде Ивановне на щеке, согнулся один поп колесом и лег на диван, не вставая

больше к обедням. Задегтярили ворота у Надежды Ивановны. Черная сотня у пересыльной тюрьмы отняла у конвоя революционера, искромсала, иструхлявила на камню.

Переходили Егор и Сережка с одного собрания черной сотни на другое: рабочая партия готовилась. Привезли оружие и роздали красным дружинникам. За Чарымой, в луговинах, за кустарниками учились бить в цель из маузеров, винчестеров, браунингов, смит-вессонов. Следили за домом Надежды Ивановны. Шли там веселые балы. Привозили корзинами вино, в круглых окнах качались белые плечи голов, приезжал губернатор, полицеймейстер, городовые проносили ящики с оружием...

Город озирался ночными улицами. Стукали двери в швейцарской, на помойке звенело стекло, скидывали с возов дрова, дрались у кабаков: приходил испуг. По домам, по базарам, по улицам вертелись жужжащими волчками слухи. Моросили они дождем, облипали пылью, порошили в глаза, в сердце... Дошмыгали, досыпались, погустели черными пологам слухи над городом. Вечерами отряжала рабочая партия караулы в город. Нависал, снижался, шарил погромный дым. Губернатор не принял еврейской делегации. Старый общественный раввин внес в «Комитет увечных воинов» синагогальный сбор. Делегацию приняли. Губернатор спешил. На ходу, застегивая мундир, губернатор улыбаясь говорил:

— Да... да... Все будет сделано... Конечно, конечно...

Тогда евреи в субботу в еврейском квартале, в центре, в торговых рядах вышли на балконы, на террасы, на улицы, в ворота и застучали в сковороды, противни, конфорные крышки, затрубили в трубы, заиграли на флейтах... Город вскочил, закричал, на улицах закачались конные патрули, пошли войска, оцепили еврейский квартал, губернатор отменил собрания черносотенцев, и с базара погнали городовые съехавшихся мужиков.

Ночью начались обыски, облавы. Погром заглох. Вышел рыжий еврей с шарманкой из больницы,— был болен еврей,— и завертел рыдавшую ручку. Шарманка охрипло, сиротливо ныла по дворам:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

И маленькая девочка с черными козулями в носу подпевала, кладя голову на плечо.

У сапожника Дунькина нашелся ребенок. Лежал он на задворках в сточной канаве. Засосало, затянуло его тиной. Спускала канавы городская управа, и ребенок всплыл. Вышли газеты на заре. Унесли их первые газетчики на места, а потом полиция повесила красные печати на типографских замках и увезла газеты. Но ходил по городу рыжий еврей с шарманкой, и на похороны к сапожнику Дунькину пришли рабочие с Зеленого Луга, с Числихи, с Ехаловых Кузнецов, пришли евреи со всех концов города.

Починили Дом Всемиловейшего Спаса. Затаилась черная сотня за ставнями, за шторами тут, затаилась в доме Надежды Ивановны, в поповских особняках, в церкви Александра Невского на Горах.

Егор с Сережкой ходили по улицам, толкались в запертые двери: губернская типография печатала входные билеты. Не пускали.

Погром пришел в коронацию, четырнадцатого мая. Съехались накануне мужики на базары. Торг с утра кипел на Толчке. Степка Жила раскидывал листки: спорили, кричали. После молебна в соборе за Толчком, со многолетием царствующему дому, Степка Жила с оравой запьяневших поутру каменщиков повел шествие на базар. Тут свои люди крикнули враз:

— Бе-е-й жидов!

Мужики проглотили меховые еврейские ряды, подожгли, опрокинули галантерейные будки, снесли хлебные склады... Торговцы-евреи с воплями кинулись с Толчка. За ними понеслись трости, кнуты, камни, выстрелы. Погром наполнил город, как ветер, как метель. Бежала улюлюкающая толпа из улиц, переулков, пересекала площади, забиралась в дома, срывала ворота, выхлестывала рамы, волочила по мостовым жестяные грохотававшие вывески, нагоняла и топтала евреев, выворачивая человеческое мясо из рубашек, из пиджаков. Сбили погромщики замки у ренсковых погребов. И вино Сидорова, Петрова, Никитина ожгло брюхо. Выкатывали бочки, выбивали днища, отламывали горлышки у бутылок и пили из стеклянных черепков, из пригоршней, из картузов.

Еще раньше конные патрули отрезали Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы от города. Бежали рабочие на дым горевшего рынка и натывались на заставы.

Около вечерен погром устал. Войска оттеснили всюду погромщиков. По всем городским дорогам, нахлестывая лошадей, горланя, качаясь на телегах, на навозницах, на таратайках, гнали мужики из города. С возов свешивались тюки материй, сыпался сахар, текло вино, торчали связки кос, новые колеса, решета, кадки, пестери... Пожарные тушили меховые ряды и отстаивали ряды бельевые, кожевенные, лабазы... Городовые на ломовиках подбирали убитых и раненых, подкидывали на вальки и прикрывали брезентом. По мостовым хрустело стекло, и были, как на болоте кочки, мостовые с выщербленным булыжником, с мусором у разгромленных домов. Выгнали дворников на уборку. Улицы запылили. Зазвенело сметаемое стекло. В окнах торчали тряпки, одеяла, белобокие подушки, купорившие дыры.

День был пасмурен с утра. Небо обросло густой серой шерстью. Быстро затемнел город сумерками. Скупое зажигались напуганные огни в домах. Улицы были пусты, как ночью. И на царскую иллюминацию, на золотые дорожки, протекшие по городу, на вензеля по казенным зданиям, на пестрядину трехцветных флагов, на цветные фонари губернского герба некому было смотреть. В садах играла музыка, и слушали ее одни дрожавшие под ветром с Чарымы мелколиственные весенние деревья.

ОРЕШЕК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В усадьбе Орешек был белый, с белыми колоннами дом. Стоял он на горе, в парке. Только лицо белого дома не закрывали деревья, и оно сияло на солнце двумя стеклянными грядами рам. Над парком поднимался круглый купол, как опрокинутая чаша, а на чаше — высокий прямой шест с ключьями флага. Под гору, будто тиковое платье, сбегали полосы, а там текла речка с замысловатым течением, рос бородатый кустарник, кужлявая березовая роща и хлюпало в камышах с зыбунами чахлеющее болото — одним птицам дорога.

Влеве, за рощей, вцепилась клешом в землю деревня Березники. На Березниках жила сто три года бабка Фелицата Григорьевна. Когда ходила на барщину бабка Фелицата в девках, дом и тогда был старый. У бабки

Фелицаты Григорьевны было три зуба наперед, а пела она, как молодая, пела она сто три былины. Крепкая была у бабки Фелицаты память — и ей верили.

Царь Алексей Михайлович Тишайший любил рыбу нельмушку. За Николой Мокрым загибалось Чарыма, будто медвежьим когтем, Шелиным мысом. Орешек высокой своей головой не пускал Чарыму на пустоши. У Шелина мыса нерестилась нельмушка. Царь Алексей Михайлович-рыболоб послал для порядка над рыбаками боярина Чернова. Закупал боярин рыбу нельмушку и слал в Москву. Царь помер, а боярину полюбилося на Чарыме — он и остался.

От боярина Чернова чудачливые господа Черновы и произошли. Прочудачили Черновы на всю Чарыму дураками, архиереями, пьяницами, актерами, один вором был, один в министры попал. Любил министр мужиков драть, барщину думал завести, да недолго министерствовал: убили революционеры бомбой. Бабы черновские были тоже наособицу: пили, как мужики, жили с каждым встречным и поперечным.

Облюбовала одна такая баба мальчонку-звонаря в монастыре. Тихий был мальчик, забитый, из нищих подобрали. Сначала служил келейником у старого игумена — да не наслужил. Выбежал ночью в разодранных порчёнках на монастырский двор — и взбаламутил всю братию. В звонари мальчика и приставили с тех пор. Барыня его сначала по головке гладила, зачастила к вечерням, к заутреням, в праздники славить звала в Орешек... Потом звонарёк в комнатные мальчишки к ней перевелся, спал собачонкой у ее дверей — и с мужем в драку ходил.

Бабка Фелицата Григорьевна помнила: жила другая баба, Варвара, от мужа гуляла. Рохла такой был муж, а распутница — непомерной толщины, не могла доставать до кушаний, вырезали для брюха в столе вырез в обхват, в чулки, будто в мешки, залезали ноги. Осатанела баба к тридцати годам, переспала со всеми помещиками на Чарыме, с дворовыми. Терпел-терпел муж — и не вытерпел, бил-бил ее на конюшне, как дворовую девку, сначала сам, потом кучеров заставил. После этого три дня и три ночи пропадал по лесам, по полям, открыл на бабу гонение, сажал днем на цепь, ночью сам запирал спальню висячим замком и ставил под окошками стражу.

А была Варвара знатного рода: служил у царя в комнатных отец ее. Вступился старик, прикатил в Орешек, не пожелал выйти к тестю зять, Варвара с папашей и напылила по дорожке. Не сладил старик, прислал через год обратно Варвару. Обошла опять баба мужа: стал опять рохлей. Кантовала, кантовала баба — и вдруг сгинула, как утонула в Чарыме. Заточил ее рохля в монастырь на Глушице, на цепь, на медное кольцо. Заплатил немалый вклад монастырю — пустоши, осоки за Шелиным мысом стали с тех пор монастырские. Где кончила дни свои Варвара — никому и невдомек. Замуровал верный человек Варвару в мешок, а рохля у мешка сел, слушал крики ее с усмешкой, подавал ответный голос в маленький кирпичный глазок, ходил к бабе, покуда не затихла. Помирала баба, просила шепотком рохлю выпустить ее на белый свет, пропадал тоненьким волоском голос от голодухи, не пожалел, насвистывал, похлопывал о голенища ладошками. А стихла совсем Варвара, посидел безответно рохля и день и другой у мешка, взвыл, вобрал руки в волосы и с мясом рванул с проборов, ободрал в красные кисточки ногти о крепкую заказную кладку. Верный человек разворачивал мешок, разбивал каленую плифну в двенадцать фунтов... Сидела на цепочке баба ворохом тряпья и костей: изодрала на себе одежду, висели бураками черные груди, наплыло брюхо к земле борами, мелкими складочками, запал синий пуп в глубину... Пахнуло из мешка смрадом — и погнал рохля в Орешек. Верный человек опять заложил дыру.

Олютел рохля — и застонали, заныли, закричали голосом господские деревни, скотные дворы, конюшни, рыбацкие сторожки... И накопил против себя зло рохля. Поехал утречком на прогулку, — знали раньше: поедет, был первый слуга его заодно, — продырявили насквозь из дробовика. Поймали утеклцов: осмнадцать мужиков драли плетями перед господским домом и сослали за стены черные, деревянные, — обло рубили стены навеки, — в Якутский острог.

Недолго стереглись наследники, позабыли — и опять за свое за дворянское... Добывали добро мужики, не сходили с Чарымы, гнули бабы серпом спины над полями, над огородами, над ягодниками, кончали навечеру бабы, разгибали усталый серп и катились к господскому дому, тут выходил барин с барыней. Был в Орешке водочный завод. Завелся обычай такой: подносили бабам по стакан-

чику, хмелели с устатку бабы, завивался хмель в голове под длинным бабьим волосом, в пляс шли бабы, в песни, в хороводы... Пели, плясали исполу со слезами бабы, а барин с барыней похаживали по террасе, раззадаривали, подхохатывали: ха-ха-ха... Была коноводчицей барыня; прискучит ей, махнет ручкой — бабы за ворота пьяной кучей.

Уйдут бабы — он и сам не прочь показать комедию для барыни. Ходил Петр Петрович по-бабьи на террасе, притопывал, махал носовиком, плел языком каламбурь. Барыня немка была с мудреным немецким прозвищем, величали мужики по-русски Могилой Ивановной — не ручку, крыло белое тонкое лебединое подавала в награду мужу. Был он мохнатый, большой, только не рычал по-медвежьи, ручку как возьмет, потянет к себе, без ничего оставит плечо, а Петр Петрович касался тихохонько губами до синих жилок и замирал. Носила Могила Ивановна в голубоглазенькой бисерной сумке сафьяновую тетрадку с золотым обрезаем о драных мужиках, при ней делали все дёрки. Лежал мужик, — задница голая, — стыдно было мужику, а Могила Ивановна смотрела на нее, будто на ничего, и считала разы. Драл в большую провинность сам Петр Петрович. Не любил драть: не владел собой, расходился, засекал... Делала знак Могила Ивановна, кидались на руки ему люди, заслоняли красную драную мужичью задницу, отбивался Петр Петрович, капали густо слюни на бороду, заглядывал на рваное, а Могила Ивановна клала ему на жарившую голову мокрый убрис. Слуги топились под горкой; поджег конюх конюшню с первостатейными жеребцами, а псарь поджег псарню; загорался дом от неизвестных огней: ржаное поле раньше времени в ночь положили на солому какие-то косцы; бегали мужики в бега... А куда убежишь?

Провинился сам Петр Петрович с горничной, приказала Могила Ивановна самому драть девушку. Порол он, а в размахе учуяла Могила Ивановна жалчивость, вырвала розги и хлестала-хлестала-хлестала сама. Собралась помирать девушка, честила барыню всякими словами и прозвищами, надсмехалась, охальничала... Тут Могила Ивановна швырнула розги оземь, вцепилась в лицо мужу острыми колючками ноготочков, провела по алым полям щек, окровянила, крикнула конюхам драть барина. Конюха дрогнули, раздулись ноздри, за-

сверкали сладко глаза, начали подходить гуртом... Петр Петрович одумался, поднял в охапку Могила Ивановну и вынес из конюшни, только ноги дрыгали и бились напрасно. Ночью горничная в отместку барыне повесилась на террасе. Выходила терраса в сад — плакала Могила Ивановна с досады, глядя на тиковые поля с другой террасы и отворачиваясь от сада. Сломали террасу в сад, грозила по камешку разобрать старый дом, но умолил ее Петр Петрович не ворошить дедовскую память. Тогда перевела мужа злопамятная баба на другую половину, а к себе вызывала по колокольчику. Тянулась через весь дом по плинтусу тонкая проволока, и висел над изголовьем у Петра Петровича ночным караулом бронзовый колокольчик.

Уходили дни сумерками за Орешек, за Чарыму. И перестала пугать удавленница. Вышла Могила Ивановна в сад — тут какой-то человек из-за беседки на кидок бросился в грудь кирпичом. Слегла Могила Ивановна — и скоро кончилась.

Затрубили деревни, замесили грязь по прогонам, затопали на местах, завили пыль на весь деревенский конец... И в первую кладбищенскую ночь вбили мужики смоленый кол до гроба, раздавили крышку, воткнули кол в тухлое брюхо покойнице, раскидали цветочки Петра Петровича и густо, не жалея, накормили могилу человечьим навозом. Кричали опять конюшни на поминках по Могиле Ивановне; не сыскали виноватых; сторожили могилу, покуда сам Петр Петрович не крикнул последний раз на свете, сидя на дыре в нужнике. Отцовские грехи замаливали два сына: один в монастырь ушел, а другой дикасился дома.

Было в Орешке сорок комнат, облюбовал он боковушу, выгнул потолок куполом, заморский живописец расписал снизу доверху божественным письмом потолки и стены, поставили завитой, в золотых бараньих рогах иконостас, заделали кирпичом на киоты похожие окна, посредине в два обхвата на деревянной вышке поставили гроб под парчовым балдахином и на резном столбике повешили саван. Когда приходило время спать, вползал голышом богохульник в комнатушку, плел языком несуразную дробь, вздувал свечи и лампы, оболочался в саван, прикладывался к иконам и залезал в гроб... Старый слуга Прокимен, — так звали помещики слугу Прокофия, — шаркал тогда в моленную, захлопывал барина

крышкой с окошечками, тушил свечи и укладывался сторожем за дверями. Со страху две жены сбежали после первой ночи. Были за иконами потайные ходы, шли они из коридоров, с лестниц, отводились иконы в сторонку, пропускали и захлопывались иконостасом.

Называл святоша полон дом гостей, облюбовывал бабу и давал знак верным людям.

Вился он около бабы, показывал ей дом, вел темными лесенками, а там стерегли...

Лакеи хватали бабу,— не успевала охнуть она,— и клали в гроб. Выводили бабу потайной лестницей в другой коридор, как наважденье было на бабу.

Выйдет она к гостям, а святоша будто и не отходил от гостей. Раз только вернулась баба одна в зал и ударила его через стол звонкой ладошкой.

За гуменниками стрелялись с мужем — и прострелил он мужа насквозь, согнулся тот в три погибели доживать остаточный век уродом. Сама баба гонялась за ним с пистолетом, а потом дневала и ночевала в Орешке, покуда не заменили другой бабой.

Конец пришел гробовщику не скоро, на сороковом году. Заволок он в гроб невесту лакея, осерчал лакей, прокрались с порченной ночью к Прокимену, связали впотьмах без стука и шума старика и добрались до барина... Проснулся тот... Оседлал лакей гроб, вздула свечу порченная — тут ему и смерть пришла. Не просил ничего: знал, прощенья не будет,— и принял мученья. Не поднялась рука у лакея с невестой на старика Прокимена, пожалели своего брата, и на темноту понадеялись, и на глухоту старческую... А старичок, покуда связывали его, ощупал их, заприметил, догадался. Утром веревки с него ослабили — Прокимен и показал. И повезли их в тюрьму! Правое дело, а злое! За одним одно, за другим другое, и за каждым накопилось и горя и смеху пустошь.

Сергей Николаевич — Кирика папаша — жил в Орешке зиму и лето. Развел он в Орешке зверинец и птичник. В старом парке за сквозным, в мелких столбиках, забором был зверинец. За тонкой железной изгородью ходили олени с оленятами, козы, козлы, мериносы, лошак, два осла и лось. Под ногами у них катались белыми вертунами стада кроликов, будто росли на полянке клумбы уса-тых одуванчиков с красными глазами. За зверинцем, в стеклянном павильоне, был птичник: спали там птицы ночью. За плотным забором у птичника тесно и дружно

ходили журавли, лебеди, гуси, белый и цветной павлины, куры дымчатые, куры золотые, куры-плимутроки. Выходил утром на террасу Сергей Николаевич в халате и кричал:

— Здорово, команда!

Ревели тогда ослы, не сводя с него ушей и глаз, мычала лось, грызли железы козы и козлы, прыгали легко олени, ржал лошак, блеяли меринсы, кружили кролики белыми лентами, плескали лебеди крыльями, kloкотали журавли, а курицы распушали хвосты маленькими челпанчиками. Сергей Николаевич хвалился яйцами плимутроков и каждое утро ощупывал куриный зад, суя туда два ловких и юрких, как ящерицы, пальца. Сергей Николаевич случал осла с лосью и ждал приплода. Мирно и тихо жил он, будто никому не мешал и не хотел мешать. Орешком управлял похожий на плимутрока с белесыми пятнышками немец Ифан Ифанович Гук. Ходил Ифан Ифанович по гуменникам, по лесам, скакал ржаными и овсяными полями, клеверами, тимopheевками и вел под узцы конный завод. Отпускал он половину именских доходов на зверинец, другую половину делил с барыней и посылал Кирику.

Приходили и куражливые часы к Сергею Николаевичу. Забрехали с полей в парк соседские поповские коровы. Жил в старые годы церковный причт на барской руге, церковь была господская, с барскими плитами на паперти. Сергей Николаевич серчал на попа, звали его, катил поп с дарами соборовать барина, а он топал на него ножками и величал кутьей и колокольной. От обиды у попа вываливались все священные предметы на землю, а поповский скот выгоняли тем временем на лужок и доили в свою пользу. Когда поп говорил к случаю проповедь о тощих и тучных коровах, мужики прятали глаза в бороду.

Приезжал в Орешек урядник Афоня за налогами. Не любил платить налогов Ифан Ифанович и отсылал урядника к барину. Сергей Николаевич надевал тут на себя генеральский наряд, кашлял за дверями, двери тихонько растворялись, и, погодив, показывался в них генерал. Афоня вздрагивал, замирал и тянулся во фронт, приподымаясь на цыпочках. Сергей Николаевич обходил три раза кругом Афоню, грозил пальцем и бормотал грозные и непонятные слова. Афоня и корпусом и глазами повертывался за кружившим генералом и, лязгнув ногой,

уходил крепким маршем вон. На другой день присылали ему из Орешка кролика с красным бантом на шее и с вышивкой на нем: «Уряднику Афанасию».

И опять сердился Сергей Николаевич, гуляя в полях, сердился на мужиков:

— Ты, ты что? У тебя под шапкой воробей? Вылетит? Барина не узнал? Бунтовать! А? Долой шапку!

Мужики скидывали шапки и уходили не оглядываясь.

Был на Березниках пастух Емеля, из ярославских. Шапчонка на Емеле была с драными отворотами, а по тулье цветы цепью. Повстречались они, Сергей Николаевич за свое, а Емеля весело засмеялся:

— Нашелся тоже указчик!

Сергей Николаевич измордовал Емелю кулаками, пинками, царапаньем — и пошел гусем домой. Тогда Емеля очухался, взвизгнул, кинулся вдогонку, взвил плетью и огрел барина хлопущками по тонким ножкам, по кормленому заду — починил зад на лафтаки. Емелю засудили, и осенью наняли на Березниках другого пастуха.

Кипела охочая кровь варом в Сергее Николаевиче. Был он нехорош лицом, будто смазные сапоги в заплахах, брали бабы подарки, скалили зубы, а в награду ничего. И спал Сергей Николаевич на птичнике с завалющей скотницей: молоко спитое, не баба.

Рос Кирик Чернов в зверинце, в птичнике, на конном заводе. Закидывал он на крепкой лесе крючок с хлебом на отцовский птичий двор, хватали хлеб глупые плимутроки, петухи, вытаскивал Кирик птичину, завертывал ей голову назад, тащил в поле, к речке, к костру, жарили на углях с деревенскими ребятишками. Он гонял по парку, лазил по деревьям, качался на послушных качковитых вершинах, дразнил ослов, тыкал острым, как шило, наконечником на палке оленят, козлов, лошака... А как спали в обед скотницы, подкрадывался к ним, приподнимал, не дыша, легкую окутку и кидал репейник в волосы, на рубахи, на станушки. Беспокоил репей баб, пробуждались они, оглядывались по сторонам и, морщась, корчевали репей. Кирик охальничал за углом.

Ифан Ифанович приходил к матери в больших калошах, Кирик прибывал их гвоздиками к полу, управляющий валился, квася укладистый нос. Кирик вырос. И постарел Орешек. Сергей Николаевич одряхлел, сидел, не вставая, серой тушей у окошка в павловском обним-

чивом кресле, тряс головой, грыз репу и вышивал гладью никому не нужные пояса. Ифан Ифанович по постным дням ходил в склеп к матери Кирика и потом проходил задумчиво в поля, стоял на межах, срывал и шелушил пальцами колосья... Кирик не любил Орешка и не гнезвился в его старом дупле. Только приезжал он с Анатолием, с Ветошкиным, с Витковским, с гулящими бабами на короткую побывку — и ходили тогда старые половицы в доме, поводя плечами, звенели жалобно выпавшими зубами хриплые клавикорды, а на конном дворе Ифан Ифанович отбирал жеребцов для показательной случки. Ночью в боковушке грузили пол перинами, спали там вповалку, пьяные, нагие... Вздывал спичку в темноте Кирик, поднимал над головой — и хохотал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ифан Ифанович Гук тридцать лет косил черновские луга исполу с березниковскими мужиками. Луга были неплодные, супесочные. В этом году вдруг Чарыма разлилось на все Заозерье, и поднялась трава на лугах густая, попоясная, как на перегное. Ифан Ифанович не сдал мужикам лугов исполу. На Петров день катил он по Березникам в город... Ребята бегали по деревне и не отвели отвода. Кучер, грозя ребятам пальцем, слез с козел и отвел отвод сам.

И тогда ребята закричали из-за изб, из-за колодца, с дороги:

Немец-перец-колбаса,
Купил лошадь без хвоста,
Он поехал, засвистал...

И над головой кучера, над выстрелившими ушами рысак прокривили пулями легкие камни.

— Шёрт,— пробурчал Ифан Ифанович, косясь недовольно на клочья дрожавшей бороды кучера.

Рысак взвил... Коляска быстро завертела тонкими ободами со стрельчатыми красными спицами. Один камень щелкнулся о кузов коляски, другие камни не долетали и отставали на дороге. Ифан Ифанович передвинул на сиденье широкое свое тело и обернулся к Березникам. У отвода стояли ребяташки, кричали и грозили кулаками вслед. Кучер, хмуря лицом, тоже

обернулся мельком на Березники и покачал головой. Съехали с горки в ложину, будто скакала сама дорога в кудрявой суматошливой пыли, и на подъеме рысак пошел шагом. Кучер, не выпуская натянутых проволок вожжей, озабоченно сказал:

— Обратно надо в объезд... В деревне что-то неладно. Не наварзали бы?

Ифан Ифанович побагровел щеками и шеей:

— Нишего. Объезд ошень далеко. Им надо шушленик.

Тридцать лет ездил Ифан Ифанович, тридцать лет отводили отвода в Березниках, кланялись, ждали гостинцев, протягивали руки: он не глядел и не платил.

За Вереей от города наскakали две пьяных тройки. Кучер свернул рысак и снял картуз. Ифан Ифанович заторопился, неласково и часто мотая головой. Тройки скакали в Орешек. На первой тройке сидел Кирик и держал на руках рыжую пьяную женщину, две других женщины обнимали его с боков. На второй тройке было густо народа: сидели, лежали, стояли. Анатолий стоял и держался за кушак ямщика. Женщины визжали и махали белыми обнаженными руками в кисейных широких рукавах, Кирик повел глаза, узнал орешковских, махнул рукой. Тройки проскакали.

— На побывка! — недовольно сказал Ифан Ифанович. — Делайт безобразий!..

— Барин — веселье, — ответил кучер и рванул рысак.

На Березниках ребята слышали колокольцы троек, встали у отводов, начали отводить, вглядываясь в молившие ноги лошадей, и, узнав орешковского барина, опять затворили отвода. Ребята насмешливо глядели на осевшие тройки — и не шевелились.

— От-во-ря-я-й! — взревел ямщик и шелкнул плетью.

Ребята засмеялись:

— Сам отворяй!

Кирик просунулсЯ из-за рыжей женщины, достал из кармана горсть серебра и швырнул в ребят. Серебро зазвенело о перекладыны отвода, ребята ахнули, захватили на пыльном пуховике дороги деньги, отвод скрипнул и побежал в сторону. Тройки ворвались в деревню.

Ифан Ифанович возвращалсЯ ночью из города. Навечеру прошла короткая, обильная мокрым грозой и замесила дорогу черным липучим тестом. Отвода в Березниках были открыты. Кучер пугливо торопился проехать дерев-

ню. На выезде из-за срубов нового дома густо и шлепко чавкнули комья земли. Рысак подхватил, понес. Жирная грязь ударила в лицо Ифану Ифановичу, и белый чесучовый костюм его попежел. Соломенную шляпу будто сдуло ветром, и она, перекувыркнувшись в воздухе, всплыла в глубокой кальевой луже. На спину кучеру, как черные круглые часы, сел ком. Ифан Ифанович низко наклонился, и на загривок ему еще раз упала мокрая и слизкая глиняная олашка.

Мужики вышли из-за сруба на дорогу, выкинул один шляпу из кальи, наклонился в нее, хохоча, грязи и повесил на отводной столбик. Рысак уходил на огни в Орешке. Мужики глядели вслед:

— Пузо немецкое!

— Не шляпу, самого бы выкупать в луже.

— Оскребай теперь блины с толстой шеи!

И замолчали, сели у сруба на бревна, закурили. И один грустно, устало сказал:

— Не так, не так надо было, мужики! Вышло одно озорство... и все... Заодно огреть бы по спине слёгой.

— Для начала довольно и так.

— Он это дело не оставит. Цепкой, как смола. Начнут попусту таскать...

— Кого тут таскать: всю деревню?

— Может, узнал?

— Поди ты — ночью узнал. Темно не темно, а рожи не видать.

Опять покурили, повздыхали. В Орешке раздался выстрел. Мужики вздрогнули.

Гремело эхо в полях, над речкой, над Березниками, словно выглядывало, где бы упасть и смолкнуть в ночи. Потом в Орешке что-то лопнуло, разорвалось на части — и по дугам из парка выскочили разноцветные звезды. Орешек выступил весь белым фасадом, над ним разбили цветной горящий шатер, словно спустили с неба лампы и зажгли на ночь. В середине шатра, поближе к земле, плавилось яркое бенгальское пламя, и деревья парка казались золотыми. По темному своду мягко и нежно скользили бесшумные огни. Ярko вспыхивая, чем выше, чем дальше, они медленно угасали и стремглав по отвесу падали розовыми слитками. Улетала потухавшая звезда выше других, останавливалась там, задумывалась — и пропадала.

Мужики жадными глазами глядели на Орешек:

— Развлекаются! Люминации! Народ пугают!

— О, житишко! Ведь, кажись, из одного теста сделаны, а совсем другая ухватка. Что богатство с человеком сотворяет!

В Орешке трубила медная труба. Звезды перестали показываться, только где-то в глуби парка зажгли костер. Подгорали снизу деревья, и красный свет текучим дымом кудрявился на колыхавших верхушках. У костра пели. Многими голосами перекачивались веселые песни. А потом затоптали ноги, и точно завертелись на ветру в крылатках мельницы, зашумели, захлестали по ногам бабьи сарафаны со всей округи. В чутких полях всякий звук отдавался ясным, чистым ответом.

Шляпа Ифана Ифановича серела на отвродном столбике. Грязь ползла по щекам столбика и скатывалась в булькавшую лужу. Мужики слушали и глядели на шляпу. И по мере того как убывала грязь в шляпе, шляпа шевелилась, будто ежась от ночной остуды.

— Шляпе не место, мужики...— сказали и подумали враз все.

— Дразнить некого на свою голову! Надо ее от деревни отнести... От греха подале...

— Вот еще относить! Висит и здесь... будто гороховище у отвода.

— Ту-ру-ру, ту-ру-ру,—звенела труба в Орешке. И казалось — в горло трубы входил весь орешковский парк, кричало каждое дерево, каждый листок, кричал белый дом рамами, куполом, флагштоком... Крику трубы мешал долгий, протяжный, отчаянный рев осла. И по полям катились шары смеха:

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха! Х-а-а!

Мужики сдернули шляпу с отвода, стоптали, а потом молча вышли в поле, отнесли на переезд через речку и спустили на воду. Теченьем шляпу завертело, как маленькое колесо, начало окунывать, погружать, топить — и белый поплавок скрылся под клокастыми ивами, проросшими от берегов в бегучие воды.

В Орешке плакал надрывно, безутешно чей-то женский голос:

—...ы...ы...ы!

На другой день Ифан Ифанович пригнал косцов из Заозерья, и началась косьба. В июле стояла сушина, сено подсыхало под косой,— на лугах тесно поднялись стога, но простояли недолго. Ночью подпалили в разных

местах стога, и они запылали под набатный звон монастырей, погостов, приходов летней масленицей. На пожар побежали Березники, Анфалово, Нефедово, Семигорье, в Верее забрался народ на колокольню, на крыши, на Троицкие качели, меряли на глаз — далеко ли горит, из Прилуцкой слободы прискакали после пожара два багра и слободская бочка.

— Не хотел, жадюга, исполу! — кричали мужики Ифану Ифановичу, молча стоявшему у парка.

— И добро не свое. Пали свиней на бесплатном жару, немецкая выжига!

Из парковой калитки вышел навеселе Кирик с гостями. И сразу красные купины стогов заиграли в глазах, зашатались на блеклых ночных лицах.

— Ка-а-к кра-си-и-во! — воскликнула Зина, опираясь на руку Ветошкина.

— Charmant! Charmant! ¹ — бормотал Кирик и целовал руку Люды.

Володька мрачно озирает мужиков и застывшего избушкой у перевоза Ифана Ифановича. Работники стояли около управляющего с ведрами, с вилами, с топорами — и не двигались.

— К шёрту идите! — крикнул Ифан Ифанович. — Тушить клупо! Поджигатель надо найти!

— Не тушите! Не тушите! Это так божественно! Это так удивительно красиво! — просила Зина.

— Н-не надо, н-н-е на-до! — едва выговаривал Кирик, лья к Люде.

Люда шурилась на Володьку и тихонько и осторожно наступала на ногу Кирику. Ворот у рубашки Кирика отстегнулся, отвалился в сторону, и Люда в первый раз заметила широкую, как стол, смуглую, обожженную летом грудь. Заметила и тонко повела ноздрями, будто тяня от нее тепло и жар. За золотевшими усиками ресниц прокралась такая зовущая усталая скважинка желанья. Кирик густо, крепко прижал к ее руке губы, задержал их, пошевелил и сжал кожу.

Володька криво дрогнул щекой и сказал резко Чернову:

— Не жаль тебе... твои сенокосы горят!

Кирик засмеялся и небрежно показал рукой на Ифана Ифановича:

¹ Очаровательно! Очаровательно! (фр.)

— Е-ему жалко!

Мужики пересмеивались вблизи и любопытно разглядывали господ. Анатолий ходил селезнем у решетки парка около горничной и пьяно нашептывал ей:

— Я... я люблю пожары... Они возбуждают... Огонь — это кровь... кровь... страсть... Поля, как вы хороши! Откуда вы расцвели... в этой... глуши?

Горничная куталась в платок, закрывала рот и не сводила с Анатолия недоверчивых и восхищенных глаз.

Вышел из парка старый лакей Сергея Николаевича со шлепавшими по подсохшему заду помочами и перекрестился на полыхавшие рябиновыми головами стога. Пожар скоро наскучил господам, и они лениво уплелись в парковую калитку. Из парка слышался смех, кто-то запел, кто-то закричал: «Ау-ау-ау!», а потом замычала лось, прогрохотал осел и забили на наседалах курицы в павильоне.

— Удиви поди,— злобно пробурчал один мужик.— Без-за-бо-о-отные головушки!

— Помирать будут, захочут!

Понемногу расходились и мужики, усмехаясь на неподвижного, строгого Ифана Ифановича.

— Гляди не гляди,— шутили мужики, уходя.— Многого не увидишь. Считай, сколько на остатке будет. Обработал урожаю: вот те шиш, не урожай!

Ифан Ифанович провожал одним глазом мужиков и не мог его отвести от цветных рубах, другой глаз следил за красной сухой пылью над стогами. Зачинался несмелый ветер с Чарымы. Он надувал красную пыльцу на весь луг. Вдруг, будто красный мех, большой ношей поднялось сено с одного горевшего стога, перекинуло его, кроша на лету, на поотдальный стог и окутало сразу во весь рост красной шалью.

Ифан Ифанович забегал тогда у парка, кидаясь на работников:

— Чего стоит! Лошадей! Фывози!

Работники бросились на конюшни. Ифан Ифанович нетерпеливо ждал, прислушиваясь к топотающим ногам работников, бежавших по парку. Долго искали ключи, будили конюхов, искали сбрую, гомонили, кричали и ругались. Наконец загревели по деревянным въездам на конюшни лошадиные копыта, заскрипели ворота, затпрукали конюха — и на Ифана Ифановича покатались колеса ондрцов, лотков, навозниц... Из парка одну за

одной гнали лошадей. Ифан Ифанович радостно мотал головой и твердил:

— Карашо! Карашо!

Сено быстро перекладывали на лошадей и отвозили из подветренной стороны, вырывали из огня занимавшиеся стога, таскали сено охапками, пестерями, мешками... Вилы бодались на свету с сеном, кололи его, тормошили. Казалось, в стогах засели какие-то враги работников, и они нападали на них. Отбили от огня и навалили большую гору сена. Дотлевали уже подземным огнем красные бады стогов, будто плечи на стриженной голове луговин. Работники уходили досыпать оставшиеся часы до начала работ. В помутневшем от огня и рассвета поле долго стояли Ифан Ифанович и старый лакей. А потом Ифан Ифанович вздохнул, подошел к лакею, улыбнулся ему и горько сказал:

— Какой сено! Какой было сено! Спасай немножко! Совсем мало!

Старый лакей прошамкал:

— Бог дал, бог и взял, Ифан Ифанович, а кто на чужое добро руку поднял, богаче не будет. Мужики не иначе искорку метнули... Обида, вишь... сколько годов пользовались, а нынче — ничего!..

— И я не пуду Ифан Ифанович,— закричал управляющий,— когда я пуду отдават сено наполоам!

Ифан Ифанович вошел в калитку и стукнул дверцами. Старый лакей брел за ним в ночных туфлях и тихо твердил:

— Так-то бы не надо, так-то бы не надо! Мужик терпеливой, как земля, терпеливой, а я скажу, памятливой... памятливой мужик... Медведя вот за кольцо водит цыган, в носу продето кольцо, под хозяином медведь живет. А долго ли находит? Медведь... он рехнется сразу, да в обхват: косточки у поводыря, как у комара, треснут... Али медведь идет с цыганом мимо пруда какого... в воду раз — и давай хозяина крестить в тине. И докрестит, покуда тот мокрый язык не высунет и покуда пузырь в ём не лопнет. Мужики наши маются сенами. Мужикам ой как сено надобно! На волю-то выделяли, удобину одну мужикам нарезали. Вот зло-то и осталось. Сорок лет зло, будто чесотка на руках, зудит без памяти. Ни земли настоящей, ни лугов у нашего мужика. Обидеться, осерчать тут недолго.

Несло едкой палениной земли и будто невидимо окуривало парк, фыркали ослы в зверинце, и лось в тревоге поднимала морду на ветер. В доме закрыли окна с луговой стороны и перекатали кресло Сергея Николаевича на другую половину.

В жнитво в Орешке была помощь. Господский хлеб, высокий и желтый, на сытом навозе, на уходе, на глубокой плуговой пашне, вызревал рано. Рано и повалили его с ног. До того загорались жнива в разных местах. Ифан Ифанович объезжал поля сам. Качались сторожкой в близких и дальних полях верхами ингуши. Не пропускали они ночью ржаными, пшеничными проселками. Мужики ходили большой дорогой, в обход, захватывали горстями придорожный колос и кидали под ноги. Поля отступали от большака сплошной щетиной желтой соломы, и брошенный под ноги колос прорастал зеленой отавой.

Собрались на помощь березниковские, анфаловские, нефедовские, семигорские бабы и девки. К вечеру открылись колючие подступы полей к Орешку. Будто низко выстригли покатуую голову земли и оставили чуб на макушке — орешковский парк. Позади дома, у конюшен на тесовых, срубленных к помочи столах кормили и поили помочан. С террасы глядели господа на белые, розовые, голубые, красные бабы платышка. И тянулись от столов к террасе, от террасы к столам острые, как серпы, и чужие паутинки взглядов.

Земля засумерничала. Первый табунок баб плеснул ситцами и потопался на мягкой траве. И будто из травы, из деревьев выросли сразу ребята с гармоньями, повалили со всех сторон на господский двор, взяли столы в черную петлю, допивали из дролиных рук недопитое вино и налаживали, примериваясь на пиликавших ладах, уже плясавшую в вечерней свежести плясовую. Обошел последний стакан круг, и гармоньи враз глубоко вздохнули, раскрывая зажатое горло. Дворовая земля забурчала, замолотила, забухала, словно изогнулась под сороконожками пляса — пестрое чело­вечье варево шелушилось в глазах и будто в бурю несло с открытых дорог, полей, лугов лист, траву, дождь щедрыми, неубывающими ворохами. На террасе хлопали в ладоши, и женщины, вздрагивая, поводили плечами, перебирали на полу тонкими ножками, дразнили слипавшимися глазами хмелевших мужчин.

В наступавшей из парка темноте помочане на плясу перешли за ворота, постояли, поторкались, поплескались из стороны в сторону, как огромный чан с водой,— и гармоньи повели в поле, на дороги, на тропки.

Все дальше и глуше были голоса, песни, гармоньи. Они оплетали теперь звенящими сетями Орешек спереди, сзади, с боков. Ифан Ифанович подошел к парковой калитке, приклонился к ней и долго слушал усталую темноту ночи. И ему казалось: пела и плакала вся черновская земля. С террасы доносились звенячие ручьи рюмок, бокалов. Ифан Ифанович вздохнул и горько сморщился. Он подальше обошел террасу и сел на крылечке у своего флигеля. Старый лакей брел по дорожке мимо и, всматриваясь, остановился у ступеньки. Ифан Ифанович похлопал рукой рядом с собой. Старик сел и молчал. Ифан Ифанович пододвинулся к нему. Старик наставил ухо.

— Я нишего,— сказал управляющий.— Ты кочешь что-то сказать?

Старик помедлил и зашептал, кивая головой на красневшую вдалеке террасу:

— Урожай пропивают...

Ифан Ифанович зашевелился. И опять замолчали. Управляющий закурил трубку. Огонь облизал пегое лицо Ифана Ифановича. Седой волос, будто мукой у мельника, запорошил щеки его, скомканный, как изжеванный, подбородок и висячую паклю бровей. Старый лакей покачал головой:

— А много нам, Ифан Ифанович, годов обоим вместе... Без малова... два ста.

Управляющий ничего не сказал, только затянулся лишний раз трубкой и лишний раз вздохнул. На террасе хохотала пьяная Люда и кричал Анатолий. За флигелем шумели и шорохшили деревья. И бурчал сам с собой старый лакей:

— Парк наполовину при мне подсаживали, от земли не видать. Какие деревья выросли! А мы к земле... хе-хе!.. Горбики у нас выросли...

— Та... та,— грустно шамкнул Ифан Ифанович.

На другой день после помочи из-за Шелина мыса дунул холодный ветер и взвил дыбом орешковский чуб. Нахохлились поля, заосенело на лугах, и встал угрюмевший день. В Орешке начали топить риги: молотили. По амбарам будто в прикованные к стенкам закрома укладывалось свежее зерно и, шурша, проливалось через

края на кирпичный пол. Неверное солнце через неделю выплыло вдруг из-за Чарымы распалющимся колесом. Вздрыблились несжатые мужицкие поля, изомлели поля сжатые, стриженные, и запела редкая, еще не отпевшая за лето птица. Деревенский серп начал прибирать к рукам готовый колос. До полудня бабы шибко наступили на свои загоны и отрезали полы у полей. А с полудня на чеканной голубой высоте неба отбился и заболел густой чернотой один край. Чернота жадно поползла кверху, раздалась в бока, упала на чарымские воды. Солнце тужилось и не поддавалось, ныряло в темные складки туч, вылезало в светлые прогалины сияющим золотым блюдом, и опять его накрывали плотные ставни облаков. Туча, ворча и сердясь, задерживала непроницаемый, клубивший черным дымом занавес. И солнце заглохло. А тогда будто развернулся над землей неохватимый дождевой зонт. Чернота вышла из берегов и разлилась повсюду, замахали молнии красными мечами, и вслед навалился тяжелой каменной грудью гром и стукнул кулаком о кулак. Загрохотали небесные полы, закачались небесные стены, и черная крыша с треском и вереском свалилась внутрь. Разъяхнулась чернота на стороны — и в прогон ворвался сзади крутящий сивый столп. Его дагнули с боков черные паруса грозы, он наклонил вперед седую голову и, ступая на землю набухшими ногами, вышел из туч. Тут полоснула молневая плеть вокруг шеи красным кантом, гром оглоушил затылок, и столб зашатался, повалился, загромыхал, рассыпался тесным и спорым градом.

Град прошел — и полей не стало. На полях лежали изломанные долгоногие кузнечики-колосья. Гроза скатилась за Верею, и опять вышло солнце.

От Березников, от Нефедова, от Семигорья бежали в поля бабы, мужики, а впереди прыгали по лужам ребята. Бабы стояли на межах и терли передниками глаза. Мужики безмолвно поднимали колосья с земли, выпрямляли рожь, глядели молчаливыми, затаившимися глазами на примятые, изъезженные грозowymi колесами полосы. Ребята собирали в картузы крупный яичный град, сосали его и кидались наперекидку. Мужики долго ходили по полям. Сошлись вместе на смыках Березники, Анфалово, Нефедово, Семигорье, сидели грачем на пере-

городах, размахивали руками, тыкали друг другу в грудь и указывали на горевшие под солнцем золотые кустики окон белого дома в Орешке. Зеленая вымытая крыша дома отливала блестящим шелком, ясно лоснилась, и ходили по ней серебряные домашние голуби.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В первое воскресенье от градовой тучи на Березнике была гулянка. Каждый год на гулянку варили пиво. Не варили в года неурожайные, скупые, не варили в года градобойные, в червивые года.

Мужики напились в этот несчастный год с ночи. Накануне ездили в город со скороспелкой и привезли водки. День спали, а к вечеру опять напились. Пришли на гулянку работники из Орешка и недолго нагуляли. Была запросватана девка из Березников за орешковского конюха. Нареченного зятя нареченный тесть кое-как угостил по бедности, зять закуражился, заломался, вышел из избы на улицу и хлестнул стягом по раме. Началась драка кольями, тростями, поленьями. Кровь чиркала из голов, как вода из лейки, тонкими волосками, плыла из носов, капала из багровевших щек.

Орешковские работники убежали за мостик через безымянную речку, оттуда перекидывались с Березниками камнями, бранью, а потом их опять погнали березниковские, затараторив бегущими сапогами на мосту. Загнали работников в парк и у решетки остановились. Рванули раз-другой на углу решетку, сорвали ее с места, обрушили наземь, в парке кто-то свистнул, испугались и кинулись бежать в Березники. Работники высыпали за усадьбу, грозили вдогонку кулаками и злобно глядели на убегавшую, падавшую на бегу ораву березниковских мужиков и парней.

На другой день провезли Березняками из Орешка в город зерно. В Семигорье, Нефедове, Анфалове забегали бабы из избы в избу, и один тревожный, гудучий говор, как неперестающий комар под пологом, заныл в деревнях: «Хлеб увозят! Хлеб увозят!»

Мужики сидели весь день на бревнах в Березниках. Бабы высовывались из окошек и прислушивались. Приходили мужики из Анфалова, из Семигорья, из Нефедова,

ходили мужики гуртом в гуменники, сидели там, спорили, кричали — и к вечеру тихо разошлись.

В субботу еще, как березниковские мужики ездили в город со скороспелкой, встретили они на тройках орешковского молодого барина. Ямщики гикали и шелкали плетями. Плети тянулись за тарантасами, как коровьи хвосты. Пугались мужицкие лошади с возами и сворачивали в придорожные канавы. Закидал грязью, напугал и прокатил мимо. Мужики глядели вслед и гневались:

— Зачастил!

— Гоняет туды-сюды: то в именье, то из именья...

— Распутниц возит!..

— Не может шею сломать!

— Житье сахарное, мужики! Сыт, пьян и нос в табаке.

Кирик кончил весной электротехнический институт. На выпускной выпивке он начал пить и раскутился на все лето. Кутили в городе, кутили в Орешке. Ифан Ифанович прятался от него и прятал деньги. Сергей Николаевич сидел в кресле, вышивал пояса, жмурился на крики и возню в доме, глядел непонимающими потухшими глазками на проходившего Кирика с гостями, кивал головой и тихо спрашивал у старого лакея:

— Откуда такие?

Лакей жалобно кривил щекой:

— Кирик Сергеевич! Сынок-с. Не узнали-с?

Сергей Николаевич задумывался, припоминал и опять спрашивал:

— Из города?

Лакей, отчаянно вдавливая слова в уши Сергея Николаевича, торопливо говорил:

— Да молодой же барин, молодой барин...

— А!.. А! — вдруг тянул старик. — Наш барин. Приехал на побывку из армии... Красавчик, красавчик барин! Турок колотил под Плевной... Не увидал бы, как бездельничает мы с тобой!..

Старый лакей дрожал головой и безнадежно поправлял на ногах Сергея Николаевича сползавший плед. Старик хватался за пояса и продолжал вышивать.

В дни дождливые, сырые с ночи занывали ноги у Сергея Николаевича и токало в спине долгими больными рывками. Старик плакал. Старый лакей садился на пол с утра и растирал ноги. Откладывались тогда пояса на стол, и Сергей Николаевич выводил каракули на

маленьких, нарезанных лакеем клочках бумаги. То писал старик сорок лысых и сорок плешивых против погоды. Старый лакей раскрывал окно в пасмурный день, клал на ладонь бумажки и сдувал их. Ветер подхватывал бумажки, вертел за окном, Сергей Николаевич радостно взвизгивал в кресле и чмокал губами:

— Солнышко! Солнышко!

Ночью на воскресенье Володька сквозь сон слышал, как осторожно поднялась с кровати Люда, накинула капот и, шаря стену, пошла из комнаты. Легко и осторожно скрипнула дверь и затворилась, и где-то далеко через анфиладу комнат скрипнула другая дверь, прозвенел замок, и дом стих.

Володька сел на постели. Люда ушла к Кирику. Володька потрогал грудь. Под теплой ладонью билось ровное сердце. И так, не ускоряя и не медля обычного хода, работало сердце, покуда он думал, пойти за Людой, рвануть на себя дверь или толкнуть внутрь двери, войти в комнату Кирика и застать их. Сердце билось холодно и лениво. Только во рту от пьяного вечера тяжело пахло, и стенки пересохли, на нёбе лежала шершавая пленка, и язык был груб и неповоротлив. Володьку замутило. Он прошел к умывальнику, открыл кран в рот и глотнул, помазал водой залипшие глаза, впрыснул на лицо пригоршни теплой, неосвежающей воды — и опять лег на кровать. И не мог уснуть.

Под утро, когда Володька увидел стоявшие у кровати ботинки, он быстро свернулся, оделся и стал ходить по спальне. В раскрытое окно несло мокрой свежестью парка. На конюшнях фыркали кони. На крыше ворковали голуби. На террасу капали с крыши крупные ровные капли, и звук каждой капли был отчетлив и отделен.

Вошла осторожно Люда, остановилась и опустила голову. Володька повернулся к ней и насмешливо спросил:

— Уже состоялось? Скоро. Иди обратно: вам еще рано вставать.

Володька обошел ее и вышел в коридор.

Люда устало покосилась на его спину, усмехнулась на прилипший к спине серой бородавкой репей, — бросил его вчера в парке Кирик, — зевнула, вслушалась в Володькины шаги по лестнице — и встала в окне, раскинув розовые крепкие руки на косяки. Пробудившийся за парком ветер повеял на темные стриженные подмыш-

ки,— Люда встряхнула на зябнувшие руки широкие рукава и долго вбирала в себя утренний холодняк.

Под окном зачавкала опившаяся вчерашним ливнем земля. Люда высунулась на подоконник и увидала уходившего мужа. Она прищурилась, поглядела, помолчала — и вдруг крикнула зовуще и нежно:

— Володька! Иди... спать!

Он не ответил и не посмотрел на нее. Люда недовольно наморщилась, подобрала капот, быстро села на подоконник и перегнулась за окно:

— Куда ты пошел, Володька?

Люда резко дернула кружево на рукавах, зашевелилась на его молчание и негодуя взвизгнула:

— Ты... ты груб!

Еще раз чавкнула мокрыми губами земля под Володькиными ботинками, и он исчез в аллее. Люда звонко щелкнула рамой. Побагровев от гнева, она широко распахнула двери из спальни и пошла к Кирику, ступая сильными уверенными ногами на скрипевший паркет.

Прошло воскресенье. Володька не приходил. Люда хохотала, хохотал Анатолий. Ждали Володьку до ночи. Кирик хмурился. Ночью пили опять на террасе. Плясали пьяные ингуши и не сводили глаз с открывавшихся грудей Люды. Плясала Люда, ингуши дико взвизгивали на круглые повороты широких бедер Люды и шаркали о пол мягкими подошвами. Муж Зины лежал в углу террасы и спал храпя. Зина накинула ему на лицо носовой платок и целовала пьяными губами Ветошкина за громоздившимися букетами астр и георгинов на столе. Анатолий подглядывал и грозил со смехом пальцем. Кирик был в рубаше, без пояса, бледный и дрожащий. Он хватал Люду при всех поперек живота, тянул к себе и тушил свечи. Витковский кричал на весь парк грохочущим голосом:

— Не позволяю! Не позволяю!

И, качаясь и опрокидывая бутылки, стаканы, цветы, зажигал свечи.

Забрезжило новое утро... Прогнали захмелевших и махавших кинжалами ингушей... Разошлись по огромному, тонувшему в темноте дому, кричали и слушали эхо, катившееся по анфиладам комнат, по залам, по боковым, по гостинным... Люда обвинила изнемогшего Кирика за шею и увела к себе. На террасе замедлил Анатолий.

Он трусливо оглянулся на стеклянную дверь в дом, прикрыл ее, перекинулся через балюстраду и тихо позвал:

— По-о-ля!

Из-за деревьев показалась маленькая, в белом женщина, махнула ему рукой к себе — и опять спряталась в деревья. Анатолий сошел к ней.

Ифан Ифанович Гук отправлял в понедельник зерно в город. Кирик и гости поднялись к вечеру. Обедали поздно, тихо, устало. Взглядывали друг на друга, и у всех были синие круги у глаз, глаза прятались друг от друга, разбегались, застенчиво и стыдно падали в тарелки, в бокалы с содовой, с лимонадом. Люда первая бросила хлебный шарик в мужа Зины, а Кирик чокнулся с Людой. Но встали из-за стола скучавшими, ленивыми, недовольными собой.

Перед поздним вечерним чаем гуляли около сгоревших стогов. Черные выпалины на лугу, ровные, круглые, были как знаки недоделанных клумб в цветнике. С лугов ушли в перелесок, добрались до Шелина мыса, сидели на берегу Чарымы и глядели на белые стога шатровых колоколен в приходах... Над Чарымой, как в воронке, крутили и кричали чайки. Темно-зеленые волны шли бороздами. Будто глубоким плугом пахал ветер воды и будто на пашне плуг отворачивал пласт за пластом.

Женщины скоро зазябли, начали кутаться. Поднялись обратно. В деревне Каменке у перелеска пили молоко и ели мягкий, с солью черный паривший хлеб. Бабы обступили и шупали на Люде серый жакет.

И как сели за вечерний чай на террасе, мужики березниковские, семигорские, анфаловские, нефедовские мазали телеги и не отводили лошадей в ночное.

Чем ближе подступала ночь, тем более сиверило, с Чарымы широкими холстами тянул пронизывающий дольник. Сели играть в карты в комнатах и затворили окна. А за ужином опять завился над столом кудрявый и пьяный хмель. Пили отвальную. Гости собирались на завтра в отъезд. За полночь слегли, кто где сидел, по разным комнатам. И снова Анатолий спустился в парк к Поле.

У подорожного креста за лесом собрались в середине ночи мужики на телегах и неслышно поехали в Орешек. Прямоком, лугами, по всем дорогам окружили они усадьбу и сразу с разных концов выехали к хлебным амбарам. В воротах, на выездах, у рабочих казарм встали

с топорами, с дробовиками дозорные. Над телегами засветились фонари.

В тишине спадавшей ночи загрелись первые железные удары о замки. Хлебные амбары со скрипом открыли удивленные пасти ворот. Сильно, кряхтя, в ненарушимой деловой тишине мужики, светя фонарями, подвешенными над закромами, начали насыпать мешки.

Тут откуда-то выскочил ингуш, закричал, на скотном дворе промычала корова, на конном дворе заржали кони, встрепнулись курицы, и заклохтали, загорланили петухи... Ингуша сразу, дружно незаметно смяли, отняли у него ружье... Он подрыгал ногами и подавился тряпкой, плотно заткнувшей рот.

Но уже Орешек проснулся. От флигеля размахнулся огненным крылом выстрел. В рабочих казармах раскрылись окошки. Сонные рабочие кинулись в двери: дозорные наставили ружья — и рабочие отшатнулись. Они норовили вылезть в окна, но дозорные угрожающе закричали... Не утерпела одна баба, мотнула головой в подбелившуюся светом ночь и воззвала тонко и дребезжаще, как в звонкое медное било:

— Гра-а-бят! Гра-а-бят!

И тогда зашумел, заерзал черный мужичий улей у хлебных амбаров. Ифан Ифанович в халате, в пантофлях, с трубкой смело вышел из флигеля.

— Кровосос! Мироед! Г-гадина! — набатом голосов встретили мужики управляющего.

Ифан Ифанович не испугался и приказал:

— Я коворю: малшаты!

— Хо-хо! Хо-хо! — рывкнуло у амбаров мохнатое мужицкое горло.

Кто-то свистнул, другой лязгнул топором об угол амбара, тревожно заржал конный двор, мужицкие лошади ответили... Будто всколыхнулась проходившая ночь страшным конским смехом с оскаленными венцами белых зубов, перекликнулась в парке, над крышами.

— Вы как смейт грабить? — закричал гневно Ифан Ифанович. — Я не испугал ваш шума! Я пуду стрелять!

Он закричал и не закончил. Еще раньше, чем он не закончил, два ингуша, стоявшие около него, не утерпели, сорвали с плеч ружья и пальнули в мужиков. Взрыдала лошадь, покачнулась, припрыгнула в оглоблях и медленно завалилась на бок... Оглобли хрустнули, телега перекувырнулась, разорвался мешок с зерном,

и зерно хлынуло с плеском, как вода из широкой трубы. Застонал один мужик, прилипая к животу ладонями, и осторожно, вытаращивая глаза, приседал к земле, будто боясь покачнуть раны.

Тут, как ветром, подкинуло мужиков над землей. С топорами, с вилами, с кольями, с кнутами они сомкнулись около Ифана Ифановича, хряснул о голову управляющего брошенный накидок фонарь, Ифана Ифановича подмяли и сломали... Не своими голосами зашлись ингуши на земле, только охнул Ифан Ифанович, и земля затоптала, забормотала бессвязно мужичьими сапогами.

— Братцы! — заплакал скрюченный мужик на земле.— Братцы! Кончаюсь! Ребятишек... не обидьте!

Мужик взвился вьюном, перекатился с боку на бок, перевернулся на брюхо и вцепился ртом, руками, носками сапог в пылившую серую землю. Еще раз он застонал жалобно и нескончаемо, тело подбросилось, и мужик стал, отдрагиваясь с головы до пят, тянуться-тянуться-тянуться — и остановился. Околевшая лошадь подняла ноги кверху. Брюхо на виду пучило.

Будто запнулись мужики о смерть, смолкли, будто оглянулись по сторонам и не узнали, где они были. А за передышкой загрохотали сами небеса, заурчала земля, застучали деревянными кулаками здания Орешка. Снялись дозоры с мест. Щелкнули дробовики в глядевшие нежной серью окна главного дома. Зазвенели стекла и посыпались по стенам плачущими осколками. Тогда ревуче бросились мужики в дом, неся топоры, вилы и криками открывая двери, крыльца, окна...

Старый лакей высунул голову в окно и в ужасе закричал:

— Что вы, что вы, полоумные!..

Из рабочих казарм убегали в поле бабы, несли детей, работники прятались в парке и выглядывали из-за деревьев. Занимался пожаром флигель управляющего. Пятеро мужиков перебегало от постройки к постройке и поджигало. Огонь вьющимися змеями полз по стенам и подтачивал углы, крыши, растоплялся, усиливался треском, плескал, клочкотал...

В сорока комнатах орешковского дома валялись зеркала, статуи, картины, грохотала мебель,плыли стеклянные и хрустальные ручки посуды по паркетным полам, растянулись вповалку шкафы, комоды, шифоньеры изломанными штабелями, мотались оборванные куски

шпалер, секли топоры черные глянца роялей, красное дерево клавикордов — и с боковуши внизу зажигалась красная сухая теплина. Мужики гнали по анфиладам комнат, по коридорам, по лестницам — за ними гнался перегоняющий тряпичный дымок из боковуши.

Кирика и Люду нашли в кровати... И он не успел протянуть рук, как опалило на ней ночную рубашку хлынувшей кровью из груди. Кирика скинули на пол, топор рубанул по ногам, впился в плечо, а потом Кирика головою вперед вдвинули сквозь лопнувшие стекла, и он рухнул о землю, как подрубленный молнией крест.

Растоптали, размяли, растолкали рыдавшую Зину под диваном. Разрубили около нее Ветошкина. И добрались, докатились гневом, криком, плюющим ртом до Сергея Николаевича. Старик сполз с кресла, стоял на четвереньках, ноги не двигались, и он не мог уползти. Мужики не узнали в нем старика, мужики узнали в нем молодого строгого барина. И как мясо, топоры зарубили старую тушу. Лакей дрожал рядом на коленях. Отвалилась у него нижняя губа, и текла с нее густая, липучая слюна, будто горячее застывающее стекло. Пронеслись мимо... И старик, пятясь от кровавой груди Сергея Николаевича, всплывшей и будто ерзавшей на крови, трудно полез в окно. Из людской бежала прислуга, спускались по трубам, выскакивала в окна.

Мужики вытолкнулись из дома на двор мокрые, с красными топорами, с кровоточащими руками, рваные, сильные, рехнувшиеся. Красной дрожью окропился весь дом. Из окон валил густой клубучий чад. Будто в каждом окне была дымившая труба и в доме топились сотни печек. А потом, крадучись, кашляя дымом, вывернулся из дома Витковский, за ним муж Зины, в ночном белье. Забили в набат соседние приходы. И мужики заторопились. Они повалили к хлебным амбарам. Издали, на ходу, наставились дробовые дула, шарахнулись красными плевками — и Витковский и муж Зины легли у входа. Витковский отполз на тропку, вешившую накрест двор, и не мог переползти бугорок. Он долго укладывался на нем хрипевшим горлом и кого-то звал рукой.

В багровом свете подняли уши торчком мужицкие лошади и бились в упряжках. Мужики разом, бегом, одним напором засновали по въездам в амбары. Телеги наполнились мешками. Лежали они на телегах, перевешиваясь через края, тыкали лошадей в отодвигавшийся

зад... Будто навалили на телеги пьяных людей грудой, наспех, вповалку и вино качало их во все стороны. Навалили телеги, отвели возы на дороги и подожгли пустые хлебные амбары. Добивали, доколачивали инвентарь у служб.

Ревел и плакал скотный двор. В низкие разбитые окна коровы выставляли рога и обивали их. И мотались тогда вместо рогов красные кропила, красили плакавшие глаза и жалобно просившие морды. Мужики не выдержали. Охнули согласно и жалостливо отвалили ворота. Скот хлынул на волю, как вода через раздавленную ледоходом старую плотину. Яркие бараны, телята совались под ногами и вылезали под брюха коров и быков. Животные заматались вокруг... Сорокапудовые племенные быки тяжело носились около горевших зданий, звеня сорванными цепями. Мужичьи лошади шарахнулись. Опрокинулся один, другой воз... И, торопясь и спеша, другие воза задрожали на дорогах, поползли, словно сдвинулась земля вместе с двором — и пошла. Мужики тпрукали, кричали, били лошадей, выгоняли в поле кольями, ременницами ревевший скот. Скот упирался и не сводил огромных печальных глаз с живых красных стойл.

Быки вдруг заревели долго и страшно, разбежались от главного дома, кинулись к скотному двору и прыгнули в широкие пылающие ворота. За ними вбежало несколько коров и застряло в воротах, обрушилось, забилося ногами, опаленным выменем. Крыша качнулась над скотным двором, сползла вбок и провалилась на подгоревших стропилах. Быки замолчали.

На конном дворе горело внутри. Долго сбивали замки, отогнули широколапые петли — и не могли вскрыть крепких дверей. В малые окна над воротами закинули головешку и подожгли сено. Кони били о стены ногами, будто сотни невидимых конопатчиков конопатили стены, кони грызли стойла, рвали цепи, удила, выламывали решетки, кони ржали непрерывающим отчаянным зовом. Теплый дым расползлся, как болотный, из каждой былинки куривший туман. Конный двор дрожал мельчайшей неуловимой дрожью, будто дрожала нежная и тонкая кожа задыхавшихся рысаков, переходила на стены — и они вместе умирали. Огонь выкарабкался из-под крыши в углу, крыша раскалилась, и ее загнуло, как козырек картуза. Дым побежал в отверстие, быстро

занялся угол, и по стене неудержимо пошла краснота. Кони носились теперь косяком по колебавшимся полам, кидались в запертые двери, лягали их, отодвигали полотнища зубами, глядели в щели огромными безумными глазами. Мужики еще раз навалились на двери, просунули толстые слёги в дыры, покачали ворота — и бросили. Кони жалко ржали и стонали, выжидая, набиваясь в узкий проход к дверям...

Мужицкие лошади уходили. Жар от горевших вокруг зданий палил уже мужицкие пиджаки, рубахи, подступал к горлу. Наклоняя головы, мужики заспешили из пекла. Постояли они вблизи убитого мужика, бережно отнесли его от огня на середину двора и опрометью бросились в усадебные ворота.

Орешек долго горел один. Только ржали кони, убывая в косяке, все тише и тише, только ревели коровы, набредая с полей, только пели петухи спутанные часы времени и в зверинце сбились животные в угол испуганным табунком, ноя о своей звериной тревоге.

Анатолий давно лежал в поле у огорода за Семигорьем. Он видел, как горели облака над Орешком и, казалось, загоралось само небо. Пять верст было до Орешка, пять верст он крался из парка лугами, перебегая от стога к стогу, садился в кусты, полз ложбинами — и все дрожал-дрожал-дрожал... Поля первая увидала мужиков. Она юркнула из беседки к дому, подсмотрела. А потом Анатолий услышал выстрел и ответивший ему грузный, закипевший обвал голосов у амбаров.

— Бегите! — шепнула Поля, вздрагивая и вытаскивая его из беседки. — Мужики... убьют... На большую дорогу... не выходите...

Анатолий слушал набат. И все устойчивее, и все яснее где-то внутри, в животе, вдруг оголодавшем, переливалась, щекотала, вспрыгивала радость. По большой дороге, поперек полей, мчались верховые, бежали мужики, бабы. Анатолий пригибал голову к земле, пропускал мимо — но эти скакавшие верховые, бежавшие мужики, бабы были не страшны: они, любопытствуя, только торопились на пожар, а он уходил от пожара.

Набат кончался. Наставшее утро проглотило зарево — и над Орешком остался мутный тяжелый полог гари. Анатолий вышел тогда на большую дорогу. Сломал на канаве молодую гибучую иву, очистил ее от кожицы;

свиистнул, извиваясь в руках, белый прут — и Анатолий весело засеменял к городу.

Он шел. И чем дальше он шел, чем чаще хотелось ему запеть, закричать, запрыгать, броситься на шею к игравшему на рожке старому пастуху в Верее, выгонявшему скот. Выходила на дорогу Люда, Кирик... Анатолий мельком думал о них, и в горле опять спирался трепетавшим клубком никогда раньше не знаемый восторг.

Старый лакей, когда умолкло все, когда только трещал огонь, выбрел из парка на безлюдное пожарище первый, согнулся низко и не смог разогнуться: горб отяжелел.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Топ... топ... топ...

По Верейской дороге на заре шел на рысях кавалерийский отряд. Ротмистр Пышкин, будто огромная афишная вертушка, круглый, гладкий, с выточенной балясинкой на ней головы, с жирным выменем подбородка и с выдавленной на воротник малиновой шеей, запарил лошадь. Как белые стружки, валилась с нее пена, задние лошади пену растапывали и оставляли после себя другую пену. Казалось, по Верейской дороге везли грязный хлопок, ветер вынул его из тюков и раскидал по земле клочьями.

Ротмистр Пышкин запоздал. В ночь ушла из города по Верейской дороге рота солдат, и губернатор укатил вместе с нею в коляске. Ротмистр Пышкин поздно вернулся из Заозерья, пересел с загнанной лошади на другую, сменил отряд и кинулся вдогонку.

В Заозерье, на бумажной фабрике Сумкина, был бунт. Рабочие пробуравивали цистерны с нефтью, спустили их в реку, разнесли контору, подожгли целлюлозные склады и бросили директора фабрики в огонь. Ротмистр Пышкин усмирал бунт. На фабричный двор согнали рабочих, отобрали десятого, отвели под черные сталакиты градирни на электрической — и расстреляли. Тогда под плетями казаков рабочие бросились вон со двора, повалили цепи солдат, полезли на заборы, на крыши... Спокойно, не торопясь, расстреливали бегущих по дорогам от фабрики, снимали на мушку с заборов, с крыш... Рабочие валились на двор черными кричавшими глухарями.

Ротмистр Пышкин сидел на коне и вытирал запотевший лоб. Тело было так грузно, так прилипчив был мундир, словно потная испарина всегда отделяла скользкой кожей одно от другого. Пышкин, жуя губой, потев, кричал:

— Bien! Bien! ¹

И плети носились, хлестали, свистели, как сорвавшийся с маховика ремень. Потом умирляли по деревням: отправляли подводы с арестованными в город, допрашивали, сожгли непокорные хутора.

В особняке у Сумкина был обед. Играла полковая музыка, вызванная из подгородных лагерей. В саду, на газоне у террасы, плясали пьяные солдаты Пышкина. Гости хлопали в ладоши. Сумкин роздал солдатам по зеленой трехрублевке. Пышкин сидел на террасе и пьяно ревел:

— Ге-р-ои! Бла-а-го-дарю!

Вычистили фабричный двор — убрали трупы, зарыли... И фабрика пошла. Загудел ранний гудок в утренних туманах по реке, над озябшими лесами, перелесками, над рабочим поселком — и в фабричные ворота, калитки повалил оголодавший от бунта рабочий люд. Тут Пышкина вызвали из города — и он поскакал.

Топ... топ... топ...

В зарозовевшем воздухе утра показалось под горой Семигорье. Мокрое, нежное, выкупанное в росе, оно уже пробудилось. Отряд на рысях вошел в село. У отвода, придерживая его за грядку, кланялся десятский и бормотал:

— К батюшке пожалуйста! К отцу Николаю на двор. Тамotka все.

И десятский побежал в прогон. Отряд задержался и легко пошел в узком прогоне. На широком выступе теплился окнами серый двухэтажный дом. А перед ним на лугу красное, белое, розовое бабье и мужичье становище недвижимо и молча глядело на кавалеристов. Солдаты огородили толпу спицами штыков.

Пышкин слез с шатнувшегося на сторону коня и потянул на огромный зад мундир, приподнявшийся на спине большим карманом. Быстро, как пролилась бы вода из опрокинутого сосуда, спешились казаки. Толпа

¹ Хорошо! Хорошо! (фр.)

раздалась. Пышкин по широкому зеленому ковру луга вошел в дом.

Щуплый, в очках, с жиденькими космами проседевших волос, как у старой лошади вылезшая грива, черненький, будто большая козуля, отец Николай Грацианский вышел навстречу к Пышкину. Губернатор махнул ручкой:

— Мы тебя заждались, Никанор Иванович! Ты, видно, загулял у Сумкина? Он чревоугодник! А дела тут безотлагательные... Садись — учиним маленький военный совет!..

— Вот на этот, вот на этот стулик: он покрепче, — засуетился отец Николай, усаживая Пышкина.

Губернатор засмеялся:

— Это вы, батюшка, правильно... нелишнее, нелишнее стул ему подать с выбором. Ха-ха! Бог не обидел комплекцией Никанора Ивановича.

Грацианский юлил около Пышкина. Черный подрясник его хлопал по сапогам, закидывался полами и шелестел о брюки.

— Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! — пел отец Николай. — Совет советом, но прошу хлеба и соли... чем бог послал... Надлежит, надлежит подкрепиться!

— Да, да. Merci! — гудел губернатор. — Пожалуй! Мы за столом, господа, обсудим положение. Садитесь, пожалуйста.

Вокруг стола, уставленного пирогами, рыжиками, маслом, сметаной, горками сотового меда, а сбоку клокотал и шипел большой, ярко начищенный латунный самовар со стаканами, будто пароход у пристани, окруженный лодками, уселись: губернатор, Пышкин, офицер отряда немец Шварц, круглый и маленький, как глобус, и орешковский земский начальник Борис Александрович Измаильский.

Поп дружил с земским начальником, и они перешептывались за самоваром, сближаясь носами. Походил Измаильский на широкий лоток с маленькой полочкой — сугорбием, голова как куричий хохол, срубленная сверху, выросла на лотке, лицо у него было мелко, пупырчато и нежнейшая розовая краска плыла под кожей, подбородок с козлиной бородкой сплюснулся старой, сношенной туфлей к носу, а тупой узкий полог лба висел над жадными, нюхающими, блиставшими глазками. Била его часто

жена Любовь Давыдовна, крещеная караимка, выгоняла вместе со свекровью на кухню и, засучив рукава, кричала в дверях:

— Обезьяна! Овечий глаз! Подлец!

Но был грозен в орешковской своей канцелярии земский начальник Измаильский. Распушался там куричий хохол головы, выпирали квадратные плечи, и руки, сухие и хваткие, путались в масленном мехе бородки. Мужики кланялись твердо, прямо, насмешливо. Он завидовал мужицкому крепкому поклону. Ерзал он, к плечу отгибал головку, шепелявил, шаркал ножками перед начальством, кидался услужить, поддержать обшлаг пальто, скромно выдвигал из-под вешалки калоши и ласково прижимал ручки к пышным, как вата, соскам груди. Перешептывались теперь поп-козуля и земский за самоваром. Поп вытащил из кармана исписанный листочек, и они вместе что-то на нем проверяли.

— Господа,— говорил губернатор,— один неверный шаг, и беспорядки будут продолжаться. Надо наказать строго, но справедливо. Преступление совершенно беспримерное. Трагедия в Орешке потрясла меня... Я решил найти негодяев во что бы то ни стало. Порка, и порка, и еще раз порка дадут, я полагаю, самые благоприятные результаты. Тут я должен довести до вашего сведения, что благодаря уважаемому батюшке,— я не премину сообщить о сем министерству внутренних дел,— ваши поиски весьма облегчены. Отец Николай составил нам списочек наиболее неуживчивых и крамольных крестьян в его приходе...

— Есть, есть,— пролепетал поп за самоваром и протянул листочек.

Борис Александрович Измаильский бережно перехватил листочек, обожал стол и, наклоня лоток плеч, протянул бумагу губернатору:

— Вместе мы... мы вместе с отцом Николаем...

— Премного обязан,— поблагодарил губернатор и продолжал: — Я попробую сначала апеллировать к разуму этих озверевших...— Губернатор не нашел нужного слова.— А затем, Никанор Иванович, ваше умение, ваша находчивость... вы понимаете сами...

Ротмистр Пышкин пошевелился и сглотнул рыжик, мелькнувший в усах сметанной спинкой:

— Слушаюсь!

— И вы, господин Шварц, знаете свое дело...

Офицер приподнялся, перегибаясь через стол:

— Так точно!

— Мы пробудем здесь немного и с Борисом Александровичем проедем дальше... В Нефедове, Анфалове, Березниках уже с ночи должны быть собраны сходы. Там нас ждут. Обедать мы будем в Куркине, у помещика барона фон Тюмен. Третьёводни на него было сделано маленькое покушение. Мужики посекали его управляющего и повесили на усадебных воротах красную тряпку. Я отправил на охрану к нему небольшой отряд. Он уведомлен о нашем приезде. Кстати, расследуем и этот случай.

Губернатор передохнул и обратился к попу:

— Вы меня извините, отец Николай, вам как пастырю будет тяжело присутствовать при экзекуции над пасомыми вами, но я прошу вас также выйти для увещевания. Так сказать, будут представлены гражданская, военная и духовная власти! Хе-хе!

Поп вдруг побледнел. За перегородкой кто-то тяжело охнул. И поп залопотал:

— Я на пчельничек, я на пчельничек. Пчельничек у меня... хозяйство... требы... Увольте, ваше превосходительство! Мне... мне не будет житья от мужиков.

Губернатор поморщился:

— Ну, хорошо! Ну, хорошо!

Он оглядел офицеров и начал вставать:

— Merci! Merci, батюшка! Ваш стол мне надолго останется памятен в столь тревожных обстоятельствах. Merci, господа, прошу кончать и следовать за мной.

Офицеры качнули стол, загомозили стульями, Измайльский услужливо вспрыгнул, поп кланялся... По щели из-за перегородки, как по лесенке, снизу вверх, выглядывали глаза семейных Грацианского.

Губернатор с листочком в руках вышел на крыльцо. Дрогнули и выпрямились солдаты. Ротмистр Пышкин сделал знак. Будто один раз махнул флагом сигнальщик — и поезд встал на пути, казаки встретились на седла. Красное, голубое, белое, розовое становье повалилось на колени. Бабы захныкали. Ребятишки не становились на колени, недоумевая глазами. Староста отжал руку к земле — и ребята юркнули рядом с отцами и матерями. Измайльский оттопырил губу и засунул руку под полу форменной тужурки. Губернатор покашлял немного, переложил из левой руки в правую листочек и заговорил:

— Я прислан к вам государем императором. Я могу сровнять с землей ваши избы, а вас всех согнать в Сибирь с женами и детьми. Но я не буду этого делать. Я знаю, вас научили бунтовщики... революционеры... зачинщики. Выдайте нам зачинщиков. Сознаться честно, кто ездил в Орешек за хлебом и бесчинствовал, грабил, убивал там... Становись направо и налево. Становись направо, кто не был в Орешке!

Толпа дружно, как где-то осыпался песчаный берег, раскачалась и сдвинулась вправо. Сдвинулась вправо и потупила глаза. Губернатор покраснел, смял в руках листок и закричал:

— Последний раз спрашиваю: кто зачинщик?

Толпа помолчала, и первые взвыли бабы, а за ними мужики и ребята:

— Винова-а-ты! Винова-а-ты!

И опять рухнули на колени, гомоня и крича.

— Мерзавцы! — взревел тогда губернатор и, вдруг оборотившись к Измаильскому, взвизгнул на него: — Кто приказал собрать в одну кучу баб и ребят? Кто-о, я спрашиваю?

Лицо Измаильского облилось клюквенным соком, он, дрожа, подскочил к губернатору и зашептал:

— Есть основание думать, ваше превосходительство, женский элемент также участвовал... староста...

Но губернатор взбешенно не дал ему кончить:

— Да-а-ть старосте двадцать пять розог! А вам объявляю строгий выговор!..

Измаильский, будто вытягивая губы поцеловать губернаторскую руку, преданно глядел на губернатора и спрятав голову в воротник тужурки.

Солдаты схватили старосту, сдернули с него штаны. Свежие розги в три человеческих объёма лежали у поповского дома: ночью заготовили розги староста с десятским и привезли с болота. Взвизгнула первая лоза, староста простонал, толпа отворотилась, дрожа... Розги захлебывались свистом, и свист горько хныкал человеческим отчаянным голосом:

— Бескрестники! Бескрестники!

Губернатор услышал, топнул ногой и на двадцатом ударе бросил:

— Прибавить еще пятнадцать!

Красный зад, как мясо под сечкой, ужимался, подскакивал, староста сдвигал голову за шею и трудно затаивал стоны, вгрызаясь в землю перекошенным ртом.

— Перепорю всех! — гремел губернатор. — Вот они, зачинщики! Знаю всех! Не отопретесь!

Губернатор помахал поповским листочком. Бабы заголосили поминальными, похоронными причитаниями, дети громко вцепились суматошным плачем. Ротмистр Пышкин замалиновел, усы, как рыбы кости, растопырились, заходило вымя подбородка... Губернатор, изнемогая, растерянно подставил ему ухо. Выслушал, сунул листок и кивнул головой. Тогда сошел с крыльца, ввевшись глазами исподлобья в толпу, Пышкин. Брюхо огромным бочонком наперло в передние ряды. И вдруг хриплый, прерывающийся на части голос зыкнул:

— Бабы со щенятами налево!

Толпа разорвалась на две неравные части. Солдаты отогнали баб и ребятишек в прогон. На выступе остались одни оробелые мужики. Бабы плакали в прогоне и не уходили. Пышкин начал вызывать по листку. Мужики выходили, и солдаты кричали:

— Ложи-и-сь!

И розги полосовали, извиваясь натугой.

— Приготовля-я-йсь! — распоряжался фельдфебель.

Смущенно и молча стояли вызванные мужики грудкой, расстегнули штаны и придерживали их руками за гашник.

— Кутьков! — хрипел Пышкин. — Стеклов! Молоков! Овчинников! Огольцов!

Бабы бились рыданиями в прогоне, падали на колени, протягивали руки... Голосила баба на стоны своего мужика, и мальчонка рвался сквозь колючие солдатские цепи на голос отца.

Солдаты уставали пороть. Изломанные лозы, в крови, густо усыпали лужок. Концы лоз отламывались после первых ударов и высоко и далеко отлетали в сторону. Долетела одна такая лоза до Пышкина, лизнула ему руку и замазала кровью. Губернатор поежился плечами. Офицер Шварц перекатил глобус на другое место. Пышкин тихонько вытянул двумя пальцами платок из кармана, обтер руку, оторвал от платка кровавое пятнышко длинной ленточкой и отшвырнул, не глядя, от себя.

Мужики не отводили глаз от грузной, качавшейся на ногах туши Пышкина. Из-за занавесок в поповском доме выглядывали поп, попадья, попята и поповны...

Августовское солнце меденело над Семигорьем. Не выгнанный из хлебов, блял и мычал скот. Отворотила забор одна коровенка на назьму и с телкой шла по прогону. Услышала бабы причитания корова и, вытягивая морду, как загнувшийся носок старого сапога, размычалась жалобно и зовуче. Баба подняла с плачем хворостину и погнала ее торопливо на двор.

Лозы убывали на виду, будто солдаты торопились израсходовать их скорее — цапали по две, по три и, не доломав, откидывали. Пышкин выкрикнул последнего в списке и сунул список в карман. Вышел горбатый старик, перекрестился на церковь и, подрожав горбом, задорно обратился к мужикам:

— Простите, братцы, может, не выживу от губернаторского угощения. Туда мне и дорога. Попа помни, ребята! Не иначе проклятый попишко подушной список написал...

Мужики сразу загромыхали, бабы взвизгнули истошно и надрывно, перестали сечь солдаты, губернатор затопал ногами, в цепи лязгнули штыки, Пышкин пошел на горбатого старика, тяжело шлепнул его ладонью по щеке — и уронил. Старик свалился на горб, закричал, перевернулся и, сидючи, заплакал. Тут мужики сорвались головами, остервенели, забили в грудь кулаками, запередвигались на месте, подняли голые руки кверху. Губернатор, Измаильский трусливо сжались на крыльце. Пышкин лениво отступил на шаг и кратко сказал казакам:

— Вспарь!

Только успели взвить нагайки, только успели опуститься кружком, мужики снова упали на колени и завыли, укрывая головы. Бабы еще отчаяннее поддержали тонким бесконечным визгом, словно заплакало в прогоне деревенское коровье и овечье стадо, замяукали кошки, закричали огороды, сама выхоженная веками прогонская земля.

— Стой! — кричал Пышкин казакам.

— Бунт! Вы бунтовать в моем присутствии! — несмело и жалко шумел губернатор. — Вы наносить оскорбления представителю высшей власти в губернии! Крамольники! Запоррю!

Солдаты снова замахали лозами. Горбатый старик опустил голову, уперся глазами в раскутавшиеся онучи повыше лаптей, потрогал их рукой и стал заботливо увязывать.

Пышкин подошел к губернатору и вполголоса сказал ему:

— Старик не выдержит розог.

Губернатор перекосясь, подумал:

— В тюрьму его тогда... Под суд!

— Слушаюсь!

Тут наклонился сзади угодливой спиной Измаильский и шевельнул губами. Губернатор недовольно взглянул на пылавшие помидорами щеки Измаильского.

— Ваше... Ваше превосходительство... Уже поздно. Пора дальше.

Губернатор заскучал, немного постоял, потом поманил к себе Пышкина:

— Никанор Иванович! Ты тут распоряжайся... Рука у тебя легкая... Нагоняй нас... Построже, построже, смотри!..

— Не извольте беспокоиться! — гаркнул Пышкин.

— Погодите, дайте мне уехать, — сказал устало губернатор.

Он выждал, пока не кончили сечь лежавшего мужика, и на смене к другому задержал экзекуцию. Из-за поповского дома вывели губернаторскую коляску. Губернатор пожал руку Пышкину, Шварцу и небрежно, презрительно наведя глаза на Измаильского, выдавил:

— Вы... нерасторопный... садитесь со мной. На вашем тарантасе повезут арестованных.

Измаильский счастливо подсаживал губернатора в коляску и сел бочком, почти на крыло, рядом. Коляска на мягком ходу пошла. За нею поскакали трое казаков.

И будто с отъездом губернатора Пышкин озледел последней, лютейшей злобой. Он заходил по лугу, выдергивал сам из сотни непоротых мужиков не приглянувшегося ему и резко чеканил:

— Пятьдесят!

— Семьдесят пять!

— Сто!

Розги приходили к концу. Солнце тянуло за полдень. Становилось жарко той распекающей августовской жарой, когда холодит простывшая за ночь земля, а солнце жжет густым и плотным огнем. Пышкин заторопился. Он выстроил мужиков, как солдат, рядами, обошел, как на смотре, ряды и, криво ухмыльнувшись одними щеками, закричал:

— Рваная команда! Расстреляю каждого пятого! Указывай зачинщиков!

Ряды неподвижно стояли. И тогда стали выводить пятых. На лугу все замерло, оцепенело, убавилось в росте, сжалось к земле. В строю зияли отверстия, как выпавшие рамы в нежилом доме. Выведенные из строя мужики, не веря, дрожа, оглядывались на дырявые ряды и на бабий прогон.

— Взять их! — заревел Пышкин. — И... расстрелять. Вон тут!..

Пышкин указал на поповский новенький чистенький амбар неподалеку. Офицер Шварц скомандовал. Солдаты вышли из цепи, подтолкнули обомлевших мужиков и погнали к амбару. Мужиков поставили к стенке. Шварц выстроился с солдатами напротив. В мужицкие груди уже глядели черные дырки стволов, Шварц высоко занес голос...

Но тут с криком хлынули бабы из прогона, смешали цепи, хватались за винтовки и отнимали их, хватались за ноги казаков, подлезали под брюха лошадей, мужики кашей навалились на Пышкина и только одно бабье неугомонное, отчаянное, безумное слово перекатывалось в ушах:

— Повинимся! Повинимся! Повинимся!

Мужики побежали от амбара, опрокидывая солдат, — и утонули в неистовавшей толпе. Солдаты и казаки снова крепким кольцом окружили толпу, отодвинули от Пышкина. Бабы, рыдая, начали выдавать. Катались по земле бабы оговоренных мужиков и выдавали других. И скоро неоговоренных не осталось.

— Все мы зачинщики! Все мы зачинщики! — вопили мужики. — Стреляй всех!

Толпа крепко и тесно держалась друг друга, бабы прилипли к мужикам, их оттаскивали и не могли оттащить. Пышкин снова выстраивал в ряд, толпа не давалась, держалась кучей, выдергивали одного, другого, пороли и не находили зачинщиков.

Из Березников прискакал верховой от губернатора. И, не управясь на месте, погнал Пышкин мужиков по пыльной Владимирке в Березники. Баб долго стегали казаки и наконец оттормошили. Плачущим, воющим стадом шли они позади и глотали родную пыль мужицких сапогов, лаптей, валенок. Круглая афишная вертушка ротмистра Пышкина высоко вздымалась над шествием.

И в Нефедове, и в Анфалове забирали мужиков. В Березниках соединили четыре деревни и повели в Орешек. На пепелище выстроили мужиков. Бабы, как на помочи, стояли стеной у парка. Губернатор говорил речь, не выходя из коляски. Потом водили по рядам прислугу из Орешка. Старый лакей опознавал, опознавали другие... Сводили счеты парни, счеты гуляночные, любовные... Отделяли мужиков, и казаки угоняли в недогоревший сарай.

Опять кидались бабы к мужикам и отплескивались перед колючей изгородью нагаек. Пороли до вечера на месте старой барской конюшни. Набили мужиками полным-полно сарай. Кинулись еще раз бабы к сараю... Шварц выкрикнул команду: застрекотали пули о голову парка, толпа легла на землю, побежала, разбежалась... Выпустили тогда казаков, и они погнали толпу в поля, на дороги, на тропки: уныло загудели крестьянские земли бабьим и детским далеким плачем.

Коляска губернатора поскакала в имение барона фон Тюмен. Пошел за ней на рысях ротмистр Пышкин с отрядом. На тарантасе Измаильского помчали офицеры. У сарая встали на дежурство фельдфебеля с воинскими командами из Семигорья, Анфалова, Нефедова, Березников. Прятались в парке всю ночь бабы забранных мужиков, дрогли и подглядывали за солдатами.

В пушистом утреннике, как мохнатыми купальными простынями закутавшем землю, в робком просыпающемся рассвете вдруг от Куркина затопали лошади и задрезжал тарантас. Из губернаторской коляски и тарантаса Измаильского трудно и крикливо вылезли губернатор, ротмистр Пышкин, Шварц, барон фон Тюмен, а Измаильский остался сидеть на козлах коляски. Пьяно и злобно закричал Пышкин:

— Д-давай их сюда! В-вы-води!

Бабы заторопились, ближе подползая на остывающих брюхах к сараю. Мужики забормотали, загудели внутри сарая. Солдаты раскрыли ворота. Мужики посиневшей, скорчившейся от холодной ночи грудой испуганно вылезли на белевший луг.

Барон фон Тюмен в суконной поддевке, в сапогах, с желтым хлыстом в руке на голову возвышался над всеми, был сух и сер, как сухостойное дерево. И был у него голос грубый и охриплый, как у старого пса.

Мужиков было человек пятьдесят. И как вышли они, Пышкин, дыбая на разъезжавшихся по инею ногам, полез в карман и вытащил поповский иструхлявленный листок. Долго все разбирали листок и неуверенно называли фамилии. Мужики не выходили. Вздрагивал и переминался мужик, услышав свою фамилию, опускал глаза, и будто по телу рассыпался этот же белевший в глазах луговой мохнатый иней.

— Никого нет,— вытаращил глаза Пышкин.— Все убежали!

Зашатался тогда барон фон Тюмен, помахивая хлыстом, и загремел высоко, словно у крон парка:

— Мы и так найдем! Мы и так найдем!

Барон фон Тюмен всмотрелся в мужиков, растолкал их и указал в середине на одного:

— Это... н-не-годяй!

Мужик снял картуз. Солдаты вытолкнули мужика. Барон фон Тюмен вяло тыкал хлыстом:

— И этот... и этого... вот его!..

Тут вмешался губернатор, потянул барона фон Тюмен к себе и сказал:

— Милый, будет, будет... Достаточно...

Пятерых мужиков отвели в сторону, остальных снова загнали в сарай. За обгорелыми остатками конного двора поставили мужиков в ряд. Пышкин, качаясь, прошелся по фронту охраны. Солдаты глядели на него упорными невидящими глазами, не видя поднимали винтовки, приложились; стили в руках ложа, и дула, как неровный фашинник на дороге, не укладывались ровно.

Когда мужики закричали и, ваясь друг на друга, задрыгали на земле хватающими руками, зажевали землю, один солдат выронил ружье, откачнулся назад и упал на спину белее инея. Шварц позеленел и твердо приказал фельдфебелю, указывая на солдата:

— На двадцать суток под арест!

Бабы, безумно крича, уже выбежали из парка. Солдаты встали наперерез и дали один, другой, третий залп в воздух... Бабы упали и не подымались, воя и закрывая головы.

Подъезжая к Куркину, губернатор отодвинулся от заснувшего у него на плече барона фон Тюмен, и сказал полголоса:

— Однако это неприятно!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

В тот год российская земля запела эту песенку, заиграла в оркестрах, на гармоньях, на роялях... С весенних оттепелей таилось тревогой сбившееся сердце... Ночные облака были багровы над российскими деревнями. Замирали фабричные трубы в городах — и ржавели гудки. По дорогам, по задворкам, по речным и железным путям егозили ширококоротые слухи. Хлеб вздорожал на пятачок в пуде. Широкогрудую, широкозадую, непобедимую, неустрашимую российскую армию бил косоглазый мизгирь-японец. Раньше того просолевший в крепком морском засоле российский флот раскис, не дойдя до Порт-Артура. И его дотопили у Цусимы. Шли, как в крестном ходе, поездами иконы на Восток, не мигал глазками Пантелеймон Целитель, навел пику несворотимую Георгий Победоносец, и Никола Зимний и Никола Вёшний кужлявили мужицкие бороды. Не помогли: супостат не убоялся небесных сил, закидал огнем небесное воинство... И свалили иконы, отступая, в сарай, в цейхгаузы, покидали у сопок на растопку в солдатские кухни. И тут тогда запела вдруг свистунья ласточка.

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

Александра Александровна никогда так не торопилась думать, как в те немногие часы от прихода Анатолия до первых известий из Орешка. А часы, как клячи по худой дороге, брели вяло, надсадно...

Александра Александровна давно так много не ходила по комнатам. Грудь подпирал забурливший живот, будто затворили тесто в животе, а дрожжи уже ходили кислыми пузырями. Александра Александровна на ходу останавливалась, сморщивалась, поглаживала грудь — и глаза робко просили пожалеть ее и пощадить от дурных мыслей. Пелагея налаживалась к ночи с водой, с дедовским дубовым судном, полоскала бутылки... Александра Александровна обходила все комнаты, заглядывала на кухню, наступила на лапу Василию Васильевичу, зажала уши от крика кота, взяла его на руки, прижала к себе, помурлыкала и спустила на пол.

— Когда же, когда же они приедут? — громко спрашивала Александра Александровна пустые комнаты.

Анатолий выпался. Он рассказал еще раз Александре Александровне сначала, скупое, по-новому, забывая рассказанное утром.

— Как ты думаешь, они уже выехали? — кричала Александра Александровна часто и горько. — Вольдемар так кинулся...

Анатолий лениво повертывался от окна и отвечал:
— Нет, не выехали!

Александра Александровна замирала:

— Что ты говоришь? Почему?

Анатолий будто обдумывал и не узнавал в себе приходивших соображений:

— А я не знаю...

Александра Александровна переглядела во все окна, на знакомые закоулки дороги, пересидела на всех диванах, креслах... Садилась она в каждой комнате ближе к дверям, словно из каждой дверей могла выйти Люда.

Анатолию надоело стоять у окна и смотреть на бульвар, на качавшиеся озябшие березовые вершины, он пробрел в белый зал, открыл крышку рояля, побренчал, взял чистые басовые аккорды, а потом незаметно, само собой, тихонько клавиши вспомнили и затянули:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

Александра Александровна быстро вошла, застонала и положила руку на разбегавшиеся пальцы Анатолия. Музыка прервалась звенящей кляксой. В голосе Александры Александровны была скорбь:

— Как ты можешь в такие... страшные часы... играть эту шарманку?

Анатолий удивился, но играть перестал. А вечером вошел Володька в дом... Никто не спрашивал его. Александра Александровна смотрела за ним в темные двери, будто ждала Люду. Она не докрепилась — и села. Володька пошевелил губами, пошевелил пальцами, постоял, подумал, взгляделся в каждого, а потом спокойно сказал:

— Люда сгорела в Орешке.

Александр Александровну качнуло в сторону, она уперлась в кресло, губы сжались, оскалились зубы, голова свалилась набок, грудь начала часто и глубоко ходить, будто разбегаясь. Припадок продолжался девять часов. Он прошел. Остался от него запах лекарств

и большое белое тело Александры Александровны, надолго улегшееся в постель. Кот Василий Васильевич норовил пробраться в спальню и жалобно мяукал у дверной щели. Карушка скребся лапами о порог, а под скамейкой на дворе вырыл глубокую яму. Чесался правый глаз у Анатолия, и во сне каждую ночь вырастали у него женские косы до полу, а в волосах шевелились пузатые вши.

Пелагея соединила тогда приметы вместе: приметы были к покойнику в доме. Вши сулили наследство Анатолию, а косы сулили смерть Александре Александровне. Должна была расстаться она с косами, вместе с косами и с богатством и с хозяйством.

Пелагея так решила и забегала на зов Галины Сергеевны скорее, чем на зов Александры Александровны. Пелагея угадала. Два припадка свалились на одной неделе. После припадка Александра Александровна не могла лечь: она сидела на кровати в подушках. Ноги были спущены с кровати на маленькую скамейку и закутаны одеялом. Раздувались каждый день ноги водяными пузырями, пузыри не лопались и все мужали... И расплылись они в водяные поля с глубокими перехватами. Александра Александровна легла клокотавшими грудями на подушку, прижалась к ней и больше не разгибалась. Брюхо подперло будто к самому горлу жирными складками и задушило его. Она не спала ни днем, ни ночью, а только вся тряслась и выглядывала исподлобья плакавшими глазами, посовывалась вперед — и не могла протянуть рук, не могла задержаться за кровать, за подушки. Так ночью она и упала на пол, разбила лицо о дубовое судно и попала рукой в горшок. Тяжело поднимали Александру Александровну торопливыми виноватыми руками. Положили ее на спину. Она хлебнула один раз воздух, облизнула губы языком, будто с присохшей манной кашей на нем, подернулась одним коротким толчком, закрыла глаза — и в горле захрипело... Сорок восемь часов Александра Александровна молчала, только плавилась в горле невыходящая мокрота, тело было недвижно, как кровать, а на правой руке куда-то бежал-бежал-бежал мизинец. Анатолий осторожно открыл матери веко — и на него глядел непонимавший зеленый глаз.

Анатолий звал ее:

— Ма-а-ма!

Пот лил по белому лбу, словно грунтовые непро-
сыхающие воды в низинах. Пелагея часто прибегала
с кухни и вытирала лоб полотенцем. Привезли старого
доктора Пирожкова. Он походил в спальне, посморкался,
встал у нее в ногах, пристально и долго глядел на нее,—
играли они в карты с Александрой Александровной сорок
лет,— потом выкатил на палец глаз ее, поднес к ресницам
горящую свечу и потушил ее.

— Все кончено,— сказал доктор,— все там будем...

Он поперхнулся, пофыркал старым, морщинистым
носом и закричал на всю спальню:

--- До свиданья, Александра Александровна!

Пелагея заплакала на кухне.

В белом зале читала над покойницей молодая
монахиня Девичьего монастыря. На аналое лежал зака-
паннный воском Псалтырь. Ночь была длинна, как длинна
была толстая книга — Псалтырь. Голос уставал, надры-
вался, ложился отдыхающим перерывом на страницу
с киноварными заглавными буквами, будто освещенными
окнами в главы. Глаза смыкались, близоручили сном...
Монахиня черным клювом скуфьи вздрагивала над кни-
гой и пошатывалась. В затаившейся тишине дома было
только двое: монахиня и Александра Александровна.
И монахине застрашала ночь. Она вдруг покосила уста-
лый глаз на покойницу, и глаз ожил, широко раскрылся,
а рука взялась крепко за аналой. Голос громко завывал
наизусть давно запавшие в рот слова, бодрился, но будто
кто-то мешал ему в комнате. И опять монахиня взглянула.
А тогда явственно, как дрогнувшая ее рука, на груди
покойницы пошевелилось покрывало, и на голове качнул-
ся большой бант у чепца. Монахиня побелела саваном,
впилась руками, глазами, голосом в книгу и еще пуще
закричала над покойницей знакомые слова. Монахине
казалось, за колоннами кто-то шарил на полу, кто-то
выходил из стен и становился по углам, а над покой-
ницей шелестело покрывало и будто начиналось легчай-
шее дыхание в уже запавших губах. И еще явственнее
озирающий глаз заметил дыхание покрова. Монахиня
была мокра, как в жаркий, разморяющий день. Волосы
под скуфьей горели, росли, им было тесно. Она кричала,
она хотела перекричать страх, спрятавшийся под ряской,
под пересохшими ресницами, она думала заглушить
шорохи, шелесты, шепоты, дыхание покойницы звенящей
кутермой бежавших вперегонку слов... Одна рука пере-

кидывала страницу за страницей, другая рука крестилась, спина наклонялась, а покрывало дрожало все смелее и смелее, и грудь покойницы дышала трудно и жалобно. Монахиня выкрикнула еще раз, попятилась, ужаснулась и зачитала, безумая: «Да воскреснет бог и расточатся врази его...» Грудь покойницы охнула, покрывало медленно и густо поползло... И тогда закричала монахиня, кидаясь из комнаты:

— Встала! Встала! Встала!

Дом проснулся, загремели стулья, вздувался огонь, скрипели двери. Монахиня вбежала на кухню. Пелагея кинулась в комнаты, а с печки упала и застонала на полу старая бабка.

Вошли в белый зал и вздрогнули: на груди Александры Александровны сидел Василий Васильевич, тыкался мордочкой в ее лицо и жалобно мурлыкал. Он оглянулся на вошедших и крепко прижался к покойнице. Глаза его были мокры. Володька протянул руку, Василий Васильевич окрысился, зафукал, выпустил когти, не подпускал. Володька поднял с полу покров, накинул на кота и снял его. Пелагея подхватила покров и вытряхнула ревавшего Василия Васильевича за окно. Кот долго бросался на рамы и просился в дом.

На кухне охала бабка-стряпуха и терла поясницу. Жила она в доме вместо Аграфены. Давно уже ушла Аграфена в соборную сторожку, в хозяйки к соборному звонарю. Пелагея вернулась на кухню и засмеялась над бабкой:

— Ишь, старая, жизнь-то ка-а-к бережешь, одной ногой в гробу! По лужку, думала, бежишь, ан печка-то с коврик!

Бабка насильно ухмыльнулась, осторожно шаркая хребет в красном огне лампы.

Переполох затих. В белом зале, кося насмешливый глаз на покойницу, радуясь праздничным киноварным заставкам, снова читала монашенка. Порой она перебивалась: приходила смешливость, и она жадно и крепко начинала креститься от сомутителя беса.

В темной спальне неожиданно загрохотал хохотом Анатолий. Галина Сергеевна вздрогнула.

— Гал-ли-ночка! — давился Анатолий. — Извини... но ко-о-т, но ко-о-т!..

Анатолий, хохоча, слез с кровати, в темноте пошарил одеяло жены, наклонился к уху и весело зашептал:

— Можно к тебе под одеяльце?.. Мне страшно...
Галина Сергеевна вскочила, толкнула его в грудь, закричала в слезах:

— Уйди, уйди, негодяй!

— Но почему? — грустно спрашивал Анатолий, лениво укладываясь к себе на кровать и горя желанием.

— Гад! Гад! Гад! — кричала Галина Сергеевна, занывая долгим и тонким плачем.

Отпевали Александру Александровну у Федора Стратилата на Наволоке. Трудились у гроба три попа с дьяконами. Пел соборный хор. Никита зажег полный свет. Он посматривал на учителя Тар-Тарары и кружил около него. Разносил на серебряном блюде свечи Никита и, стоя перед Тар-Тарары, покуда тот шарил свечу, шепнул ему:

— Разе тоже... из эфтих?

Тур улыбнулся, сощурил глаза под стеклышками. И Никита отошел дальше.

Анатолий скучно стоял у головы матери. Александра Александровна пахла. Водяные пузыри лопнули на ногах, и гроб промок у гвоздей на спайках. Мутные капли редко и густо капали на каменный пол. Анатолий разглядывал служивших попов. Они закатывали глаза кверху, одергивали горбы риз, трясли поющими бородами и широко раскрывали рты. И казались они Анатолию поварами на кухне, хлопотавшими у плиты. Тело матери было самым обыкновенным мясом, чуточку несвежим и пахучим.

Плакала в углу какая-то старуха. С мольбой воззрилась она на иконы, крепко тыкала в подсохший лоб щепоткой пальцев, оставляла на лбу заметное место и надолго замирала, сгибаясь, на стуже пола. Анатолий удивлялся.

И так, переводя глаза от попов на нищую, от нищей на Галиночку, шептавшуюся о чем-то с Туром, Анатолий трудно стоял обедню, а потом отпевание. Глубокодохнув, он ерзнул губами около смердевшей руки матери. Тление рвотой застряло в горле, Анатолий крепко сжал усаые губы и отбежал к стене. Попы нюхали липучий запах тела спокойно, незамечавшими носами, ртами, будто в церкви было от натопивших воздух свечей и лампад только жарко и душно.

Александру Александровну понесли. Анатолий встал на свежей грудке желтой глины у могилы, подергал всплывшие глубоко калоши — и застыл. Гроб, осторожно

качаясь, встал на дно. И тогда торопливо о крышку гроба застучали прощальные комья земли.

Володька подошел к Анатолию, стиснул ему сзади бок вместе с пальто и шепнул:

— Не знаешь, чью старуху хороним? Брось, хоть для приличия земли!..

Анатолий потащил опять калоши из глины, наклонился, схватил жадно большой комок и громко сбросил на крышку. И он довольно огляделся кругом.

Поехали с кладбища быстро, словно жалели о напрасно потраченном времени, поехали к нагруженным поминками столам, к винам, к траурно запечатанным зеркалам.

Анатолий скоро захмелел.

— Володька,— говорил он вполголоса через стол,— ты ничего не слышишь? Нет? А я слышу — я не мог бы сделаться медиком.

Володька пошевелил рукой, будто хотел достать Анатолия и ударить его.

Ночью Никита поправлял лампаду у Сосипатра Сви-
стуйкина, бил часы над Александрой Александровной, посту-
чал колотушкой над могилкой и сел рядом на пенек покурить. Так сидел Никита у каждой могилы первую
ночь, словно жалел он каждого лишнего человека, засы-
павшего в теплой земле у Федора Стратилата.

В темноте спал усталый голубой дом на бульваре. На столах стояли неубранная посуда, недоеденные кушанья, недопитые вина. Подкосило ноги Пелагее, слегла она на кухне — и оставила посуду до утра.

И ходил только всю ночь по комнатам, как Никита на кладбище, Василий Васильевич, взбирался на столы, отвертывал мордочку от кушаний, не кидался на выбежавших из углов мышей. Волочил он опущенный хвост, горел зелеными глазами в темноте, подолгу стоял, при-
слушиваясь, у спальни Александры Александровны и не находил себе места.

Под утро он вспрыгнул на рояль, лег, зажал между лапок оставленный там маленький пузырек, застонал — и откусил пробку. Из пузырька полилась жидкость. Василий Васильевич жадно лизал ее. Глаза кота опьянели, он свалился на клавиатурную доску, свернулся с нее на пол, полежал, вытягиваясь, трудно встал, шатаясь добрел до дверей спальни — и тихо-тихо-тихо замяукал. Потом Василий Васильевич скорчился, изрыгнул... По комнатам, глуша запах яств, вин, запахло валерьяновыми каплями.

В то время как Василий Васильевич искал Александру Александровну, на Прогонной улице, на казенной квартире шло обмывание ротмистра Пышкина. Дом ярко плавился огнями. К подъезду скакали собственные экипажи, верховые, извозчики. Длинный лошадиный поезд протянулся по Прогонной.

Разбегаясь от Прогонной, как паутина, булыжными улицами, ночной город был пуст, только проезжали конные патрули, гремя по камню, провели взвод солдат к квартире ротмистра Пышкина и поперек улиц переходили наряды жандармов, обыскивая нужные дома.

Патрули появились после полуночи. Город уже раскрыл свои кровати, зажег лампы по спальням, допивали последние бутылки по ресторанам гуляки, маркеры уносили шары в буфеты, дворники сидели за воротами в шубах, редко скрипели калитки и громыхали парадные двери, прощаясь с гостями, в Гостином ряду лаяли дворняжки, остерегая товары, а над всем городом, на рассыпанных по окраинам вокзалах кричали уходившие и приходившие поезда. Ночных звуков было немного, звуки были скупы, завернуты были на улицах магистрали фонарей, и темнота лежала ровно, густо, задумчиво...

И вдруг магистрали зажглись полным светом, будто неведомому стала ночная темь городу, он испугался, проснулся, начал вставать, побежали торопливо люди, проскакали казаки и раскидались по улицам; на крестах, в переулках жандармы, городовые начали останавливать ночных прохожих, обыскивать, задерживать, проверять документы.

В театре был спектакль: открывали сезон. К полночи спектакль кончился. С полночи начался костюмированный бал. Военный оркестр грянул любимую песенку:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

Все задвигалось, залопотало, зарукоплескало, зашелестело платьями, шлейфами, зазвеняло шпорами, орденами, саблями...

Тут ротмистра Пышкина окружили дамы, военные, подошел губернатор, предводитель дворянства. Огромное тело Пышкина было освещено мерцавшими на нем глазками дам, и любовный ливень женской ласки будто

еще ярче, еще виднее рассветил прильнувшие на груди по тикку ленточек ордена...

Ротмистр Пышкин стоял на одном месте, видный всему залу, словно поставили ему гигантский памятник в театре из розового мрамора, и как разноцветный пояс статуи были женские головы, прически, проборы. Он улыбался и млея, вздрагивая белым выменем подбородка. Он кривил рот, и дамы щелкали руками, махали веерами, мужчины обнимали его за талию и брали под руку... Военный оркестр бесчисленно повторял:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

И вдруг будто каменная рука пошевелила толпу около ротмистра Пышкина... Каменная рука качнулась из стороны в сторону, раздвинула широкий проход, статуя одиноко замерла, щелкнул хлопущей клубок огня над нею, сверкнуло, брызнуло, пролилось — и огромное тело загрохотало на полу...

Оркестр сорвался... Зало загремело бегущими ногами, давкой, криками, плачем.

Ротмистр Пышкин затихал. На лбу у него выросло красное дикое мясо. Глубокие глазные впадины стояли как две маленьких кофейных чашки с черной кровью. Торчали жалко громадные подошвы сапогов и сверкала на одной из них отливающей сталью приставшая кнопка.

Проходили оцепеневшие минуты. У театра запрудой стояли кареты, пролетки, кучера, извозчики; дежурные околоточные прохаживались у подъезда, городовые стили у колонн, и некие штатские юлили в отдалении.

Из подъезда быстро вышел молодой студент. Он не спеша оглядел околоточных и крикнул:

— Извозчик! В полицию!..

Пролетка быстро пошла за угол — и скрылась. Потом вырвался из подъезда, как белый пар из трубы, пристав и без памяти завопил:

— Лови! Лови убийцу! Убит Пышкин! Убит Пышкин!

И сразу задребезжали извозчицьи пролетки, извозчики занукали лошадей, захлестали кнутах, лошади заржали, заподымали головы... Начался торопливый разъезд извозчиков в улицы, в переулки, в тупики. Городовые и околоточные кинулись на не успевших отъехать извозчиков и погнали в Прогонную. Полиция вынырнула отовсюду. Спеша, запирали все выходы и входы. Затопали театраль-

ные лестницы, вестибюли, открылись с лестниц форточки, окна. Толпа валила ко всем выходам — и останавливалась. Медленно обыскивали, опрашивали, переписывали. Набрав партию, отмыкали двери и выпускали.

Зажглись в городе мгновенно магистраль. Ударили враз из полиции, из казарм, из жандармского телефонные звонки: правительство начало охоту за террористами.

Мертвого ротмистра Пышкина вынесли по задней лестнице, уложили в карету, городской вскочил на кучерское сиденье — и карета помчалась с тяжелой кладью. Тут же осторожно вышел губернатор со свитой и, садясь в экипаж, грустно говорил провожатым:

— Господа, мы потеряли замечательного человека! Потеря невознаградимая, господа! Они знали, кого нас лишали. Ах, Никанор Иванович, Никанор Иванович! Бедный Пышкин!

И ночь и день, будто в завоеванном городе, носились по улицам казаки, разгоняли кучки идущих на базар баб, гнали в задохнувшиеся участки новых арестованных, били в тесных проулках студентов, гимназистов, курсисток. По всему городу звенькали колокольцами жандармские шпоры, словно собрались в город жандармы со всей России, жандармы все прибывали и прибывали, и все меньше и меньше оставалось народа.

В соборе была панихида по ротмистре Пышкине. В суконных поддевах, в чуйках, в долгополых кафтанах стоял за чиновниками Гостиный ряд, грустило духовенство черными бархатными ризами, молились усердно сыщики, городовые, жандармы, пригнали приюты, ясли, богадельни... Начальство разъехалось после панихиды, а толпа подняла высоко портрет императора Николая Второго, и, синешурый, будто с помороженными глазами, со стриженной русевшей бородкой, покатиł всероссийский самодержец по Толчку, по Золотухе, по Прогонной в звоне стекол, в грохоте булыжника о стены, в еврейской крови, брызнувшей из лавок, из домов, из часовых магазинов, из кабинетов врачей и приемных адвокатов...

Над Пышкиным читали монашенки. В гробу не вмещалось разбухшее тело, лопались пуговицы на мундире и со свистом летели в потолок. Плакали дети около гроба, а жена часто и горько звала его:

— Ника! Ника! Ты слышишь?

Везли на кладбище ротмистра Пышкина под высоким серебряным балдахином, играла музыка, цокали верхами

казацкие сотни, а за ними стражники, а за стражниками шли пожарные в медных касках, «Союз русского народа» с хоругвью Георгия Победоносца и в кафтанах с серебряными галунами, в медалях соборные хоругвеносцы. По панелям глядел затаившийся, молчаливый народ. И тут и там взлетали над ним, будто белые птицы, листки. К лиловым рваным буквам гектографа наклонялись внимательные глаза чтецов:

«Ротмистр Пышкин казнен по постановлению партии социалистов-революционеров».

В ночь листки наклеили на заборы. И долго висели они на окраинах, смываемые дождями и замораживаемые метелями. И еще дольше читали их мужики, привезя в базарный день с Толчка, в Семигорье, в Нефедове, в Анфалове, в Березниках.

По первопутку затопили мужики в Заозерье помещицы усадьбы и хутора, выжгли барона фон Тюмен в Куркине, и опять поехал губернатор в объезд, а с ним ротмистр Ведерников... Пленных не имели... Социалисты-революционеры начиняли новые бомбы — и динамиту не доставало.

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе были трехцветные и красные флаги. Первый раз шли по улицам меднотрубные оркестры, играя «Марсельезу». То царь Николай Второй расклеил на заборах, на щитах, на афишных вертушках манифест семнадцатого октября.

В соборе был молебен. Протодьякон долго выводил мохнатой трубой многолетие, и два архиерейских хора ударили рывком в задрожавшие высокие соборные рамы славу. В соборе было негусто народа. Не была черная сотня; губернатор глядел себе под ноги. Архиерей вяло и устало стоял на красном возвышении под страуфокомилковым золотым яйцом на хоросе, и сам огромноглазый господь Саваоф-бородач сырел недовольно в купольной нише наверху.

На улицах было веселее. И там не пели многолетие Николаю Второму. Там распускались цветные ленты

народа, выросли над улицами красные клумбы флагов, влезли на фонарные столбы, будто черные ученые медведи, ораторы, махали люди платками, флажками с балконов, с террас, с крыш, из слуховых окон, в небе плавали, улетаая, будто фонарики, разноцветные детские шары.

На торцовой Думской площади выросли осенние шелковые рощи знамен.

Говорил голова с балкона; говорил товарищ Иван, Егор; говорили адвокаты, врачи, литераторы; говорили фабриканты; говорил немец коммивояжер, продававший до того органы в трактиры и рестораны; говорили прачки, судомойки, ломовики, студенты, гимназисты; говорили классная дама и мещанский староста; говорил ресторанный буфетчик; раскрашенная певичка из кабаре размахивала собольим боа; говорил старый сивый мерин князь Кубенский-Белозерский и кричал «ура» государю императору и самодержцу всероссийскому.

Будто не говорила никогда раньше российская земля, будто была нема и глуха она доселе, будто порваны были, как струны в старых клавикордах, голосовые связки — и теперь на митингах, на собраниях, на улицах, на площадях, с балконов, с террас, с фонарных столбов лилось путаное, косноязычное горячее чеканное олово слов, и серебрились зубами незакрывавшиеся рты...

А еще раньше, еще вчера стояли фабрики и заводы. На Зеленем Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах вели артелями рабочих, подтыкали прикладами в спины, дежурили по углам конные патрули, и была тишина в улицах, как на замерзшем зеленой стеклянной крышей Чарыме. Не отходили и не приходили поезда. Сорвало телеграфные и телефонные проволоки рванувшим ветром рабочих рук. Магазины, лабазы, склады, торговли затворились ставнями, дверями, замками, запорами. Пекаря не пекли. Извозчики не возили. Не горело элекричество и газ. Водовозы гремели бочками на центральных улицах. Нацеживали водовозы скупыми мерками воду в вазы, миски, самовары, тазы, в хрустальные графины. Прачки не стирали. Сапожники навалили в углы колодок и не выдергивали дратвы из заплат. Газеты не выходили. Дворники не имели обраставших окурками, бумагой, огрызками яблоков осенних улиц. Пожарные не выехали на пожар в Дымковскую слободу — и сгорел офицерский клуб с пьяными офицерами. Прискакал туда брандмейстер, покричал, побегал, посмешил равнодушно глядевший

народ суетой и не стал дожидаться пожарного конца, утрусил, скрылся...

И было так по всей земле русской. Распалась она на города, на села, на деревни, лопнули жилы телеграфных и телефонных проводов, ржавели рельсы, стояли вагоны с зерном в тупиках, прояснели небеса над фабричными рабочими слободами от дымовых облаков, выглянуло настоящее голубое небо, не шили сапогов, не пекли хлеб, не гнали воду по железным трубкам, кухарки не топили печей, и плиты стояли холодными.

Тогда государь император и самодержец всероссийский дрожащей рукой подписал,— и лаком покрыли дрожащую подпись,— манифест семнадцатого октября.

День за днем кружил по улицам разноцветный, поющий, говорящий город. И уже связывали заклепками на проводах распавшиеся гнезда, натягивали новые проволоки, вагоны вывели из тупиков и по загудевшим опять рельсам развозили армию в хмельные, заговорившиеся города.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях не висели трехцветные флаги, не висели флаги красные. Рабочая слобода была пуста. Она собиралась спозаранку у железнодорожного училища за мастерскими и в ранние, мехом утренников охваченные часы митинговала... Был там Совет рабочих депутатов: захватила рабочая слобода казенное здание... Везли, и тащили, и несли туда оружие — маузеры, винтовки, револьверы, сабли, дробовики, порох... Гнались уже за товарищем Иваном сыщики, прятался Егор у Никиты, и Тулинов жил у старого Кубышкина. Сторожко, сдавливая за пазухой браунинги, крались из города к Совету рабочих депутатов и Егор, и Тулинов, и Иван. Миновав людные на чистой городской половине улицы, они открыто, как по гудку ходили раньше на работу, шли на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях.

— Не верьте, не верьте! — кричал Иван, кричал Егор, кричал Тулинов.— Не забывайте павших товарищей, зарубленных, расстрелянных, застеганных насмерть! Самодержавие сжало зубы. Великая октябрьская забастовка заставила его отступить. Оно отступило, затаилось, оно готовится к прыжку на горло рабочему классу! Организация! Организация! Вооружайтесь! Готовьтесь дорого продать свободу: она забрызгана вашей кровью! Не поддавайтесь провокации! Стерегите каждый свой

шаг! Не слушайте мирных болтунов, говорящих на городских перекрестках! Не слушайте буржуазии! Долой меньшевиков, затемняющих ваше классовое самосознание! Они ведут вас на гибель! Долой куцую, как обрубленный собачий хвост, свободу! Надо закрепить настоящую свободу. Закрепить ее можно только оружием! У рабочего класса один путь и один выход: да здравствует вооруженное восстание!

Шли хмуревшими сдержанными колоннами в город. Заполняли улицы крепкой густотой рядов. Будто выросли темные чарымские камыши и осоки на каменной мостовой.

Виляющей, расхлябанной походкой облепляли рабочих, как елочными украшениями, студенты, гимназисты, дамские шляпы, шапочки, котелки, палантины, шинели, горжеты, боа, кокетливые шелка отделанных серебром и золотом знамен кадетской партии, чернила анархических плакатов и стяги могучных эсеровских мужиков, поднимающих лаптем тягу земную.

За высокими заборами, в проходных каменных дворах с наглухо нахлобученными воротами ржали лошади и переступали на асфальтах. Казацкий чуб, ус, как черная трубка, показывался у щелей. И опять ржали лошади, лязгали ложа винтовок о камень, позванивали легкие, скороговорчатые погремки шпор и, шурша и хлопая, терлась о шинель перекладываемая в ножнах шашка.

Рабочие кричали за заборы, в дворы:

— Опричники!

— Охранники!

— Эй, выходи! Чего домовничаете?

— Убийцы!

— Кого стережете?

Высокая волна лилась, укатывала кричавших, кричала смена, и все покрывающая ликующая песня будто зажимала рот, глушила ответы...

А на десятый день полиция заняла Совет рабочих депутатов. Два дружинника стояли на часах и стреляли из маузеров. Их зарубили. Захватили в Совете делегатов от Свешниковской мануфактуры — и увезли. Нагрузили на воза литературу, оружие, порох. На Зеленом Лугу рабочие остановили и отбили воза. Гудками на Свешниковской мануфактуре, гудками на маломерках созвал бездомный Совет рабочих депутатов Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы.

Хоронили дружинников у Федора Стратилата. Несли через весь город по Прогонной, по Толчку, по Желвунцовской. Боевая дружина с маузерами охраняла гроба.

Будто весь городской кумач раздулся кострами на улицах. В холодной октябрьской мути рыдали из клуба приказчиков медные лилии оркестра похоронный марш. Тихими, задержанными шагами, как на неверных болотных зыбунах, шли рабочие. И вилась и плакала всеми чайками с Чарымы, с поемных лугов, с Шелина мыса, из Заозерья тысячетрубная песня:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...

Рабочие цепи с красными повязками на рукавах шли гуськом около тротуаров. Они ступали в шаг с колоннами, мерявшими улицы неторопливой задумчивой раскачкой. На тротуарах теснилась чистая городская половина и не смела сойти на мостовую. И только там, где кончались рабочие цепи, валила кучей, грудой, семенящим, шамкающим стадом толпа, ходившая на все похороны, на парады, на смотры, на бега, на иллюминации. И казалось: у черного огромного рабочего тела с красной головой знамен был ненужный пестрый хвост.

Перемежались уныло плакавшие песни с оркестром, сменялись улицы переулками, площадями, поворотами, ползли денные серые часы один за другим черепахами, стояли, как взявшие на караул, фронтонами, колоннами, пилястрами шпалеры домов по бокам,— рабочие скорбно шли-шли-шли и несли своих товарищей на зарубцевавшихся плечах...

И снова не было на пути городских, казаков, драгун... Снова ушло начальство в дома, заперлось на ключи, на цепочки, сникло... И никому не было оно нужно.

Сережка с Олюнькой забежал к дяде погреться в сторожку, приобвык немного, закурил... Никита грустно поглядел на него и вздохнул. Олюнька отошла в тепле, согрелись красные руки, и на посиневшем лице проступили розовые теплые капли. Кладбище шевелилось, шуршало тысячами ног за стенами. Олюнька звала на улицу. Никита задержал Сережку у порога и шепнул:

— Народу, как песку... Не бывало так. Поди в земле и то меньше лежит!..

И запнулся. Олюнька вышла, и Сережка заторопился, бормоча на ходу:

— Народу, как людей, дядька! Прощай покуда! Никита взял его за рукав и сердито сказал:

— Вот она и слобода вашему брату... Ты... ты... как теперь? Мое дело сторона... И ходить сюды шабаш? Жалованью... моему убыль...

Сережка юркнул глазами на Никиту. И вдруг сказал приметно, горько, с расстановкой:

— Тебя, дядька, за такие слова укокошить мало.

Никита выпялил синевшие глаза под кудластыми сивыми бровями, как торчащий бараний мех в дырявой рукавице.

И Сережка сразу усмехнулся:

— Носить тебе не переносить еще денег, дядька, за квартиру! Помалкивай знай! Полощи себе брюхо бальзамом. Свобода липовая! Господская!..

— Гумага, значит, одна? — весело спросил Никита.

Сережка не ответил, не оглянулся, догоняя Олюньку. Никита стоял на крылечке. Потухла у него сигарка, и шелушилась прогоревшая бумага на кончике. Держал Никита сигарку мокрыми губами, жевал и удивленно глядел на черный людской поезд, без конца, без края топотававший в ворота.

Бежали обратно зазябшие колонны, как школьники бегут по пересыпанным ночной метелью дорогам в полях. Окоржавелыми руками держали знаменосцы древки и скручивали красными зонтами.

Совет рабочих депутатов заседал всю ночь в ночной чайной на Числихе. Пришли к полночи дружинники, отвели хозяев и гостей в боковушку, заперли, задвинули ставни в чайной, погасили огни по улице — и в заднюю половину, через двор, собрались депутаты. Не было у Совета рабочих депутатов своего помещения, и каждую ночь он передвигался с квартиры на квартиру. Табельщик Митрофанов в маленьком деревянном сундучке копил и хранил «дела» Совета рабочих депутатов.

На Свешниковской мануфактуре, на маломерках с ночи поставили полицейские караулы: гудки не закричали утром. Тогда по Зеленому Лугу, по Числихе, по Ехаловым Кузнецам побежали гонцы. Ребята кинулись по заледеневшему фашиннику, гомоня и стуча в рамы, в ворота, в трубы.

Уже захлебывались улицы народом, а ребята обегали концы за концами, кричали по дворам, в пустых переулках, стучали по трубам, палисадникам, опушкам, путались, стучали по два, по три раза. Забыла полиция маленький масляный завод на Кузне, и он загудел тоненьким своим свистуном.

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вывалились через бульвары на Прогонную, снимали приказчиков, винный склад, колбасные, типографии, булочные... Снова встал город на ноги, забарахтались улицы, дома, полицейские будки, извозчики... Словно в ледоход, несло по улицам мутное, темное течение. И снова красный огонь знамен, чистый и ясный, бездымными факелами показывал дорогу.

Рабочие шли к тюрьме. Они несли на качливых коромыслах из белого железа с красной дорожкой поперек плакаты:

ТРЕБУЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ!
ДОЛОЙ ТЮРЬМЫ И ЗАСТЕНКИ!
АМНИСТИЮ ПОЛИТИЧЕСКИМ!

По длинным улицам один за другим выстроились, как разведенная борами огромная гармонья, эти плакаты. И будто тысячами голосов они перекликались между собою:

— Требуем! Требуем! Требуем!

На Зосимо-Савватьевской площади, у губернаторского дома со стеклянным закрытым балконом толпа остановилась, и плакаты развернулись веером. За дубовыми зеркальными дверями входа, в окнах внизу прилипли караульные с винтовками. Будто стояли там густым частоколом штыки, и губернатор из бельэтажа слышал их лязг. Никто не вышел к толпе. Только из-за малиновой шторы, из спальни, в углу, глядел под кромочку губернатор. Пах у него соленым бромом рот, и золотые верхние зубы прикусывали нижнюю нетерпеливую губу.

Толпа сдвинулась в сторону, как нагнул ее ветер, как заплеснуло волну кверху,— и она пошла. Губернатор все смелее, все шире раздвигал штору, просунул в щель нос, два пальца, а сердце покойно свернулось маленьким ласковым котенком под жирным шпиком соска и не мешало больше неловкими, запинаящимися толчками. Губернатор легким шелестящим шажком перешел в каби-

нет и позвонил лакею. Жмурясь, зевая, тихонько протянул губернатор:

— Э... Э! Братец! Да-а-й караульным по чарке!

Толпа перешла мосты через Ельму, обогнула старое городище — и желтые башни тюремного замка, будто поднятые на высоту широкогорлые круглые чаны, преградили дорогу. И сразу перед коваными железными воротами выпрямилась серой натянутой веревкой шеренга солдат. Где-то проиграл трескуче рожок. Солдаты взяли на изготовку, ожидая... На ходу, на первом перекате «Марсельезы», офицер крикнул... Залп отчетливо, ярко, раздельно хлестнул по трубам оркестра. Трубы, будто раздвинулся куст лилий, мотнулись, развалились, повисли чашечками книзу, а из них вытекли живые человеческие крики, большая труба постояла немного кричащим рупором — и груда измятой блестящей дырявой меди задрожала на земле.

Толпа опрокинулась на спину... И как поворачивала, пригибаясь, залпы кинулись вдогонку, крошили, рубили, пронзали стальными горячими иглами, кидали людские волокна на старое городище. С Прогонной насккали казаки, драгуны — и началась сеча. Толпа была заперта в огромные каменные сундуки улиц. Она ломилась в ворота, в дома, в окна... Били ее у ворот, выталкивали из окон, она прижималась к стенам, царапала их, ползла у фундаментов, пряталась за тумбами, за палисадниками, под навесами парадных... Дружинники выломали ворота у одного дома, сгрудились около дыры и встретили казаков частым браунинговым огнем. Упали, раскраивая головы о мостовую, первые всадники, — и казаки сразу повернули, понеслись, столкнулись с драгунами, смешали их, завернули... В передышку безумевшие люди вырвались в переулки, в проходные дворы, в сады, поплыли в замерзавшей Ельме, неся по городу жуткую молву.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах плакали бабы, не находя мужей, братьев, отцов. Черная сотня в тот вечер оскалила белые клыки — и куснула. Из Дома Всемиловейшего Спаса Степка Жила вынес портрет государя императора и самодержца всероссийского — и пошли. Били резиновыми тростями, палками, дубинками гимназистов, студентов, гонялись за евреями, разворачивали магазины, квартиры, волокли евреек при матерях и мужьях в сарай, в дровяники, под лестницы на Прогонной, на Золотухе, в Дымкове, на бульварах.

Губернатор вышел на балкон, открыл стеклянное окно и держал речь. Кричали сотнями черных голосов:

— Не посрами-и-м!

— Сокруши-и-м!

— Раздоби-и-м!

— Смерть жидам!

— Да здравствует государь император!

— Урр-а-а! Урр-а-а!

Черная сотня выла, размахивала палками и, обнажая головы, пела пьяно и тягуче гимн.

Пришли вечера темные, снежные, пьяные. Чарыма снаряжало снежные корабли от Николы Мокрого и посылало на город. Корабли роняли белые паруса, снасти, обваливались сугробами корпусов, загружали дороги, горбыли, настилали пухлые тяжелые насты...

Государь император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, князь тьмутараканский и прочая и прочая, поехал на богомолье к Троице-Сергию, поехал в объезд по великим и малым городам умирённой империи.

Закулачили ноябрьские стужи, занесло Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы, как ни в один год не заносило. Готовилось Чарыма к полноводному весеннему разбою. Таился Совет рабочих депутатов на задворках, сходились, захватывая просторные барские квартиры, особняки, подгородные дачи,— и исчезали. Митрофанов хранил сундучок.

На Свешниковской мануфактуре, в мастерских, у мыловаров, у кожевенников прибывали дружинники. По чердакам, под полами, под порошками, под опушками отпотевали до поры до времени укладистые браунинги, неповоротливые берданы, тяжелодулые винтовки, щеголя-маузеры. В сараюшках, в вырытых ямках, под дровами, в ящиках, в корзинках дремал гремучий огонь толстобрюхих бомб килами, ведерками, чугуничками; сохли пироксилиновые пряники-шашки и черная мелкая пороховая икра.

Оборвали с заборов зимние ветра манифест семнадцатого октября, варили сладкое варенье кадеты на лекциях, в театрах, в клубах, в народных домах; начинали сардинки гремучим студнем эсеры; меньшевики чистили тупые клювы и дрожали выпирающим полным зобом торжества, пробовали маленькими ложечками поминальную кутью.

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вооружались. На погосте у Никиты собирал товарищ Иван боевиков-дружинников, а Никита ходил с колотушкой, в больших валенках, свисавших с колен рваными ушами, стучал дозорным погремком, посвистывал,пил черный, как деготь, бальзам.

Начинала в шесть утра гудеть Свешниковская мануфактура, к ней приставали малого роста гудки, заливалась сирена в мастерских: Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы хлопали дверьми, засовами, и уныло по морозцу скакали рабочие на всполье к проходным будкам между тусклых ночников в домах...

А небо висело такое гладкое, мирное, нежное, в серебряной сбруе с наборными камнями звезд.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Москве, на Пресне, шел летний ремонт с подвесных люлек: шпаклевали и перетирали декабрьские раны тысяча девятьсот пятого года. Стропилили, крыли новым железом крыши, развозили закоптелый, покропленный кровью кирпич на бульвары, разбивали его на щебенку, выгибали бульвары на рабочей крови кривым рогом, красили тоновыми колерами горячие летние лбы домов и золотили дырявые, прорешные церковные купола. Пресня переодевалась.

Опять дружинники хлебали из общего рабочего котла нищету, долгий солнцеворот рабочего дня, безработицу, сырой сон подвалов, вороватые ночные обходы жандармов по указу его величества... Декабрьских дней не было. Праздновали царского зимнего Николу. Жгли иллюминации на Пресне, и звонили древние колокола над Москвой, как при царе Алексее Михайловиче. Егора звали Степаном. Жил он в Москве, на Пресне, третье лето. И будто на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузницах, в шесть утра будили гудки, и он бежал по колкой каменной мостовой на фабрику. Кончали в вечерние зори на фабрике, и он кружил по путаным, как у спящего человека волосы, московским улицам, тупикам, переулкам в Замоскворечье, в Лефортове, на Девичьем поле, на Таганке, на Арбате, взбирался по черным, будто закопченные трубы, лестницам в каморки, проваливался в дыры подвалов, плыл, отдыхая, на гро-

мыхающих флигелях конок, в Сокольники, на Воробьевы горы. Лежала в кармане темно-синяя бессрочная книжка Степана Петровича Ежикова, мещанина города Козельска, особых примет нет.

А потом на Пресне шел летний ремонт, убирали лохмотья рабочей власти, ночью была облава... Взяли Степана Петровича Ежикова, повели, посадили, повезли... Пришел некий человек в камеру,— ходил он по Зеленому Лугу, по Числихе, по Ехаловым Кузнецам по своим надобностям,— поворотили к свету, зорко шмыгнул человек в глаза, просмеялся, будто смеялись не тут, а за дверями, просмеялся и сказал:

— Да, это он: Егор Яблоков.

Чарыма синело в узкую книжную четверку решетки вторым вечерним небом, а ночами на островке зажигались, как устье печки, костры. Егор слышал далекий гул Свешниковской мануфактуры, и не были слышны маломерки, только, будто миндаль на прянике, гул Свешниковской мануфактуры отдельно, вверху, а под ним что-то гудело неуловимое, широкое, развернутое крылами.

Егор опять был со своими. Будто тут, рядом, за дверями, начинался вихрастый фашинник Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов. С Чарымы часто дуло прогорклым сырым ветром, болотными туманами — и тогда Егор втягивал насторожившимися ноздрями родной запах.

Года не проходили. Он еще вчера проскользнул по Кобылке к Девичьему монастырю, прокрался по стене, выждал в повороте башни, баранья папаха была как густой куст репейника, не примечала, прислушался к затихнувшей стрельбе на Зеленом Лугу, едва различимые полуночные тропы вели к насыпи. Егор быстро пошел, перекинулся через насыпь — и зашагал настами к Чарыме. Он шел всю ночь. Дубленный пиджак был подтянут зеленым кушаком, папаха сидела копной на голове, заиндевела, протекла потными протеками на лицо. В карман сунул накануне товарищ Иван темно-синюю книжку, прижался к ней теперь морозным боком браунинг, как верная собачонка.

Ходили по чарымским дорогам рабочие на побывку в свои деревеньки, носили папахи, носили дубленные пиджаки с красными, голубыми, зелеными кушаками... Егор шел на побывку в места глухие, в Заозерье, за Николу Мокрого. В торговом селе Большие Пороги,—

шла тут дорога в Заволочье,— купил Егор малый сундук на базаре, чайник... Спустил задешеву папаху, пиджачонко с кушаком, перерядился в пальтишко, в вязаную шапчонку, переночевал на постоялом дворе — и еще отшагал двадцать верст до станции.

Скакал Егор на станциях с чайником, цедил куб с кипяченой водой, полоскал брюхо теплом, ехал-ехал в Москву. Была явка в уме, как родинка на шее за воротом,— не смоешь, не покажешь, не позабудешь. Года не проходили...

В декабре на Свешниковской мануфактуре ввели две смены за дни забастовочные, за дни прогульные, вернулись старые мастера, на желтых дверях в конторе вывесили расчетные белые флаги, будто вывели за ворота, на мороз две тысячи ткачей и пнули коленком под зад.

Фабрики и заводы встали. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы пошли в город. В рабочих стреляли. Тут напали рабочие на оружейный магазин, разнесли, разбили, побежали с оружием в рабочую слободу — и вкопались на бульварах... Дружно, нажимом, дубинушкой повалили первую конку на рельсах... И пошло... Согнали по бульварным линиям конки на выходы с бульваров, согнали извозничьи сани, потащили доски, кадки, ведра, корзины, железо, кирпич, заскрежетали пилы по телефонным, по телеграфным столбам, лопнули проволоки, перекечевали бульварные, прямые, как нитки, решетки на перегородки к баррикадам... Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы оторвались от города.

Баррикады вырастали по улицам черными сугробами. Будто шла долго черная метель, и выпирали земля, черные бугры дерева, железа, проволоки, дранки, камня. Встали баррикады на объездах с полей в рабочую слободу: копали там мерзлую землю, били скорые сваи, заваливали, рыли окопы...

Как отстегнули коней от конок, погнали их верхами вожатые в город,— спутались конки путями во всем городе, заставили рельсы недвижимыми флигелями, словно посередь улиц пролегла новая городская стройка, словно из одной стало две улицы, две Прогонных, две Золотухи, две Кузни. В морозной темноте зажглись на баррикадах красные фонари флагов. И казаки сделали первый налет на бульвары. Разошлись кони скаком в серебряной пыли, как булькала и бурлила под ногами

пена в водопаде, надвигалась издали, оставалась позади густой гривой горбатого потока.

В дыру баррикады, вымеряя глазами непроскаканный конями клочок земли, наблюдал Егор. Дружинники замерли, подпуская казаков. Казаки наскakали, наострили пики... И невидимые, вертлявые, въедчивые пики выкинули сухие маузеры... Казаки накололись. Егор снял хорунжего. Он перекинулся на спину, свис вбок, конь понес, хорунжий запутался ногой в завернувшемся петлей стремени, и долго хлопалась и прискакивала на дороге голова хорунжего, будто хотел он вскочить в седло, всплескивал руками, поднимался, обрывался, конь скакал, и он стучал и стучал обмягшим затылком о ледяную корку...

Маузеры зачастили. Перед баррикадами бились раненые кони, стонали и царапали снег раненые... Казаки опрокинули лошадей и, рассыпавшись, кинулись обратно. Маузеры догоняли, торопились... Егор тревожно закричал:

— Стой! Стой!

Дружинники повернулись к нему, не отнимая маузеров.

— Ребята, надо бить наверную! Патронов нам не подвезут со складов. Пуля как золотой. Бить будем у загородки, в лоб... Гляди, опочинились на первый раз ничего!..

Прорывали войска баррикады с налета на других концах Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов. Сидели за каждой баррикадой горсточки дружинников, отбивали дробовиками, бульдожками, редкими маузерами...

Ночью захлебнулась рабочая слобода народом, хрустел, и шелестел, и скрипел ухоженный снег, стучали топоры, пилили, волокли, копали, строили новые тесные баррикады, ряд за рядом, перегораживали от стены до стены ночные улицы, лазили в лаз сбочку на пробу бабы, подтыкали их в зад дулами ружей дружинники и смеялись. Бабы были в теплых, завернутых на голове шальных.

— Ну, толстоголовые! — кричали рабочие. — Не мешай! Пеки пироги знай! Тут дело не бабье!

— А мы в сестрички! А мы в сестрички! — отшучивались бабы.

Совет рабочих депутатов заседал в поповском доме у Богородицы на Подоле. С высокого балкона поставили прямую мачту, привязали ее железными увязками к князьку и прибили по рубчику красный флаг. Он заплескался утром над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами. Будто плыла рабочая слобода по земле на тысячах кораблей, трепал встречный ветер флаг и мешал идти кораблям.

Ночью закоченели мерзлой капустой мертвые казаки перед баррикадой, раздуло и заморозило лошадей, раненые отползли недалеко, кончились и застыли. Дружинники чутко перелезли поверх баррикад, подкрались кошками к трупам, сняли винтовки, шашки, револьверы — и заспорили, деля оружие.

— Я из винтовки. Я в солдатах был. Маузер — это чиркалка, а не оружие.

— Невидаль какая — в солдатах был! А я охотник какой! Птицы нет — и то птицу застрелю.

— Мне винтовка, тебе и берданка хорошо.

— Ложа у тебя за бороду задевает!

— Отстаньте, ребята, — сказал Егор, — дело только начинается, стеречь надо каждое лишнее слово, а у вас зубной доктор, зубы глядит. Гляди строже в темноту!

Егор говорил, не отрывая глаз с темневшей пустой площади. Дружинники пошептались — и замолкли.

Вылезли и в других концах за баррикады, снимали с убитых солдат оружие. На Зеленом Лугу вылезли, поползли. Солдаты встретили от Винтеровского моста жадной беспощадной стрельбой. Полежали, пригладелись и, не подымаясь с земли, тянули винтовки, а потом волокли за собой в лаз.

За ночь густо обстроились на баррикадных улицах. Будто проводили по улицам канализацию, разворотили, распороли брюхо земли, вывалили кишки наружу, и свернулись они поперек.

Мороз глушил. Развели скупые костры на дворах, бегали попеременно хлопать рукавицами, палить руки, поворачиваться спиной, брюхом, совать валенки, сапожки в огонь. Вестовые-подростки гоняли с одного конца на другой. Разбирали новое оружие новые дружинники.

— Куды ты, куды ты! — держала за рукав баба. — Поковыряли земельку, помогли — и будет. Григорий, останавливайся!

— Иди спать,— сердился дружинник.— Ребята одни остались. Пробудятся — и жильцов перебудят за перегородкой.

Баба хныкала:

— И стрелять-то ты не горазд... Зря ружье займешь. Отдай, у кого глаз есь. Пойдем домой. Непроворной солдат — мишенька для пуль.

— Сама ты непроворная! Катись! Не срами при народе, полохало!

Баба прижала к себе, охватила с руками спереду, ерзала на спине толкающими пальцами.

— Изрубят, изрубят, в кашу изрубят тебя. Ой, я несчастная вдова... с малышам... соплюнам... куды я денусь-то?

Григорий окунывался в близкие глаза, встряхивался, вел бабу в проулок, толкал в спину и зло шептал:

— Застрелю, суку! Где бы... поддержка... Тут сердце выворачивает...

Баба оставалась одна. Она долго стояла, мазала на замерзающих щеках слезы, выглядывала вслед скрипевшему валенками Григорию, крестила ему спину и тихонько шла думать, не спать над раскидавшимися в тряпье ребятишками.

На Числихе, на баррикаде, разговаривали ткачи:

— Спит поди теперь, ребята, Свешников на золотой кровати?

— Да-а, спит?! Держи карман! Казаков поит из своих ручек на нашего брата.

— Не-е-т! Сегодня никто в городе не спит, zenки не закрывает. Любопытство, брат, это — болезнь. Прилипчивее бабы.

— А тебе, Ванька, не страшно?

— Как не страшно! Ясно, страшно.

— А чего тебе страшно?

— А того страшно: о чем, думаю, человек думает, когда помирает? Вот этого и страшно.

— И трус ты, я погляжу!

— Храбрость дело наживное. Храбрости на всех хватит.

— Винтовку взял — значит нечего и рассусоливать.

— Хвастливые, знаешь, бывают... До ветру часто бегают...

— Ребята, будто кашлянул кто?

Дружинники заглядели всматривающимися, сверлящими морозную ночь глазами.

— Это я,— проговорил ткач у сторожевой дыры.— Тишина будто на небе, а не на земле: спать охота.

Будила баба прилегшего на кровать мужа в Ехаловых Кузнецях:

— Постыдись! Постыдись! До сну ли теперь? Другим больше надо?

— Дай отойти-то, неумная. Мороз на спине ровно кожу обдирает.

— Больно долго обдирает: спина-то у тебя с крышу! Пыхнул раз — она и обогрелась. Коля, идти надо. Мне глаз не поднять на соседей.

Баба снаряжала кузнеца, укутывала его тепло, давала байковые нарукавники, одергивала, сама завязывала пестрый шарф на шее...

— Береги себя, Коля,— прилипала баба утешающим поцелуем.— Может... все и хорошо обойдется.

Коля долго шел к Совету рабочих депутатов, останавливался, курил, думал, поворачивал обратно и опять шел. В Совете рабочих депутатов несли дежурство трое рабочих и товарищ Иван. Сидел Иван за письменным столом батюшки, поблескивал стеклышками и, как вода носом по бумаге, писал и откладывал в сторону маленькие исписанные листки. Стояли на столе фотографии матушки и батюшки, лежало с красной муаровой закладкой малиновое Евангелие, стояла горкой золоченая бумажная игрушка — Киево-Печерская лавра, и над столом, с панатикой, с орденами, в митре, в черной раме висело сухощавое, костяное, игольчатое лицо митрополита Филарета.

— У Параскевы Пятницы народ нужен,— говорил дежурный,— иди туда. Чего тебе? Выбирай в углу амуницию.

Там стоял небольшой пучок ружей, сабель, а на полу лежали грудкой револьверы.

— Патроны клади в карманы. Оружие бери на одного. Одним бойцом будет больше.

Коля уходил с винтовкой.

— Кышки там на улице народ: зря-де в Совете оружие ржавеет. Сто тысяч народу с бабами живет в слободе, а поди двести человек в дружине...

Спокойная, как лежит недвижимым пластом в золотых доспехах Чарыма в безветренные июньские дни, была эта первая баррикадная ночь. Не отбивали часы в цер-

квах, не свистели городовые, не ездили ночные извозчики на прыгучих глаженных полозах — город застыл, вымер. Глядели сквозь мутную пряжу облаков непонимающие звезды: ясные детские глаза, открытые под цветным пологом, сияющие за радужным зайчиком...

— Подкрадываются, ребята,— шептали дружинники друг другу.

— Виданное ли дело, с генеральской храбростью оставить ни при чем слободу?

— Тут минута дороже денег. Нам ли давать крепости строить?

— Тянись, товарищи, ухом и брюхом. Удар обдумывают...

— Зады-то у нас как?

— Все равно не живать, кажись, на свете!

— Другие за нас поживут всласть: не мерзни боле на морозе! Эх! Поддержат ли, братцы, другие города? Весточки поди полетели! Партия на что другое, а заварить кашу нигде не откинет... Послала давно...

Члены Совета рабочих депутатов обегали баррикады, совали патроны, вели бойцов, проверяли караулы... Шевелилась всю ночь рабочая слобода, будто была она городским сердцем, сердце работало, билось, подымало грудь, а город, как мертвое туловище, был недвижим, раскинул длинные ноги улиц, переулки рук. На баррикадных работах члены Совета рабочих депутатов звали:

— Товарищи! Кому оружие? Тут и бабы сделают. В Совете порожнее оружие. Совет вас призывает. Утром начнутся бои, товарищи! Необходимо напряжение...

— Давай, давай! — кричала рабочая молодежь и шла в Совет.

— Захвати на меня!

— И на меня!

— И на меня!

— Идем вместе!

— И тут делай... и там делай,— ворчал старик.— Ну, забастовка, ладно... А почто на солдата с голым рукам лазить? У казака рогатина, а у нас пальцы короткие...

— Дедко, не подрывай!..

— Я ничего... А копнем, что ли, друже? Землекоп не землекоп, из артели не выкинешь старика, едрена мать!

Грозили в других местах члены Совета рабочих депутатов:

— Товарищи! Дружинников мало. Не выдавайте! Дело начато нешуточное. Зевать некогда. Ворвется в слободу казачье, попомните лето, пощады никому не выпросить. Разбирай оружие! В Совете сами сидите, сами решили драку!

Кидали бревна, лезла земля глыбами, валили заборы, палисадники, набивали мешки мерзляком, но мялись — не брали оружие, не шли.

— Сами что сидите? — кричал задирающий бабий выкрик.

И другой вторил ему:

— Других на смерть посылаете!

— Что верно, то верно, — тихо, несмело говорил, роя яму, кожевенник.

И враз, негодуя, шумели токаря, слесаря, железная дорога, ткачи:

— Стыдно, стыдно, бабы!

— Молчите, мокрохвостые!

— Сами выбирали!

— Без Совета нельзя!

— Кто распоряжаться станет!

— Ты что — рабочий али не рабочий? Бабьему слову обрадовался! Кому яму роешь?

Член Совета рабочих депутатов перебивал и махал рукой:

— Товарищи! В Совете пятьдесят человек. Сорок человек сидит с оружием за баррикадами. Десятеро дежурят, Совет посменно работает.

Замолкали, лениво шли к Совету. И тогда на поповской лошади повезли оружие по местам, совали в руки, надевали через плечо. Смеялся шутник, вздыхая и подкидывая ружье:

— Скоро ли, товарищи, конец оружию? Эдак всех в дружину запишут: некому будет труса водить!

К утру пошел снег. Распорол ветра пуховые перины облаков, подули ветра, повертелся сначала мелкий, колечками, легкий пушок, долго не садился, пылил, потом свалился комок слежалого, покрупнее, пуха, а потом вывалили перины, тряхнули распоротыми наволоками, и повалило, повалило, потекло... На баррикадах, как на крышах, укладывался чистый усатый снег, укладывался на папах. Дружинники больше ничего не видели

перед собой, не видели и с той стороны ничего. Казалось, не было баррикад, города, земли, а только летел откуда-то и куда-то и зачем-то снег. Снег спутал дороги, улицы, площади. А в путанице на баррикады стали наткаться мужицкие лошади. Мужики правились до свету на базары, на Толчок, на Грибное Болото, к Казанской и натыкались, тпрукали, вылезали из саней с бранью. На Кобылке сгоряча сами выстрелили ружья: свалилась лошадь, подстрелили мужика. Вылезли на баррикады и осветили фонарем. Мужик ворочал большими плачущими глазами и стонал, хватаясь за груди:

— Ой, робята! Ой, робята!

Два дружинника виновато понесли его на брезенте, стянутом с воза, в Совет. Казалось, сами они уныло и безнадежно стонали с мужиком вместе, и вся мужицья боль, отчаяние, укор были своими. Дружинники не донесли мужика до Совета. Мужик вдруг зачмокал губами, кровь выперла через пальцы густым суслом, глаза моргнули и встали... Остановились и дружинники.

— А!А! — громко махнул один рукой.

— Куда его теперь?

— Куда, куда? В снег — и крышка. Будешь долго думать — все равно не воскресишь. Ну, всыпался — и ничего тут сделать нельзя.

— И мы тоже!

— Мы же... мы же не хотели... Э-эх! Жалко мне его!.. И себя... жалко...

— А в снег не годится. Снесем в Совет. Пускай там важдаются с ним. От нечего делать поп кстати отпоеет заупокойную обедню.

Дружинники понесли мужика дальше. В Совете рабочих депутатов оглядели его, товарищ Иван потрогал голову, обстригли крючки на шубенке, развернули полы, расстегнули пиджак, разорвали рубаху: на груди, недалеко от сердца, будто вырос третий сосок, чернел тупой сгусток крови.

— Неси на улицу: помер, — сказал дежурный. — Покойников еще будет довольно. Клади у сарая там. Вместе со своими зароем. Холодно на дворе: день, другой не протухнет.

Дежурный отвернулся. Дружинники начали браться за мужика. Вдруг дежурный быстро, скороговоркой, сердито закричал:

— Зря в людей тоже нам не лицо пулять!

— Да разве?..

Дружинники охнули на ответ, покачнулись у порога и молча понесли мужика по лестнице, торопливо и осторожно стуча по обледелым ступеням.

Шутили с мужиками дружинники у других баррикад:

— Министров выбиваем!..

Мужики испуганно оглядывались и тихонько, подумав, говорили:

— Дело это хорошее... Так... Так...

Они держали лошадей под узды, несмело осаживали, не знали, что делать, что говорить.

— Сига-а-й к нам, что ли! — звали дружинники.

Мужики молчали и уныло глядели под ноги.

— Ну, отъезжай, отъезжай! Заворачивай оглобли, некогда нам. Провороним настоящую дичь. И тебе худо будет.

Дружинники толкали мужиков дулами. И мужики робко, дрожа, спрашивали:

— А я поеду, значит? Можно, братцы? Отпустите Христа ради!

— Гони! — кричали дружинники. — Спятил ты, деревня? Сказано, министров выбиваем... самодержавие... а не мужиков...

Мужики дергали лошадей вбок, кидались в метель... И было слышно, как хлестала-хлестала-хлестала, торопилась испуганная ременница. А у одной баррикады мужик отогнал лошадь в метель и заорал:

— Эй, прохвосты! Лентяи! Ни дна бы вам, ни покрышки!

Старый дружинник громыхнул ему вслед, в слепую метель, дорогую и пустую пулю.

Снег пошел, сбил работы, наскоро заканчивали и разбредались по домам. Скоро остались на улицах одни дружинники.

Центральные бульварные баррикады защищали мастерские. Аннушка была в полушубке, в папаче. Держала она маленький маузер маленькими вцепившимися руками. И еще были две бабы: Олюнька и Фекла Пегая. У Феклы Пегой живот выпирал большой сахарной головой. И Кубышкин смеялся:

— И от какого такого дела у тебя опухоль, Феклушка? Где нагуляла-то?

— Ветром надуло, ветром надуло, Силантий Матвеевич,— отвечала Фекла Пегая.— Тебя и на столько не хватит.

— Знатье бы, знатье бы! — шелушил щеки старый Кубышкин.

Фекла Пегая тыкала беременным животом Анса Кенинь и шепталась с ним. Он говорил вполголоса:

— Не место тебе здесь, Фекла. И от ребят мне неловко. Уходи ты!

— Где ты, тут мне и место. Не уйду. В брюхе у меня тоже дружинник сидит. Больше народу...

И Фекла Пегая осталась. Был у Олюньки с Сережкой медовый месяц, сладкий, бессонный, синие кольца он кинул в глаза, замаял... Олюнька нацепила на рукав красный крест и сидела строго, неподвижно за Сережиной спиной.

На центральных баррикадах было снежно и тихо: не натыкались мужики. Егор наклонился к лицу Аннушки из метели:

— Снежит, Аннушка, снежит! Как бы где не прокрались солдаты! Ты не замерзла? Поди погрейся!

Егор бережно смахнул с груди, с плеч ее влажный, как белый бараний жир, пласт снега. А Кубышкин не унимался, привязывался к Фекле Пегой:

— Тебе родить надо, а ты на дворе морозишься! Не убежит тут, кроме как на небо, твой Богдан Хмельницкий!

— Отвяжись от меня, старик! — сердилась Фекла.— Баба, ты знаешь, на сносях — сама себе не хозяйка. Накрою тебя сарафаном... заплачешь...

— Тьфу! Тьфу! По-собачьи, значит?

Кубышкин подумал, посмеялся себе под нос и заговорил ко всем:

— Знаете, ребята, Фекла мне напомнила... Собачка была у меня у молодого... Пулькой звали. Собачка была с большой кулак. Скажу: «Пуль, Пуль!» — она, как мышь, белой шерсткой тряхнет, фью — и нетути. Бег был необнаковенный. Вот... Просится ночью на двор, задом трется об пол... Выпускать бы, а спать охота, будто не спал никогда. Покричишь, пошумишь на нее: Пулька помолчит, потом опять за свое. Я и научил ее ходить, как кошку, на песок. Корытце такое сделал... Подведу ее к корытцу с песочком, ножку подниму у Пульки, она и сделает. О, Фекла, каки дела бывают на свете! Разро-

дися ты тут не ко времени. С царем надо за воротки, а тебе перегрызай пуповину!

Фекла Пегая обняла сзади старого Кубышкина и ласково напорошила в лицо ему снега:

— Не вводи в грех, не вводи в грех!

— Нет, право, Феклушка, ты бы гору-то за угол, за угол, на постельку!..

Метель расходилась. Дружинники не видели друг друга, только что-то черное, серое копошилось рядом. Егор перекликался с Тулиновым:

— Дружище, не занесло?

— Не-е-т! Видать маковку.

— Тулинов! До времен-то каких дожили! А?

— Да-а! Только бы на земле удержаться!

— Прокарабкаемся! У меня в левом глазу чешется.

— А у меня в правом.

— Оба врут.

Метель наметала снег лопатами. Дружинники утапывали его. И хотя снег вил, крутил в непроглядной вышине спереди, сзади, но было уже светло. Кто-то сильнее метели распоряжался светом и тьмой — и утро пришло. И как-то вдруг сразу весь снег свалился, проглянули дома, улицы, облака. Облака будто сжали белые зубы, будто простегали распорины облаков толстыми швами, и снег засел в мешках. А дома были одеты в беличьи меха, а на улицах растянули пышные шкуры белых медведей. И никто не ходил по ним до полдня.

Войска пошли в наступление в полдень. Обложили они с бульваров Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Войска лили на баррикады трескучий грохот пуль. Дружинники не отвечали. Войска не подходили близко — и стрельба была напрасна. Шарахнулись вдоль бульваров шрапнельные метлы, одна, другая, третья. Дружинники лежали на земле — и не отвечали. Тогда войска, нагибаясь, лениво и вяло начали подходить к баррикадам. Их встретили редким, на выбор, на мишень, огнем маузеров, винтовок, дробовиков... На Зеленом Лугу на ткачей кинулись солдаты в штыки. Ткачи вылезли на конку и, свесив ноги с конки, сидя, куря, деловито метясь, расстреляли два серых клубка шинелей. На Кобылке валились дружинники от невидимого солдатского огня. Где-то шелкало, трещало — и дружинники падали. Тут выбила баба напротив стекло в зимней раме, протянула руку вверх и закричала:

— На колокольне! На колокольне!

Дружинники вылезли за баррикаду на бульвар, забрались на деревья — и оттуда пули зазвонили в колокола... Солдат сняли. Перегнулся один солдат грудью на перила, выронил винтовку вниз, и шапка его завертелась, завертелась... Так и остался висеть солдат во весь день с вытянутыми руками вперед.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях была пустота. Крались по стенам редкие бабы, дети, только за баррикадами, в проходах между ними, стояли, сидели, лежали застывшие сторожко дружинники.

Рабочая слобода отбила все атаки. Стояли на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях, как фабричные трубы, колокольни. Совет рабочих депутатов посадил метких стрелков на колокольнях, и они оттуда выбирали на выбор офицеров, фельдфебелей, унтеров... Были им открыты городские улицы, солдаты, поджидавшие казацкие сотни в запертых дворах.

Дружинники устали. Метельная бессонная ночь, дневные бои были как колодки на знобивших ногах, кружились мельничными жерновами головы, глаза липли...

А навечеру солдаты отошли — и в городе началась частая-частая-частая ружейная потасовка.

— Ура!Ура!Ура! — покатилося за баррикадами.

Из города бежали гонцы-рабочие. Подняв руки кверху, бежали они к баррикадам и кричали:

— Моршанцы! Моршанцы! Восстал Моршанский полк!

За баррикадами запели, закричали, засмеялись. Дружинники рвались в город, как привязанные к столбам на конном дворе кони. Ночью они выступили.

Баррикады выросли на Прогонной, на Золотухе, на Толчке.

И опять была спокойная, как снежное поле, ночь. Совет рабочих депутатов захватил типографию. Печатали в ней «Известия Совета Рабочих Депутатов». Выносили скипидарные мокрые груды газет, раздавали на улицах, на баррикадах, в Совете.

ТОВАРИЩИ!

В МОСКВЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ!

НА ПРЕСНЕ ИДЕТ БОЙ!

В ВОЙСКАХ БРОЖЕНИЕ.

ВОЙСКА ОТКАЗЫВАЮТСЯ СТРЕЛЯТЬ В ПРОЛЕТАРИАТ!

В ПЕТЕРБУРГЕ ВОССТАЛИ МАТРОСЫ.

КРОНШТАДТ ВЗЯТ!

В ХАРЬКОВЕ, В САРАТОВЕ ВСТАЛИ ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ.

В ЗЛАТОУСТЕ ОБРАЗОВАЛСЯ СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ.

К ОРУЖИЮ! К ОРУЖИЮ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ!

По баррикадам, перекатываясь, как далекий ворчливый гром за Чарымой, гудели многоголосые ликующие крики.

И Аннушка шептала Егору:

— Правда ли?

Егор морщился и молчал. И будто понимал, не слыша ее, Тулинов и тоже шептал на ухо:

— Врут, врут, Аннушка!

Подобрали оружие на улицах. Дружинников прибывало. Совет рабочих депутатов обвыкался. Пробрались закоулками за баррикады врачи из города: послала организация. В поповском доме перевязывали, лечили. Сколотили из рабочих и баб отряд санитаров. Был на бульваре маленький аптекарский магазин Августы Линдер, немки. Посадили туда рабочих для охраны, и Августина Линдер трясущимися от испуга, как тонкие черствые батоны, бело-розовыми руками отпускала лекарства для Совета. Разделили дружинников на три смены: отсыпались они в соседних с баррикадами домах. А Сережка с Олюнькой бежали домой: шли последние дни медового месяца.

Ночью из-за трех баррикад, в разных концах, сделали вылазку в город, привели городских, офицера. И один городской, вытягиваясь, отстраняясь от своих товарищей, залепетал:

— Я... ежели... где пост... я и на пост встану...

Дружинники весело засмеялись. Старый Кубышкин походил около городского. Тот следил за ним глазами, как троекратный иконный лик над церковным входом. Глаза у городского не двигались, но они видели прямо, с боков, они будто видели на затылке. Городской был огромен, будто высокое парадное крыльцо.

— Не подходишь: мал ростом,— сказал Кубышкин.— Упадешь — поленица дров свалится на голову.

А офицер скорчился, презрительно плюнул, окинул волосатый грязный отряд дружинников и заносчиво закричал:

— Ведите нас к вашему... как его... к на́большему!..

Дружинники нахмурились. Сережка сорвал с плеча ружье и наотмашь ударил в грудь офицера прикладом. Егор не успел схватить за руки — офицер упал, выждал поднимавшуюся в груди боль и злобно зашипел:

— Р-раз-бой-ни-ки!..

Городовые беспокойно задвигались, переступили кожаными ногами, свернули плечи крутыми дугами, не глядели на на кого. Дружинники опять весело засмеялись. И больше всех смеялся Кубышкин:

— От разбойника слышим, ваше благородие! Будет валяться-то, вставай! Мундир запатраешь!..

Егор допрашивал офицера:

— Откуда ждете войск? Моршанцев усмирили?

Офицер молчал. Его жадно и цепко подбросили со снега и поставили на ноги.

— Говори!

— Отвечай!

— Шевели языком!

Офицер, ухмыляясь и глядя болевшую грудь, прохрипел:

— Я отвечать не стану...

Сережка взмахнул рукой, Анс Кенинь пошел к офицеру быком, Егор дрогнул весь — и выстрелил офицеру в рот.

— Это так! — сказал Анс Кенинь.

Городовых повели в Совет, и они наперебой галдели:

— Солдаты отказываются!

— Бунт!

— В Моршанском пища гнилая!

— Заперли моршанцев!

— Из Петербурга идут войска!

— Ждут с часу на час!..

— Сегодня будут!..

Егор поднял маузер над головой:

— Замолчи-и-те! В Совете расскажете!

И в молчании Кубышкин вдруг сказал печально, поворачивая назад:

— А я, ребята, снежком... снежком его запорошу. Больно в глазах рябит...

И он побежал к лежавшему недалеко офицеру.

В Совете городовые наперерыв торопились отвечать на допрос, укоряли друг друга в укрывательстве, спорили, кричали. Молчали только двое. Стояли они у порога, теребил один светлую пуговицу, а другой засунул глубоко в карманы руки с обшлагами, будто думал первый какую-то упорную, неразгадываемую думу, а второму было холодно и скучно стоять.

Дежурному надоело допрашивать. Он печально и злобно забормотал:

— Всё, что ли, продали? Нет больше ничего за душой продажного?

Городовые смешались и раскрыли рты. Дружинники захихикали, нацелились гадливо взглядами на городских, поплевали губами без слюны, точно в комнатах был тяжелый, вонючий смрад. Дежурный помолчал и спросил:

— Жалованья сколько получаете? Шашнадцать? Четыре рубля вам цена: половину на гроб, остальное на похороны.— А потом он повернулся к молчаливым городовым у порога: — Вон... стоящие ребята. Те, видать сразу, мужики настоящие... Тем... и мы бы шашнадцать дали. Курилов, ве́ди их всех в сажалку... Побегут — чокни...

Была рядом сажалка в портерной: торговали винишком, пивышком в те времена не ближе ста сажен от церковной ограды. Сидели в сажалке теперь попы, по пять попов с Зеленого Луга, с Числихи, с Ехаловых Кузнецов, «коровье здоровье» из черной сотни, кабатчики, воры и церковные старосты... Разбавил городовыми сажалку Курилов, загонял сердито за стеклянные двери и втемяшил последнему городовому, будто парадное крыло, в одно время кулаком взашею и ногой в широкое место. Шепнул городской Курилову на дороге:

— Отпусти меня: потом слюбится... Раскатают вас по бревнышку... я к начальству... так-де и так... Фамилька-то Курилов?

И чокнул Курилов вдогон, даже языком сладко лизнул губы.

А днем опять началось... Дружинники видели с колоколен: шли войска с вокзала конные, пешие, с пушками. Проходили недалеко за каменными домами, и заливался тоненьким жидким ширкунцем оттуда запевала:

Засвистали козаченьки
В поход с полуночи,
Заплакала Марусенька
Свои ясны очи...

Войска пошли густо, хлебным тестом через края квашни. И воздух задырявился, заразился, заветрил... С крыш, с колоколен, в баррикадные лазы редко, споро стреляли дружинники. Солдаты убывали. Будто било молнией в лесу дерево, и валилось оно, а другие деревья стояли. Бегали много раз солдаты и на Зеленом Лугу, и на Числихе, и в Ехаловых Кузницах. Урали солдаты в штыки: и кидалось им, кроша мелкой мясной крошкой, пламя в лицо, прыгал черный мячик из-за баррикад, как в лапту играли — и солдаты урали напрасно.

Тогда высоко над Ехаловыми Кузницами всплыли меховые шкурки — и пролились в уши шумом, крякнувшим железом на крышах, колотушками по дереву. Шкурки свернулись в облака, в дымные клубки, все ниже и ниже спускались над крышами, точно сметали с крыш слежалый снег и засыпали землю вместо снега железным каленым гравием. И будто после пирушки у стола, на полу, по улицам раскидал кто-то темные стаканы, кубки, бокалы... На подмогу по баррикадам, по домам, по улицам послали из города пушки грохочущий рев трехдюймовок. Точно костры вспыхивали и тут и сям, гудели, рылись в земле, взлетали красными кучками огня и, шипя, тухли. Шаталось от гула морозное небо, тряслись на корню домишки рабочей слободы, и улицы гнулись, вздрагивали, западая ямами, рывинами, колеями.

А на баррикады шли опять солдаты. Дрались дружинники на ободренных пулями, шрапнелями, гранатами тонкостенных конках, на ворохах баррикадной рухляди — и не давали дорогу. Дружинники умирали, умирали солдаты, несли по ту и по сю сторону раненых санитары, бабы, сестры, а кромешный, жадный, задыхающийся огонь кидался-кидался-кидался из города на рабочую слободу. Горела Числиха, горела Кобылка, зажгли Богородицу на Подоле... Кричал и тушил снегом пожар сбегавшийся люд, тащил из огня скарб, ребят, петухов, куриц, свиней... Настигали на улицах трехдюймовки, шрапнели сундуки с бельишком, столы, кровати, зыбки, хлестал красный железный хвост — и трухой взлетало на воздух рабочее обзаведение. Железными горстями хватили разрывы людей и дробили, как землю, как пыль, как дым. В Совете рабочих депутатов в белых халатах, с красными на груди передниками от йода и крови, шатаясь, работали врачи. Санитары несли и несли дру-

жинников затекавшими руками. Раненые лежали на полу вплотную на серых поповских половичках.

Под неумолимыми белыми кудрями шрапнелей от стакана к стакану, шарахаясь от вылезавшего из земли огневого столба, будто дыбом вставала улица; падая и вытягивая вперед руки, держа над собой узелки, корзинки, крались бабы, ребята, старухи к баррикадам. То несли жены, матери, дети еду отцам, сыновьям, мужьям... Несли и не донесли: разрывало, переламливало надвое, на мелкую дробь, лежали по улицам красными обрубками, лохмотьями, скользкими следами... Шли другие — и ложились рядом. Шли третьи — закрывали пугливые глаза, обходили, торопились, забывали, крались к дымом и порохом пропитанным папахам...

К ночи устало небо гореть и трепетать, устала содрогаться земля — и стала тишина над городом, над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами, как в лесной глуши, точно трудно дышал потеплевший воздух, не мог продышаться, и несло мокрой, липучей гарью.

Дружинники отдали Прогонную, Золотуху, Толчок. В темноте они тихо перебежали к бульварам. Слушали дружинники неясные, неуловимые настойчивые звуки ночи, — была первая неудача, — и хотелось услышать невозможное, хотелось не думать о Прогонной, о Золотухе, о Толчке. И всё ждали-ждали-ждали они, будто кто-то должен был прийти поднять их, кто-то должен был опять отнять и Прогонную, и Золотуху, и Толчок. И никто не приходил.

На заре дружинники слышали рожок горниста, и начался вчерашний невозможный огневой день. За баррикадами редело. Мишутка принес отцу пирог, и Тулинов со слезами закричал:

— Что ты, что ты, стервец, шляешься? Беги, беги у стенок домой! Так и скажи матери — колотить ее мало!..

За баррикады сыпались часто, — казалось, в каждый маленький толчок минутной стрелки, — тысячи жужжащих гвоздиков. Тулинов перестал стрелять. Он махал на Мишутку пирогом и гнал его:

— Скорее, скорее скачи, дурашка! Проползи, проползи за угол на брюхе!

У Мишутки был мокрый зазябший нос. Он съежился в ватном латаном пиджачонке и весело и довольно оглядывал знакомых.

— Да, папка, я ничего не боюсь,— смеялся он,— я от матери пирог стащил — и дралова сюда. Мамка сама хотела нести. Я и не сказал. Поди она тоже принесет.

Тогда старый Кубышкин поманил Мишутку пальцем:

— Миша, поди-ка сюда: чего отец только ругается? Я тебе пульку дам.

Мишутка прыгнул к самой баррикаде, и старик зашептал, суя ему вместо пули пустой патрон:

— Стрельнуть охота?

И Мишутка жадно шепнул:

— Дай, дедушка!

— Пошел! Пошел! — засмеялся Кубышкин.

Тулинов вскочил с места и затолкал Мишутку в спину, оправляя на нем развернувшийся шарф:

— Марш, говорят тебе, неслух!

Мишутка побежал открыто, спокойно, словно бежал он с ребятами из школы, не было баррикад, не было лизавших землю красных жаровен, не было этого гудящего, звенящего железом небесного колокола. Он отбежал немного, остановился и закричал:

— Папка! А мы с ребятами ходим на баррикаду к Покрову. Казака подстрелили! В башку ему попало!

И опять побежал. Олюнька, Аннушка, Фекла Пегая качали головами.

— Э-э-х! — простонал Егор.

А потом пришла жена Тулинова. Шла она осторожно, по стенкам домов, наклоняясь, пригибаясь к земле. Принесла три пирога. Жальчиво поглядела на всех и разделила пироги мужу, Егору, Аннушке. Тулинов порылся у себя за пазухой и, взяв в обе руки по пирогу, протянул один обратно:

— Снеси Мишутке один в подарок. Не ем-де ворованных пирогов.

Дружинники засмеялись. Баба ударила рукавами по полушубку и обвела всех заморгавшими глазами:

— Был, что ли?

— Бы-ы-л!

— Я во-о-т ему!..

Тут баба внезапно остановилась и с плачем выкрикнула:

— Детей-то хоть бы пожалели!..

Тулинов сердился в спину хныкавшей на ходу бабе:

— На веревке держи дома... Не пускай! Дело не маленькое!..

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях жила озорная рабочая челядь, и бегала она к отцам с пирогами, с хлебом, подавала пули, конопатила патроны, вылезала в щели и скакала по городу, нюхая и разузнавая там нужное. А бабы шарили глазами красную суматоху на улицах, шли к мужьям, несли табачишко, закутывали дружинникам на ночь головы бабьими теплыми шальями от простуды и жалели в смену на тощей кровати, прятали от ребят красные тесемочки наплаканных глаз.

И еще прошли три ночи. А днями заваривалось прежнее. И днем, на пятые сутки, перебежали с бульварных баррикад в нутро — на Числиху, на Зеленый Луг, в Ехаловы Кузнецы.

— Сдаем, Егора! — сказал Тулинов.

И Егор печально ответил:

— Сдаем, Тулинов!

Сдавали на всех баррикадах. Пожары рябиновыми рощами поднимались в разных концах. Уходили на смену дружинники и не приходили обратно. Из сажалки убежали попы, городовые, церковные старосты, «коровье здоровье». Обманули Пресня, матросы, Харьков, Сорново... Митрофанов с сундучком трусил мимо баррикад и кричал:

— На важное заседание! На важное заседание! Идет помощь, товарищи! Идет!..

Грустно бубнил Кубышкин:

— А я думаю, не с того конца начали... Сперва надобно было стакнуться с солдатней... Одним словом, рано поутру встаем, ребята... Привыкли... ничего и не получилось... Рано начали.

Олюнька сидела за спиной Сережки.

— Старик, — кричал Сережка, — ты смерти боишься?

— Кто ее не боится, кроме тебя? — перекидывался ответом Кубышкин.

— Олюнька... вон... тоже от меня не отстанет!

И Сережка оглядывался растерянными, боязливыми глазами на красный крест Олюньки. А та плакала, не вытирая слез.

И нанесло на баррикаду один толкучий слепой удар. Будто заворочалось в баррикаде огненное колесо, и его разорвало, и разорвало баррикаду, как смятую бумагу.

— Тулинов? — крикнул Егор в дыму, лежа с Аннушкой на земле и щупая ее теплое, живое лицо.

И пока рассеивался дым, Анс Кенинь ответил:

— Тулинова нет... Вон голова лежит...

И сразу зарыдал Сережка:

— И старика... и старика кончило... Э-й, Кубышка!

Сережка подергивался щеками, и словно разлиновали морщины лицо его.

— Сестрички! Сестры! — шально орал он. — На перевязку! Подвяжите килу у старика: к погоде болит!

В разошедшемся дыму дружинники увидели пустое шероховатое место. Была вскорчевана земля, валялись переломанные доски, щепа корзин и дыбком вставшие бревно на бревно. Дружинники зажмурили глаза: они не стали глядеть на красную слизь старого Кубышкина, на раскроенную пополам голову Тулинова, на ноги его с передком брюха... По ним не спеша стреляли дальние винтовки... Дружинники, как развернулся птичий хвост, кинулись к домам и перебежали под прикрытия еще стоявшей нетронутой баррикады.

Подтягивались в нутро Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов ткачи, железная дорога, кожевники; баррикады убывали, как вода из дырявой бочки. Совет рабочих депутатов разместился по баррикадам. Был тут и Митрофанов со своим сундучком. Поп заглядывал в щель на барабанившего по стеклу товарища Ивана, уползали по лестнице раненые дружинники, врачи сидели за маленьким столом и жадно-жадно пил один воду из графина.

На другой день, сгорая, засыпанная железными опилками шрапнелей, шлаком гранат, перебитыми в щепу бревнами, безногими столами, перепутанная проволокой, вскопанная ямами, будто провалились заделанные под фашинник старые колодцы, в стекле, в крови, в трупах, в маузерах, в переломленных, как лапы зверя, берданах, как человечесьи кости, смит-вессонах, в рассученных на тряпки красных флагах с одиночками дружинниками, куда-то и зачем-то тихо идущими в нахлобученных папах, с запершимся в домах населением, — Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы сдались.

Егор нес домой на руках раненую в ноги Аннушку, торопился, плавала папах на потном лбу, присаживался, уставая, на тумбочки, прислонялся к заборам, палисадникам — и опять шел... И не донес, и не мог больше поднять ее с земли... Егор печально оглядывался на кипевший от разрывов шрапнелей снег на Кобылке

и застраивающе прикрывал собою Аннушку. А потом забарабанили громко, зовуще в раму позади, хлопнула дверь, и выскочил в одной рубаше Сашка Кривой. И, не спрашивая, не глядя на Егора, будто они были всегда вместе, не расставались, Сашка подхватил Аннушку за спину, а Егор молча взял под коленки, подняли и понесли в калитку.

— Кати ко мне,— трудно заплетался Сашка Кривой,— у меня ей монастырь. Я человек благонадежный. Куда пальнули? В ноги? Бегать была горазда.

Аннушку внесли в комнатушку и положили в уголок на чисто прикрытую клетчатым ватным одеялом койку. Егор наклонился. Аннушка позвала его глазами ближе и тихо нетерпеливо шепнула:

— Беги, говорят, скорее!

И прижала его руку к лицу.

Трехрядка-гармонья висела на гвоздике над кроватью, над Аннушкой. Проплыла она перед глазами его всеми своими оскаленными белыми рядами, сборчатыми кромочками, жестяными наконечниками: Егор шатнулся к двери, дернул за руку Сашку Кривого, взгляделся в него — и выскочил за калитку...

Последними маузерами отстреливались ткачи на Зеленом Лугу. Спокойно и важно извивался красный флаг на высоком шесте. В узком конце Кобылки колыхалась, как паром на реке, земля: то въезжала в рабочую слободу конница.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Счет верен

— Свят! Свят! Свят!

Никита научился твердить это маленькое слово в морозные дни декабря. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вторую неделю колотили тяжелыми колотушками по мерзлой земле, и будто дрожал Федор Стратилат шатровой колокольней, и будто лязгали под зеленым замком ворота, сами себя открывая. А вечерами над городом красным рытым бархатом дымили облака и несли оттуда скупой и ровкий гул криков. А то кричали пушки чугунными пастями, и, как из лопнувшей трубы, ухая, вырывались прямые струи огня, трещало дерево и обвали-

валось шелестящей щепой, сыпался густо камень, текли красным студнем облака...

— Свят! Свят! Свят! — шептал Никита.

Ночью было страшно и жутко, Никита не зажигал неугасимой лампы у Сосипатра Свистулькина. Он робко выходил к ограде, глядел на не затихающий десятый день город и тревожно настукивал колотушкой. Днем он рыл могилы за Федором Стратилатом. И каждую ночь в могилы привозили каких-то людей солдаты из города. Зарывали в углу, под ветлой, без отпевания и утапывали ногами мерзляк. Утапывал и Никита. Сережка не показывался, как забухали в городе по рабочей слободе чугунными кулаками пушки.

А потом вдруг пришел безгрохотный ранний вечер... Багровые облака качались и ввечеру, но заметно убывали, тоньшели, свертывались в мохнатый небольшой очаг, и поднявшийся ветер задувал его. Никита прислушивался к тишине, не верил ей, топтал молчаливый снег, вкрадчиво расступавшийся под крепкой стелькой. И опять было, как год раньше, как двадцать лет раньше: и снег, и тишина, и холодок на щеках.

Тогда и прискакал на тонких ножках к воротам товарищ Иван... Никита не пустил его, толкнул сквозь решетины ворот в спину и закричал:

— Куда прешь — гляди в оба! Солдатня кажинную ночь! Оставайся поди: в могилу закопаем! Фью! Гони задним ходом, мое дело сторона!

Товарищ Иван потрогал пенсне и пошевелил дрогнувшими губами. Никита сердился:

— Черти полосатые, беда с вам!.. И тут нельзя... и там не подходяче. Кати, дурошлѐп, чего трясуна дал, к лугам на сенокосы... к стоговищам! Шалаши там есѣтка... И рыбалки пустые, мое дело сторона...

Товарищ Иван помигал глазками и повернул уходить. Тут снова закричал Никита:

— Да куда ты, да куда ты? Почто опять в город? В ловушку захотел? Иди под погостом... дорога ровная: не запнешься! Не видать, говоришь? Ежели шкура дорога, увидишь! В заднем месте и то глаз засветит! Суматохе — труба! От одного убыли не будет. Пережди там... Порядочному человеку нѣ почто туда идтить... Один и подомовничаешь! Хлеб-то есть? Нет? Эх! Порядка в жизни нету у вас, мое дело сторона! На языке играть мастера, а оглянуться на завтрава не хватат разуму.

Погоди тут! В штаны не накладывай! Принесу полковриги... У самого мало. Самому мне в город не ходил бы: своей смертью подышать жалаю!

Товарищ Иван стоял, прислонясь к отодвинувшимся внутрь воротам с заиндевевшими полотнищами. Никита долго не приходил.

— Тут, что ли? — вылезая из темноты, спросил Никита. — Тут! Тяни лапу... Вот... бери. Держи крепче! Коврига без малого... Обойдется стражение, отдашь. Принеси смотри! Мне кормить вашего брата не рука, мое дело сторона. Карман у меня не по карману... Можно деньгам... Приноси. Черти! Назвонили до дела! Сереги не видал? Жив ли, балаболка пустая? Носу не кажется! С солдатом дело иметь — не с Олюнькой кареводиться, мое дело сторона! Отчаливай, говорят, чего ворота трешь?

Товарищ Иван скользнул в темноту и пропал. Никита долго глядел, не видя, а только слыша торопливое похрустывание снега вдоль ограды... Он вздохнул и пошел, зазябший, на огонек в сторожке, раскачивая вялой колоушкой.

За полночь он прилег. За полночь же зазвонили в звонок. Никита слез с печи, зажег фонарь и побежал к воротам. Пьяными голосами зашумели:

— Принима-а-й!

— Живность привезли!

— Шевелись!

Никита взгляделся и увидел за воротами солдат, вылезавших из троих саней. Привычно и сердито спросил Никита:

— А бумага есть?

— Есь! Не первой! Открывай ворота!

Никита отвел железные ворота, встал к сторонке и поднял фонарь над головой. Тяжелые сани тяжело поползли вперед. Он заторопился вдогонку, освещая фонарем узкую, занесенную метелью дорогу. За церковью остановились.

— Сва-а-ливай, робя! Дальше некуда ехать.

— Перетаскаем вручную!

— Свети, Никита!

— Помога-а-й!

Никита подошел к саням. Солдаты сдернули брезенты. В санях лежали груды нагих мертвецов. Фонарь Никиты, дрожа в его руке, освещал небольшую полянку, захороженную деревьями и крестами могил. Начали носить.

Брали за голову и за ноги, легко снимали с саней и, шатаясь, относили с дороги.

— Чижелые какие!

— Мертвечина всегда тяжелее.

— Живой — он воздух выдыхает...

— К примеру паровоз под парами не то, что в ремонте.

Другой вес. Так и человек.

— От движенья это.

Несли брюхатую женщину. Кряхтели. Напруживали икры. Едва распрямляли спины.

— Баба больно грузна...

— Титьки, как пудовики.

— Жирная, су-ука!

— Пудов на восемь.

— Вот бы Никите с таким обзаведеньем бабу!

— Хи-хи-хи!

Перетаскали. Приседали к земле и шаркали ладонями о снег: мыли. Потом вытирали руки о штаны. Доставали кисеты. Садились на белую надгробную плиту и завертывали сигарки. Никита начал считать мертвецов, тыкая в них пальцем. Он наклонил фонарь к лицам... И вдруг фонарь замотался в руке, рука распустилась, фонарь упал на снег, догорая умиравшим светом вбочку. Никита опомнился, схватил фонарь, покачал его, и фонарь опять загорелся полным огнем. Солдаты глядели в его сторону:

— Что, рыжий, знакомых ищешь?

— Плю-ю-нь! Приезжие все! На Числихе заграбастали. Не на-а-ши! Всех наших давно кончили!

— Сам и закопал, мать их курицу!

— Сколько насчитал, счетовод?

— Бумагу давайте!

— Опять бумагу, бумажная ты душа! Почто тебе бумагу? В натуре представили. Вишь, какие сдобные!

— Как же без бумаги, мое дело сторона? Может, сами убили, а не от учреждения?..

— Дай ему, Кирюха, путевку. Кажинный раз требует, могильная крыса!

— Чертов батрак!

— Я по закону,— возражал Никита.— С нас тоже требование предъявляют.

— Предъявля-я-ют!

Никита долго читал, прилипая глазами к бумаге.

— Надень очки, Никита, без очков ничего не выйдет!

Никита молча, отворачиваясь, пересчитал мертвецов, опять рассматривал бумагу у самых глаз, повертывал ее с одной стороны на другую.

— Ох-хо-хо! Грамотей! Грамотей!

— Ты зубом, зубом откуси бумагу-то!

— Проще это!

Никита протянул бумагу обратно:

— Не по бумаге привезли, мое дело сторона!

— Как так?

— Одного не хватает!

Солдаты засмеялись, толкаясь на могильной плите плечами, руками, головами:

— Ах-ха-ха-ха-ха-ха!

— Что он, убег? Шалишь, брат! По грудям стреляли! Считай лучше!

— Чего считать? Сами считайте. Я считал. На одного — недочет. Не приму не в аккурат, мое дело сторона!

— Вот лешой!

— В морду ему, счетчику: чего врет!

Солдаты принялись попеременно считать. Никита равнодушно светил фонарем.

— Десять! Десять! Десять!

— Как же, братцы? А было одиннадцать. И в бумаге одиннадцать. Теперь без одного. Куда он девался?

Солдаты затоптались на месте, читали бумагу, склоняясь головами в одну огромную, о пяти вязаных барашках, голову.

— Десять! Десять! Десять!

— Потеряли, должно, братцы! Надо искать. До публики надо управиться.

Метнули жребий, кому ехать, кому стеречь. Вышло Кирюхе оставаться.

Никита довольно и наставительно сказал:

— Нельзя нашему брату без осторожности. Не по числу не приму, мое дело сторона!

Солдаты рассердились, закричали грозно и беспомощно:

— Молчи-и, сссволочь! Чего радуешься, рыжая пакля? По кумполу тебя, чтобы чердак в обратную сторону заработал!

— Мозгля!

— Кажи дорогу к выезду!

Сани зашипели, заерзали на месте, прошелестели... Никита затрусил впереди.

Кирюха остался один. Пропал в темноте фонарь. Темнота надвинулась на Кирюху... Где-то рядом стояла церковь, росли из могил разноцветные кресты, росли деревья, лежали мертвецы на земле и под землей — и среди них сидел Кирюха на каменной плите. Вспыхивала его сигарка красной каплей и шипела и попискивала. В пьяной голове Кирюхи, как в весеннем паводке, кружились, плыли, прыгали несвязные мысли, слова, лица, бродило вино... Вдруг шмыгнул из-за могилы какой-то зверь... Кирюха вздрогнул и охнул... Подобрал ноги. Застучал зубами. Съежился. Сплющился. Ему показалось, будто со всего кладбища поползли к нему мертвецы, встал на карачки покойник под ним на дне могилы, вылезал где-то сторонкой и вот-вот схватит его. У Кирюхи по спине катилась ледяшка, и волосам было тесно под шапкой.

— У!У!У!У!У! Ники-и-и-т-т-а-а! Ники-и-и-т-т-а-а!

— Э-эй! — отозвалось вдали.

— Поди сюда-а!

— Сича-а-а-с!

Было страшно слушать свой голос. Но уже качался между деревьев, будто всадник на лошади, фонарь Никиты.

Грустно и заискивающе сказал Кирюха:

— Оброб я тут один: отродясь так не бывало. Черт ее знает от какой причины! Должно, кошка пробежала... Думал... помру.

— И помрешь... сколько угодно!

Никита подумал:

— Может, и не кошка?

— Кому, кроме кошки? Нечистый дух, скажешь?

— Зачем нечистый дух! Душа человеческая. Душа около тела находится. Скучает по человеку. Ежели днем — она в стрижах. Душа в стрижей входит. А ночью — она сама, в своем обличье... Во-о-н сколько навезли!

— Души нет. Это все старики надумали.

— Да, надумали, держи карман, мое дело сторона!

— Кровь — главное, голова и брюхо.

— Еще что скажешь?

— Брюхо наподобие самовару али горшку со щам... Распороти брюхо — и шабаш. А голова как бонба. Трубочки там с мозгом. Чик — и готово. Я зна-а-а-ю.

— И ничего ты не знаешь! Пошто испугался, ежели в душу не веришь?

— Это от сумленья.

— То-то вот — и не говори понапрасну! А сумленье от чего? От души. Душа душе весть подает. Может, зря к расстрелу людей подвели, по злобе, мое дело сторона? Вот и намёкивает тебе душа.

— Нам что? Это не мы. Начальство в ответе. Не мы, так нас. Всякой это в расчет возьмет!

— А хто ружье наставлял? Хто метил-то? От кого смерть пришла, мое дело сторона, тому и запишется!

Кирюха задумался. Строго продолжал Никита:

— Убили... да и потеряли человека спяна!

Кирюха молчал.

— За что убили-то?

— Нам не сказывали. Поймали на Числихе да на Кобылке...

— Вина-то где достали?

— Дали.

— Для храбрости?

— Так полагается.

— Нагорит вам теперича, мое дело сторона!

— Нагорит.

— Сиди из-за вас всю ночь. А с какой такой обязанности? Сами не спят и людям спать не дают. Днем могилу рой, а ночью у могилы сиди. Не житье — ошейник. Много народу сгубили за понюшку табаку.

— Мало ли!

— Отец Павел, покойник, у нас был на кладбище до смуты. Как сейчас помню, говаривал: «Мы, Никита, с тобой всем нужны, пока живы. Дело наше тихое и доброе — покойники степенный народ, только поменьше бы их». А и было-то — в неделю один, два покойника. А то и не одного. По весне да по осенё, когда чихоточной шел, прибавлялось. Теперича кажинную ночь. Неизвестно, чей и откуда. Штушно принимай. И облают еще всякими словами, мое дело сторона! Тьфу!

Кирюха осерчал:

— Ты за сицилистов стоишь?

— Покойник без всякого званья считается — что монархист, что сицилист...

— Говори там! Хи-и-трой ты, Никита!

— Сам хитрой!

— Вó-он лежа-ат! Враги-и-и!

- Враги-и-и!
- Мертвые и то-о вредят!
- Вредя-я-т!

— Потеряли — теперь отвечай. В помойку бросить бы сволочечей, и дело с концом!

Никита плюнул и отодвинулся от Кирюхи. Кирюха насмешливо спросил:

- Дух от меня нехороший идет? А?

— Дух не дух, мое дело сторона, — отвечал Никита, — а только перед покойником прежде народ шапку снимал.

Никита повесил голову над фонарем и задумался. Кирюха закуривал другую сигарку. От дымного перегару он долго икал, кашлял, а потом отворотился за плиту и начал блевать. Никита зажимал рот рукой.

Ночь еще не ушла, но безлюдные улицы города были уже отчетливо видны. Солдаты всматривались в темные тумбы, в фонари, в каждую неровность мостовой. Кладь не находилась. Вино, кружившее головы, унялось.

- Напрасно, ребята, все улицы не покроешь!

— Может, не по тем и ехали? Ванька сбивался два раза. Ванька, ты припомни — где давеча блудили?

- Ладно... припомню!

- Черта с два припомнит! Пьян был как стелька!

- Из-за него под расстрел как раз угадаем!

- Под расстрел! Под расстрел! Под расстрел!

Солдаты молчаливо переглядывались.

И опять мчались. Опять искали. Бесплодно искали одиннадцатого.

- Надо кончать, — сказал Ванька.

И от слов этих пришел новый страх.

- Так как же? Как же, братцы?

Лошади были, как намыленный человек в бане: сани останавливались. Тут шатаясь подошла старая проститутка с мокрым, замороженным подолом и закричала дико:

- Армия! Оптом даююю... ппо сифоо-ну!

И заголилась.

И сразу трое сказали жадно:

- Заменить!

- Заменить!

- Заменить!

Солдаты схватили проститутку, легко подняли, мотнулись в воздухе серые рваные ботики, и тело упало на днище саней.

— Не хххочу-у... не хххочу-у! — звонко выкрикнула проститутка.

Заворотили подол. Закрыли рот. Сели на нее. Лошади рванули от криков. Солдаты подпрыгивали на бившемся под их задницами живом человеческом теле, упирались ногами в борта саней, жадно держали... За городом осадили лошадей. Солдаты оглянулись по сторонам. Лязгнули штыки и прибили проститутку к днищу саней. Солдаты навалились на приклады грудью, захрустело дерево, забились и застонала проститутка. Подержали недолго и с трудом отняли штыки от днища. Привезли на кладбище. Сбросили.

— Получай, Никита!

— Раздеть, что ли?

— Не надо!

— Вали так!

Рыжие, черные, белые мертвецы, с выкатившимися полыми глазами, с черными дырами на груди и на животах, обожженными закипевшей кровью, с волосатыми ногами, со сведенными в грабли пальцами, лежали на снегу. Нарумяненная проститутка, в темно-серой шубке, в сбившейся на жидких волосах соломенной шляпе с желтыми полотняными розами, лежала в ногах, перегнувшись через бугорок чьей-то заботливо обдернованной могилы. Начали сваливать в яму. Тела шлепались одно о другое, укладывались рядком, тесно и дружно. Покрыли проституткой. Сбегали за лопатами. До поту закидывали и потом долго утрамбовывали ногами, пока не сровняли с землей. Никита помогал, нагребая густой и белый, как лебяжьи крылья, снег на могилу. Потом он помочил желтый карандаш о снег и крупными лиловыми буквами написал на бумаге: «Шёт миртвицов верин».

Уехали солдаты за церковь. Он не пошел закрыть за ними ворота. Так и стояли они до утра открытыми. К утру пошла с Чарымы метель. И ворота заносило. Никита остался у могилы. Он поставил между ног фонарь на снег и тихонько заплакал. И как плакал Никита, вспоминал он зарытых Олюньку, Аннушку, Феклу Пегую, Кеню... Плакал он и о тех, кто безымянно лег с ними.

К полдню приехало начальство. Раскапывали могилу, доставали проститутку, раздевали, допрашивали его. Никита смотрел раны. А потом привезли другие солдаты одиннадцатого — разрыли на улице из-под метельного снега собаки.

Никита взглянул на одиннадцатого, пошатнулся, кинулся к нему, упал на мерзлую грудь, вцепился, обнимая, и закричал на весь погост:

— Серега! Серега! Серега!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На запасных путях стоял тюремный вагон. Егор глядел через решетку на тесно и темно запрудившие пути вагоны. Стеной встали они впереди и позади, стена двигалась, скрипели колеса, сплющивались скрепы, направляющий свист, клокоча, кидался маленьким зверьком на рельсы — и вагоны замирали, вытягивались. Шла обычная ночная работа: составлялись дальние и близкие поезда. Сцепщики, небрежно махая фонариками, не глядя, совали руки между вагонов и связывали их буферами. Машинист, зорко глядя на хвост состава, сдавал его... Паровоз осторожно толкался задом, будто крался, будто где-то в темноте стояла на путях хрупкая и нежная вещь и он боялся раздавить ее... А там играл густой сигнальный рожок на стрелке. И опять по крышам вагонов рассыпался задевающий круглый свист.

Шуруя паром, сгибая рельсы, пробежал приземистый, широкоплечий, коротконогий трехглазый паровоз. Егор жадно наблюдал за подготовкой ночных поездов. После тесной, как шкаф, одиночки, после трех никуда не спешивших годов, в которые, будто забытое безмолвное пальто на вешалке, жил Егор, простая работа маршировавших цепями вагонов на просыхающей весенней земле казалась торжественной. Словно осенние корабли манифестаций на красных парусах тысяча девятьсот пятого года были эти проходившие мимо чернорабочие вагоны. Егор был с ними глазами, движениями рук, чувствами...

Сторожившие солдаты сидели на грудке шпал против вагона и молча курили. Пахло пропиточным заводом от шпал. И этот запах был приятен Егору. И сквозь этот запах он видел рабочих, где-то в мастерских вырывавших у времени шпалы. И вагоны, и шпалы, и рельсы, и сигнальный рожок, и трехглазый паровоз, и сцепщики, и стрелочники, и машинисты, и он сам, и курившие солдаты-мужики сливались для него в великую, объединенную рабочим фартуком семью. И эта весенняя

и темная земля и как серебряными мельчайшими каплями смоченная крыша звездного неба служили ей.

От Зеленого Луга, с Числихи, от Ехаловых Кузнецов, из-за вокзала тек тихий и теплый ветер. Словно там жарко натопили, закрыли трубу, и тепло шло от домов, от улиц, от ночного дыхания спящих... Тепло было родное, волнуемое, грустное...

Егор побежал, затрусил с фашины на фашину... Проточные канавки стояли перелитыми через края, будто кадушки под дождевыми трубами. Редкие огни, как редкие прохожие на ночных улицах, светили тусклыми кремневыми высечками. Налитая подземными водами земля туманила шаг. Только-только отступило Чарыма с огородов, от задворных прудов, из палисадников, не успели расклевать рыбы кости курицы в перегоревших под золотобровым лужицах, чайки путались местами, искали Чарыму на Кобылке — и не находили. А рабочая челядь скакала по грязной тяпушке намоин и чернила босые ноги простудой. На коровинские мельницы спозаранку кряхтели с возами мохнатые битюги. Весело, весенне, ветрено размахивали рукавами мельницы...

Егор улыбнулся, втянул ноздрями ветер от Зеленого Луга, с Числихи, от Ехаловых Кузнецов, ветер, пахнувший нежным и сладким дымом. В сердце тихонько с боку на бок переваливалась грусть. Так в половодье несет одинокую лодку на льдине далеко от берега, а с кормы на нос, а с носа на корму бегают заяц с зайчихой. И по пути ли и не по пути ли, не спрашивая, несет их на льдине. Егор закрыл глаза и глубоко-глубоко-глубоко вздохнул.

В городе, на чистой половине, редко и протяжно звонили. Егор вспоминал названия церквей по колоколам, ошибался, запамätовал. И только один, с прозвенью, колокол узнавался над всеми забытыми колоколами. Звонил Никита близко за вокзальным Фроловским концом у Федора Стратилата на Наволоке, а может быть, звонил кто-нибудь другой, колокол был тот же — кладбищенский старый сторож от темного ночного врага. Звонил Стратилат над Аннушкой, над Ванькой, над сторожкой, над поклончивой ветлой в лугах, над товарищами, уснувшими без крестов под жирной стеблистой травой.

Сердце одичало и проныло жалостью, проплывшей в разомкнувшихся глазах и медленно и горько, как

уходящее за старый мыс грузное судно. И, видно, с решетки скатилась по лицу крупная неотомщенная капля.

Был канун Георгиева дня. При Шемяке была в городе моровая язва. И вспоминали ночным молением каждый год пять веков моровые ночи. По улицам, тупикам, переулкам, поперек площадей, по мостам и переходам, по лавам всю ночь шли люди из церквей в церкви, в часовни... Читали паремии перед золотыми узорными иконостасами, полный свечной, и лампадный, и паникадильный свет лился в окна из церковных кораблей, а колокола, как в дозорных лоцманских будках, звонили протяжно тревогу.

Егор, жаднея и жаднея, в смутных сумерках северной ночи вглядывался в широкую дугу заводского красного обруча... И глаза горько остановились. В середине Зеленого Луга желтела высокая новенькая каланча. Как насорили в глаза, замигал Егор, не хотел смотреть, а тянуло, а притягивало. Егор усмехнулся. Ходил над рабочей землей пожарный, остерегал деревянную Числиху, Ехаловы Кузнецы, а на земле, под пожарным был участок,— там остерегали и там глядели решетками, сыщиками, городовыми. Егор скривил щеку. И еще родней, печальней, ближе пододвинулись к сердцу и Зеленый Луг, и Числиха, и Ехаловы Кузнецы.

«И каланча не худо, и каланча нужна»,— засмеялись мысли в голове.

Над чистой городской половиной, точно большие каменные горы, выросли из земли небоскребы: собор Софии в золотых касках куполов присел. Так обрастает широкоухие тополя молодой дубняк.

Егор только скользнул по городу, и опять запросились в глаза заводской забор, трубы, черные кустики, идущие по поляне...

Напротив по платформе прошли в звонких сапогах жандармы. Под мышками они несли синие папки дел. Егор проводил их. Товарищ, глядевший в другое окно, вдруг засмеялся:

— Вот все, что осталось от революции. Несет под мышкой Егора Яблокова... и меня... и тысячи других...

Товарищ не стал ждать ответа, плюнул и отошел от окна. Он прошелся по вагону, шаркнул раздраженно сапогом по задравшимся заусеницам стертого пола и отчаянно простонал:

— Эх! Скорее бы отправляли! Стоим, стоим — и не знаем, чего стоим! И не знаем, зачем стоим. Так повезут, сто лет не доедем до Сибири.

Егор, не оборачиваясь, ответил:

— Куда нам торопиться? В Сибири, думаешь, о нас скучают? В Сибирь человек торопится!..

Егор опять покривил щекой. Товарищ растянулся на наре, устремился глазами в низкий, недавно покрашенный, пахнувший краской потолок, будто круглый трюм парохода, устало задышал, полежал немного и, шумя, повернулся к стенке.

— Черт! Хоть бы повесили, мерзавцы! — пробормотал он себе в усы. — Такая тощища кромешная!

Из вокзала вышла девушка с серым пледом на руке и стала медленно ходить по платформе. Она сделала несколько дорожек и остановилась недалеко от солдатской цепи... Девушка постояла, помялась и тихо спросила у солдат:

— Политические?

Солдаты сразу рассердились и переложили из рук в руки винтовки:

— Чего надо? Проходи!

И засмотрели злыми, серыми, ненавидящими глазами.

Девушка испуганно смешалась, подалась назад, побагровела щеками, глаза сверкнули в глазах Егора близкими огнями — и она отвернулась, задумчиво отходя по платформе. Она села далеко от вагона на скамейку у стены вокзала и не отрываясь глядела оттуда.

Солдаты тихо пересмеивали:

— Вертит хвостом, гляди как! Из благородных. Породистая.

— Как думаешь, девка али не девка?

— Может, двухснастная!

Солдаты еще раз засмеялись, застрожали вдруг глазами на решетки, и один насмешливо закричал:

— Калачей приносила?

Из вокзала выходили пассажиры. Платформа наполнялась.

— Скоро поедem! — кто-то сказал сзади.

Егор оторвался от далеких крыш Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов и разглядывал ходивших пассажиров. И только одни женщины завладевали его глазами. Егор морщился, недовольно встряхивал волосами. Он долго овладевал собой, а рот открывался, а ноги

переступали в беспокойстве, горячо сжимались одна к другой, жглись, и глаза желали ненасытным блеском.

Егор вспоминал другие дни... Дружинники смерзлись одной ледяной цепью за баррикадами, а на головы валилась железная стружка, вздувались красными сарафанами взрывы и копали позади забитую землю глубокими лопатами. И шли далеко гряды, как окопы... И все не могли, не могли смести метлы утлые бочки, корзины, телеги, дрова, кривоглазые конки баррикад. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы защищали незащитимое, отбивали папахой чугунный замах... И не защитили... И опять нанесло ночным ветром через прутья решетки каплю сухую, как потухшая искра.

Засвежело в вагоне. И был он тесен и люден, как плот на перевозе. И оттого что был он люден, Егор крепко сжал частокол решетки. Руки умели сильно сжимать и твердеть на железе. Товарищи укладывались спать. Будто в своих квартирах, они устало зевали, не торопясь снимали сапоги и скидывали халаты. Тогда солдат крикнул за окном чужим голосом:

— Сигай спать: нагяделся!

И другой солдат насмешливо спросил:

— Провожатых поджидаешь?

И оба враз сказали:

— Не будет!

Егор послушно спрятал голову, словно утонул в глубокой пазухе вагона.

Короткий, как выстрел, пришел сон, закрыл, будто теплой шалью, впавшие гнезда глаз — и они внезапно растворились... Товарищи поднимали головы с нар... Вскочил и Егор. Под вагоном били молотками так часто, будто один удар сваривался с другим, и из-под молотков выжималась тонкая полоса стуков. Под вагоном починяли буксы.

Пепельное зябкое утро отпотело на стеклах за решетками. И Егору захотелось скорее протереть его, захотелось скорее посмотреть на знакомые утренние места. Привезли на вокзал ночью. В полутемноте была видна только одна улица со скупыми огнями в домах. В гнилом шлюзе улицы быстро отвертелись дробные колеса, сверкнул вокзал широким хвостом огней — и снова камера на колесах с низким потолком и, как конторская книга, окна исподлобья под железной маской решетки.

В голове было густо и больно от недопитого сна. На темени будто узлом связало кровь, и узел, паля, жал. Виски ёкали, и нельзя было коснуться их, словно под ошетилившейся кожей были наболевшие раны. Егора качнуло на ногах, потом качнуло вагон, он проволокся по пинавшей колёса стрелке, его отвели на главные пути и прицепили к поезду.

Ранняя платформа была почти пуста. Солдаты отрезали от широкого пола платформы большой край и не подпускали пассажиров. Егор жадно дохнул апрельский шемающий холодок.

Егор сбоку, от окна, скосил глаз на светлевшие полосы рельс, тянувших к мастерским. Вдали он увидел только одну коровинскую мельницу, махавшую ему длинными черными руками, и отрезок нового забора у мастерских. За кузовом вагона сами здания скрывались. Егор вдавился в решетку: удлинился забор, выступила пята еще одной коровинской мельницы и красный бок трубы... По полянке к мастерским шли рабочие... Сердце Егора заколотило, побежало... Он вытягивался, будто узнавал походки, спины, пиджаки... Весенней ростепельной дорогой шлялся над полянкой дым из трубы — знакомый, близкий дым.

Были открыты глазам Свешниковская мануфактура, заводы Марфушкина, Прилуцкого, а за ними другие, третьи, курившие трубами раннее утро. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы лежали в низине, и красный лес труб поднимался над ними черными набухшими кулаками верхушек. Стояла рабочая сторона на своем месте, под тем же нестареющим небом, на той же хлюпкой слободской земле, будто не было ничего позади и ничего не изменилось за отковылявшие далеко годы и никогда ничего не изменится.

Зарозовело раннее утро в слуховом вокзальном окне, и по трехцветному флагу над фронтоном проползла золотая змея солнца. И враз с нею в городе ударил густой медлительный большой колокол на Софии. Ему ответили на всех концах, в слободах, на окраинах, на кладбищах большие колокола... Соборный колокол повел, за ним пошли, он раскачался в частый гремющий гул; подхватили, слились, утолстили на приходах гуденье... Колокольный хор запел медными и серебряными валами в прозрачном, и гулком, и сквозном весеннем утре. Свешниковская мануфактура, маломерки запели нестрой-

но и крикуче над звенящей крышей, спелись, смешались, вплелись вязью в колокольную зыбь. В вокзале будто сорвался с высоты пронзающий тревожный звонок, и, как второй звонок, закричал протяжно голос:

— Пе-е-р-вый звоно-о-к! Поезд отправляется на Москву-у!

Егора будто качало от звона; качало воздух, здания, небо, землю; и поезд, как длинные плоты на реке, на течении, тоже качался...

Отгудели большие колокола, дали дорогу колоколам часовым, подчаскам, повесочным, мелкой колокольной рыбешке... Старики передохнули, разбежалась челядь, изготовилась, поперебирала языками — и неумолкающим ливнем колокола брызнули, закружились хороводами в вышине, понеслись звенячими парами, тройками, цугом, шестериками, затрубили певучими трубами облака — и в золотые тарелки ударило солнце... Большаки отставали, запинаясь, а потом разобрало, подбросило — и они бухнули, бабахнули покрывающими октавами. Казалось, над всем городом плескалось, шло валами, бурело звенячее Чарыма, плыли колокола-льдины, летали колокола-чайки, рос на берегах кустарник — мелкий колокольник, на загнутых клювах валов трезвонили ширкунцы и бубенцы и сам Никола Мокрый ворчал, ворочая соборным языком.

Славили колокола избавление от моровой язвы в Георгиев день. Заслушался Егор, заслушались товарищи, залепили вплотную решетчатые окна, заслушались солдаты... Торжественно, в золотом венце выходило праздничное солнце. Печально буркнул один солдат:

— В городе звонят не то, что у нас в деревне поп с дьяконией...

В чистую, нежнейшую звонь, в колокольную густоту прошипел балластный поезд и устало остановился на первых путях. Желтый мокрый песок, как щучья икра, лежал жирными пластами на платформах и в вагонах с отбитыми по низу стенками. На песке сидели мужики в рваных пиджаках. Лопаты были воткнуты в песок, как мутовки в квашне...

Давно в звоне городских колоколов был второй вокзальный звонок — Егор прослушал его.

И как остановился балластный, мужики, скучая, поглядели на тюремный вагон, пассажирский поезд вздрогнул, откачнулся назад, прополз шаг и пошел...

Егор быстро мелькнул глазами на Зеленый Луг, на Числиху, на Ехаловы Кузнецы, тоскливо заныло сердце, а рабочая слобода уже закрывалась от глаз широкой шляпой навеса.

Мужики с балластного поезда, прячась в глубь вагонов, один, другой, третий вдруг закивали лопатами, руками, картузами, сперва несмело и все смелей и откровенней, а поезд уже убежал, раскачиваясь, будто бежала и раскачивалась улица на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецях.

Тюремный вагон зашумел, белые руки высунулись промеж решеток и хватали свистевший свистульками воздух.

Колокола, заглая с каждым прыжком паровоза, словно напутствовали в дорогу.

Проезжали мимо депо. Гудок звал на работу. Через пути к депо шли рабочие с узелками, поодиночке, артелями, останавливались и пропускали поезд. Из тюремного вагона махали руками. Рабочие всматривались, дружно снимали шапки, кепки, картузы, трясли ими высоко над головой и что-то кричали вслед.

Егор захлебнулся. В уши ударил колокольный звон изнутри, звон отчетливей и краше гудевшей Софии с приходами и концами. Он закричал в ветер, рабочим, вагону, городу, отавой прораставшей земле в этот скотий Георгиев день:

— Товарищи! Мы не одни! Мы не одни!

Москва — Быково
1925





ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как только извозчицья пролетка выскочила под горку от Яузских ворот, жадными и восхищенными глазами Миля увидела маленький окский пароход у Комиссариатской набережной. Миля завертелась на сиденье, прижалась к широкому боку тетки Александры Ивановны, затормошила ее и, показывая рукой налево, несвязно что-то закричала ей на ухо. Та, близоруко приноравливаясь к пенсне, равнодушно глядела за ее рукой. И, поддразнивая Милю, усмехаясь, Александра Ивановна будто бы беспокойно сказала:

— Кажется, опоздали. Пароход отваливает. Что-то много дыму идет из трубы.

Миля, испуганно набирая вещи, заторопила извозчика. Подхлестнутая лошаденка побежала немного расторопнее, но скоро перешла в ленивую и обычную для нее трусцу.

Тетка, насмехаясь, тянула:

— Пожалуй, пешком успели бы вернее. Чемоданы в руки — и бегом.

Набережная показалась Миле нескончаемой. Сколько ни ехали, ей все представлялось, что вовремя не доехать. Парохода за плавучими строениями у берегов не было видно. Может быть, он уже, раскачиваясь на течении и разминаясь под строгими капитанскими окриками, оплескивая опустевшую пристань, уходил к Симонову. Тут вдруг тревожно, прощально закричал свисток...

— Ну, кончено! — безнадежно вымолвила тетка. — Видно, не судьба нам ехать сегодня. Во-он ка-ак гудит! Это он... отошел на середину... предупреждает лодки и... купальщиков.

Миля, отчаиваясь, сомневаясь, возбужденно восклицала:

— Это ты все, ты, тетя! Из-за тебя! Не надо было обедать! И обед опоздал. По телефону ты зачем-то звонила? И чемоданы завязывали долго! Ах, ка-ак глупо! Ах, какая я неудачница!

Скрываясь от Мили, тетка лениво бурчала:

— Пустяки! Не уедем сегодня... поедем через три дня... Только на другом пароходе.

Прислушиваясь к свистку, извозчик понукал. Но свисток был еще первый. Расколовшись пополам, он сорвался, осип, будто захлебнулся и подавился. Извозчик теперь торопил лошаденку исключительно потому, что подъезжал к остановке.

Миля не успокоилась. Она бежала торопливо впереди тетки по сходням и беспокойно на нее оглядывалась. Под тяжелым весом тетки сходни сдали. Как две больших распластанных рыбы, они изогнулись обеими половинками и запрыгали, словно доставая ее хвостами. Миля вскрикнула и протянула к ней руку.

— Иду, иду,— спокойно говорила Александра Ивановна,— не могут как следует сделать трапы. Детям ходить впору!

Матрос, проверявший билеты, усмехнулся:

— Выстоят, барыня. Они — податливые. Спину подставляют. Бочки катаем по шестьдесят пудов. Гибучие... они — нарочно. Предусмотрено.

Уходя за Милей, Александра Ивановна лукаво взглянула на матроса и с сомнением покачала головой:

— Все у вас предусмотрено! Просто... халатность!

Давно прошло время отвала. Александра Ивановна, сидя в широком плетеном кресле, тихонько курила. Миля, держась за перила, перегнулась за борт и нетерпеливо следила, как по сходням весело бегали грузчики с тюками на спинах, толкались, смеялись, небрежно смахивали пот с лица грязными рванными рукавами. Они ловко отскакивали в сторону от катившихся одна за другой, как стадо в узком прогоне, бочек, неосторожно лезли друг другу навстречу. Острое кровельное железо во всю ширину сходен, тяжелые машинные части, плоские ящики с мылом, чаши сепараторов, бидоны и мешки, мешки, мешки прыгали и оседали на сходнях. Грузчики прижимались к барьеру, проскакивали вниз, с боков...

Миля тосковала вслух:

— Когда же, когда же поедем?

Грузчики подняли головы, как-то всегда немного придавленные к груди, словно на шее лежали невидимые тяжести, и один, подмигнув ей, сказал:

— По-одь помога-ай! Скоро и поедешь! За работой время не идет, а бежит. Одеянье только свое скинь!

Грузчики густо и сдержанно засмеялись, не останавливая работу. Засмеялась и Александра Ивановна.

— Куда ты торопишься? Погрузят — и поедем.

— Ах, кажется, никогда этого не будет! — вздыхала Миля, скучая и серея лицом.

Но где-то уже, звеня запорами, захлопывали ворота в складах; грузчики устало и довольно рассаживались на недогруженных товарах по берегу, закуривали; по сходням с блуждающими глазами проскальзывали запоздавшие пассажиры; где-то на пристани, переключаясь, закричали двое:

— Го-о-то-во!

Настала самая тягучая тишина. На пароход прошли с книгами капитан и помощник. Повар пронес какую-то трепыхавшую хвостом рыбу. Машина клокотала под колесами, пенила воду, ворочалась, точно пробовала вылезти из-под парохода. С пристани от чалок настороженно глядели сторожа. А пароход, неизвестно почему, стоял.

Александра Ивановна, отмахиваясь от редких проносных комаров, зевала:

— Та-ак и простоим до утра. Никогда в жизни не приходилось ездить по расписанию. Расписание вывешено для пассажиров, а не для пароходчиков. А-а-а!

Погладив запотевшее пенсне и потеряв красный, с ямочками, рубчик на переносье, она продолжала ворчать:

— Подражаем загранице. Там расписание — и у нас тоже. А на что? Иностранцу легче умереть, чем отступить от расписания. В России же... так... бумажка... Висит она где-нибудь в потайном углу. Никто не интересуется. Никому не нужно. Десять лет провисит, покуда не иструхлявится... покуда не сорвут озорники-ребятишки или по надобности не отдерет, дожидаячи парохода неделю, мужик...

А Миля, покачиваясь, вскрикнула:

— Шевелится! Шевелится!

Александра Ивановна фыркнула:

— На воде только камень не шевелится. Не-ет, милая, по всему вижу, как бы не пришлось нам домой... Зря извозчика отпустили. Надо было сначала узнать, пойдет ли этот корабль. И... может ли он вообще ходить?

Мимо, щелкая каблуками, проторопился помощник капитана, золотея якорями пуговиц. Александра Ивановна благодушно покашляла:

— До-олго-нько! Будто за великопостной обедней стоим!

Строжея, не останавливаясь, отозвался помощник:

— Извиняюсь! Чинят штурвальную цепь. Перержавела. Невозможно-с управлять пароходом! Рейо требует полной готовности!

Отходя, он озабоченно одернул белый китель, как по струнам, провел рукой по золотым глазкам пуговиц; колыхавшиеся клеши матросских брюк, будто огромные уши, заерзали вокруг ног и подгоняли его.

Александра Ивановна весело зажала смеющийся рот:

— Без руля и без ветрил! Чи-иня-ат! Баста: зря провели время. Отсидим, пока не вспомнят... Потом отпустят... пароход в ремонт. И... начнут выдавать обратно деньги.

Миля, под хитрившим усмешкой лицом тетки, раздражительно дернулась и помчалась догонять белый китель, нырявший по белой лесенке от рубки.

Устало текла темно-зеленая Москва, поднося к пароходу купальщиков. Грузчики легли на берегу. Смирно стояли у чалок сторожа и не глядели больше на пароход. На крыше пристани, как по зеленому скошенному лужку, ходили два голубя и стучали носиками, отыскивая невесть откуда взявшиеся крошки. Солнце укрыло за Яузой высокоголовые дома — тусклые, многоглазые, молчаливые, надымившие нефтью жирное, черное небо. Колошматили на каждой колокольне в Замоскворечье неустанные богомольцы. Приближался ленивый московский вечер. В трюме гремели резкими отскакивающими молотками, а над головой по верхней палубе перетягивали громоздко и скрипуче штурвальную цепь. Шла обычная, никуда не спешившая вечерняя жизнь. Замер флаг на пристани, как свернутый зонтик, обняв мачту.

Александра Ивановна устала сидеть. Трудно вытащила себя из плетеного кресла, приподымая его, оттолкнула и прошла на нос. Тут стоял наизготове матрос с рейкой. Они посмотрели друг на друга. Александра

Ивановна подумала, покашляла и ухмыльнулась на его искривившуюся фигуру:

— Котлы у вас в исправности?

Матрос помолчал немного, поглядел на нее через плечо и огрызнулся:

— Про котлы машинист знает. Я реечник. Рейка у меня в исправности. Покуда не сломалась!

— Не потопите?

Матрос едко и зло опять скопился через плечо:

— Вы-выплывешь! У кого брюхо вроде бочонка, тех вода наверху держит.

Александра Ивановна снесла насмешку матроса, пошарила в ридикюле папиросы, закурила и потянулась к нему:

— На-ко, курни! Может, лучше будешь!

Матрос поколебался, но привскочил и взял папиросу. Он приметно оглядел Александру Ивановну, что-то соображая:

— Я не сердитой. Право, без всякой обиды вам. Тонул в третьем годе пароход «Легкий» на Шексне. Двое таких кругляшей, муж и жена, скатились в воду, плавать не умеют, плачут на воде, прощаются: «Прощай, Петруша», «Прощай, Машенька». Всю душу искорежили сперва жалостью... А потом — веселье, будто несчастье с пароходом позабылось наполовину. Булькаются, руками гребут, а и башки не замочили. Брюхо, ровно пузыри у рыбы, спасло. Понесло их да на глазах к берегу и притянуло. Баба, помню, мокрущая стоит на песке, платьишко у ней на брюхе, как барабанная кожа... Нам говорить некогда с пассажирами. По уставу нельзя. Дело прозеваешь! Сейчас его нет, так будет... Я с вами, слово за слово, разговорюсь, команду прослушаю — и... и подкачу на мель пароход.

Говоря, матрос внимательно и зорко держал ухо к капитанским мосткам:

— Ишь, цепь не в порядке. Двое суток стояли, а хватились перед отходом. Так всякая беда бывает.

Александра Ивановна дразнила:

— А котлы начнем чинить где-нибудь в поле, на сенокосе?

— И не-у-дивительно!

Матрос вдруг спохватился, серьезно наморщил лоб и обтер его, словно вспотев:

— Не-ет! За котлами другой надзор. Лопни котлы — от парохода целым останется один якорь. Котлы осматривают. Сорок годов котлы стоят. Выверенные.

Матрос затаился, повертел папиросу между пальцев, выглянул за борт и опять через плечо, что-то прикидывая в глазах, спросил:

— Из докторов сами?

Александра Ивановна удивилась:

— Из докторов. Как ты узнал?

— По обличью и по голосу. Будто у больного выпрашиваете, какое место болит. За лето-то приглядишься к народу. Без ошибки узнаём.

Весело и крикливо бежала на нос Миля:

— Испра-а-вили! Испра-а-вили! Капитан сердится! Наверстывать будут потерянное время. Ка-ак хорошо! Теперь-то уедем.

Матрос беспокойно отвернулся, подымая рейку, и наскоро бросил:

— А барышня-то будет дочка?

Александра Ивановна огорченно надула щеки:

— Прохвастался, брат. Чья-то дочка, а мне племянница.

Она схватила Милю за худенькие плечи и потрясла. Матрос недовольно оправил измятую фуражку, мельком окинул глазами Милю и оправдывался:

— В них характера не видно... Оплошка и сделалась.

Александра Ивановна неудовлетворенно махнула рукой:

— Фью-ю!

Матрос изговаривался с рейкой, опуская ее наискось за борт и словно готовясь ею, как острогой, ударить рыбу.

Скоро тронулся пароход, заветрило, стало обдавать холодком, вскрапнул мелкий неохотный дождь, наглаживая палубу. Александра Ивановна ушла в каюту.

Шла Миле девятнадцатая весна, и Миля, не уставая, носилась вокруг парохода с кормы на нос и обратно, отсчитывая двести маленьких шажков. Она впивалась в недалекие кужлявые берега Москва-реки. В холодную сырую ночь, мерзняя, кутаясь в теткин плед, Миля маленьким комочком ежилась на носу и глядела-глядела вперед на гладкую, отливающую зеленоватым лоском воду. В узком коробке каюты было так же тесно, как в городе, как в темной прихожей квартиры на Чистых

прудах. Изгибались железными крокодилами над водой землесосы; уроды-землечерпалки горели сторожевым глазом; расступались плавучие мосты широченными доками; нацеживались бурной, словно кипевшей водой шлюзы; на сенокосных угодьях плавилась красные спокойные костры; древние монастыри и шатры колоколен подходили за ночными луками задумчивыми, торжественными куполами. От берегов несло вместе с холодным сквозившим ветром тонким душистым подмаринником.

Только третьего дня кончился тягучий май, бессонный, страшный, надоедливый... Был веселый молебен. А потом объявили роспуск и назвали фамилию Миля с большого белого листа. Вечером в маленькой квартире на Чистых прудах, под смех брата-студента Леонида, радостно улыбавшегося под очками отца и напряженной в тревоге матери, тетка вытащила из ридикюля неизменную свою трубочку, как черный колокольчик на длинноватой ручке, выслушала легкие, сердце, пощипала за бока, отвернула веко и громынула:

— Ка-акая ме-ерзость!

Пока хохотали все, и больше всех Миля, Александра Ивановна мирно покуривала и пережидала.

— Ну-у, кончили? — сердито спросила она. — Так вот. Я Миле делаю подарок. Девчонка нуждается в воздухе. Мы с ней поедем кататься по Москва-реке, по Оке и по Волге. Да-авненько и я не бывала в этих местах.

Отец было заикнулся:

— Мы ж на дачу... в Крюково...

Александра Ивановна предостерегающе погрозила:

— Лаврентий! Ты математик, а я медик. Я знаю лучше. Сначала на Волгу, потом в Крюково...

Миля не сходила с палубы. И днем и ночью плыли навстречу, сзади, с боков пароходы, беляны, плоты, нефтянки, баржи... А с них махали руками и снимали картузы люди. Капитаны, матросы отвечали им, кричали, складывая руки горстями или вздымая медные рупоры...

Миля никогда не езжала на пароходе дальше Воробьевых гор. Причудливой паутиной петлилась Москва-река, капризная, туманная, зеленогривая, большими сверкающими плесами плескалась белоглазая говорунья Ока.

Пароход проходил сенокосами, заливными лугами, хлебными полями, и на пристанях шумел и кричал все новый и новый народ.

— Наметка! Наметка! — выкрикивали матросы на носу.— Шесть! Восемь!

Торжественно и важно приваливали и отчаливали пароходы. Капитан вытягивался на своих мостках, замирали у чалок матросы, затаивались сторожа на пристанях, изловчаясь поймать свистящий трос. Капитан небрежно размахивал щеголеватым начищенным медным рупором.

Миля не сводила глаз, синевших удивлением и восторгом. И ее синим очам говорил грустно и светло капитан:

— Я имел судьбу родиться в каюте. Пять лет я жил на суше, а сорок восемь — на воде.

Золотеющим вечером шептал ей лакей, вышедший покурить на борт:

— Во-он она тут изогнулась... а там будет опять лука. На дне реки, барышня, золото и серебро. А в реке Суре,— около города Васильсурска поедете когда,— живет стерляжий царь. Весь он из темного золота, только спинка серебряная. Сурская стерлядка — самая вкусная. Во всем мире нет равных стерлядей.

Над золотыми песочными берегами кружили ласточки. И будто огромная терка был берег в ласточкиных гнездах. Они влетали в свои пещерки, как мелькнувший, крылатый камешек; взвивались обратно, молча виясь над набегающей сединой прибоя в стремительной и легкой суете.

— Хитрая и умная птичка,— продолжал лакей.— Приходилось мне в деревне видеть такое. Весной в гнездо ласточки под застрехой заберется воробей. Ласточки надолго выют гнезда. Заберется и сидит. Прилетят они из далеких стран, а дом занят. Нахохлится воробей и знать не хочет хозяев. Ласточки чивиликают так жалобно сперва, снуют, снуют, толкаются в дырку. И что же вы думаете: соберется их стая. Тут воробью не устоять. Несет каждая — то грязинку, то веточку, то листок... И дурака-воробья в упаковку. Живо замуруют. Видно, сидит-сидит, а те ждут — начнет задыхаться... Они ведь кругом обработают заново гнездо, подмажут его, как печеклады. Ну-у, тут воробей соберет все свои

воробыиные силы — и кувыркoм в пролом. Не заманишь больше! Хе-хе! Во-о какие смекалистые!

Теплый ветер относил стайки чаек за кормой. Они ловили на лету крошки, нацеливаясь круглыми, маленькими коринками глаз, садились в вырытую яму завивающейся белой воды за кормой, покачивались и, передохнув, снова подымались, летя за пароходом. В узких плесах над медлившим пароходом чайки начинали кружить с носа на корму — и тогда пароход шел, как в кольцах Сатурна, как в белом трепетавшем крылатом венке.

Ширь, волны, луга, непроходимые зеленые нежные рощи ветел у сел, и дали, и раздолья, за ними на горках лесенки пашен и снова поймы. Вдали, на крайнем окоеме, мельницы, как огромные серые кролики, присевшие к земле и поднявшие уши-крылья. И над неизмеримыми далями — полет ветров, птиц, благословенное золотое тепло солнца с голубой молчаливой крыши неба.

Александра Ивановна любовно гладила Милю по спине:

— Восклидай! Восклидай! Загорай! Загорай! Пекись на солнце! Чисти легкие! Саж там накопилось городской, как в трубе.

— Отдай чалку! — кричала Миля во сне. — Трави-и! Трави-и!

Александра Ивановна тряслась на узеньком матраце. А под Нижним в первый раз пришло горе. Рано утром из-за островка выскочила лодка. Лодка ударилась о борт. Миля закричала, зажимая ладонями глаза. В лодке было трое. Упал в воду мужик — и скрылся. Вытащили бабу. Александра Ивановна с матросами возилась над ней, отхаживая утопленницу. В то время как перекувырнулась лодка, вывалился из нее большой пустой сундук, а на крышку как-то перекинуло маленькую девочку. И покуда девочку, вцепившуюся в край, качало и уносило и покуда ее не приняли в лодку матросы, Миля все кричала и тянула к ней руки. Кричали другие женщины. Мужчины беспокойно стояли рядом. Капитан плакал навзрыд:

— Двадцать пять лет плаваю! Никогда ничего не бывало! Они не слышали за ветром свистков! Снимут меня с парохода, снимут! На послушание, на послушание на пристань!..

Александра Ивановна, запыхавшись, бурчала над племянницей:

- Во-от растяпы! Цыц! Будет! Глота-ай!

И она вылиwała в рот ей полную рюмку пахучей янтарной воды.

Ночью была луна. Как серебряный штопор, уперся ее скользящий свет в воду и тесал ее мелкими серебряными стружками.

Притихший пароход шел дальше, и только на корме, в третьем классе, всхлипывала чья-то гармошка.

Миля вздыхала, укачивая свою печаль, забываясь и отходя от нее, когда выступали вдаль унылые стога курганов, кудрявые лохмачи-деревья, изъеденные разливами оползни берегов и над всем — дрожащая, бледно-неясная паутина месяца.

— Ах, тетя, как чудесно! — бормотала она, подъезжая к Нижнему, глядя на зеленогрудый изогнувшийся пояс Кремля.

Александра Ивановна улыбалась:

— Да, да, по-видимому, хорошо, хотя я ровнешенько ничего не вижу. Говорят, красивый город... только гористый.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С желтого обрыва, с наклонившейся над песком лохматой ветлы, подставившей свою коренастую корявую спину сидевшей на ней Миле, было видно речное каменистое дно. В глуби узкой лесной дороги, упиравшейся на обрыв, дрожало в деревьях холодевшее на заходе усталое мутное солнце. Матовый меркнувший огонь бил сзади жидкими пятнами; то деревья заслоняли, качаясь, солнце и пресекали его волокнистый неверный дым. А речное дно было чисто, ясно, в неровных белых камешках. Цветными горами выступали в заречье перемежающиеся рощи березняка и сосен. Над ними заледелой белой порошей свисали недвижные облака.

Был будний вечер. И овраг был безлюден. Недалеко неслись веселые дачные поезда. Они дымили белыми упругими гейзерами над леском, гремели разошедшимися бешено колесами, выли остерегающе сиренами, — но будто они шли пустыми и никого не привозили.

По праздникам на овраге было шумно, крикливо,людно. И Миля тогда не приходила сюда.

Сидя на удобной ветле, она тихонько покачивалась и кидала один за одним мелкие камни. Словно отку-

поривали звонкоголосые бутылки, булькал камень, морщил водяную стеклянную плиту, и она билась в узорную большую звезду. Когда снова застывала вода, от берегов боязливо выходили окуни, язи, плотва. Обойдя круг, рыбы внезапно исчезали, и в то же время откуда-то из травы, как огромный челнок от швейной машины, кидалась остроносая щука. Поперек зубов у щуки билась, серебрея, рыбка, а щука, шевеля хвостом, осторожно забирала ее, переворачивала, медленно оседала на дно и неподвижно окаменевала, чтобы снова рвануться вперед на другую обманувшуюся рыбу.

Миля тогда ловчилась попасть в щуку самым большим из набранных раньше камней. И почти всегда щука одновременно с долетевшим камнем всплескивалась, успевала схватывать еще одну рыбешку и отходила ненадолго под зеленые прикрытия усатой и жирной травы.

Лето тянулось тяжелое, задумчивое, тревожное. Миля скрывалась часто из дому и не отзывалась, когда с террасы дачи сердито кричал брат, кряхтел отец и едко-насмешливо тянула Александра Ивановна. Тетка приезжала из Москвы в середине недели и жила день-два. Она прибредала на обрыв, сидела с племянницей на ветле и курила.

— Не прошло? — спрашивала она, ласково усмехаясь.

Миля краснела и молчала.

— Н-да! Хорошо-с покатались!

И, тычась ей в плечо, Миля шептала:

— Вы, тетя, папе не говорите! Ужасно неловко и... стыдно! Он расстроится!

— Ты преувеличиваешь... Он сам был влюблен. Я тоже была поверенной в его чувствах. Он был еще глупее и застенчивее тебя.

— Все-таки!..

— Что все-таки? Дело не в этом. Предмет твоего головокружения уж очень мне не люб. Пустой прощелыга и... таскун...

Миля вскрикивала, ежилась, морщилась.

— Зна-аю, зна-аю... Кажется богом... и черт знает кем. У девчонок глаза, как у щенят: ничего не видят. Распознать же его легко без микроскопа.

— Тетя! Тетя! — возмущенно ахала Миля. — Вы не понимаете его! Не поняли! Он вас стеснялся!

— Конечно, он тебя, дурочки, не стеснялся. Тут он действовал наверную. Плетй, не плетй — всё будет казаться брюссельским кружевом... А не грубой холстиной или марлей. Меня он потому и стеснялся, что не мог бы от меня, как ни вертись, укрыться. Ох, уж эти пароходные ухажеры! Ть-фу!

А Миля вспоминала больно и сладко, идя рядом с Александрой Ивановной, его зеленоватый офицерский френч, черные, какие-то кипящие темные, глаза и тонкую тонкую белую руку. А главное, голос — торопливый, задыхающийся, обиженный и печальный.

В Нижнем пересели на большой теплоход. Незадолго перед отвалом она заметила легонько хромавшего офицера с небольшим фибровым чемоданом.

На другой день с какой-то пристани вошел корабейник и начал продавать открытки с видами Волги. Вокруг корабейника собралась публика. Миля отбирала открытки. И как-то случилось так, что стояли они рядом и передавали из рук в руки пачки открыток. Потом, купив их, пошли вместе, сели и, показывая друг другу покупки, разговорились. Офицер ехал в Самару в отпуск. Он только что вышел из лазарета. У него была прострелена нога.

На третий день Александра Ивановна хмурилась, Миля лепетала и смеялась, вместе обедали, офицер на каждой пристани покупал цветы. Он проехал Самару.

Александра Ивановна, увидев его за Самарой, недовольно сказала:

— Что это значит, Миля?

Та, радостно хохоча, целуя тетку, шептала ей:

— Он решил проводить нас.

— Куда?

— В Астрахань и... обратно!

— Ого-го! — свистнула Александра Ивановна. — Недурен герой! Ему надо ногу подлечивать, чтобы скорее отправиться на фронт, на свое место, а не кататься и не волочиться за девчонками.

И когда в Царицыне Григорий Григорьевич Засецкий, — так звали офицера, — спросил у Александры Ивановны вместе с Милей разрешения съездить в город, — пароход должен был стоять около двух часов, — она прямо и резко сказала:

— Ну, уж нет! Моя племянница не привыкла к выездам с чуть знакомым ей человеком в незнакомый город.

Я вас, сударь, совершенно не знаю — кто вы и что вы. И... какие у вас намерения...

Григорий Григорьевич вздрогнул, смутился, но Александра Ивановна, притворно не заметив, добавила:

— Ты, Миля, конечно, как хочешь... А я бы не поехала.

— Но почему? — огорченно и нежно спрашивал Засецкий. — Я... не понимаю...

Чуть не плача, краснея, и Миля бормотала:

— И я не понимаю. Но... но я... я не поеду...

Покуда пароход стоял, Александра Ивановна дулась на Милю, и, когда та подбегала к ней на корму и виновато ластилась, тетка трубила серьезно и недоступно:

— Людмила! Оставь, дай мне подумать! Поди закручивай себе больше голову, — я буду соображать, как тебе ее раскрутить!

Григорий Григорьевич, чуждаясь Александры Ивановны, стоял поодаль.

На следующей остановке, перегнувшись через перила, глядели на рыбаков, подъезжавших на лодках к пароходу. У каждого из них за кормой на короткой веревке, привязанной к железным уключинам, извивались и ходили крупные осетры и остроспинные тонкие севрюги. Рыбак с трудом выдернул вздрагивающего и бьющего хвостом осетра, налег на него, изогнул его кольцом, связал голову с хвостом — и осетра волоком по грязной нижней палубе потащили на кухню.

Миля передернулась плечами и отвернулась:

— У-у-ужасно!

— Да. Да. Это противно. Живой пленник. Вот так на фронте уводят в плен неприятеля.

Григорий Григорьевич первый раз взял ее под руку. И, будто от теплоты ее тоненькой ручки, кровь прилила ему сразу в щеки, в глаза, в искривившийся рот. Он, волнуясь, сказал:

— Вот так... мой приятель, граф Зубов, кавалергард, убитый под Сарыкамышем, сделался вегетарианцем. После бала утром он возвращался домой. На бойню гнали стадо телят. В виде спорта погонщики хватали телят за хвосты и ломали. Телята, конечно, ужасно кричали...

Подымая вместе со своими ручками его руку, Миля зажала уши:

— Молчи-ите! Молчи-ите! Какие вы мне рассказываете ужасы!

Григорий Григорьевич спохватился и старался ее отвлечь.

Александра Ивановна вечером, когда Царицын долго висел вдали огромной огневой короной, сам невидный, трепещущий, словно огни его раздувал крепкий и свежий понизовский ветер,— зудила Засецкого:

— Моей племяннице надо мясо есть, рыбу... Ее питать надо лучше. У нее бледнокровие. Злокачественная анемия. Небольшой легочный процессик! А вы ей рапортуете о вегетарианцах.

Григорий Григорьевич, злобно глядя на нее, оправдывался:

— Но... я не знал!

— Так вот теперь знайте! — грубила Александра Ивановна.

Она подкладывала Миле за ужином осетрину. Та морщилась. Григорий Григорьевич на этот раз непривычно ужинал один, пил вино и бренчал задумчиво вилкой о фужер. Наконец он рывком отодвинул тарелку, опрокинул красное вино на скатерть, вскочил и, прихрамывая, пошел на палубу.

Во втором классе за угловым столиком Миля чего-то хохотала на разводящую руками тетку.

Остановливаясь подальше от окна и глядя на алое весельем лицо Мили, Засецкий с ненавистью пробормотал:

— Старая кикимора!

Александра Ивановна, сняв пенсне, закатывала глаза и кривила губы, потом шарила рука об руку, крадучись, близоруко, как делал Григорий Григорьевич. Он бесился, не умея удержать дрыгавшую больную ногу. Миля почувствовала его за окном, летуче взглянула — и перестала смеяться. Тогда и Александра Ивановна взглянула, встала, придвинулась к самому стеклу. Засецкий, негодую, неловко наклонился за перила и отвернулся.

Александра Ивановна пренебрежительно процедила:

— На дежурстве! Они стоят на карауле!

И вдруг она тревожно сказала Миле:

— Ты бы не выходила сегодня. Весь пароход разделся на пары чистых и на пары нечистых. Уже замечают твою глупую идиллию. Смотри, девчонка! Ты играешь, но игра твоя перестает походить на детские игрушки!

Миля затрепетала руками, испуганно отказываясь:
— Что ты, что ты, тетя! Как же я могу пропустить этот самый интересный плес Волги? Папа говорил: от Царицына только и Волга, до Царицына она — небольшая лужа, разбавленная притоками. Я выйду ненадолго.

Григорий Григорьевич встретил ее и прильнул тесно, горячо, дрожа:

— Александра Ивановна... не выносит меня... Я невольно...

— Подсмотрели?

— Да... Я не хотел. Но так явственно. За что такая неприязнь? Я боюсь, как бы и на вас не перекинулось непонятное глумление надо мной...

Слегка прижав его руку к себе, Миля ничего не ответила.

На обратном пути он поцеловал ее в Саратове. Они сидели на опустевшем уголку палубы. Все пассажиры сгрудились около капитанской лесенки, наблюдали, как по черным открытым желобам бежала из нефтяных цистерн глянцевитая живая нефть в ненасытный бак машинного отделения. Поцеловал бегло, воруя поцелуй у неосторожно наклонившихся губ. Миля оттолкнула его, покраснела, отодвинулась... И почти в отчаянии, в ужасе она прошептала:

— Та-ак... все... скоро... случилось?!

Она закрыла горевшее и трепетавшее лицо тонкими, будто сквозными пальцами.

— Пойдем,— серьезно сказала Миля, не замечая его довольных и темных глаз,— на народ, найдем тетю...

Григорий Григорьевич повел ее кругом, настойчиво твердя:

— Ты... ты... ты будешь моей женой!.. Я не отстану от тебя. Мне теперь Александра Ивановна не указ. Я знать ее не знаю. Ты меня любишь, это — главное. Дорогая, ты еще не можешь понять, как я счастлив! Я счастлив сильнее тебя на десять разделяющих нас лет. Миля, ты не бойся! Ты будешь со мной счастлива!

— Только я прошу тебя,— вполголоса отвечала она,— ты не торопись. Надо, чтобы тетя ничего не знала. Засецкий кипятился:

— Нет, нет! Ты — моя! Зачем мне ждать? Приедем в Самару... сойдем... Я привезу тебя в наш дом... Через три дня мы обвенчаемся!

Миля в испуге отшатнулась:

— Я... я еще не зна-ю! Я... я подумаю...

Раздувая ноздри, недоумеая, вертелся Григорий Григорьевич:

— Но что же тут думать?

Подняв высоко пенсне, Александра Ивановна смотрела на подходившую пару.

Неслышно, только одними губами, шепнула Миля:

— Мол-чи! Смотрит тетя!..

— Ах! — вырвалось у Засецкого. — Я вижу, как она смотрит на меня, даже во сне. Не-вы-но-си-мая! Ты меня извини, но... я имею право так говорить о ней. Это взаимное наше чувство.

Миля наклонилась вместе с Александрой Ивановной за борт на хлюпавшую через борт нефть. Щеки Мили были розовы.

— Ка-кая противная! Ка-ак кошка, извивается! — сказала Миля.

Александра Ивановна довольно громко ответила:

— Да. Ка-ак твой кавалер! Такой же неопределенный и... темноватый.

Миля промолчала, но лицо ее потускнело, и она немного отодвинулась от тетки. Подумав, полушепотом, досадуя, протянула она:

— Мне это надоело, тетя: все одно и одно. Перестань! Он же может... услышать!

— Ха-ха! — засмеялась Александра Ивановна. — Я нарочно и говорю, чтобы услышал. Может, отстанет от нас. Хватает же совести у человека лезть, когда его гонят! Ну, положим, одна я... но все же...

Ночью Миля, раскрыв удивленные глаза в темноту, лежала неподвижно. Напротив спала Александра Ивановна. Миля вздохнула и хрустнула руками.

Неожиданно насмешливо произнесла тетка:

— Не вздыхай, не вздыхай зря! Не сплю! Все слышу! Миля обрадовалась.

— Ты знаешь, тетя, — серьезно и не запинаясь проговорила племянница, — он мне сделал предложение.

Александра Ивановна, поперхнувшись, свистнула.

— Тетя! Он... страдает!

Голос Мили потерял уверенность. Замирая, она ждала ответа.

Александра Ивановна, роняя стаканы и рассыпая печенье, шарила на маленьком столе:

— Где тут у нас спички? Зажги-ка электричество! Ну же!

Миля растерянно и несвязно забормотала:

— Не надо, не надо, я не буду смотреть!

— Как так не надо? Не найду спичек. Тебе при свете стыдно, а я из-за тебя не кури. Ну, ладно! Во-от они! Теперь и мне свет не нужен.

Александра Ивановна затаилась несколько раз, посопела носом, помолчала, закутываясь в одеяло, и забормотала под конец себе под нос:

— Дует что-то... Лето, а ночь, как осенью. Тебе не дует от окна? Не озябла ты?

Миля, затаившись, молчала.

— Положим, какой тебе холод. Жару в тебе теперь, как в паровом котле!

Миля, удивляясь своему резкому голосу, плаксиво и возмущенно как бы прыгнула в темноту:

— Ты... ты всегда издеваешься! Это жестоко! Не... не... по-родному!

Александра Ивановна качнулась на постели, зазвенела пружинами и засмеялась громко:

— Жени-их! Жених! Ему надо серные ванны принимать, а не жениться! Я завтра объяснюсь с ним. Я его отчитаю. Он, видимо, контужен и... не соображает свои поступки. Хе-хе! Паровое сватовство!

Миля едва уговорила Александру Ивановну. Сдавшись на уговоры, она угрожающе заявила:

— Если он в Самаре не сойдет, я обращусь к властям. Я не постесняюсь, милая, никакого скандала. Их надо учить, проходимцев!

Племянница негодовала:

— Что ты говоришь, тетя?

Александра Ивановна начинала сердиться:

— Я знаю, что говорю. А что говорю, то и делаю. Ты так ему и заяви: пора-де вам, Григорий Григорьевич, к папаше на печку, ножки полечить; жениться вам надо погодить, сначала войну окончите и... по миновании оной — милости просим для разговоров. Мы тем временем все обсудим и взвесим.

И когда Миля заплакала неутешно, содрогаясь, Александра Ивановна зажгла электричество, села к ней на постель и прикрикнула:

— Это еще что за новости! Ты тоже спятила! Поехали здоровье нагуливать, а домой приедем без задних ног.

Не разводи истерий! Ты глупа, девчонка! Его завтра убьют — вдовой хочешь быть? Ему терять нечего. Он, наверное, в каждом городе женится.

На вечеру подъезжали к Самаре. Волга будто горбилась впереди, текла уступами. Выкупанная в багряном дыму вечеряющего солнца, Самара зажглась тысячами стекол, а за Самарой по густой зеленой Волге будто неслись белокрытые лодки — то стояли на лесных горках Жигулевские дачи.

Миля, бледная и расстроенная, неудобно стояла рядом с Александрой Ивановной. Та взяла ее под руку и крепко держала.

Григорий Григорьевич, ненавистно озирая Александру Ивановну, скучно и вяло говорил о Самаре, указывал на отдельные ярко светившиеся дома, запинаясь, замолкал.

Александра Ивановна, прямо глядя Засецкому в глаза, вызывающе грубила:

— А вот в путеводителе, вы меня не осудите, мы все это уж с Милей читали. Там гораздо подробнее. У вас какое издание? У нас полное. Сокращенное издание, говорят, устарело.

Григорий Григорьевич болезненно усмехался. Миля дергала тетку за руку. Пароход приставал.

Засецкий пошел в каюту, вернулся с чемоданом, решительно посмотрел на ошетилившуюся и торжествующую Александру Ивановну, как-то вгляделся в рвущийся к нему взгляд девушки — и вдруг протянул к ней руки.

Миля вскрикнула, метнулась... Александра Ивановна, управляясь со съехавшими от толчка пенсне, растерянно, недоуменно и обидно глядела, как тонкие белые руки племянницы крепко сжали шею Григория Григорьевича, а он целовал ее глаза, щеки, лоб... Александра Ивановна, свирепея, заметила иронически глядевших соседей-пассажиров. А Миля кричала:

— Уходи-и! Уходи-и!

Засецкий, отдавая честь, сухо сказал Александре Ивановне:

— Честь имею кланяться!

— Имею, имею! — махая пренебрежительно рукой на пристань, говорила Александра Ивановна оправившись, таща Милю в каюту.

Григорий Григорьевич постоял, посмотрел вслед, пожал плечами, сводя их, озябшие, почти к подбородку, и захромал вниз.

Приехали с Волги прямо на дачу. Влезая на террасу, Александра Ивановна забурчала:

— Получай, Лаврентий. Не весила — негде было. На взгляд, прибавила в весе. Кормила стерлядями и севрюжиной. И... серьезнее девица стала.

Последние слова были сказаны многозначительно, лукаво и потише, — но племянница уже обнимала отца; мать гладила ее по щекам. Смущение было спрятано и укрыто в шуме, крике и суете встречи.

Александра Ивановна больше не донимала при родных за все лето. Почта с любимыми самарскими штемпелями аккуратно доставляла толстые, пузатые письма на полустанок. Они там не залеживались. Миля полюбила ходить к поездом и выбирала письма из-за незапирающейся до востребования дырявой решетки на стенке.

Александра Ивановна читала письма и смешливо, и внимательно, и осуждая:

— Одурел! Одурел! На восьми страницах... Точками... Бисером... Любовные извержения самарских вулканов. Не могу больше! На тебе! Не хватает сил дочитать до конца! И времени нет! Тебе тоже советую не зараз. Да... можно и не читать! В каждом одно и то же. Будто подрядился письмовник переписать от руки. Твои бы почитать. Они, поди, прямо тетрадами. У тебя не осталось от гимназии тетрадей?

Племянница не давала тетке своих писем и, усмехаясь, отвечала:

— Я, тетя, открытки посылаю.

— С видами и немymi сценами?

— Простые.

— Ты ему лучше военные посылай. Пора-де воевать ехать. Ножка-то у них поправилась? Не хромлют?

В начале сентября Миля торопилась на полустанок: вторую неделю не было писем. Александра Ивановна ничего не говорила, но Миля чувствовала сдержанность тетки и ее радость.

На широкой просеке, вскрикнув, Миля столкнулась с Григорием Григорьевичем. Он шел прямо, крепко, не хромал. Засецкий требовал свидания с отцом.

Миля, в трепете, тащила его к обрыву. Она оставила его там и кинулась за Александрой Ивановной.

Тетка долго думала, на обрыв не пошла, но написала маленькую записку, порылась в ридикюле, вынула оттуда французский ключ от своей городской квартиры, подала его племяннице и сказала:

— Пускай едет в Москву — записку отдаст Марфуше. Она его примет и накормит. Я завтра с ним переговорю.

Григорий Григорьевич рвался на дачу, уговаривал Милю, швырял от себя ключ Александры Ивановны; но, зацелованный, обмякший, покорный, поздно вечером махал с площадки вагона платком и кричал:

— До завтра! До завтра!

Миля тосковала, скучала. Прошла неделя: не было ни Александры Ивановны, ни Григория Григорьевича. А потом пришло письмо из Одессы. Было это в день отъезда с дачи.

Миля суетилась, помогая матери с укладкой вещей.

Перед самым отходом поезда она забежала к заветному ящику — и схватила письмо.

В темном и набитом людьми вагоне пришлось только распечатать письмо, но прочитала она его в Москве. Письмо было так неожиданно по содержанию, что Миля не утерпела и бросилась к тетке.

Александра Ивановна не удивилась и спокойно посвистала:

— Все очень и очень просто. Я его уломала отправиться к своему делу, а не соблазнять невинных девушек.

Племянница заплакала.

— Да брось ты! — стукнула размахисто Александра Ивановна по ридикюлю. — Ничего тут позорного нет. И он сначала лез на меня с кулаками. А я ему кричу: «Сладострастник, сладострастник! Свидетельство о здоровье представьте! Сви-де-тель-ство!» Повоевали два дня — я одолела. И по-твоему сделала: дала ему за тебя слово. Ежели его не убьют на войне... через год об эту пору — ждем.

— И он послушал! И он послушал! — рыдала Миля. — Он не любит меня! Он не любит меня!

— То-то!

Но Александра Ивановна поморщилась и насильно продолжала:

— Нет, тут я за него пристану. Он на пароходе был хуже, чем в Москве. Кажется, любит, дурочка. А мы

проверим. И писать он тебе не будет. Так условились. Одно можно. Я разрешила написать. Здесь вместе и составляли.

Обнимая племянницу, Александра Ивановна прижимала ее голову к своей большой и мягкой груди:

— Так лучше, Милечка! Я и о тебе ему наговорила с два короба. Надо же было обезоружить сумасшедшего. Ха-ха! Сказала я, что и плоха ты, что и лечением твоим я должна заняться, чтобы подготовить ему... ха-ха... здоровую и сильную жену... ха-ха... и мать его будущих детей. Это я ему нарочно. Тоже проверяла, насколько ты ему дорога. Нет, не испугался! Глупенькая, я же хочу тебе счастья не по лотерейному билету...

Миля не унималась:

— И он согласился! И он согласился!

— согласишься тут, когда выхода нет.

Но Александра Ивановна еще в ту же зиму подошла раз к телефону и вздрогнула.

— Ка-ак! Ка-ак! — кричала она.

— Да так, — отвечал Лаврентий Иванович. — Приходи поздравлять. Явились вместе. Повенчались. Милька до потолка скачет, а молодой в тревоге прислушивается к твоему звонку. Нам с Марьей Петровной остается глазами хлопать.

На второй день Александра Ивановна мрачно вошла к новобрачным. Григорий Григорьевич, не подымая на нее глаз, невесело пошутил:

— Тетенька, честь имею!

— Хорош, хорош! — бурчала Александра Ивановна и нежно обняла его.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Будто прополз на брюхе глухой и безрадостный год. В белом фартуке с красным крестом на груди, в монашеской черной наколке, со вздувшимся от беременности животом, Миля сопровождала мужа по фронту.

Армии бежали. Бежали и они. И было страшно не это равнодушное и тупое молчание бегущих полков, дивизий, корпусов, лазаретов, провиантских складов, не эта развороченная железом и закиданная мертвецами, орудиями, телегами, павшими конями земля, — было страшно жадное, ненасытное желание, которое тянулось к ней

из тысяч глаз солдат, офицеров, генералов, пленных. Она пряталась от этих зовущих взглядов, ежилась, они кололи, угрожали, снились.

На стоянке, на передышке после долгого отступления, офицеры устроили пикник с женами, с сестрами милосердия, с другими женщинами, появлявшимися на таких пикниках неизвестно откуда.

Григорий Григорьевич был пьян. Миле нездоровилось. Бился в животе ребенок и заставлял неожиданно захлебываться и глотать слюну.

В небольшой рощице было сыро, туманно, жалко. Вечер пришел сразу. И тогда стали уходить пары в темноту. Возвращались и уходили. Уходили и возвращались. Потом снова пили. Было жутко, когда у смятой скатерти с закусками, бутылками и самоварами оставались одни денщики и она с пьяным мужем.

А когда насытились, снова собрались в шумную и крикливую стаю.

Засецкий охмелел больше — и бесился. Миля сидела на пеньке и нетерпеливо дожидалась конца пикника. Григорий Григорьевич выхватил шашку и ходил вокруг пенька, отгоняя под общий хохот дразнивших его офицеров. Он замахивался и на нее шашкой, когда она хотела встать. Он дико ревел:

— Не дам! Не дам! Ззарублю!

Было стыдно и тяжело. Но никто не удивлялся. Только смеялись. Старый командир, когда, наконец, схватили мужа, отняли у него шашку и насильно посадили его, — играя пьяными глазами, сказал ей:

— Он прав! Мы звери! Мы насильники! Мы быки!

На другой день нагнал неприятель. С тупыми, дрожащими головами, с красными и усталыми глазами снялись — и бежали дальше. Снаряды догоняли на широкой, разбитой конницей и обозами дороге, вышупывали, разносили, сметали грудки людей. Миля ехала по грязной, забрызганной кровью и закиданной мясом дороге. Проезжали какой-то небольшой деревенькой. Из нескольких домов звал обычный и отчаянный женский плач. Санитары, кривясь на дома, злобясь, молчали. Один не выдержал, — и в голосе его была только зависть, — одобрительно бросил самому себе:

— Пехо-ота!

Тянулись к ней выздоравливающие, держа ее за руку и принимая лекарство, не сводя с нее глаз. Глядели

темно и пугливо в роте, в окопах, когда она приходила к мужу. Глядели на перевязках,— в городах, в деревнях. Всюду, как воздух, окружало ее липкое и тягучее влечение.

Миля научилась холодно смотреть на раны, привыкла слушать, не слыша, стоны раненых, спокойно около мертвецов есть, спать около них. Усталость, непонятная, непереставаемая, словно перемешалась с кровью, заморозила чувства, мысли. Никакой войны не было. За что? Против кого? Было бессмысленное подсиживание человека человеком в канавах, в лесочках, за бугорками, ловля арканом бегущего испуганного зверя. Были болезни, смерти, вши, черствый и гнилой хлеб, бессонницы, пожары, водка, растерзанные женщины, разваленные города, выпаленные поля и деревни, изрубленные леса и опрокинутые вспять реки. И у всех этих тысяч, сотен, миллионов людей поблекли глаза, дождили укрываемые ночами слезы, ныли от простуд ноги, руки,— они накопили, как скопидомы, злобу и ненависть к себе, к человеку, к земле, к обтянувшему их то синему, то голубому, то пасмурному небу. И женщины платили первыми жестокую и беспощадную дань. И будто само собой, не думая, не понимая, люди пополняли урон войны, беря женщин,— и будто не было ни у кого никаких желаний, кроме как наполнить вновь пустые дома, города и веси новыми людьми.

Хотелось бежать, скрыться, не видеть людей.

На прифронтовой маленькой станции стоял небольшой поезд. В барак, наполненный сумасшедшими солдатами, упал снаряд. Снесло широкие двери. Сумасшедшие с криком вырвались на перрон. И, дико рыча, рванулись к поезду. Они вскакивали на площадки, но вагоны были заперты. Тогда, кидаясь головами вперед, сумасшедшие выбили окна, торопясь, кусаясь, въедаясь друг в друга зубами, обдирая одежду, кожу, вытаскивая волосы, как обезьяны, с ревом лезли в окна вагонов. Зубцы от стекол в окнах, острые клинья, были выкупаны в крови. Одни сталкивали других, другие подсаживали, и, покуда не наполнились вагоны, все лез и лез серый поток людей. Сначала их били прикладами, стегали нагайками. Потом стреляли вверх залпами... Сумасшедшие торопились только к одной цели, чтобы не видеть света, чтобы спрятаться под вагонную крышу, такую же тоненькую, как

пыльная пленка стекла перед грузным огненным бочонком снаряда.

Милю наполнило отвращение и ужас. Бежать! Бежать! Бежать! Когда гроыхало над головой небо и его раздирали широкие окна нестерпимо выглядывавших прожекторов, она часто отбивалась от мужа, вшиво и грязно прилипавшего к ней.

Приближались роды. Григорий Григорьевич повез жену в Самару. Тут, в большом богатом дворянском особняке Засецких, словно она опять вернулась в настоящую людскую жизнь: на покойной белой и мягкой постели под розовым полнотелым амуром, игравшим на потолке любовными стрелами, родился у ней мальчик.

Свекор, старый помещик, жил один. До рождения внука Бори любил он только английского дога, называвшегося почему-то Гибралтаром, и был равнодушен к сыну, как и к давно умершей в родах жене, вспоминаемой неоднократно сменявшимися экономками, горничными, вдовами и нищенками. И теперь в доме жила какая-то кривая женщина, Аграфена Павловна, которой был послушен даже Гибралтар.

Старик неласково принял невестку. Он умел улыбаться одному Гибралтару, когда тот приносил ему трубку, шапку, а на улице нанимал извозчика. Гибралтар вскакивал в пролетку и лаял в сторону хозяина. Извозчик испуганно оглядывался на оскаленную страшную морду. Старик усаживался рядом с догом. Гибралтар по знаку старика кидался на скромного прохожего. Старик подмигивал и дергал головой вбок — Гибралтар седлал сзади кривую Аграфену Павловну, получая от нее шлепок по жирному гладкому боку. Старик тогда умиротворенно улыбался.

Но Миля закричала в родах на весь пустой и гулкий дом. Тяжело, двое суток, извиваясь поджигаемой травкой, билась она. По комнатам с лаем носился Гибралтар, разрывая шелковую обивку диванов, кресел, стульев, скребясь у дверей спальни. Аграфена Павловна слезила один свой глаз и морщилась. Григорий Григорьевич ушел из дому, зажимая уши... И не показывался. Вдруг старик задумался, крикнул, взял арапник, ударил Гибралтара, тревожно взглянул акушерке в глаза — и сел в уголку в комнате роженицы. Красненькое, пискливое существо, через месяц выкупанное в родовой сере-

бряной купели и названное Борей, разделило его любовь с Гибралтаром.

Тут пришел метельный и грачинный февраль. Веселые красные шествия пошли каждый день мимо дома. Григорий Григорьевич уезжал на фронт и скоро возвращался. Казалось, кончалась вшивая, голодная, бесснарядная, бегущая война.

Миля ездила в Москву. Александра Ивановна подарила ей брюхатую книгу Жука и написала на ней: «Для руководства по наблюдению за Борей».

Лаврентий Иванович и особенно мать радостно сдирали с нее белый фартук с красным крестом и долго глядели на карточку внука, укладывая ее в альбом от Дациара рядом с маленькой Милей.

Старый Засецкий бурчал на шествия, сердился.

Однажды Миля стояла с сыном у окна. Был исход лета. По безлюдной улице неожиданно вприпрыжку пронесся разлохмаченный человек, за ним другой, а третьего, с криком и топотом гремящих ног, поймало человек десять солдат без картузов, с расстегнутыми воротами, без ремней. Подкидывая на камню, они начали бить человека. Ребенок на руках заплакал. Старик выпустил на подоконник Гибралтара и закричал повелительно:

— Что вы делаете? Кого вы, кого?

Бия и топча широкими сапожищами, солдаты отвечали, зверея:

— Большевика бьем! Большевика-а!..

Засецкий тогда под лай Гибралтара гаркнул:

— Мо-лод-цы-ы! Так его и надо!

Миля качала на руках плакавшего сына. Болея за терзаемого человека, она искоса глядела беспомощно на потных и полупьяных солдат. Они же, точно подбодренные выкриком старика, вздернули человека высоко над головами, поставили его «на березку» и щелкнули последний раз о камни.

Миля закрылась шторой у окна, не решаясь раскрыть глаз, чтобы не увидеть обрушившегося на землю человека.

Солдат горячо кричал Засецкому:

— Сомушал! Трое было. Двое убегли. На базаре сомушал. Говорил «Долой войну!» Знаем, что долой! А почто так? Полегоньку ее надо к изничтожению. Говорил: «Ничего не надо. Вяжите всех, кто за войну! Мини-

страм — пулю в лоб!» Разбежаться всем велел по домам. Немецкий шпион! Подку-у-пленной! Россию за деньги продал!

И Засецкий одобрил:

— Ве-ерно! Ве-ерно! Во-от вам за труды на спирт!

Старик довольно прищелкивал губами, смял в комок несколько кредиток и швырнул за окно. Но тогда солдаты, внезапно разъярясь, начали щелкать камнями об опушку дома:

— Не продаемся! За что пойшь?! За смерть?

— Кто-о такой?

— Барин?!

— Баринье тоже подкупа-а-ет!

— Кажись, кто такой есь?..

Засецкий, остерегаясь от камней, тянулся затворить окно и визжал:

— Я... я против большевиков. Я против большевиков!

Гибралтар то вскакивал на подоконник, то стремглав срывался на пол. Из пасти его, сквозь белые крепчайшие зубы, моталась пена и густела к носу.

Солдаты орали:

— За собаку спрятался? Не убиваем за деньги!

— За дело убиваем!!

— Морда!..

— В хоромах живет!!

— Подуськивает!

Солдаты долго и настойчиво бушевали под окнами, собирая толпу. Избитого и, может быть, убитого человека какие-то люди погрузили на извозчика и куда-то повезли. Деньги так и остались лежать за низкими перильцами, пока откуда-то не вывернулся босой рыженький мальчишка, шмыгнул мимо, ловко наклонился, подхватил и, показав дразнящий язык, как розовый листок, стрельнул вдоль улицы.

Засецкий, потный, испуганный, возмущенный, ходил по квартире, сопровождаемый запыхавшимся Гибралтаром:

— Каково-с?! Каково-с?! Каша-с! Каша-с в головах! Зверье и скоты-с! Убили большевика! Убьют и патриота! Волга, Волга! Разлив Волги! Жигулевские разбойники!

С этого дня, за всю осень не отходя от внука, отнимая его у Мили, старик целыми днями злобился на революцию, на большевиков, на красные флаги, на новые названия улиц.

Аграфена Павловна, ссорясь с ним, вопила:

— Товарищ Засецкий!

И это было самое обидное, оскорбительное. Старик багровел, топая оглушающе ногами на весь дом:

— Во-он! Во-он! Паскудница! Пиль! Пиль ее, Гибралтар!

Дог рычал, подходил к Аграфене Павловне, но затруднительно махал хвостом, не привыкнув еще кидаться на нее, и недоуменно пытался понять хозяина, ища в комнате других, незнакомых, людей.

Григорий Григорьевич приезжал с фронта бешеный, жалкий, без погон. И они теперь вместе с отцом твердили, кипя, одно:

— Монархию нужно! Монархию! Народ звереет! Сильную власть!

— Нет власти!

— Керенский — мальчишка и неврастеник!

— Фигляр! Истеричная баба!

— Корнилова!

— Николая Николаевича!

— Рузский — предатель.

— Брусилов — хам и подлец!

— Жоффра, Жоффра надо на наш фронт!

В начале октября старик приехал из театра и, ликующий, рассказывал Миле:

— Ты понимаешь, ставили «На дне» Горького. И вот, я тебе скажу, афронт, афронт. Когда появился городской, весь театр... ха-ха!.. как один заплодировал!.. Ха-ха! Это городовому-то! Ха-ха!.. Какие-то болваны попытались свистать... Их чуть не растерзали... Инстинкт самосохранения! На-арод понима-ет! Это высшее осуждение революции!

Скоро как-то вернулся с фронта Григорий Григорьевич, швырнул свой чемодан. Лицо у него было в синяках, в царапинах и подшиблен глаз. Миля схватила за него. Голова закружилась.

— Я совсем,— взвизгнул муж,— больше никуда! Как только я остался жив, не знаю. Россия погибла.

На улице в Двинске Григорий Григорьевич толкнул солдата. Ему показалось, тот нарочно наступил ему на ногу. Другие солдаты пристали за товарища. Они свалили Засецкого, привели его в роту и, глумясь, надели ему на шею веревку. Затягивая веревку на шее, подергивая, тыча кулаками в лицо, всей ротой они

вывели его за казармы... Уже налаживали веревку за толстый сук... Гогоча и вертясь около Григория Григорьевича, они закинули длинный конец веревки, попробовали... Артель солдат, зажав веревку сплошными и уродливыми кулаками, словно суковатую палку, начала отходить... Так они дома, в деревне, старательно и работяще поднимали колокола в приходах. Кем-то в то время была поднята тревога в казармах. Им помешали. Забыв о Григории Григорьевиче, солдаты рванулись туда. Он в тот же день бежал.

Из Москвы от матери приходили жалобные письма. Словно разлилась раньше времени веселая полая вода затопила Россию и не сбывала. И все, кто не мог оторвать от ее разбега радостных взоров, и те, кто верил в скорый ее спад, теперь заныли испуганными, тревожными голосами. Поток пугал: был он необорим и жесток. Александра Ивановна не отставала: слова ее были едки и злы.

Возясь с сыном на мягком ковре, снося обиды от мужа, мрачно шагавшего по длинной анфиладе комнат и пренебрежительно обходившего ковер, слушая рассказы Аграфены Павловны об очередях, слушая взбешенный вопль мужа и свекра, воздвигавших в кабинете монархию, Миля чувствовала, как и ее не обходит мутный и свирепый разлив.

И вот снова нарастал другой, еще более неожиданный и сложный, день. Две недели ждали вестей из Москвы и Петрограда. И они пришли — непонятные, дикие, невозможные...

Большевики победили. Они пошли по стране суровым осенним паводком, заливая города, деревни, села поновому, вздымая со дна муть и песок, отсеивая и не устывая, не отступая, с засученными рукавами, по пояс в крови...

Первый раз постучался октябрь той же весной: пришли за Григорием. Незадолго до того он отправил Милю с сыном в Ростов. Скоро явился и сам.

Старик Засецкий закричал воинственно и задирая: — Мой сын — не слуга большевикам!

Тошенький, худенький человечек с двумя наганами, с винтовкой похлопал старика по плечу и лениво засмеялся:

— Выучим! Еще какой и слуга-то будет — недорого. Вертнет хвостом — хвост прижмем и... отрубим. Перво-наперво сделал он неважно! Стрекнул... Ну, ни-

чего: мы найдем. У нас, дедушка, такой фонарь есть: под землей видим. В исправление отцу и сыну и... святому духу... домик конфискуем...

Обшарили весь дом и ушли.

Тот же человек, уходя, посоветовал Засецкому:

— А ты, папаша, старые ухватки забудь: худо будет. Не побрезгуем и тобой. Защитников у тебя, кроме собаки, один господь бог и его святые угоднички. Воинство это нам не того, чтобы того... опасное!

Потом в мае к дому подъехали подводы. Гибралтар залаял, кинулся на двери. А солдаты уже вносили по лестнице вороха каких-то синих папок, ящики, мешки. Втащили два пулемета. И, не разговаривая со стариком, они заняли комнаты. Заняли и молчали.

Засецкий обомлел. Будто надвинулась из-за леса вихрастая туча, налитые дождем облака низко и черно спускались к глазам, зачернили, как копотью, блиставшее круглое блюдо солнца, ветер дернул, качнул, стегнул, обрывая дыхание,— и тогда хлынул сшибающий, напористый, неоскудевающий дождь и град.

Старик вертелся зверьком между солдат, ища норку.

Погодя приехали на автомобилях другие люди. Молодой комиссар молча прошелся по комнатам, что-то показывал солдатам и наконец остановился около Засецкого:

— Через двадцать четыре часа оставьте помещение. Вот вам приказ.

Старик, побагровев и покоричневев, заметался.

— Здесь будет военкомат.

Старик, уже с выпученными, ненавидящими глазами, лез к нему и вопил:

— Грабеж! Свинство! Хамство! Кто-о смеет? Я говорю: кто-о смеет?

Солдаты холодно и деловито начали очищать комнаты от мебели, стаскивая ее в боковушу. Они неловко сдвигали тяжелые диваны красного дерева, приподымали и ставили обратно, оттаскивали от стен шкафы, толкали столы, покачивали зеркала...

Комиссар, поглядев на неспорую работу, приказал:

— Надо волоком, ребята. Ничего. Тащите. Полы будем натирать, придет время; не повредите.

Старик не унимался:

— Это не власть! Вы разбойники! Хулиганы! Вы воры! Я требую прекращения этого безобразия!

Стоя около прыгавшего хозяина, Гибралтар яростно скрежетал зубами.

— На вас надо псов! Я спущу на вас мою собаку. Вы мне за-аплати-ите!

— Что-о? — взбесился комиссар. — Что-о ты болтаешь, старая крыса?

Комиссар выхватил из кобуры наган и рывкнул притихшим солдатам:

— Взять этого дурака! В Чекү!

Солдаты охотно и крепко вцепились в старика. Он вырывался, размахивал руками, доставал солдат. Взрычав оглушающе и дико, Гибралтар жамкнул пастью за зад одного солдата, сжал и загрыз. Отваливаясь от старика, заглушая весь шум возни со стариком, солдат взвыл плачем. Гибралтар рычал и мотал неразжимающимся ртом, теребя ягодицу. Солдат извивался, вопил, ловил собаку за уши.

Старик в беспамятстве выкрикивал:

— Пиль! Пиль! Пиль!

Комиссар быстро нацелился сверху и выстрелил собаке в голову. Гибралтар вздрогнул, перекатился на полу, вобрал живот в себя, улегся, обрызгав захоженный паркет мозгом и кровью.

Солдаты теперь нещадно тискали мягкое тело Засецкого, подтыкали ему под бока, пинали и волокли на лестницу. Солдат, искусанный Гибралтаром, зажимая одной ладонью болевшее место, в слезах, трудно разгибаясь, визжа, ухватился за шиворот старика и тянул его к себе, бессильно царапал ему шею и судорожно лупил ослабевшей другой рукой и по старику, и по своим товарищам.

Комиссар оторвал его руку от воротника старика:

— Оставь, Володька! Твое не уйдет!

Старик оглядывался, упирался, пользуясь замешательством, хватался за вещи, волочил ноги.

— Гибралтар! Гибралтар! — звал он.

Солдаты почти несли его по лестнице, железно сжав за руки. Ему оставили на лестнице свободным один беспомощный охрипающий голос:

— Дол-лой Советы! Дол-лой советскую власть!

Но на улице старику зажали и рот, кувырнули его в автомобиль, пригнули к днищу и повезли, закрывая от прохожих.

Солдат Володька спускал штаны. Долго, осторожно, вздрагивая от боли, он отдираал прилипшее белье к огромной разорванной ране. В большое трюмо, морщась и дико кривясь и будто усмехаясь, он выглядывал укусы.

— Надо на перевязку,— сказал комиссар, глядя в зеркало.— Здорово разворотила!

Удивляясь, с трудом перемогаясь, бормотал Володька жалобно и обидно:

— Ну-у и притча! Пуля не брала... шашка отскакивала! На-акось!

Комиссар, еще раз скользнув в зеркало, с нелепым в нем отражением зада Володьки и бортами лежавших на полу серых его и грязных шаровар, не мог удержать усмешки:

— Пострадал на собачьем фронте! Закрыва-айсь — и лети! Сестрички тебе там разглядят.

Володька еще повертелся перед зеркалом, ухмыляясь и зажимая сквозь слезы нос, повернулся в трюмо передом, сделал озорное и глупое движение рукой, будто дуя на горячую воду губами, влез в штаны и, раскорячиваясь, побрел.

Комиссар, взволнованно куря, порой не владея смехом, ходил по комнате. С ним остался только один солдат. Он потрогал вещи, не осилил и застенчиво сел на краешек шелковой малиновой кушетки. Комиссар походил-походил, остановился около собаки и наступил ей на жилистую вытянувшуюся лапу.

Тогда солдат с кушетки, чтобы как-то нарушить неудобное молчание, торопливо сказал:

— Стерва!

— Породистая,— ответил комиссар.— Что собака, что хозяин.

Он подошел и сел рядом с солдатом. Задумчиво он продолжал:

— Ка-ак своего к своему тянет! Видел: старик все башку назад пялил, уходить не хотел из своего гнезда. И... горячился из-за этого. В деревне у нас был такой случай. Мужик отрубил петуху голову на дворе. Без головы, а петух зарипался, вырвался из рук... Кровь хлещет, как из чиркалки. Шатается, кувывается. И так сажень пять пробежал по кривой... и юрк в свой лаз под амбаром. Нашел дорогу без головы. Там и сдох. Едва достали. Пришлось пол сымать.

На другой день старика допрашивали. Он неумно кричал в Чека:

— Негодяи! Презираю вас!

Следователь недоумевал:

— О черт попался!

Он насмешливо спрашивал:

— Старик, ты может, рехнулся? Доктора не надо тебе? Позовем. Жалеючи твою старость, наплюем на твой лай — и отпустим.

Старик стоял на своем. Он вопил:

— Мужлан! Неуместно мне, Засецкому, оправдываться перед такой швалью!

Со стариком не пришлось возиться долго. Вели его вскоре конвойные на допрос. Он задохся на лестнице и устал. Конвоир толкнул его в спину:

— Ну, ну, шествуй, нечего дурака представлять! Не на кукорках тебя волочь! Отъездили! Отката-ались!

Засецкий не стерпел, размахнулся и ударил солдата, столкнув его ударом навзничь. Солдат, корежась от ушиба, не успел подняться, как другие конвоиры, напитываясь обидой, вдруг ерзнули на тесной лесенке штыками и взяли его крест-накрест.

Аграфена Павловна черство и спокойно сказала:

— Так ему и надо: того стоит охальник.

Сказала и осталась сторожихой в военкомате, растаскивая понемногу вещи из боковуши и сбывая их. Та же Аграфена Павловна оповестила Григория Григорьевича о смерти отца.

Но уже прервалась Волга, как огромная рыба, разрезанная на части белыми. Григорий Григорьевич пришел в Самару долго спустя. На месте особняка он нашел вытоптанное пожарище и одну закоптелую голландку. Не было и знакомой улицы, развороченной чьими-то небрежными руками.

Из всех углов, из всех незаделанных щелей, пробоин, как рыба, идущая против течения, выползали белые. Они топтались на отнятой у них земле, моча ее чужой и своей кровью. И земля была потная и усталая от войн, изъеденная, как кротами, болезнями, в пролежнях, костлявая от голода, обнажившая ребра, погорбившая хребет.

Дымясь и сгорая, окрашивая заревами ночи, плещась до высоких гор слезами, исколотая, застеганная, крово-

точивая, отбиваясь,— она выстаивала, собиралась, крепилась.

Два года Миля колесила с мужем по Сибири, Семиречью, Кубани, Украине и Крыму. И было опять, как тогда под Варшавой, на Стоходе, под Минском: кричали и плакали женщины, выли и стонали раненые, ставили кресты на бугорках и в лощинах, гнили в полях мертвецы, несло по речкам опрокинутых на брюхо, на спину молчаливых людей; бежали по вытоптаным большакам и просекам города, деревни, армии, скот... Плясали радостные колокола встречи белым и качались на фонарях перебежчики, евреи, комиссары; подымали железные горла в синеву железнодорожные мосты; валялись рельсы, как перебитые ноги; вздымали широкие глотки оркестры, идя перед полками; золотились и серебрились погоны; горели шашки; храпели изъезженные кони и тряслись на парадах, как балдахинные кисти, густые четки аксельбантов.

Будто разбегались белые по всей земле. Жаднея, вырываясь из обруча, то сжимавшего, то отпрянывавшего, ударялись грудью, лбами, царапались, изнемогая от злобы, ненависти, мести, били таранами пушек, танков... и не могли.

Рос в походах, на привалах, на часто менявшихся остановках Боря, играл пустыми патронами, стаканами, пульками. Миле казалось: так и будут они переезжать с армией всю жизнь, не будет конца походам, канонаде, смерти... Григорий Григорьевич сваливался в лазареты от ран. И тогда Миля отдыхала. Но накапливались силы, злобно краснело лицо — и снова он шел с армией. Другие отставали, прятались, не выдерживали...

Как набухшая от дождей плотина, была ненависть Григория Григорьевича. Она, будто невидимое живое существо, жила в нем, глядела его глазами, дергалась лицом, дрожала в руках и кричала его голосом.

Засецкий заведывал контрразведкой. Он рыскал, искал измены. Он не замечал жены и сына. И шла о нем по армии пугливая, тягостная молва. Шла она в тылу. Перекидывалась она через фронт молчаливыми цифрами погибших. Не было ни белых, ни красных... Григорий Григорьевич не разбирал. Он хватал офицеров, коммунистов, юнкеров, кадет, зеленых, белых, красных.

Обруч начал сжиматься и стягиваться. Миля видела, как убывали солдаты, как шептались денщики, пугливо

оглядываясь, как червила по всей армии скрытая, не-
удержимая мечта о красных, как мрачнел Григорий
Григорьевич.

Как-то она, тнясь к нему испугом, спросила:

— Гриша, плохо?

Он вскочил, замахнулся на нее и, трясаясь, закричал:

— Молча-а-ать!

Он упал. Случился первый припадок. И стал повто-
ряться. Кувыркался весь мир, он сам вертелся, как бегу-
щее колесо, палило в глазах, раздирая их, стягивало
ноги, руки, рвало челюсти.

В последние месяцы, когда отступали к Черному
морю, сидели за недостижимым Перекопом, ненависть
сменилась в Григории Григорьевиче новым чувством, не
дававшим покоя. Он ревновал Милю к денщику, к весто-
вым, следил за ней, отводил ее от окна, звонил из
штаба, запирали ее на замок, уходя из дому, обыскивал
ее вещи, тщетно роясь и желая найти сокровенное.

Ломаясь в припадке в Севастополе на французском
корабле, опаматываясь, он ловил ее за руку, не выпускал,
пока опять не забывался,— и она не освобождалась.

На перегруженном пароходе, уже в пути, на палубе,
желтея и лихорадя, отвертываясь от всех, он всматривался
только в нее, следил за ее глазами, заслоняя собой
того, на кого она взглядывала. Григорий Григорьевич
был страшен.

— Я нищий, нищий! — кричал он.— Извергнутый!
Выброшенный! Скоты набили мне морду!

Он плакал и грозил кулаком в сторону России. Он
злобно поворачивал жену за плечи от чуть сквозивших
вдали крымских берегов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пустая, сугробная, заколоченная Москва, кутившая
из каждого окна в жестяные коленца трубаков осиротелую
свою тоску, уныние, обнищание, голод; Москва пришиб-
ленная, прижатая коленком к земле; Москва злая, крик-
ливая старушонка-шептунья; Москва, отбившаяся на
фронтах,—еще была грустна. Кой-где зажигались ожерелья
огней и тухли. Занимался красноглазый трамвай. По
горбатым улицам лезли облезлые автомобили и редкие
лакированные кареты и жуки автомобилей иностранных

посольств и миссий. Трещали, останавливаясь, грузовики, взвалив на плечи канцелярскую рухлядь и обстановку переезжавших с места на место учреждений. На углах в полушубках вытягивались милиционеры. Пробегали вперегонку школьники — тоненькие, тощие, чуть розовеющие. Открывались на Арбате и Тверской первые колбасные. Но пухлый глубокий снег, как насыпанный яблоневый цвет, улегся неровно по бульварам, отливал закатанными полозами на мостовой, словно наливными ребячьими горками, он сахарился повсюду грудками по дворам. Редкие лужицы огней застывали в домах спокойным и белым светом. Но на тех же улицах стояли, прижившись тесно и грудно, в обнимку, те же дома, и жили в них те же люди.

Александра Ивановна, уплотнившаяся на три комнаты из пяти, опавшая наполовину в ширину, курившая махорку вместо заказных папирос из табачного магазина, читавшая каждый день «Известия», сменившие «Русское слово», районный врач Бауманского района, сегодня была потрясена: какой-то человек вошел к ней в комнату, молча протянул письмо и молча удалился. Александра Ивановна, натягивая торопливо пенсне, резко вздрогнула. Она даже сперва отодвинула письмо подальше, проверяя себя, и потом уже жадно уселась ближе к свету.

«Милая, дорогая тетя! Ау! Я жива. Я уцелела. Живу в Лондоне, работаю в конторе на Сити. Растет мой мальчик. Григорий меня бросил. Всего не пишу. После. Скоро узнаете. Адрес нельзя. Мешает слава Григория. Человек принесет это письмо. Он же придет снова. Так нужно. Старички, милые мои старички! Я боюсь спрашивать о них. Я вижу, как ты поедешь к ним с этой синей бумажкой! Уничтожьте ее. Никому не говорите. Милая».

Александра Ивановна начала тяжело отдуваться и гладить себя по лбу. Она сияла вся, словно внутри у ней зажгли фонарь, и кожа ее просвечивала, лучилась, искрилась. Она быстро оделась и спустилась по лестнице, села, даже не рядясь, на извозчика.

Скоро в квартире брата, близоруко роясь и не находя письма в ридикюле, Александра Ивановна безостановочно лепетала:

— Лаврентий! Лаврентий! Маша! Маша! Нашлась Милька.

Лаврентий Иванович и охнувшая Марья Петровна замерли, открыли неверящие глаза.

— Письмо... Нет, не письмо... а телеграф какой-то... Не все поняла... Но это писала она...

Письмо не было сожжено. Отец долго оглядывался в комнате, вскочил, долго отвинчивал дверную ручку и, вложив под нее тщательно сложенную бумажку, завинтил на старое место. Старики весело толкались у ручки, светили с боков спичками, заглядывали под блестящую спинку ручки и таинственно усмехались. На Чистых прудах под дверной ручкой скрылась веселая и опасная тайна.

Старикам стало казаться: подслушивали их у окна на третьем этаже за двойными зимними рамами, припадал кто-то ухом к центральному отоплению, вот кто-то ошибся и неосторожно побарабанил непонятную азбуку, вон кто-то явственно потерся щекой, и, несомненно, вслушивался телефон с загнутым черпаком трубки. И в эту ночь, и во многие другие старики переглядывались, затихали, пристально смотрели на закрытые и спокойные двери. Они, пугаясь, стали чутко слушать входные звонки и ждать появления непонятно молчаливого человека, приносящего письма из Лондона.

Пришлось ждать долго, будто месяцы в Лондоне равнялись годам. Тревожившая стариков судьба Мили, видно, снова разыграла неуловимым своим разнообразием. Это так и было.

Начальник белой контрразведки Григорий Григорьевич Засецкий был совершенно не нужен Европе. Его выкинули с женой и ребенком в Константинополе, некоторое время кто-то кормил, кто-то заботился о нем, он на что-то надеялся, а потом пришел первый такой в жизни день, когда надо было искать денег, чтобы отобедать в жалкой и грязной константинопольской харчевне. Хозяева отобрали далеко не всех офицеров врангелевской армии и перевезли в Сербию. На пункте Григорий Григорьевич грохнулся оземь и катался на чужой и немилой земле в пене и мыле. Подбирали расчетливо: породистых, здоровых и смирных лошадей, и лошади с норовом не попадали в списки. Началось. И было самое легкое и доступное ремесло и самое трудное своей уни-
зительной доступностью.

Бесясь, краснея, загораясь неусыпимой ненавистью, Григорий Григорьевич сделался лакеем в погребке. Миля стирала белье.

Из страны в страну неся припадки и ненависть, Григорий Григорьевич был лишним.

Часто теперь напиваясь, угрожающе топчась около жены, Григорий Григорьевич жалко орал:

— Я лакей! Я чистильщик сапог! Я сторож! Носильщик! Ты прачка! Ты судомойка! Мой сын, Борис Засецкий — сын прачки! О! Родословное дерево скотов! О! О! Я... я, русский офицер, дворянин, помещик...я, аристократ, служу буфетчикам, уличной рвани, ношу чемоданы жидкам!..

После скандалов их поспешно выселяли с квартир: они ночевали на улицах. Ревнуя жену к вымышленным им людям, видя в ее руках оставшуюся денежную мелочь, береженную ребенку, подозревая ее, Григорий Григорьевич убегал из дому и пропадал по нескольку дней. Она разыскивала его по кабачкам и на вокзалах. А то она видела, как он стерег ее под окнами, не входя в дом, выглядывая из-за углов, подстерегая у ворот.

Они стали служить вместе. Прошел бедный, ревнивый, пьяный, сумасшедший год. В Марселе они работали в кафе. Подавая на столы, — то же делала и она, — Григорий Григорьевич успевал наблюдать за каждым ее движением, отмечал особо внимательный каждый ее взгляд, случайно остановившийся взгляд на ней от столиков.

Однажды в кафе вечером вошло трое русских. Они были слегка пьяны. Они громко заговорили, позвали Григория Григорьевича. И вдруг молоденький, золотойглавый пренебрежительно махнул рукой на Засецкого, уставился на Милю, легонько покачиваясь, подошел к ней и сразу спросил:

— Вы русская? Ну да! Я по лицу заметил. И этот черномазый — русский. Эмигранты, да? Ну, ладно. Нас не обманешь! Так вот, дорогая соотечественница, подавайте вы нам!..

Встряхивая головой, он резко и зло указал на Григория Григорьевича пальцем:

— Его не надо!..

Миля испуганно посмотрела на перекошенное лицо мужа. Боясь припадка, она подбежала к нему и торопливо шепнула:

— Григорий, уйди! Успокойся!

И начала подавать на «русский стол». У нее заболело и заныло сердце. Она была неловка. Подходя к столику, она покачнула бутылку, вскрикнула... Но золотоголовый, пленительно улыбаясь и синяя глазами, ловко поймал бутылку и, хлопнув ею по столику, крепко поставил.

— Э-эх! Маша, да не наша! — гаркнул он, шевеля беспокойно своим возгласом хозяина кафе.

Задыхаясь и глядя из-за колонны, Григорий Григорьевич свирепел. Миля проскальзывала мимо него, делая ласковые и преданные глаза. Он шипел ей со злобой:

— Не вертись, не вертись так! Чему ты радуешься? А?! Почему взволнована?

Русские скоро, несвязно бормотали за столом, и молоденький все чаще и чаще требовал Милю, не сводя с нее восхищенных, играющих глаз. И как-то подчеркнуто раздраженно, серьезно останавливался на Засецком и отмахивался, отвертываясь, рукой. Григорий Григорьевич слышал, как сердце у него, будто в пустом и гулком футляре, постукивало: тук, тук, тук; кувырнулось один раз кафе, он схватился за колонну, но прошло.

— Вы белогвардейцы? — громко спрашивал Милю золотоголовый.

— Мы эмигранты, — неохотно отвечала она.

— Лакеи! — вполголоса сказал другой, небрежно жуя губами.

Золотоголовый толкнул его рукой:

— Ты, Костя, молчи! Я тебе говорю: молчи-и!

Миля вспыхнула. Ласково и светло глядя на нее, золотоголовый приподнялся и наклонился к ее уху. Она отстранилась, мельком заметив, как Григорий Григорьевич охватил колонну рукой. Золотоголовый шептал радостно и грустно:

— В России сейчас цветет черемуха. Я недавно из России. Вам не скучно здесь?

У Мили будто прошла по спине острая и тонкая ледяшка и озноб крупной высыпал на плечи.

— Вина! Вина! — вскрикнул тут Костя.

Краснея глазами навстречу торопившейся Миле, Григорий Григорьевич вышел из-за колонны:

— Что он тебе шептал?

Миля сверкнула зубами:

— Да пустяки же. Успокойся! Чушь какую-то о черемухе в России. Уйди! Они же пьяные!

Но Григорий Григорьевич уже отозвал в сторону хозяина кафе и возбужденно убеждал его куда-нибудь отослать Милю. Хозяин удивился:

— Наоборот, наоборот! Я очень рад. Она нравится мосье. Это очень хорошо. Они много купят. Вы станьте на свое место. Здесь не Россия. Женщина должна нравиться, прельщать и быть добродетельной.

Засецкий с kloкотавшим сердцем повиновался. А золотоголовый, опрокидывая в жадное, словно никогда не пившее горло стакан за стаканом, сильно захмелел. И он звонко запел, опуская голову:

Уж ты, сад, ты, мой сад!..

Костя подхватил приятной рокоchущей трубой:

Са-ад зеленый такой.

Золотоголовый плакал нежно где-то у потолка кафе:

И зачем ты, сад, рано цветешь?
Да э-эх!

Костя густо слился с ним, закрывая глаза огромной красной рукой:

Да э-эх!
Рано цветешь... Осыпaeшьcя!..

Немногие посетители в кафе зарукоплескали, протягивая с улыбкой руки к «русскому столу». Тогда золотоголовый перестал петь, наморщился. Остро, светя вспыхнувшей в глазах искрой, резкой, колючей, он осмотрел красненькие, пухлые, сытые мордочки французов, зажал Косте поющий рот и закричал, выпрямляясь и размахивая одной суетливой рукой:

— М-морды! Мы вам не комедианты! Не клоуны! Мать вашу в ижицу по-французски! Жрите себе ваших лягушек, жаб, лакайте из блюдецек сиропа! През-зи-раю! Viva la France!

Французы опять начали рукоплескать. К ним присоединился хозяин кафе. За «русским столом» прыснули. Не могла удержаться от усмешки и Миля. Только насутился темно Григорий Григорьевич.

— Что он сказал? Что он сказал? — восхищался хозяин кафе.

Он подбежал к Засецкому:

— Переведите мне. У него было положительно вдохновенное очаровательное лицо. Суровое и нежное, как

у пророка. Он приветствовал Францию? Я понимаю, я понимаю!

Миля вмешалась, не дав ответить Григорию Григорьевичу:

— Да, да... Он хвалил французское вино... Францию... Наше кафе... вас.

Хозяин кафе сладко и благодарно лоснился. Григорий Григорьевич вне себя впился в Милю:

— Что-о это значит? Зачем ты сказала неправду?

Она тревожно успела пояснить:

— Нам же будет хуже. Ведь скандал же!

За столом третий русский, до того молчавший, широко разевая рот, заикаясь, начал говорить, остервеняясь с каждым словом:

— Ссволочи!

Григорий Григорьевич дернулся у окна, настойчиво нажимая левую ногу о подоконник, чтобы она не дрожала:

— Нинегодяи! Завели у себя скотный двор! Приют белой гвардии! На своих кораблях перевезли, гады, нашу русскую погань! Насильников наших! Зззахребетников! Банкиров и помещиков. Вврангеля! Ца-арственных особ! Ха-ха-ха!

Миля, печально морщась, бледнея, отвертываясь от неотступно ласкавшего ее нежнейшей синью глаз золотоголавого, ставила на стол перламутровый омлет.

— И...это...русский? — недружелюбно поведя головой в сторону Григория Григорьевича, спросил Костя, словно сейчас очнувшись. — И...все лакеи...русские...отставные... бывшие русские...

— Они...они,— засмеялся золотоголовый.

Третий, трудно приподымаясь, опираясь, как на трость, на горлышко бутылки, наставляя быком голову, рывкнул, шалея:

— «Интернационал!», «Интернационал!», «Интернационал!» Тттребую «Интернационал!»

Хозяин, будто покривился потолок и должен был упасть сейчас, пробежался замигающими глазками по кафе. Посетители недоумевали и уже смотрели с неудовольствием.

Тут сухо и мрачно Григорий Григорьевич подсказал, злорадствуя, хозяину:

— Это не эмигранты, а большевики.

Лакеи переглядывались, бледнея, скругляясь. Хозяин кафе шелнул что-то мальчику, и тот неохотно шмыгнул в двери на улицу.

— Ха-ха! — звенел золотоголовый и закашливался смехом. — Глядите, ребята, ладаном понесло! Черти, почувяли запах! Ха-ха! У буфетчика сало застыло на роже! И глазки волчатся! Ддураки эти поперхнулись!

Он показал на посетителей, откидывая в сторону большой палец. Потом он неожиданно схватил в горсть омлет; хватил им о пол и, разминаясь в плечах, зазвенел тонко и задиристо:

— Ммы-ы вам пока-ажем!

Кафе вскочило. Еще задиристее, бешеный, закричал он подходившей испуганно Миле:

— Э-эй, ты, сука, пподавай! Отцы мои тебе в России подавали! Горшки ночные твои поганые чистили! Выгребали из них кладь! Белая гвардия, служи теперь мне! Убирай, убирай за мной, подлюга!

И он, яростно выскочив из-за стола, затоптался на омлете, пнул его, разбрасывая по всему полу. А двое других, в суетоке, в шуме, в реве кафе, пьяно затаили:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Миля трудно удерживала слезы, а Григорий Григорьевич уже кинулся на молодого и ударил его. Тот успел обнять его в обхват и швырнул на омлет. Костя грохнул о пол пустую бутылку, а другую метнул в стену. Посетители жались в углы. Пол был засыпан, как мелким гравием, темным и зеленоватым стеклом. Лакеи бросились на выручку Григорию Григорьевичу. И началась пьяная, злобная, остервенелая драка, покуда в кафе не ворвались полисмены.

Русских уводили в крови, с разодранными пиджаками. Они уже успокоились. Хмель перестал владеть ими. Золотоголовый, чудесно сверкая синим пламенем очей, весело смеялся:

— В участок? Это нам вошло в привычку! Участок — наша мать родная! Родная хата! Мы — нет, мы не на вас... мы на белогвардейцев сердиты! У вас поджилки трясутся, а мы — не большевики, совсем не большевики. Мы также против большевиков. Мы путешественники! Но мы белую гвардию били и... еще будем бить! Мы, мы — советские граждане! Это — главное! Битва русских

с кабардинцами! Долой, долой белую гвардию! У нас с ними... проклятыми... свои счеты.

И золотоглавый заскрежетал зубами, заставляя полисменов крепче взять его под руки.

Миля плакала навзрыд в ту ночь. Григорий Григорьевич крикливо наклонялся над ней и тряс за плечо, ревнуя к золотоглавому. Они потеряли работу.

Это уже случалось так часто и так привычно, что перестало пугать остротой новизны. Но работа долго не находилась. Все было забито русскими лакеями, шоферами, грузчиками, сторожами, носильщиками, продавцами газет, певцами, плясунами и акробатами. Даже воры были русские.

Где-то в Лондоне давно жили дальние родственники Григория Григорьевича. Он возобновил с ними забытую переписку. Они звали. Выхода не оставалось. Засецкий перестал быть разборчивым. Голод звал туда, где была надежда избавиться от него.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Недалеко от Парижа в купе вошел рослый, бритый, сероглазый старик. Боря прилип к нему глазами. Старик с большей внимательностью, чем глядел на него мальчик, как-то мельком коснулся глазами и фигуры, и лица, и особенно маленьких продолговатых белых рук Миля. Она не заметила. А Григорий Григорьевич, также украдкой разглядывая старика, уловил эту внимательность.

Неожиданно мальчик улыбнулся старику, облокотился на его колени и взялся за большой золотой набалдашник палки.

— Она золотая? — спросил мальчик.

Миля было потянулась вернуть палку, но старик сделал отстраняющие ладони и что-то сказал по-английски. Она перевела старику слова мальчика по-французски. Он понял.

Сядясь с ним рядом, Боря расспрашивал:

— Ты, дядя, кто? Ты — не русский? Где у вас растут такие палки?

Миля засмеялась и перевела. И стала переводить дальше. Сначала она насупилась на мальчика:

— Боречка, не приставай! Дядя нам незнакомый. Он англичанин. Зачем ты его называешь на «ты»? Надо

называть на «вы». Ты совсем глупый. Палки такие не растут — их делают.

— Нет, растут!

— Где же ты видел? Ты же был в лесу.

— Я не видел. Может быть, есть такой лес — и там растут такие палки. У англичан растут. Ты узнавай, мама!

Боря снова обратился к старику:

— Дядя, у вас дети есть?

Мать, усмехаясь, узнавала.

— Есть.

— Маленькие и большие?

— Большие.

— А где они живут?

— В Лондоне.

— Это что такое?

— Столица Великобритании.

— Что такое «столица»?

— Главный город. Самый важный... Вот как Москва...

— Что такое «главный и самый важный»?

Мальчику не могли объяснить, и он лукаво поблестел глазками.

Старик с такой нежностью гладил Боря по гладенькой точеной голове и так к нему предупредительно наклонялся, что Миля почувствовала к старику, в свою очередь, не меньшую нежность.

— Дядя, а у тебя деньги есть? — ошеломительно продолжал мальчик. — Папа сказал: у нас ничего не осталось. Ты нам дай.

Миля, красная, зажимая рот, растерялась. Григорий Григорьевич заерзал на месте, побагровел от стыда, оторвался от окна и зло пробормотал:

— Переведи, переведи скорее эту гиль. И... убери этого идиота!

Старик заметил замешательство. Он не настаивал на переводе, даже не спрашивал, а, задумавшись, вдруг обнял осторожно мальчика за худенькие плечи, спрашивая глазами согласия матери.

Мальчик между тем обиделся на отца и, бутусясь на него, резко крикнул:

— Ты сам идиот!

Григорий Григорьевич покачнулся, шлепнул сильно сына по руке, рванул к себе и насильно посадил на колени. Ребенок, бессильно вывертываясь из крепких

рук, горько заплакал. Прозрачные, как капель на солнце, падали на ручонки крупные горошины. Мальчик размазывал их и накренился маленьким тельцем к матери. У Григория Григорьевича вздрагивала щека. Миля, едва сдерживаясь, боясь припадка у мужа, только краснела и притворно не глядела на мальчика, будто желая его наказать.

Старик переглядывался с ней и показывал тихой улыбкой и серыми пронизательными глазами на постепенно затихавшего ребенка.

Григорий Григорьевич тоже успокаивался. Он чем-то опять заинтересовался в окне, распустил руки. Боря тотчас спрыгнул от него к матери, уткнулся ей в живот, крепко охватил ее за талию. Больно прижимаясь к ней, он тревожно и любопытно выглянул на отца. Но тот был занят своим. Тогда мальчик уставился снова на старика, а тот так смешно подмигнул ему, так лязгнув при этом не менее смешно челюстью, что мальчик удовлетворенно засмеялся. И так они стали забавляться. Старик подмигивал то правым, то левым глазом, мальчик прятался за мать, крадучись, выдвигался и скрывался с хохотом.

Григорий Григорьевич покосил глазом от окна и поморщился:

— Дорожная идиллия!

Миля возмутилась.

— Удивляюсь, что тебе это мешает! Ребенок радуется — и прекрасно.

Григорий Григорьевич иронически прохрипел:

— Хорошенькая забава! Выпаливает отцу такие слова.

Он перехватил голос и еще более зло скрежетнул:

— Породы, породы нет.

Миля рассердилась:

— Бить по рукам при посторонних — это тоже порода?

Муж сглотнул воздух и сжал кулаки. Она не унималась:

— Не в тебя, не в тебя. Порода видна в этом старике. Он будто не заметил твоего безобразия.

Григорий Григорьевич выкрикивал уже громко:

— Фальшь, фальшь это, а не порода! Этот надменный старичишка, зна-аю я английских святош, желает перед тобой выглядеть героем!

Она подняла, как пушистые бархотки, удивленные брови:

— Ты с ума сошел! Ты готов наговорить еще большие мерзости! Пойми ты: он же старик, старик! Нельзя же так, Григорий, распускаться!

Григорий Григорьевич, мучаясь глазами, дрожавшими губами, с ненавистью покосился на старика.

Мальчик со стариком шумно разыгрались. Боря вскидывал на коленку к нему свою руку, старик ловил ее. И обратно: старик опускал свою большую руку, зажимывая глаза, мальчик крался и хватал висящую руку. И оба вздрагивали и фукали.

Хмелея раздражением, горячился Григорий Григорьевич:

— Я... я знаю. Ты уже сравниваешь меня с другими. Ка-ак в «Анне Карениной», ты, может быть, находишь у меня уши большими? Ты изменилась, конечно же изменилась! Мы поблекли. Мы тусклы... Мы не примечательны... ничем... Женщине всегда нужны новшества... Как новые платья. Григорий Григорьевич Засецкий, офицер, богач, стал ничто! Больной! У него дурные манеры! Плебейская кровь! О-он дерется!

Миля с гневом поглядела на него:

— Как это возмутительно! Возмутительно! Из-за каждого пустяка, из-за каждого пустяка. И... такая несправедливость!

Григорий Григорьевич бушевал:

— Кокетничай, кокетничай с ним! Ты уже со многими кокетничаешь! Я... я вижу... Не потерплю!

По хитрившим глазам старика она поняла, что он дурачился с мальчиком, чтобы отвлечь его и скрыть от него ссору. Она была благодарна.

Григорий Григорьевич вспотел. Он гладил лоб двумя пальцами поперек и сжимал глаза, словно перемогая в них сильную резь.

Поезд мотало из стороны в сторону. Миля, прижав к себе расшалившегося мальчика и удерживая его на ногах, оскорбительно протянула:

— Я буду молчать. Это лучше!

Григорий Григорьевич невесело засмеялся:

— Когда женщина молчит — это еще подозрительнее. Она обдумывает разные ходы.

И он сделал пальцами какие-то виляющие движения.

Тут остановился поезд — и застоялся. Старик учтиво и вежливо сказал:

— Французские дороги очень плохи. Их называют: дороги смерти.

Старик затем побарабанил Борю по голове и вышел на перрон.

И опять придирался, сердился Григорий Григорьевич:

— Что же ты не идешь с ним? Прогу-уля-ялись бы!..

— Ну, брось же, противно! — попросила Миля. — Такой, видимо, прекрасный человек этот старик. Чистый. Ясный. Добрый. Мягкий. Настоящий джентльмен. Я уже давно не видала таких людей, отвыкла от них. Одним своим видом он привлекает.

Как будто уколотый, укушенный кем-то, вскричал Григорий Григорьевич:

— А! А, так ты так!..

Он вспрыгнул, безумно водил глазами, метался по маленькому купе:

— Хорошо! Да! Все качества, все качества! Ну, что ж? Ну, что ж? Поезжай, поезжай, поезжай с ним!

Григорий Григорьевич рванулся к двери, крича:

— С ним! С ним! Я не знаю тебя, не хочу знать!

Миля не удержалась и закричала вдогонку:

— У тебя припадок! Припадок, безумец!

Григорий Григорьевич выскочил. Старик погодя вернулся с плиткой шоколада. Он было обратился за разрешением к Миле дать мальчику шоколад, но мальчик уже схватил плитку и радостно торопил:

— Давай, давай...

Он тут же сорвал упаковку, соря на пол, отломил по маленькому кусочку дяде и маме, отвернулся в угол и начал набивать рот.

Миля дожидалась Григория Григорьевича, но поезд пошел. Держа в руке таявший шоколад, старик безмолвно, недоумевая, огляделся в купе. С каждым новым покачиванием поезда тревога Мили росла. Может быть, он не успел вскочить на поезд? Поезда идут часто. И он догонит. В Париже они встретятся. Но, может быть, он лежит на той станции и с ним припадок? И тогда некому помочь. Невозможно, немыслимо, чтобы он бросил ее с ребенком, без денег, в чужой стране. Пройдут два дня — и не на что будет купить хлеба. Он знает об этом. Он не может не думать о своем ребенке.

Старик, затаившись и молча, сидел напротив. Он быстро крутил в руках палку.

Мальчик скушал шоколад. Мать вытерла ему руки и замазанные щеки. Он хватился отца.

— Мама, а где же папа? Он спрятался?

Мальчик заглянул под сиденье, за спину старику и матери, даже потрогал обшивку вагона, подымал головенку к гладкому и ровному потолку. Недоумение на лице его мешалось с улыбкой: он все еще был уверен, что папа где-то здесь и как-то так хитро спрятался, как умеют это делать большие. Он залез куда-то за доску, за вешалку, может быть, в чемодан — и неожиданно появится, делая ему «буки».

И то, что сын искал отца, так увеличило ее тревогу, что она уже не могла сидеть на месте, задыхалась, блеснули глаза наплывшей скупой и резнувшей каплей, щеки зарозовели волнением. Старик все это заметил и предупредительно вмешался. Он серьезно и спокойно пошутил над ее беспокойством.

— Он просто не успел, — говорил старик. — Он вас догонит в Париже. Вы преувеличиваете тревогу. Вы сегодня еще будете вместе смеяться и рассказывать друг другу о небольшом дорожном приключении.

Однако слова старика не оказали на Милю никакого действия.

Через час-другой они приехали в Париж. Еще в пути, успокаивая ее, старик узнал, что ехала она в Лондон и никогда не бывала в Париже. И когда они подъезжали к Парижу, старик весело сказал:

— Разрешите мне быть вашим невольным попутчиком до Лондона. Я еду туда же. И не откажите мне в удовольствии помочь вам разыскать вашего пропавшего мужа. Я никуда не тороплюсь. Я не придаю никакого серьезного значения маленькой неосторожной шалости вашего мужа, но считаю своей обязанностью разделить с вами ваши затруднения. Мы, англичане, никогда не оставляем женщину, в особенности мать, беспомощной. Одной вам будет трудно. И Париж вам неизвестен. Хотя Париж немного меньше Лондона, но в нем легко заблудиться. Мне знакомы его запутанные переулки.

Миля чувствовала полное доверие к старику. Он мягко, искренне, сердечно глядел в ее заплаканные глаза и говорил ровным, чистым, точно никогда в жизни не вол-

новавшимся голосом. Ей даже показалось неловким отказаться от его предложения.

— Итак, начнем розыски,— помогая ей выходить из вагона, кашлянул старик.

В ожидальном зале он старательно развлекал Милю, рассказывал ей о Лондоне, расспрашивал ее о России, где он бывал до войны, а мальчик сидел в то время у него на коленях, вертел, не уставая, пуговицы на пальто, забирая в кулачок, и смеялся своему нехитрому развлечению.

Часто приходили поезда. Они встречали. Григория Григорьевича не было. Возвратилась недоставленная ему телеграмма. Тогда пришло отчаяние. Она не слушала старика. Она сдвинула голову руками и неподвижно замерла, ужасаясь, дрожа, тихо плача.

Сверкнули и запылали огни. Шли уже вечерние поезда. Пустые. Григорий Григорьевич не приезжал.

— Здесь долго оставаться нельзя,— предупредил старик.— Ваш муж настойчивее, чем я предполагал. Какой характер! Какой характер! Война очень расшатала всем нервы. По-видимому, он остался не случайно. Я как-то не допускаю, чтобы отец способен был так легко расставаться со своим ребенком. Это же необычайный и недостойный поступок!

Старик подумал, взглядывая на часы. Он собирался что-то сказать, некоторое время не решался, словно боясь ошибиться. Наконец, он протянул тем же скромным, неторопливым голосом:

— Не поручусь за правильность моей догадки. Я не знаю, но предполагаю, что болезненное состояние вашего мужа руководит его действиями гораздо больше, чем думает он об этом сам. В неосновательном и для здорового человека даже непростительном затмении он, по-видимому, пока не придет в себя, успеет прибыть в Лондон — и только там очнется. Я рассуждаю так: он раздражен ссорой, эта крошка детской шалостью нарушила в нем всякое равновесие.

Старик притянул к себе мальчика и коснулся его головы гладким и бледным подбородком.

— Он не соображает всей тяжести и необдуманности своей выходки. Ничего не видит, кроме какой-то, я не знаю какой, нанесенной ему обиды, даже, может быть, неизвестно кем. Это должно в нем как-то улечься — и тогда разум сделает свое ответственное дело. Даже волнуясь

и раздражаясь, он все же, помимо его воли, знает, что вы в Лондон приедете. Я даже подумал сейчас... — Старик запнулся. — Он... встретит вас на лондонском вокзале. Ему очень и очень будет стыдно. Но... но приходится нередко в жизни извинять сделанное накануне.

Миля безысходно и горько ответила:

— Я не знаю, ничего не знаю! Я не знаю, где даже живут наши родственники. Он — сумасброд и совершенно несдержанный человек! Может быть и так, как вы говорите; может быть иначе...

— А как же иначе?

Миля не могла объяснить себе, как же может быть по-другому. И это ее даже успокоило.

— Я настаиваю на своем, — продолжал старик, — и решусь вам подсказать выход. Ждать его бесполезно и бесплодно. Вам надо остановиться в отеле. Вы там отдохнете. И мальчик скоро откажется переносить утомление...

Боря начинал капризничать, покрикивал, голова его клонилась набок, глаза мутились, тускнели, он швырнул от себя дядину палку и крепко рванул пуговицу...

Старик с мягкой настоятельностью уговаривал:

— Завтра можно будет выехать в Лондон. И вам останется одно неприятное, но, когда оно отодвинется подальше, не лишенное смешных сторон воспоминание.

Тут Миля с не приходившим до тех пор ужасом, словно облили ее всю, внезапно плеснув, морозной водой, поняла, как было безвыходно ее положение. Она зарыдала, давась в платок, скрываясь от сына. Но тот насторожился и потянулся к ней, делая плаксивые, раскисающие губы. Старик удержал мальчика, щекоча его и дуя ему на голову.

— Нет, нет! — бормотала Миля. — Благодарю вас! За все, за все! Я буду ожидать. Вы оставьте нас! Это невозможно!

— Вас скоро отсюда попросят, — тревогой зазвучали слова старика. — Отель — единственное ваше убежище. Невозможно же ночевать мальчику на улице! Поездов к морю не будет до утра. Что касается меня, я только с грустью, с сознанием невыполненной мною обязанности, не по моей вине оставляю вас.

— Это ужасно, ужасно! — всхлипывала Миля. — Я не могу в отель, не могу!

— Но куда же кроме? — удивился старик. — Если бы я имел помещение в Париже, я с удовольствием предложил бы его вам. Но, к сожалению, я сам вынужден прибегать к услугам отеля.

Миля молчала, не подымая головы от полу. Боря грубо освободился от старика, встал около матери, привалился к ней и тихонько бубнил:

— Я хочу кушать, мама. Пойдем домой. Где моя кровать? Почему так долго не приходит папа?

— Вы подумайте, в каком я положении! — перевела она старику детский лепет.

Он поднялся и, недоумевая, спросил:

— Но какие же затруднения? Все так обыкновенно и легко разрешается. Мы приедем в отель, вы накормите и уложите своего ребенка.

Миля поколебалась. Она сначала подозрительно скользнула на старика из намокших, слипающихся от слез ресниц, потом стыдливо, в огне, прошептала:

— Мне нечем заплатить в отеле!..

Старик облегченно, снисходительно вздохнул и усмехнулся:

— Да-а! Ай, ай! И это — препятствие? Теперь все выяснено. Прошу вас располагать мной. Я очень раскаиваюсь за свою недогадливость. Я объяснил себе ваше упорство другими причинами. Прошу вас.

И старик хотел помочь ей встать. И снова, откидываясь назад, держась за сына, Миля с испугом, долго и подозрительно вглядывалась в добрые серые глаза старика. Он понял и улыбнулся:

— Не удивляйтесь и не беспокойтесь. Нет ничего естественнее моего предложения. Случайности в жизни почти неизбежны. Мы самым деловым образом рассчитаемся с вашим мужем в Лондоне. Ну, стоило же вам так продолжительно молчать и так тяжело сомневаться!..

— Я не знаю... я не знаю, — запинаясь она, уже доверчивая, тронутая, стихающая. — Чем я могу отблагодарить вас? То, что делаете вы... мне странно. Я никак не могу понять... Я беспокоюсь!..

Старик спокойно не согласился:

— Пустяки. Одна из случайностей в жизни.

Миля протянула ему возбужденную, дрогнувшую в сдержанном и теплом его пожатии руку.

— Оскар Эванс, — сказал старик, приподымая шляпу. Тотчас и мальчик подал ему руку, привскочил и повис на ней.

Эванс помог ей в отеле накормить и уложить мальчика. Боря требовал, чтобы старик не уходил. Эванс терпеливо и стройно сидел рядом с постелью, даже что-то напевал ему на непонятном языке. Мальчик улыбался, всматривался в старика. Глаза, скрываясь под ресницами, непослушно вскакивали, сопротивлялись сну — и наконец померкли, остановились...

Эванс поцеловал руку Мили и осторожно вышел в коридор. Он прикрыл белую дверь, прижал ее заботливо, покуда внутри не шелкнул замок.

Он прошел в свой номер рядом, постоял в рассеянности у стола, погладил голову, сел, открыл чернильницу, четко и длинно написал телеграмму, позвонил, отдал ее лакею и повелительно сказал:

— В Лондон через пять минут.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Странности начались в поезде под Парижем. На лондонском вокзале они продолжались. Григорий Григорьевич не встретил. Эванс поймал метавшиеся глаза Мили.

— Муж ваш — невозможный и неисправимый шутник, — сказал он, — но я на всякий случай предусмотрел и эту его выходку. Мои домашние предупреждены телеграммой о вашем приезде. Никаких неудобств не будет. Бесполезно вам самой разыскивать ваших родственников, вы не знаете их адреса. Мы через два дня найдем его. Прошу вас. Нас дожидается автомобиль.

Миля медлила, тщетно и жадно ища мужа. Публика расходилась. Эванс снисходительно и кротко спросил:

— Вам угодно подождать? Давайте подождем. Но вокзал все время освобождается и наполняется. В такой сутолоке мы едва ли его увидим, если бы он даже был здесь.

Колеблясь, она третий раз недоверчиво и пытливо, как на парижском вокзале, посмотрела на Эванса. Старик предупредительно говорил:

— Вы мне не доставите никакого стеснения. Уверяю вас. Одно приятное. Одно внутреннее удовлетворение сделать необходимое и полезное. Не раздумывайте и не

мучьте себя подозрениями. Ничему не поражайтесь. Моя семья будет вам рада вполне. Не меньше, чем я.

Миля обвела безнадежно еще раз вокзал, горько прищурилась на сына. Эванс взял на руки мальчика. Тот обнял его за шею, неловко приподымая на голове старика шляпу. Он стремился другой рукой поправить ее, не умел и только нахлобучил ее низко на лоб.

У выхода поджидал какой-то человек. Он поклонился Эвансу, подхватил чемоданы и пошел впереди, показывая дорогу. Миля покорно шла, покорно села в глубокий кузов автомобиля рядом с Эвансом. Он посадил ее. Человек вскочил к шоферу. Бесшумно, будто ползком, автомобиль тронулся.

Миля, сосредоточенная, равнодушная, придавленная, втянув голову в плечи, скоро услышала, как Эванс тихо сказал:

— Мы скоро будем дома.

Мальчик, сидя между ними, уверенно хлопал руками вправо и влево. Эванс зажал и не выпускал кулачок Бори, а тот, смеясь, толкал его в бок головой.

Старик пошутил:

— У него больше мужества...

Она попробовала улыбнуться, но улыбки не вышло, а робко сгорчились губы.

Эванс вел ее по огромной лестнице в какой-то дворец:

— Только не смущайтесь! Вы в чужом доме, но считайте его своим. Уверяю вас: гостеприимство свойственно англичанам не менее, чем русским. Мы очень похожи некоторыми чертами друг на друга.

Так она и не могла опомниться в этот самый необычайный день ее жизни. Ночью, сидя на кровати, глядя на раскидавшегося рядом в детской кроватке сына, сбившего синее шелковое одеяло, на раскрытый его и слюнявивший рот, на пунцовые его щеки, в глубочайшей какой-то и голубоватой комнате, овальной, с расписным потолком, она восстанавливала мелкие и большие подробности дня.

Встретили ее сдержанно и внимательно — седая леди Эванс, двое сыновей старика, таких же рослых, тонких и стройных, похожих на отца, тонкорукые и усмехающиеся голубоглазые жены их, словно две неразличимые одна от другой сестры, и огромная, сухая, жилистая, большеногая экономка Виктория. Она, проглатывая окончания,

торжественно и важно засмеявшись, поздоровалась с ней по-русски.

Леди Эванс, зорко взглянув на Милю, приветствовала ее по-французски:

— Это вам сюрприз. Виктория жила в России. И будет напоминать вам в первый же день вашего пребывания в Англии вашу страну.

Все они обсели Милю кружком в зеленой гостиной, осторожно разглядывали, расспрашивали, приветливо шурили глаза. Сам Эванс ласково и серьезно слушал. Он точно наблюдал за своей семьей и направлял ее. Мальчик ослепительно перебежал от одного к другому.

Весь дом, поразивший ее невиданной никогда раньше роскошью и богатством,— она припомнила особняк Засецких, умещавшийся в одном зале и гостиной,— весь дом вдруг сосредоточился на ней и на ее мальчике. Прислуга, экономка, вся семья стремилась рассеять ее, обласкать, успокоить, предупредить ее желания, которых не было и не могло быть. Миля сперва придавленно сидела, точно ей связали руки невидимыми увязками, торопилась отвечать; глаза ее растерянно бегали — она прятала их. Она чаще смотрела в пол, в стены, но незаметно поддавалась разливавшемуся, как свежий и душистый воздух в комнатах, обаянию.

Эванс с женой отвели ее, как близкого человека, едва успевшего вернуться после долгой разлуки, в ее комнаты. Она не успевала благодарить за внимание. Никто не замечал ее волнения и стеснения. Она незаметно приняла ванну. Вымыли Борю, уложили спать. Вместе обедали. И она сидела рядом с Эвансом.

Старик посмеивался:

— Ну, мы, конечно, старые знакомые... Шутка ли: мы вчера еще были за границей. Сегодня — у себя дома. Путешествие было очень длинно и утомительно. И... с большими приключениями.

Он дружески подливал ей вино.

— Меры все приняты,— продолжал он,— начались поиски. Мы так уж привыкли к вам, что нам будет скучно, когда вы переедете к мужу.

— Но мы будем встречаться,— вставляла леди Эванс. Старик хитрил усмешкой:

— Если позволит ваш неукротимый муж!

Миля краснела. Леди Эванс оглядывала сыновей и поддерживала разговор:

— Мальчик напоминает мне моих маленьких детей, когда они не умели сидеть за столом так чинно. Бегали, крутили и просили сладкого.

Сыновья весело приподымались, за ними тянулись жены, и все наперебой взвизгивали, звонко чокались с ней хрустальными бокалами.

Мило и добродушно чуть несла свой бокал леди Эванс:

— И мы, и мы, старики, желаем выпить за дружбу!
И после всех бережно чокался старик.

Милю не оставляли одну. День прошел екорю. Вечером в пустом и необъятном зале одна невестка играла на рояле, другая пела. Леди Эванс одобрительно радовалась музыке, не выпуская и сжимая руку Мили. Старик, взяв под руки сыновей, ходил с ними в стороне, не мешая музыке.

На ночь женщины крепко обнялись с ней, мужчины, глубоко кланяясь, поцеловали попеременно у ней руку. Виктория, осклабясь в дверях, провожая ее в спальню, сказала:

— Англи хорош стран. Он любил добрые дела.

На третий день Эванс вошел к ней и подал ей адрес мужа:

— Прошу. Беглец разыскан.

Миля засуеутилась, несчетно благодарила старика, брала его за руку. Она начала собираться, собирать мальчика, хотела пройти к леди и невесткам проститься... Эванс молчал. Он выждал, когда радость стала более уравновешенной. Сухо и предупредительно он полюбопытствовал:

— Вы решили ехать к нему сами?

— Ну да,— недовольно подняла она брови,— а как же? Он, я убеждена, раскаивается. Он измучен. Он, наверное, ищет меня в Лондоне.

— Но ведь он же виноват перед вами? Он совершил поступок...

Старик замялся, будто спрашивая ее согласия назвать его поступок.

— Он поступил подло. Я знаю,— просто подсказала она.

Старик упорствовал:

— Поступок его недостойн мужчины и... отца. Не вы,— он, он, он должен приехать за вами!

Миля заколебалась, задумалась.

— Так будет лучше. Он должен объясниться. Вы должны испытать его. Леди Эванс думает так же. Мы говорили с ней.

Старик бережно усадил ее на диван и долго спокойно и холодно убеждал не торопиться. Он убедил. Довольно вставая, старик зло ухмыльнулся:

— Я напишу ему сам и покажу вам письмо. Я выступлю вашим невольным опекуном. Мы сегодня же письмо отошлем с посыльным. Пройдите к леди. Я сейчас же примусь за работу. Леди вас окончательно убедит. Вы обсудите с ней.

Леди Эванс поздравила Милю, прижала к себе и подтвердила слова мужа. Сдержанно и убежденно проговорила она:

— Конечно, нужно сделать так, как говорит Оскар.

Она поиграла блекнувшими и усталыми глазками:

— Он опытен, потому что стар. Вы увидите, как это будет солидно и поучительно для вашего неосторожного мужа. Это урок. Он пригодится вам в дальнейшей жизни.

Но прошло несколько дней, томительных, как ненастье, как скучные осенние дожди. Миля блекла, плакала, порывалась ехать сама. Ее удерживали. Она не отходила от окна, оглядывая молчаливый широкий подъезд.

Старик твердил:

— Надо выдерживать себя. Этот человек становится мне еще более понятен.

Григорий Григорьевич не пришел. Он ответил письмом. Миля, срывая уголки конверта, в судорогах, в беспмятстве, прочитала: «Я не знаю тебя, не признаю, отказываюсь, ненавижу! Но я требую возвращения мне моего сына».

Она вскрикнула и откинула письмо, ваясь в кресло и прячась в нем от стыда, от оскорбления, от своей любви.

К ней собрались. Эванс поднял непонятное письмо. В него заглядывали другие. Виктория умела только говорить по-русски.

Проплакавшись, Миля перевела письмо. Старик наморщился, постоял у окна, побарабанил себя по груди и жалчиво остановился около Мили.

— Что мне делать? Что мне делать? — протягивала она к нему руки. — Как же я буду жить? Я же не могу жить у вас! Я же чужая вам! Я никогда не жила нигде... приживалкой...

Все передернулись, смутились, побледнели...

— Вы меня простите, но я... я... я не хочу скрывать. Мне тяжело, мне...

Старик сделал знак — и все вышли из комнаты. Он глубоко передохнул, для чего-то оглянулся на двери и твердо взял ее за руку. Она почувствовала его крепкую и теплую силу.

— Ваш муж... Называть его я не стану...

Он украдкой скосил серый, вспыхнувший на нее глаз. Лицо Миля дернулось и начало мелко-мелко трепетать. Старик проверил. Он смело и резко заговорил:

— Вы и сами теперь это видите. Он не посмел бы так писать любимой женщине. Вы не щенок, которого можно пинать ногой. Вы — мать. Болезнь — не оправдание. Прошло уже немало времени, чтобы выздороветь. Разве можно любить его? Любят ни за что. Любовь — это наш лондонский туман. У человека нет сил побороть его. И все мы ходим в тумане. Но любовь можно преодолеть. Человек должен преодолевать ее, когда она — зло. Он вас не хочет видеть. А вы хотите отдать ему вашего мальчика?

— Нет, нет, нет! — закричала она, словно кому-то грозя и уже оберегая сына.

— А-а-а! — протянул старик. — Тогда р-а-з-в-о-о-д! Иначе он возьмет у вас ребенка. Надо требовать развод. Мы не позволим ему издеваться над вами. Вы поручите мне начать дело?..

Она не спала эту ночь. Утром, растерянная и жалкая, отвертываясь от Эванса, она сказала:

— Я хочу еще попробовать поговорить с ним. Вы пошлите со мной человека. Я не найду сама. Это где-то далеко, в предместье.

Видя недовольное, сердитое, осуждающее лицо старика, Миля отчаянно вскрикнула:

— Последнее, последнее одолжение!

Он сам повез ее. Эванс недолго ожидал. Она поднялась на лифте в квартиру мужа. Позвонила. Он словно поджидал ее у дверей. Открыл, закричал, ненавидя, шевеля, как перед припадком, щекой:

— Не смей! Не смей ко мне входить! Сына требую, требую сына! Мне не нужно тебя. Ты не укроешь его, не укроешь! Я приеду за ним.

Григорий Григорьевич толкнул ее в грудь и захлопнул двери.

Миля выбежала из подъезда с разгоревшимися щеками. Эванс пытливо взглянул на нее, открыл ей дверцу автомобиля и в то же время поднял голову на фасад дома. В одном из растворенных окон, свесившись с подоконника, хохотал Засецкий. Эванс торопливо прошептал:

— Поглядите на вашего мужа!

— Ха-ха-ха! — неслось сверху.

Она услышала, передернулась и не взглянула.

Эванс начал дело о разводе. Ее никто не беспокоил. Вдруг куда-то все исчезли. В доме оставался только старик. Она не выходила от себя. Мальчик скакал и прыгал по раздольным комнатам, гоня маленький костяной обруч. Боль не утихла. Ей приносили одной обед. Боря обедал со стариком. Она сама захотела повидать Эванса. Он вошел к ней, как всегда, прямой, статный, умный и предупредительный. Лаская ее похудевшую еще более руку, он спросил:

— Что вы надумали в своем заточении?

Она уже твердо решила, но теперь потупилась:

— Мне стыдно... принимать ваши заботы. Я прошу у вас какой-нибудь работы. Мое положение странно. Мне оно тяжелее, чем развод. Я не привыкла есть чужой хлеб.

Эванс засмеялся:

— Во-от вы о чем! Ну, вы подумайте: это же такая мелочь, ничтожная мелочь!

Она упорно твердила:

— Я должна заплатить вам... иначе я буду презирать себя. Вам смешно, но я не могу пользоваться вашими деньгами. Я будто, будто...

Миля покраснела и закрыла глаза, словно застрашаясь от ослепительного света. Старик сурово, расчетливо, деловито помолчал, поглядел на нее:

— Хорошо. Вы будете работать в моей конторе на Сити, но вам нужен все-таки, хотя бы немного, английский язык. Хотите завтра же начать с Викторией?

Она благодарно наклонила голову и не удержалась, чтобы не вскрикнуть:

— Да, да!

Старик куда-то посмотрел в потолок, откашлянулся и опять сказал:

— Зато вы обещаете больше не говорить со мной о деньгах и не будете мешать мне исполнять мой долг?

Я освобожу вас от мужа и... сохраню вам ребенка. Вы обещаете?

— Да. Но когда же я начну работать?

— Когда будет можно! Это уже зависит от вас.

— Я понимаю... понимаю,— восторженно задохнулась Миля.

Старик ушел, храня в точно свернутых губах ласковую усмешку.

Виктория важно вошла на другой день с толстой книгой. Она водила Милю по пустой квартире и показывала бесчисленные предметы обстановки, убранства, безделушки, называла их по-английски и заставляла повторять. Они разговаривали за обедом, за завтраком, за вечерним кофе. Эванс, весело похохатывая, насмешливо произносил неправильно слова, мешал Виктории. Дом опять наполнился людьми. Вернулась леди Эванс, сыновья, невестки. Все наперерыв учили Милю.

Незадолго до суда неожиданно в доме появился Григорий Григорьевич. Она кинулась к нему. Непонятно и странно закружилась голова, показался он ей дорогим, похудевшим, забылось, как не было ничего позади, все... Старик ошетинился и ловко увлек мальчика к себе в кабинет, заперся там, посадил его за стол и развернул книгу с раскрашенными картинками.

Григорий Григорьевич мрачно сел в зеленой гостиной, отодвинул от себя подальше другое кресло и злобно глядел на нее.

— Прекрасно, прекрасно! — сказал он. — Между нами все кончено. Но... но, я имею сведения, надо избежать суда. Это п-противно! Эти англичане — стервецы! Суд у них по разводам паскуднее нашего... бывшего... консисторского. Мы можем разойтись без всякой огласки... Отдай мне сына и делай что хочешь!

— Григорий,— умолял ее голос. — Неужели ты не шутишь? Неужели ты отвечаешь за свои слова?

— За все. Брось возвращаться к прежним антимониям и сантиментам!

Он с отвращением скривил губы и даже вытер их платком:

— Чего тебе от меня надо? Ты, кажется, устроилась более чем хорошо и... главное... с корабля на бал.

Григорий Григорьевич с ненавистью наморщил нос, будто нюхая неприятный ему запах.

Она не узнавала его: злоба его была нова своей устойчивостью, словно они продолжали ссору, возникшую в поезде под Парижем, и теперь должны были закончить ее. Едко, гневно он швырял слова:

— Башмаков еще не износила... В стране Шекспира я должен жарить его афоризмами. Где Боря?

Миля с испугом прислушалась на далекий смех мальчика. Больно и цепко заняла в сердце любовь.

— Дава-ай его! — крикнул муж.

Она вскочила. Ей почудилось, что мальчик бежал по коридору, он вбежит, муж его схватит и унесет.

И, подсакивая к нему, тыча его в грудь, она вскрикнула:

— Ни за что!

Григорий Григорьевич тоже поднялся с кресла. И так они, ненавидя друг друга, вглядывались мутными и слившимися взглядами.

— Как ты смеешь! Как ты смеешь! — забегал, не выдержав, Григорий Григорьевич. — Ребенок мой! Он Засецкий, а не Говорков! Он носит мою фамилию! Он принадлежит мне.

Она неистово кричала:

— Ты бросил его на улице! Ты не умеешь прокормить его! Нас подобрали и пригрели посторонние люди! Ты можешь только искалечить ребенка! Ты его бьешь!

Григорий Григорьевич приходил теперь каждый день. Но она уже не кидалась к нему.

— Я не хочу, чтобы мой сын был на побегушках у будущего твоего любовника, — шипел муж.

Она ожесточилась, не плакала, старалась спокойно и твердо обороняться. Григорий Григорьевич весь дрожал и бессильно кипел. Он грозил. Миля выдержала.

Эванс шутил:

— Ну, младшая моя дочь, вы ведете себя прекрасно! Вы теперь видите этого человека?

Старик настоял, чтобы не показывать мальчика Григорию Григорьевичу и тем понемногу отучить его думать о нем.

Прошло два месяца. В последний раз Григорий Григорьевич пришел сосредоточенный, усмехающийся. Она долго не выходила. И Григорий Григорьевич взбесился. Они схватились, выливая друг на друга обиды, накопившиеся и сдерживаемые, потому что втайне каждый надеялся на возможное примирение. Миля бессчетное

количество раз уверяла себя, что любовь прошла, ее и не было, а было какое-то наваждение, ошибка, недо-разумение. Она и сына своего любила только за то, что он походил на нее. Но то, что она думала о муже неот-вязно и надоедливо, связывало ее в окончательном и бесповоротном решении.

Обессилев от крика и шума, она решительно, послед-ним напряжением, сказала ему:

— Я требую, чтобы ты оставил меня. Нам пора перемениться ролями. Тебя больше не пустят сюда!

— Ме-ня-а?! — гаркнул Григорий Григорьевич, за-гораясь пуще и кипучей. — Меня? К моему сыну — не пустят?

Миля, бесясь в свою очередь, едко протянула:

— Тебе же не показывают сына и... не по-ка-жут! И... выгонят тебя отсюда! Слышал?!

Григорий Григорьевич качнулся на месте, похватал воздух ртом, что-то хотел сказать — и обессилел.

— Даже воды тебе не дадут в этом доме! — ярилась и бормотала она. — Воды, воды... за все твои мерзости!

Григорий Григорьевич долго приходил в себя и мол-чал. Полуплача, чувствуя, как она ослабевает, Миля надрывно и колко вскрикнула:

— Что же ты не уходишь? Убирайся!

Григорий Григорьевич зажал уши, а потом непри-нужденно и небрежно предложил ей:

— Хорошо. Я уйду. Сейчас. Сейчас мы все выясним. Ты выкупи у меня сына!

Миля начала медленно раскрывать глаза. Они округ-лились, как большие голубые шарики, и топились недоумением. Григорий Григорьевич равнодушно про-должал:

— Деловая сделка! Я ведь... все это время ломал комедию. Никакого мне сына не нужно. Только лишняя обуза. И лишний жующий рот! Мне нужны деньги, и боль-ше ничего. С тех пор как меня пинком в зад и кулаком в горб вышибли из России в эти... черт их побери... благословенные страны... и я стал каким-то санкюлотом, лакеем, рра-бо-чим ч-че-ло-ве-ком, п-п-пролетарием, — деньги я оценил!.. Одни деньги. И никаких иных сокро-вищ! Ты вообразила, что я ревную! Ха-ха! Я... наоборот, ждал, чтобы ты... еще там... в Европе... Ха-ха! Я торгую — ты покупай.

Миля тихонько раскрасневалась и в растерянности редко мигала, до боли раскрывая глаза.

— Заплати мне сто тысяч, и наслаждайтесь, любите, играйте-с, соблазняйте!..

Григорий Григорьевич притворно принялся ломаться, гримасничал в кресле, потирал руки и всплескивал ими.

В негодовании она что-то часто-часто шевелила губами и неожиданно выговорила:

— Сто-о тысяч?!

— Только сто тысяч! Ты теперь богата. Почтенный семьянин, миллионер и шахтовладелец Оскар Эванс...

Григорий Григорьевич встал, кокетливо и притворно нагнулся, отставляя ногу назад и наклоняясь вперед прямым и ровным пробором, влажно и насмешливо щурил глаза:

— О! Он заплатит даже больше. Я не запрашиваю! Добрый старичок, так трогательно глядевший на вас в поезде, не постоит-с, не постоит-с!.. Воздействуйте-с! Одно объятье!

— Во-он! — взвизгнула Миля. — Во-он! Негодяй! Мерзавец!

В дальних комнатах хлопнули дверями, и кто-то торопился сюда.

— Го-ни-те, го-ните его! — дико, хватая себя за волосы, кричала она. — Люди! Люди!

Григорий Григорьевич выпрямился, встряхнулся, выпятил вперед грудь и, охнув, ударил ее по щеке. Он оттолкнул двери и уверенно вышел в парадное.

Старик опоздал. Миля лежала на ковре и в беспомоществе, рыдая, твердила:

— Он ударил меня! Он ударил меня! Он ударил меня!

У старика появился на щеках нежный и робкий румянец. Он подхватил ее и сильно приподнял с ковра. Она, припав, плакала у него на груди. Старик в забывчивости гладил ее по спине и прижимал ее растрепанную голову к груди.

Раскрылись настежь двери. Сбежались все. Суетились боязливые лакеи. Кто-то выглядывал в парадное. Леди Эванс сразу задержала руку старика и отвела ее в сторону. Они встретились удивленными и колющими взглядами.

В общем замешательстве вдруг ворвался в комнату мальчик, катя свое колесо, гремя о пол палкой с золотым набалдашником и звеня высоко под потолком:

— Гоп! Гоп! Гоп!

Леди Эванс слушала Милю, любуясь ее черными, с матовыми отливами волосами. Они переглядывались с Викторией, сидевшей в сторонке. Та была нескрываяемо недружелюбна к Миле. Она часто подчеркнуто подкашливала, делая серыми редкими бровями удивленные знаки хозяйке. Так, не сливаясь, жило тайное и явное. Миля не замечала. Она не заметила и того, как неприметно вздрогнула леди Эванс, услышав о ста тысячах, а Виктория завистливо усмехнулась. Миля не скрыла перед старухой, розовея и замедленно передохнув, всех подробностей разговора с мужем. Тогда леди Эванс взяла в руки ее голову, притянула к себе и тихонько прошептала:

— Всегда, всегда будьте откровенны со мной, как сегодня. Откровенность облегчает наше горе. Нет у вас большего друга, чем я. Даже Оскар... Он мужчина... Он не поймет всего в переживаниях женщины и матери. В дружном слиянии душ мы найдем выход... Мы обсудим, подумаем и накажем этого человека.

Когда леди Эванс и Виктория остались одни, они, отвернувшись друг от друга, некоторое время молчали, потом сели рядом, встретились глазами, покачали враз головами, и леди Эванс сказала:

— Имею ли я право подозревать?

Старуха не закончила, пугливо ища ответа в пустых и злых глазах Виктории. И та, подумав, ответила:

— Имеете ли вы право сомневаться?

— Да... — задумалась леди Эванс, — это походит на него...

— Это больше, чем доброе дело, — подсказала угодливо и поспешно Виктория. — Эванс вчера был вне себя. Я видела, как он в кабинете сжал кулаки и кусал губы. Он прислушивался, как она плакала, хватался за голову: — Виктория прислонилась совсем к уху леди: — Он был так растерян, что русский свободно ушел. Он никогда не переставал забывать, что ему нужно делать. Вы помните стачку углекопов? Взрыв в шахтах? Пожар в старом доме? Эванс только улыбался. Вы помните, как ваш старший мальчик ушел добровольцем на войну и был ранен? Эванс каждое утро уезжал в контору и не отложил своей поездки в Париж.

Леди Эванс, крадучись, вытягивалась вся, будто пила горькое и жгучее питье. И так же жадно, подозрительно вдруг она оглянула Викторию.

— Но почему ты так враждебна к ней? Я давно не видала на твоих щеках краски.

Виктория опешила и вспыхнула еще более.

Леди Эванс наклонилась к самому ее лицу и шутливо, подражая Виктории, зашептала:

— Тебе кажется, что тебя меньше любят? Ты не чувствуешь ли в ней соперницы? Не дорог ли и тебе Оскар больше, чем хозяин? Или ты зла как старая дева ко всему на свете и тебе приятно видеть и делать зло? Чему ты так обрадовалась? И... осудила... не проверив! Неужели так сильна твоя привязанность ко мне, что ты готова доставлять мне боль? И так ее мало к Оскару?

Виктория моргала глазами и точно глотала застрявший у нее в горле и не проходивший кусок.

— Ты нашептываешь мне на нее, когда она открыта передо мной, как вот это окно. Она же чиста и наивна, как и ее мальчик. Или ты знаешь больше, чем я? Я не дала тебе закончить?

Леди Эванс обидно и насмехаясь шурилась на Викторию. Уже устало, брезгливо, строго, каждое слово отдельно, она выговаривала Виктории:

— Я запрещаю тебе преувеличивать и сплетничать. И подсматривать за Оскаром. И того больше: быть неловкой с нашей гостьей. Тебя не должно касаться, как Оскар кусает губы, что он обдумывает в своем кабинете и как располагает собой. Ты ошиблась, Виктория, желая заронить во мне подозрение. Ты не достигла своих целей. Оскару пятьдесят шестой, тридцать из них принадлежали мне. Не мало ли тебе кажется? Ты немного отстала от нас. Разве у тебя сердце еще не устало быть молодым? И способно увлекаться любовью сквозь морщины?..

Виктория привстала на кресле. Лицо у нее медянело и втягивалось щеками.

— Но... но вы сами...— робко заикалась она,— вы сами обратили внимание, когда Эванс забылся и гладил...

Виктория не смогла выговорить и растерянно провела рукой по своей узкой и длинной спине.

— Ха-ха! — залилась леди Эванс.— Покажи, покажи еще раз... Ха-ха!.. Очень походит. Ха-ха! Наблюдательная! Какая ты наблюдательная!

Леди Эванс так же неожиданно, как начала, прервала смех и, хмурая, недовольная, встала:

— Будет! Достаточно! Оскар не должен знать о нашем разговоре. Ты понимаешь, как бы он поступил с тобою? Я прощаю тебя. Оставь меня, Виктория.

Но как только она вышла, леди Эванс закрыла глаза, уныло постояла, придерживаясь за хрупкий и хлипкий столик, качнувшийся под рукой, заперла двери и прилегла на кушетку, в раздумье качая ослабевшей головой.

Ночью, в спальне, на сон целуя Оскара в глаза, как она это делала тридцать лет, леди Эванс с волнением сказала:

— Ка-а-кая грустная судьба у ней... Ей надо помочь встать на ноги. У нее прелестный, совсем непосредственный ребенок. И она... сама дитя... не менее прелестная и светлая сердцем...

Старик одним глазом взглянул и летуче усмехнулся:

— Ты совершенно в нее влюблена. Я уже давно не слышал у тебя такого мелодичного голоса.

В свою очередь тут повеселела глазами старуха:

— Я не ожидала, Оскар, чтобы русские женщины могли быть так обаятельны. Они живут в Азии — и так могут чувствовать добро!.. Как настоящие европейцы! И это.. после всех ужасов, на какие русские люди способны? И даже после того, что они сделали со своей страной!.. Ах!..

Эванс ничего не ответил, лег в постель, тонко и остро почувствовал запах духов, исходивших от флаконов леди, неподвижно полежал на спине, провел себя по груди и, будто ни к кому не обращаясь, холодно и отчетливо спросил:

— Почему ты каждую ночь говоришь о ней одно и то же?

Старуха словно спала. Старик, зажмуриваясь в темноте и потягиваясь, осторожно лизнул черствые и горевшие губы:

— Странно!

Леди Эванс лежала с незасыпающими, затаившимися на страже глазами.

Еще раньше, чем Миля виделась с леди Эванс, она, запинаясь и путаясь, говорила со стариком. Уши горели, как зажженные лампы. И старик, казалось, узнал меньше, чем леди Эванс. Он доверчиво, угадывая недосказанное, смотрел взвешивающими точно и верно серыми глазами. И она отпрянула, отшатнулась, потрясенная и непонимающая, когда Эванс спокойно вымолвил:

— Вы хотите: я могу выкупить вашего сына...

— Сто... сто тысяч! — в ужасе воскликнула Миля.

Старик открыл стол, вынул чековую книжку и, показывая ее, равнодушно постучал по корешку.

— И миллион и больше миллиона... и горсть миллионов можно выписать по этой книжке. Сто тысяч не стоят одной слезинки вашего обиженного мальчика.

Эванс взял перо, обмакнул его, но Миля схватила его за руку, трепещущая и дрожащая:

— Нет, нет! Нет!..

Ей стало стыдно. Будто вошел в комнату муж, глядел через стол, невидимый старику, и, нагло насмехаясь из-за его спины, говорил:

— Он заплатит. Я знаю.

А Эванс спрашивал, даже удивляясь:

— Что вам мешает принять от меня этот пустой и ничего для меня не значащий подарок? Это же последнее, что мешает быть вам спокойной. Кто ваш муж, вы больше не сомневаетесь, но он сильнее вас. Он может и умеет мучить. Он же может отнять у вас ребенка.

— Я не могу... я не могу... — шептала Миля, скрывая свое лицо в ладони. — Вы... вы... это же не бывает на свете... так... просто!..

Старик слегка дрогнул. Он нежно отвел ее руки от розового лица:

— Дорогая девочка! Я так могу вас назвать: я старше вас больше, чем вдвое. И чуточку опытнее и дальновиднее. Я понимаю, что хотел сказать ваш муж, требуя с вас сто тысяч. Мы не будем с ним спорить. Он безумен. Переубедить его невозможно. И не следует. Но верьте мне, как отцу: ничего дурного нет и не может быть в мыслях Оскара Эванса, предлагающего вам оторвать только один листок из этой книжки. Ваши подозрения так неожиданны, что кажутся чудовищными...

Она, подавленная, опустила глаза, вся смялась, сгорбилась.

— Я понимаю вас, — окреп голос Эванса, — вы даже правы, что не хотите позволить вашему бывшему мужу воспользоваться удобно для него сложившимися обстоятельствами, вы не хотите как бы подтвердить его право на низкую алчность... Но бросьте это! Живите для себя и для вашего малютки. Вы видите, как все несложно?

— Простите, простите меня,— всхлипывала Миля,— я... я же не могу вам отдать... никогда эти деньги... это же целое... сокровище!

Старик снисходительно усмехнулся и провел по ее руке сухими и горячими пальцами:

— Вы смешите меня. Для вас — да. Но для меня это нисколько не затруднительно. Я скажу вам: если бы он потребовал половину моего состояния, я отказал бы. Но сто тысяч — мои карманные деньги. Я делаю по своим средствам. Разрешите мне поставить мою подпись.

Она задумалась и остановилась на нем замученными, забитыми, похолодевшими глазами.

— Я жалка,— сказала Миля неожиданно твердо.— Вы предлагаете мне щедрую милостыню...

Эванс приподнялся, протягивая к ней быстро шевелившиеся пальцы.

— Но мне же это тяжело! — расслабленно уже воскликнула Миля. Ах, как тяжело!.. Я, я не могу ее принять!

Старик скороговоркой, словно догоняя убегающую от него Милю,— а она сидела неподвижно, тихо, печально напротив,— выкинул:

— Даже для сына?

И она не стала ожидать:

— Даже... даже... даже!..

— Ну, теперь я не понимаю вас,— смирно и тихо пробурчал Эванс.

А Миля твердила, будто убеждая его:

— Так нужно, так нужно! Вы не сердитесь. Я тягочусь своим положением. Я презираю себя. Я готова пойти на улицу с моим сыном и... и просить...

Она вытирала губы платком, не просохшим от слез.

— Ах,— досадовал старик,— какие, какие вы непохожие на нас существа! Вы мешаете мне побаловать вашего сына плиткой шоколада!

Миля насильно улыбнулась.

— И такие страшные вещи: на улицу... просить! Почему вам неприятно мое гостеприимство?

Эванс ласково и пристально разглядывал ее, как там, в поезде под Парижем, не узнавая и поражаясь.

— Вы не убежите от нас,— спрашивал он, шурясь,— хотя бы до того момента, когда более или менее освоитесь по-английски, начнете работать в конторе и выплачивать мне долг?

Она понемногу успокаивалась и охотно слушала его:

— Нет.

— Обещаете? С вас надо взять слово.

— Я так благодарна вам!

Миля близко встала к нему, что-то хотела сказать, покраснела и быстро вышла.

Старик лениво и недовольно убрал чековую книжку, облокотился на ручку кресла и начал нетерпеливо поглаживать по блеклой обивке. Ноги под столом непослушно вздрагивали.

Виктория в эти дни ходила за Милей неотступно, улыбалась ей, беспрерывно выкрикивала русские слова и опять улыбалась, поправляла на ней платье, и вся, как большая костлявая рыба, оттопыривалась иглами, говоря о Григории Григорьевиче, точно готовясь кинуться на него, исколоть, истыкать, появиться он опять. Она позволяла мальчику заходить к ней в комнату. Боря давно любопытно туда заглядывал, приоткрывал дверь и кидался испуганно прочь, натываясь на два страшных зеленых яйца глаз. Мальчику казалось: вылезали они из-под лохматого венника прически, перегоняли его, убегающего, закатываясь с боков вырастающими на виду жабами. Он взвизгивал, извилисто бежал, подымал ножки и, в страхе, готов был плакать.

— Боюсь, ой боюсь тетки! — шептал он.

Миля смеялась.

— Она, мама, меня не скушает?

Виктория важно гудела:

— Англи — дети други!

А мальчик, повторяя своего отца, угрюмо корчился за портьерой:

— Стра-ашен-на-я она, мама!

Теперь Боря получил от нее старую, величиной с его маленькое тельце, книгу с картинками. Он едва донес ее, изгибался, отдувался, ронял, от дверей маминной комнаты он поволок ее по полу, и, гоня перед собой, глушил паркетный глянец, оставляя на нем неровную, заметную полосу. Он радостно распластал книгу в углу, ходил по ней, закрывал голову переплетом и, лежа на брюхе, болтал ножками. Наскучив ее разглядывать, мальчик выдрал из нее толстые, как чертежные, листы бумаги с косматыми львиными головами, отнес в комнату Виктории и поделился с ней, говоря:

— Это... тебе книжка.

Виктория опять показала старшие зеленые глаза, но мальчик не успел повернуться, спрятала их, положила ему на плечо длинную и кривую, как коромысло, руку, проскрипев:

— Шя-лу-ун!

Потом заграбастала, скоро перебирая пальцами, маленькую его голову в горсть, наклонилась от самого потолка и быстро поцеловала его в лоб чем-то холодным и скользким.

— Мама! — закричал мальчик, летя стремглав от Виктории. — Тетка языком лижется.

Миле было дорого это внимание злой экономки, только в упор глядевшей на нее с первой встречи, будто запертый, мертвый, высокий платяной шкаф, передвигавшийся в комнатах, затемняя свет окон, широко раздвигая портьеры и задевая за кисти верхушек.

С трудом одолевая застылыми в неподвижности глазами, словно мутная зелень на меди, не умевшими проясняться от принужденной улыбки, Виктория сочувственно и укоризненно ворчала:

— Ви обидел леди. Ви не взял так мал деньги на Бори. Сто тысяч Эванс — ффу! Дым папирос!

И экономка пошаркала башмаком, как духовым тупоносым утюгом:

— Капель, одна капль!

Молодые Эвансы словно охватили ее в кольцо, взялись за руки и кружились с веселым смехом. Мальчик переходил с рук на руки, строил смешные мордочки, катался и кувырчался на полу, прыгал через похудевшую книгу Виктории... Женщины изумлялись всему, всплескивали руками, как раскачивающимися на ветру белыми лилиями.

Мужчины стройные, изящные, как выточенные из белого матового мрамора, в спортсменских костюмах, не отставали от жен в радости, хохоте и проказах, пели, боксировали, танцевали, прыгали, не уступая Боре. Они точно условились развлекать Милю, заставляли ее забыть, не думать о всех ее тяготах. Миля отогревалась. Тепло плыло по телу невидимым дыханием, розовея на загорающей коже.

И снова будто распахнулось окно, вихрь сорвал его с петель, ворвался, рванул по комнатам сквозняком, задувая огни, перелистывая книги, качая портьеры, капля хрустальным перебором люстр, нагоняя мутный, жирный,

шерстяной лондонский туман и гибельно трубя в широкогорлую трубу тревогу. Виктория торопливо пригласила Милю в кабинет к старику. Он задохнулась. Старик, бледный и замерзший, показал ей на телефон и невесело осклабился:

— Ваш муж...

Миля решительно замахала руками, но в то же время как бы кралась к столу неслышными шагами и сгибалась от высматривающих из телефона глаз Григория Григорьевича.

Старик едко кольнулся, поджимая губы:

— Он уже знает по-английски ругательства... Мы имели с ним небольшой разговор.

Миля вскрикнула:

— Он посмел оскорбить вас?

Эванс так небрежно, точно свалилась к нему на рукав соринка и он снял ее, раздул ноздри:

— Не-ет. Я от него надел противогазовую маску. И не слышу и не вижу, какой это газ...

Она, борясь с собой, не подходила к телефону. Старик тогда еще раз показал рукой:

— Это нужно...

Миля послушно взяла трубку. Эванс изучал ее дергавшееся и взбешенное лицо. Григорий Григорьевич повторил требование. Она уловила ищущий тревожный взгляд старика. Будто мелькнули в светлом отражении телефонной трубки ее такие же глаза, плеснула густо в голову радостная кровь. И она закричала по-французски:

— Га-ад! Га-ад!

И бросила трубку, колебля аппарат. Старик ее понял. Сияя, он бережно взял ее за обе руки, пожал их и поочередно поцеловал. Миля вытирала проступивший пот на лбу.

— Сто тысяч и... два дня сроку! — насмешливо поднял палец Эванс. — У него военная прыть!

— Боже! Как стыдно! Как мерзко! — простонала она. — Какая грязь! Он продает меня, словно свою вещь... свою усадьбу... ненужную жену... из турецкого гарема! Ни за что! Если бы у меня были эти деньги, я перед его глазами разорвала бы их на мелкие части!..

Протяжно, насильно, ворочая слова, как тяжелые глыбы, хмурился старик:

— Да, теперь и я скажу: мы не покупаем ни детей, ни женщин и... и... не продаем!

День был дождливый. Копотливо распolzаясь по земле в каждую трещинку, в щелку, в выбоинку, клубясь в ветряных воронках, разматываясь тончайшей паутиной и непроницаемой сырью, захлебываясь, вырастая на лохматых ногах, раздаваясь и ширея плавучими навалами шкур, полями шерсти, разодранными войлоками, закутывая дрожащими сумерками улицы, дома, соборы,— туман приник к окнам слепой и жидкой слизи. Он развалился на крышах огромной и мокрой, и волосатой грудью. Пята его давила, не прогибая, железо крыш. Всасываясь прелью, язвами ржавчины, сверху наваливались другие косматые, бесшумно топтавшие чудовища. Он дотянул до облаков, проглатывая их и взбалтывая, как желток в белке яйца. И весь этот неохватимый, нечистый пар трепетал, извивался, скользил, словно плясал, не умея отстать и остановиться. Туман въедался в комнаты, обволакивал глаза неуловимой тонью белесоватого дыма, тушил их, блек в теле, разламывая и болея.

Все разошлись по комнатам, стихли, валялись в креслах, на диванах, неслышно переговаривались, вздыхали. Мальчик одиноко топал ножками в зале, изображая идущий поезд, и кричал паровозом:

— Ту-ту! Ту-ту! Ту-ту!

Томительно коротали неутешный, нахмуренный день, безмолвно ноя и не находя выхода. Миля облокотилась на подоконник и неподвижно сидела, не вставая до вечера, пока не подошла к ней леди Эванс, не поцеловала ее в голову и грустно не промолвила:

— Вы не отчаивайтесь, дитя мое...

Миля благодарно приложила ее руку к своей горячей щеке. Старуха легонько освободилась и пошутила:

— Оскар вас выведет на дорогу из этого тумана...

Старик не показывался из кабинета. Он рано пошел в спальню, нарушая давнишний, как в шахтах, бессменный уклад.

Леди Эванс застала его в постели и робко спросила от своего ночного столика, зажигая крохотный голубой свет:

— Оскар, тебе нехорошо?

Старик нежнейшим голосом ответил:

— Твоя заботливость, Мэри, уже делает меня здоровым!

Леди Эванс уронила флакон духов. Духи хлынули из расколотого бочка. Она прикрыла лужицу ковром и мелко, растерянно потопталась на нем.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Еще не прошло двух дней — старик за обедом вдруг отказался от вина и загадочно сказал:

— Я хочу, чтобы сегодня в моих поступках вино не играло никакой роли.

Насторожились — леди, сыновья, невестки. И всех больше насторожилась Миля. Старик был обычен, только легонько вздрагивала салфетка в руках и неуверенно позванивал ножик о тарелку. Обед скомкался. Все торопились его закончить. И разошлись.

Миля ходила у себя, неотвязно думая о словах Эванса. Как-то сразу похолодели комнаты. Туман пожигел за окном. Но, словно забравшись внутрь дома, он теперь пронизывал острой, как уксус, сыростью, рвал виски и наливал волосы нестерпимой болью. Голова уставала носить волосы, сгибалась на ослабевшей шее, и отдельные волосинки назойливо лезли в глаза. Она прислушалась к тишине дома. Стало еще холоднее, неуютнее. Она прошла к леди Эванс. Двери были закрыты. Миля потрогала их. Голоса там смолкли. Еще никогда не было, чтобы ее не пускали. Она растерянно побагровела за дверями. Виктория показалась у своей комнаты и, увидя ее, сердито, хотя ее не спрашивали, буркнула:

— Я занят...

Зеленые глаза ее будто ударились о Милю. Виктория, уперев их в конец длинного коридора с верхним матовым светом от рубчатого стеклянного фонаря, пронесла мимо, как до краев налитые зеленым красивые детские чашечки на Пасху.

Все это было так непривычно и непохоже на многие согревающие, приветливые дни, что Миля, потерянная и скучная, вернулась к себе. И все внимание ее, казалось, было теперь только в том, чтобы быстро встать и кинуться к дверям, когда ее позовут — и узнать, узнать скорее, почему затих дом и затворилась леди Эванс.

Позвали ее на другое утро. Леди Эванс сама зашла к ней с заплаканными глазами.

— Вы не подумайте,— грустно ужалась она,— что мы имеем против вас неприязненное чувство. Наоборот...

Миля подозрительно придвинулась к ней.

— Нет, нет... Но случилось ужасное!..

Леди Эванс подняла глаза к потолку, точно ужасное было там.

— Мы уже обсудили на семейном совете. Еще не решили. Оскар хочет сказать вам. Пойдемте. И наши дети собрались... и Виктория.

Миля требовательно, забывшись, теребила леди:

— Скажите, скажите же мне скорее! Это он, он!.. Почему от меня скрывают?

Леди Эванс вела ее в кабинет. Миля бросилась вперед.

— Ну вот,— сказал старик.— Теперь все...

И он долгим напряженным взглядом остановился на Миле, будто проверяя и повторяя те слова, которые сложились у него давно. Она жадно ждала.

Старик как-то неуверенно обратился к ней:

— Я получил невероятное, оскорбительное письмо от вашего мужа. Он прислал мне вызов...

Миля вскрикнула, подбежала к столу, к телефону, точно ища что-то. За ней испуганно поднялись молодые Эвансы; леди торопливо налила воды, неся стакан к ней; не усидела красная Виктория, перекатывая кадык на желтой кошелькообразной шее. Старик, как будто ничего не происходило вокруг, терпеливо ждал.

— Я поеду к нему! — кидалась Миля.— Я должна отплатить этому человеку! Я умею стрелять! Он сам выучил меня!

Миля, растрепывая волосы, роняя шпильки и гребенки, упала перед Эвансом на колени:

— Это я... я... Зачем вы так добры?! Зачем вы приютили нас?! И теперь... и теперь... Низость! Издевательство! Преступление! Ответ... это ответ!..

Старик смущенно вставал с кресла. Она держала его за ноги и прижималась к ним.

Леди Эванс опомнилась первая. Она оттаскивала ее и бормотала визгливо, неприятно:

— Встаньте, бедненькая, поднимитесь! Ай, ай, какие чувства! Какой порыв! Вы смущаете нас!

Молодые Эвансы окружили Милю, подняли ее, напоили водой.

— Я должна видеть его! — сопротивлялась Миля. — Он смеет поднимать руку! Его надо задержать! Разве нет в Лондоне полиции?! Разве дуэли не запрещены здесь?..

Она никого не замечала, кроме старика, и кричала только ему:

— Вы не отвечайте этому негодяю. Он недостойн читать ваше письмо.

Эванс молча, задумчиво не сводил с нее глаз. И он, казалось, не видел никого в кабинете. Дозорный зеленый глаз Виктории замер на нем. Леди Эванс потерянно, вполголоса, восклицала сыновьям:

— Боже! Ка́кие они все, русские, беспокойные!

Сыновья ежились и шептались с женами, любопытно смотря на Милю. Старик переживал ее волнение. Она остановилась. И ненадолго.

— Где, где его письмо? Дайте мне еще раз убедиться, как отвратителен этот человек! Помогите мне снять с себя унижительную его фамилию! И с моего сына, и с моего сына!

Она неутешно плакала и снова кричала в слезах:

— Я шесть лет моих отдала ему! Девочкой, девочкой полюбила его! Что я вынесла, что я вынесла! Где же настоящая, настоящая любовь? Я не жила сама, я жила только при нем! Ходила слепая... и меня водили за руку! И толкали... и оскорбляли... и... били! Вы подумайте, меня били!..

— Так нельзя,— ласково и твердо сказала Эванс.— Слезы и волнение! Волнение и слезы! Они обезоруживают людей — и ничего не устраивают. Успокойтесь, дитя мое!

И старик, как-то дернувшись, увидел вспыхнувшую удовольствием леди Эванс. Он был теперь ровен, как и его высокий и установившийся голос. Сыновья неподвижно и безвыразительно слушали отца. Миля трудно слагивала со слезами.

— Я приму вызов! — даже усмехнулся старик. — Я не могу поступить иначе!

И опять в отчаянии воскликнула Миля:

— Почему же вы, вы... будете стреляться с ним? За что? За кого? За меня?..

Она вздрогнула, когда у нее вырвалось последнее слово. И все как-то посмотрели на нее, посмотрели друг на друга, Виктория переглянулась с бледной леди Эванс.

— Нет, не за вас,— подтвердил старик,— а за мою честь. Он меня оскорбил. Глупо, безрассудно,— но оскорбил. Мои сыновья готовы с ним драться. Но драться буду я. Мне каждый будет иметь право смеяться в лицо, если я закрою его рукой. Меня никогда и никто не смел оскорблять!

Миля отчаянно закрыла лицо руками:

— Какая случайность!

И снова пришло возбуждение — буйное, бессильное, грустное:

— Какой ужас!.. Он офицер! Он сам расстреливал красных! Он расстреливал женщин! Он палач! Он убьет вас!

Она в недоумении оглядывалась и спрашивала себя, забывая обо всех:

— Как же я? Ведь я же понимаю... случайно... но... но я... из-за меня эта дуэль. Я не могу... я не могу представить! Вы, вы, посторонний мне человек... старик... из-за вашей доброты... умрете! Если нельзя, нельзя остановить, позвольте мне быть с вами, рядом, вместе... возле вас!..

Леди Эванс шевелилась о спинку дивана. Глаза ее светились оттуда и казались Эвансу молодыми, как давно, как тридцать лет назад.

— Со мной будут мои мальчики,— сказал старик. Он ухмыльнулся и пошутил:

— Женщины встречают героев! На дуэли способна драться одна мисс Панхерст. Я пригласил вас, чтобы не было для вас никаких неожиданностей. Мы завтра встретимся. Ваш муж не знает топографии Лондона. Мы его с ней познакомим. Кстати, он повидает сельские окрестности нашего города.

Старик, скрывая волнение, запнулся, тотчас на усталом его лице сверкнула какая-то надежда, облегчение:

— Если он, конечно, не покинет Лондон раньше... Так же, как внезапно оставил вас в поезде...

Миля безнадежно, вполголоса прошептала:

— Нет. Он не побежит. Он не откажется от дуэли.

— Тем лучше. Когда-то я умел не отставать ни по стрельбе, ни по спорту.

Тут неожиданно Виктория грубо и резко выкрикнула по-русски:

— От него надо выкупать и свозить ему сто тысяч за леди.

Миля застонала, схватилась за ручки кресла, белея, задыхаясь, морщась от боли... Виктория повторила фразу по-английски. Тогда старик с негодованием взглянул на нее и молча показал Виктории на дверь. Та наклонилась к леди Эванс. Старуха что-то хотела сказать, привстала — и опустилась. Сыновья возмущенно осматривали Викторию. Она вытянулась прямо, затопала своими утюгами и, багровая, неторопливо вышла.

Эванс отдавал распоряжения на завтрашний день, звонил по телефону, сыновья попеременно куда-то выезжали, куда-то отправилась с Викторией леди Эванс. В доме была уверенная и спокойная суета. Миля, закутавшись в платок, неподвижно сидела в своей комнате. Боря скучал. Он был весел и резв, когда на него смотрели. Он играл для всех. Смеялись и одобряли его — и тогда мальчику казалось, что большие участвуют вместе с ним в играх. Мама только крепко прижимала к себе, когда он подходил к ней, и ничего не говорила. А оттого, что мальчик был грустен, Миле становилось еще тяжелее. Но она не находила нужных и ободряющих слов. Голос был, как расколотая флейта: не слушался, не овладевал вниманием ребенка.

Миля представляла себе, как опустеет кабинет старика, как будет он лежать, белый и длинный, в огромном зале, все будут плакать, а потом кинутся на нее, виновницу его смерти. Она сложила вместе, как складывала в детстве разноцветные кубики в хрупкую и качливую башенку, слова, движения, взгляды и леди Эванс, и сыновей, и невесток, и Виктории и, уже не сомневаясь, удивлялась, почему она раньше не видела, не понимала, что все они что-то затаили, недоговаривали, выжидали, поступали согласно, будто следя за управляющими бровями старика. Эванс выступал над всеми, словно самое высокое дерево, упирающееся в крышу в зимнем саду. Он неотступно проходил перед закрытыми глазами. И была к старику жалость, и тревога за него, и трепетавший восторг. Удивляли и влекли к нему и голос его, и серые огромные глаза, повторенные в сыновьях, точно перенесенные с другого, молодого, лица в седую рамку стариковских волос и поблекшей кожи, и тонкий белый

рубчик поперек лба — след детского прыжка, как старик рассказывал о нем Боре.

Миля вспомнила как-то недавний вечер. Мальчик сидел у него на коленях и любовно гладил его по щекам, встал на коленях и стал водить по рубчику, даже заглядывал под рубчик, смешивая старика. Она вспомнила, как телеграфные, убегающие от поезда столбы, все то мелькнувшее время от первой встречи с Эвансом до сегодняшнего разговора. Старик горел каким-то ослепительным сиянием устойчивой, осторожной, глубочайшей привязанности к ней и к ее ребенку. И она опять вспомнила, как старик сказал ей, разрешая ее удивление вчера, что он ко всякой другой женщине и матери отнесся бы так же, как относился к ней, — но он не ищет этих встреч, он не мог бы отнять у своих детей все и раздать это все посторонним ему людям. «Только частичку, только частичку», — улыбался старик.

Миля вздрогнула, точно опять в этой комнате услышала голос мужа и особенно голос Виктории, час-два назад повторившей его слова. Она увидела дрогнувшую руку Эванса, протянутую к двери... Но, может быть, они правы! Нет, нет, не может быть! Он же старик! Она сжала больно руки, чтобы не закричать.

Борю приласкали лакеи в коридоре — и он уже смеялся и скакал там.

Миля вдруг начала собираться.

— Надо остановить, остановить! — шептала она вслух, разыскивая на столе адрес мужа и будто сразу находя выход.

Она незаметно оставила дом.

Стремительно, резко Миля позвонила у квартиры Григория Григорьевича. Какая-то женщина отворила. Григорий Григорьевич, с обвязанной полотенцем головой, выглядывал из соседних дверей.

— Милости просим, милости просим, — едко и зло заговорил он. — Я польщен вниманием. У меня перебывал весь Лондон. Голова разболелась от звонков.

Кинув косой и равнодушный взгляд на ухмыльнувшуюся женщину, разглядывавшую ее, Миля почти втокнула Григория Григорьевича в комнату. Он, на минуту растерявшись, посторонился. Она закрыла дверь и подошла к нему вплотную, прямая, серьезная, бледная.

— Прошу, леди, — развязно и кривляясь разводил руками Григорий Григорьевич. — Только что отбыли

секунданты. Чем могу служить? Изволили прибыть в качестве депутата? Или в качестве поруганной матери? Или в каком-либо другом качестве?

Она спокойно слушала.

— Но что вы не садитесь, леди? — подчеркнул, запинаясь на слове «леди»; волновался и скрывал волнение Григорий Григорьевич, как-то стараясь не встречаться с ее глазами.

Миля пошевелилась. И тогда вдруг Григорий Григорьевич совсем испуганно отошел от нее, нахмуриваясь и засовывая руки в карманы. Она презрительно и довольно сжала губы.

— Ты думал, я хочу ударить тебя? Да, да, я уже ударила тебя! Иногда удары бывают неслышны и нечувствительны.

Григорий Григорьевич развернулся в плечах, сорвал с головы повязку, швырнул ее в угол и захохотал:

— Однако ты скоро усвоила английскую выдержку. Ха-ха! Ты даже научилась изрекать непонятные вещи! Ха-ха! О! Я никогда не представлял, как интересна жизнь, когда она походит на роман. И мы... и мы, ха-ха, герои!

Миля выдержала, села на стул и удивлялась сама себе, как она была спокойна, словно у ней временно остановилось сердце, не мешало дышать; глаза отчетливо видели все убранство комнаты и широкую, нелепую, как огромный стручок перца, шашку Григория Григорьевича, знакомую шашку с чернью на серебре, висевшую по желтоватым обоям напротив.

Григорий Григорьевич стоял и с интересом рассматривал жену, все меньше и меньше паясничая.

— Вы решили взять меня измором? — восклицал он. — Какая закалка! Какая закалка! Я за несколько лет, в условиях, как говорят большевики, беспримерных в истории, не мог достичь таких результатов! Англия — страна организованных действий и чувств — преобразует людей, не замечая!

Наконец, он сорвался, покраснел, заорал, подбегая к ней и дергая ее за руку:

— Я бил, я бил тебя! Ты опять хочешь побоев? Как ты решилась, как ты смела прийти ко мне?

Миля вспрыгнула, с силой оттолкнула его, встала за стул и, ненавидя, прошипела:

— Я не уйду больше отсюда. Никакими побоями ты не заставишь меня уйти. Я буду кричать. Я созову весь дом. Я уже заявила полиции о твоём поведении. Нас вышлют из Англии.

Григорий Григорьевич остолбенел и отступил назад, беря себя за виски. Знакомо задргала щека, закипела на лбу распухшая жила. Григорий Григорьевич был близок к припадку.

— Я стала умнее,— холодно продолжала Миля.— Дуэли не будет. О ней я тоже заявила. В Англии строже, чем в нашей разнузданной стране. Эванс в Англии более известен, чем мы в этом доме. Меры уже приняты. А старику я сказала, что вызов ты послал по моему наущению, чтобы шантажировать его. И мы вместе с тобой не ожидали, что он его примет. Каково? Как ты находишь?

Миля вызывающе покачивала стул. Григорий Григорьевич боролся с туманом, плывшим у него в глазах, перемогая припадок, старался удержать все расходившуюся в прыжках щеку, тер докрасна виски, задирая больно волосы.

— Эванс необыкновенен,— язвила и тыкала будто горячим и колючим Миля.— Я плакала. Я стояла перед ним на коленях. Простил меня. Не выгнал. Пока мы устроимся за пределами Англии, он оставил у себя Борю. Знакомо ли тебе такое великодушие? Ты, ты поступил постыдно с ним, ты забыл, чем ему обязан твой мальчик. Я отомстила тебе. Я передумала за эти дни много! Ты ревнуешь меня к старику. Ты не постыдился продавать меня. Ты хочешь убить воображаемого своего соперника. Я не позволю! Я уже не позволила. Так не платят, не платят за добро, низкий человек! Я не уйду отсюда, покуда не придет полиция. И... тебя не арестуют...

— А-а-а?! — взревел Григорий Григорьевич.— Так это все подстроено! Так меня одного вышлют. Так все эти штучки с секундантами — оттяжка времени! Так ты вместе с ними спровоживаешь меня, чтобы скорее и проще распутничать со стариком! Без моего глаза! Одурачиваете меня! Околпачиваете! Ты явилась сюда, чтобы нагло еще на прощание меня высмеять! У вас все обстроено! Ты не побоялась явиться ко мне! Поиграть на моих нервах! Чтобы, чтобы еще больше прельстить старичка романтичностью! Не-ет! Не будет по-твоему! Ты действительно не уйдешь отсюда! И заплатишь мне

и ты и они за все! Я еще успею, я сейчас, я сейчас, я еще успею разделаться с ним проще, чем это ожидают все!

Григорий Григорьевич тяжело и грузно, ушибаясь о стул, схватил одной рукой за голову Милю, душа на своей груди ее крик, тащил ее; она отбивалась, рвала на нем френч, пуговицы — они сыпались на пол и прыгали, раскатываясь; он слепо шарил на столе и тянулся к револьверу.

Полузадушенная, последним рывком она дотянулась до его горла — и вцепилась. Он помотал вдруг головой, прохрипел и ослаб, руки скользнули вниз, и неудержимо он рухнул на пол в судорогах. Начался припадок.

После припадка, Миля знала, Григорий Григорьевич по несколько дней не помнил, что было до него: память возвращалась медленно и тягуче. Оправляя волосы, тяжело водя болевшей головой, она поняла, как была безумна и неудержима ревность мужа.

Поединок откладывался до того, как оправится Григорий Григорьевич. Уловка ее не удалась.

Пока он корчился на полу и нельзя было трогать его, Миля почувствовала неотвратимость встречи мужа со стариком. Она только навредила Эвансу. Григорий Григорьевич, опомнившись, не стал бы ждать дуэли, он осуществил бы свое безумное намерение. Миля торопила свои мысли, ища выхода.

Терпеливо, равнодушно, смотря на посиневшее лицо мужа, не жалея, только презирая, ужасаясь потом, ночью, своему безразличию, коря себя и забывая, — Миля выждала, пока Григорий Григорьевич начал успокаиваться, болезненно потянулся и тихо заснул.

Тут она вызвала родственников мужа, впервые познакомившись с ними. Они, недоумевая, злобно глядя на нее, морщились, переглядывались, требовали объяснения, удерживали ее.

— Я приеду завтра, — тихо говорила Миля. — У него припадок. Так всегда. Он будет спать несколько часов. Я не могу оставаться. Ничего опасного нет. Его надо уложить в кровать. Он не услышит.

Она умело и привычно распоряжалась. Григория Григорьевича осторожно, трудно, бережливо перенесли на кровать, раздели. Миля всмотрелась в серое и безмолвное лицо мужа. Какая-то острая, терпкая горечь была в его плотно сомкнувшихся губах, укоряющая, зовущая. Такие же маленькие, тонкие губы были и у Бори.

У нее замутилось в голове, согрело где-то в груди мимолетное чувство сравнения, привязанности, заботы — и прошло.

Так же незамеченной, как вышла, она вернулась домой, крепко обняла мальчика, не отпускала его от себя, точно была в чем-то виновата перед ним. Он это почувствовал и капризничал, домогался от нее, лежа в кроватке, читать ему одну и ту же сказку «Степка-растрепка», недовольно поправляя ее, когда она, укрывая свое волнение, пропускала выпадающие из глаз буквы, слова, абзацы. Мальчик отчетливо, словно читая сам, делал вставки, переменял ударения: он знал сказку наизусть.

Он так и заснул на половине, когда она читала в третий раз сказку, запнувшись на одном поправляемом слове, последний раз взглянул помутневшими глазками, покрывая их скорлупками розовых век. Мать еще немного почитала, прервала, подождала... Тихое, теплое, незаметное дыхание, как от нагретой солнцем весенней лужайки, коснулось ее запекшихся губ.

Миля осталась одна с собой. Она не спала. Дом был тих, как необитаем. Но нет-нет да где-то что-то переставляли и кто-то будто бы ходил, вставал, произносил какие-то слова... Она весь вечер собиралась пойти к Эвансу и рассказать ему обо всем, но было стыдно, стеснение мешало говорить, кто-то отводил ее от дверей. Она решила пойти к нему утром.

Она слышала впросонье его голос — и, когда вскочила, поняла, что дом поднялся, уже живет, уже движется. По коридору проволоклись тяжелые ноги Виктории. Старик с сыновьями уехал рано. Миля замечталась от неловкости, от ошибки.

Леди Эванс, отвертывая от нее глаза, подавленно сидела в столовой. И, когда она узнала, изменяясь в лице, укоризненно сказала Миле:

— Вы поставили Оскара в смешное положение...

— Но я не знала... когда... — тоскливо оправдывалась Миля.

— Надо было предвидеть, — сухо возразила старуха; она вздохнула и, помолчав, так же укоризненно проговорила:

— Ка-ак откровенны ваши чувства!

Миля в недоумении уставилась на леди Эванс.

— Мы скрытнее вас... русских!

Старуха изобразила на лице подобие усмешки, но Миля увидела под ней непроходящую муку и печаль.

— Это ничего не изменяет,— безнадежно рассуждала леди Эванс,— теперь Оскар сам будет требовать удовлетворения.

И, словно раздражаясь на Милю, борясь с ней, она резко выкрикнула:

— Он не может отступать от своих решений!

Старик вернулся к полудню хмурый, пожелтевший, с теплой усталостью в глазах и задорно выговорил, входя в столовую и уже удивляясь одновременно, что никто его не встретил,— а женщины сидели молча и не глядели на него:

— Мы, кажется, довольно ждали!.. Если что-либо не случилось за ночь особенного... я боюсь оказаться правым...

Леди Эванс не дала ему окончить:

— Оскар, ты будешь недоволен...

Миля уже рассказывала ему. Старик коротко взглянул, зарозовел, ничего не сказал больше и молча ушел в кабинет. Сыновья принялись завтракать.

Миля нашла Григория Григорьевича в кровати. Он не помнил еще многого за последний день, но глядел на нее с нескрываемой злобой и хорошо помнил о ста тысячах.

— Привезла деньги? — слабо встретил он ее вопросом.— Два дня прошли?

Она ужаснулась.

— Ты бредишь? — спросила она.

— Нет, зачем,— покорно проговорил Григорий Григорьевич, не находя в себе сил раздражаться,— я знаю, что говорю. Проклятый припадок помешал мне напомнить тебе раньше. Кончено! Мы уже чужие друг другу. Я хочу получить деньги за мое оскорбление. Ты совершенно напрасно что-то хочешь исправить в наших отношениях.

Он попытался приподняться, разочарованно поперхнулся и еще слабее сказал:

— Если бы у меня были силы встать, я бы выгнал тебя сейчас. Уххходи! Уххходи! Ка-ак я тебя не видел раньше?! Во-от, во-от этот голос в тебе, собачий, скулящий, ноющий, всего более ненавистен мне!

Григорий Григорьевич с отвращением закрыл глаза и потянул одеяло на лицо.

Так, большой завернутой куклой, лежал Григорий Григорьевич на кровати, а Миля села за стол, будто врач у больного, сосредоточенно подумала и быстро начала писать. Она кончила, нашла на столе конверт, запечатала его, оставила письмо на середине, раздвинула все вещи на столе в стороны, чтобы письмо было виднее, и тихонько вышла.

Прощаясь с родственниками, она предупредила их:

— Я оставила письмо. Не давайте ему, пока он не встанет и не возьмет сам.

— Ах, как все это неприятно! — воскликнул провожавший ее пожилой человек. — Мы так рады были вашему приезду! Приехал он один — и началось! Может быть, не надо письма? И все... как-то уладится... само собой?..

— Не-ет, не уладится! — испугалась, заторопилась Миля. — И... улаживаться нечему!

Человек раздраженно хлопнул за нею дверью.

Через неделю Григорий Григорьевич разорвал письмо, внимательно и насупившись следя за кривыми, разбрызгавшимися строчками:

«Ты не прав, во всем, во всем не прав! Я знаю: ты вспомнишь все, что было между нами. Я выдумала все, чтобы предотвратить поединок. Я проклинала бы себя всю жизнь, если бы не сделала последней попытки удержать тебя от преступления. Ты оскорбил невинного, лучше тебя, меня, всех нас, человека. Ты кинул в него грязью, а он накормил голодного твоего сына! Я приходила к тебе, чтобы снова остаться с тобой, забыть все, даже побои. Мне это стоило так дорого, как ты, наверное, не способен понять в ослеплении. Я умолила бы старика извинить тебя, отказаться от поединка. Старик этот нам обоим непонятен в своем благородстве. Его неправая, бессмысленная смерть была бы для меня тяжелее твоей, такой же бессмысленной. Это я, я удержала старика, это я не могла согласиться, чтобы он удовлетворил твое гнусное требование о ста тысячах. Он упрасивал меня швырнуть тебе в лицо эту плату...»

— Тем лучше! Тем лучше! — задрожал ногой Григорий Григорьевич.

Он был вне себя.

— Читанем дальше! — он прокричал эту фразу.

«Теперь я вижу, как запутался ты и запутал меня, разбил мою жизнь. В Англии умеют оберегать свою честь не сапогами и побоями. Не ты — он, старик, теперь

не отстанет от тебя, покуда не получит удовлетворения. Если бы ты теперь попросил у него униженно «на сапоги», он отказал бы тебе...»

Григорий Григорьевич не стал дочитывать. Он кромсал, бешено рвал листок, топтал его, пинал...

— Все ясно! — дрожа, стискивая кулаки, обливаясь кровью, хлынувшей в голову, прошипел он. — Я не позволю им наслаждаться! Мы посчитаемся! Мы посчитаемся!

Усатое его лицо было напряженно. Усы его топорщились, как живые ерши, выпрямившие свои иглы.

Он возобновил вызов. Старик с секундантами заехал за ним. Старик сидел с шофером. Он вежливо предложил ему занять место в автомобиле с секундантами.

Поединок состоялся в двух часах езды от Лондона.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда столкнулись выстрелы и Григорий Григорьевич свалился, врач торопливо осмотрел его:

— В плечо, навывлет!

Старик довольно надевал на себя пиджак, подаваемый сыном.

— Я так и целил!

Григорий Григорьевич был без сознания. Старик посмотрел на него сверху и небрежно приказал:

— Отправьте его на приготовленное для меня место. И... если понадобится, дальше...

И уехал. Доверенные люди Эванса, откуда-то появившиеся через несколько минут, повезли Григория Григорьевича в закрытом автомобиле на видневшуюся в полукилометре ферму. Там ожидал штат врачей, хирургов, сестер милосердия.

Три комнаты фермы заранее были развернуты в лазарет.

Так же скоро леди Эванс была предупреждена по телефону. Старуха радостно восклицала, кудахтая, кладя на плечо Миле трясущуюся голову:

— Этот кошмар кончился! Оскар невредим! Я получила извещение!

— Но... — запнулась Миля в тревожном ожидании. Старуха поняла:

— Ваш... Он легко ранен...

Миля провела до того страшные часы. Утром проснулся мальчик и, как только приподнялся в кровати, начал брзжать:

— Почему не приходит к нам папа? Поедем к нему! Где папа живет? Я не хочу оставаться с Викторией! Папа лучше Виктории. И дядьки старика лучше!

Мальчик первый раз за все время вспомнил отца. Миля едва его успокоила, обещав ему скорую встречу. А то, что мальчик вспомнил отца, было неожиданно и страшно. Играя, привыкая к новому месту, к новым людям, оберегавшим каждое его движение, казалось, он уже отвык от отца, забыл, как будто бы его и не было никогда на свете.

Милю душила печаль, заставляла ее словно прикипеть к громадному зеркалу окна, выходящему на подъезд.

Мальчик развлекся, развозился в комнате, брнчал его довольный голосок, ножки топали веселую, визгливую дробь, и книга Виктории, как детский плот на узкой речке, шумно скользила по полу. Наигравшись, он смиренно уселся в кресло, наташил в колени игрушек, посидел, поперебирал их, поразговаривал с ними, наказывая сильными шлепками медвежонка,— и вдруг все оттолкнул, смахнул с ломким грохотом на пол. Мать оглянулась. Мальчик бутусился, скучал, думал. Он положил голову на мягкую ручку и стал задумчиво рассматривать лепной, как пряник, потолок. Миля стояла настороже. И так же, как в первый раз, оглушая, заставляя вздрагивать и ужасаться, мальчик равнодушно пролепетал:

— Мама, папочку убили?

— Что, что? Откуда ты взял?

Она напуганно и в отчаянии опустила околом кресла, обнимая сына. Мальчик лукаво поиграл ее локоном, свесившимся около уха, потрогал подбородок, поцеловал, отогнув в сторону нос.

— Папу застрелил дядька старик. Мне сказала Виктория. Она так показала руками: фффуй! И папа повалился!.. Мальчик засмеялся.— Она, мама, злая и воровка! Она карандаши у меня тащит и... прячет в чемодан.

Миля сильно сжала сына.

— Дай я поцелую твои уши! Они у тебя красненькие-красненькие... как гребешки у курицы! — нежно забавлялся мальчик.— Виктория боится старика. И мы скажем старику!

— Скажем, скажем! — прерывисто заикалась мать.

Эванс возвратился тихо, спокойно, точно он вернулся из своей конторы на Сити, предупредительно подошел раньше всех к Миле:

— Не волнуйтесь! Все обошлось лучше, чем я рассчитывал. Ваш муж наказан, но милостиво. У него прострелено плечо. Лечение началось раньше того, как он придет в себя.

— Мама, мама! — тут закричал Боря. — Старик убил папу! Убил папу!

И схватил ее испуганно за ноги, закутывая в платье голову. Все спрашивающими глазами смотрели на Милю. Она смешалась. Когда мальчик дико закричал, отталивая наклонившегося к нему старика, Эванс настаивал на переводе. Миля растерянно уклонялась, просила ее освободить и, наконец, указала на Викторию:

— Пусть переведет она...

Виктория мрачно, медленно, резко перевела. Леди Эванс суежилась около мальчика, будто и она была виновата в вопросе Бори. Старик подошел к Виктории. И они обменялись понимающими друг друга взглядами.

— Да, да, завтра, — помотал головой Эванс, — прежде чем я встану... Вам заплатят...

— Оскар? — вопросительно произнесла леди Эванс.

— Мэри! — сурово застекленели его глаза.

Сыновья пожали на мать плечами.

Старуха не сдавалась:

— Оскар! Нет ли тут случайности? Они нас сопровождают в жизни.

— Тут случайности не может быть, — непреклонно закончил старик.

Мальчик на другой день искал Викторию и допытывался у всех, где она. Все разводили, смеясь, руками. Он липуче приставал к матери, любопытствуя:

— Ее прогнали? За мои карандаши? Да?

Мать поддержала в нем эту уверенность.

— А папа?

— Папа твой жив. Он поехал в Россию и... привезет тебе оттуда... арбуз...

Мальчик весело закричал и понесся по комнатам, вопя:

— Арбуз! Арбуз! Арбуз!

В золотой тишине дома, — в комнатах больше всего кидалось в глаза золото — золотом отделаны были

фризы, плафоны, мебель, двери,— день за днем начало забываться надвинувшееся несчастье.

— Вы не хотели бы навестить его? — вкрадчиво спрашивал старик.

— Нет! — даже удивленно отвечала Миля.

Старик переспрашивал:

— А вы обдумали?

— Конечно.

Старик почему-то благодарно пожимал ей руки, но отводил глаза. Леди Эванс хлопотала около нее, заглядывала в лицо, часто обнимала за талию, уводя к себе. Прошло главное, безумное, ворвавшееся в жизнь, как слепая болезнь. Прошла любовь к Григорию Григорьевичу, начавшись угаром и слезами.

Но Григорий Григорьевич выздоравливал.

Миля была грустна. Грусть ее не укрылась от старика.

— Вы, кажется, жалеете о случившемся? — пристально глядел он.— Я понимаю... Я сам не предполагал, встретясь с вами в поезде, что так вам придется трудно. Мне казалось: я вижу обыкновенную, немножко преувеличенную супружескую ссору.

— А вам?

— Да... мне было неприятно... его совершенно, совершенно мальчишеское письмо...

— Кстати,— заинтересовалась она,— я хотела бы знать, что он написал вам тогда...

— Вы сами должны догадаться, что может обезумевший человек, не сознавая, наговорить. Письмо это — история. За него он все-таки заплатил дороже, чем предполагал.

— Вы сохранили его? — не унималась Миля.

— Да. Я отдал его леди. В наш семейный архив.

Она неловко охнула. Старик слабо дотронулся до ее протянутой руки:

— Вы, я полагаю, не захотите обратиться к леди с такой же просьбой, как ко мне. Она... вам... не откажет.

— Да,— усмехнулась Миля насильно,— я не буду ее беспокоить. Пусть все скорее, скорее забудется.

— Отчего же грусть? — ласкал приветливый голос старика.— Еще маленькие... маленькие усилия... маленькая настойчивость... и вы заживете спокойно, легче, чем вы живете сейчас.

Она тоскливо и неожиданно для старика сказала:

— Ах! Хоть бы умер он! Было бы лучше! — И она заволновалась: — Вы же не знаете его! Он не отступится от своего. Он опять начнет мучить меня! Он упрям! Вы думаете, дуэль поколеблет его решительность? Не-ет! Она только озлобит. Я убеждена, он уже готовит мне новые неприятности, еще более неожиданные!

— Не думаю, не думаю! — хитря, сказал старик. — Ему такая встряска...

Однажды старик уехал утром и вернулся домой поздно на другой день вечером. Бурча что-то, чего никогда раньше не слыхала Миля, веселый, совсем молодой, таким он показался, сильно ступая, он вошел к ней. И сразу уверенно сказал:

— Вы не забыли наше условие не мешать мне делать добрые дела?

Она усмехнулась, кивнула головой.

Старик полез во внутренний карман пиджака, бережно вынул оттуда небольшой, вчетверо сложенный листок, весь исписанный, и держал его на весу:

— Я могу вас поздравить. Ваш муж выехал во Францию. Я... дружески... проводил его на пароход...

Миля замерла в недоумении, схватилась за стул, словно комната перекосилась и стул наклонился вбок. Старик доволен, любуясь ею, ее волнением, ее изменяющимся и жадным от любопытства лицом, нежно гладил листок.

— Мы несколько часов в поезде, правда, не прооронили ни одного слова, — вспоминая, иронически серел глазами Эванс, — однако это не помешало нам... подать... друг другу руку на пароходе... хотя бы и молча.

— Но он может вернуться! — неожиданно, не хотя этого сказать, воскликнула Миля.

Старик радостно засмеялся:

— Франция рядом, но он может только издали глядеть на Англию.

— Я не понимаю, — огорошенная, занывшая тревогой, потупилась Миля.

— Я вошел с ним в соглашение. Вы узнаете его почерк?

Старик протянул ей листок. И покуда она прыгавшими пальцами разворачивала его, он продолжал:

— И, кроме соглашения, я принял другие меры. Это крепко и навсегда.

Она уже читала листок, вспыхнув густым, розовым цветом, вслух, бормоча, привставая на стуле, закрывая глаза, держась за грудь, откидывая голову, остолбеневая, вскрикивая...

Старик смиренно, неловко вытянулся на месте.

Она кончила, листок вывалился из рук, она поискала платок, приложила его к глазам... Старик явственно дрожал, не имея сил оторваться от нее пытливым, испуганным взглядом.

И он не уследил, как Миля, будто подкосились у ней ноги, сползла со стула, обняла его колени и, громко зарыдав, прижалась губами к его руке.

Старик, чувствуя теплое, трепетавшее тело Мили, принимая его дрожь, отвечая ей, отнимая мокрую от ее слез руку, растерялся, помутнело в глазах... Но он заметил, как широко отворилась неслышная дверь, показалась леди Эванс и... стала тихо, отступая, затворять дверь. Она чуть-чуть не притворила ее, чтобы не стукнуть — и стала неслышна, словно белая огромная моль, поднимаясь и летя по коридору. Старик, ликуя, лукаво щурясь, притронулся губами до волос Мили, не давая ей заметить поцелуя.

Он освободился от нее, поднял Милю и сказал значительно, почти приказывая:

— Войдите к леди и покажите ей наш договор. Я очень устал сделать это сам.

Накануне старик, взяв двоих своих друзей, выезжал на ферму.

Григорий Григорьевич был предупрежден о его приезде. Поздоровевший, окрепший, он встретил старика, сидя на кровати, и не встал. Старик, не поздоровавшись, сел напротив. Около него сели его спутники. Серьезно и внимательно оглядели они друг друга — и помолчали.

Старик наконец прямо и деловито обратился к Григорию Григорьевичу:

— Сколько вы хотите за сына?

Григорий Григорьевич дрогнул. Он всмотрелся в молчаливых, скучающих свидетелей разговора:

— Кто эти люди?

Старик спокойно ответил:

— Это мои друзья. Вы не должны иметь никаких подозрений. Всякая сделка скрепляется при свидетелях.

— Вы полагаете, что я пойду на сделку?

— Не сомневаюсь.

— Это более чем странно!

— Ничуть. Если бы вы даже, предположим, захотели упорствовать, вы ничего бы не достигли в глазах общества. Раз предложивший сделку, хотя бы и не состоявшуюся, на сделку согласен. Сколько вы хотите?

— Я ничего не хочу. А мнение вашего английского общества меня не интересует.

— Мнение всякого общества должно интересовать истинного джентльмена. Через два дня о вашем поведении будет напечатано сообщение во всех английских газетах.

— А...— удивился Григорий Григорьевич.— Вы уже и это устроили?

— И одновременно вы получите приказ о вашей высылке из Англии. Даже больше. Если бы вы пожелали оставить ферму, вы не сможете этого сделать. Ферма имеет соответствующую охрану и соответствующие распоряжения.

— Недурно! — нахмурился Григорий Григорьевич.

Не было никакого сомнения в справедливости слов старика. Григорий Григорьевич это почувствовал. Он еще раньше обдумывал, зачем придет к нему Эванс. Смутно Григорий Григорьевич будто угадывал, но он не рассчитал всего возможного и неожиданного. Слова старика его удивили и поколебали.

— Вы хотите подумать о моем предложении? — неумолимо, настойчиво, твердо спрашивал старик.— Хорошо. Вам достаточно часа? Мы через час приедем снова.

Григорий Григорьевич оправился. Пришло бессильное, резкое раздражение. Будто неживые, ледяные, уверенные в себе, сидели перед ним не люди, а предметы, вот как эти молчаливые стены, потолки, полы.

— Нет, все ясно, и мне не о чем думать. Меня удивляет только одно: зачем вы пришли ко мне, когда вы могли этого не делать. Все же меры избавиться от меня предварительно приняты. И видимо, во всем этом принимает участие моя бывшая жена. Я уже в ваших руках — не могу сопротивляться. Я неудачно стрелял — проиграл. Вы производите напрасные расходы.

— Нет, это не так,— возразил Эванс,— мне самому повредила бы огласка о вашем деле в прессе. Там было бы и мое имя. Я хочу приобрести ваше молчание и внести полное успокоение в сердце вашей несчастной жены.

Григорий Григорьевич рассмеялся. Англичане переглянулись, и они первый раз пошевелились на стульях.

— Но я могу сам опубликовать,— смеялся Григорий Григорьевич,— нашу историю во французских газетах, когда меня вышлют.

Эванс удивленно помолчал и как-то срываясь, угрожающе потянул:

— Вы этого не сделаете. Это будет недостойный поступок, когда мы достигнем соглашения.

— Нет, я это сделаю. Я могу это сделать. Достаточно мне не вступать с вами в сделку.

— Я вижу,— в свою очередь нахмурился старик, — вы поторопились отказаться от моего предложения — тщательно и подробно подумать обо всем. Вы рассуждаете, не учитывая всей моей предусмотрительности. Вы видите эту стену?..

Старик показал рукой, и Григорий Григорьевич заинтересованно вскинул глаза по направлению руки.

— Каждый кирпич лежит на другом кирпиче, и все кирпичи цементом связаны вместе. Надо вынуть один кирпич, чтобы найти просвет. Если вы откажетесь взять деньги, вы не поедете во Францию. Вас посадят в тюрьму.

Григорий Григорьевич теперь совсем повеселел, словно найдя какой-то выход и переставая верить старику.

— Вы пугаете! — вызывающе бросил он. — Я офицер. Я достаточно в жизни видел опасностей, чтобы они производили на меня какое-либо более новое впечатление. Ха-ха! Ну, меня посадят в тюрьму. А дальше? Превратить меня в узника наподобие Железной Маски никому не придет в голову из-за пустячных моих семейных дел. И ваши английские законы в данном случае на моей стороне. Рано или поздно я выйду. Ха-ха! У вас есть врожденные склонности к Шерлоку Холмсу. Наконец у меня здесь родственники. Они живут в Англии десять лет. Они подымут обо мне, пропади я, некоторые поиски. Посадить их вам в тюрьму, я полагаю, при всех ваших способностях не удастся. Остается единственный выход — выслать меня за границу.

Григорий Григорьевич покашлял, потер плечо и мелко задребезжал голосом, торопясь, размахивая руками:

— А там... я... рраз! В печать! Мистер Эванс и леди Засецкая. Ха-ха! Похищение младенца... Предложение откупа и так далее! Ха-ха!..

Засмеялся неожиданно и старик. К нему пристали свидетели. И тогда Григорий Григорьевич разочарованно смолк, чувствуя в смехе англичан угрозу, никак не распознаваемую им.

— Все это верно,— растягивая слова, заговорил Эванс,— вот потому-то вам и предлагают вознаграждение. Вы, однако, забываете о других способах, которыми я располагаю.

— Вы настоящий, настоящий Шерлок,— веселился Григорий Григорьевич, уже потешаясь над стариком.— Я не ожидал. Но я угадываю и самый сильный аргумент, который вы заготовили напоследок.

— Нет, вы не угадываете! — ядовито и брезгливо вставил Эванс.

— Посмотрим! — играл Григорий Григорьевич.— Как полагается в уголовных романах, вы подошлете убийц, не пожалев средств. Григорий Засецкий перестанет существовать!.. Ха-ха!..

Он закашлялся, насмешливо уставясь на старика.

Англичане опять прыснули, но уже гораздо громче, и каждый потрогал другого рукой, покачивая головами, словно удивляясь догадливости Григория Григорьевича. Тот торжествовал.

— Вы невозможный человек,— застывая и прямея, сухо пробурчал Эванс.

Он взгляделся в него, словно вскапывал в его глазах ту мысль, которую Григорий Григорьевич пытался утаить от него:

— Но я вас одобряю. Вы могли бы стать неплохим коммерсантом. Вы набиваете цену? Это правильно. Надо всегда обращать в свою пользу обстоятельства.

Англичане затаились, будто подкрадываясь к Григорию Григорьевичу. Старик говорил:

— Вы больны и лишены всяких средств... Вы перенесли большие трудности в Европе... больше, чем в России...

Григорий Григорьевич болезненно куснул свои губы и дотронулся до резко и колюче перебившегося сердца.

— Вы... потеряли... жену...

Тут Григорий Григорьевич, ненавидя, обжигаясь кинувшейся ему в лицо кровью, пододвинулся к старику. Тот на столько же заметно откачнулся на стуле.

— Деньги... ваш престиж, независимость... жизнь джентльмена... И все блага жизни! Я обеспечиваю вас надолго... Угодно триста тысяч?

Григорий Григорьевич как будто не слышал, тяжело задышавшись.

— Триста тысяч! — выкрикнул старик еще раз. — Вы уже заработали себе прибавку.

— Нет, — сказал в беспамятстве Григорий Григорьевич.

— Вы находите — мало?

— Нет, не нахожу.

— Хорошо. Я прибавляю. Четыреста тысяч!

Эванс покраснел, беспокойно что-то шептал своим друзьям, те подымали изумленно брови и шевелили губами, облизываясь.

Молчание, наставшее в комнате, прервал возбужденно вскочивший с кровати Григорий Григорьевич. Англичане раздвинулись, медленно встали, выпрямились. Сидел только старик.

— Никаких денег я не хочу, — вскричал Григорий Григорьевич. — Что вы покупаете меня, как живность! Как раритет какой-то. Я подл. Я совершил низкие поступки. Раскаиваюсь! Я должен понести за них моральное наказание. Может быть, даже физическое. Я нищ и жалок! Но я не продаю вам ни жены моей, ни моего сына! Приводите в действие всю вашу предусмотрительную машину и... убирайтесь... и... убирайтесь!..

Григорий Григорьевич затопал ногами, неловко и жалко прискакивая, закрывая занывшее плечо рукой:

— Воон! Воон!

Эванс не пошевелился, двое англичан отошли к створке, давая дорогу забегавшему в беспамятстве по комнате Григорию Григорьевичу.

— Конечно, конечно, меня можно не слушать! — кричал он. — Я даже гоню вас из чужого помещения. Я, я облагодетельствован мистером Эвансом! Выгнать можно меня, меня! Меня, как каплуна, подстрелили... И теперь откармливают здесь, чтобы купить снова и... зажарить и... зажарить... поднести меня моей жене в совершенно изготовленном виде, под соусом, на подносе, дымящимся... И сыну моему, сыну отрезать жирный кусок! Я... я не торговец живым товаром!

Григорий Григорьевич вспотел, прокричался, как-то обессилел, ерзнул, сел на кровать, устанавливая с усилием

себя прямо и упираясь локтями на дрожащие колени, опустил голову. Эванс скрипучим и негодующим голосом будто замахнулся на него:

— Вы говорите исключительные несообразности. Но вы плохо рассчитали. Возмущение ваше поздно. Мы должны нервы оставить женщинам и девушкам, а детям капризы. Вы упрямы, я не менее вас настойчив!

— Мне черт с вами и с вашей настойчивостью! — взревел Григорий Григорьевич, опять вскипая. — Что вы пристали ко мне? Кто вы такой? Кто вас просил влезать в мою жизнь? И... распоряжаться моим сыном?

— Долг! — важно и торжественно крикнул старик. — Долг порядочного человека!

— Похоть! — взревел Григорий Григорьевич. — Стариковский блуд! Любовницу у меня покупаете!

Григорий Григорьевич размахнулся, подскакивая к Эвансу. Но тот уже успел схватить его за руку, а два англичанина уже успели крепко обнять его, посадить на кровать — и сами сели с ним рядом. Снова утомление овладело Григорием Григорьевичем. Он нашелся только пошутить, растерянно и стыдливо пряча глаза:

— Полная и обдуманная облава! Джентльмены, вы на самом деле не собираетесь ли убивать меня? Я начинаю бояться...

Но шутки не вышло: он страдальчески сморщился, подернул носом и стал кусать усы.

Тогда, зло и непреклонно глядя, старик захолодел взбешенным голосом:

— Теперь я могу сообщить вам о последнем способе, от которого я не отступлю. Ваши шутки с Шерлоком Холмсом основательны, вполне основательны. Вы же сами бедны выдумкой. Мы не разбойники, чтобы убивать вас, но мы умеем защищаться. Если вы и после этого не захотите подписать соглашение, мы уйдем, и пусть все происходит так, как решено. И будет исполнено завтра же в ночь...

— Я слушаю, — покривился Григорий Григорьевич. — Это становится поистине интересно! Я готов удивляться!

Старик упорно ухмылялся. И дальше он будто начал бить Григория Григорьевича ожесточенно и беспощадно по голове:

— Вас ожидает удобное во всех отношениях судно. Вполне безопасное. Небольшой рыболовный тральщик. Он доставит вас на родину... в Советскую Россию. Правда,

не в совсем населенные места — на Мурман. Больших удобств я доставить вам не в силах! Английским судам привычно в эти годы обслуживать русских. Снаряжение тральщика, поверьте, обойдется мне дешевле, чем четырехста тысяч!

Григорий Григорьевич вытаращил глаза и, не сдержавшись, самому себе крикнул:

— Это же самоубийство!

Он опомнился, спохватился и жалко воскликнул, пытаясь скрыть свое волнение:

— Что вы говорите!

Старик, торжествуя, шипел:

— Ничего больше, что я сказал.

Недоверчиво, потея, сомневаясь, Григорий Григорьевич бормотал:

— Да вы шутите! Чепуха какая-то! Провокация! Смешное... за-пу-ги-ва-ние!

Эванс нетерпеливо встал:

— Я исчерпал все средства...

Он позвонил. Вошло пятеро рослых людей, которых Григорий Григорьевич не видал до сих пор. Старик показал на него. Те услужливо поклонились. Англичане вышли, дружно закрывая дверь длинными прямыми спинами.

Это было и невероятно, и походило на правду. Григорий Григорьевич расслабленно свалился на кровать ничком в подушку и долго лежал, не имея сил забыть и отделаться от всего пережитого сейчас...

День тек. Молчала ферма. Не приходил врач. Он пытался выйти — дверь была на запоре. И Григорий Григорьевич не стал открывать окно и кричать. Вдруг он понял, что сделал ошибку. Не было ничего невозможного в затее Эванса. Григорий Григорьевич закрыл глаза, будто подсчитывая огромные шахты старика, тысячи рабочих в них, его дома, конторы, банки, эту ферму... Все то, о чем он визнавал с того самого дня, как поселилась у старика Миля.

Григорий Григорьевич, весь мокрый, дрожащий, бросился к звонку. За дверями отозвалась сестра Тереза — единственный человек на ферме, говоривший по-французски.

— Эванса! Эванса! Позовите мне Эванса! — вопил Григорий Григорьевич, дергая дверь и прижимая губы к дверной щели.

Сразу мелькнуло до сих пор не приходившее соображение о сестре Терезе: и она была предусмотрительно приставлена к нему, чтобы понимать его, на второй день, как его привезли на ферму. И врачи и другие сестры говорили только по-английски.

— Я слышу,— ответила Тереза и отошла от дверей.

Григорий Григорьевич стучал: никто не отзывался. Он подбежал к окну и остановился. Прямо против окна стояло двое из тех рослых людей: его стерегли. Они нелюдимо, исподлобья оглядели его, о чем-то переговорили и закрыли окна грузными дубовыми ставнями.

Все становилось неопровержимой явью. А навечеру у фермы коротко крикнул автомобиль, в комнату вошли те же люди и повели его. В страхе, вызывая Эванса, он не сопротивлялся, не мог бы сопротивляться. Его посадили между двух людей в закрытый автомобиль, задержали занавесками маленькие окошки и повезли.

В тумане, ночью, с дурнотой в голове, он вышел из автомобиля. Ничего не видя, только слыша, как шумела оглушительно вода сзади, спереди, с боков, он ковылял, поддерживаемый под руки, по каменистой и мокрой земле. Англичане что-то кричали, им невдалеке отзывались такие же непонятные голоса. Григория Григорьевича ввели в лодку. На середине коптил маленький фонарь, лодка качнулась и забулькалась на волнах. Ему показали, как надо держаться, и один из лодочников похлопал его по плечу.

Неизвестность, ревушие в тумане воды, ковыляющая лодка, брызги волн, фонарь, словно кроваво глядящий глаз разъяренного быка, воровской, хитрый, досматривавший,— так были близко, рядом, зловещи, что пришел страх, а потом он закоченел безвольным, диким ужасом.

Покуда Григорий Григорьевич сидел в лодке, одна мысль не покидала его и не прекращалась в сознании — ехать, ехать, ехать, хотя бы и в этой лодке, как верхом на большой жесткой рыбе, и пускай бы выл горластыми заунывными волками ветер, сеяли холодные, как дробинки, брызги, качало и кидало, бурля в груди тошнотой, стынули мокрые щеки и задувал глаза невидный, едкий дым. Только бы не останавливаться, продлить этот путь на лодке, только бы не встали эти бесстрашные люди на носу и корме и рядом и не швырнули его в жадную, бурлящую темноту океана.

Но уже какие-то желтые пятна вдруг закачались впереди — и скрылись. Григорий Григорьевич окаменело, продрогнув, скорчившись, поднялся на внезапно загоротивший лодке дорогу тральщик.

На свету в каюту к нему вошел старик в сопровождении тех же англичан. Лица у них были свежи и молоды. Они только что встали. И также бодро, здорово, довольно раздался голос Эванса:

— Четыреста тысяч!

Григорий Григорьевич, увидав старика, окреп, точно почувствовал над ним силу и власть. Он неизбежно и громко ответил:

— Пятьсот тысяч. Я больше не разговариваю.

— Хорошо, — согласился старик. — Мы сейчас напишем условие.

В сердце Григория Григорьевича дергалось, он перемогал боль, бледнел, соглашался со всем, что диктовал ему старик, лишь бы скорее прошла долго затянувшаяся боль.

— Вы даете жене развод, — скупое гудел Эванс, — вы никогда не осмелитесь писать ей. Вы навсегда отказываетесь от сына. Вы навсегда уезжаете из Англии. При появлении вашем в Англии я имею право искать с вас всю сумму. Деньги по чеку вы получите в Париже. Вы сейчас едете с нами. Мы заезжаем к вашим родственникам и берем ваши вещи. В Лондоне мы это сегодня официально оформим. Я хочу лично убедиться, что вы оставили Англию. Я сопровождаю вас до парохода. На пристани вы получаете чек.

Григорий Григорьевич поспешно написал расписку. От Лондона к Ламаншу Григория Григорьевича везли двое полицейских и Эванс.

Вручив чек, старик снял учтиво и вежливо шляпу. Григорий Григорьевич его остановил:

— Послушайте, — любопытно спросил он, — неужели вы ночевали на тральщике?

Эванс усмехнулся и кивнул головой. И он было опять пошел. Григорию Григорьевичу показалось: вот так, как он, нищие подходят на улицах, вприпрыжку бегут, просят... На них смотрят, их замечают и, уходя, забывают. Ненависть, дикое негодование застучало в голове.

— Эй, вы! — грубо закричал он. — Мистер Эванс! Вы, вы всегда так щедро платите женщинам?

Старик неприязненно и подозрительно огляделся на сновавших пассажиров. Потом он презрительно выдал сквозь зубы:

— В первый раз. Вы были первым продавцом. Не сделайте себе практики из этого позорного дела.

Что-то забилося внутри Григория Григорьевича, взвыло, заплакало,— он не нашелся ответить. Эванс пренебрежительно сходил с парохода.

Леди Эванс, поздравляя Милю на другой день, вяло и печально говорила:

— Я рада, я рада, пятьсот тысяч — это немного. Добрые дела не измеряются деньгами, лишь бы они были от сердца. Я всегда удивлялась величию души Оскара.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прошло полгода мирных, хороших. С уходом Виктории все наперебой обучали Милю по-английски. Она уже могла работать в конторе. Старик снова сопротивлялся, но она настояла. Эванс никогда не приходил к ней в конторе, но она беспокойно видела, как служащие вглядывались в хозяина и переводили глаза на нее, вели себя подобострастно, будто с ее приходом шевелились за конторками, напрягались, принимая с подчеркнутым вниманием к бумагам и книгам. Она жаловалась. Он отшучивался:

— Вы честно зарабатываете свой кусок и молоко вашему ребенку. Не доставляйте нам огорчений. Кому в угодую вы будете отказываться от нашего гостеприимства? Вы еще мало знаете людей. Они будут подозрительнее, когда вы будете жить вне моего дома.

Леди Эванс, словно продолжая разговор старика, нежно тянула:

— Мы так сжились с вами! Нас связывают такие узы! Бури, волнения, события!

Тепло не выставляло в этом чудесном и уже любимом доме: оно шло от людей и от вещей.

Все проходило, что, казалось, пройти не могло; все укладывалось, что, казалось, не могло уложиться. Тут Миля вспомнила и желтый обрыв на даче, и Александру Ивановну, и Чистые пруды, и медную, на капанную ржавчиной дощечку на дверях у квартиры отца, самого

его, горбатенького, застенчивого, суетливого, в очках; улыбнулась широкой, как белая лежанка, матери, молчаливой, с влажными, всегда голубоватыми стеклышками глаз, ахающей, когда отец близоруко уронит блюдечко, толкнет стул и возьмет чужой стакан... Тепло пошло оттуда. Они встретились. И захотелось узнать, напомнить о себе. Будто не было годов, Григория Григорьевича, войны, черноморских убегающих кораблей и лондонского тумана.

— Это трудно,— сказал недовольно старик,— мы блокируем Советскую Россию. Вы знаете: мы не признаем банду негодяев, захвативших великий народ в плен. И ваш муж... Его там знают... Вы можете обратить внимание этих узурпаторов на вашу семью и принести им неисчислимое зло.

— Но ведь я же была только женой! — возражала она.— Я была невольницей.

— О! Это все равно. Они уничтожают и жен и детей эмигрантов. Выиграв войну у здравомыслящих, у патриотов, они расправляются с их семьями. Россия в настоящее время — самая несчастная страна в мире. Она голодна, раздета, нища... Весь мир отгородился от нее и оплелся колючей изгородью. Мы следим, как корчится она в болезнях, умирает, разоряется,— остановились фабрики и заводы, не засеяны поля, съеден скот, не двигаются поезда, люди звереют... Мы ждем нашего часа!

— Это же жестоко! — воскликнула она, удивляя старика.

Как-то она до сих пор не думала об этом.

Григорий Григорьевич заслонял собой все мысли, чувства, желания. Была борьба своих со своими. Но почему добрый, необыкновенный Эванс так горячо и злобно радуется бедствиям России? Почему же он ждет часа? Почему ему нужны эти бедствия? Разве он для нее, для русской, не сделал так много удивительного и ни на что не похожего? Почему же он к другим русским так жесток?

— А вы уверены, что они не обошлись с вашей семьей более сурово, чем говоря я? — спросил старик.

Миля взглянула на него уверенно и просто:

— Я не допускаю. Кому и что сделали мои старики? За что наказывать их? За то, что они родили меня? Не-ет! Не-ет! Этого не может быть! Никто моих стариков там не тронет! Я никогда даже не подумала об этом. Они могут умереть от какой-нибудь случайности... от голода...

У нее мелькнуло неприятное и напугавшее ее сравнение. Вот словно стоял рядом с ней тот жестокий, странный Эванс, а не тот, настоящий, и грозил ее старикам голодом, болезнями, бедой...

— Не смею оспаривать,— серьезно бурчал старик,— и очень желаю, чтобы с вашими родными было все благополучно. Но не поручусь! У меня сомнений больше, чем уверенности. То, что мы делаем, полезно именно русскому народу и... подтачивает силы большевиков.

— Но как же полезно, когда они умирают, страдают?

— Они зато опомнятся — и сбросят насильников. Они выстрадают порядок в стране. Я знаю, что это трудно. Все на свете трудно. Но это необходимо. Мы не могли бы сейчас непосредственно помочь русскому народу, как того бы ни хотели: нам мешает непризнаваемая нами власть. Всякая помощь была бы обращена ими против нас же. Они бесчестны и лживы. С ними мы не можем иметь дело. Со всяким другим правительством, но не с этим. Невольно должен расплачиваться народ, но что же делать? Мы подождем. Они неизбежно падут. Народ их оценит по достоинству! Они будут поняты!

— А если не будут?

— Тогда,— старик развел снисходительно руками,— народ погибнет!

— И вы будете спокойно наблюдать, как он гибнет? — оживилась Миля, пораженная.

— Нет, не спокойно! Но почему мы будем спасать его? И можем ли мы это сделать? Народы оказывают друг другу взаимные услуги. Мы не хотим быть опекунами за наш счет. Большевики не признают своих обязанностей перед нами. Они украли миллионы у английского народа. Они не платят долгов. Но они говорят от имени народа. Какие услуги нам может оказать сам народ? И снова быть вместе со всем цивилизованным человечеством? Запретить говорить от своего имени убийцам и ворам!.. Прогнать их!.. Мы взяли Россию в карантин. Она должна переболеть отдельно от Европы. И... не заразить ее! В каждом государстве есть люди недовольные. Мы должны помешать объединить их. Это — задача спасения культуры от варварства.

Вскоре старик, усмехаясь, сам заговорил с нею:

— А все-таки надо ваши заботы рассеять... Только осторожно. В Москве у нас есть люди. Пишите вашим родственникам. Письмо будет доставлено на руки.

— Ка-ак? Не по почте? — удивилась она.

— Почты нет. И не надо обращать на себя внимание. Не забывайте, кто был ваш муж. Берегите близких вам людей... если с ними все благополучно. Они так же будут отвечать вам. К ним будут приходить наши агенты и уносить письма.

Она испугалась:

— Но если они попадутся? Они же шпионы! Их... расстреляют.

Старик неприятно постучал каблуками:

— Они не шпионы, а честные и скромные труженики прогресса. Расстреляют их не за ваши письма, а за то что они попадутся.

— А мои родные?

— Вы же хотите писать им? Значит, они тоже рискуют. Но меньше. Я даже думаю — это не должно вас тревожить. Наши агенты давно и благополучно работают. Они осторожнее, чем наши враги. И главное, умнее и опытнее. Письма ваши будут настолько интимны, что перестают быть опасными. Если бы что случилось, вашим родственникам легко доказать свои права на общение с вами, столь извинительное и естественное в разлуке. И... наши люди: ваши родные не будут знать, кто они, как их зовут, где они живут, — конечно, их выгородят. Они работают убежденно и... не менее убежденно умирают!

Миля колебалась недолго. Она вдруг вскрикнула и весело обратилась к старику:

— Да, да, опасности нет! Когда белые занимали на юге города после красных, жены и дети офицеров оставались на местах. Большевики их не трогали. Чаше... наши были несправедливы. Они убивали жен комиссаров. Григорий это делал не раз.

Старик что-то хотел сказать, как-то пристально взглянул на нее и, прищуривая один глаз, скосил брови.

Переписка наладилась. Александра Ивановна получила первое письмо — и молчаливый человек пришел через две недели. Александра Ивановна долго усаживала его, хлопотала около топившейся буржуйки с чайником, роняла нетерпеливые слова:

— Да вы не торопитесь, не торопитесь! Расскажите, как она живет? Вы давно ее видели? Как вы сюда попадаете? Вы же русский? Границы же закрыты? Даже страшно подумать! Письма готовы! Мы ждали вас!

Человек осторожно подошел к двери, выглянул в коридор, притворил двери накрепко, прошел в соседнюю комнату, осмотрел ее, прислушался к неясным голосам за стеной... Александра Ивановна перестала говорить и уставилась на него запотевшими стеклышками пенсне.

Человек тихо и раздельно сказал:

— Вы, должно быть, не осведомлены! Я перестану носить письма, если вы будете меня задерживать и расспрашивать. Я приношу и уношу. Где бы вы меня ни встретили — вы меня не знаете. Письма вы уничтожайте. Никто не должен знать, что вы в переписке с Англией.

— Слушаю, слушаю... — зашептала испуганно Александра Ивановна. — В первый и последний раз. Кланяйтесь ей, кланяйтесь! Извините! Как ее мальчик? И... и как выглядит она? Похудела?

— Потолстела, — мрачно прошипел человек. — Письма!

Александра Ивановна радостно зажевала губами, человек сунул письма во внутренний карман пальто.

— Не провожайте, я сам, — тоскливо простился он. — Я уже ознакомился с выходом.

Александра Ивановна долго ходила по комнатам на цыпочках, словно он приказал ей никогда не разрушать одинокой и пугливой тишины, словно все вещи видели, чего нельзя видеть, слышали, когда говорили громко, и не могли понимать шепота.

Молчаливый человек редко, в сумерках, когда еще не зажигали огня в квартире, звонил, совал письмо и сбегал по лестнице.

Раз она наткнулась на него в трамвае. Он был в форме красноармейца. Выглядывая из-под низко и глубоко надвинутого шлема, человек сел напротив, насторожился, ощерился, отвернулся и словно втянул ноздрями свое замершее дыхание. Александра Ивановна пересела на другое место, а он тотчас же вышел на площадку и прыгнул на остановке.

Тут, в трамвае, Александра Ивановна припомнила дверную ручку, хранившую в секрете первое письмо Мили. Она заторопилась. Точно задрожал под пальто живот и его сразу подвело. Она вышла на ненужной ей остановке и повернула обратно.

Было еще светло. Возиться с дверями было опасно. Вместе с Лаврентием Ивановичем они в беспокойстве высидели до все скрадывающих, расползавшихся по людной квартире неслышным, затемняющим дымом сумерек.

Марья Петровна оделась, взяла кошелку, заперла их из коридора на ключ и вышла на улицу. Она купила ненужный ей сегодня кочан капусты, шла, неприметно озираясь, и была довольна мирным, ничем не угрожавшим вечером.

Александра Ивановна с Лаврентием Ивановичем отвинчивали ручку. Они достали письмо, перечли его. Александра Ивановна задернула шторы на окнах, швырнула к дверям половик, затыкая поддверную щель, а в замочную скважину сунула папироску, отогнув ее конец вбок и разминая во всю величину дырки. Потом старики наклонились к полу, поставили у письменного стола, подальше от окон, свечку, застраяя руками свет спички, зажгли ее — и на ножницах подпалили письмо. Александра Ивановна ловила в ладони отваливавшиеся куски перегоревшей бумаги.

Когда пришла таинственно и возбужденно Марья Петровна, отомкнула их, Александра Ивановна вынесла горелую копоть в уборную, старательно вымыла руки. Лаврентий Иванович грустно молчал, а потом неудержимо плаксиво воскликнул:

— Ну-у и времена!

Александра Ивановна в амбулатории, на приеме больных иногда забывалась — неожиданно начинала расспрашивать их так тихо, что больные переспрашивали. Она пугалась прихода заведующего домом, монтеров, чинивших замерзавшее отопление, которое недавно так остро и уютно начало пахнуть теплом и булькалось в трубах, как в клокочущем горле. Загасавшее электричество сулило приход новых людей.

Лаврентий Иванович громко, с расстановкой выкрикивал в классе:

— Икс, игрек плюс зет!..

И задумывался, поражаясь таинственной простотой алгебраического ряда и таким глубочайшим теперь смыслом, какой заключен был для него в этом привычном, механическом, стародавнем иксе.

Он так продолжительно задумывался, что приходил в себя от задорного смешка, как брызги, раскидывавшегося от парт и столов, нарушивших со времени революции стройную однопартовую систему комнаты. Устарелые парты, изрезанные ножичками, исколотые перьями, с расшатанными на петлях откидными половинками, пережившие тысячи озорных гимназистов, крививших за ними

груди и плечи, были истоплены в одну из малосильных топlichem зим.

Лаврентий Иванович, слепясь на класс, напоминавший ему, именно из-за смеси столов с партами, пестрое стадо на лугу,— забывал, о чем он говорил.

Ребятишки смеялись весело, открыто, беззлобно, радовались на сбившегося старика... И нельзя было, как прежде, крикнуть и потом слушать тишину, будто никого не было в комнате.

— Что такое икс? — как в глубокую нору уходил голос Лаврентия Ивановича.— Икс есть некоторое не-извест-но-е нам искомое...— Лаврентий Иванович испытывал даже головокружительное удовольствие, напирая на слово «не-из-вест-но-е».—...которое надо найти... которое надо найти разными способами... которое надо вскрыть... которое будет нам известно...

Лаврентий Иванович помогал руками, опускавшимися из-за ушей очками, притопывающей ножкой и путался, не находя простого и понятного определения этим новым маленьким людям, казалось, уступавшим в развитии тем, кто резал перочинными ножичками парты, мазал ему стул на кафедре гуммиарабиком и чернилами.

До революции Лаврентия Ивановича называли те, послушные шалуны, «миллионом»; теперь его никак не называли, но детвора возилась в перемену по коридорам, без усталости хохоча:

— Которое... которое... которое...

Миля плакала над стариковскими разорванными буквами, над кляксами, над письмами без подписей...

Человек начал приносить посылки. Пили кофе, чмокали таявший на губах шоколад, пили жирное, сладкое вино. Александра Ивановна выпускала вонючий чад сигарет, разглядывали отрезки английских материй. В жестяной золоченой банке сугробился крупный, белый, рассыпчатый сахарный песок. Человек приносил зелеными пачечками доллары.

На Ильинке и у памятника гренадерам меняла Марья Петровна доллары на пестрые хлопушки дензнаков.

— Куплю — продам! Продам — куплю! Размениваю доллары, фунты, франки! Покупаю червонцы!..

Вертявые, как хорьки, черненькие, ленивые, как налимы, гладкие, с оплывшими брюшками, сновали «испанцы»,— как звали тогда валютчиков,— и нюхали

и хватали из рук и отсчитывали из рваной пестряди горстями бумажную валюту.

У памятника гренадерам расседались они отдохнуть, набегавшись и наорав охрипшие горла.

Марья Петровна пыталась незаметно сунуть доллары, незаметно зажать вылезающую за ладонь пачечку, опускала ее в кошелку и, закатав открытую пасть кошелки в толстый жгут, несла ее под мышкой. Она шла не оглядываясь по Маросейке и завертывала в переулок, кружила, сбивала свой след. Иногда так же ходил какой-нибудь заблудший человек — и пугал.

Александра Ивановна старательно читала в газетах судебные отчеты о заговорах, о растратчиках, о провокаторах, о шпионах. Словно она проходила занимательную и завлекательную школу таинственности, искала свою судьбу, судьбу молчаливого человека. И когда он долго не показывался, ей казалось, что она читала о нем. Даже было легко думать, что не надо больше есть шоколад, пить кофе, слышать голос запрещенной племянницы и встречать глухонемого почтальона. Будто снова началась несложная и нестрашная жизнь, без этого опасения к звонкам, к стукам, к хлопанию дверей на парадном, к сквозняку из самораскрывающейся форточки.

Старики хранили тайну, дрожа и благоговей. Только теперь, на вечеру своей жизни, они узнали ее запутанные недра.

Вернулся брат Мили Леонид из Туркестана. Красный командир, большевик, оплаканный и отрезанный от сердца сын и опять к нему прижатый, переставший удивлять, возмущать и стыдить перед знакомыми, как морщины на лице, накопленные в затянувшуюся жизнь. Он спешливо и озабоченно забегал по лестнице в какой-то трест.

Старики не уговаривались, но как-то случилось так, будто потому, что он не спрашивал о сестре, не раскрывали ему дорогой и запретной тайны. Леонид пил кофе и ел шоколад, посмеиваясь над доктором-тетенькой, Александра Ивановна поддразнивала, облизывая рот:

— Соблаз니스ь, соблаз니스ь, Леонид, звезда твоя не потускнеет. Помаленьку достаем буржуазную роскошь!

— На то вы и доктора,— смеялся Леонид.— Грешны и мы: через докторов в полку водочку добывали!

Александра Ивановна подзуживала:

— Академический паек берем! Власть вашу... поневоле... терпим, сладенькое любим!

Леонид не уступал тетке:

— Потому и дают вам. Скоро лампадное масло начнете получать. А то уж очень страшно от новой жизни! Живете как будто по-старому, а работу делаете по-новому!

— Хитрость! При-кар-мли-ваете?

— Закрываем глаза на неисправимое. Прыжок уж очень большой. Голова закружится! По мостику за ручку ведем, чтобы не саботажничали и не клеветали. И гордость все-таки в душе теплится: категория особо пи-итае-мых и, следовательно, особо нуж-ных!

— Обход со всех сторон. Ха-ха! А нам привилегии и любви! Словно медаль! Отодвинули из жизни, отставили, кухарку заставили «выкать», а сласти оставили. Ха-ха! Не хочешь ли чемберленовского?

Александра Ивановна угощала Леонида сигаретами. И племянник охотно брал.

— Ра-а-скурим. Раскурим. Мы до одурения набросились на них в Архангельске, когда выгнали оттуда англичан.

— Не выгнали. Они сами ушли.

— Ну, это бабушка надвое сказала.

Марья Петровна мерцала двумя голубыми огнями в живые, отражающие ее глаза сына. Лаврентий Иванович смотрел на сизый парок, дымившийся над белой пузатой чашкой-бульонницей, купленной на Кузнецком в магазинчике, торговавшем бывшим фарфором бывшего императорского завода. Старая кузнецовская посуда пошла в убой: Лаврентий Иванович жадничал непотребными порциями кофе.

Меж тем молчаливый человек исчез: письма перестали приходить и уходить.

В это время объявился снова в Лондоне Григорий Григорьевич. Как воз с легкой поклажей, собирающийся на опасную крутизну, он перекувырнул жизнь Миля.

Началось это во второй половине дня. Приехала Миля из конторы домой. Высоко кидая ножками, охваченный неудержимой спешкой, навстречу ей выскочил сын.

— Мама, мама,— завопил он.— Бабушка плакала! Я ей заглядывал... а она закрывалась. Капельки у ней седые, седые!

Мать закрыла ему рот, подхватила на руки и заторопилась к себе, прикрывая двери. Сердце забилося, как язычок у колокольчика.

В доме было неладно: передвигали вещи, топотали ногами, возвышались голоса и отрывисто замолкали, лакеи необычным, скользящим шагом шмыгали в коридорах: из кабинета кидался короткий, обрывистый звонок...

Она не решалась выйти. Ноги пристали к лакированному полу, схлынула в них вся кровь и огрузла тяжелыми колодками. Мирный и строгий дом этот, размеренный, как стрелки курантов на Вестминстерском аббатстве, так давно приходил в колебание, плеща и качаясь плавучим маяком от ее несуразной жизни, играющей и шипящей сквозною морской пеной, что она не могла сомневаться и на этот раз. Ее оставляли одну. Так случалось всегда. Потом за ней приходили. Ей приходилось безотрадно и томительно ожидать, угадывая новую игру ее жизни.

Дом стремительно расходился в звоне и шуме, то сламываясь до тишины, то начиная греметь всеми креслами, диванами, столами и стульями.

Наконец движение смолкло. Далеко в приемной толкались последние глухие голоса, выступали и заглухали, гудели неясно и сбито, как клубок отдельных несвязных звуков... и прекратились...

Тогда неслышно прошелестел по полу лакей и подал Миле конвертом сложенную газету с перечеркнутым красным карандашом верхом:

— От леди Мэри Эванс.

Миля недоумевала.

Она выждала, когда ушел умеющий распоряжаться своими умными, испытанными глазами лакей — и отшатнулась от красной неширокой ленточки карандаша, чуть на нее взглянув.

Ленточка была неровна. Провела ее явно некрепкая рука, карандаш сломался и тупой головкой разъехался к концу на тонкие извилистые нити, пробуравив газетную бумагу и запорошив ее красноватой пушистой пылью.

Отшатнулась Миля, отодвинула любопытствующего Боря. Он проводил по красной ленточке пальцем и разглядывал пересевшую на палец пыль. Преодолевая себя, она начала разбирать черный столбик точно утопанных букв. Жирным, крикливым ревом стоял заголовок:

«похождения угольного короля оскара эванса».

Французская социалистическая газета, ехидно потешаясь и глумясь, выдумывая смешные и глупые под-

робности, описывала злоключения Людмилы Лаврентьевны Засецкой, урожденной Говорковой.

Григорий Григорьевич не пощадил себя. Он не умолчал о продаже сына, о дуэли и тральшике.

Миля узнала о тральшике впервые. Ее резко и больно кольнуло. Она с трудом дочитала последний, подчеркнутый курсивом и, как тонкими стрелами, истыканный восклицательными знаками заключительный квадратик. Тут похождения Оскара Эванса заканчивались описанием конторы на Сити, укрывшей за конторским столом купленную любовницу.

Словно свалилась на нее громоздкая тяжесть, прижала ее в кресле, преградила ей дорогу и раздавила ее.

Мальчик бормотал в углу у игрушек, расставляя солдат в ряды и перемежая их медведями и козлами! Он расставил их всех, зашел сам наперед, надел на себя барабан, топнул ножкой и скомандовал:

— Ну, пошли!

И забил молоточками. Не оглядываясь, он сделал круг и очень удивился неподвижности своей армии. Он что-то поправил в рядах, отшвырнул почему-то одного козла и опять, выставив правую ногу вперед, ударил в барабан. Стоя на месте, он долго колотил молоточками, все расходясь и расходясь и уже украдкой оглядываясь назад. Недовольный, он капризно спросил:

— Мама, почему они, сукины дети, не идут?

Миля усмехнулась и прикрикнула на него:

— Замолчи со своим барабаном! Все мозги выколотил!

Она одеревенела, не плакала, а, закусив губы, яростно уставилась на газету.

В гневе, в бешенстве, трепля газету на клочья, она не слыхала, как вошел Эванс.

— Дядька! Почему солдаты меня не слушаются? — приставал к нему мальчик.

Старик, не понимая, сам себе ответил:

— Подожди, мальчик!..

Он был сер и тускл лицом, с покрасневшими глазами, но спокоен и упрям.

— Я должна объясниться с леди! — горячо и решительно крикнула Миля.

Старик, топчась на приставших к подошвам газетных лоскутках, тихо ответил:

— Леди выехала из дома. И дети с ней. Все. Они не могли больше оставаться. Англия имеет беспощадные законы, охраняющие семейный очаг.

— Но ведь это же ложь! Ложь! Наглая ложь! вскричала Миля.— Леди же знает.

— Все равно.

— Боже! Что делать? — с горящими пунцом щеками дрогнула Миля.

— Вы уже делаете, что нужно,— усмехнулся робко и радостно Эванс,— вы не плачете.

— Я бешусь! — горячилась она.— Мне не о чем плакать! Этого я не ожидала даже от него!

Старик покраснел и возбужденно сказал:

— На этот раз я заступлюсь за него: так поступают, когда любят и ревнуют.

Миля, изумляясь, взглянула неприязненно на старика, вся изогнулась к нему и, кипятясь, бросила:

— Я — не комнатная собачка, которую можно любить и... наказывать. Вы оскорбляете меня!

Старик растерялся, не нашелся, молчал.

Она быстро заходила по комнате и опять подошла к Эвансу:

— Говорите, что я должна делать. Вы же всегда до сих пор находили выход.

Старик оправился: к нему вернулись чуть изменившие ему силы.

— Вам нельзя появляться в конторе. Вас встретят свистками. Вам вообще некоторое время не придется выходить из дому. Завтра во всех английских газетах появится мое объявление. И... все замолчат. Я Англию знаю хорошо: я сам англичанин.

Был тот же побеждающий крепостью и мужеством голос — властный, прямой. Старик будто вырос на каблучках. Миля почувствовала себя сразу как-то увереннее и проще. Она только спросила:

— Что вы написали?

Старик хитро и таинственно усмехнулся.

— Я... переведу... вам... завтра.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как внезапно и отчаянно крикнувший человек сзади, хлестнуло дрожью завтра. Старик равнодушно и резко прочитал, глядя неуминавшимися руками газету:

«Вчера леди Мэри Эванс оставила Лондон вместе с детьми, отбыв в свой загородный дом. Супруги Эванс возбудили дело о разводе. Мистер Оскар Эванс вступает в законный брак с иностранкой Людмилой Засецкой, разведенной женой русского офицера».

Она смотрела на круглую белую голову старика упорно, остолбенев, не зная, что сказать, не шевелясь.

— Я жду вашего ответа! — сказал старик.

Она чувствовала, будто снимали с нее бережно и настойчиво платье, будто вот уже стало ей холодно в одной рубашке, заголились у нее колени, отстегнули завязки, потащили с ног чулки, вынимали из прически гребенки... Она стыдливо одернула платье и подобрала ноги под стул.

— Ка-ак вы могли подумать, — смутилась она, трепеща внутри негодованием, — чтобы я желала быть вашей женой? Ка-ак вы осмелились без моего согласия опубликовать этот... этот... кошмар? Это же... это же... развязнее... моего мужа!..

Старик страдальчески погладил глаза и больно, глубоко вдавил в кисть руки разрезальный желтоватый слоновый ножик. Вдавил и наблюдал, как выдавлинка наполнялась наплывающей темно-багровой кровью, готовой прорвать натянутую кожу. Он еще подбавил углубление.

— Может быть... теперь я понимаю... все ваши... благодеяния?

Она с отвращением произнесла последнее слово, чувствуя на языке что-то шершавое, щекочущее...

— Может быть, они были... я не решаюсь произнести.

— Нет, нет, говорите! — покорно поддержал ее старик. — Я потом буду говорить. Я отвечу...

— Н-неискренни... Да... Я плохо сказала... Надо не так... Хуже, хуже, хуже...

— Низменны, — помог ей Эванс.

Она будто не приняла подмоги старика.

— Рас-счет-ли-вы... Вы меня держали... держали, как акции ваших угольных шахт. Может быть, они падут, может быть, поднимутся.

Она вскинула возмущенные глаза. На лице старика теперь была такая неприкровенная мука, сожаление, раскаяние, что негодование заметно, почти не замедляясь, перешло в непонятную и странную жалость, и как-то стало вдруг на сердце яснее, глубже. Она не выдержала где-то в глуби замутившихся слез, хлебнула один-другой

глоток и сдавила горло, чтобы не разрыдаться. Она поняла, что старик был и сейчас ее сильнее, словно он мог распоряжаться ею, мог причинять ей боль, мог успокаивать боль и мог совсем изгонять ее.

— Ни одного слова правды вы не сказали, — мирно, точно не испытывая никакой тревоги, обиды, тихонько и нежно проговорил Эванс. — Вам свойственно раздражение. Вы имеете на него право. Вы столько пережили за последний год. Вы будто убегаете от морского прибоя, а он вас настигает и сносит. Тут можно растеряться. Тут весь мир покажется переиначенным. Ничего я от вас не хочу как от женщины. У меня к вам только старческая привязанность. Так сходят с ума старики. Это их тянет к молодости, к воспоминаниям, к жизни. Потому я и не испросил вашего разрешения опубликовать о своей женитьбе на вас, что намерения мои чисты. Я хотел избежать лишних тревог для вас же, лишних объяснений. Я разломил яблоко пополам и, разломив, предлагаю вам половину.

— Но я... я... я не соглашусь! — вставила Миля. — Как же вы будете?.. Вы обязаны снять с меня этот позор! Я требую!

— Требуйте! Требуйте! Я поступлю так, как вы захотите!

— Однако вы поступили так, как я не хотела.

— Мы исправим! Все на свете исправимо и легко, когда есть средства не подчиняться обстоятельствам.

— Отправьте меня на тральщик! — едко, зло прошипела Миля, начиная снова зажигаться неприязнью к старику.

Он даже не запнулся от ее восклицания, легко усмехнулся и ответил:

— Я виноват, что не рассказал вам о тральщике раньше. Это моя ошибка. Но едва ли мы не уклоняемся, вспоминая прошле. А настоящее для меня безвыходно. Имя мое треплют на биржах, в гостиных, в министерствах, в каждой щели, где я что-нибудь значу и ничего не значу. Я совершил неосмотрительность, доверившись вашему мужу. Мне следовало предвидеть больше, чем я предвидел. Мне следовало еще оторвать несколько листов из моей чековой книжки и направить их по редакциям. Я оказался дурным биржевым маклером. Это, конечно, сейчас не нужно. Я наказан. От меня отвернулось общество. Меня покинула моя семья. Мне не приходится

выбирать ничего другого, как выбрал я. Завладеть снова общественным уважением я могу, только женившись на вас.

— Я же живая! — закричала Миля в ужасе. — Я же не кресло! Не трость ваша с золотым набалдашником!

— Вы даже представить себе не можете, кто вы для меня! — ласково и любовно возразил старик.

— Нет! Я представляю! — негодовала она.

— Допустим!

Эванс поднялся, подошел к ней, уверенно взял ее за руку. Она пыталась освободиться, но он, не выпуская руки, сел рядом, близко и тепло:

— Не думайте ничего дурного, не смотрите на меня, как на богатого старичка-соблазнителя, забывшегося в безумии и самонадеянности. Я не рассчитываю купить женскую любовь несметным золотом, находящимся в моих руках. Не-ет! Я не так просто понимаю это великое чувство! Не-ет! Я вам говорю: нет! — Голос старика был искренен, грустен и тороплив. — Я не сомневаюсь в вашем согласии...

Миля отклонилась, пораженная.

— Да. Я знаю вас лучше, чем вы сами. Вы не годитесь мне, старику, в жены.

Миля потупилась, точно он взял ее за шею и крепко накренил.

— Да, — взволновалась она. — Я... я как-то боюсь вашей силы. Она не походит на силу других...

— Это выдержка и моя старикинская опытность, — серьезно пробурчал Эванс. — Я очень много видел за мою жизнь людей и... кажусь таким сильным. А какой же я сильный, когда от вас зависит мой завтрашний день? Я не могу свободно заехать в свою контору на Сити. У меня будут испуганно бегать глаза, как у слабого котенка, которого весной несет на льдине. Мне мои лакеи служат, презирая и молчаливо насмехаясь у моих грязных тарелок в лакейской. Вы поможете мне восстановить мою честь. Я вас прошу не отказываться. Мне стыдно напоминать вам, но вы не захотите забыть... я кое-какие услуги оказал вам. Я прошу у вас отплаты. Настало время воспользоваться мне надеждой на ваше великодушие!

Два длинных и ползучих, как водоросли, дня ходил старик взад и вперед по кабинету. Она не выходила от себя. Так они оба думали об одном и том же, словно

разговаривали через близкие стены и не могли договориться.

После того как она много раз повторила в воспоминаниях протекшие горькие и сложные месяцы, восстанавливая отдельные дни, утра, ночи, она никак не могла побороть маленького укола. Он, как редкая капель, жег и болел в сердце. Почему леди Эванс уехала, не повидав ее, поверив тому, чего не было и что, она знала, не могло быть?

А потом прошли перед ней и другие люди. И как-то никто не был так отчетливо и ярко виден, как этот старик, шагавший-шагавший два дня по кабинету, будто он отправился с какой-то важною целью в далекое путешествие, не хочет знать усталости, распухших, исколотых дорожным щебнем ног, не хочет остановиться, изнурен, шатается — и все идет, идет, поскрипывая, шаркая обувью, не считая пройденных километров, не оглядываясь на трудную дорогу.

Он, как это бывало в России, показался одиноким высоким деревом в лощине. Растет оно одно, уцелевшее от порубленной рощи; кругом пеньки,— они, как отрезанные от тела головы, сжали крепко зубы, молчат, а дерево шелестит, шумит, жалуется, тоскует... Прилетает и садится на него заблудшая птица, хлещет в бока мутными парусами ветер и стрижет листья, кувыряя их над лощиной. Весной бурлит у его ног седая кудель полых вод и роет, как зверь, норы между корней, обнажая черные хвосты корней засушливому солнцу. Прибредет к нему человек, посидит в ногах и вырежет, сучая, белые знаки на морщинистой коже. Он не услышит густых слез дерева, а оно теплым соком безмолвно обольет белые раны.

Старик молчал и ходил.

И снова придешь в лощину... Кто-то подсек дерево, счистил, как шелуху, завядший лист, выломал тонкие руки-прутья, раздробил топором низкий череп комля и воткнул в него нагую обкусанную веточку.

Леди Эванс показалась маленькой, толстенькой тумбочкой, увешанной и закутанной в пестрые кружевные, пухлые и пыльные лоскутья.

Серой шинелью постоял Григорий Григорьевич и будто его стоймя накрыли деревянным кургузым ящиком, как изглоданные временем солнечные часы в саду на зиму.

И весь дом, как мелкие, ничтожные переносные вещи, сгрудился в углу, не привлекая внимания.

Старик терпеливо ждал, не выходя из кабинета.

Он не остановился, когда вошла Миля. Голова его была опущена, тяжела, под глазами вздулись набухшие темные почки.

— Хорошо,— сказала она.— Я решила.

Старик привычно поцеловал у ней руку, чуть прикасаясь, точно он не думал ни о чем другом, как вот наклонить ниже, чем она была наклонена, голову, притронуться к пылающей коже руки, остановиться и пойти дальше.

— И все формальности? — глухо спросил он.

— Да-а.

Лишь только Миля неловко выскочила за двери, словно убегая от гнавшегося за ней и грозившего ей человека, старик преобразился. Он развернул молодое и порывисто руки крестом, хрустнул плечами, простонал и, четко стуча каблуками, пошел к звонку, ткнул в него, резко отдал распоряжения лакею. Тот стремительно пробежал по коридору. Эванс небрежно и уверенно начал спускаться в подъезд.

Миля озабоченно и тревожно вынесла строгую, чинную предпраздничную суету и приготовления. Кусая губы, волнуясь, она выдержала незнакомый церковный обряд.

По тесным от людей, автомобилей, автобусов и домов лондонским улицам молчаливо ехала она из церкви домой, прижалась дома к своему мальчику — и потом долго плакала, как бывало когда-то в Москве, на Чистых прудах, от детских своих обид, за оконной занавесью, закутываясь в нее и мокрыми глазами мигая на улицу, запотевая стекла горячим дыханием.

На другой день они выехали в Париж. Старик, прежний, спокойный, тихий и предупредительный, как в первую встречу под Парижем, не мешал ей, ничего не спрашивал, не говорил. Они весело хохотали с Борей, дурачились и гримасничали. И опять была с ними палка с золотым набалдашником.

В Париже она получила поздравительную телеграмму от леди Эванс и от своих пасынков. Телеграмма была длинная, перечислявшая столько достоинств в Миле, что она в первый раз во все эти нависшие и темные, как ели в нетронutom бору, дни звонко рассмеялась и подала телеграмму старику, пожав вместе с телеграммой его протянутые пальцы.

Старик снисходительно пошутил:

— Мэри — неисправимая англичанка!

Молчаливый человек так долго не появлялся, — а ожидали в каждую сумеречную пору, — что появление его так же внезапно, как всегда, поразило. Оно и на самом деле принесло исключительные вести.

Александра Ивановна, таясь от Леонида, вызвала к себе брата и невестку. Старики не столько говорили, сколько ахали во весь этот знаменательный и неразбериховский вечер.

Зелененьких долларов было прислано так много, что Лаврентий Иванович просил сестру половину хранить у себя, а другую половину Марья Петровна начала менять с утра. Она трусливо подходила к менялам и пятилась от них. Лаврентий Иванович и Александра Ивановна, по близорукости, не годились на сложное и опасливое дело. Глаза Марьи Петровны были зорки, как у водолаза: они высматривали опасности в совершенно спокойных снежных сугробах — и остерегающе останавливались. Главное, останавливались своевременно...

На Ильинке и у памятника гренадерам и даже в Банковском переулке она сумела достать дензнаки. В Банковском переулке, проходя мимо грудки столкнувшихся головами людей, что-то разглядывавших, она допродала последние доллары. Когда она заглянула через густую чащину голов, то увидела маленького, в широченном смятом картузе над мохнатой рванью ветошного одеяния, беспризорного. Он лукаво подкидывал на грязной ладони, как и его вымазанная котельной сажей мордочка, яркий и слепительный золотой. Марья Петровна будто сама заблестела золотыми слепительными лучами, — так захотелось купить монетку. Но беспризорный оттолкнул доллары.

— На знаки, на знаки! — хрипнул он. — На-ам не до сбережений!

Тогда грудка составила вокруг нее, только более расставленная, раздвинутая объемистым корпусом Марьи Петровны с поднявшейся куполом широкой ее старомодной шляпой. Банковские валютчики рвали доллары и отслюнивали червонцы.

Они отвлеклись и забыли беспризорного, не доторговавшись с ним. Беспризорный рассердился и грубо гаркнул:

— Бери-и, что ли, паразит! Не застуй зря!

Менялы недовольно забормотали.

— Ну-у, не латоши, жиди! — нагло сморкнулся беспризорный.

И он сразу, как только валютчики вздумали накинуться на него, побежал, приплясывая:

— Черноносики! Черноносики! Узехапане! Узехапане!

Марья Петровна замахала рукой беспризорному, и они в Кривоколенном переулке сладили.

Золотой Лаврентий Иванович спрятал в студенческие литографированные лекции «Об интегральном исчислении», тщательно хранимые на верхней полке единственного книжного шкапа, в коленкоровом зеленоватом переплете. Однако для верности, не доверяя своей памяти, Лаврентий Иванович приклеил золотой гуммиарабиком, подсушил и поверху, между корок, сделал отметину синими чернилами: x равняется пяти. Алгебраическое выражение он употребил на случай досмотра агентами чрезвычайной комиссии, черный автомобиль которых, встречая его на улицах, он даже летом воспринимал как непрерывный озноб, проходивший только дома, после пяти бульонниц с малиновым вареньем или просто с сушеной малинкой.

Переписка его с Лондоном в каждое несчастное мгновение на часовых стрелках его олашкообразных часов от Павла Буре могла обещать прибытие чекистов — и все проистекающие отсюда последствия, вплоть до конфискации золотого, хотя бы и не английского чекана, но с головой низверженного самодержца.

Они, при всей их вездесущей пронырливости, конечно же, не были сильны в алгебре! Они не заподозрили бы золотого в книге.

Старики видались каждый вечер до одиннадцати часов вечера, когда швейцар запирали парадный ход, предварительно замкнув черный, и получал гривенники по постановлению общего собрания жильцов дома, скрывая чаевые от месткома домовых служащих на Елоховской.

Лаврентий Иванович всегда одобрительно читал в парикмахерской на Рождественке зычную вывеску за тамбуром дверей, в темнотной близости к сыревшему углу: «Мастера чаевых не берут». Он торопился с Марьей Петровной до одиннадцати, часто сталкиваясь в самых дверях со швейцаром, поспешно накладывавшим железный, носатый, как кочерга, крюк.

Вот так он однажды спешил — и вдруг его осенило. Судьба золотого, а с ним и его самого, подвергалась, вследствие неосторожности и недостаточно продуманного поведения, решительному провалу. Алгебраическое выражение своей непонятностью могло натолкнуть чекушек на подозрение в нем шифрового ключа.

Лаврентий Иванович так просветлел от радости и догадки, что осудительно и вместе с тем простительно прошептал, хвастливо стаскивая заповедную книгу с полки:

— Ах ты, миллион, миллион! Единица, а не миллион! С головой, с головой бы... влопался!

Лаврентий Иванович выскреб ножичком условный знак, немного подумал, как бы не усомнились чекистские хитрецы и в этой подчистке, но он заметил, что и на других книгах были похожие неисправности — следы переездов с квартиры на квартиру: обитые края, ржавые от гвоздей проколы — и успокоился. Потом он воткнул на изъясное место безобидную кнопку — и захлопнул дверцу с облегчением. Только позже Лаврентий Иванович вознегодовал и против кнопки, найдя ее чересчур обличительной. Полное успокоение настало, когда он всунул в книгу самую обыкновенную волосинку, выдернутую им из половой щетки.

Марья Петровна не ухоронила тайны от Леонида. Они сидели за самоваром без Лаврентия Ивановича. И материнское сердце расплавилось. Она не ошиблась в отзывчивости своего мальчика. Чем более любопытствовал он, тем более легко и подробно рассказывалось. Они вместе дружно смеялись. Леонид закрывал крепко, сморщивая нос, глаза и ходил смотреть золотой, вкладывая на свое место волосинку.

— Ай да Милька! — восторгался он. — Ну и сумасшедшая! Убила, убила бобра!

Леонид серьезно перегибался через стол к матери и, ей казалось, таинственно шептал:

— Да ты знаешь ли, кто этот Оскар Эванс? Если я не ошибаюсь, это миллиардер... угольный король Англии! Родство-то, родство-то какое!

Марья Петровна даже опечалилась:

— Пока-то она ведь из благодарности, жена по титулу. Не настоящая хозяйка. Что скажет будущее?! Не выкинула бы она, Леня, опять какую штуку! Ребенок, видно, подтолкнул к согласию. Бежать сперва хотела, как

вся каша заварилась. Не выпустила бы по горячности в форточку свое счастье!

Леонид часто задумывался и вертел в руках горячий стакан, долго укладывал на круглом ободке чайную ложку, отыскивая центр. Марья Петровна шутя подтапливала стол, и ложка переставала правильно лежать, соскальзывала, валилась со звоном. Леонид без устали потешался.

— Нехорошо, мать,— наконец, сказал Леонид,— угадывать в сыне врага.

Марья Петровна, в испарине и краске, не оправдываясь, пролепетала:

— Так уж, Леня, вышло! Само вышло как-то!

И вдруг Леонид печально пострадал:

— А ты мне обещаешь не говорить ни папе, ни тетеньке, что я знаю ваш секрет? Но... хранить надо не так, как ты сегодня не утерпела! А крепче, гораздо крепче!

Сын обнял нежно старуху и дрогнувшим грустным голосом приласкался к ней:

— Я оскорблен, мама, жестоко! Я будто бы не бегал и не играл маленьким в этой... нашей... квартире! Меня вы будто выгнали не одетого на мороз! Я прошу тебя! Мне будет тяжело объясняться с ними. Я не хочу доверия и любви поневоле! Не как от тебя! Я поражен душевной черствостью и папы, и... Александры Ивановны. Не хочется ее даже называть тетей!

Марья Петровна, успокаивая его, обещала.

Леонид заходил по комнате в своей серенькой дешевой красноармейской гимнастерке.

— О чем ты думаешь? — спросила мать, перетерев посуду и наскучивая молчанием.

Сын опять охотно подсел к ней.

— Понимаешь,— жальчиво заговорил он.

Марья Петровна и раньше заслушивалась его играющим негой и теплотой голосом, когда он еще был мальчиком, когда даже его наказывал несдержанный и бестолковый Лаврентий Иванович за окапанную чернилами курточку.

— Понимаешь, думаю я о Миле. Незавидная у ней жизнь! Надо только радоваться, что она разошлась с Засецким. Это же страшное и дикое чудовище! Это висельщик и палач! Попадись он нам, мы бы расстреляли его на месте! Теперь... этот... англичанин! Ка-ак только она не видит?!

Марья Петровна тоже взгрустнула:

— Леня, она, бедная, всегда увлекалась! Григорий, — шут с ним, — не жалко! Фальшивый! Не человек — одни брюки и побрякушки на ногах! Угольщик-то человек достойный!

Марья Петровна восторженно прошептала:

— На золотой посуде едят! Живут во дворце!

Она вздохнула и покашляла:

— Жалко, что старик... Молодого бы ей такого мужа. И с миллионами. Леня, деньги там золотые, не нашим бумажкам чета! Довольство! Жизнь! Ты посмотри, какие там материи!

Марья Петровна вытащила из сундука полосатые, пестрые, темно-синие отрезы материй. Как на прилавке, она разложила материи на его коленях:

— Доброта-то какая! На всю жизнь одно шитво!

Леонид опять заходил по комнате. Он выкурил папиросу и закурил новую.

— Как ты дымишь! — недовольно и заботливо сказала мать. — А табачишко вонючий, скверный! Портишь себе здоровье! Укорачиваешь жизнь на десять лет! У курильщиков легкие, как голенище: черные, трухлявые. У других людей они — как говяжий нежный ливер. В клиниках анатомировали человека. Вынули легкие. Профессор-хирург понюхал и безошибочно узнал, какие покойный курил папиросы. Курил он «Иру». У тебя не «Ира»? Профессор разрезал много народу — и привык к запаху от этих мерзких папирос.

Леонид усмехнулся и, думая о сестре, попросил мать:

— Когда будете посылать Миле, скажи мне. Я хочу ей тоже написать.

Марья Петровна высчитала какие-то известные ей сроки:

— Хорошо. Скоро этот почтальон должен прийти.

Она жалобно посмотрела на сына и тихо в свою очередь попросила его:

— Только не пиши ты ей ничего обидного. С обидой я не возьму от тебя письма! На чужбине горчее обиды. Ты живешь по-своему, она по-своему — как умеет! Ты... ей не мешай!

— Нет, зачем же? — твердо и охотно отвечал Леонид. — Она плакала больше меня!

Она вернулась с бала. Там разглядывали ее сотни богатых и развратных глаз. Внимание к старику разделилось между ним и его женой. Она устала. Она с отвращением посмотрела на свою руку, к которой, казалось, подходили несколько часов разные люди, наклонялись и словно хотели укусить, а она, как архиерей в церкви, стояла и выполняла фальшивую церемонию.

Балы были часто в эту зиму. И старик возил ее. И чтобы избавиться от выездов, она притворялась больной. Тогда не выезжал и Эванс.

Во время этого бала, месяца через четыре после свадьбы, Миля, сидя рядом с мужем, равнодушно переключаясь с ним взглядами, заметила, как он похудел и подурнел. В воротничке свободно двигалась подсохшая шея, глаза глядели точно из глубоких норок и подтянулись щеки, худоба была в руках. Она почувствовала себя виновницей этой перемены. Он держался с дрожащей неуверенностью. Волнения, затаиваемые выдержкой, не прошли бесследно. Стало старика жалко. Она сразу пододвинулась к нему дружно, сердечно, так что старик удивленно скосил на нее остерегающийся и недоверчивый глаз.

Эта близость не проходила и на другой, и на третий день.

Посадив рядом с собой мальчика, старик возился с ним за обедом, подкладывая ему куски, помогал, а она глядела через стол и смеялась. Она разливала суп и подавала старику.

Она стала делать все то, что делала ее мать в семье, что делали миллионы жен и матерей. Будто ничего не изменилось: на месте леди Эванс сидела она. Только Миля не спрашивала у старика, нравится ли ему бифштекс, не следует ли переменить вино и не нужно ли завтра сделать его любимое блюдо. Подобострастно сторонились лакеи, когда проходила она. Шофер вытягивался прямо и озабоченно, широко открывал ей дверку. Ей кланялись при редких встречах на улицах новые знакомые. И одевалась она, как леди Эванс. До той тайны отношений, которая не выходила дальше кабинета старика, никому не было дела. Честь старика была восстановлена. И она, эта честь, требовала, чтобы Миля походила и по внешне-

му своему виду, и по манерам, и по семейным обязанностям на леди Эванс.

Миля поняла, что каждая из этих частиц составляла целое, а если бы она забыла одну из них, честь Эванса снова бы заколебалась, снова бы она не заплатила старику за все то, что он для нее сделал.

И когда она вспомнила маленькую стариковскую чековую книжку, а в ней оторванные листки и всю уже надолго продлившуюся связь ее расстроенной и негладкой жизни, острые и шумные ее события, с устроенной и гладкой жизнью Эванса,— ей представлялась необходимой и понятной забота о старике, о его спокойствии и, главное, о его чести.

По-родственному приезжали пасынки с женами и стесняли ее своим обращением. Она краснела и тяготилась. Приезжала леди Эванс, и ее приходилось принимать в гостиную. Старуха выдержанно — и тоже для чести Эванса — недолго сидела, советовала шить платья у такой-то мисс, а цветы покупать в таком-то садоводстве.

Миля начинала переставать чувствовать разницу между настоящей женой Эванса и той, какую она была в действительности. А потом пришло разрешение: словно упал камень сверху и разбил раму в парнике.

У леди Эванс, в загородном ее вдовьем доме, Миля со знала, как она еще была доверчива и наивна. Она неохотно ездила к леди, но поездки были необходимы. Дом Эвансов был незапятнанно чист и строг.

Тут леди Эванс,— ранняя весна подсохла и переходила в лето,— ненароком увела Милю из дома показывать ей редкие газоны в парке, непринужденно усадила ее на скамейку и, будто развязывая замысловатые узелки, разговорилась:

— Вы знаете, мне кажется, лондонский свет начинает догадываться о хитрой выдумке Оскара. Во всяком случае, об этом уже шепчутся. Я боюсь, как бы снова ему не пришлось защищаться. Ах, как тяжелы все эти условности! Но на них держится нравственность! Вы не обратили внимания: Оскар, при всей его сдержанности, иногда говорит раздраженно и невпопад...

— Он похудел.— сказала Миля.

— Мне неудобно уже общаться с ним интимно,— горько вымолвила леди,— но я чувствую: он не имеет нужного покоя в его лета.

— Вы же знаете, кто я ему,— удивилась Миля,— почему ваши отношения с ним должны быть другими?

— Да... Но я все же чувствую себя затруднительно. Я все же только первая жена его.

— Странно! — еще более удивилась Миля.

— Неужели вам непонятно, что меня связывает?

— Нет! Совершенно нет!

— И вы не хитрите?

Миля сухо повернулась к старухе:

— Теперь я не понимаю вас.

— Я советовала бы вам быть мягче к Оскару, ближе душой. С тех пор, как вы стали его женой, он перестал благотворно влиять на вас. Вы как-то держите себя отчужденно. Вы отделились от него. У вас нет к нему доверия. Я вижу, как у вас глаза не смотрят на него с тем, дорогим всем нам, заслуженным Оскаром восхищением. Нельзя забыть его джентльменских поступков! И нельзя не поражаться им!

— Поверьте,— искренно и волнуясь воскликнула Миля,— никто не представляет себе, как я благодарна, как я часто думаю о всем, что было, какие чувства я воспитываю в моем мальчике к нему, как я уважаю!.. Но я же каждый день сознаю фальшивость моего положения!.. И... мучаюсь им!

— От вас зависит устранить и это препятствие. Оно незначительно. Оно легко поддается исправлению.

Миля, не слушая леди, не возражая ей, горячо торопилась:

— Я иногда задаю себе вопрос: как же долго я должна так жить? Меня угнетают роскошь, богатство, все эти костюмы, выезды, приемы. Все же это случайно мое. Я будто получила все это напрокат. И мне оно глубоко не нужно! Я равнодушна к нему. Просто у меня нет потребностей, без которых вы не можете жить, я не перестаю и не перестану быть гостьей в вашем доме! Меня пригнали, спасли, помогли мне... Я отплатила, как говорит мистер Эванс. Чем могла, отплатила. А дальше? Мне скучно. Мне хочется очень немногого: маленьких простеньких комнат, игрушек мальчику, накормить его и... чтобы я что-то делала и... и жила на свои средства. Я вдруг иногда останавлиюсь... и мне хочется схватить Борю... и скрыться, скрыться от всех, от всех!

Вы не сделаете этого! Вы не можете! — пораженная, переставая снисходительно усмехаться, взволновалась леди.

— Да, я не сделаю, — серьезно и внушительно сказала Миля, задумываясь. — Потому что я несвободна... Потому что я помню... добро!

— И даже не это! — ввязывалась настойчиво и аккуратно леди. — С вашими нервами, — они так всегда возбуждены, — вы не можете подвергать сына случайностям. А если вы заболете? Кто будет о нем заботиться, кто будет ухаживать за ним? А если заболит он? Дети так хрупки и слабо защищены от простуд, от детских болезней! Вам нужно твердое и устойчивое положение.

Миля невесело шурилась на зеленые, как атласные, отливающие лоском и зыбью газоны. Они были, как завитые шкуры, прихорошенные, выставленные напоказ. В их подобранности, прилаженности, в выполке от всего пестрого и случайного, в их карликовом росте, ограниченном, по нитке обрезанным головкам, в равномерном посеве было неживое, холодное и неприятное. Перед глазами Мили на миг проросли они буйным, усатым, косматым русским лугом, с накрошенными щедро цветами, с молодым березовым кустарником, с гривастыми и хвостастыми кочками, с кропилами полыни...

— А если я... я полюблю? — спросила Миля. — Тогда как? Смогу ли я не расставаться с вашим домом? Нет, ясно, я должна буду уйти. Что же тогда делать?

Старуха испугалась, смотря на нее сбоку.

— Я живу тревожно... У меня неудобное положение... Оно особенно подчеркивается вашим отъездом. Мы могли бы быть вместе! Почему надо дорожить тем, что будут говорить посторонние люди?

Леди Эванс засмеялась мелким, семенящими ножками, смешком:

— Две жены в одном доме! Хе-хе! Милая, вы говорите детские вещи! Пускай мы знаем другое, но общество... Хе-хе!..

Миля безнадежно взглянула на дрожавшие под легким ветром газоны.

— В вашей власти, — зашептала леди Эванс, — перестать даже думать о неприятном. Вы бы поговорили с Оскаром.

— О чем? — уперлась Миля в старуху.

— Вы... спросили бы, отчего страдает Оскар! И так... на виду стареет!

— Вы же сказали, отчего.

— Да. Но тут сказано не все. А только очень немного. Вы так недогадливы, что я подумала: вы хитрите. Нет, право, как же так? Вы и сейчас не притворяетесь?

— Да нет же! — улыбнулась Миля как-то неподвижно. — Уверяю вас!

— Вы не разбираетесь в моих словах? Вы не почувствуете!

— Сму-ут-но!

— Вот вы сказали... — Леди Эванс совсем на ухо говорила ей. — Богатство Оскара мешает вам. Оно чужое. Но ведь это неверно. Оно ваше. Может быть ваше.

Старуха передохнула, вскинула зажженные глазки к небу и дошептала еще тише и значительнее:

— Вы не удивляйтесь, почему это говорю я. Я получила от жизни все мое. Я, как человек, который прошел долгую дорогу, дошел до своего пристанища, и больше ему некуда идти. А если он решится отправиться дальше, то уже ничего лучшего, чем он пользовался, не встретит. Так зачем испытывать себя? Я умею думать, располагать собой, ограничивать себя. Я знаю свои силы, чтобы не раскидываться и не мешать другим. Мне еще недавно было нелегко... Мне казалось: я еще не дожила, еще имею право на свой личный кусочек. Я ошиблась... Я вот тут додумала и привела свои истлевающие чувства в порядок. Дети, их радости — и мне довольно. Я еще, вы догадаетесь сейчас, на вашей памяти делала вещи, теперь мне смешные. Оскар не дошел до остановки. У него больше жадности к жизни. Он, он не допил... Вы полюбите Оскара... Вы хотели полюбить? Полюбите его!..

Нежное, маленькое, как завиток локона, ухо Мили светилось розовым пламенем. Миля уронила голову и глядела к себе в колени. Стройная двойня ног красиво и кругло обозначала темное, в складках платье.

Леди Эванс погладила ее колени, оценила их, моргнула приветливо глазками и оправила на ее вспухнувшей под платьем груди желтоватый бант.

— Дорогая моя, вы же умны! Ну, неужели же вам никогда не приходило в голову, что неспроста так необыкновенно к вам привязан Оскар. Но он молчалив, как дерево. Если бы он умер, вы не узнали бы о его чувствах. Но я тридцать лет прожила с ним. Я поняла после его

поездки с первой встречи, чем занято его сердце. Я приглядывалась. Я нашла в себе силы ревновать. Оскар хотел счастья. Я уступила. Мы не сказали с ним об этом ни одного слова. Ваш муж ускорил развязку.

— Сейчас... сейчас он знает... наш разговор? — перебила испытующе Миля.

— Конечно, нет. Он стыдлив и робок. Он немедленно бы уехал отсюда, услышь нас...

И леди Эванс со страхом оглянулась:

— Он любит вас, как никогда не любил меня. Дайте ему счастье!

Миля молчала.

— Не надо торопиться. Вглядитесь в себя, проверьте! Вам трудно, я знаю.

— Но... но я же... не могу любить... Я не подозревала до сих пор...

Миля, с надеждой, со страхом, схватилась за леди Эванс.

— Теперь вы все узнали. Вы иначе присмотритесь к нему. Оскар заслужил вашу молодую любовь. Все, что он делал для вас, было его свадебным подарком.

Всю дорогу обратно она затихше сидела рядом со стариком. Он, как отец, показывал, следя за ее любопытными глазами, на привлекавшие ее внимание строения, фермы, чащи насаженных деревьев. И становилось как-то спокойно, уверенно, многозначительно кругом. И, главное, удобно около него, уютно, просто.

Подъезжая к дому, она прервала какой-то разговор и неожиданно сказала:

— Какая славная леди! Я думала о ней хуже.

Миля следила за ним и видела, как прискочила его голова и будто начали что-то стряхивать заходившие кисти рук.

— Почему вы это сказали? — спросил Эванс.

Она равнодушно, словно занята была встретившимся им автомобилем с сидевшей в нем молодой парой, продолжала:

— Под влиянием поездки.

Старик помолчал и, догоняя ее уже на ступеньках входа, закончил:

— Она и раньше любила бывать в загородном доме. Газоны — это ее единственная страсть.

Миля засмеялась на злые слова старика:

— Вы не препятствовали ей тратить деньги на газоны?

— Не-ет! — весело пробормотал Эванс.— Деньги никогда не мешали нам жить.

Старик предупредительно принял ее пальто и передал лакею.

— Однако газоны не помешали ей быть очень милой и отзывчивой! — посмотрела на него Миля, прощаясь у своих дверей.

Старик удивленно расставил руки:

— Да-а я раз-ве оспа-ари-ваю?

Потом вскоре Миля ездила одна к леди Эванс. И они опять говорили о том же, гуляя и сторонясь молодежи.

— Вы согласитесь, согласитесь,— настаивала старуха.— Это же для вас будет хорошо. Мы виноваты, все... и я и мои дети. Надо, может быть, сразу же оттолкнуть бы вас... потребовать от Оскара... не пустить вас в дом... или уехать мне.

— Ах! — горестно воскликнула Миля.— Я тогда бы ни минуты не осталась. Я поняла бы мистера Эванса!

Старуха ласково улыбалась, как никогда раньше.

— Это, я верю, к лучшему,— обнимала ее леди.— Неизвестно, как посмеялась бы над вами судьба! Нет, нет! Оскар был уже ранен. Он не спускал бы с вас глаз, где бы вы ни были. Он оберегал бы вас со стороны. Но теперь исправлять поздно. Теперь надо закончить радостью наш роман. Не сомневаюсь, любить вы его не можете и не полюбите! Дорогая, вы не успеете полюбить его. Но он вам дорог, вы уважаете его, привыкли... Он... он... он...

Старуха нежно, влюбленно, оживая вся, воскликнула:

— Он совсем молодой, стройный, он сильнее еще своих мальчиков! Он крепко берет их за руки, и они не могут освободиться! Он еще мужчина, а не старик! Не обращайтесь внимания на его седины. Он всегда был белобрыс. У него даже было прозвище в колледже «седой». Наконец...

Старуха заклохтала и звонко, надрываясь, засмеялась:

— Наконец... вы велите ему... и он будет краситься!

И она еще больше засмеялась. Миля сдержанно вторила. Леди Эванс шустро тащила ее под руку дальше:

— Вам даже не надо жалеть его: таких не жалеют. Таких любят! Вы испытаете с ним настоящее счастье женщины.

Миля покраснелась, пряча глаза от старухи. Она насильно заглянула в них:

— Вы не девушка, чтобы я была сдержанна на язык. Это совсем, совсем не противный ста-ри-ка-щечка, как говорят молодые женщины о стариках!

Леди Эванс прижимала Милю к себе, целовала, оправляла на ней беспрерывно платье, любуясь ею, бежа и торопясь, уговаривала:

— Вы — нежная, добрая, но... но... непокладистая! Любовь, как молния, поражает дерево и валит его, не спрашивая! Так и Оскара она свалила! Вы, я знаю, все думаете о деньгах! Забудьте о них! Вам все кажется, что Оскар купил вас. Какие предрассудки! Это газетчики внушили вам. Когда любят, не рассуждают, а творят безумства! Разве вы своему мальчику не отдадите последнюю? Оскар ничего от вас никогда не требовал, не просил. Только один раз он не мог обойтись без вас. Но он был вынужден. Не будь этой клеветы в газете, вы, наверное бы, не узнали о любви к вам Оскара. Вы, наверное бы, уехали от нас. Вы уже рвались. Мы не смели бы вас задерживать. И Оскар первый бы признал ваше право.

Миля поздно уезжала от леди Эванс.

— Мы уже сладили? — пытливо шептала старуха.

— Я подумаю... — тихо отвечала Миля.

— Да, да, подумайте!.. Спешить не надо.

Леди Эванс грустно раздевалась в ту ночь у себя в спальне, сидела на кровати, вытянув бессильно и устало руки и, ложась, пробормотала:

— Во-от ка-ак при-иш-лось!

Она скромно и скупно поплакала, поднялась на локте, зажгла огонь, вынула из столика склянку и выпила полных через край три ложки брома.

Первый раз старик неодобрительно встретил Милю:

— У вас боль-ша-ая дружба с леди!

Она почувствовала неприязнь в голосе старика.

— Она... она,— замешался Эванс,— иногда... дурно влияла на детей...

Миля весело расхохоталась:

— Я, по-вашему, тоже ребенок?..

— Нет,— смутился докрасна старик,— но она... может... влиять дурно и на... взрослых!

Миля, хохоча, придвинулась к самым его трусливым, испуганным и подозрительным сейчас глазам, взяла его

за отвороты пиджака и, горячо дыхнув ему в лицо, задирающе и кокетливо протянула:

— Вы мало знаете женское сердце!

Две недели, как заведенный волчок, шли приемы, выезды, балы. Миля измучилась.

— Я больше не могу,— резко сказала она.— Мне это чуждо. И вам неудобно. Меня так противно рассматривают из-за колонн, из-за цветов... словно я... редкостная обезьянка. Я прошу вас меня освободить!

Старик умоляюще попросил:

— Но... изредка?

— Вы можете сказать, что я больна. Я краснею от чужих и насмешливых взглядов. Я ничего не сделала, чтобы мне краснеть.

— Вы преувеличиваете. Вам кажется, что вы краснеете. Моя жена в их глазах не может быть неуважаемой леди! Ваше затворничество будет истолковано...

Миля рассердилась и, невольно горячась, вскрикнула:

— Какое мне дело, как они там подумают? Я... я не хочу быть зависимой! Не хочу делать я то, что мне не нравится. Вы же... не в аренду меня взяли? Я же не фермера ваша.

Старик услышал настолько для него новое, поразившее и встревожившее в словах Мили, что он не нашелся, почувствовал горчайшую обиду, покорно наклонил голову... Что-то невнятно пробурчал...

А Миля раздраженно, уходя, еще раз выкрикнула:

— Скажите им... что я... что я... беременна!

Старик уныло пришел в свой огромный, всегда свежий от глухого шептуна-вентилятора кабинет, уныло сел за стол. Он услышал в голосе Мили пренебрежение, насмешку, даже издевательство.

Когда долго и сосредоточенно он так сидел в омертвевшем тишиной доме, не шевелясь, с заплаканными глазами, глядя на серевшую вдалеке стенку, будто впервые сознавая себя отжившим, старым, не хотя поддаваться отчаянию и не находя сил не плакать от бессилия,— смело и торопливо вошла Миля.

Старик, неловко загromыхав креслом, вскочил.

И как тогда, давно, она уткнулась к нему в грудь лицом. И по-новому, не смотря, помолчала и трудно прошептала:

— Я... сегодня... останусь... вместе...

В мокрых глазах его будто покачнулся кабинет, и, будто падая, старик прижал ее к себе.

В назначенный день Александра Ивановна раньше времени вернулась с работы. Она успела наскоро до молчаливого человека пообедать.

Но прежде его затопали в коридоре какие-то люди, дверь широко растворилась — и в тесную комнату вошли красноармейцы и штатские.

Александр Ивановну отвели в другую комнату. Оставшиеся люди в первой комнате не двигались, шептались между собой, словно там умирал тяжело больной человек, и все затихли, чтобы дать ему спокойно умереть и чтобы, когда он умрет, встать, задвигать стульями, заговорить.

Молчаливого человека впустили с лестницы, дали ему войти в комнату и... остолбенеть.

Его, с аккуратно упакованным сверточком мануфактуры, протолкнули к Александре Ивановне и, на ходу ошаривая карманы пальтишка, взведя наганы, посадили на стул.

— Оп-п-ознаёте?! — насмешливо вскрикнул маленький круглоголовый черный человек с изогнутыми ногами, как разрезанный надвое обруч с бочонка.

В столь ужасную минуту Александра Ивановна почему-то увидела только одни эти загребавшие комнату ноги и подумала, что маленький человек, конечно же, бывший сапожник. Она лечила сапожников и всегда узнавала их, когда они входили в приемную амбулатории.

Сапожник не стал ждать ответа:

— Отказываетесь оп-познавать?

— К-кого? — сказала Александра Ивановна, хорошо помня условие с молчаливым человеком.

Сапожник грубо захохотал и проколесил в середине комнаты какой-то такой насмешливый кружок:

— А вот его!

И сапожник зажал плечо почтальона короткими, темно-багровыми, как обрубки морщинистой завялой моркови, пальцами:

— Незнакомы? Хо-хо!..

Он вырвал у почтальона сверток, раскупорил его одним рывком, поймал на лету белый вылетевший конверт, словно остриг ногтем краешек и поднес его к пенсне ошеломленной Александры Ивановны, успевая взглянуть на подпись:

— Миля!

И не стал больше ни о чем спрашивать, подмигнув красноармейцам на старуху.

Александра Ивановна услышала, как уже в соседней комнате, — она даже удивилась, когда он успел туда откатиться на своих колесах, — он схватил телефонную трубку. И еще больше затряслась старуха, когда он лайкнул знакомый, будто огромными афишными цифрами обозначавшийся в воздухе, от пола до потолка, номер телефона:

— Товарищ Леонид? Есть! Готово! Спасибо! Жду! Увезем! Изолировать!

«Леонид! Леонид!» — возмутилось и заплакало невидимым плачем все в Александре Ивановне. Плечи ее начали подгибаться, опускаться; в животе заколыхалось и задрожало, забулькало; рот раскрылся смешно и широко; глаза под пенсне остановились, как проколотые, внезапно потерявшие способность видеть, всплывшие на слезах...

Сапожник звонил в другое место, вызывая автомобиль:

— Подавай! Прямо к подъезду!

Александра Ивановна, сгорбившись, влезла в черный фургон, почему-то показавшийся ей огромной собачьей будкой с небольшими, как продолговатые пряники, отверстиями вверху, за прямой изгородью железных прутьев. Молчаливого человека отсадили от Александры Ивановны подальше, заняв лавочку между ними красноармейцами.

Ковылял, и гудел, и шипел «черный ворон». Молчаливый человек будто даже с довольным видом поглядывал на свои руки, поворачивал их на свет, старательно счистил с ногтя какое-то приставшее черное пятнышко и поднес ноготь ближе к глазам.

Александра Ивановна никак не могла забыть сапожника, разговаривавшего с Леонидом, с ее племянником, с братом Миля.

Черный ворон выскочил с ревом из узкой щели проулка на площадь. Солнечный удар лучей врезался в прорешину, помазал по лицу теплой золотой лапкой, опрокинулся блюдечком, завертелся в глазах на косом повороте — и Александре Ивановне неопровержимо показалось, что «Леонид» на Чистых прудах был не Говорков.

Конечно же, это было так! Чекисты враз пришли и к ней, и к Лаврентию. И все понятно. И стало легче, словно Александра Ивановна ехала не на «черном воро-

не», а на просторном стеклянном трамвае, и совсем не на Лубянку, а в обратную сторону — к Красным воротам.

Лаврентий Иванович прыгал по Харитоньевскому переулку, торопясь домой, как всегда, к шести часам.

Он давно разграничил свою жизнь на две половинки: ненастоящая, до шести, и настоящая, после шести. В последней были паровитые запахи всякого обеда, даже в голодовку, хлопотунчик-самовар, неумоимо переливавшийся под медным воротником: хлоп-хлоп-хлоп и немецкая кофейница, начавшая свою трудовую службу с приездом Леонида, доставлявшего ей бензинное питье. А главное, вечер, длинный, серьезный, молчаливый... Только на кухне разговаривают купающиеся в тазу тарелки после обеда, рассыпаются ножи, иногда падают, — и стучит дверь на черный ход, к большому ящику. Этот ящик каждое утро, только поднимался Лаврентий Иванович, Марья Петровна уже проснулась вместе с примусом-гудуном, — жирно волок дворник со ступеньки на ступеньку в выгребную яму. Ах, милые, милые вечера!

Ламповый огонь наморщил свой лоб под абажуром, и кинул абажур темную занавесь под потолок на книжный шкаф, где спрятан золотой — нет, уже несколько золотых — под разными указующими безопасными знаками, зеленое сукно стола с черникой брызгливого пера да затасканная, как дворницкая рукавица, книга из библиотеки имени И. С. Тургенева у Сретенского бульвара.

Это вечернее — настоящее и любимое! Ненастоящее, советское, большевистское — до шести. Там утро, школа, «черный ворон» и нечистые улицы, уступающие довоенным и переименованные.

Вечером приходили, как неотвратимая ничем мгла, воспоминания. Раньше всего попечитель Камзолкин. Приезжал попечитель Камзолкин на выпускные экзамены, сам физик, благодарил и угощал обедом преподавателей, прельщаясь поголовным решением гимназистами задачи Роберта Майера.

Камзолкин любил экзамены таинственные, обстановочные. Гимназисты сгонялись вниз, в швейцарскую. На огромной лестнице, ведущей во второй этаж, стояли педеля. И самый из них начальственный, жирный, словно надутый мешок, рыжевласый поэт, воспевавший тезоименитство государя императора самодержца всероссийского

Николая Александровича в особоизданной книжице, прозываемый за свою багровость, водянистость и способность на виду зеленеть и созревать под оком начальства помидором, обыкновенным помидором — Яков Яковлевич Самолучшев. В его руках была судьба... Беленькая, юркая, скользящая бумажка, переходя из рук в руки, достигала последнего педея — Якова Яковлевича Самолучшева.

И тогда громко возглашалась фамилия обреченного. И его вели по лестнице тихонько, степенно. Он норовил перешагнуть через ступеньку, что запрещалось, он норовил нырнуть вперед. У стеклянной двери в зал делали стойку, чтобы унять скачущее сердце гимназиста, легонько толкали вперед. Он слепо и прямо, остолбенело глядя на стол между белых коренастых колонн, шел к нему так же долго, как из дома в гимназию.

И тут взвивалась в бенгальской рамке радости задача Роберта Майера! Каждый год задачу подготавливали за два месяца до экзамена, и Лаврентий Иванович переспрашивал каждого, зашуривая глаза, в сладостном неведении за его судьбу.

Со второго трехлетия попечительствования Камзолкина над вверенной ему гимназией снизошло на него сие увлечение Робертом Майером. До того он, грустно глядя грустными глазами на грустную жертву, не осмысляющую вечные законы физики, грустно резал, гоня, как на псовой охоте за зайцами, огромно-усатого восьмиклассника по всему полнотелому брусу Краевича.

Попечитель Камзолкин начинался за вечерним чаем. Потом переходил Лаврентий Иванович к осмеянию градоначальника, сказавшего, что на свете существуют только верноподданные и никакое иное естество не рождается, задевая попутно московского воеводу и боярина Льва Борисовича Каменева. Потом Лаврентий Иванович славил Татьянин день с пьяными белоподкладочными студентами в мундирах времен городничих, с игрушками прямых шпажонков, с молодившимися под студентов профессорами-лакеями. Потом шли ордена. А главное, устойчивое: квартира из пяти комнат, заселенная теперь большевистскими верноподданными-трудящимися; Охотный ряд с икоркой, тестовские пироги-расстегаи, блины с навагой и белозерским сметком, лук, лучок, жареный луканчик; театр Корша; Иван Великий, ударяющий первым над Москвой в пасхальную ночь — и вежливые,

в мундире, с университетским значком, с академической лентой, «Русские ведомости», кивающие не без скрытого умысла на ступеньки трона!..

А люди-то... а люди-то? А Савва Морозов? А Бахрушинское общежитие со вдовьим домом? А граф Уваров и археологическое общество? А московские клиники? А Третьяков? А мытищинская вода?

Лаврентий Иванович осуждал советскую власть. Он хитро, иронически выглядывал из-за самовара на противника, хотя противник был воображаемый, так как сидели против него только двое безобидных неслушающих задумчивых человека: Александра Ивановна и Марья Петровна. Но все то, что он говорил и хотел сказать, сказала раньше Александра Ивановна, а он только математической своей памятью дословно запомнил, а Марья Петровна думала так, как говорил Лаврентий Иванович.

— Хе-хе! — желчился Лаврентий Иванович. — Ра-а-скри-ча-а-лись! Свобода! Один с крыши, другой с погреба! Царь нас не гонял с трубами по улицам! Пре-ед-ста-ви-тели! Де-пу-та-ты! Чле-нны! Та-бу-ны всяких представителей... а потом представители от во-до-про-во-да и ка-на-ли-за-ции! Ха-ха!.. Сбились с дороги! Вбок, вбок! Шарахнули — с проселочку, по болотцам, носы расквашивают, животики, животики-с трясут-с, мотает в чертовой стороне, как лошадиный хвост. Пусть, пусть поколесят! Я говорю: когда выберутся на прежнюю дорогу, дорогу испытанную, езжалую, на то же самое место, от которого свернули, — тогда дальше и поедут. Хе-хе!.. Поумнеют — и не заманишь больше на кочерыжки наши лесные! А пока мра-а-ак! Не о-до-бря-ю-ю! Чер-то-по-лох! И народу, народу за собой увели тьму! И о-глу-пи-ли на-р-од! На Чистых прудах, и то падёж!

В тот вечер он важно и наглядно убедился в справедливости своего непреклонного мнения, и ему не пришлось вкусить вечерних воспоминаний.

— Вот что, — прямо за обедом сказал Леонид, — я должен вас предупредить об одной неприятности. Избежать ее нельзя. Волноваться вам нечего.

Старики уже перестали есть, разевая рты.

— Все, конечно, пустяки. Для вас — одна проформа. Мы быстро ликвидируем, насколько позволят обстоятельства. Сегодня арестована тетенька Александра Ивановна.

— Как? — закашлялся отец, кидаясь глазами к шкапику с золотыми.

Марья Петровна потупила глаза, успев осудительно упрекнуть ими сына.

— Пришли и увезли. С ней прихватили вашего лондонского рассыльного. Может быть, сегодня же приедут за вами. Я нарочно сижу дома, чтобы не так было страшно вам. Я уже сговорился с Чекой. Посидите, — не могу ручаться, сколько, — и выпустят. Я начну хлопоты завтра же обо всех. Возьму вас на поруки. Только спокойно рассказывайте всё: как получали письма, посылки, деньги, сколько времени получали, сколько получили и т. д. Подготовьтесь и подсчитайте, а то в дознании будет путаница. Берут вас исключительно для того, чтобы не было лишних разговоров, чтобы не повредить следствию над английскими шпионами. Могут не все влопаться — удерут. У тетеньки будет засада. Может, пошлют туда другого почтальона из Лондона. И его следует поймать! Вам ничего не будет. В крайнем случае — условное осуждение. Дочь же: ничего не знали, не предполагали и прочее. Это я говорю секретно. Я не должен был бы обучать, но что уж поделаешь — покривлю немного душой! Вроде как рецептами на водку в полку...

Суп остывал. Старики с ужасом уставились на Леонида, на его жующий аппетитно рот и небрежно выкидывающий жуткие и необычайные слова. Когда он чуть приостанавливался, чмокая и прожевывая куски, не торопился, ужас усиливался. Мальчик, их Леонид, мог быть так непонятно спокоен, отправляя родителей к палачам Чека? Нет, жизнь не та, не та!

— Вы бросьте печалиться, — продолжал равнодушно, — и не выдумывайте ужасов. Чека — одно из учреждений советской власти, вроде милиции... Только чуть поостроже... и лапы у нее позагребистей. Пятки вам там не будут жечь каленым железом. Не увидите зря ни одного пистолета. Жертвы у стенок не стоят, кто этого себе не заработал. А будут кормить вас весьма недурным обедом. Все ваши обязанности — ходить на допросы. Мне — главная неприятность: придется в райкоме давать подробные объяснения, а при чистке жестоко отбиваться по линии происхождения Леонида Лаврентьевича Говоркова.

— Леонид! — затрясся старик. — Откуда... ты все это знаешь?

И Лаврентий Иванович повернул очки на Марью Петровну. Сын выручил мать:

— Ты от меня скрыл. Твое дело. Поступил ты... мне не нравится. Но я же коммунист, папа. За домом тетеньки было наблюдение. А почему наблюдение? Да потому, что Советская Россия, кроме явных врагов, имеет врагов тайных. Она ищет их. И до сих пор довольно удачно находила. Напали на след английской шпионской организации. И принялись за поиски. Чека имеет сводки о каждом доме. Случайно выследили. И... накрыли. Это все очень просто.

— Но... но... а ты?!

— Я же у тетеньки бывал. И меня выследили. И за нами установили наблюдение. По партийной линии меня допрашивали недели две назад.

— И ты... ты нам не сказал?..

Леонид вместо ответа обратился к матери:

— Отрежь-ка мне, мама, еще кусочек мяса. Во-он тот, с жиром, очень уж выглядит соблазнительно. Ну, чем не бывлые райские времена? Даже жир по-старому на русских коровах! Обкладываются, обкладываются жирком! А вы все жалуетесь!

Положив на тарелку жирный кусок, отрезанный дрожащими, испуганными руками матери, он резко повернулся к отцу:

— Не сказал? И не мог сказать! И не должен! Да ведь это не только личная удача секретного агента Чека, это и моя удача, партии, советской власти! Пойман враг. Я должен оказать помощь всеми моими силами и способностями. А я буду разглагольствовать? Тут, папа, своя математика. Отец, мать?.. Положение, конечно, труднее, чем с посторонними людьми. На этом свихиваются. Наоборот, я очень рад, что так это смастерилось. Вы невольно вовлеклись в полезное дело. А Милька — та молодец! Удумала хорошую штуку! Это, видно, зубки угольного короля. Милька оказала первую услугу революции. Сначала жена белогвардейца, потом жена капиталиста, злейшего врага советской власти... Но мы и тут нажили! Нам и отеческие, и материнские, и дочерние чувства пошли впрок! Я ей черкну, непременно черкну благодарность!

Лаврентий Иванович, волнуясь, полуплача, несмело и горестно уронил:

— Какой цинизм! Какая оголенность мысли! Какая формула вместо сердца! Леонид, ты, ты не мой... не наш. Ты, ты...

Старик вышел из-за стола и отковылял к своему книжному шкапу:

— Ты... Ты... Не знаю... зачем живешь с нами?..

Леонид серьезно ответил:

— Да перестань, папа, драматизировать в духе «отцов и детей»! Не могу же я тебе объясняться в любви. Это самоочевидно. Какие тут могут быть сомнения? Не цинизма, не формулы, а чистейшая диалектика. Я же не примазался к коммунистам, а так думаю и чувствую. А как думаю, так делаю. На юге Манечка у нас была, коммунистка. Она осталась в тылу у белых. Мы связались с ней через политчасть армии. Девственница была. Она сознательно охотилась за офицерами из белой контрразведки, чтобы быть полезной партии. Отдалась она главному там прохвосту. И долго работала успешно, пока не попалась. Сама... добровольно пошла на этот ужас! Да, если бы наша партия послала наших комсомолок-девственниц на то же самое дело, они бы пошли не дрогнув. Даже, допускаю,— уверен,— стали бы проситься назначить их... А тут пустая отсидка, изоляция! И весь этот интеллигентский разговор. Мы, папа, навалили себе на плечи большую гору, прем ее. Какие тут церемонии, когда по дороге под ногами бегают, подкладывают камни?

Марья Петровна не произносила ни одного слова. Она додумывала первые предупреждающие слова сына и никак не могла примириться с тем, что ее должны увезти из этой, такой уютной, мирной, никому не мешающей комнаты. Она уже не могла не глядеть на дверь, ожидая страшных гостей. Она корила себя за то, что не уберегла тайны, но сердце ее растоплялось нежностью, что сын скрыл от отца ее предательство.

— И даже нас ты бы мог отдать палачу! — задирчиво, бесясь, крикнул Лаврентий Иванович.

— При чем тут палач и какой палач? — поморщился Леонид.— Папа, бутафории и мелодрамы отжили свое время. Конечно, если бы ты сделал сознательно вредный поступок против нас, я бы сам тебя отвез куда следует. На душе у меня было бы мерзко и от того, что ты сделал, и оттого, что ты мой отец, и оттого, что я твой сын. Мне было бы жалко тебя до слез, до крика, и похудел бы я, и перестал бы есть — и прочие человеческие явления!..

Злорадство было бы и слишком, и мучительно! Но от этого не могло бы измениться мое отношение. Это совсем не по Апокалипсису: отцы против детей и дети против отцов. Это было бы так: мы родны по крови, но враги — по точке зрения на человеческую жизнь, на ее развитие. Это, папа, два колеса: одно катится с горы, другое на гору. Они рядом не могут пойти. Они могут столкнуться и разбиться или одно ляжет, другое пойдет дальше. Или же, что редко бывает, колесо, которое взбирается в гору, повернет обратно, убегая или догоняя. Мы — колесо, которое бежит с горы, а ты — колесо, которое взбирается...

Лаврентий Иванович в какой-то подавленности, тоске твердил:

— Н-не понимаю! Не могу осилить скудным своим умом! Сестра пишет отцу с матерью. Как-то устраивает помощь! Тут брат радуется... какой-то там ерунде... враги... капиталисты... буржуи!.. Родителей увозят... И опять все естественно! Где же человек-то? Где же эта не последняя... тварь на земле? Ей, ей что остается? Да знаешь ли ты: сестра твоя, может, из-за любви своей к нам человека на смерть послала? Что же она должна испытывать теперь? Молчи, молчи лучше! Не скверни ее чувства боли за человека своими к-каннибальскими взглядами! Откуда в тебе эта черствость... механизм?..

Леонид тоже перестал есть, оставив на тарелке кусок. Он жалеючи подошел к старику. Но тот хотел отодвинуться. Сын понял — и остановился в отдалении, словно не замечая движения отца.

— Человек, человек, папа, боль за человека! Нами только эта боль и руководит. И так и эдак. И от человека к человечеству и от человечества к человеку. Мы счастья хотим человечеству, только человечеству угнетенному. А такого больше. Угнетателей кучки, а угнетенных миллионы. Вы человека жалеете, возводите его черт знает на какую высоту, но человека вы возводите с выбором, своего, в манишке, в хороших башмаках, в английских брюках, с достойными манерами. Словом, возводите угнетателя. А до человечества вам нет никакого дела. Человечество для вас все остальное — грубое, рваное, михрютное, то есть трудовой народ. Мы иначе: мы не трогаем этих ваших избранных, не обдираем с них шкуры, если они не мешают нам, не оспаривают наших неоспоримых прав, мы даже даем им доживать. Но мы ясно

и отчетливо знаем: они не могут смириться добровольно, добровольно соскочить с хребта трудящихся, не жить на чужой счет, не бороться за возвращение к своему господству. И тогда мы делаем беспощадный вывод: уничтожить! Кто же из нас болеет более за человечество? Лучше убить, убить, конечно, при необходимости делать это противное дело, убить в лоб, миллион, два миллиона, чем дозволить убить им миллиард. Угнетатели умеют убивать с прохладцей, по-постному, надламывая здоровье, силы трудящихся. Но разве от этого убийство теряет свою сущность? Не-ет! Они мастера елейничать. Они благоухают духами, розовыми маслами, медом, а под пиджаками, под сюртуками у них топоры и более усовершенствованные орудия истребления. Они говорят: не трогайте ни одной слезинки. Для большей жалости слезинку берут в препарат — детскую. У-ми-ле-ние! А сами хлещут слезы ушатами, цистернами, выжимают их, как ливень из туч! У миллионов детей хрустят кости от их жальчивости, и ноги кривые, и головы на плечах не держатся, и кладут детей бедняков в землю целыми городами, деревнями, странами! Мы за малые слезы! Пускай они, угнетатели, испытают вкус слез! Пускай они поплачут! И даже дети их. Мы должны опрокинуть ушаты, цистерны слез, мы должны самые эти сосуды, ужасы эти уничтожить. Кто же из нас более гуманен? Вы против слезинки, мы против слез!

Леонид ближе подошел к отцу. Тот морщился и дулся, краснея и задыхаясь.

— Вот мы, папа, какие монологи закатываем. Ты за Милю? И я за нее. Никого она на смерть не посылала. Тут Эванс, угольный король, английское правительство, английские консерваторы. Они имеют здесь своих людишек. Конечно, не англичан. Они всегда находят негодяев в среде того народа, — а у каждого народа есть негодяи, — которому пакостят. Эти негодяи работают для них за мзду. Они доставляют им нужные сведения о нашем вооружении, работе, пропаганде, о наших неудачах и бедствиях. Они ослабляют нас. Они поджидают удобную минуту, чтобы прокусить нам горло. Один из таких людишек заносил по пути письма и посылки вам. Обслуживал вас. Угольный король протер свое сластолюбие до риска более для него важными целями. Он приспособил его в качестве рассыльного. А этому все равно: лишь бы платили. Не жалкие ваши кофейные и шоколад-

ные посылки важны, не вы сами, виновные в пустяках, в формальном нарушении закона, а важно из этой мелочи выкроить то главное, что эти герои делают. Тут никого никто на смерть не посылает: тут торговля жизнью!

Раздался резкий звонок у двери. Марья Петровна приподнялась и, так и не распрямляясь, осталась стоять. Лаврентий Иванович боязливо завертел головой и наконец зажал лицо руками, прислоняясь к шкапу и выдавливая стекло. Он отклонился как будто для того, чтобы стекло могло свободно вывалиться на пол, и опять прижался.

Леонид в возбуждении, изменившим ему голосом бросил, торопясь к дверям:

— Может быть, уже они!

Он вернулся, успокаиваясь:

— Жилец. Мы все забыли, что к нему звонят один раз.

Леонид тихонько засмеялся:

— Видишь, папа, и я спутался. Не совсем, значит, бесчувственная натура. Что-то такое и меня сбивает. Не убалансировал!..

Лаврентий Иванович как-то странно убежал в другую комнату. Марья Петровна огляделась и тихонько шепнула сыну:

— Леня! Леня! Как ты сделал нехорошо!..

Леонид нежно закрыл ей рот рукой, целуя ее в щеку. И мать поддалась ласке, осваивалась, шептала:

— Леня, белье можно взять с собой? Ты сам-то не проговорись смотри! Курил английские сигаретки и кофе пил. Ты так и скажи: столуюсь-де от них отдельно, а живем в одной квартире. Я не скажу, как доллары меняла. Это ничего?

— Нет, лучше скажи,— учил сын,— если... спросят. Ты успокаивай папу. Вас продержат, я думаю, недолго. Я буду ходить навещать вас.

Марья Петровна наставляла его:

— Леня, ты за квартирой хорошенько следи. А то всё разворуют и жильцы, и дворники, и швейцар. Швейцар у нас примус три года назад украл.

Сын шутил:

— Не беспокойся, уберегу все. Застрелю вора на месте за нашу.. самоварную трубу! И к тетке сбегаю поглядеть!

Марья Петровна прислушалась к какому-то странному тихому клочкотанию в соседней комнате: там кашлял

Лаврентий Иванович и громко сморкался. И опять зашептала:

— Если тебе деньги понадобятся — они у меня в гладильную доску зашиты. Подпори с круглого конца — и бери сколько надо. Миля еще придет.

— До-ста-анем! — весело усмехнулся Леонид и шутил: — Золотые, мамочка, нельзя?

Марья Петровна уже грустила: шутки его не приняла, только вздохнула и укоризненно обняла глазами гладкий бобрик его головы.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Людмиле Лаврентьевне Говорковой-Засецкой-Эванс. Пишем тебе вкупе, все четверо. И опять прибегаем к конспиративным способам. Ваш человеколюбивый Макдональд удостоил признанием бедную нашу Республику Советов, но не дал нам возможности общаться с тобой непосредственно, с полной откровенностью. Мы боимся, что письмо наше покажется чересчур опасным для английского королевства. Наш парень доставит тебе его прямо на руки.

На Чистых прудах у нас было землетрясение. После землетрясения началадохнуть рыба в Чистых прудах. Теперь все успокоилось. Оттого долго и не писали. И папа, и мама, и тетенька были арестованы и четыре месяца просидели в малоизвестном учреждении в Англии, называющемся Чрезвычайная Комиссия, или ГПУ. Учреждение это помещается на Лубянке и весьма комфортабельно по виду: светлое, высокое, на солнечную сторону. Один часовой с ружьем ходит по тротуару и мешает останавливаться курильщикам. Других особенных следов никаких нет. Обычная советская канцелярия, где скрипят перья, завывают в торжественных кабинетах, посетители, как мужики на станции, дожидаются приема, все бегают, трещат звонки, и швейцар молчаливо переставляет калоши, спутав номера. Одна, впрочем, резкая особенность есть у Лубянки. Здание это охотно посещается населением. У дверей бывает толчея. Преимущественно женщины. Но ты никогда не увидишь среди этой толпы просто и скромно одетой женщины. Тут все накрашено, в манто, в соболях, в обезьянках, в шелковых чулках, в котиках... Толчея чисто аристократическая!

Трудовой наш народ равнодушен к этому зданию и не имеет надобности стоять в очереди у его знаменитого подъезда. Ты подумай, как была бы богата посещениями такая же организация, заведись она в Англии! У вас нетронутые плантации лордов, сэров, леди и мисс. Ты, наверное бы, встала среди первых. Первая сейчас, первая и тогда!

Папа в Чеке поправился и обучал своих караульных солдат четырем правилам арифметики. Очень доволен результатами: ребята оказались понятливыми. Мама стала еще шире, чуточку только одутловатее и желтее. Но старуха у нас крепыш. В Чеке усиленно шила мне белье, даже на заказ я ей носил от товарищей. Тетенька наоборот: тонка, как голодный индус. Есть такая страна Индия под владычеством Англии. Ты, наверное, теперь забыла географию, я тебе и напоминаю, даже географическими терминами. В этой Индии живут несчастнейшие рабочие и крестьяне — индусы. В Англии, по всей вероятности, мало распространены фотографии с них. Тебе не приходилось, конечно, лицезреть! Мы тут видали. Это длинные, тонкие человеческие кости, обтянутые черноватой кожей. Это живые, еще не открытые мощи. Часть мяса с них лежит и на тебе, и на твоём угольном короле. Английские богачи умело приучают индусов иссыхать и отдавать им свои необработанные земли.

У тетеньки голова, шея и пенсне представляют собою один длинный лорнет. Она старательно пьет железо, каждый день осматривает себя и находит, что преодолееет свое нервное похудание. Один я здоров, изображая из себя раскорячившийся треножник, на который облокачиваются старики и который иногда колеблется своим брюзжанием.

Ты бежишь, не знаю, не потускневшими ли глазами, по строчкам, отыскивая главное. Помаленьку доберемся и до него. Недоумевать не надо!

Сегодня только закончился процесс об английских шпионах. Высшая мера наказания тебе понятна из гражданской войны. Твой бывший муж в этом весьма усердствовал, и его любимое блюдо часто подавалось и у Колчака, и у Деникина, и у Каледина, и у Врангеля. Казнили мы четверых. Твои родители и тетенька получили по два года тюрьмы условно. Это по-нашему то же самое, что сидеть у себя в квартире, как бы в тюрьме, без часовых и без частокла, — это за твои посылки, деньги и письма.

Видишь, как дорого расценивается любовь в нашем отечестве!

Сие есть дело второго твоего мужа. Он в припадке чувств к тебе приспособил для разности твоих даров своего шпиона. Чтобы не было у тебя обиды и не показались мои слова передержкой — я уточню. Не непосредственно, конечно, твоего мужа, а той трогательной стайки английских эксплуататоров, предводительствуемых шахтовладельцем Оскаром Эвансом, именуемых английским правительством, парламентом и т. д. Так сказать, общего агента, содержимого на общем коште и опекаемого круговой порукой.

Но боже, какие дальше следуют грехопадения. Уже мои. Старички спрятались от меня, полагая, что красная кровь, текущая во мне, опасна. Они не ошиблись. Они даже дурачили меня. Особенно тетенька. А мама мне все рассказала. Я словно повалился с высокой крыши головой вниз на мостовую, но ухитрился в воздухе сделать мертвую петлю, восьмерочку, и встал на ноги, малость потряхнув мозги. При моем ближайшем участии чекушки наши выудили шпиона, когда он нырнул в тетенькину квартиру. За ним уловили еще троих. И сегодня приговорили. Не подумай, что они награждены из-за тебя! Не-ет! Тебе даже следует высказать благодарность: ты случайно оказала первую услугу революции. За посылочками удалось найти военный шпионаж, порядочные деньги, пригодившиеся нашему правительству, восстания в нескольких городах и сельских весях, взрывы мостов — и слухи, слухи, слухи, как мухи, облепившие на рынке на лотке жареную печенку. В подробности вдаюсь, чтобы удовлетворить твое женское любопытство. У нас в женотделах женщины стали менее любопытны, но в отношении тебя я хочу остаться архаичным.

Шуточное мое письмо да не покажется тебе издевательством и злорадством. Нет, нет! Но я без всякого вульгарного позирования скажу тебе: я сегодня удовлетворен, я счастлив, я весел. Такое же чувство у меня было на войне, когда удавалось отбивать у белых аршин нашей земли. Там это — с пушками, с ранеными, с пожарами, а тут втихомолку. Но явления одного порядка. Я испорчу настроение Оскару Эвансу! Не обессудь! Но сколько, но сколько нам удалось сэкономить человеческих слез! Всякий неудавшийся заговор, раскрытое восстание, вырванный с языком слух—это не успевшие упасть слезы.

Оскар Эванс, конечно, снова приобретет экземпляры из зоологического сада человеческой породы для продолжения охоты в наших измученных, исковерканных, обнищавших полях и городах,— но те, вытертые раньше и недозволенные слезы, уже не прольются.

Старики, как и ты сейчас, были огорошены, но прижились. Прости меня за прозаический и невесторженный язык мой. Не умею. У нас в роду все математики. И розы только чайные, в горшках на подоконниках. Одна ты за нас за всех возишься всю жизнь с цветами. Плати, плати и дальше эту дань!

Изложив события, как они развивались и прервали наши отношения неизвестностью, усугубленной разлукой, хочу закончить некоторым призывом к тебе. Мы здесь стали очень штампованными, не устаем призывать и призывать, несмотря на то, что все «широкие натуры» в Европе и наши доморожденные презрительно шуряются на нашу у-з-о-с-ть. Наши учреждения кажутся им скучными, жалкими потугами что-то такое создать необыкновенное — сверхособенное, в то время как мы — такие неученые, неподготовленные, заменяющие культуру дерзостью. Ох! Как нас часто и во многом обвиняют. Особенно интересуются нашими лбами и никак не находят в них семи пядей. Мы упорствуем и не сдаемся. Мы не доказываем обратного, с улыбкой воспринимаем укоры, фанатически веря, сомневаясь, но не умея побороть в себе веры в должное и неизбежное. Нас засыпали громкими и ядовитыми фразами, посеяли нашу землю уколами, как хлебами. Н-не слу-ша-ем-ся! Мы упорны, как они, наши хулители, настойчивы. Мы трудолюбиво вдалбливаем нелюбимые вами мысли в головы трудящихся. Как слепцы, напрягающие свое зрение, хотят видеть,— мы не оглядываемся, как звучат наши слова, не однообразны ли, не кажутся ли они в партере даже пошлыми: мы глядим на галерку и о ней голодаем, только о ней! Мы вкладываем в наши слова наши чувства. Слов не хватает, они корявы, часто даже кажутся выхолощенными, пустозвонными, выкапавшими кровью, побледневшими,— мы помогаем им глазами, жестами, извилистыми нашими интонациями. И нас понимают за словами, за некрасивым нашим оперением.

Мы очень расчетливы. Мы пришли в мир, чтобы извлекать из него пользу, устранять все, что мешает человеку этим миром пользоваться. Так вот и я тебе пишу

не под наплывом братских чувств, — они законны, — мною руководит некоторая хитрость и неловкость. стыдно мне иногда бывает думать о моей сестре. Незадачливая у ней жизнь. Лет десять она живет только для своих мужей. То есть делает то, что делали и делают до сих пор миллионы женщин. Одного мужа она приобрела на пароходе, другого — в поезде. Первый был палач и второй палач. Первого, если бы удалось его поймать здесь, я просил бы, как высшей награды, как ордена Красного Знамени, позволить мне убрать из жизни. Второго также. Прости беспощадную откровенность. В райкоме, в анкетах, в ячейке, я невольно чувствую себя будто какой-то частью моей души нечистым, когда вспоминаю тебя. Моя сестра по ту сторону от меня. Старики — те понятно. Это старые, подгнившие срубы. Они — на дрова. В новом доме старые бревна не нужны. Если в ящике с яблоками есть гнилые яблоки, хороший хозяин отбирает гнилые и выбрасывает их. Хорош же был бы он, оставляя их и тем уменьшая свежесть набора.

Милая, твоя профессия до сего времени была любовь. А ведь ты моложе меня только на два года. Когда же думать, когда же что-нибудь делать на земле?

Я и слово «милая» употребляю сознательно, чтобы подкупить тебя и расположить. И даже не так: а не верю я, чтобы ты руководилась какими-то противоположными мне убеждениями. У тебя их нет. Я читал все твои письма. Так что же меня может останавливать? А какая в этом грусть, какое могущество мужчины над женщиной! Миллионы их думают чужими мыслями. Я и тут узок, я и тут действую по программе. Но как полезно было бы, если бы женщины начали думать самостоятельно! Да, да! Многим из них революция показалась бы иной. Не подумай, что я зову тебя в коммунистки! Ты не годишься. Партия наша пускает интеллигенцию в свои ряды с выбором и очень неохотно. Она боится, как бы эти дряблые существа не вызвали дряблости в ее ногах. Но ведь все возможно: кой-какую пользу можно извлечь и из тебя. Некоторые приходят поздно, но уверенно. Если на тебя можно рукой махнуть, то как было бы ценно вырвать твоего мальчишку, племянника моего — и сделать его революционером! Пропадает полезная поросль! В них ведь самое ценное, в них все будущее человечества. Ты подумай: сына вешателя, мясника, нырявшего в крови рабочих и крестьян Республики

Советов, сделать революционером?! Да ведь это лучшая оплата и за тебя и за твои страдания — и заслуга и оправдание перед трудящимися! Его бы к нам сюда! В пионеры. Это вроде английских бойскаутов, только с красными галстучками на шее, без бога, королей, капиталистов, собственности, на воздухе, в лагерях! Не подумай: это потешные Николая Второго. Это выметанная икра будущего. В ужасе ахают над пионерами только те, кто втайне понимает; как пионерство рано закладывает в детские переживания самостоятельность, а следовательно — и самостоятельность мысли, чувств, поступков. Ведь вырываются из рук те мальчишки-скромники и застенчивые девочки, которые удобны и родителям, и государству, и церкви, и всем заставам и рогулькам, загораживающим путь к свободе. Эх, как бы мы здесь твоего мальчика обработали. Посеяли бы в нем озимый заряд! У нас, конечно, меньше шоколаду, но больше любви, больше человечности! Отдай нам своего маленького гражданина. Боюсь, в Лондоне, если успеет, вырастет деревцо кособокое, папашинское. Придется мне и с ним тягаться, как с отцом.

Ты давно уже не была в России. Здесь старого нет в помине. Сколько народилось нового народишку! Они никогда не видали городского, не слыхали о царе, смешон им поп своим халатом, отцов и матерей их не бьют по лицу хозяева, они никому не кланяются по-великопостному в пояс, не загоняют их нагайками во дворы казаки, не волокут по участкам!

У нас даже евреев перестали резать. Правда, бормочут, что много их сидит по разным учреждениям, больше старой процентной нормы, — но старого не воротишь! Живем мы неказисто, бедно, разорены мы войнами, во всем недостаток, товары наши плохи, живем мы по квартирам верхом друг на друге, в грязи, в духоте. Но ты помнишь, как бежала на корабле, как тебя выгнали из России красноармейцы в лаптях, босиком, с сучковатыми палками, выгнали тебя со всеми твоими пушками, танками, шегольскими френчами и начищенными сапогами. Теперь то же самое. На фабричных трубах у нас недавно висели красные флаги, а дыму из труб не было. Рабочие на дворах митинговали, а на десятерых один зипунишка. Ели мы, как собаки, одну овсянку, хуже — колоб, древесную кору, хлеб выдумывали из моху. Мы собирали еловые шишки на отопление наших паров-

возов, словно для самоваров. Мы ездили по железным дорогам вперегонки со стариками-богомольцами. Те обгоняли. Мужики с извозом обгоняли. Бывшие губернаторы у нас сапоги шьют, огородничают, в кино играют на флейтах и виолончелях. Капиталисты, которых вы не успели захватить, служат сторожами на утилизационных складах или присматривают за своими бывшими владениями.

Мы выносливы, как сама земля. Худо, тихо, через силу, через натугу,— но мы строим нашу жизнь. И взрослые и маленькие. Шли мы тут с тетенькой по Никольской улице. Поздненько. Водил я тетеньку слушать Троцкого. Впереди нас шли девочка и мальчик, лет по двенадцати, по тринадцати. Рядом, видимо, отец и мать. У какого-то треста на каменном выступе, узком, коротком, рот кверху, в тулупе, спал сторож. Дети остановились против него. Родители их подталкивали вперед. Мы обогнали. Тетенька вслух пожалела сторожа:

— Бедный! Как устал! Как ему неудобно!

Вдруг сзади слышим пренебрежительные детские голоса:

— Сторож, а спит!

Это сказал мальчик, а девочка добавила:

— Не знает своих обязанностей.

Это два мира. Это — молодая, чувствующая свои обязанности Республика Советов. Отчетливая, ясная, без ужимок и жальчивых восклицаний, прозаичная, расчетливая, земляная, не взбирающаяся на небеса, когда не поставишь туда лестницы. Это одно. Другое. У нас очень развелось много волков — перебиты охотники в войнах. Еще больше волков на наших границах. Ты представь: на тысячи верст голова к голове стоят на границах волки и воют в нашу сторону и белыми клыками постукивают.

Мы очень одиноки, но мы сами по себе, мы независимы. Казалось бы, мы так слабы, что не стоило обращать на нас внимание? Но мы, как лондонский туман, который взял бы и начал расползаться по всей земле. Его не остановишь никак! Нас душат за горло, мы хрипим, извиваемся и глубже уходим в нашу землю. Нас бы с радостью окопали от всего света, отрезали бы от земного шара и оттолкнули бы в пустоту с таким жирным, довольным хохотом. Вы бы подрывивали с визгом на месте, когда мы полетели бы вверх тормашками, к черту, в мировую дыру! Мы — прилив и отлив. Нас можно остановить,

но задержать нас нельзя. Мы постоянно накапливаемся — и никогда не убываем. У нас трещит от трудностей спина.

Ты тоже увеличиваешь наши страдания, спокойно смотришь издали на свою страну. Ты с теми, кто в каждой беде нашей. Не посылочками, не отрезами английской материи надо доказывать, что ты русская. Не по происхождению. Это пустяки. Твой Засецкий тоже русский. Надо быть русской по-нашему, по-советскому, по-революционному.

Ты принадлежишь сейчас тому, по ком плачут наши березы и ветлы, по ком скучает каждая глыба в его шахтах. Посмотри: не в крови ли простыня, на которой он спит? Засецкий был русский, и это могло вносить путаницу в твои чувства к России. Оскар Эванс — англичанин. Зачем его шпионы работают в России? Задумайся! Да затем, что он завоеватель. Ему Республика Советов опасна. Наши шахты в Донецком бассейне (по-нашему Донбасс) принадлежат рабочим. Его шахтерам когда-нибудь придет желание подражать нам. Республика Советов страшна как пример. Но тебе-то она чем страшна?

Кончим этот митинг. Надо же было когда-нибудь поговорить с сестрицей! Не разагитирую — не обижусь. Но ты вот пишешь отцу: кругом все чужие. Не чужие, а враги. Всмотрись! Не ты нужна, тело твое нужно. Неужели ты запродала и душу? Видишь: к розовой водичке и у меня проявилась склонность. Я тебя все родиной хочу растревожить. По-настоящему люди разделяются, как два берега одной речки. Мост между берегами так, не для соединения, а чтобы сбежаться, схватиться в обхватку, изломать друг друга и перекидать к черту в воду, кувырком, нырком, плашмя и брюхом! Это и есть два класса. Но тебя на это не поймает! У тебя, как у папы, наверно, человечки в глазах прыгают!

Я тебя — родиной, отечеством, семейными добродетелями. Неудобно, неудобно мне, коммунисту, иметь сестру леди Эванс! Всю ты мою коммунистическую родословную подгадила! Слушай: ты ограбь старика — и айда с деньгами сюда; а то умори его — опять деньги не забудь! Разрешаю тебе отказаться от всех буржуазных представлений о долге, о семье, о добре и зле, о старческой любви, о жизни и смерти, о деточках. Все это разные карманы и карманчики в одних брюках. Предлагаю одну формулу: угнетенные и угнетатели. По ней и равняйся! Тут нет

никакого сусла, а все отцежено и выверено. Сим побеждают!

С коммунистическим приветом
Леонид.

Р. С. «Коммунистический привет» для насмешки и для игры словами. Надо бы сказать: «Прощай, несчастная», или «Долой кровожадную пиявку», «толстую муху», «зудуна-овода», «змею трудящихся»! Да уж ладно! Веселье мне сегодня мешает относиться без святотатства даже к священному и ни в малой мере не смешному.

Во всяком случае, в копилку твоего познания Республики Советов (не могу, не могу сегодня без превыспренной речи) внеси следующее: во все советские праздники, — а они всегда праздники борьбы, побед и поражений, — по московским нашим милым горбуньям-улицам носят огромное чучело Оскара Эванса. У нас его знают!

Людмила!

Я не читал письма Леонида. Мы с ним — как два дома: один на углу Мясницкой, другой на Маросейке. Не может у нас быть одного парадного: сразу заспорим. Как хочет, так и живет. Мы много вынесли и натерпелись. Не посылай нам больше ни денег, ни посылок. Это спокойнее. Воззрения Леонида отвергаю в целом, но не могу их не признать справедливыми в части. Деньги ты зарабатываешь не сама. Они — твоего мужа. Он враг нашего государства. Какое бы оно ни было хилое и плохое, — с отрицанием отношусь к большевикам, не признаю их методу, — но все же не хочу, чтобы иностранцы распоряжались нами и вмешивались в нашу жизнь. От него нам подарков не надо. Как-нибудь мы проживем.

Лаврентий Говорков.

Милька!

Тоща я стала вроде тебя, когда мы ездили казаться с тобой женихам. Леониду не верь — он сам себе не верит! А иностранцы и мне не по душе! Хотелось бы тебя поглядеть, моя косточка. Катни-ка к нам! Покажи свое отродье! Потянуло и меня к лирике! Года идут ужасно быстро. Начать бы их заново! Проклятые эскулапы не умеют вылечивать старость! Приезжай: свезу тебя на обрыв — ты поплачешь, а я покурю.

Районный врач Бауманского района А. Г.

Целую тебя, Милечка, и Боречку целую! Леню не осуждай. Он славный. Папу из школы уволили. Леня кормит нас и помогает по хозяйству. Помнишь, он еще мальчиком очень любил ставить самовар. Лучинку положит, самовар затрещит-загудит, в решетке внизу горят угольки... Огонь рванет в трубе, а Леня ка-ак закричит:

— Мама, мама, красная вода, красная вода!

Такой смешной! Он и теперь ставит со мной самовар. Солнышко мое, береги себя!

Твоя мама».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Второй месяц в угольных шахтах было беспокойно и наконец началась стачка. Старик насупился. Миля почувствовала себя свободной. Прекратились приемы, выезды, балы. Старик все меньше и меньше бывал дома. Уезжал он рано, заезжал к обеду и возвращался ночью, когда она была уже в кровати. Он иногда звал ее, но она не отзывалась. Он наклонялся и целовал ее в губы. Она выдерживала поцелуй и, нарочно забормотав, как будто спросонья, закутывалась крепко в одеяло, натягивая его на грудь и вцепляясь ногами.

С той ночи, как Миля пришла к нему в кабинет, началось необъяснимое и странное раздражение против старика. Оно началось тут же в спальне, в полумраке, в мути неверного и робкого лондонского утра. Старик еще устал и недвижно спал рядом, с покачнувшейся и впавшей серединкой верхней губы. Она боязливо вгляделась.

На ночном столике в стакане неясно и непонятно блестело и краснело какое-то бесформенное существо. Она поднесла стакан к себе и брезгливо поставила на место. В стакане был на золотой тонкой пластинке с приставшей раздавленной крошкой мостик из четырех зубов, неестественно желтевших, как подгнившие ядра кедровых орехов.

Она вскочила и босая отбежала от кровати, словно от ночного столика невыносимо пахло и нельзя было удержаться от тошноты. Она поспешно вышла, расслышав позади, как на постели старик зашевелился и сладко, продолговато потягиваясь, зевнул и чихнул. И это ей будто ударило в затылок, стрельнуло заворачивавшейся

в левом виске болью, расплывавшейся по темени и затылку.

Она долго плескалась у раковины неслушавшимися руками. Мыло точно ослизло, не смывалось, и лицо становилось в пене грязнее, чем оно было. Она слышала одуряющий запах какого-то жира, словно он где-то засел в невидном и непромываемом месте, разлагался и тонко, остро, как легкий дымок, пахнул. Она взяла холодную ванну, полоскала груди, живот, терла дрогнувшие ноги и, мелко покрываясь сыпью, как серым песком, мерзла и дрожала. Она напряженно расчесывала свалявшиеся за ночь узлами волосы. Они тоже, казалось, задохлись в том же неприятном и густом запахе.

Старик был требователен и нежен. Он ходил за ней, как виляющая хвостом комнатная собака, с рабскими, льстивыми и преданными глазами, нюхал, наклонялся, шептал, касался ее талии, целовал ее в шею, осторожно подымая прыгавшими пальцами волосы. Озноб, резкий холод, щекот пронизывали ее, точно через всю ее протергивали шелковую шелестящую нить.

Старик так был всегда вблизи, что нельзя было повернуться, свободно двинуться, чтобы не коснуться его, не задеть. В огромном доме, в огромных комнатах ей было тесно. Она уходила от него за кресла, за столы, но старик пролезал и туда, семеня ножками, семеня языком, семеня глазками — и все бились в трясучей дрожи согнутые в локтях руки. Он так их как-то кругло, обнимая, держал даже за столом, в кабинете, в постели.

Старик торопился, спешил, подпрыгивая. Он бегом скатывался по лестнице, мчался в город, привозил, запыхавшись, корзинами, в горшках, в букетах цветы, коробочки, коробки, ящички с бриллиантами, с жемчугом, за ним несли и несли целый день сласти, фрукты, игрушки мальчику.

Казалось, у старика не было больше никаких забот, кроме этой беспокойной беготни за подарками, этого преследования ее вниманием, любовью, лаской, объятиями. Он срывал верхние крышки с коробок и, сам восхищенный, подносил к ее глазам сверкающие камни, золотые запястья, браслеты, кольца, гребенки.

Он складывал подарки на ее туалетный столик грудками в раскрытом виде, уставлял их, любясь и даже причмокивая. И когда раз она, резко отодвинув ящик, небрежно сгребла их туда и захлопнула, придавив какую-

то крышку и уронив браслет на пол, старик в недоумении ахнул.

— Н-не надо! — крикнула она. — Оставьте!

Старик кинулся подбирать браслет, освободил застрявшую крышку, задвинул аккуратно ящик и обнял ее бережно и восхищенно:

— Но, но чем я удивлю мою кошечку, мою неукротимую прелесть?

Он висел у нее на руке в театрах, на стадионах, в кино, на выставках, на балах и званых обедах, в автомобиле, в загородном доме леди Эванс, на яхтах, на улицах, в поездах. Он мчал ее в Париж и обратно, устраивал пикники, прогулки, катания, он набивал дом гостями, окружил ее веселой, хохочущей толпой, музыкой, танцами, вином и яствами.

Стены, потолки, полы, улицы, ее платья, руки, волосы, казалось, были осыпаны золотой пылью плавившихся и сгоравших денег Эванса. И весь мир стал золотым. Будто у самого солнца старик черпал неоскудевающее золото и брызгал и плескал им, как непроходящей моросью.

Отвращение пришло с первой ночи и росло от каждой другой. Она вспомнила, как рос ее живот, когда она была брюхатой Борей. Так же набухала в ней теперь брезгливость к старику.

Она стала запирается от него и за дверями шептала:

— Я сегодня с Борей. Я... больна!

— Но я вылечу вас! — переминался старик и осторожно скребся. — Мне нужно ваши глаза унести с собой. Один взгляд...

Она отворяла, и старик принимал к ее рукам, жадно и тепло ерзая по ним губами. Он становился иногда на колени и долго обнимал, захватив широко ее ноги вместе с платьем, целовал ей крепко сквозь платье колени и, бессвязно бормоча, прижимал к губам подол.

Она затворялась — и тревога укладывалась в сердце, как будто ее запирали на ключ. Но она с ужасом скоро увидела, что старик распорядился снять все замки с дверей. Он прокрадывался к ней...

Однажды, негодуя, отталкивая, она закричала ему:

— Как не стыдно вам лакеев? Что это значит? Где ваша любовь ко мне?

Старик, хитрыми глазами притворно подчиняясь ей, лепетал:

— Дорогая! Дорогая! Не надо грома, огня, молний, — я не могу! Я хочу входить к вам всегда, всегда! Я не потревожу вас. Я только посмотрю, как вы спите в своей постельке! Мэри также! Мэри также запиралась. И я... снимал замки! И Мэри перестала прятаться от меня!

— Убирайтесь! Убирайтесь! — кричала она. — Вы, вы противны мне! Я уеду! Я завтра же уеду! Вы... Вы... развратник!

Старик растерялся, побледнел:

— Да... да...

Он гладил голову, словно успокаивал себя:

— Да. Поступки мои безрассудны! Да. Да!

Он пробежался по комнате.

— Но, но я овладею своим безумием!

Он начал сильно, точно вынимая глаза, тереть их:

— Моя слабость, моя слабость! Я сознаю. Я... я... не повторю!..

Старик внезапно вытаращил на нее глаза в слезах и гулко взвизгнул:

— Я... я... же люблю вас!

А Миля в ужасе замахала руками:

— Уходите! Уходите! Скорее, скорее! Сейчас же! Я вам говорю: сейчас же!

Она провела бессонную тягостную ночь. Все ей казалось, что к ней где-то крадется по стенкам старик и держит в руке на отлете свою золотую челюсть. Она не могла овладеть собой. Вскочила. Хватая в темноте, не догадываясь зажечь огонь, платье, юбку, связала узлом чулки и полотенце, придвинула к дверям диван и соединила дверную ручку с ножкой дивана.

Старик не показывался неделю, убегал от нее в кабинет. Замки опять привинтили. Он осунулся, сгорбился, вызывал доктора, робко играл с Борей. Он не беспокоил ее. Старый, прежний Эванс, серьезный, прямой, строгий, словно отболевший бурной и скоропреходящей болезнью, был перед нею. И — такой он не был противен.

Сходились редко, как будто украдкой. Наспех. Она будто выполняла какую-то неприятную работу, закрывала изнеможенно глаза — и принимала объятия Эванса.

Старик перестал быть дерзким и настойчивым.

Тут стачка в угольных коях помогла ей не думать о нем, не видеть, не замечать, не сидеть с ним рядом.

Старик был занят стачкой.

Он перестал даже приходить целовать ее на ночь. Такие же, как он,— угрюмые, злые, цедящие скупые слова,— собирались к нему в кабинет шахтовладельцы.

Миля встречалась с ними на балах, на обедах, но они как-то терялись среди женщин, в толпе, за столами, у колонн и даже тогда, когда, показывая затылки, целовали ей руку.

Теперь она подсмотрела в дверную щель, как они один за другим проходили коридором. Что-то было в них одно, какое-то такое неуловимо похожее, объединяющее, целое, крепкое и литое. Точно и походка, и спины, и головы, переменные от одного к другому, не изменили бы впечатления. Так однообразно похожи были только солдаты.

Она ощутила явственную неприязнь к этой уверенной грудке людей, молча спускавшейся к выходу. Она до последнего автомобиля проследила, как они садились, пахивали пальто, как кидали руку по направлению к шоферу, как нахлобучивали шляпы и торчком застывали в цилиндрах, а впереди садился старик.

Ей почему-то вспоминалось, как однажды на даче на узкой просеке она натолкнулась на испугнутого кем-то в ночном табун лошадей. Табун грузно вырвался из низины на подъем почти у ее глаз, она с криком шарахнулась вбок... Табун грохотал и давил дорогу, словно раздвигал деревья в стороны, и они отклонялись, перегибались в испуге... И так, молча, только густо потемнело в глазах, он пронесся — страшный, тяжелый, распирающий, огромный, живой ком ночи.

Старик увидал Милю и тихонько усмехнулся ей, двигая морщинами на лбу, кивнув ей цилиндром, как лошадиной головой.

Так же стало страшно, как от табуна, но там вместе со страхом и не хотелось оторвать глаз от неудержимой, сминающей силы коней, от ковыляющей на их вытянутых спинах ночи, повторявшей в лесу громахание тяжелых тел.

Люди в автомобилях были страшны и беспощадны непримиримой настойчивостью глаз, движений лбов и рук в обтянутых мертвых пальцах перчаток. Хотелось отвести скорее глаза от многоголового растяннувшегося поезда, ползшего по улице с криком и ревом. Медные глотки и круглые ноги машин, казалось, уже давили кого-то на земле.

Собрания в кабинете Эванса повторялись каждый день. И ей чудилось, что было много людей в доме. Ее тянуло еще и еще как-то приметнее, глубже взглянуть в них. Она нарочно теперь не прикрывала дверь. Они уже походили своими черными цилиндрами, упорно походили на гробовщиков, чинно ведущих под черными попонами равнодушных и ленивых лошадей.

Было и в них враждебное к ней, отталкивающее, насторожившееся. А леди Эванс, навестившая ее внезапно и зачистившая через день, показалась ей хитрой гадалкой, выполнявшей какое-то поручение.

Простившись раз с гостями на лестнице и оставаясь дома, старик пришел к ней.

— Мы должны быть завтра на вечере у барона Ротшильда,— сухо сказал он.

Миля только что отошла от окна, проводив последнего маленького лысенького шахтовладельца, что-то топорщившегося в автомобиле на шофера и носившего, она заметила, чтобы казаться выше, цилиндр немного откачнувшимся назад. Он делал вид, что лоб у него потен от усталости после заседания, он вытирал его одним пальцем и устанавливал цилиндр, подпрыгивая на сиденье.

— Вечер этот очень важен... Там будет...

Она зло осмотрела задумавшуюся и встревоженную фигуру старика. Главный гробовщик приказывал ей надеть платье, открывавшее ее стынувшие шею, руки и грудь, а на них будут смотреть прежде всего серые и ненасытные, как жирные воробы, глаза старика и множество других глаз и особенно выпяченные, круглые, бегающие, всегда мокрые глазки круглобрюхого, коренастого, в белой, развороченной по животу жилетке, барона Ротшильда. Будут опять лизать ей руку, а леди будут любопытно разглядывать подобранную и купленную стариком за пятьсот тысяч рублей русскую.

Миля молча прошла мимо старика, не дослушав его. Он умоляюще догонял ее, потеряв свой решительный и беспрекословный вид:

— Ну, нельзя же иначе! Ах! Когда же у вас проснется тщеславие! Оно совершенно необходимо молодой женщине. Оно украшает и заслуженно венчает красоту, положение, богатство!

— Я не поеду! — отрезала Миля.

Он не стал упрашивать. Старик привык к ее отказам. Он усвоил, когда можно было настаивать и настоять.

Теперь он услышал в ее заклокотавшем голосе ту неприступность, перед которой все чаще и чаще склонялась его настойчивость.

Он заговорил с ней позже. И, видя, что она молчала, подсел к ней, не касаясь и только жарко дыша у плеча:

— У нас большой праздник. Мы рассчитываем на днях сломить стачку шахтеров. Там будут все. Вы должны быть вместе с другими леди на этом... почти семейном торжестве... Кстати, там будет бывший русский посол в Англии. Мы познакомимся... У вас будет кавалер — соотечественник!.. Вам надо отвыкать от скромности и застенчивости! И барон будет на меня в претензии...

Он зашел к ней уже одетый на бал, повторяя просьбы. Миля, скучая, ответила:

— Мне неинтересно. Вот посмотреть ваши шахты я бы поехала с интересом!

Старик пренебрежительно повел бровями:

— У вас очень простые и... оригинальные вкусы! Бал... и... шахты!..

Она зевнула:

— На ваши балы я уже насмотрелась. Вечеринки у нас в офицерском собрании ку-у-да были веселее! А в шахтах я не бывала.

Старик подумал, помялся, сделался серьезнее:

— Хорошо. Я покажу вам шахты. Хотя, собственно, там нечего смотреть, кроме отвратительной грязи и... грязных шахтеров.

Он ядовито и насмешливо улынулся одними глазами:

— Шахты вам наскучат скорее, чем балы. Вы не представляете себе, как они ужасны! Какой там воздух! Я был два раза за всю мою жизнь в шахтах. И вынес такое впечатление, чтобы в третий раз спуститься туда только поневоле.

— А вы не опускайтесь в третий раз. Меня там кто-нибудь проводит.

— Как вы самостоятельны! — огрызнулся старик. — Но... но я согласен на известных условиях. Конечно, не сейчас, а через какое-то неопределенное время! Сейчас шахтеры возбуждены и злобны. Они могут оскорбить вас. Они же побежденные. Они ненавидят победителей. Сначала... на бал, потом, в будущем... в шахты!

Старик весь проникся удовольствием, радуясь и протягивая руки. Она расхохоталась, и ей пришлось неожи-

данно желание высмеять старика. Надув губы, как маленькая, ломая голос, она капризно закричала:

— Я хочу сейчас, сейчас, сейчас!

Он повернулся, словно его толкнули к дверям, и вышел, трясаясь от бешенства, ловя болевшими ушами звонкий, задиристый смех, гнавшийся по пятам.

Так было всегда после стычек. Но Эванс покорно забывал их за маленькие и короткие радости у себя в спальне.

Как коростель-скрипун в поле, всю ночь кричащий, неустающая подымалась порою ненависть в сердце Мили. Она начинала собирать вещи, чтобы уйти, чтобы никогда не думать об этом опостылевшем, позолоченном, огромном, с лобастыми наглыми окнами доме. Но куда уйти? Все было — от башмаков до гребенок — чужое, ненавистное, дареное, купленное! Вот взять эти снизки бриллиантов? Отвращение передергивало лицо, и бриллианты летели по гладкому полу в угол. Мальчик охотно подбирал их, играл ими, расколачивал молоточком на деревянных кубиках и радовался мелкой огневой пыли, заглядывая на нее сбоку и ловя блеск. Тогда в испуге кидалась отнимать, вытирала в страхе и боли язык мальчика, которым он слизывал с бабки молотка сверкавшую пыль бриллиантов.

И оставалась.

И не находила выхода, точно заперли дверь и унесли ключ. Окна были высоки от тротуара, и ходил-ходил бессменно старик у самой стены, глядя из-под черного цилиндра, сухо поджав тонкие, извивающиеся в усмешке губы, постукивая о камень сторожевой палкой с золотым набалдашником.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Бал у барона Ротшильда оказался преждевременным. Шахтеры не сдались. Напротив, они окружили автомобиль премьер-министра у шахт Эванса и, — давно неслыханный случай в истории Англии, — задержали его, недружелюбно требуя давления на шахтовладельцев, на двадцать две минуты. В других горных округах при проезде премьера рвали демонстративно кабальные договоры, и даже какой-то шахтер стопку мелко изорванной бумажной каши бросил на колени главе правительства.

Из Москвы, с Чистых прудов, пришли ошеломившие вести. В Министерстве иностранных дел, в секретной части, куда внезапно вызвали старика, он узнал о гибели английских секретных агентов. Ему пеняли. Старик багрово и покорно признавал свою ошибку. Он сжал зубы, он сжал кулаки и закурил бесполезную в таких обстоятельствах сигару.

По сообщению уцелевших агентов с Собачьей площадки, проруху на Чистых прудах учинил Леонид Лаврентьевич Говорков. Старик ахнул, поперхнулся дымом и даже уронил, не заметив, на малиновый ковер сизый пепел, тут же раздавленный переступившими в беспокойстве ногами.

Подозрительная измена была в самом особняке на Вест-Энде. Молодой человек из торговой русской делегации, прибывшей в Англию, сопровождаемый традиционной для большевиков в Англии охраной, был выслежен в своем посещении молодой леди. Правда, он оставался там недолго, правда, он, наверное, доставил леди письма от родных,— но почему письма не подверглись обычной тщательной перлюстрации английских чиновников?

Посещение внушало недоверие и не только потому. Леонид Лаврентьевич Говорков был родным братом леди. Недозволительная переписка не являлась ли причиной упорной забастовки горняков? Не объясняла ли она дерзкого поведения стачечников и не была ли заведомо направленной против британского могущества? Под прикрытием семейного крова безупречного и настоящего британца, владельца половины угольных недр метрополии, обольстив старческое сердце угольного короля женскими прелестями, не обосновалась ли в лице прельстительницы на Вест-Энде большевичка, направляющая коммунистическую пропаганду как в самой Англии, так и в Египте, и в Индии, и в Шанхае?

В секретной части Министерства иностранных дел показали старику в оранжевой папке на первой странице карточку подозреваемой леди, заснятой в автомобиле на улице, подробное жизнеописание ее, вырезки из газет о бракосочетании Оскара Эванса и Мили Эванс, пасквиль из французской социалистической газеты о «Похождениях угольного короля Оскара Эванса», фотографии фермы и места дуэли, чертеж тральщика и киносъемку

последнего свидания Оскара Эванса с Григорием Григорьевичем Засецким на пристани Ламанша.

Старик одобрительно качал головой в знак удовольствия от столь горячей, продуманной и тщательной работы по предохранению империи от всяких случайностей. И еще больше он выпрямился за Англию горделивой, несгибающейся спиной, когда узнал, что оранжевая папка начала существование только три дня назад, со времени посещения особняка на Вест-Энде молодым большевиком. Киносъемка на Ламанше была заимствована из газеты Оскара Эванса, увековечивающей наиболее показательные моменты из жизни угольного короля к юбилейному номеру газеты, достигшей к тому времени тиража в триста экземпляров, рассылавшемуся бесплатно по Вест-Энду.

А когда ошеломление сменилось удивлением, старик долго и весело смеялся над усердием министерства. Слишком было невероятно и неправдоподобно подозрение. Он, зажмуриваясь, вспомнил Милю, будто потянул носом пар от вкусного и теплого обеда, — и вдруг какая-то догадка сверкнула в сером зрачке и осталась в нем жить.

Однако он уехал из министерства, получив дружеское напоминание оберегать леди от пагубных шагов, наблюдать за нею, не препятствуя внешнему наблюдению секретной части и, в порядке охраны государственного порядка и спокойствия, доставить в оранжевую папку конфиденциально полученное леди письмо, если таковое было, или же собственноручное изложение выведенных им от леди секретов.

Старик с нескрываемой веселостью, по-молодому, хлопнулся в свое домашнее кресло, поднял ноги и похлопал ими в воздухе. Давно не было такого самообладания, такого стойкого упорства, крепкой воли, здоровья и энергии.

— Мы заставим вас... быть уступчивее... ха-ха... внимательнее к нашим... слабостям... хе-хе! — прошептал облизываясь старик. — П-пугнем! Любовно... Хе-хе... пугнем!

Письмо с Чистых прудов Миля скрыла от Эванса. Оно перечитывалось, возмущало, плакало, смеялось, задумывалось — и тянуло к себе, как в детстве зажженная елка.

Она носила его за корсажем, притрагивалась рукой, проверяя, тут ли оно, и часто вынимала, разглаживая

сминавшиеся краешки. Она скрыла его и от Бори. Засовывая его под корсаж, она отворачивалась от мальчика. Тот любил лазить сюда холодной ручонкой — пугать маму. А она шутливо, залааяв собачкой, целовала руку и хватала ее легко зубами. Теперь он, вздумав поиграть, получил сердитый удар по любопытной ручонке.

Строгий, сухой, старик хмуро пришел к ней вечером на другой день. Она раздраженно, будто напуганная собакой кошка перед последним прыжком на дерево, замерла, шевелясь и шипя под нос.

Эванс не выдержал ее вида и сразу резко спросил:
— Кто у вас был без меня?

Кошка взвизгнула и кинулась возмущенными глазами:

— А?.. Вы за мной подсматриваете? За мной наблюдают ваши лакеи? Вы, вы их приставили ко мне? Уж не ревность ли вас обуяла, как моего первого мужа? Ха-ха!.. Вы забылись. Был... был... хороший, молодой, да, молодой... цветущий, красивый человек! Никто, никто, никто не был! Никто!

Старик покровительственно поглядывал на раскисавшуюся, в алых ожогах пятен на лице, будто недавно вышедшую из горячей ванны, женщину. От нее словно шел горячий, тонкий, сквозной дым.

Он, с зажегшимся тепло сердцем, почувствовал себя еще тверже, еще настойчивее и уверенней, жаднее и проще.

— Горячность ваша совершенно неуместна, — разъяснял старик, вяло рассматривая свои ногти. — Наоборот, я должен возмущаться! Ревность тут ни при чем! Мне ли ревновать, старику? Я счастлив малым! Я не смею думать о большем: меня иногда терпят, мне уже и достаточно! Чаше меня гонят — я подчиняюсь.

Старик всматривался в надувшиеся пухло-малиновые губы Мили с густым сероватым пушком на верхней губе и крошечной коричневой родинкой на нижней.

— Меня тревожит другое, — тянул он равнодушно, — у вас был человек из торговой русской делегации. Я понимаю: он привез вам... или сообщил что-либо о ваших родных. Кто может возражать против этого? Но вы — моя жена: это обязывает! В доме Оскара Эванса большевику делать нечего. Это... вызывает... подозрения.

— У кого?

— У моего правительства.

Потягивая лицо, она недоверчиво улынулась:

— Но откуда вы знаете, кто бывает у меня? Даже... ха-ха!.. Пра-ви-тель-ство!

Старик начал качать головой, удивляясь, коря ее и пренебрежительно уставляясь в светившиеся и разгоревшиеся глаза.

— Женщина! Настоящая женщина! — воскликнул он. — Вы как будто и родились, и выросли, и безвыходно прожили жизнь в этой комнате. Вы же были на войне! На этой... зверской... и варварской войне большевиков с патриотами! И вы ничему не научились! Ну, я помогу вам разобраться, хотя бы теперь, здесь, у нас. Вы смеетесь над естественными вещами. За каждым русским большевиком следят. Выследили и вашего посетителя. Ясно? Меня пригласили в министерство. Я, конечно, заявил, что знаю об этом. Я никогда не изменяю себе в отношении вас!..

Она поморщилась и стала слушать внимательнее. Старик довольно погладил свои колени и еще строже цедил отчетливые и пугающие слова:

— Я объяснил его появление у вас вашими родственными связями с Советской Россией. Но... впредь надо пользоваться почтой. Если бы вы жили не в моем доме, могло случиться хуже. Вас могли бы арестовать... обыскать... отнять у вас письмо. Или, предположим, я бы отступился от вас, не терпя вашего отношения ко мне... — Старик зло и надругаясь осклабился, перекошаясь лицом. — За последнее время... выходящего... из пределов уважения и обязанностей... Я могу и сейчас, в каждый час, день, вечер, ночь только снять телефонную трубку и сказать два слова...

Старик сердито заклокотал, угрожая:

— Я могу усмирять не только шахтеров, но и леди!

Миля непринужденно засмеялась угрозам, но покуда она смеялась, она уже думала над словами старика, примеряясь к ним, оценивала, понимала. Она знала, что старик никогда не говорил, не обдумав, не подготовившись, — оттого он был так не похож на нее, на других. И сразу какая-то догадка пришла, сверкнула, как вздули огонь в темноте, проскочила по углам, остановилась в глазах. Так же затаились недавно глаза старика в Министерстве иностранных дел. И Миля решила внезапно отвести старика от письма, скрыть его...

Роняя голову на плечо и придерживая прическу, по-детски захлопав в ладоши, смущая Эванса, она притворилась, играя:

— Бу! Бу! Ка-ак страшно! Ка-а-кая ерунда! Арестовать, обыскать!

Вдруг искренно, удивленно, уверенно сказала она:

— Но ведь чего же мне бояться? Они ничего бы не нашли. Я не получила никакого письма. Как же можно найти то, чего нет?

Старик настойчиво присматривался к ее лучисто глядевшим теперь на него и влажным глазам.

— Мне передал этот русский, что папа и мама живы. Скоро мне напишут. Не писали из-за какой-то неприятности. Не успели послать с ним. Я же в последнем письме беспокоилась, почему они так долго молчат!

Мелькнув на Эванса вопрошающим взглядом, словно вспомнила письмо Леонида и наскоро его опять прочитала, Миля уже не сомневалась, что старик все знает: он именно и пришел к ней, чтобы говорить о брате. Она схлебнула еще раз смех и строго, повелительно спросила у Эванса:

— Вы отослали мое письмо? Вы, может быть, из-за каких-то там ваших интриг сунули его к себе в стол? Вы скоро, я вижу, не позволите мне писать даже моим родным? — Она задумалась, полураскрывая глаза и точно ослабевая: — Правда, почему они не отвечают?..

Старик уже ласково и с сожалением любовался наивностью Миля. Она тихо требовала ответа.

— Конечно же, отослал, — наклоняясь к ней, вымолвил Эванс. — И... даже вложил туда без вашего позволения маленький подарок долларами.

Но она упорствовала в недоверии к старику:

— Я не знаю, так ли это? Я перестаю вам верить после всего... И вы мне смее не верить... после всего... Ка-ак я относилась к вам! Вы забыли, забыли! Я вам показывала всегда, всегда и папины, и мамины, и тетины письма! Почему же, почему же это молчание?

Она прервала разговор, спрашивала себя, старика, морщила лоб, неотвязно желая выведать у Эванса о брате. Она в раздумчивости бормотала:

— Этого... из делегации прислал Леонид, брат... Старики мои с большевиками не дружны. Они, наверное, даже и не знают про эту дурацкую торговую делегацию. Зачем им знать? Но, но что за неприятность, о которой

он сказал? Я как-то не обратила внимания сначала... теперь!..

Она просительно обратилась к старику:

— Узнайте мне, узнайте скорее. Этот... там... в Москве... сыщик ваш... пускай ходит! Леонид — дурак. Ему и в голову не пришло... и этому, конечно, молодому... что тут тоже сыщики...

Старик сдержанно усмехался.

— Вы, может быть, уже знаете, что с ними там? — беспокоилась она, поймав усмешку Эванса и думая над своим голосом, достаточно ли он кажется наивным.

Старик в свою очередь обдумывал, как бы не напугать ее и не услышать опять ее занывающих надолго слез с всхлипываниями, с дрожащими плечами, со вздохами и трясущейся головой. Он тогда терялся — и жалость отнимала у него нужную выдержку.

Они уже давно не сидели так близко рядом. Миля часто кидалась на него. И голос у нее раскалялся, как нагретый утюг. Она кричала шероховато и раздражающе. И потом плакала.

— Да, я знаю, — не нашлось ничего другого сказать, как ни пытался старик изворотиться и как-то так незаметно открыть ей события на Чистых прудах.

Миля вздрогнула и придвинула к нему стул, будто не заметив, как нога ее прижалась к его ноге.

— Мне очень грустно... — подобрел и старался быть суровым старик.

— Нет, все, все, ничего не надо скрывать! Я все, все вынесу! — забормотала она, задевая его толкавшимися беспомощно руками.

Старик точно, как писал Леонид, рассказывал. Миля восклицала, двигалась на месте, вскрикивала, глядела жадно, любопытно в его глаза, вскакивала, — наконец, зажала лицо руками и повалилась к нему в колени.

Старик почувствовал на губах приятную, давно уже не испытанную сладость успокоения, неги, ласки. Он стал ее бережно и осторожно, обжигаясь желанием, гладить по спине, как тогда, уже давно, гладил недозволенно и робко. Леди Мэри сейчас не могла бы отвести руку безнаказанно.

— И... это... мой... брат! И... это... мой... брат! — кусая губы, едва сдерживалась Миля.

Она так же шептала себе три дня назад, но тогда она дрожала от негодования, долго боролась с собой,

отталкивала от себя Леонида. Теперь она повторяла то же перед стариком заученно, знакомо и отделанно. Она умело удержалась в притворстве от повторения того, что было три дня назад. А дальше было все затихающее и затихающее негодование. Так пробивается весной ручей в полях. Он уже вышел из лощины, зажелтил снег, но в ночь метели укрыли след, солнце пролилось сверкающей серебряной подталью — и упругий звенящий наст сгорбился над вымоинами, как осевший мост. Ручей бурливо роется под белым настилом — и вырвется, выскочит в какой-то день, опрокидывая снежные глыбы, раздирая ледяную коваль и раздвигаясь на своем ложе, как разметавшийся в жару человек, откинувший одеяло. И будто теперь те же чувства и уловки, какими победил Леонид мать, заставили ее прятать письмо за корсаж и научили обманывать старика.

— Мне стыдно! Как стыдно! — не унималась она.

Старик облегченно ворковал над ее головой, а она слушала в коленях.

— Вот видите! Он поступил преступно! Из-за него умерло четверо самоотверженных людей, делавших вам добро! Его поступок, не будь вы леди Эванс, мог бы причинить и вам очень много зла. Он нанес удар интересам Англии. Конечно, удар пустой. А все же! Вы — сестра этого врага Англии. С вашим именем связалось его преступление. Если бы, если бы я мог разлюбить вас... вы, может быть, были бы теперь в лондонской тюрьме! Но этого нет, нет... и не может быть!.. Я должен вас предупредить.

Старик насильно поднял ее голову и глядел близко в ее раскрытые страхом и смущением глаза. Он пил их растерянность, не насыщаясь удовлетворением:

— За вами будут теперь также следить. Я тут ничего не могу сделать. И не должен. Вас подозревают в сношениях с братом. Этот человек из делегации навел министерство на мысль... Вас подозревают... Если бы это показалось вам смешным, смеяться я не советую вам. Они ведь не знают, какая вы... и смешная... и наивная... и опасная... только для меня...

Старик прижал ее свободно и легко к себе, поцеловал ее в глаза, чувствуя, как они трепетали под губами, будто зажатые в руке маленькие испуганные птички.

— Я уберегу вас,— сладко шептал старик.— Мне не привыкать. Мне же и поручили наблюдать за вами.

Но... вы обязаны написать резкое письмо этому негодяю... вашему брату! Вы должны отказаться от него! Письмо ваше совсем не рассеет подозрений... Его, где следует, прочитают... и поместят в оранжевую папку...

Старик, заторопившись, небрежно притворно и досадливо махнул рукой:

— Я уже проговорился! В министерстве о вас начато дело. Такая... оранжевая тетрадь!..

Старик, припоминая тетрадь, засмеялся:

— Наши ретивые агенты даже ухитрились вас снять на улице, в автомобиле, вы и не заметили. Отказ от брата все же будет нужным шагом. Пока вы со мной, все, конечно, пустяки. Но мне, не скрою, я за тем и пришел к вам, было неприятно объясняться в министерстве. Оскара Эванса знают, но на слово в Англии верят только королю. С братом необходим разрыв открыто. Вы, леди Эванс, не можете иметь ничего общего с врагом Англии. Тут братьев не может быть!

Старик устал сидеть. Он приподнял ее и, обняв за талию, прошелся вместе по комнате. Она глядела в пол опечаленная, тихая, скромная. У окна старик, глядя на нее сверху, нежно говорил:

— Оттого вам и не писали ваши старики. Они были, наверное, потрясены больше вас. Когда несчастье рядом, оно виднее, ярче и страшнее. Они не решались вам сообщить о поведении вашего брата. Оно же не укладывается в пределы человеческого разума и... семейных чувств. Дело зашло так далеко, что я... обязался в министерстве доставить полученное вами, как они предполагали, письмо на руки от этого русского.

Она косо и остро повела вздрогнувшими глазами и тотчас опустила их, прищуриваясь.

— К счастью, письма нет! Это предохраняет и меня, и вас! Я должен был бы его требовать от вас. Даже вынужден бы был взять насильно... и, какое бы оно ни было, доставить в министерство...

Она незаметно прижала обе руки к груди, будто задыхаясь от забившегося волнением сердца.

— Расстраиваться не надо,— мягко, восхищенно пел старик,— все это очень тяжело! Но надо взять себя в руки. Хорошо, хорошо, что нам не пришлось пережить этого нарушения наших интимных тайн! Вы теперь все знаете.

Она благодарно пожала на своей талии пальцы старика и взяла их в горсть. Старику показалось, что рука его была в маленьком нагретом птичьем гнезде.

— Будьте настороже,— учил и приказывал Эванс.— Большевики наглы и беззастенчивы. Они могут и вообще задуматься над использованием вас в качестве своего орудия. Брат ваш и тут подскажет. Мы сегодня же прикажем не принимать ни одного русского. Сделаете это вы. Так лучше. Лакеи через свои лакейские быстро и охотно распространят ваше распоряжение по всему Вест-Энду.

— А... если письма... от папы? — спросила в тревоге она.

— Тем более! — засмеялся старик.— Письма-то и не нужны, не нужны таким путем! Мы же сейчас только радовались, что их нет! Телеграфируйте сегодня же в Россию. Ваш брат может подослать к вам других своих друзей. Все письма я должен буду передавать в министерство.

Она молчала, обдумывая что-то, не решаясь спросить. Старик угодливо ждал, искоса наклонившись к ней, помаргивая слепившимися в ранней дреме глазами.

— Да... Верно,— просыпаясь от забытья, заговорила Миля.— Он может! Никого, никого не пускать!

Тут она, будто с удивлением, увидала старика и приласкалась к нему.

— А если бы я действительно была коммунисткой, большевичкой,— шутя, проговорила она,— помогала бы им... Ну, как все такие... как ваши агенты там... у вас бы... вы бы выдали меня?

Она обвилась вокруг старика, как змея по стволу дерева, возбуждая и грея его. Эванс нахмурился:

— Шутки! Шутки! Нехорошие шутки!

И он твердо, чеканя ответ, грозя, громко сказал:

— Тут любовь не затемнила бы мне головы!

Миля грустно отпустила его, отошла, словно не ожидала такого жестокого ответа.

— Но ведь,— пытливо она опять спросила,— я никак не могу забыть моего брата... Он же фанатик... Он тоже думал, как вы... Он, значит, тоже прав? По-своему...

— Какое коварство! — дружелюбно и притворно громко воскликнул старик.— Женское лукавство! Женское лукавство!

Серьезный, ищущий оправдать себя, старик не замедлил опять усердно втолковывать ей:

— Какое же сравнение! Он служит угнетателям, поработителям своего народа. Он вместе с ними губит великий народ. Я служил бы только благополучию моей Англии. Я вырвал бы сердце у себя. Я не перенес бы, всего вероятнее, такого горя, как отдать вас катам, но... я совершил бы долг гражданина. Он выдал на казнь людей, желавших счастья его стране. Мы же не имеем других целей, как спасти Россию... Поставить ее снова среди прочих цивилизованных народов... Как равную... Какие же сравнения?! Наша добрая старая Англия становится в самозащите львицей!

Старик не отпускал от себя Миля всю ночь. Обезумев, он протягивал к ночному столику руку и вкладывал в рот золотой мостик и так же обычно вынимал его. Устав, он даже не слышал, как стеклянно подчеркнуто звенел стакан, пошатываясь от свалившегося в него золотого протеза.

Миля переносила стариковскую страсть, как затянувшиеся роды.

Эванс торжествовал. Он начал жить теперь спокойно и сладко, как жил с молодой леди Мэри. Миля, казалось, была прежней, без этих капризных и обидных месяцев, когда были привинчены замки к дверям и он не всегда мог видеть ее в постели. Она, казалось, смотрела на него восхищенно-покорными глазами и ждала, когда он позовет ее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Сначала из Лондона пришла телеграмма отцу, потом маленький и такой неприятный синий листок Леониду. Миля сдержанно, с теми почтовыми умолчаниями, которые привились после войны на заграничных почтах, отказывалась от брата.

Александра Ивановна ехидничала и дразнила:

— Хе-хе! Милька-то нас покрепче! Полобастее! Контузия с тяжелым ранением!

Леонид сердился и пренебрегал:

— Она одурела! В самом деле корчит из себя леди! Тьфу! Ка-ак ничтожны всегда этим м-мечтатели и м-мечтательницы! Поз-зор! Они продаются и оптом, и в розницу! Противоестественно, мерзко спать со стариком за тряпки,

за камешек, за перо в голове. Н-не ожидал! Об-ра-бо-та-лась за границами!

Тетка тыкала зло дальше:

— Ты напросись в Лондон курьером. Ну, Красину чемоданы носить. И по-ви-дай-ся. Только не примет, пожалуй! Хе-хе! Что-о-с! Та-ак бы и разорвал? Н-не достать! Нас тут уж трепли, а она по-осме-и-вается!

Леонид сносил и грустно сопел на Александру Ивановну. Он укололся сразу, как только пробежал листок, показывал отцу, матери, звонил по телефону тетке...

— Мне наплевать! Чепуху же пишет! — кричал он, не успокаиваясь. — Слепа же, как сова. Только кричит бессмысленно. А... обидно! Вот когда человек делает несусветимую глупость — и при этом любит себя, бывает стыдно, противно, тошнит! Так и тут.

Александра Ивановна весело смеялась:

— Катай ее, катай ее! Да что ты нас-то агитируешь? Мы — пленники. Мы не скажем, что думаем. Зна-ем тебя! Ты волку в рот голову засунешь за своего Карла Марла.

Между тем на Вест-Энде, боясь бдительности старика, Миля каждый день радовалась, когда приходил вечер и уже никто не мог принести нового письма от Леонида.

Опять собирались в кабинете Эванса шахтовладельцы. Она слышала бодрый, несворотимый голос старика и в нем, казалось, чувствовала то подавляющее могущество, какое было в этих людях, владевших горами Англии, городами, флотами, сотнями тысяч горняков.

Она, в страхе, затаилась, как влетевшая в комнату птица, разбивающая окно и хлопающаяся головой о низкий, вместо неба, потолок.

Письмо Леонида подсказало ей, — еще во время страшного разговора со стариком, — осмотреться, сдержать себя. Она будто угадала, ей кто-то будто подсказал, чего добивался от нее Эванс. И она провела его неожиданно для себя, трясая потом в постели и радуясь своей победе.

На улицах, на балах, в загородном доме леди Мэри, в магазинах виделся Миле тот таинственный невидный страж, которого приставил к ней старик.

Золотая челюсть старика вызывала гадливость. Она видела ее теперь во всем золотом: в рамках картин, в плафонах, в канделябрах, в брошах и браслетах. За столом она, в страхе, наблюдала, как старик пил,

ел,— и ждала, что вот челюсть вывалится — и тогда она не удержится и закричит каким-то таким неслыханным голосом.

Она уже бежала из этого дома. Надо было только найти какую-то такую щель, в которой бы не схватила короткопалая рука старика. Надо было обманывать, усыплять его, надо было потворствовать старику, чтобы скрыть правду, чтобы обмануть.

Дома, люди, земля Англии — все было против, все было за старика, в его власти, безраздельно все слушалось старика — и преследовало ее. Старик так же безраздельно владел ею, как своей чековой книжкой, домом, шахтами, как своей рукой...

Надо было, чтобы ее забыли, чтобы не пришел снова человек и не позвал ее, надо было дать знак туда, на Чистые пруды, чтобы помогли, спасли от старика.

Невидимый человек стоял под окнами. Другие — где-то в высоких домах, словно надевшие в серой пыли пиджаки, хотели знать каждое ее желание, угадывали, поджидали. Она боролась.

Так прошло нескончаемых два месяца. Старик шурился серыми ненасытными глазами, таял около нее, как огромная сахарная голова в пожаре.

И в эти два нескончаемых месяца подгнивала забастовка шахтеров.

Отдыхая от ласк, довольно глядя с постели в потолок, жмурясь, старик задумывался. Он словно забывал и старался припомнить, чего же ему еще недоставало до полного удовлетворения на этой податливой и услужливой земле.

Не спрашивая Мили,— ему казалось: она не могла не понимать его,— старик наконец многозначительно тянул:

— Горняки голодают. Они сдадутся. Они заседают чаще, чем нужно. Это — тревога. Они оставили в покое штрейкбрехеров. Мы сломим это отвратительное и жадное упорство, разрушающее промышленность и финансы Англии. Вожди... ха-ха... уже... получили подарки... от общества... угнетенных... шахтовладельцев!

Старик бодро подымался и мурлыкал под нос себе какой-то воинственный марш.

Но Миля была с теми, со всяким, кто шел против старика. Шахтеров побеждал старик и те цилиндры, проходившие по коридору. Старик побеждал их так же,

как победил ее, приставил к ним невидимых людей, подкупил вождей той же чековой книжкой, нагнав штрейкбрехеров.

Не штрейкбрехер ли и она? Надо помочь горнякам, как-то повредить этому довольному, жующему дряблыми губами песню старику. Надо обмануть и тех согладатаев, ступающих неслышно по ее следам.

Миля вышла из дому, когда Эванс был в конторе на Сити. Она не раз уже, проверяя за собой приставленного к ней человека, выходила на улицу, кружилась, останавливалась, подозревала в сутолоке бегущих и обгоняющих ее людей каждого. Сегодня она шла еще более осторожно, возвращалась к дому, выглядывала из-за уступов домов, спускалась в метрополитен.

И наконец она очутилась рядом с огромным домом, загнувшим в небо свою черную приплюснутую голову. И... юркнула в подъезд.

Она задержалась на лестнице, не решаясь войти в лифт. Мимо неслись, словно догоняемые кем-то, как и она, люди, не замечали ее, глядели вверх, нетерпеливо дожидались проползавшую важно подъемную машину. Огромный коробок, как ведро в колодце, вычерпывал людей, но, как неубывающая вода в колодце, люди накапливались, и машина работала не переставая, мерно, чуть поскрипывая и шелестя, всплескиваясь, хлопая дверкой.

Миля успокоенно вытянула из сумочки маленькую газету, проверила какой-то подчеркнутый край, заглянула бегло в сумочку, потрогала там что-то рукой — и вошла в лифт.

В редакции газеты Генерального совета английских трэд-юнионов ее принял редактор. Видимо, ее наряд, — она выбирала в своем гардеробе платье победнее и попроще, — не произвел на него никакого впечатления. Это уже было хорошо и сразу помогло ей свободнее и реже дышать.

На ломаном английском языке, — а редактор подозрительно и заинтересованно стал слушать, подсказывая забываемые слова, — она бессвязно лепетала. Наконец они поняли друг друга. Редактор, колеблясь, спросил:

— А... они ваши?

Миля, краснея, усмехнулась.

— Конечно.

— Но мы берем деньги. Я не зна-аю. От не-из-вест-ной. Хорошо, но...

Она опять заглянула в сумочку, вытащила газету, задевая о замок, надрывая ее и указывая ему на отчеркнутое место.

Редактор не поглядел на знакомое и наскучившее ему объявление. Он еще раз поколебался и неохотно согласился принять бриллиантовое кольцо, которое она радостно положила перед ним.

Миля встала, но редактор не отпускал ее. Она отрицательно качала головой и отказывалась принять квитанцию, он настаивал, отодвигая от себя кольцо и предлагая его обратно.

Она осторожней, чем вошла, вывернулась из подъезда в грудке спешивших на улицу людей. Она прошла вместе с ними некоторое расстояние, проследила, как они разошлись в разные стороны, и тогда спокойней и тверже села в автобус.

Будто все стало яснее впереди, как только она решилась помешать старику, отдала одно из его сокровищ, поделилась с горняками его подарками.

Но встреча с ним была страшна, как вот давно на фронте, ночью, когда убегали с лазаретом от немцев и огненный столб был на пути, преграждая дорогу. Он то вставал до облаков, то разваливался подрубленным, с алой листвой, деревом, то расползлся багровой полноводной рекой, заливавшей полнеба. Бежали к нему, оглядывались. Но и сзади перемигивались с ним другие, меньшие, красные столбы. Словно они шли со всех сторон, подпирали падающее черное небо, сходились охватывающим венцом. Спасенья не было, только отсрочивалось время, когда столбы сойдутся вместе и свалятся, и раздавят, и захлебнут.

Старик не спросил, не вглядывался, не изменился: соглядатай проследил. Миля, трепещущая от удачи, обнимала своего мальчика, тормозила его. Мальчик, наскучив без материнской любви, радовался и брыкался, прятался от нее, пугал, выскакивая из портьеры и топая ножонками, трубил в трубу, залезал, вольничая, с ногами на диваны, на кресла, ходил по ним и покачивался, взвизгивая от непритворного испуга...

Газета Генерального совета английских трэд-юнионов напечатала о поступлении бриллиантового кольца. Миля просила не печатать; страх рванулся снова.

Но прошел и он, потому что старик читал газеты в конторе, смеялся над списком скудных пожертвований, над бриллиантовым колье какой-то взбесившейся филантропки и суфражистки — и забывал, не перевернув газеты. Он, конечно, не вспомнил его около преданной и взнузданной им молодой леди! Шахтеров не мог никто спасти от голода, — старик это высчитал, — новые договоры с ними лежали на его письменном столе и ждали подписей оплаченных ранее вождей.

Старик, конечно, не мог остановиться любопытно и подозрительно на маленькой и сверкающей угольной пылинке: она не застревала в глазах и, сверкнув, пропадала.

С Чистых прудов редко и скупно приносили грубые, заклеенные черным и нечистым клеем конверты. Старик вертел их в руках, разглядывал на свет и злорадно усмеялся на их неказистый и смиренный вид. И нельзя было увидеть Чистых прудов в недомолвке подобранных слов, в этом почтово-скудном языке, гладком, как политый и подстывший каток, трусливо укрывавшем и чувства, и мысли и разрезанном на чернильные молчаливые дорожки, как неочиненные карандаши в белой коробке. Леонид не подписывался. Это успокаивало и вызывало лукавую усмешку.

И Миля, блестя над бумагой глазами, так же вяло отвечала, переваливаясь со страницы на страницу засыхающими в молчании буквами. Надо было как-то всполошить сердце, чтобы налить кривые узоры строчек дыханием, кровью, теплом губ. Сваливались сугробы слов, но нельзя было выбрать самые нужные, самые заповедные, самые тесные. Английские корабли перевозили тщательно выделанные изделия конвертного производства с приплюснутыми в них скромными и тощими разграфленными листочками.

Послушное старику время между тем не обмануло. В шахтах Эванса и тех, проходивших недавно по коридору каменным шагом, заползали опять шахтеры, будто сгорбившись еще более, будто боясь выпрямиться — и на час оставаясь дольше в угольной мгле.

Старик привез новые подарки Миле. Приезжала леди Эванс с сыновьями и невестками, поздравляли старика, сияли на него восторженными взглядами, точно он вернулся откуда-то издалека неузнаваемым, еще более дорогим и нужным. Молодежь отплясывала, дура-

чилась, визжала. Миля должна была радоваться. Сам старик, вдруг озорно остановившись на ней глазами, обнял ее и прошелся под рукоплесканья, запыхиваясь, тур вальса.

И попеременно на Вест-Энде были обильные балы, карнавалы, приемы.

Старик нежно шептал:

— Покружимся! Покружимся!

Он ласково, насмешливо склонялся к ее уху:

— Вы теперь не хотите поехать на шахты? Ха-ха!

Миля, играя, лстя, притворно обиженно сводя брови, прося не напоминать, отвечала растягивая:

— Т-е-п-е-р-ь не хо-чу!

Разгул на Вест-Энде наскучил, связывал семьями, газетами, нарушал обычаи доброй старой Англии и укорял. Он перекинулся через Ламанш в блудливые отели и кабачки Парижа.

Старик не отстал. Он повез туда Милю. Они остановились в том же отеле, где они ночевали в первый день знакомства.

Старик пьяно обнимал ее и бормотал:

— Кисанька моя, кисанька! Пошевели в ответ хвостиком! Положи мне лапку в награду!

И Миля, раздувая ноздри, как это нужно было пьяным, стерегущим глазам старика, чуть вздрагивала ресницами и совала ему ладонь к губам, а он захватывал ее, всасывался и бережно скребся, щекоча зубами.

Тут, торопливо и щедро вкладывая лакею франки в руку, покуда старик принимал ванну, она отправила раньше заготовленное и давно носимое на груди письмо на Чистые пруды.

Лакей не стал спрашивать и вечером нашел время шепнуть о выполненном поручении, получая дополнительные франки.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Письмо дошло до Чистых прудов. И в тот же вечер, как было условлено, Марья Петровна села за ответ. Леонид возбужденно и тревожно бегал из своей комнаты к матери и обратно; Лаврентий Иванович, бегая, натыкался на него; Александра Ивановна настойчиво молчала

и курила. Марья Петровна долго составляла ответственный и трудный черновик.

— Что-о, тетенька? — откидывался назад Леонид. — Ка-ак вы теперь полагаете?

Письмо получил Леонид. И он сразу же забегал, усадил мать отвечать, кричал и дразнил Александру Ивановну.

Она бубнила:

— Я о ней начинаю думать хуже.

— А я о ней меняю мнение, — смеялся Леонид. — Все-таки теперь мне будет легче в райкоме. Ха-ха! Бывшая жена угольного короля тоже нехорошо, но лучше, чем настоящая!

И еще не установилась догуливаемая шахтовладельцами жизнь в Лондоне, писание Марьи Петровны добралось до Вест-Энда.

Миля удовлетворенно, ликуя, закричала.

Она кинулась к телефону, вызвала старика и, плача и запинаясь, бормотала ему в контору на Сити... У Лаврентия Ивановича Говоркова был паралич.

То отталкивая старика и плача у него на груди, то таща его к себе и прилипая к нему до боли, вся дрожа, Миля, казалось, не владела собой. И старик начал волноваться, развозить переведенное на французский язык письмо в министерство, в советскую миссию.

— Меня не пустят, не пустят в Россию! — ныла в отчаянии Миля. — Я хочу, чтобы старик умер при мне! Я хочу домой! Я соскучилась! Ах, он опять, низкий, подлый, встанет мне на дороге! Вы понимаете, он, Засецкий!.. Его проклиняют в России...

Старик успокаивал, настойчиво преодолевая встречавшиеся затруднения по выезду Миля из Англии — обычные, скучные, медлительные. Она не хотела ждать:

— Вы не пускаете меня! Вы не хотите! Вы жестоки! Я могу, я могу любить моего отца! Я ваша, ваша вся! К несчастью моему, я не могу жить и без вас! Я привыкла к этой роскоши, богатству, к любви! Боже! Ка-ак я изменилась! Ка-ак я переродилась!..

То, стихая, она в притворном ужасе шептала ему:

— А меня там не расстреляют? Вы мне говорили когда-то. Вы ведь нарочно, нарочно угрожали?

Старик весело смеялся, подбадривая ее:

— Теперь я буду говорить несколько иначе. Теперь не посмеют вас тронуть. Жену Оскара Эванса даже в Советской России будут уважать!

— Но они... меня там не задержат? Я боюсь одна. Пусть со мной поедет лакей. Пусть он меня сопровождает.

Каждый день приходили новые желания. Старик замученно исполнял их. Она откладывала поездку, недоверчиво добиваясь от старика еще и еще уверений, что ее не посадят в Советской России в Чека, не посмеют отомстить ей за посылки, не схватят ее на границе, не сошлют ее в Сибирь, в Нарым, в Соловки...

— Я ненадолго! Я совсем ненадолго! Россия мне стала чужой,— расслабленно говорила Миля и ужасалась.— Ну что, ну что она мне принесла, кроме страданий?

Она робко ластилась к старику и просила:

— Мне можно будет привести погостить мою старенькую маму и тетю? Мне так хочется показать им мой дворец, почет, леди Мэри! Но вас не будут шокировать мои бедные родственники... плохо одетые... простые, застенчивые?

Старик самодовольно и покровительственно поглаживал ее по голове:

— Конечно, конечно. Я сам думал об этом. Ваша радость — в большой степени моя радость. Я только буду счастлив, что доставил новую маленькую искорку этим стремительным глазам.

Старик зажигался, уводя ее к себе.

Они ездили в загородный дом леди, пробыли там запоздно, и старик, умиляясь, любовно оттаскивал Милу от старухи, которую она на прощанье крепко обняла и не уставая целовала в щеки.

— Вы мне не оставите своих губ! — шептал старик, сводя ее к автомобилю.

Она интимно бормотала, делая губы пухлыми и зовущими, как, знала, любил старик:

— Тише же! Они... услышат! Шофер!

Старик, подсаживая ее, сжимал руку, смотрел виновато и заговорщически теплившимся ровным и полным огня взглядом.

— Боря, мы скоро увидим белых медведей и волков,— нарочно при старике разговаривала она с сыном.

— И они нас заедят? — равнодушно спрашивал мальчик.

Миля пересказывала Эвансу. Он заливался радостным и довольным хохотком.

— Нет, милый, нет! — нежно ласкала мать Борю. — Я пошутила. Это так шутят про Россию иностранцы. Мы увидим бабушку, дедушку, Москву.

Накануне отъезда Миля спокойно и не торопясь открыла свой туалетный столик, наложила полную сумку бриллиантов и драгоценных камней, вытряхивая их из коробок, и осторожно пошла опять к тому огромному дому, где помещалась редакция газеты Генерального совета английских трэд-юнионов.

Ее будто ждали, и тот же человек, как знакомой, пододвинул стул и пожал руку. И он откровенно сказал ей:

— Вы извините нас, леди! Мы до сих пор не использовали ваше бриллиантовое кольцо. Хорошо, что вы пришли. Возьмите его обратно. Редакция наша считает неудобным принимать такой подарок. Мы боимся осложнений... Нам могут указать... Вообще мы сами не можем продавать... Если бы были деньги... Мы не имели бы права отказаться...

Она поняла не все, переспрашивала. Помогая друг другу, наконец они оба остались довольны.

Миля замешалась сначала, а затем, ошеломляя человека, она высыпала из сумки грудку драгоценностей и резко сказала:

— Я хочу внести в фонд безработных шахтеров все мое состояние. Вы не можете мне отказывать. Я его не украла! Оно мое. Если вы откажетесь, я пойду на улицу в Ист-Энд и буду раздавать там по бриллианту. Я расскажу рабочим, что вы не взяли у меня для них. Не смотрите на меня так боязливо — я совершенно здорова!

И опять они с трудом объяснялись, восстанавливая заново фразы. Человек был в замешательстве и начинал уступать.

— Но кто вы такая? — воскликнул он в отчаянии и беспокойстве.

— Я русская, — ответила Миля, — больше я пока не могу ничего сказать.

— А! — уже перестал удивляться редактор и с некоторым сожалением и трусливостью уставился на нее.

Миля вынула из-под жакета запечатанное письмо.

— Я не большевичка, могу еще добавить! — усмехнулась Миля.

Редактор одобрительно и очень обрадованно замотал головой, словно она ему сделалась и ближе, и понятнее.

— Вы опасаетесь недоразумений? Их не будет. Никто не придет отнимать у вас мой подарок, тем более в чем-то обвинять вас! Ровно через три недели вы обязуетесь, не раньше, вскрыть этот конверт и опубликовать мою фамилию.

С трудом, долго, до поту они понимали друг друга. Миля ушла, уговорив его.

Человек остался сидеть неподвижно в кабинете, перебирая и любясь драгоценностями, разглаживая лоб, непонятно оглядывая стены, окна, двери, ощупывая конверт, рассматривая его и недоумевая. Вдруг он огорашенно вскочил и помчался по длинному коридору на лестницу. Он вернулся в отчаянии и даже свалился на свой простенький и дешевый стул. Редактор забыл выдать Миле квитанцию.

Ночью, в постели, лаская старика, она тоже вспоминала о квитанции. Одновременно она вспомнила редактора, как он не отпускал ее в первый раз, покуда она не взяла квитанции. Она теперь представила, как ее разыскивают по Лондону, вскроют ее письмо... и вот, вот ее найдут. И она будет открыта, понята, поймана стариком. И тогда старик будет вынимать золотую челюсть, которую он только сегодня не вынимал, бесконечно, всегда. Она в ужасе раскаивалась, что не удержалась от этой маленькой и такой теперь опасной мести, какую уже давно лелеяла наравне со своим бегством от старика.

А старик в согнувшееся на подушке ухо тихонько напугивал:

— Вы будьте осторожны и в Москве. За вами будут следить там и советские, и английские агенты.

Миля приподнялась на локте:

— Почему? Я... тогда... не поеду!

Старик насильно положил ее и не снял с плеча тяжелой руки.

— Все зависит от вас, чтобы агенты были не опасны... и проходили свое время попусту.

Миля, ухмыляясь в темноте, спрашивала:

— Советские... я понимаю... но английские?..

— Наши,— мягко поправил старик.— Наши. Я не могу в это вмешиваться. Я с трудом исхлопотал в министерстве разрешение на ваш выезд. Наши будут наблю-

дать, не встречаетесь ли вы с большевиками, не вступили ли с ними в сношения, вредные для Англии. И если они найдут ваши поступки подозрительными, дадут знать сюда... и вам запретят обратный въезд в Англию. Даже Оскар Эванс не может вас тогда защищать!

Миля в страхе затараторила:

— Я не поеду! Я не поеду! Я остаюсь!

Старик довольно, но угрожающе и торжественно произнес последние слова. Теперь он с еще сильнеешим чувством самодовольства прижался к ней и просунул под ее шею свою руку:

— Зачем же так? Надо только вести себя строго и разумно. И тогда страшное запрещение не может осуществиться. Вы должны особенно уклоняться от свиданий с братом...

Она живо и негодующе вскрикнула:

— Я потребую от мамы! Его не будет к моему приезду в квартире! Я напишу с дороги! Иначе... я вернусь! Я не могу его видеть!..

— Вам передается английский характер! — весело пошутил старик и засмеялся. — Ну... а те, агенты апашей, будут выискивать, — они повсюду видят наши козни, — не подкапываетесь ли вы под их... г-государственный строй! Видите, как в жизни все сложно! И... разумно!

Газета Генерального совета английских трэд-юнионов завтра поместила объявление с вызовом неизвестной, принесшей драгоценности, за квитанцией.

Миля побелела, но все было благополучно, хотя до отвала парохода ее была тревога.

Прощаясь со стариком на пароходе, Миля увела его в каюту. Как розовыми осыпая лепестками, поцелуями, страстная, несчастная, заплаканная, ненаглядевшаяся, прижималась к нему и трясла его за голову.

Старик вдруг ерзнул в сторону — и Миля заметила, как он смахнул с глаз слезу.

Мальчик держал его за руку и сосредоточенно перебирал палец за пальцем, иногда заламывая кверху и разглаживая морщинки. Старик сделал у него по волосам вьюна, потом взмахнул мальчика высоко к потолку и поставил на пол, целуя в лоб.

Мальчик махал ему маленьким кепи с отплывающего парохода. Миля стояла рядом, зажимая платком рот.

Она не уходила долго с палубы, глядя настороженно на теряющуюся за туманом Англию, хлебая и смех, и скупые, крупные, обжигающие слезы.

В кабинет Эванса вошел смущенный лакей. Старик узнал его, вскочил. Он молча, наклоняя вперед голову, изгибаясь, протянул ему письмо — и скрылся за двери...

Старик, гневно предчувствуя по виду лакея недоброе, разорвал конверт.

Миля писала:

«Я не вернусь к вам. С границы я отсылаю моего провожатого. Он мне был нужен, чтобы непосредственно передать вам письмо. Вскройте мой столик: ключ я взяла на всякий случай с собой и выкинула в Ламанше. В ящике вы найдете письмо от моего брата. Помните, то письмо, которое мне привез человек из торговой делегации и которое я удачно скрыла от вас. Переведите его и доставьте в министерство. Не ищите ваших бриллиантовых и жемчужных подарков. Я не воспользовалась ими. Я отдала их вашим шахтерам через Генеральный совет английских трэд-юнионов. Посмотрите их газету. Из письма моего брата вы отчетливо поймете, что мне не место быть на золотой постели Оскара Эванса. Брезгливо думаю о своем прошлом. Ненавижу! Презираю! Особенно гадливо думаю о старой своднице леди Мэри Эванс. Вы грозили мне запрещением въезда в Англию: иду вам навстречу и освобождаю ваших агентов от бесполезной работы! Но как, но как я хотела бы поймать их!»

На Чистых прудах мальчик удивленно, испуганно, в непривычно тесной комнате, оглядывался на мать и на странных женщин, обнимавших его с двух сторон, в то время как горбатенький старик доставал его из-за самовара большой линейкой, а молодой дядя надевал на голову серый, с красной звездой шлем. И почему-то звонко, звонко смеялась мама.

На другой день мальчик подружился со стариком и настойчиво у него спрашивал:

— Ты, значит, настоящий дедушка, а тот старичок не настоящий?

— Все старики дедушки! — шебаршился около него Лаврентий Иванович.

Мальчику полюбился дядин шлем. Он не снимал его с головы и, как Лаврентий Иванович ни прятал его, находил снова и напяливал на глаза...

Лаврентий Иванович никому не сказал, выдрал из лекций «Об интегральном исчислении» единственный

сохранившийся золотой и накупил внуку игрушек. У письменного стола Лаврентия Ивановича, в дядином шлеме, мальчик мирно уселся на пол и начал играть невиданной игрушкой «Кузнецы».

Через два месяца Эванс ответил. Миля, морщась, отодвинула письмо, не хотя его вскрывать, но Леонид засмеялся, схватил письмо, испугавшись, что она разорвет его:

— Давай, давай! Прочитаем! Право же, интересно!

И, наклоняясь голова к голове, они прочитали:

«Я поступил, как вы хотели. Вам действительно лучше остаться в этой стране. Англия для вас слишком благоустроена. Леди Мэри Эванс благодарит вас за то, что вы следовали ее указаниям. Она приказала убрать все ваши фотографии и поместить в наш семейный архив в отдел Rossica.

Кстати. Я был в Париже. Небезызвестный вам Григорий Григорьевич Засецкий сделал на меня покушение в нашем любимом отеле. Он промахнулся. Я настоял, чтобы этого человека ввели в мое помещение лакеи. Я рассказал ему о вас. Тогда он снова сделал движение напасть на меня. И конечно, был снова схвачен лакеями. На лестнице, когда его вели полисмены, он упал в своем отвратительном припадке — и тут же умер. Он поступил благороднее вас. Я искренне жалею только об одном, что мне не удастся воспитать в вашем сыне джентльмена».

Миля скомкала письмо и швырнула его на пол.

Леонид подхватил его, бережливо разгладил, захотал, запрыгал:

— Погоди! Погоди! Что ты делаешь? Ужасно люблю автографы знаменитых людей! Я... я его, может, возьму, отдам в наш музей по иностранной интервенции!





Рассказы

МЕДВЕДИ

Первый снег выпал денной, ненадежный, полежал день — и сошел. И не быть бы зиме еще сорок дней. Но тут из-за бора у Трифона-на-Корешках, к вечерку, на закате, начало яснеть и холодеть небо. Ночью подстыло, к утру земля заостенела, ополдень на коровьем пруду в Овинцах ребятишки бегали с деревянными колотушками и глушили карасей. Зазимье пришло на той же неделе и заворотило нос в рукавицу. Пошли снега с ветром, с туманом, с моросью. Несло днями волокушу, а ночью закручивало метели взанос, в уброд, внатёк и наст. На Спиридона ходили в Овинцах к обледенелым колодцам кривыми и узкими тропками, по большой дороге скребли полоза наслуд под коньком у светелок, и приходили волки на гнилой дым из труб, уползавший по снегу в волчьи болота.

Зима была задачливая для медвежатника Тита. Взял он стервятника на речке Лёже, в Соколянках — видать Овинцы от берлоги, взял он двух овсяников на прошлогоднем месте под самым Трифоном. Митька трое суток не ходил в школу: ездил с отцом на Попадье — так звали старую лошадь — за мохначами.

В последний раз ездили, заплакал Митька о собачке — медвежатнице Кучумке: разорвал ее стервятник. Отец рукавицей размазал у сына слезы по лицу, зажал нос и ласково наклонился к нему:

— И чего ты, дурашка, плачешь? Гляди, добыча кака!

Кучумка лежала невдалеке от медведя, с отвороченной на спину головой, протянула ножки и поджала замерзший палкой хвост. Митька плача обметал с Кучумки снег. Отец, привязывая к сосне наострившую уши Попадью, спросил:

— Зарывать, что ль, станешь?

— Не, не! — вдруг крикнул Митька и пнул тушу медведя.

Отец засмеялся:

— Так его, так его, Митька! Не то Кучумку, не то и отца завернул бы на тот свет Потапыч. Ну, охорашивайся да за дело! Погожу малость: проплакивайся!

— Тятка, Кучумку домой повезем, — тянул Митька. — Я ее похороню за овином на горбыльке. Там сухо. Песок. Она и не сгниет долго.

— Ну-к что, домой так домой: клади. На горбыльке хорошо...

Был Тит широк и дороден, как старая ветла. Весело взвалил он косолапого на дровни. Кучумку Митька положил рядом. Отец облокотился на костоправа, а сын нежно гладил Кучумку.

Поехали. Попадья, приобывнув к косматому, не спеша тянула дровни старыми следами. Проваливаясь до брюха, останавливалась и, передохнув, натуживалась и выволакивала кладь. Тит задумался, поглядывая на горевшие снежинками елки, на бронзовевший сосняк, и прислушивался, как позади сын что-то ласково бормотал над мертвой собакой. А потом, не оборачиваясь, выправляя вожжи из-под хвоста Попадьи, сам себе пробурчал:

— Э-э-х! И... собака была умница!

Митька поднял голову и грустно спросил:

— На каком, тятка, попалась?

— На девяносто девятом. До нее Орлик был, да Мальчик, да Свистунья, а потом Кучумка.

— Я вот вырасту, тоже на медведей пойду.

— Дело, дело.

Отец подумал, покурил, пыхнул на хвост Попадье, хлестнувшей его по лицу, и бурчал дальше:

— Лесного архимандрита бить следоват. Не мы его, он нас: поля там, малину, скот... И человечину куснет с голодухи. Медведи ручные живут, все ничего, а попробует он мяса — чего мяса, например, голубь, голубятины попробует, — вот и кончено. Заревет, глаза красные: в лес надо. Четвертую собаку кончает. Кучумка — четвертая. Михайло Иванович — сурьезный барин!

Сын сердито уставился в круглый пушистый зад медведю, а отец вдруг рассердился:

— А и ему жить хочется. Кучумка мне его прямо на рогатину посадила. И... нечего тут... Нашелся, подумаешь, медвежатник: пескарей ловить! Медведь — зверь

проворный. Увалень, говорят! Говорят, кто медвежьей смерти не видал? Тихо да криво бегают Топтыгин! Да он те так побежит, по шнурочку, как колесо подкатится. Глазки у него хитрые, злые, видят тебя насквозь. Через медведя рогатина лезет, а через тебя две рогатины — глазки лесные его. Охотник сыскался! Помалкивай у меня, а то я тя валежиной!

Митька искоса поглядывал на отца, щипал медведя, выдергивал из заду стоячие холодные волосинки. Тит помолчал от оврага до оврага и подобрел.

— Нет, Митя, не надо тебе идтить в медвежатники. Вот и я живу будто не нарочно на свете. Ходи для разглуки за утицей, там ты — сила. Под медведем не пролежишь долго: он тя умое! Медведь — хозяин в бору, а мы на него воры и разбойники. Дело с ним опасное, грузное!

В ту зиму приезжали к Титу охотники из Москвы. Подняли двух медведей и волчью стаю. После охоты закоченевших бирюков долго вкапывали в снег у берлоги — и снимали. Снимали с Титом и с Митькой. Потом Тит всовывал в мертвый прокол космачу рогатину — и опять снимали. Долго щелкали машинкой на трех ножках и снимали московских охотников у медведя, на медведе, под медведем. Тит не глядел на московских гостей, прятал глаза под густыми медвежьими бровями, а Митька, задыхаясь, шептал отцу:

— Это почто же, тятка, сымают?

— Для камеди. Для показу главному начальству.

— Так и внастоящую это, тятка?

— По ним ладно!

Невесело проводил Тит московских охотников и лежал, охая, на печи. Был ему перст на охоте: на тридцатом году медвежьей охоты дало исправное ружье осечку. Убегая в лес, космач будто взглянул на него приметно и зорко и заревел каким-то таким не слыханным раньше голосом. Были и другие приметы.

Стояла в марте полная зима, лежал снег невиданной толщины. Во всю зиму подкладывали метели снег аршинами, утапывали его мокрые едучие туманы, прохлаждали ветра, ровняли места низкие, места высокие, покуда не растянулся он толстой и сдобной белой землей. Казались, не хватит у солнца жара растопить белые горы. А на пятые сутки снега не осталось. Тут инде белые плешины не долго задержались в крутых межах. Была

земля, как черная корова с белыми пятнышками на брюхе, на бочках, между рогов. Лёжа пошла полой водой от Трифона. Снесло село Ловцы за Овинцами с кривого берега. Наклонило защитные черные ветлы у села, обмякло и выкорчевало с землей одной краухой. Размякла, наплыла на село и поволокла за собой овины, амбары, избы, хлева со скотиной и живностью. В захлебнувшуюся старую плотину на Пундуге, будто всплыли где-то гробницы на кладбище, вынесло неудержимо белый лед, и пошел он поперек полей весенними незаказанными дорогами. Вода подступила к Овинцам и не могла подняться в гору. В лесах у Трифона-на-Корешках, на Обноре, на Бушуихе, на Углицком растрепало трехгодовалые лесные заготовки и закрутило раньшевременным модем в речном горле, повыкидало на пустоши, на просеки, к безводным деревням и погостам. Не стали собирать дорогой лес, как схлынул паводок к летним отметинам берегов, багрили его в Овинцах, на Рабанге, на Комеле, прикатывали к дворам, пилили ночами на чурки, подкладывали в костры к старым срубам. Мимо Овинцев на льдинах катили сидячие собаки, зайцы, бабы с бельишком, несло по воде дохлых коров, лошадей, овец, и сам Михайло Иванович ревун попал в беду. Подняло его, как на плоту, на горелом лесе, на высокой и цепкой лесной навали — и закачало, и заплескало в мутном крутне. Прибивало к берегу коров и лошадей, выламывали рога и отталкивали, снимали уздечки, окунывали, смеясь, круглые боночки баранов и ярушек. Паляли по медведю, а Мишка ревел, пригибал голову, зажимал притчатый нос и как бы грозил Овинцам мокрой лапой. Кричали бабы со льдин, бегали по берегу сухопутные бабы, а водяных баб проносило, укачивало, забрызгивало...

Тит глядел на лому и зяб в полушубке. Будто тот был медведь на льдине, что поглядел на него приметно в лесу, и несло его будто нарочно теперь под Овинцами. Приложился медвежатник, смерил долину серой мерой глаз — и пуля прокривила над паводком. Лесной черт только переступил на месте с ноги на ногу — и отвернулся от Тита.

Митька хоронил вытаявшую Кучумку в тот день на горбыльке. Отец сидел около на старом пне и сумрачно глядел на исхудавшую собачью морду.

На пятой неделе приехали к Титу опять охотники из Москвы. Ходили на глухарей и тетеревов. Заприметили

в ночи на соснах черные кучки глухарей, замерли, чтоб не хрустнуть в валежнике, недохнуть, не чихнуть... В забрезжившем свете будто пошла в темноте какая-то муть. Вдруг Тит шепнул, тихо шарахаясь назад:

— Медвежата... медвежата... медведица... пестун...

Не попадая зуб на зуб, уходили... Тихонько переступали, стояли тихими ночными деревьями, будто слышали шорох и шелест в муравьиных кучах. Когда выбрались к недалекой полянке и побежали, топоча, напрямик на опушку, медвежата были явственно видны. Тит, отбежав, разрядил ружье. Громыкнули за Титом другие охотники. Где-то взревел зверь, и по лесу затрещало, загоготало, заломало бегущие сучья. Медвежата весело карабкались по стволам, то выходя на самую крону и покачиваясь, то прячась в игольчатом шатре.

Тяжело сказал Тит:

— Дешево отделались. Вот те и глухари! Чудит, право! Беспременно тут была медведица. И пестун — хорошо. Ребра ломать мастер. Нет, скажи на милость, куда лешой занес!

Тит грузно и невесело засмеялся.

— А я говорю,— заплетаясь, бормотал московский охотник,— мы очень неосмотрительны. Это вы, Тит. Разве можно в медвежьем месте выходить на охоту с мелкой дробью, без пуль, без картечи! Такая неосторожность, такая неосторожность!

Сидя на опушке, охотники тревожно озирались на выходящую из темноты лохматую и низкую чащу. Они держали ружья на коленях, словно поджидали, что придется обороняться.

Тит резко и громко говорил:

— Услышь нас медведица, не уйди бы живыми. Видно, не судьба. Один маленький хрусточек попади ей в мохнатые уши — пошло бы дельце. Медвежата кувырк — и к нам. Они, дьяволы, всегда бегут к человеку. Игруны, стервы, не дай бог! Медведице боле ничего и не надо. Ружья наши для щекотки как раз... Одного пестун, другого сама... И под себя...

Тит сбросил картуз, вытер лоб и растерянно добавил:

— Мокрой, как испугался... напуганной... И год ноне — всем годам год. Наособицу. Зима — пять зим сразу. Воды — море непроливанное. Сыч — у нас старик кривой в Овинцах, позабыл, при каком царе сперва жил, при каком опосля, — не помнит такой воды. А и речка-то

в обшарашку поместится. Все одно к одному. Медведь норовит под глухаря, ружья не стреляют, медвежатники бегут от медвежат! Чудно! Чудно!

Пошли вяло и скучно к Овинцам, закутившим ранние печки.

Погодя с неделю драл Тит с Митькой лыки в Обнорском лесу. Остались в ночную, чтобы захватить утро. Закострили. Раздулось огня стог. Сидели, жевали, глядели на жадный огонь. Вдруг из чашинки кто-то бросил сук. Тит взгляделся. Опять кто-то кинул, уже большой березовой губой. Губа упала в огонь и откачнула пламя в сторону.

— Не напужаешь,— весело сказал Тит.— Кто там, выходи! Овинские?

Никто не ответил, но внезапно, грохоча по стволам, пролетел стороной обгорелый рогатый пень.

— А,— нахмурился Тит,— хозяин. Вот кто игру почал!

— Тятка, беда! — побелел Митька и прижался к земле.

Отец сразу закричал часто и гулко:

— Ай! Ай! Ай! Ай! Ай!

Вслед будто рывкнула роща, будто сорвалась вся она с места и помчалась, гремя деревянными ногами по земле.

— Ту! Ту! Ту! Ту! Ту! — кричал отец.

Митька повеселел и зазвенел ошалелым голосенком:

— Соли! Соли! Соли! Соли! Соли! Соли!

Медведь уносился, обрушивая за собой сучья, пеньки, хлеща ветками и часто-часто-часто топоча в ночи. Эхо ворвалось в чащи, побежало, заухало, вся Обнора загудела диким ревом, тысячи стволов, оглушая и надвигаясь, пошевелились во мгле.

Митька все еще кричал, а отец, глядя ему в рот, хохотал. Наконец Митька устал — голос сорвался. Так по вечерам пастухи созывали в Овинцах стадо с выгона. Коровы подымали большие морды на крик, жалобно мычали, блеяли овцы — и стадо собиралось к прогону, пыля и мотая хвостами от оводов.

Отец утер мокрые от смеха глаза, прислушался, припав ухом к земле, и встал. Выждав немного, Тит серьезно сказал Митьке:

— Помирать пошел. Теперь за ним по лесу красная строчка. Кровью изойдет.

— Уследить бы за ним, тятка! Нажива без трудов! Подохнет, Попадью в закладку — вывози.

— Уследишь его! Он, может, за сорок верст ускачет! Места ему познакомее нас с тобой. Сто верст лесу у Трифона, с гаком. В зыбунах сгинет. Из сил выбьется, ляжет — его и затянет в водяное оконце. Кульк, кульк, кульк! Обманчивая трава встанет над ним зеленой шерсткой — и все тут.

Он подкинул в костер хворостину и что-то обдумывал, поглядывая на сына.

— Не с того боку зашел, — протяжно и тихо выговорил Тит, — из-за огня нас не видно. На огонь вышел. Увидай нас раньше, может, повернул бы напрямик сюды. Крику боится медведь, ежели ты крикнешь раньше, до того, как в тебя упрется глазищами. Ежли он тя раньше узрел — ложись наземь молчком и не дыши. Он тя обнюхает, по роже тебе надает, наплюет на тебя, по земле выкатает... Захлебни слюну и не ворошись. Походит-походит вокруг тебя бирюк, притаится за деревом, ровно ушел, — пережди, помни; обманывает. Ты его, он тебя. Не выдашь себя — он и почнет обкладывать тебя листьями, ветками, валежиной, приволокет пенек... Тяжеленько, может, придется, а терпи. А то жизни решишься. Как захрустит в лесу, значит, пошел. Лежи, не вставай. Пусть и долго покажется, а лежи. Начнешь уставать по-настоящему, разломит всего — тихонько оглянись из-под дряни, вставай.

Отец прервал и вслушался в темноту, приставляя ладонь к уху.

— Идет сюды, тятка! — зашептал Митька.

Вдали за Лёжей вскрикнули совы, и неся оттуда унылый придавленный стон.

— Нет. Трещит будто с версту отсюда... А может, и не трещит. Это не ты ногой наступил на сучок?

Отец вытянулся на цыпочках и слушал.

— Идет, идет, идет, — зашептал сын, — я слышу. Кто-то идет, тятка!

— Идет не идет, а на печке в избе куда поваднее, парень, — спокойно проворчал отец. — Надо кострину позатоптать: не ровно спалим лес.

Тит разворошил костер пошире, Митька раскидал запасенный хворост в стороны и нагрузил себе на спину маленькую вязанку лык.

Приглядевшись к темноте, пошли крепко и верно знакомыми тропками, порубками, просветами, полянами. Отец нес на спине воз лык и подталкивал Митьку. Шли скоро, срезая лишние загибулины дороги.

— Был я, Митя, в солдатах,— рассказывал отец.— Городок такой в Калужской губернии есть. В конвойной команде служил. Завели ребята медвежонка. Подобрали в лесу. Выпестовали. На кухне жил. Как собака ходил за нами. Проворной такой. Честь фельдфебелю отдавал. В кабак приведем, к стойке шась — и стакан берет в лапу, чокается, нечистая сила. Умора! Ребята от смеху шатаются из стороны в сторону — и он шатается. Ребята плясать — и он не отстаёт. А то пойдем на базар. Молока охота, а денег нет. Покажешь перстом на кринку бабе, какая торгует: почем-де? И дальше. Нарочно делали. Мишка наш берет кринку в лапу, на задние лапы — и несет за нами. Шум, смех. Баба вдогонку кричит, бранится, чернит нас, костит... Космач так нехотя оборотится, поставит кринку на землю — и на бабу. Та, конечно, бежать. Здорово живешь кринку и унесем. Извели под конец. Привык, чудак, у начальника кур да гусей воровать. Плакали, а пристрелили. Когда привязывали к заборчику, понял, поднялся к нам грудью, закрыл лапой нос — самое слабое место у медведя, под рогатиной бережет,— заревел, слезы из глаз катятся...

Тит вздохнул и переложил веревку с ношей на другое плечо. Горько, жальчиво добавил:

— Не добыча бы да не озорничай он над деревенскими, непочто бы и бить его. Заня-я-тной зверь, заня-я-т-ной!

Заболел Тит с начала лета, лежал на полатах и не мог найти себе места. Поворачивался он с боку на бок, подгибал то одну, то другую ногу, посидит и ляжет, полежит и посидит, встанет на четвереньки, подымет голову руками с изголовья и держит на весу. Терла баба до надсады спину вином, тополевой примочкой, сметанкой с серой, подвязывала под мышки куриные яйца подсушить немочь, клала на тряпку к затылку коровий навоз кровь разогнать по кишкам,— Тит маялся. Верил медвежатник: был перст ему в медвежьем взгляде. Обещался не ходить на медведей, когда занывала с перегибом спина и будто заунывным звоном звенело в голове, дергало в ногах кости, лопались под наколенными чашечками больные пузырьки. Таскали его в баню, калили докрасна каменку,

хлестали там его вениками до голого прута в руках,— плакал и выл Тит. Потчевала баба медвежатника на ночь после баньки малиной, выпивал Тит самовар — и засыпал. Ненадолго легчало, а потом опять корчился и так и этак. Возили на Попадье через Соколянский сосновый бор к Трифону-селу в больницу — и привезли обратно с мазями, с бутылочками, с баночками. Приходил Сыч, прошамкал заговор «Заря-заряница, красная девица» и громко сказал, сидя под черными иконами:

— Натрудил спину на медведях, Тит. Свое кости возьмут. Отболят — долго ли, коротко ли, отболят. Охоч до медведей был. А зверь, всякий зверь — божья тварь. Вон у святых-то медведи — первый друг. Медведь у святых в услужении, а мы, грешные, медведя на рогаину. Не иначе тебе господь бог и зачитывает за медведей.

— Не иначе,— прошептал Тит.— Спасибо, дедко, научил.

Волоча валенки по пыльной дороге к своей избе, бормотал Сыч:

— Как своему деревенскому не помочь?

Летом одолели Овинцы медведи и волки. Драли коров, лошадей, овец. Прибежала в деревню корова с пестуном на спине. Убили всей деревней и корову, и вожатого на ней. Стадо ходило с ободранными задами. Прибежал бык с вырванным ребром. Ухватил его, чертушко, не удержал, вырвал на заметку ребро. Задрал медведь корову и у Тита. Нашли Пеструху в чащине на Лёже, под ободранной у комля сосной.

— Занедужился некстати,— ворчала баба,— и пострелять в деревне некому. Не мужики — бабы...

И заплакала по Пеструхе:

— Она, родименькая, лежит под деревом. Не успел, окаянный, нажраться, хребет перешиб, лапищи вонзил в бочка...

— Он так завсегда,— гнусил Тит.— Вскочит корове на спину, корова бежать, а бирюк висит, будто черный хвост, на задних ногах. Он норовит задними лапами ухватиться за дерево какое. На ровном месте другая сильная корова на двор его и притащит. А ухватится за дерево — тут корове и смерть. Пеструха так, сердяга, и попала. Сосна сгубила коровенку.

Не унималась баба:

— Обдирать начал, что те мясник хороший: чисто-начисто. Лафтаки кожи на спине содрал. Наказанье

за наказаньем пошло. Опять-таки овес на наших полосах сосет и сосет, проклятуший. И подловить некому, и прикончить некому.

Тит опускал ноги с полатей, хотел встать — и не мог.

Медведи обсасывали на полосах один загон за другим.

Ночами сторожили мужики, жгли костры, паляли — и не услеживали. Будто ползком пробирались медведи в овсы и укрывались в глухих бороздах.

В Ильин день поутру вдруг вбежал в избу с улицы Митька и закричал во все горло:

— Тятка! Тятка! Вставай, я медведя убил!

В руках у него было старое одноствольное ружье.

— В овсах! Наповал! Я подкрался к нему. Вижу, — сосет. Я его камешком. Полный карман сперва нагрузил на дороге. Камешком да землей. Он сосет, а я его дразню. Увидал, пофыркал — и побежал на меня. За два шага и встал на задние лапы. Я ему ка-а-к ляпну в глаз, он набок, дрыг — и все тут. Во! Здорово? За Кучумку да за Пеструху!

Отец, как вбежал Митька, вскочил и застонал. Будто, погода, прошла вся немочь. Он тихонько слез с полатей, добрался до Митьки, вцепился в волосы и дернул. Мать с испугу замерла посередь избы и остолбенело глазела, как таскал за волосы отец сына, а Митька кричал на Тита, жалобно плакал и вывертывался. Он уронил ружье на пол — и они оба запинаясь о него. Отец обессилел, и, задыхаясь и закашливаясь, оперся на стол и присел с утолка на лавку.

Тут закричала мать:

— Мазурá ты, мазурá! Да и как жив-то ты остался, отчаянна головушка!

Мать ужаснулась, всплеснула руками и взвыла, наступая на сына:

— Бей его, бей еще, отец! Мало ему! Надо, чтоб слезы по заднему месту потекли. Какие страсти, какие страсти — убил медведя! На волосок от смерти был!

Мать закрыла лицо руками и села рядом с Титом. Митька виновато прижался к устью печки и глядел на сажу, черными глянцевыми протеками залившую кирпичные рубцы и трещины.

Митька, убив медведя, бежал по деревне и удальски кричал выходящим бабам, мужикам на бревнах, ребятам... Ребята побежали первые в поле. Скоро двинулись все Овинцы. На полосе лежал овсяник с кривым красным

глазом. Ходила по полосе мать с Митькой, качала головой, совала ему в загривок, а он припадал на колено, кидал камни, поднимался на цыпочки — и все показывал, показывал, как положил медведя.

Потом выехали в поле на Попадье. Помогали ребята, споря за места, наваливать медведя на навозницу, мужики гнали их, ребята подлезали под ноги, под руки, держались за черствую шерсть.

Митька повозничал, везя овсяника. Он, насвистывая и нокая, важно стоял в навознице, дергал зря вожжами. Ребята бежали сзади, спереди, с боков, заглядывая на медведя.

Отец, желтый и худой, высунулся из окошка. Митька подкатил близко к избе, трпукнул Попадью и осмелев крикнул:

— Гляди, тятя, совсем настоящий медведь! Овсяник!

— Ноготочки-то, ноготочки-то! — шумела детвора, вспархивая воробьиной стаей на навозницу.

Народ шарил лохмача, хлопали Митьку по спине, шутливо брали его за ухо, бабы охали и корили за озорство. Отец молча прикинул глазами медвежий вес и болезненно просмеялся.

Торжествуя, воскликнул Митька:

— А еще отдул! О, стрельба!

Старый Сыч положил Митьке на голову руку и прощамкал черным и втянутым в щеки-складочки ртом:

— Не сподручно бабе с медведем бороться, того гляди — юбка раздерется. Тит, вицей ты его разубажь за милую душу. От таких охотников матерей-сирот не оберешься!

Ходили ребята украдчи ночью с ружьями в овсяное поле, искали их отцы и вели с подзатыльниками домой. С тех пор запирали в Овинцах ружья по сундукам от медвежатной челяди.

Тит походил день-другой по избе, вышел посидеть на крылечке — и снова заболел. Стрельнуло в спину от Митькина удализма, будто болезнь переломилась надвое и пошла наизбыть, но ненадолго. Пуще заломило в груди: подкатило такой сухой шар замазки под ложечку — и сперло дыхание. Охал Тит на полатах, взывал прострельным голосом, подолгу слезал за нуждой.

Забыли в Овинцах думать про Митькина овсяника: находила работа на работу, торопились вычерпать ясные дни, роптали на темную куделю облаков, порошившую

небо на закате. Мать пропадала в поле. Митька забегал проводить отца, хватал со столешницы кусок — и опять на улицу, в гуменники, в луга, на речку, по грибы.

Тит злобился.

— Чего снуешь? Подь помоги матери да девкам. Хлеб жрешь небось. Четырнадцать годов парню, а бегаёт, будто пузо голое. От ужю встану!

Митька хлопал дверями и стремглав выскакивал из избы. Отец недовольно бормотал вслед:

— Ускакал! Маленький, а понимает: не догнать лежучи!

Изба молчала, затаиваясь тишиной.

Звериная напасть свалилась на баб.

Ходили бабы за малиной, отбилась от артели девушка на выданье и наткнулась на малинника. Подмял, исходил всю лапами, изжамкал... Ухватил он ее за косу и содрал кожу с головы на грудь, будто девушка накрылась красным платком, износу ему не будет.

Собрались в воскресенье и стар и млад в Овинцах, с ружьями, с кольями, со сковородками, с самоварными крышками, загремели, завопили, заорали, отгоняя зверя от полей, от хожалых мест. Прошли лесом пять перекатов до зыбунов. Будто отбежал в глушину зверь.

Плакали в Овинцах, хороня девушку. А на другой день пошли бабы в те же малинники: сходила ягода. Наутро пастухи в лощинке видели космача. Шел он тихонько за полями и оглядывался на стадо.

Вдруг Митька пропал... Не пришел день, не пришел полдня. Хватились в ночном. Ребята пригнали коней: Митьки не было. Нашла мать отпертой сундук с ружьем — и заголосила. Тит полез с полатей. Кинулись в поля — и нашли.

В густом зеленом овсе лежал мертвый овсяник на боку, а под лапами, тесно прижатый к мохнатому брюху, прильнул в лохмотьях Митька. Схватил его медведь за спину, вклепнулся когтями — и заглох. Упала мать и уткнулась головой в землю. Завыли сестры. А мужики закричали:

— Теплой! Теплой! Жив!

Мужики начали бережно отгибать медвежьи лапы. Митьку вынули и отнесли на зеленую заросшую межу. Митька слабо дышал. Поперек головы, по мелким волосенкам, запеклись три красных густых рубца, кожа со лба отвалилась рванью на нос и слиплась, отмахнулась чужая

рука в плече и подогнулась нога угольником на другую ногу. Отцовское ружье валялось под медведем. Пониже соска у медведя торчал красной головкой немецкий штык, вынесенный отцом из-под Двинска.

Очувствовалась мать, пригнали Попадью из Овинцев — и на постелях, на подушках, уложенных на днище телеги, Митьку повезли к Трифону-на-Корешках в больницу.

Подвезли Митьку к своей избе. Тит прихромал к телеге, дрожа отвернул одеяло и поглядел на сына. Поглядел, молча взял свое ружье, обтер штык о сено, отвернулся и махнул рукой.

Заливаясь слезами, трогая Попадью, мать крикнула горько и жалобно:

— Девки, отец-то не может, уберите медведя. Шкура-то пропадет в тепле. Новой изъян.

— Уберем, седня же, — ответил скрипуче Тит и сердито добавил, напрягая голос: — Не трясись больно парня-то, в кальях — придерживай телегу. От ему не сладко...

Провожали Митьку Овинцы до отвода. Нашлись охотники ребята — побежали за телегой до Трифона. Верховой, Митькин дядя, поскакал вперед в больницу с известием.

Везла телегу Попадья овсами ровно, легко, глядя себе под копыта, обходя кальи и выбоины.

На другое лето Митька поправился. Пришел в Овинцы с измордованным лицом, на деревяшке, пролегли головой три белых шнура — медвежьи знаки, погорбился и косил плечом.

Давно подтянулся, отдохнул Тит от медвежьего промыслу, выпрямился на полатах, будто раздался в плечах, осилил хворь — и в зиму пошел шарить берлоги по искоженным чащам и овражкам.

Митька, стуча деревяшкой о дровни, вывозил медведей.



БОРКИ И ОВРАЖКИ

Занывали ночью у Ольги зубы: то брюхатела она от нелюбимого мужа. Была она прежде высока и полногруда, как молодой тополек, кужлявый от дождя.

Было у отца тринадцать дочерей погодков. Торговал он на толчке огурцами, капустой и мелкой снедью. Торговал с утра до ночи, бился в гнилом и сыром от снеди ларчике — и не мог одеть дочерей.

Покупал у него огурцы на артель колодезник — колодцы рыл по дворам — Тимоша Онуча и посватал Ольгу за сына. Был Нил мал и широкоплеч, крут у него был затылок бобриком, будто разорвал ему кто-то рот по ошибке и глядели из-под медведей-бровей воробьями малые серые глаза. Привез показать сына Онуча из медвежьей своей стороны, от Трифона-на-Корешках, из малого городца Борки в город Овражки — и выставил товар лицом. Заплакала Ольга за яблонью на своем дворе, вздыхал огуречник, просил Онуча невесту неотвязно, прилипчиво. И дело сладили.

Целовал за столом молодой князь молодую жену. Колол алые черствые губки усами. Глядело двенадцать сестер. Не поднимал глаз от полу молодой.

В городе Борках у Тимоши Онучи были три окошка в задней избе, три окошка в передней избе, деревянные перегородочки за печкой, насупротив печки, а промеж изб — холодные сенцы. Отвели молодых в переднюю избу: тут и жить им. Села Ольга на постель и заплакала. Нил сел к окошку и задумался. Первую ночь так и скоротали чужими. Прилегла Ольга на краешек постели в подвенечном платье и заснула.

Били горшки рано поутру у дверей. Вскочила Ольга, а Нил растянулся на полу на пестрой «монастырской» дорожке, а в головах полушубок лежит — и не слышал. Подняла его Ольга, встряхнула подвенечное платье, расправила оборки. Нил натянул пиджак, убрал полушубок — и молодые рука об руку пошли к двери.

Был кроток и ласков Нил. Ела поедом свекровь Ольгу, поливала Нила бранным словом, будто осенний наседливый дождь. Жили молодые за ситцевыми занавесками горошком, за пунцовыми сережками у гераней, стряпала Ольга у печки, сряжала мужа на работу, молчала, молчал и Нил, спали они в разных углах и не сходились.

Затяжелела Ольга первенцем на пятое лето. И заныли, заныли сперва коренные зубы у Ольги, а потом пристали к ним глазные, зуб мудрости. Ходила Ольга по избе, зажимала рот крепкой рукой, кидалась глазами по стенкам, будто искала большой несворотимый гвоздь, а из глаз текли густые теплые слезы и мочили горевший

пушок щек. Ныли зубы до четвертого месяца. Нил не показывался на глаза жене, только молча садился под окошками на лавочку, прислушивался к бегущим шагам жены над головой и вздыхал. И не было сил унять зубную боль. Полногрудой Ольги не стало. Груды подсохли. И легла на щеки желтая пыльца бабочками-крапивницами.

Нил был машинистом на железной дороге. Водил он тяжелые товарные поезда от Овражек в Борки, от Борков в Овражки. Качало его на путях, вглядывался он осенними дождливыми мглами вперед, знобил лицо под метельной зимней метлой — и хлестала она по глазам, раскрывала грудь, свистела в ушах, продувая черное железо паровоза, и выла бедой. Был молчалив, как Трифоновский бор, Нил. И посылали его зато с поездами ночными, бессонными, поднимали сторожа в самую сонную сласть. Вел он поезда ночные, сборные... Перегоняли его щеголя почтовые, скорые, курьерские, перегоняли «соломоны», перегоняли «максимы»... Держали его на разъездах, на станушках, в карьерах, на запасных путях часами, днями, сутками...

Не любила Ольга мужа и на десятый год. Висели на отце ребята, не сводили глаз с косматых усов, таскали ему в дорожную сумку подорожное — хлеб, огурцы, долгоперый лук. На Навозной улице не было скромнее и тише Нила. И не было любимее сына у Тимоши Онучи. Ела мать поедом Онучу, ела Нила, ела Ольгу. Бывают такие березовые кряжи — отскакивает топор, звенит и гнется пила, не берет колун: то Матрена Онуча. Напугалась Ольга задней избы и век прожила напуганной. Только пуше того напугала сама Нила неприступным взглядом, спал с ней вором в большие праздники, не перечил рывку словом, опускал глаза, как несла мимо гостям пироги. Веселела Ольга, сряжаючи в путь мужа. Слышала — тихонько закрывал калитку машинист, топал по дороге, кашлял: морщила немилوکровному брови.

Сборные поезда, будто стогодовалые старики, ползли от перегона до перегона, стояли на малых и больших остановках, перегоняли их с одного пути на другой путь, отцепляли, крошили, перекидывали с головы в конец вагоны, из конца — в середину, отводили одни составы, прибавляли другие. Нил гудел в свисток и гонял туда-сюда черного коротколапого зверя. Напивались бригады — цедили спирт через соломинку на перегрузах,

дрыхли на тендере, под дрѣвами,— Нил вел один поезд. Добирался поезд до города Овражки на четвертые сутки, выкидывали паровоз в депо на отдых: отдыхал машинист.

Была каморка в Овражках на станции: черная изба от прокура, от машинного масла, от паровой сажи, от дорожной пыли. Дождался Нил своего коня, покуда он проскачет с другим хозяином Трифоновскими борами до другого городка и прибежит обратно, потный и мокрый, с оскаленными красными зубами. В каморке свертывался Нил в углу на лавке, под головой корзинка с пожитками, подкладывал черную лапу под лосную черную щеку и раскрывал большой рот. В каморке резались за столом в карты, доставали из корзинок водку, наливали под столом, чокались чайными стаканами, кричали, орали, дымили табаком, будто неугасимо трещал мохнатый валежник в каморке и клубил под потолком. Скучно дожидаться своих коней машинистам, кочегарам, помощникам. Слегали, где сидели,— черствые лавки толкали в бока,— лениво подымались и коротали тоску водкой, картами, спорами. Пели песни в каморке, как скоро завеселит с водки от устатку, а Нил спал: убаюкали сборные ночные поезда.

Не часто ходил Нил к тестю-огуречнику: стеснительный был машинист. Глядели на него пятеро сестер, других развели мужья по медвежьим городкам, огуречник угощал, наваливал в дорогу сырые подарки, а у самого последнее, нищее, со своего стола.

— Убогая! Убогая! — кричала свекровь на Ольгу.— Мозоль насидишь на славнухе! Чего-от корова-то не доена? Модёна! Причесы не для кого теперь выдумывать! От у тебя сам придет — и красуйся! Сена дай. Воду-то подогрела? Каша есть у куриц? Хлев-то у свиньи убран? Пошила бы, пошила бы ребятам рубахи!..

Ольга была безропотная. Родились такие в Борках и Овражках бабы — на хребте свекровь висит, погоняет, тянет хоботком кровь с розовых щек, ужимает грудь, тушит глаза. Помирали Матрены — и провожали их на погост снохи, тая под черными платками веселье в заплаканных глазах. И долго пекли праздничные пироги: не уставали поминать лихом. Ольга молча, непричесанная шла в хлев, в сараюшку, в сеновал... А свекровь снова кричала:

— Эй, золотая ступень, поищи ж в голове! Исчесалась я вся...

Солнце выглядывало из-под нахлобученной застрехи в малые оконца. Лежала на полу на солнечном зайчике кошка. Свекровь опускала старую голову на колени к Ольге,— и та на солнце перебирала серые волосы ножом.

— На потылице-то, на потылице поскреби,— скрипела свекровь.— У, непроворная! Рядком, рядком пройди!

И она тыкала пальцем сквозь редкие космы в затылок:

— Нож-от покривее, покривее правь. Руки-то неласковые, шершавые у тебя, снохонька! У! Этого не умеешь! Учись, учись, матушка, сама свекровью будешь, тебе поищут снохи...

Ольга затаивала дыхание, и руки у ней бежали, искали, торопились...

— Гляди,— ворчала сердито в коленях старуха и дергала пуговицу на кофточке у Ольги,— пуговицы у тебя висят. Будто спина сломится пришить! За собой поухаживать некогда. Укатится пуговица в щель — добринки одной в хозяйстве и нет. Муж-от этак не наработается на транжирку такую. Хорошо за чужим кормом расходоваться. Мы прежде жили с отцом: тряпюк на улице подымешь аль булавку — и в дом. Из дома только негодящее, да и то на огород. Морковь растет на человеческом навозе, ровно брюква. То-ол-стая. Ботва-то, что полынь, высокая. Учитесь от старых людей: они научат добру. Я об Нила кокотышки обколотила: бережливый парень и вырос. На себя трех копеек не выкинет. В Овражке у вас другой народ: моты. Нилу-то нашему такую ли в любом месте жену дали б, да мой Онуча больно тебя нахвалил за скромность. Ты отца-то и благодари. В дом-от попала не в каковский-нибудь! Мужики степенные да тихие, да не пьяницы и мотыги. Не бивал тебя Нил, не колачивал, в нужде у тебя живет... Думаешь, не вижу, хитреющая! За сына бы не грех пристать. Как это так под бабой жить? Да... я не попрекаю. Смирный он, теля, а не настоящий мужик. В Онучу. Худа нет: Онуча у меня весь век в послушанье жил. Видно, и Нилу такая судьба. Хе-хе-хе! Мы с тобой, выходит, мужики! Хе-хе-хе! Кумпалок-от поскреби, поскреби дюжее. Туды, туды убежала! От слышу, как бежит, подлюга! Ты наперехват, наперехват ее!

Тяжелой походкой нес Нил, будто железную бабу в сорок пудов, черный свой корпус.

— Большеротый! — вопила мать. — С каких-от пор калитку не затворяешь! Нараспашку живешь! Жену украдут. Слижут сметанку прохожие молодцы!

— Бабка жилы тянет! Бабка жилы тянет! — смеялась внучка, вспоминая, как говорила мать.

Ольга испуганно грозила дочке и зажимала ей фартуком рот.

Старуха бормотала в сенцах, шлепая босыми ногами:

— Жизни не знают! Жизни не знают!

Гостила Ольга у отца в Овражках раз в год, помогала ему торговать в ларьке, обшивала сестер, плакала с матерью на отцовскую бедность.

— А сама ты! Все хорошо да хорошо живешь, — шептала мать на ухо дочери, — а какой уж хорошо! Наслышаны мы про свекровушку. Согрешил батько, не одумался, не осмотрелся. Волосы он на себе дерет. Гляди, как извелась: где личико-то, мотри, кожа да кости! Омманул Онуча, такой хороший мужик! Глаз теперь не кажет. Оттого в Овражках и сватали, что в Борках невесты в голос, как сватов Онуча зашлет.

Ольга через силу смеялась.

— Знаю, знаю, — вздыхала мать, — ты не скажешь, отца бережешь. Будто пелену ему на глаза надернули тогда.

И торжественно, задыхаясь, сердясь, мать говорила дальше:

— Отец хорошего тебе желал. Мужик Онуча больно хорош, Нил-то неказистый, а голубь. Душа-то у него из душ душа. Редкостный по душе человек. Мы вот с отцом-то без любви тоже жить начали. А что получилось: не хуже других прожили. Я так жила, как царю кума. Нил-то в отца. У матери его характер несворотимый...

Кружил огуречник вокруг Ольги, наговориться не мог, глядел на нее пристальными, жальчивыми глазами. Ребятишки от дедушки ни на шаг: луки им делал, стрелы, домики — всё для Ольги.

— Ты его наставь, — учила мать, провожая Ольгу в Борки, — от отца отделиться. Зла-то и будет меньше.

Ольга махала рукой и безнадежно глядела перед собой, будто не было на свете отцовских Овражков, а в Борках молчали дома, улицы, небо, молчала она, Ольга, как по обету.

— Да не может он напротив матери дыхнуть! — зло и враждебно вспыхивала Ольга. — Где ему! И я не могу. И я заклеванная. Старуха две улицы одна обидит.

Ольга вдруг останавливалась, вглядывалась в отчаянное лицо матери, раскрасневалась и дрожащим голосом, прячась от ребятишек, вырезала из сердца слова:

— Мама, меня воротит от него! Видеть не могу Нила! Старуха любее! Ничего мне не надо! Доживу как-нибудь свой век!

Старуха боязливо и немо отворачивалась от дочери. Будто стояли на станции в Овражках тощие березы в слезах, плакали акации, мокрели крыши, капали слезы из железной трубы у водокачки, где поили на дорогу паровозы, и махала Ольга из окошка вагона неповоротливым и непросохшим платком.

Маялись бабы в Овражках, в Борках, били баб в низеньких домах, в домах высоких, у кабаков, у крылец, бежали по Навозной улице простоволосые бабы и ревели. Протрезвлялись мужья, тишили, бабы терли синушки колотиком, напускали на переносье платки. Собирались бабы на усторонье на речке бельишко полоскать и хаяли, хаяли белый свет. Будто и не было в Овражках, в Борках бабьего счастья. Жил напротив Ольги золотарь — с бочкой по ночам выезжал на главные улицы, — подглядела Ольга, как миловал и любовал свою бабу. А баба каждую ночь отворяла ворота, провожала вонючую бочку, закутывала золотарю шарфом шею, как залезать ему на бочку к вожжам. Чахли бабы, как березы от деревного червяка, как березы осыпали мелкий лист. В Овражках да в Борках шли бабы замуж для глума и битья от попа до попа. Гуляла на Навозной улице одна злая баба в обиде на мужа с нищим пастухом: осуждали бабу. Давал втреску муж-кочегар, бухали, словно о пустую бочку, кулаки, кричала баба голосом, — стояли за углами и подсмеивали.

Жил Нил, как у мачехи, у Ольги; будто нанятой мужик, спал на большом сундуке за печкой. Пятнадцать лет не пожалела. В большие праздники варили пиво и покупали рогом непьющие Онучины мужики. Ольга хмелела и мякла. Сама натыкалась на сундук и спала с мужем. Не глядела потом на него от поста до заговенья. И занывали зубы от брюха.

Копили деньгу на черный день, на ребят, на хворь в Борках: недоедали, недопивали. Отбирала у Нила мать

волчью сыть, шила приданое золовке. Прятал от матери деньги сын, клал Ольге в приданный сундучок. Корила Ольга мужа насмешками: не умел делать радости нелюбимый муж. Будто укалывался Нил каждый раз об Ольгу, выпускала она колючки со всех сторон, надела платье на себя из ежовой шкурки — не дотронись.

Трудные подъемы идут под Угольским: Нил вертел круглым затылком и вперед, и в хвост поезда: разрывало, терял хвосты, прибегали вагоны вспять. Останавливали за стрелкой: кидали шпалы на пути. Вбегали вагоны ночами на станцию, коверкали поезда, давили народ. Снимали Нила с поездов «на маневры», в слесаря. Выслуживал. Догоняли вагоны в пути, под уклон, били деревянными красными лбами в зад, поднимались и лезли вагон на вагон. Зарылся раз стальной бык в наземь, выкинуло Нила под снежные щиты. Привезли на Навозную улицу без памяти. Первый раз лег Нил на женину кровать. Ребята не отходили от кровати. Спала Ольга на сундуке, ворочалась, уставала прямая спина.

Отлежался Нил, снова повел крутыми угольскими горками поезда. Уезжал в Овражки, не было день, другой, третий, неделю, приходили вести о крушениях, о сломанных осях, шейках, гнилых шпалах. Сводила Ольга брови, ждала — не вернется, не придет, не закарабкается у калитки. Сердце было холодно, как открытое зимнее окно. Скрипели двери, и сначала показывалась в дверях зачерневшая от сажи замасленная корзинка, а над ней темное лицо Нила. Кидалась вещами, резко передвигала, скребя дном, горшки, глядела не видя, не хотя видеть.

Ольга приглядывалась, как чавкал он за столом, тихий, широкий, как подрагивал корпусом — будто большие солдатские черные хлебы: возили их по Навозной улице из пекарни в казармы, — как жадно глядел он, не отрываясь, на кусок, покуда подносил его к большому рту. А дети вокруг него весело смеялись, гладили его по рукам, по круглому затылку, заглядывали из-под локтей на медведя бровей, вытаскивали из жилетки маленький замусоленный карандашик, очиняли его тупым столовым ножом. Ольга вдруг вздрагивала: она ловила себя на каком-то клокотавшем в горле обидном и сладком нытье, раскрывала рот и нехотя улыбалась. Но как выстрел в темноте были эти забывчивые минуты.

Бежали вдоль железных путей по бровкам собаки, жеребята, коровы, брели пешеходы, странники, нищие — поезда шли, крича и грозя и плача свистками. На переездах, под уклоны, врезались в стадо, давили, кромсали, резали в ночном забредших на полотно лошадей, оставляя за собой в деревнях, селах, починках плач. Зимами в метельный вой резали волков, зайцев, лосей.

Вернулся раз Нил из поездки. Собрала Ольга на стол ужин, усадила кружком четверых ребятишек. Нил насутился, не ел, не пил. Вдруг он всхлипнул, заклохтал курицей — и закрыл лицо руками:

— Чело-ве-ка, человека я переехал...

И зарыдал, давя непривычное горе, затрясся:

— А у него... а у него... может... как и у меня... ребятишки!

Ольга захватила рукой горло, отодвинулась за кран, будто ожгло ей глаза медной искрой из самовара, будто увидела она того бездыханного человека на рельсах: несут его в дом, и гремят люди на лестнице ступенями.

Нил вытирал грязным, темным платком заплаканные глаза.

— Так совсем и задавило, папка? — спрашивали ребятишки. — Напополам?

И глядели любопытными, круглыми, сосредоточенными глазами. Ольга не глядя сказала:

— Ты не нарочно задавил.

И будто равнодушно отвернула кран и подлила в чайник кипятку. А ночью долго не спала, слушала бред детей, слушала тоненький далекий писк: то на сундуке плакал задавленными в подушку слезами Нил.

Ольга не знала, не понимала, как она встала с кровати, как подошла к сундуку и дотронулась до мужа. Он вскочил и напугал ее. Она очнулась. Постояла, забыла, зачем пришла к нему, вспомнила в темноте, морщилась и молчала. Нил грузно пододвинулся, давая ей место. Она повела худыми плечами, близко наклонилась над ним и звонко, как у глухого, спросила:

— Тебе ничего не будет за это?

Запнулась и добавила:

— Я... из-за ребят.

И он забормотал радостно, будто отлегла тяжесть, будто он и не плакал и не жалел человека, будто он не переезжал его на лёженском мосту и не вытаскивал его

из-под тендера большими кусками мяса в лохматых обертках одежды:

— Нет... Нет. Я остановил... Я не хотел. Человек поднялся у моста по лестнице. Отшатнулся назад, запнулся за шпалу... Паровоз и нанесло...

Вернулась Ольга на кровать,— будто поворачивался сундук под Нилом всю ночь,— и глядели они в одну и ту же темноту удивленными, остановившимися, невидящими глазами.

И с тех пор Ольга начала бояться, когда он уезжал. Только затворится калитка, Ольга остановится посередине избы и задумается, глядит на себя в большое, мухами обжитое на стене зеркало, видит одни свои глаза и тоненькие, как паутинный узор, морщинки на лбу. Ходит она своя не своя, а придет Нил, Ольга сердится, кипит, гремит, будто невесту за что затаила на мужа непроходимую обиду.

Под осень перекладывали печку в избе. Старик-печеклад с молодым сыном весело пылили у печки, разбирая прожженные, треснувшие кирпичи. Молодой печеклад все мурлыкал себе под нос и часто выходил в сенцы пить воду из деревянной, под плавучим кругом кадушки. Закрыты были в избе рогожами, холстиной, половиками-дорожками вещи от пыли. Жили в сенцах, в задней избе. Разобрали печку, отобрали годящий кирпич, носили со двора новый кирпич. Глядел на Ольгу молодой печеклад приметно, исподлобья, напевал, на голове у него картуз, на груди серый, с красной кирпичной пылью фартук. Глядела на него Ольга и удивлялась, будто видала она его где-то и когда-то и знала его давно-давно. А вторые сутки и печку клали.

Уходили печеклады к себе на квартиру обедать, запирали за ними двери и сама не понимала — почему скучно ей дожидаться, когда опять придут. Тянуло Ольгу из сенцев, из задней избы на свою половину, то надо принести, другое, там поправить половичок, там погремечь сундуком, там смахнуть лишнюю грязь. Беспокоится по хозяйству — и взглянет на печекладов. Молодой поет и усмехается, смотрит прямо на нее, ворожат голубые глаза, и видать длинные, пушистые, в пыли ресницы. Горит у Ольги левое ухо, будто кисть рябины, и тепло, и жарко под кожей текут, извиваются какие-то толкучие ручейки и волосинки.

Ушли на третий день ребяташки с отцом и бабушкой по грибы на Лёжу. Знает, придут к вечерням. Осталась домовничать. Стряпала, кормила кур, рубила кочерыжки корове, прибиралась в задней избе, носила воду, суежилась зря у печекладов. Молодой пил воду в сенцах, стояла Ольга у кадушки, фыркнул и плеснул две капли на лицо, не рассердилась, засмеялась, не отошла. Молодой взгляделся близко-близко и подышал на нее.

Провожала на обед, сама не знала, дразнила глазами в глаза. Обернулся молодой в дверях и запнулся за порожек. Ойкнула в испуге и схватила за руку, чтобы не упал.

Воротился с обеда раньше времени один молодой печеклад. Заперла двери на задвижку до старика. А молодой в сенцы вошел, слышит она, стоит, дожидается. Стоит и Ольга у задвижки, обмерла, прислушивается, как на дворе судачат куры и хрюкает под крыльцом свинья. Постояли так; печеклад к печке пошел, заколотил маленькой киркой по кирпичам, отбивает дятлом, замурлыкал грустно и жалобно бессловесную песню.

Переступили ноги сами в переднюю избу... Тут молодой схватил Ольгу... Так, стоя, у печки, торопясь и оглядываясь, прищуриваясь к дверям,— а полы уходили из-под ног, качались плотом — и согрешила. Старик-печеклад стучал на крыльце и дергал задвижку.

Не поглядела больше Ольга на молодого. И он перестал петь.

Уходили, вынесла деньги старику, двери пошел запирать Нил.

— Хозяюшка, прощай,— сказал молодой, останавливаясь у порога,— не поминай худом!

— Совет да любовь,— добавил старик.

— Нас не забывают,— холодно ответила Ольга.— Задымит печка, покличем.

— Это мы с нашим удовольствием. Завсегда. За работу мы ответственные. Только не задымит, будь в надежде,— говорил старик, вышагивая на улицу.

Ольга понесла от молодого. Не ныли зубы, только тянуло ее неотступно есть глину. Она отковыривала от печки маленькие кусочки и жевала, проглатывала, а потом ее подолгу мутило.

— Папка, мама опять касляла,— рассказывала маленькая дочка приезжавшему из поездки отцу.

Нил скромно, чтобы не рассердить Ольгу, смеялся и ласкал по голове девочку.

Ольга носила привычное беремя, только была на губах у ней какая-то непонятная, небывалая сладость,— и Ольга иногда незаметно для всех облизывалась. Она затаилась, утихла.

Шла зима. Печка исправно и светло топилась. Уже шевелился ребенок в животе. Она выпрямлялась и сглаживала слюну, когда он кидался ножками. Ольга тихо и спокойно служила семье, но с каждым днем все отчетливее боялась она, если долго не возвращался муж из поездки, кидалась открывать ему, молча кормила, была какая-то новая и робость и радость в том, что у порога стояли его вымазанные рыбьим жиром ухастые сапоги, и даже засаленный черный сундук за печкой, будто маленький тендер, не раздражал ее, и она без дурноты, как было еще недавно, садилась на него. Но Ольга не могла глядеть на мужа — и как-то по-другому не могла глядеть.

Нил радовался на ее большой живот, как наливался он с недели на неделю, будто раздутая на ветру рубаха, будто подушка под белым одеялом.

Не ныли у Ольги зубы, и был дорог этот обглоданный уголок печки. А на лице не было этого летучего гнева, словно наплывшая в летнюю ночь холодная волна с лугов, не было гнева на Нила, как раньше, только по-прежнему она молчала, жила она будто не с ним, а с его ребятишками.

Раз вышла Ольга за ворота. Бежал мимо вприпрыжку молодой печеклад, окинул гору ее, выпирающую из-под полушубка,— и остановился. Но не успел он усмехнуться, а лишь пошевелил губами, Ольга резко приказала ему:

— Иди, иди своей дорогой!

Печеклад смешался, потоптался на месте, снял для чего-то шапку-уханку, а Ольга не торопясь повернула свой живот в калитку и ушла в дом. Потом она глядела в окно, как, опустив голову, втянув плечи, глубоко влезая в шапку-уханку, так что болтались уши шапки на крутых плечах, шел медленно печеклад по улице. Она глядела спокойно, равнодушно, как будто уходил от ее дома уличный прохожий. Вдругорядь увидала она печеклада на улице. Шел он навстречу, узнал — и вдруг повернул вспять. Ольга улыбнулась и во весь день весело смеялась, играла с ребятишками, остерегая свой живот, когда меньшая девочка кидалась к ней в колени бычком, головой вниз.

Заносило Борки ежегодно, даже в малый снег. Проносные ветра кувыркались над ним с первого зазимья до весеннего отзимья, и как в большую чашу, какой не сделать человеческими руками, все складывали и складывали, накручивали, навивали снег. И не гуляли над Борками метели в редкий день, а то несло по земле белую пыль, дуло из лесов лишний снег, он все выше и выше подымался над настами — и наконец завивался перед поздиной в слепую и тесную кутерьму.

Жил Нил, как солдат в казарме. Ольга морщила брови и не глядела, а он отпрашивался у ней в город. Она с сердцем, гневаясь, кидала:

— Да иди ты — что мне! Куда, да ненадолго, да зачем!

И швырнет, и рывнет посуду, щетку, голик.

Пятнадцать лет прошли и оставили заметные зазубрины на коже, на волосах. Уходил Нил из дому и спешил, и торопился обратно на свою Навозную улицу. Не пил Нил, не просиживал с товарищами по чайнушкам, по кабакам, по трактирам, не сидел длинные, жадные борковские ночи за картами. Любил он допоздна сидеть на лавочке у ворот: перекликались через улицу с золотарем. И тот любил сидеть близко, тесно, пола в полу со своей бабой на лавочке под своими окошками.

В ту зиму ушел ненадолго вечером Нил в депо и долго не возвращался. Отужинали ребятишки, уложила Ольга свою тяжесть на кровать полежать, дожидалась, дремала, слушала: не стукнет ли, как кот лапкой, за окном муж. А на улице метелица. Выходил из себя борковский мороз, стучал в стены, щелял обмерзшие ворота, крыльца. Выла метелица в Трифоновских лесах, и будто скакали оттуда волчьи стаи на город Борки, выли и лаяли, а с невидимого неба кричали в трубы снежные облака, визжали там, отдаваясь в печных трубах, мельничьи жернова, шумели и шелестели тысячи тысяч большекрылых мельниц.

Навалилась на Ольгу тоска, росло у нее сердце, занимало ей всю грудь, толкало в набухающие соски. Отвернула Ольга полным огнем свет. Ходила из угла в угол, шарила и гладила простывающее брюхо. Из избы выносила тепло гуляка-метелица. Обмерзли малые оконца узорной солью. Остановилась у печки, где любила печеклада, привалилась к теплomu боку — и заплакала. Запрудили слезы глаза, насторожилась, ждет, как закричат у крыльца люди, застучат в сенцах валенки и прине-

сут в избу его... Но кого принесут? Принесут молодого печеклада и положат на пол. Ольга закачалась и схватилась за печку. Маленькие часики с мигающими львиными глазами кадили из стороны в сторону медным кадилом-маятником. Острые часовые шильца медленно и вяло передвигались по расписанному на круге садику, будто черные дорожки, а числа, как скамейки, взялись за руки и вели хоровод.

И казалось Ольге, не взойдет больше солнце, не придет день, а будет биться в плаче и ломать руки метель, уснули навсегда ребятишки, догорит огонь и погаснет, а она станет ходить, ходить по избе и шарить в темноте стены, окна и не найдет дверей, чтобы отворить, когда кто-то постучит...

Нил пришел в непроглядные предутренние часы. Он долго выбивал из шубенки снег в сених, обдергивал с усов сосульки, приглаживал зазябшую мокрую голову.

— Где ты был? — задыхаясь шептала Ольга.

Виновато оправдывался Нил, прижимаясь к скупой теплом печи, и рассказывал:

— Я не по своей охоте, Оленька. Выдали ребятам поверстные за три месяца. Собрались ребята в дежурке и вскладчину за водкой...

— Постой, постой,— вдруг беспокойно дернула его Ольга за рукав.— Отойди сюда.

И потащила его ближе к устью.

— Теплее тут,— вырвалось у нее заботливо и ласково.

Нил послушно передвинулся. А она стояла рядом, вплотную, горя, дыша на него теплым телом, впершись круглым брюхом, и жадно слушала.

— Пришел я, все пьяные. Не пускают. Насилу вырвался. Пошел кассира искать. На товарной нашел в конторе. Часа два и прошло времени. Домой иду, гляжу: в Обжорном ряду валяется человек в снегу. За метелью не разберешь, наклонился: кочегар Вавилов. Поглядел дальше: перевалился через палисадник головой вниз машинист Гусев. Кричит на него, шатается, сам пьянее вина, помощник Сенька Варзин. Думаю: плохо, ребята, дело. Закоченеют. Не дойти одним. Вот я Сеньке и говорю: «Погоди тут, постереги Гусева, чтобы не обобрал какой вор ночью, а я Вавилова домой стащу». Сенька ругать меня, драться лезет, а остался. Я Вавилова вести: валится мешком, пришлось на себя... Перепотел весь, тащучи черта.

Нил усмехнулся, а Ольга глядела на него из-под ладошки, шаря и глядя сводившую на лбу кожу, вздрагивала, жмурила глаза.

— Поди полгорода проташил: живет на Куликах. Потом Гусева тем же манером. Сенька не дождался и сам ушел. Поискал его: нет. Думаю: а не валяется ли где? Дай проверю. Постучался к хозяйке. Вышла. Дома, грит, спит. Ну, ладно. Вот время-то и прошло. И о доме сердце болит, а как товарищей оставить в таком положении?

— Да, да,— бормотала Ольга.— Да, да!

— Надо, думаю, еще поглядеть на дороге. Пошел к депо — и еще семерых сыскал. Всю ночь и провалялся, да все бегом, одного доставлю, за другим... Кричать-покричать на улице: никого нет. Насилу справился. Хуже всякой работы. Забыл машиниста Верхушкина квартиру, он языком лыка не вяжет, поди два часа проблуждал с ним, баба его, на счастье, вышла искать — и пихнул ей, а то хоть сюда води.

Нил задумался, пошевелился, подрожал коренастым телом и в раздумье сказал:

— Будто все? Больше никого не было в дежурке из закладывающих. Без ума ребята пьют! Что-то холодно у нас в квартире, Оленька!

Сердце заполонило всю грудь у Ольги, краска кинулась ей в горло, в лицо, в глаза. Ольга прижалась к нему, дрожа, и, обнимая и наклоня его круглую голову, впивалась в мокрые губы, в медведя бровей, в измазанные ее слезами щеки с частыми выбоинками.

Прилило тепло к Нилу, как будто от затеплившейся невидимым огнем печки, он не успевал говорить, спрашивать, обмирать: весенним проливным дождем были напоены ее целующие губы.

Первый раз Ольга положила его с собой на кровать, и он осторожно, оберегая большой неудобный живот, спал с ней.

— Не твой, не твой ребенок... печекладов,— грустно шептала Ольга.— Согрешила я...

— Я сердца на тебя не имею,— гладил ее по спине муж.— Не от сласти согрешила, от муки. Затаим от людей. А он хороший, неизбалованный парень — никому не скажет... Я, буди, его попрошу не срамить тебя...

— Тут... тут... у печки, где ты стоял сперва, и согрешила. Не взыщи! А то... убей меня, медведушко мой!

Нил спрятал ее голову на широкую, ходившую тяжело грудь, будто жгли ее огнем, и тихо, скорбя голосом, скорбя раскрытыми, невидными ей глазами, говорил:

— Милым бывать бы, и то хорошо! Милым бывать бы, и то хорошо!



КОНИ

От Угольского, ó поле, стоял хутор. Жил там старик коновал со старухой. Молодым ходил он по Трифоновской вотчине и легчил лошадей, боровов и баранов.

Лет за тридцать коноваленья хутор обстроился. Выросли высокие деревья, загустили сад черная и красная смородина, малинник, яблоки, завелись пчелы, проборождал пустое поле огород, ходили на привязи холмогорские коровы, веселые ярославки, лопотали гуси, повизгивали свиньи и ржали могучие кони.

Коновал ходил из волости в волость, а жена с работниками обстраивалась. Народили ребят — одних баб — и роздали по замужествам. Устаревая, остались одни. Перенесли любовь: на хуторских собак — она, старик — на жеребцов.

Выводил старик невиданных коней. Наезжали смотреть из ближних и дальних городков, закупали на бега, на богатые выезды...

Зимой, после войны, пришли угольские мужики, нищета, голытьба, увели коров, лошадей, вывезли хлеб, картошку, оставили прокорма на двоих и на засев, оставили собак и одного жеребенка.

Давно зарились конокрады на коня, торговали его, приводили первостатейных лошадей на обмен — старик не хотел расставаться с милым сердцу жеребцом. Грозили. Обещались прийти.

Запоры на хуторе были крепкие, хозяйственные. Угольское было рядом, ó поле, а ночи в лесах у Трифона черные, как земля, не услышат в Угольском ни крика, ни плача, побегут оттуда только на красного петуха, оберегая свои голодные хлебом овины, побегут на летучую по ветру искру и красную шипунью — головню.

Берег старик коня — мыл и чесал, натирал ему сиину лосной травой, обделывал копытца острым ножичком, как на станке точеные кругляшки, стлал сухую ломкую солому на деревянном полу, поил его из чистого ведра, выбирал старой пятерней тинку, колодезную плесень, вил, будто на веретене, рыжую гриву и холил густой золотой хвост. Водил, прохаживал — так в цирке видел — коня по кругу на дворе. И дрожал каждой жилкой на воле конь, трепетал натянутой гладкой кожей, струнил ногами, будто первая славнуха у Трифона, пронзительно ржал сквозь белые полочки зубов, взвевая хвост и подымаясь на дыбы с закинутой головой. Тонили сквозные поля голос коня. Старик оторваться не мог от своего играющего невырезанным мужеством игруна.

Цепные псы бегали за немалой изгородью во всю ночь, нюхали, шарили, брешали колотушкой — собачьим залиvistым лаем, отпугивали смелого ночного врага, подходящего с поля. Запоры, ставни, засовы, испробованные на хуторе: не впустят.

Старик надеялся только на псов, на ночную сторожевую запряжку, на ружье, крепко еще зажатое в стариковских пальцах.

Угольское рядом, полетит зов — не пошевелиятся, не высунутся за околицу, не отведут отводов! Заручки от людей нет. Люди сами по себе. Гостил старик до последнего коня у дочери в городе, в общежительном доме, резали богатую генеральшу городские разбойники — знали, золото осталось от прежней жизни, кричала, просила генеральша на весь дом, слышно было во всех этажах по темным коридорам, никто не высунул носа. Он тоже помочь не подумал. Откликнулись милиционеры с улицы, обложили дом у проходов, взяли грабителей, а генеральшу не спасли.

Августовские ночи пришли черней-черна. Опасное время! Старик ходил не один раз в ночь проводить любимого. Держал он его рядом с избой — вход из сеней, — отворял сплошную тяжелую дверь и тревожно кликал:

— Ястреб! Ястреб!

Конь переступал с ноги на ногу, шумел гривой, будто сама темнота отряхивала гривы у полных ясель, или вскрикивал конь приветливым ответом, будто белые зубы сверкали в углу. Старику спокойно и любо.

— Забродйла! — ворчала старуха. — Жеребятник! Кто к нам придет? Богатство было — не приходили. Чего у нас взять? Надоть твоего рыжего кому! Ныне лошадь нужна рабочая: забаву оставили. И тебе пора красоваться плюнуть: в соблазн только народ вводишь! И... не спишь, как петух!

Раз лайкнули собаки — и пошли, и пошли...

— Загрызут, окаянные, какого прохожего! — испугалась, просыпаясь, старуха. — Поглядеть бы: может, за изгородку вылезли?

Старик вздул огонь, схватил со стены ружье и в тревоге сказал:

— Нет. Это воры... Собаки лают неотступно.

И как он это сказал, в избе глухо и ползуче, словно кирпич вывалился сверху и упал в дымоход, раздался выстрел в поле.

— Слышишь? — зашептал старик. — Идут, идут...

Взвизгнули собаки и залаяли пуще прежнего, отбежали к дому. Гремела одна собака на цепи вокруг строений. Опять обвалилось в избе. Старуха сосчитала: выпустили шесть зарядов.

— Что ж это, старик? — начиная ноющим голосом, воскликнула старуха. — Ведь бяда, кажись?

Старик сердито, и грустно, и горько ответил:

— Это за Ястребом: конокрады. Идут напрямую — грабежом!

Собаки смолкли и где-то далеко залаяли в ночи за хутором. Старик вслушался и сам себе печально промолвил:

— Ведет голос Бурой да Костыль... И то тихо: ранены, видно. А Верунька на цепи молчит: Веруньку, должно, пристрелили!

— От те и собаки! — заплакала старуха. — Покинули хозяина! От те и надежа!

Старик наморщился и прикрикнул на нее:

— Конокрады от собак заговор знают, еловая шишка!

Вдруг он окреп, осмелел... Около дома ходили, поднимались на крыльцо...

Наклонился старик к лицу старухи и проговорил строго:

— Дверь ломать будут, ставни... Сиди тут... не отзывайся, будто никого нет...

И он забурчал, выходя за дверь:

— Я им не отдам моего коня! Шалишь!

Старик взял в сенцах топор и спустился к Ястребу, затихая и настораживаясь у ворот. Ворота потрогали, толкнули, бедно посветили на них фонарем... Ястреб заржал.

— Зде-е-с-ь! — радостно сказал человек за воротами. — Старик, ребята, не спит. Надо отвести ему глаза. Поди двое, ломай двери в избу, а мы тут вдвоем достанем коня. Слегу под полотнища подсунем, раскачаем ворота и снимем замок. Были в тот раз, я усмотрел, здоровенный у него поперешник.

Старик молчал. Конокрады подсунули под ворота слегу и принялись за дело. Старик услышал, как в одно время начали возиться на крыльце и ломать двери в избу. Он неподвижно стоял у ворот, отставил ружье к стенке, уперся ногой в пол и держал наизготове топор.

Ворота качались и скрипели, беспокоился Ястреб, скребясь копытом, трещали двери в крыльце... Стариковская оборона не поддавалась. Уставали и делали передышку, качали опять и настойчиво перемогали сухое толстое дерево. Рубили топорами сплеча, топор не брал... Снова качали... Качали ровно, мерно, подолгу...

Петли у ворот стали слабнуть: ворота сдавали. Старик покачал затекшую с топором руку и переступил ближе. Скупой фонарь чуть светил на полу со двора. И вот отошло одно полотнище... Просунули конокрады слегу в щель и начали отгибать слегу в сторону.

Отогнули: можно пролезть...

Тут один вставил ногу в щель, а другой держал слегу... Завеселели, тихонько засмеялись... Старик углядел ногу и рубанул по ней со всей силы...

Топор звенькнул, хрястнул, слега выграла и вывалилась, ворота плотно чавкнули и замерли, человек за воротами, лязгнув фонарем, крича дико и гулко в ночи, свалился наземь... Порубленная нога в сапоге торчала из подворотни — и осталась лежать.

Старик молча и довольно вытирал пот на лбу, не выпуская топора.

Дрожа, шепча в темноте, прибегая из избы, позвала старуха:

— Старик! Старик!

— Иди в избу! Я свое дело знаю. Ты свое знай! Одного нет — трое еще осталось. Пошла на свое место!

Осторожно потянули ногу из подворотни, оттащили конокрада, а он загнусил и прокричал, мешая вопли

с тревожным ржанием Ястреба, один нескончаемый раз, захлебнулся — и стих...

За воротами шептались, ходили, молчали... Не ломись больше в крыльцо.

Ночь затихла. Только не унимался Ястреб. Старик стоял.

Прошел долгий, как ночь, час. Смолкли люди за воротами, будто ушли, стонал в забытьи где-то неподалеку от ворот конокрад... Старик ждал... Все ближе и ближе гремела телега. Подъехали. Покричал снова страшно и плаксиво конокрад. Телега медленно, поскрипывая и заглыхая на мягких полях и снова разговаривая колесами, отъехала.

Тут к воротам подошел человек, постучал кулаком и, грозя, вышвырнул:

— Старик, мы тя добудем!

Старик засмеялся громко и насмешливо:

— Добывайте!

Человек за воротами отошел и будто побежал догонять телегу.

Легла на хутор тишина предутренних часов, чуткая, вешая, легла она омутами снов, будто были мертвые и луга, и леса, и поля, и человеческое жилье.

— Бабка, они еще придут, — шептал старик. — Теперь им нельзя. Узнали мы друг друга. Держись крепко. Осилим. За помощью поехали. Отвезут товарища — и обратно. Выходить нам нельзя: стерегут. Не слышать, а сторожа сидят. Погоди ужо, засветает скоро!..

Старуха плакала в сенцах.

Старик оправлял ворота, подкладывая за ослабнувший запор березовые поленья и сливая полотнища в один сплошняк. Он ворчал недовольно на старуху:

— Пошла, пошла на печь!

Долго и трудно шла ночь. Ястреб жевал у ясель. Старик погладил его в темноте по морде и шутливо посовал ему пальцы в ноздри. Конь фыркнул, чихнул — и заржал. И опять тишь. Старик слышал, как тихим волоском билось сердце и дергало неровно, бежа и скача, застарелый ячмень в глазу...

Вдруг за воротами мелькнул огонек, шаркнули землей люди, скрипнула жесть, и сразу люди закричали полными голосами:

— Старче! Эй, старче! Нюхай! Не помри раньше времени!

Серьезно ответил старик:

— Помирать неохота!

И затрепетал... Понесло резко керосином. Старик заметался...

Огонь обнял сразу хутор широким красным ошейником. Облитые керосином у подошвы, всплыли на красной сковороде стены... Огонь рекой полез в подворотню, чадая и глотая сухой ломкий настил. Багровым светом загорелось лицо старика...

Старуха забежала, забылась, кинулась на двор, снимая запоры... Прокричала в зареве один короткий вскрик: пришибли старуху. Ворвались в дом, громыхали ногами в сенцах.

Старик выронил топор, забыл ружье. Он плача отвязывал Ястреба.

Обжигаясь, накидываясь на старика, торопились с Ястребом.

Вырвали в огне запор, вскрыли ворота. Ветер, поднятый пламенем, хлынул внутрь, задул и откачнул огонь...

Ястреб, перескакивая горелое место, паля свои стянутые струнами к брюху ноги, вынес на челке одного конокрада.

Старик выскочил за конем. Старика облапили двое других конокрадов, сломали и кинули в недоступный уже для прохода огненный кипяток полыхавшей соломы в конюшне.

Бежало Угольное светлыми полями к хутору...

Конокрады другой дорогой уходили с Ястребом.



ЧЕРНАЯ ГРЯДА

В Черной Гряде была худая болезнь. Принесли ее мужики с отхожих промыслов; три дома занемогли, чурались их, а после войны остался на Черной Гряде один дом без червоточины.

Пили мужики порох, сколупывали болячки, а бабы ходили в поле на родник и, окоченевая, садились больным местом в ледянку. И каждый дом стыдился другого дома.

Была Черная Гряда небольшой маложительной деревенькой, бедной, понурой. Запахивали отрезки от барских

земель на суглинке, ловили на Обноре мелкую рыбешку, драли корье, пользовались заливным лугом под деревней и держали по коровенке. Возили через день бабы молоко в город — и кормились.

Не убереглась слава о Черной Гряде на своей улице. Брали ребята в ближних деревнях девок в жены.

Шли, плача и кляня судьбу. Потом стали в деревнях черногрядских молодцов принимать в колья, бежали от них врассыпную девки, прятались по горницам, а ребяташки дразнили, озорно гомоня издалека:

— Гнилые! Гнилые! Гнилые!

Раз вышли мужики на Черной Гряде в поле, глядя: в ночь деревню опахали поперек полей и лугов крúгом — то загоняли в заповедную черту ближнедеревенские мужики худую болезнь. Затаили мужики обиду и срам, поплакали бабы — и разгладила Черная Гряда глубокую морщину на своей земле. Посторожили малость на первое время, чтобы опять не обороздили чужие мужики, — и затихли.

В праздники, перепившись, вспоминали на Черной Гряде позор и шли драться на ближнюю деревню. Сначала перекидывались мелким камнем заедала-ребятишки, потом ввязывались постарше, и наконец в свалку лезло старичье. Редкий праздник проходил с той и другой стороны без проломов, увечий и смертей. Заклятая вражда разделила деревни.

Не выбирали в волсовет мужиков из Черной Гряды; не брали их на работу в совхоз «Вишенье» на барских угодьях за Черной Грядой. Пришли они как-то на косьбу в «Вишенье», а другие мужики косы на плечи — и с луга долой. Не могли управиться в «Вишенье» одними черногрядскими косцами — и пришлось обéгать их.

Деревенька была тиха, не пели там, не смеялись, везли только тяжелую деревенскую работу, как и во всех деревнях. Будто не спорилось, убывало, а не прибывало добро. Ходили поджарые бабы — от тоски изъело, — с надвинутыми на лоб, будто двухскатная крыша, платками, мужики бегали глазами по сторонам, хмурились, матюкали город.

Была за двадцать верст от Черной Гряды маленькая больничка. И туда ходили мужики: сорок верст с обратным... Сорок верст с обратным, а солнце не ждет, оно поднимает травы, оно сушит землю, колосит рожь, ячмень и пшеницу, наливает овсы, вытягивает злак на паренине,

злак прорастает зелеными плешинами, туго дернует отдыхающую пахоть, солнце рóстит ребятишек, и овины топятся. А зимой солнце погасает, выдувает в избах метель запасное тепло — и везут из леса мужики березняк к себе на двор, в город, обихоживают скотину. И стыдно, и горько, и жалко идти в дальнюю дорогу.

Бабы не ходили: зазорно перед чужим мужиком — доктором — спустить домотканые проймы с плеч, показать брюхо и стыд. Ходили к знахаркам, глядели промеж ног на закат у бань, садились на муравейник в лесу, выходили на медвежьи тропы у Трифона, становились нагие на четвереньки и ждали медведей, чтобы облапили, а мужики стерегли около с ружьями.

Худая болезнь, как игла, вошла в кровь и ходила в жилах, подтыкала. Ждали — дойдет до сердца, уколется, — и тогда помирать надо.

Миша Паничев с бабой своей Гашей были у церковного сторожа в Углицком. Лечил сторож человечьим зубом. Будто бы оставался он на ночь в церкви, когда были покойники, и выдергивал у покойников клыки. Откуда бы у него иначе водились зубы? Выбирал он зубы из черепов, когда рыл могилы, разбивал лопатой гроб и продавливал старые колоды. Обводил он пробойные раны, расковыривал чесотку, тыкал баб в брюхо от неплодия около пупа, мужикам тер поясницу, ставя на ней разодранный крест. Облечив, отдавал зуб на вечное хранение, наказывая спивать его в чаю один раз в год и сохранять зуб на божнице, в правом уголку, в солонице. Теряли зубы и шли к сторожу за новыми.

Попался сторож попу — завозился долго у покойника, — поклялся не тревожить усопших. Как-то сладили. Верили в деревнях: не у всякого покойника зуб годился. Один только сторож знал, какой пригоден, по нарезке там на серединке, не всякому глазу видной.

Когда зуб не помогал, сторож сердился, разводил, недоумевая, руками и говорил:

— Не иначе ты — непроварок. В непроем серьги не вденешь. Я тоже ограниченный человек. А ты, неприкаянный, ко мне. Ищи другого лекаря, с бóльшим смыслом.

Выждал два года Миша Паничев, своротил скулы сторожу, погрозился еще побить, затребовал обратно деньги и швырнул ему зубом в лицо.

Был на Черной Гряде старик пастух, а с ним пришлый бездомный подпасок. Привела от отца, от матери Гаша сестренку свою Ксюшу погостить и оставила на все лето. Гаша свела ребятшек — по пятнадцати годов было, — играли они вместе. Загонят стадо по хлевам на ночь, подпасок бежит к подруге, смеются, хохочут, бегают вперегонки, носятся по грядам на огороде из борозды в борозду. Старшие потекают и сами смеются.

Оставался подпасок, очередь приходила, кормиться у Гаши. Клала его в горницу спать. Как уляжется он, придет шарить что-то около него, наклоняется задом, а подол высоко подоткнут, пощекочет его, тиснет на полу, навалится жарким мясом.

Разожгла понемногу Гаша подпаска. Когда увидела, токует мальчишка, пришла ночью, скинула рубаху — и легла с ним.

Спала с ним все лето и радовалась. Не подпускала к себе мужа. Ходил раскорякой подпасок и носил болезнь. Жаловался подпасок, приходил к ней в слезах, а Гаша ласкала его и шептала:

— Завсегда так бывает смолоду. Пройдет. Научи ты Ксюшу тому ж. Только гляди, не делай ничего... Нельзя!

Подпасок старался, показывал Ксюшке, как спит он с Гашей, и как надо делать.

Ксюша рассказала сестре, а та погладила ее по спине и смеется:

— Верно, верно. Так и надо. Ты не бойся. Мотри только, не спи с подпаском — он мой.

И Гаша что-то шептала, хохоча, Ксюше на ухо.

Ходили они до того — Миша Паничев с Гашей — в город Овражки к знахарке-огороднице. Та за малую меру дровишек научила пересилить худую болезнь. И назначила испытание от Петровок до Покрова.

Не выходили медведи на медвежьи тропы, не облапливали, не снимали хвори. Муравей неподатлив и скуп в своей куче. Прячет он сок свой полезительный на самое дно, в серое яичко, не найти его днем, ночью груды не видать... Только бывает какой-то завороченный день, никто не знает, когда, лежит яичко наверху, и уносит его ястреб. Ежели угадаешь до ястреба, счастлив будешь, а придешь, ястреб тут — выклюет он тебе беспреренно глаза. Мертвый зуб — из тысячи один целитель. Не берет он мужика с черной и рыжей бородой, бабу злую, помогает он тому, кто ни комара не убил, ни овода с себя не согнал. А может снять худую болезнь только один

человек: естество на естество, отроковица или безгрешный отрок. Снимет он аль она, помучатся недолго, пошелушится притчее место и зарастет. Так рассказывала знахарка-огородница.

Шли-бежали они из города. Так и сделали. Совратила Гаша подпaska. Начал Ксюшу улещивать Миша Паничев. Ксюша опять к сестре. А та ей и сказала:

— Ты поспи с ним, Ксюшенька. Хворый он у меня. Он поспит с тобой и выздоровеет. Сделай это для сестрицы. От мы тебе из города бусы привезли в подарок. Ни отцу, ни матери не скажем. Между нас и загложнет. И замуж тебя отдадим девушкой. Будто и не было ничего. Мучились мы болезнью. Я избавилась: подпасок снял. Ты у Миши сними. Ребятишки у нас и пойдут, племяннички тебе.

Ксюша поплакала о горе сестрицы и пожалела. Миша Паничев на другой день в ногах у нее валялся, целовал ей маленькие черные ножки, величал ее избавительницей, а сестрица рубашку меняла из новины Ксюше.

Ждали Покрова. Но не дошло до Покрова, старик пастух собрал мужиков и объявил... Покаялись Миша Паничев с Гашей. Задумались мужики. Выспрашивали бабы у Гаши обо всем. Вся деревня ждала испытания. Продлили срок, на ошибку, до заговенья — не полегчало. И тогда повезли понятые в город Овражки Мишу с Гашей на одних санях, Ксюшу с подпаском на других.

Черную Гряду ближнедеревенские мужики еще раз опахали, отслужили молебен у огородов на меже с Черной Грядой, перекопали от нее крестом дорогу, перенесли отвода в другое место и перестали брать воду из речки Обноры. Черная Гряда с тех пор ездила по-за деревнями, в объезд.



СОЛДАТЫ КЕРЕНСКОГО

Как волчьи стан, в крошечной метельной мгле полей выли провода. Как пойманный в ловушку зверь, дико кричал фонопор. Как старый бухгалтер косточками, сухо и резко шелкал аппарат Морзе. В окна станции ветер

швырялся снегом. Вертел и крутил его на безлюдной платформе. Мчал его вдоль полотна, в поле, в лес... Черным обручем охватил лес станцию, загородил от наносных снегов. Громыхались изредка тяжелые станционные двери. Визжали несмазанные. Влезали в них бабы в толстых платках и мужики в шапках, похожие на придорожные в снегах ветлы. Жадно топилась печь. Желто-красною пастью дышала она на холодные, стертые метлахские плашки пола.

Дежурные — телеграфист и начальник — дали путевки: чет и нечет.

Фонопор кричал непрерывно: воинский и «максим» приближались к станции. Уже отзвенел под окном два раза станционный колокол. Минуты текли медленно, как скупая февральская метель.

— Иде-е-т!

Воинский вырвался из черного обруча. А навстречу взвыл криком «максим».

Мелькнул воинский. Машинист без шапки, красный, растрепанный, изгибаясь всем корпусом, напряженно суетился у рычагов. Красногривый конь громыхал, шипел ноздрями и неукротимо рвался вперед. Начальник бежал по платформе и махал на него руками. Серые шинели, башлыки, полушубки, папахи стыли на крышах, на тендере, на площадках, на подножках, на буферах, в разбитых окнах вагонов, в распахнутых, как две полы шубы, теплушках...

И сшиблись...

Хряснуло железо, дерево, жечь, чугуны... Вагоны вздрогнули, хлынули вспять. Паровозы ударились лбами. Как бы бодались они, два зверя, врываясь в землю, упираясь своими черными ногами. На них лезли вагоны — прямо, с боков. Рельсы раскинули из обломков свои металлические вызывающие руки-обрубки. Снег порозовел вишневыми каплями. Тела, ноги, руки задвигались с криком. Солдаты бросились из задних вагонов.

— Машинист!.. Где машинист?

В снежной вьюге, около изнемогших, склонившихся к земле паровозов машинист недоумевающе глядел на большие красные куски мяса своих товарищей-кочегаров. Толпа приближалась к машинисту сотнями спешивших ног. Впереди ее бежал высокий черный матрос. По ветру металась две ленточки от фуражки. Мгновенно машинист понял. Он съежился, поник... И вдруг кинулся

навстречу идущим, схватил за ворот матроса и отчаянным голосом закричал:

— Он... он... велел... Он... ви-но-в-ва-ат!

И еще не закончил, как пауки рук потянулись к матросу, схватили, стали рвать, кромсать, поднимать на воздух, бросать... Впились в голову матроса. Потянули за руки, за ноги, за платье. А потом долго, внимательно и сосредоточенно топтались на красной и лохматой земле. Кричали и стонали где-то в обломках раненые и умирающие. Свистел ветер и глухо шуршал, как холстина в кроснах, снегом. На снегу сидел машинист и рыдал. Над ним изогнулся начальник станции и что-то говорил. А потом робко озираясь на толпу и для чего-то снимал и вновь надевал свою красную фуражку.

Солдаты немного постояли, спохватились. Начали разборку вагонов. Снова закричал фонопор в станции горько и тревожно, словно потерявшийся в пурге человек.

На платформе появились уцелевшие пассажиры. Старики и старухи тихонько ходили. Плакали дети на руках матерей. Улыбались грустно девушки, и веселым огнем поблескивали глаза мужчин с ними. Живые жили. Снег крутился. Снег засыпал красные лохмотья.

Один безумный солдат взобрался на покоробленную горкой крышу вагона и торжественно кричал:

— Да здравствует человеческая жизнь, товарищи!



ВОРЫ 12-ГО ПОЛКА

В двенадцатом полку был вор. Долго этого вора не могли поймать. Подозревали взводного Крохоборова. Подозревали потому, что был жаден ненасытной бережливостью взводный. Брал он со своего взвода после фельдфебеля за каждую солдатскую провинность, хватая из рук копейки, табак, деревенские гостинцы. Был у него в взводе скуповатый и малопонятливый рядовой Курицын. Скопил он тридцать рублей, подшил их за гашик, выставив холстину серебряными рублями. Серебряный пояс охватывал ядреное брюхо Курицына — и отпечатывались на перетяжке по телу рублевые кругляшки. Курицын

был ряб и шершав, как засиженный диван в прихожей. Широкоскулый, широкозадый, с широко расставленными дырками поздрей, а глаза у него были, будто две темноватые кедровые скорлупки. Курицын ощупывал на дню сто раз свой гашник и обводил по нему испуганными пальцами, подергивал штаны и жевал губой.

— Вшей много: чешешься? — фыркал Крохоборов. — Не шевели зря амуницию!

— Эй, Курицын, скупердяй! — покрикивал другой раз взводный. — Девки тебя любят?

Полочка губы отваливалась книзу:

— Ги! Ги!

— А ты их?

— И я их! — гоготал Курицын.

— Гони на полбутылки: по военной словесности запрещено солдату жениться без разрешения начальства... Сознался! Давай семитки!

— Так я ж не жанюсь? — пугался Курицын.

— Опосля женишься: это все одинаково! Вылущивай, вылущивай монетки!

— Господин взводный, — краснел Курицын, — мы недостаточные... Телушку вон тятя в деревне заводит: ему руп послали мы.

— А другой где руп?

— Какой руп? — дрожал Курицын, хватаясь за гашник.

— Не трепись треплом: до-ста-а-ну я у тебя тепленькие!

В марте 1917 года двенадцатый полк завел первые красные знамена. И тут, в общей заварухе, проснулся раз утречком Курицын, штаны схватил, а штаны полегчали. Гашник был вспорот. Крича и плача, Курицын понес перед собой обнищавшие штаны, показывал, жаловался, облапил сзади Крохоборова и на всю роту завопил:

— Отдавай деньги! Отдавай деньги!

Крохоборов скидывал его с себя, отказывался, а товарищи шарили у него в карманах, за пазухой. Потом раздели донага, малость побили, растрясли койку, сундучок... И был назначен над Крохоборовым товарищеский суд. В полковой канцелярии собрались представители рот — и суд открылся. Перво-наперво решили посечь Крохоборова, но тут писарек, много раз сеченный в старорежимные времена, сказал:

— Республиканское отечество освободило человека от всяких наказаний, хоша бы он и был вором.

Потом решили расстрелять, но тут вмешался Курицын:

— Какой мне ращет в расстреле? Мне тогда и денег своих не получить! Мне деньги пускай отдаст!

Писарек обрадовался и сказал:

— Чудак человек, может, приспичит как ружьями, он и выложит? Пугнуть надо! Отдашь, ежели пугнем? Крохоборов стоял тут же.

— Не отдам! Нету у меня! Не брал я евонных рублей!

— Пустяки говорит,— отвесил важно председатель.— Больше не у кого быть деньгам, как у его. Я смеаю — расстрелять надо за старое, за новое. С испугу он откроет воровство. Деньги — хозяину. А ево все равно разложить после; не уноси адрест на тот свет. Поднимай еще раз руки! Только по одной руке поднимай. А то давеча насчитал у десятерых двадцать голосов да свои два голоса как председателя.

— Постой, постой,— заторопился Крохоборов,— я вот предлагаю такое...

Председатель весело перебил:

— Что, испужался быдто?

Крохоборов не слушал:

— Пускай я остаюсь в ворах. Глаза мои людям в глаза смотреть станут по совести, как я не вор в своих внутренних чувствах. Решать меня жизни непочто. Я бумагу выдам товарищу Курицыну, чтобы отдавать ему помаленьку весь долг. Пускай, ненасытный подлец, разживается, как церковный староста, на чужих кровях.

Курицын запрыгал на месте и закричал:

— Личность, личность мою, вор, поносит, братцы! Сам вор, а других — подлецами! А что касается денег, то я поднимаю руку за предложение вора. Конечно, чтобы наверную отдавал под поручительство полка. В срок ежели не выплатит какую толику,— к расстрелу сразу же поведем. Тоды выучим взводного!

Председатель и писарек вскочили из-за стола,— и председатель зло и резко сказал Курицыну:

— За такое выступление несознательности тебя, сукина сына, самого надо вверх днищем. Отменяю постановление по расстрелу товарища Крохоборова!

А писарек сердито въелся тихим голоском:

— Я инакую мысль имею. Товарищ Курицын объявил себя самым что ни на есть егонистом. За деньги продаст

свою брата, как nepoтpeбнyю eмy и старую одѣжу. Он проигрывает, следственно, расстрелянный кон. Оставляем жизнь Крохоборову. Того пуще — с деньгам. Усомневаюсь я в краже. Виноват он, ясно, и без доказательства, как ни на кого другого рота не думает. Ежли платить деньги товарищу Курицыну, не было бы ошибки? В наказание же худому нашему товарищу Крохоборову провести его по всем ротам воров.

Суд зашумел. Закачались столы, заерзали стулья.

— А верно ведь, братцы!

— Здорово!

— Принимать! Принимать!

— Всем, до единого голоса!

Только один Курицын кричал:

— Плакали мои денежки! Трудовые! Накопленные! Недоеденные! Товарищи! Братцы! К расстрелу бы тоды! Лучше бы к расстрелу! Ему одна потеха тако наказание! Эт не-ж-то суд?

Крохоборова, опустившего низко и горько голову, подвели к председателю. Тот серьезно и грустно взял мел и написал крупно и жирно на груди и на спине:

В о р 12-го полка

И Крохоборова толкнули вперед.

Вводя в роты, председатель громко провозглашал:

— Вот, товарищи, вор двенадцатого полка.

Роты застыли и молчали. Крохоборов вынес только три роты. В четвертой роте он остановился и отчаянно, как прокололи его насквозь, зарыдал:

— Вешайте меня! На куски рубите! Не пойду!

И он, будто кипяток клокотал под одеждой, бешено скинул с себя шинель и бросил ее на пол, сорвал курточку, рубаху. Белое, нагое тело мелко и часто дрожало.

— А не будешь воровать? — сказал председатель.

— Я не вор, я не вор! — плакал Крохоборов. — Убейте меня! Не пойду дальше! Ошибка, товарищи!

И Крохоборов, взрыдав еще раз, бросился бежать.

Через три недели Курицын нашел вора. Пришел он на почту с письмом тятe на деревню о беде своей, а писарек деньги подает в окошечко по переводу. Подглядел он, как выкладывал писарек белые рубли и выложил тридцать кружочков. Схватил он писарька за шиворот и крикнул:

— Созна-а-вайся, бумага!

Писарек просмеялся, проблеял жалобно, отодвинул рукавом серебро в сторонку — другой человек уже подавал в окошко свой перевод — и молча, со счетом, передал рубли Курицыну. Они вместе пошли.

— Бабе... на обзаведенье... в деревню послать хотел, — лепетал писарек, попрыгивая около Курицына. — А ты и накрыл! Прости ты меня, добрый товарищ Курицын! Ухорони от товарищей вину мою! Сдохла у меня лошадь в хозяйстве. Зарез мне пришел.

Курицын молчал. Потом вдруг остановился и остановил писарька. Курицын подумал, огляделся по сторонам, замахнулся и сказал:

— А я должен тебе дать в ухо за все?

Писарек обрадовался:

— Да дай, да дай мне, животине!

Курицын, прикусив губы, тяжело хлопнул его кулаком, сшиб с ног и наступил на земле сапогом, ворча и скрежеща зубами. Начал останавливаться народ, но писарек уже вскочил и недовольно забормотал:

— Проходите, проходите, ротозей! Мы это по-свойски! По разику ходили! Я его допреж того долбанул... в самое сердце... Он мне теперешний раз в отдачу.

Они вместе зашли в чайную, и Курицын угощал писарька с находкой из белого чайника денатуратом.

...Снова собрался товарищеский суд двенадцатого полка. Молча, тихо, не шевелясь, сидели те же судьи в полковой канцелярии: поджидали Крохоборова. Писарек вертелся около Курицына и что-то нашептывал ему на ухо. А тот не спеша и рассеянно жевал хлеб, отламывая маленькими кусочками от черствой корки. Когда вошел Крохоборов, председатель поднялся и сказал:

— Извини нас, товарищ Крохоборов, а этого гадюку...

И он ткнул пальцем на писарька, будто стальным почерневшим штыком, а в другой руке протянул Крохоборову револьвер:

— Поди, убей его...

Председатель оглянулся на товарищей и выкрикнул:

— Ладно я говорю, ребята?

Судьи молча кивнули головами.

— Да! — добавил председатель.

Писарек обмер и приложил маленькую руку на горло себе...

Курицын втянулся в плечи, пугливо отходя от писарька. Крохоборов шатнулся, вдруг пискнул и, в ярости вырвав у председателя револьвер, пальнул раз-другой в писарька. Тот лег бездыханным на черный пол.

С Курицына присудили десять рублей бабе писарька на сдохшую лошадь.



КАЗНЬ

Я будто схватил мое сердце рукой и выжал его: так была сильна моя жалость к этим людям...

Наши Борки переходили из рук в руки. Старый дом наш дрожал от выстрелов, словно напуганный человек. И меня бил озноб. Я видел, как чаще и чаще огненный еж раскрывал крыши у соседей, сваливались в черную рану балки, стропила, накатные бревна, выскакивали люди со дворов, бежали, нагибаясь, по улице, падали на землю, прижимались к ней, будто прося у нее защиты и пощады.

Мы прятались с женой в подвале. Но темнота была непереносима. Глухой гул был жуток, как идущая во мраке навстречу весенняя река. Мы металась по двору, на огороде, ложились между гряд...

На третий день, стихая, откатываясь за предместья, глушея, стрельба задохнулась. И замолкло все в Борках к ночи. Мы даже услышали, как сторож на кладбище вдруг ударил полночные часы.

Утром пришли белые. Они шарили по всему дому. В подвале, на беду мою, нашли они заплесневелый ящик со всякой охотничьей рухлядью, негодную берданку и новенький, в кобуре, наган, правда без патронов, забытый у меня родным моим братом год назад, когда он приезжал ко мне на побывку из армии. Никто, конечно, не поверил мне, смеялись и злобились, тыкали мне в лицо наганом, оттолкнули жену прикладами, поставили меня между двух солдат — и повели.

Отходя от крылечка, заботливо и деловито спросил мой конвоир у старшего, лазившего с обыском по дому и теперь трудолюбиво отряхавшего около меня измазанные подвальной плесенью шаровары:

— А может, кончить?

А тот, не взглянув на мое сразу ошалелое лицо, лениво и вяло отмахнулся рукой:

— Не-е!.. Ужо всех вместе сподручнее... за городком!

Что думает приговоренный человек, того нельзя передать... Не смочь, не выплакать!.. Но прошел день, другой и третий — меня не трогали. Со мной сидело еще два человека. Нам швыряли в маленькую круглую дыру в дверях черный хлеб, селедку и свежий лук, нам подавали воды, выносили мы попеременно парашу... О нас заботились... Хватая мою долю, я жадно съедал ее, я ревниво следил, чтобы мои товарищи не выпили лишнего ковша воды и не сорвали лишнего перышка лука. Пищи было явно недостаточно, и я, приговоренный, я, три дня уже мертвый, напоследок не хотел отказаться от своей части. В том, что нас кормили, в том, что мы ели, может быть, было самое страшное. Об этом я уже подумал потом, но тогда — даже какое-то минутное умиление ворочалось в сердце к большой путаной бороде солдата, мелькавшей по ту сторону лазейки, подававшего нам, смертникам, скудный паек. Сторож, наверное, даже отрывал себе от нашего обеда! И делал это спокойно и просто, а окончив дежурство, укладываясь на свою лавку и набираясь новых сил для скучной охраны, задушевно посапывал носом. Спали и мы...

Я, приглядевшись наутро, узнал в моих товарищах бандитов, о которых боялись думать в Борках еще несколько дней назад. Они убивали и насильничали в городе всю зиму, неуловимые, как лоси в темноте. Но как-то они попались красным... Их вели по Боркам, и народ бежал толпами за ними, тяжело всматриваясь и голодая карой. Я тоже видел их...

На меня нахлынула величайшая горесть: я делил с ними пищу, пил из одного ковша, дышал их дыханием, ходил на одну парашу! Я, шатаюсь, разглядывал грязные ногти убийц, как они рвали вонючий сельдь, мешая, мне казалось, рыбий сок с налипшей под ногтями и затвердевшей человеческой кровью! Особенно мне запомнился один бандит: у него было кривое плечо, и пиджак висел как-то беспомощно и жалко на изгибе. И у него были мокры руки от чужой крови! Я не признался им. Я затаился.

Они встретили меня, помню, молча, прищурившись, будто заглядывая в меня, — и мельком переглянулись. Было понятно: отступая, красные не успели убить их. Еще

до того, как я узнал их, я рассказал о себе. Они жалели меня. Тогда и я выспрашивал. Они прикинулись: один — лоточником, а кривоплечий — мелким торговцем. И выдумали историю: побуянили спьяна, посадили красные, пришли белые, привели с собой других сторожей, утихомирится город, разберутся в их деле — и выпустят...

А наутро я понял все.

Они надеялись обмануть белых, они надеялись уйти от казни! Я даже улыбнулся на эту уловку. О, как хочется жить человеку!

Они пели и галдели в камере весь день, смеялись, утешали меня. Я не владел своей печалью. Мы обманывали друг друга. И вот вдруг сердце мое перестало чуждаться их. Они были молоды, обычны, как и все люди, они пели, а голоса их плакали для меня, они играли передо мной, ухороняя от меня правду, будто глядя уже на свободу, будто уже снова живя и, может быть, ужасаясь на прошлое. И тогда я захлебнулся жалостью.

Прошел день — и нас не кормили. Ушла куда-то охрана. Толкая друг друга, мы стучали кулаками и ногами в двери. Ночью было слышно: вдруг обваливались вдалеке, как горы, пушки. Мы сидели в темноте. Бандиты засуетились. Еще днем они робко пробовали руками решетку, застенчиво косясь на меня, теперь безмолвно, спеша, задыхаясь на всю камеру, повисли на решетке, ломали ее, выбивали руками кирпич... Решетка не поддавалась. Они перебежали к дверям, выбили деревянную ставню в дыре, долго раскачивали двери, словно грызли зубами, как литое окаменелое дерево — и только могли просунуть на свободу бессильные руки.

Вытянув шею, я слушал пушки за городом, я торопил их, мне чудилось, они бежали к Боркам, а мои товарищи стонали и напрягались разломать дорогу, уйти от этого освобождающего гула ночной битвы.

Они, будто забыв меня сначала, вдруг вспомнили, и настойчиво, паля угрозой и ненавистью, закричали: — Ломай! Ломай двери! Уходим!

Всю ночь мы бесцельно ломали двери. Они устали, обессилели... И еще больше устали они оттого, что пушки стихали — и стихли.

А на другой день в коридоре затопали, и в развороченную дырку выглянула знакомая борода солдата: — Что, ребята, никак сидите?

Солдат удивился, осмотрел нашу ночную работу, покачал сочувственно головой и засмеялся:

— Ка-а-к место-то испа-ко-ще-но, бродяги! А толку нет! Держите, хлеба сичас дам. Проголодались, поди!

Мои товарищи присмирели. Руки у них были в крови и ссадинах. Я был невольником и работал обманывая, не тратя моих сил. Я верил в освобождение. Мне стало жаль: я просчитался.

Солдат кинул ковригу хлеба, начерпал в поднесенное нами ведро из бадейки воды и недовольно пробурчал:

— Нехорошо, ребята, сделали с дверям. Уйди вы — сказали бы: молодцы! А не хватило кишки — вам же хуже... Дело ваше теперь, ребята, табак... Раз ходу хотели дать, видно, большая за вами вина, огромная!..

От слов этих у меня ясно и твердо обозначился охолодевший хребет. Я застыл на своей наре в отчаянии. Кривоплечий поморгал на солдата, ухватил себя за шею руками, стиснул ее — и хныкнул, плюясь на измазанный известью пиджак, а другой ожесточился и на него, и на солдата, заревев, как будто тяжестью придавили ему ногу:

— С-с-во-ло-чи!

Солдат загоготал, показывая гнилые, с острыми корешками зубы.

— Не играй зря в орлянку, — пренебрежительно подразнил он въедливым голосом. — Шум зряшной! Вот заклепаю, погоди, дырку лучше прежнего!

И начал приделывать выкинутую ночью за двери закрывашку.

Стихли и осунулись мои товарищи. Меня разминала на части тоска. Ночью мне снилось: бежал я, бежал от погони по Боркам из улицы в улицу, через площади, через дворы, через садики, по мостам, а за мною почему-то гнались грузные, грохочущие медные пожарные машины. Я проснулся в испарине.

Я не мог больше закрыть глаз.

И еще три дня нас никто не трогал. Белые садились надолго.

И тут случилось незабываемое для меня. Что-то толкнуло меня в одну ночь, словно подошел человек к нарам и разбудил. Начинало светать. В камере было серо и смутно. Будто ночью долго курили, и дым закрыл потолок колеблющимся пологом, дым поднимался из углов жидкими метлами, как в дымоходе, и подкуривал полог:

то были сырость и свет. Сидя на наре, в другом углу, вполголоса,— но я расслышал каждое слово,— мои товарищи совещались. Кривоплечий говорил:

— Может не выгореть. Кто тебе поверит, что сам удавился? Душить сначала надо. Будут следы.

Как обложили меня всего льдом, обмер я, слышал я каждой каплей моего тела. Если бы они говорили дальше, осторожно шепча друг другу на ухо, то, казалось, и тогда бы они не могли укрыться от меня. Я слышал, как плавала в камере тонкая и острая на язык сыр.

Кривоплечему другой, сердясь, ответил:

— Ты — дураком! В такой перепалке разве станут разбирать? Заперли его сюда, а у него остался и пояс и помочи. Ежели он так, савося, а не сыщик, мы вылезем под торговцев. Без этого нельзя. Пойми, он здешний. Он, может, прикидывается. Жив он будет, придут разбирать, кто такие да за что, он и ляпнет. Свою шкуру спасет за это. Его надо убрать. Все дело спортом: боюсь я его. Без него — надежи у меня овин. На пояске да на помочах и кончим его.

Да, у меня были и пояс и помочи! Я едва не закричал, но сдержался, костенея, чтобы не пошевелиться. Говорили обо мне.

Упорно твердил кривоплечему другой:

— Я смекаю больше на то: он сыщик. Его к нам посадили. Значит, нас ищут. Он мельтешит исхитра. Помнишь, выпрашивал? Не проболтаются ли? Дверей не ломал... Глядит испытующе... Выходит, нам неминуемая. Не сразу, а дойдут до нас, допытаются. А той порой красные придут. Ну, как он нас опознал, сидит до полной улики? Глотать нам и красную и белую пулю... Так его, гада, пришибить следует напоследок. Только на случай... на маленький случай... из ухороны подвесить... А то можно бы прямо за машинку, чтобы не пропустить часа...

Они передохнули, замерли, окинули меня косиком и заговорили тише. Теперь говорил кривоплечий:

— Не походит он: больно глуп. И глаза в испуге. К чему возиться? Прогорим, как богатые. Он не помешает нам. А убьем, тогда наверную не выпустят, разбирать начнут, таскать по городу, в городе увидят — разберутся. Рискнем так. Щель одна у нас светится: ты и ее заделываешь.

Злел и шипел на кривоплечего товарищ:

— Здешний, пойми! Ошибка — черт с ним. Не придутся: надо придушить чисто — и подвесить. Сыщик — потешимся. Уведем за собой одного умного на память. Враг ведь. Другой такой нагнал нас. Он спит... накинемся... и перепихнем на тот свет. Разбору бояться нечего, когда зря смаклячим, и не будет никаких разбирательств. Только сыщик он. Оставлять ни при чем — смехота! Думаю я: отсюда нам квартира одна — земля. Кидай кости!

И, немного помолчав, вдруг кривоплечий согласился:

— Видно, так... Чтобы не заорал, надо сонного. В уме будет — не стоит и начинать, порча явная. Опоздаем — нагрянут — откроют — перекусим горло при всех, глаз закатить не успеют...

Но тут я как-то собрал силы в себе, будто напружилась какая-то стальная машинка в груди, щелкнула, подкинула меня на нарах, я закричал долгим, гремящим воплем, прыгнул к дверям одним прыжком, хватая и опрокидывая ведро с водой, — и забил, застучал, крича, в дверь.

Они растерялись... Кривоплечий трусливо полез к себе на нару, а другой, повертевшись на месте, кинулся на меня. Я оглушил его ведром по голове. Ведро ударило ребром. Он схватился за мокрый пробой... Тогда, зарывав, извиваясь, скатился с нар кривоплечий и успел зажать мне рот. Он успел меня, хрипящего в ладонь, свалить другой, как опьяневший от пролома, тяжело опустился ко мне на грудь коленком... Они срывали с меня затянувшийся от рывка в узле пояс... Но к дверям уже бежала разбуженная охрана. Меня отняли... и в слезах вывели...

Я будто в каком-то дыму качнулся, меня тепло и тесно сдавили солдаты, кто-то закричал далеким убегающим криком, и я захлебнулся, куда-то валясь-валясь-валясь...

Должно быть, прошло несколько часов, когда я очнулся и сел на нарах. Тот же караульщик солдат недовольно и осуждающе сказал мне:

— В тюрьме, дьяволы, и то без драки обойтись не можете! Что делить-то, кажись? Мы им наподавали — кашлять не перестанут до морковкина заговенья, кровинка на мордах осталась, зарубки. Недосып из-за вас всем! Я вот ровно на карауле, а на самом деле в няньках. Гляжу тебе в рот: помираешь али оздоравливаешь?

Я огляделся: та же камера, но соседние нары были пусты.

— Где они? Где они? — закричал я, вспоминая и содрогаясь.

— Ишь хватился! — засмеялся солдат. — Отплатить хошь? Зря. Мы им сунули. Они двое на одного, а мы на них семером. Офицер тут приходил. Разбирался. Выгнал их к черту! Ребята от красных пострадали... И от нас им перепало... Пошли отсюда, будто старики на богомолье: ноги больше назад идут, чем вперед. И тебя велено вытурить, когда язык к тебе вернется.

— Что они сказали? Что они сказали? — бормотал я, слушая и не понимая.

— А то, что ты бесноватый... с кулаками на них спросонья полез... Они и отпихнулись через край... И дверку знаем из-за чего ломали: от красных с перепугу собирались утекать. Нам это на руку: свои ребята. Ну-у, почувствовался? Вставай! Баба твоя тут была. Обошлось хорошо — и ладно!

Я не верил, вставая и шаря свой пояс. Солдат запирал камеру. Я уходил. За воротами меня поджидала жена. Она нашла меня в тюрьме. Вымолила меня. Отдала белым маленькую копилку — пуанчик-монах с золотыми монетами.

Все прошло, улежалось, но с тех пор я разучился закрывать ночью глаза. Сплю, глядя перед собой, и не видя, и сторожاً.

Мерзок бывает человек.



ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ

Дали нам николаевок и послали в тыл к белым. Из двух десятков нас, покуда крались туда кротами, уцелело немного больше половины. Углубились мы в сторону верст на двести и пришли в темный волок: никто не считал, сколько в нем расстояния. Заночевали табором. Осередь дня наткнулись на нас зеленые. Попадали мы друг в друга впустую, прячась за елки да за сосны, потом сошлись на любовной и составили одну общую банду. Обеспокоили мы вражеский затылок: подрывали поездишки, наскакивали на именья, каверзили по станциям, жгли склады, сперва пограбив провианту для поддержания

существования, пускали на воздух оружейные склады, ставили к стенке офицеры, привели два штаба целиком на волок и закрыли в губземотдел. Легли и наши в стычках. Слава о нас прошла по всей белой армии. Резерва у нас стало неуворотную. Искали, искали нас белые, гоняли конницу, пехоту, артиллерию, добирались до землянок, а мы уже на другом конце. Однако зарывались на месяц, на полтора: не показывали носу, будто ушли совсем.

В трудные передраги, когда долго не попадалась белая добыча, приходилось малость и мужиков обижать. Забирали хлеб, живность, коней. Беспременно уплачивали николаевками. Обида у мужиков была в том: драли белые, самим мало оставалось, а тут, хоть и за деньги, давай из остатков и нам. Не любит мужик, ежели у него пустой сусек! Ничего не сделаешь — война. Провертывались дела и похуже: с бабами.

Тут мы себя сперва не уронили. Понимали все: отвернется от нас население, к настоящим бандитам причислит. Жалко было ребят, а выводили публично — и кончали. Не только в деревнях. В усадевке одной партизан барскую девицу обидел, невесту... И за нее наказали. После перепалки на глазах у матери и у порченой на веки вечные уложили парня.

Проработали зиму. К весне мы возмужали в лесах, окрепли, рожи лопнуть хотят, мордачи, заросли шерстью, мурло масляное, кровь приливает к брюху, все чего-то недостает...

Ребята между делом начали выходить на опушки, на дороги, на лужки за бабами. Пользовались — где по согласу, где с перепугу, а где и по приказу... Отправляем друг дружка на тот свет, а глядишь, один-другой опять попался. Чуть весь отряд сами не кончили. Некоторые ребята бежать, некоторые за винтовки — междоусобная...

Командир — матрос Дуля — крепкий был боец, один, пожалуй, и не распустился. Порешили молча беречь деревенских баб, порешили пробавляться городскими — меньше огласки. Ну, что тут поделаешь, раз натура просит и воевать мешает. Разум одно вталкивает, а делаешь по-другому. Конечно, малость опорочили себя. В других местах мужики от обиды врукопашную, с кольями, с дробовиками.

Дуля — чуть мы не убили его сгоряча — уложил на стоянке после одного такого случая Димку Слухача. Уложил, пыл у нас в бегство, рвет командир грудь на себе, плачет и кричит:

— Что мы делаем, что мы делаем, сукины дети! Собственное дело губим! За что боролись?

И навзрыд. Кто-то несмело подал голос:

— Водоносом его! Расквилился! Долой из командиров плаксуна!

А какой он плаксун — знаем; против всех пошел в дремучем лесу, дырявый от пуль, поперек башки яма от прежних дел. Видим: уж очень тяжело приспичили беда да горе орла! Победил нас: оставили в командирах. Димку Слухача — маленький был, вертлявый — не помянули больше, вычеркнули из памяти.

Вышли и мы за десяток верст с другом Степкой Колесом, — а меня звали Фунтик, был я прежде грузчиком в Нижнем, — вышли в лощинку и ждем. Волок наш пролегал между двумя городками: повыше одного городка фронт был, другой городок в тылу, а мы на перегибе. Верст пятьдесят дыра.

Утро такое розовое, веселое, кудрявое — и лес кудрявый, и облака кудрявые... Глушь и тишь. Только что птицы летают. Теплыню от земли обдает, от ветерка, солнце накаливает... Присели в кустарнике — и нюхаем. Глядим, едут тихонько две подводы, мужики оглядываются, а на лошадках две молоденькие бабы с сумочками, в шляпах, в серых пальтишках. Мы на дороге... Оружья на нас навешано до отказа. Рожи у нас облезлые, хмурые, страшные... Бабы перепугались — и слова не могут сказать.

— Заворачивай, — говорит Степка возницам и показывает на лощинку.

Те, будто бывалое дело, бессловесно в сторонку, — и тележки покатили подальше от дороги.

— Вылезайте, дамочки, — опять говорит Степка. — Приехали.

А меня трясет. Бабенки белее чаек, вылезли, стоят и на ружье наше глядят. Я взял ближнюю, Степка подальше. Повели мы баб в лес...

— Кормитесь тут. Откладывайте! — приказал Колесо мужикам. — Ускачете — найдем!

Возницы начали откладывать лошадей и засмеялись:

— Куды уж скакать! Делайте свое дело без замедления. Мы подождем...

Бабы не поняли... Мы их в лес ведем, а они, как овечки, плачут, просят нас:

— Не убивайте! Не убивайте! Возьмите все!

И вытаскивают, дуры, деньги, часики, пальтишки снимают, суют нам. Степка, для острастки и чтобы темные наши намерения пока что скрыть, и крикнул на них:

— Молчать, белая гвардия!

Замолчишь в таком положении! Отвели мы баб поглубже в ельничек и говорим: так и так, в лесах живем, и то да се и другое, смертоубийств делать не хотим, хотя и должны уничтожать врага, но баб не бьем, распалены-де... Мололи всякую околесицу.

Баб в жар, в огонь, не верят, переглянулись, даже повеселели... Моя опустила глаза, моргнула потом на меня, облезлого, будто испытующе так, а у меня губы ходят, не стоят на одном месте, руки в карманы не попадают, и говорит-шепчет:

— Я сог-лас-на!

Смешалась вся, бегают глаза муравьями по земле, горит от стыда. И я горю. Другая баба скорее освоилась — и торговаться:

— Ежели даете слово, что не убьете, я тоже согласна. Мне тяжело... Я несчастна... Но согласна.

— Даем! Даем! — кричит Степка.

Познакомились мы с бабами за день. Оказались бабы — офицерскими женами. На фронт ехали к мужьям — проведать. Съели мы у них всю дорожную провизию, подарки мужьям и печеным и вареным, обобрали и остальное. Разузнали о белых все, что бабы развязанные языки болтали, наврали о себе: тысячи-де нас собралось в лесу, скоро ударим, Колесо даже песни пел...

Возницы выспались, наскучались, поджидаячи, а мы по переменкам выходили из лесу и казали им оружие. На вечеру отпустили баб.

— Поезжайте восвояси, — напутствовал их Степка, посмеиваясь, — везите мужьям гостинцы. Никому только ни гу-гу. Встретимся другой раз, не так деликатно обойдемся. И вам срам. Поправить нельзя: слезы напрасные. Состоялось по сговору, без насилья. Мы пугнули, а вы обробели зря: ничего бы и не было, угадай вы ловушку. Деньги бы только забрали. На себя плачьтесь: проиграли ставку.

Врет, животное, и не краснеет! Бабы подумали и, на что в плену были, засмеялись на вранье.

Провожал Колесо свою бабу на лошадь, а я натягивал на себя амуницию. Моя стоит и дожидается. Я сперва обробел, как она мне лишь и скажи решительно так — не ожидал от смиренницы:

— Я не поеду. Я с тобой останусь. Теперь мне все равно. Я бандитская жена.

Был я с ней во весь день кроткий и ласковый, и, — характер у меня такой, — скребло у меня на сердце от худого дела, думал о ней скорбно, жалел, не сказал грубого выражения, будто настоящий муж: по грибы вместе пришли али после долгой отлучки в лесу встретились. Ну, и отлилось мне! Вижу — дело дрянь: этого бы еще не доставало! Я сразу обнял мыслишками конфузное свое положение, выволок братишку, качнул его к личику ее и погрозил:

— А этого хочешь? Разложу, слово давши, за такие новости! Марш пока до срска!

Отшатнулась и, забрав юбки, пошла скоро. Я даже вспотел от такой душевной натуги. Дальше — того пуще удивление. Шла-шла... Из-за ельника лошадей видно. Мужики поспешают, заждались, закладывают... Остановились, положила мне ручки на грудь, взяла за ремень и шепчет:

— Ты такой злой, Вася, не ожидала! А я шестого июня, через две недели, поеду обратно от мужа. В это же время. Выходи. Поговорим.

Высчитала, гляди, число, куда шла. Я не рассердился и захохотал:

— Ладно! Ищи-свищи!

Пробирались мы со Степкой к своим. Тот зудит, глумится. Я молчу. Не разболтал Колесу своего секрета.

Вдруг и говорит Степка:

— Откроюсь тебе: наградил я ее. Век будет помнить! У меня люза.

Сказал он, чувствую я: перестал он мне быть другом, резнуло по сердцу впродольную, не ответил ничего, только малость посторонился. И стало мне жаль бабу, хоть и чужая баба, и хитрая, и злая, по всем видимостям, и расчетливая. Не знает она о беде, может, едет, думает, а этот гнилой и поганый Степка смеется над ней и плачет над собой. Отворотило меня от Колеса. Потом по пятам зарубили его в стычке. Подумал: будто так и надо.

Позабыл в делах о бабе, а нет-нет да она и выплывает. Ловушку, думаю, для отместки подготавливает. Как не ожидал от нее первого разу, так и второй от нее ожидать можно. Постой, думаю, проверю, не попадусь в мутную воду, как налим: в деревне ребятами мутили бочаги, налимы наверх вылезали. А чего проверять? Суровость-то была поддельная, больше от перепугу: она, баба, тоже зацепила меня за сердце. Пойду, не пойду, нет пойду, нет не пойду?!

Утречком подкрадываюсь к лощинке, обошел ее дугой, выглядел дороги со сторон — пусто. Обшарил лесок, всю землю выслушал ухом, что она говорит, — молчит все. Подполз к лощине, а в ней лошадь кормится, краля моя с мужиком чай пьет. И мужик тот же. Забеленился я вместо радости — и на нее, и на трусость свою. Помыслил: взять ее на мушку — и конец непонятному. Опасаюсь все же. Просидел с час. Баба глядит в кусты. Уставится на мой куст, будто видит, прислушивается, скучает... Пошла в лес на прежнее место, а я уж там раньше шастал, осматривал, искал засады. Она прямиком, а я кустиками, тороплюсь, бегу, обгоняю... Укрылся за деревьями, подглядываю... Села она на наше старое логовище и вздыхает. Тут я и вышел. Бросилась, повисла на шее гирей, руку о ремень в кровь рассадил, подорожником прикладывали, я тоже ее обнимаю и целуюсь.

— Вася, — говорит, — знала, придешь!.. По глазам видела...

Так все лето через две недели в лощинку и катала ко мне баба. Нюрой звали. И мужик тот же. Брал мужик за секрет втридорога. За руку мы с ним здоровались. Он меня Василием, я его Кузей.

Маялась Нюра с мужем. Потерял он ногу на войне.

Любил ее раньше. Калекой стал, обессилел, ревновал, не давал житья, извел... Муж ярый был — без ноги, а сидел в белом штабе, командовал, грозился в нашу сторону. Машет ветреная мельница крыльями, а ее под ноги подрезывают!

Так моя баба до мужа и не добиралась: дневала в лощинке — и на попятную. Провожал я ее от своих же ребят по другим овражкам и безопасным укроминам. Узнал я про Степкину каверзу: заболела женщина, сказала мужу — на постоялом-де дворе, должно быть, закусывала, от посуды заразилась, не поверил, сам страдает, она страдает... Подгорела семья без дыму, без пороху!

Нельзя было мне взять Нюру с собой, не полагается быть бандитским женам в шайке — это я внушил ей. Она о будущем толковала, конца войне молила, полюбила меня всерьез, и я не меньше. Схлестнулись на дороге два листа — и несет их, несет ветром, неизвестно куда занесет.

Заело так, чуть двоих товарищей не порешил. Сидим мы однажды в лощинке — и нагрянули ребята. Тоже вышли на охоту. «Откатывайся,— говорят,— тебе будет». А я на них с оружием: «Моя, моя баба. Живу я с ней давно». Ходили-ходили петухами: обошлось. Они плюнули и ушли. Нюра на подмогу мне второй мой пистолет в руку. Чуть удержался, не побил ее за это!

Проколотили красные вражеские затворы, сшибли врага с места, завернули его лицом от себя и погнали по спине, куда бежать можно. Прискакал о том к нам гонец на волок. Мы из леса налет за налетом, набрали коней, взлезли на них кто во что горазд — и стала лесная конница.

Мимо волока стадом, гуртом, будто с пожара, бежали белые. Много их легло. Рубили мы и в знакомой лощинке, и выше, и ниже, и отступя, кувыркали обозы, орудия, зарядные ящики, забирали офицерье... Мы были наверху. Допрыгались белые.

Кончалась потасовка. Радости у нас было — не обнимешь словами. Изъянили мы кой в чем по обстоятельствам, а дело делали, бились, помирали, не вздохнув, пощады не плакали и сами не давали, ежли от сердца не попросят. Не до Нюры, конечно, было.

Проскакал я раз лощиной — и мелькнуло: кончили баловаться, в другое место погонит революция заканчивать мелочишку разную. Прощай!

А вышло не так. Застрял я в городишке за волоком на отдыхе. Устали мы, будто много перегонов пробежала лошадь без остановки, шатается, пена на морде, ноги подгибаются... Угнал, думаю, деревянная нога, Нюру далече — не всех еще порубили белых. Где бы она тут жила — поглядеть? Дурацкая такая охота! Для чего, спрашивается? Было — и прошло.

Искал по всем закоулкам. Так месяц на четвертый столкнулись на рынке. Покупает снесь разную. Кошелка на руке. А сама худая, бледнувшая. Нахватали ерунды всякой: моркови, луку, помидоров «деревяшку кормить», — мои слова повторяет, — и бегом ко мне: долго не видались...

Офицеришку пощадили из-за ран: писал он у нас в военкомате отпуска красноармейцам.

Ушла от него совсем ко мне, развелась, расписались мы в загсе — зажили. Два года жили. Я осел в городишке. Окопался. Не удалось до ребят дожить! Раздобрела моя Нюра. Работенку для партии вместе со мной делала. Пошла бы за мной в новую гражданскую, будь она, не ровен час. Пошла бы не только по любви, а по сердцу. Перефальцевал я ее. Податливая и была. Сорвалось!

Не вынес деревяшка писать отпуска красноармейцам, выскочила еще раз из оглобель барская кровь, залез к нам на квартиру, меня проткнул пулей у дверей — отмыкал я ему, не знаячи, засов, — а ее, на сносях была, спала, пристрелил на постели. В чувство я не пришел три дня, без меня Нюру и похоронили, с музыкой и с красными флагами. Нас застрелил, и сам застрелился. Да, сорвалось!

И вот скажу я что напоследок.

Проезжая к себе на родину окол лощинки, вышел я с лошадей... и всплакнул, братцы.



ГОЛОВА

В Овражках на площади свалилась молодая женщина. Она была жива, дышала. Собрался народ, постояли, поглядели, пожалели... Женщина тяжело приподнялась, помогли ей сесть. И начали расходиться...

А я задержался. Не потому задержался, что был жальчивее других к чужому горю, много раз уходил и я, мельком взглянув на булыжник, на лежавшего в забытьи человека. Я вгляделся в отходившее от смертной желтизны лицо молодой женщины, напряг свою память — и вспомнил. Я знал ее. Семь лет назад укрывались мы вместе от белых в одном южном городке, поджидали красных — и даже дружили. Но как неузнаваемо изменилась она! Да, да, это была Лиза Волкова. Я вспомнил тут же, какой у нее был маленький и застенчивый муж. Мы еще подсмеивались над ними, когда они приходили, держась за руки, на тайные собрания в подвал —

и всегда сидели где-нибудь взади, сблизив свои кудрявые головы: он — темные кудри, она — как сырую пряжу.

Захватили город налетом белые — и засели. Многих из нас переловили, некоторые успели уйти, некоторые спустились в подполье. Волков вызвался пробраться с поручением в наш штаб. Обложили вгустую белые и тропки, и дороги за городом, словно в цепи лежали. Шатались белые по деревням, отвоевывали у мужиков именья, мельницы, конные и сахарные заводы. Дёра шла в деревнях, лихоимство, пьянка. Кудрявый паренек пошел, пошла, конечно, и она. Пропали. Скоро вбили наши белым в поясицу клин, убрались они со своими пожитками дальше, а нас погнало за ними... Не до Волковых: где они да как они? Семь лет и не видались. А увидались — долго распознавали друг друга: я, наклоняясь к ее исхудавшему лицу, а она, сидя на серых пыльных камнях посреди пустой, измученной солнцем площади.

— Лиза! Лиза Волкова! — крикнул я, обрадованный встречей. — Милая, что с тобой?

Я поставил ее на ноги, отряхнул кофточку, она схватила меня за пальцы и побрызгала слезами. Повел я ее под руку. Дошли мы до ее квартиры. Вошли в комнатушку: лежал в углу на детской кровати больной ребенок.

— Скарлатина у него, — сказала Лиза.

Были у меня свои ребятишки. Испугался я втайне за них, но промолчал и сдержался перед товарищем.

Провел я у нее памятный денек. Понял я и худобу ее, и отлившую краску с лица, и глаза замученные, как у надорвавшейся с возом лошадки; понял я, отчего в тесную непроницаемую клетку иссеклась белая кожа на лбу, а поперек залегли тугие морщины и нос заострился, будто его очинили ножичком и перетянули на горбинке. Узнал я про нее все.

Шли они ночь полями, по бороздам, отсидели день в пшенице, поспали вечером и тронулись дальше. Миновали уйму белой солдатни.

На свету перебродили маленькую речку, в тумане, к другому полю, чтобы залечь на день, — и наткнулись сначала на коней. Те заржали. И сразу к ним подбежало пятеро казаков.

— А! Я его знаю! — крикнул один казак, кидаясь к Волкову.

Черт его знает, почему он так закричал! Конечно, он его не знал. Волков погорячился, выдернул из кармана браунинг,— а выстрелить и не успел. Повалили Волкова, побили, поволочили по земле, нашлась у них веревка: связали. Четверо казаков возились с Волковым, а пятый казак держал Лизу в объёму. Что может сделать маленькая женщина с большим и крепким, как полевой камень, мужиком!

Туман пооблегся к земле в ложине. Увидала Лиза костер и котелок на нем с белой пеной. Казаки варили какое-то варево, оно вскипело — и теперь уходило. Таща ее за руку, казак снял котелок и выругался:

— Суки, пишу из-за вас чуть не испортили!

Положили недалеко от огня Волкова, подвели ближе коней, поглядели на Лизу насмешливо, взлохматил ей один казак кудри и ущипнул за грудь. Постарше казак раздраженно проговорил своему товарищу:

— Чего дураком стоишь окол: вяжи ее!

Казак огляделся кругом. Сняли уздечку и на смех связали Лизе ноги. Казаки были трезвы, молоды и мало-зловивы. А Волкова несла горячка. Он, как увидел казацкую шутку с Лизиними кудрями, завертелся на земле, закричал без памяти, поносил казаков бранными словами, грозил, страшал... Лиза делала то же всегда, что делал он. Лиза со связанными ногами сидела у костра, рвала уздечку и кидала в казаков обидные бабьи несуразности.

Те сначала хохотали на ненужную смешную брань, а потом им надоело, они переглянулись, помрачнели, хлебнули по ложке из котелка — и зашептались.

Вскочил постарше казак, пнул сапогом в лицо Волкова, обливая его кровью, и зло сказал:

— Будет разговоров! Вали ее, ребята!

Лиза поняла. И не успела подать голос — ее опрокинули...

— Некстати уздечку завязали,— бормотал молодой казак и больно рванул уздечку к себе.

Лиза открыла глаза. Лежа на том же месте, плакал навзрыд Волков. Казаки суетливо наливали в железную кружку из большой баклажки водку, плескали ее в дрожащих руках и опрокидывали духом, будто туша водкой поднявшуюся внутри жажду. Они не глядели на Лизу, отвергивались. Платишко на ней было одернуто. Лиза поползла к мужу... Но не доползла. Казаки вскочили...

Один взмахнул над ней нагайкой... Лиза принизилась к земле. Казак прижал ее... Другие вздернули на ноги Волкова.

Лиза едва раскрыла глаза, как сверкнула серебряной рыбой шашка, будто проскочила через шею мужа и помазала хвостом его по плечам... Он только обрушился, как эта маленькая женщина скинула с себя казака, протянула руки — и не могла больше переступить на месте, валясь... Казаки кричали. Один пнул к ней голову мужа и взвыл безумевшим голосом:

— На-а подержать!

Красная кладь докатилась. Лиза схватила голову — и больше ничего не помнила.

Проснулась она, все было пусто и тихо на лужайке. Пекло солнце. Голова, маленькая, сморщенная, почерневшая, валялась в ногах...

Потом, через год, она припомнила, как она тогда встала, не узнала Волкова, забыла обо всем. Просто встала и пошла. Пришла в деревню.

Ее расспрашивали, а она привела в поле мужиков и показала на мужа:

— Казаки человека убили...

Лизу пожалели в деревне, отвезли в какой-то городишко — и тут она снова ничего не помнила до родов. Очнулась она в родильных муках. Родился мальчик, который лежал теперь в скарлатине. Лиза не знала, чей это ребенок: от мужа или от казаков. Я невольно взглянул на дремавшего мальчика: он походил на нее, будто повторяя и эти кудри, и кругленькое лицо, худое и печальное, и этот маленький нос топорком с горбинкой, и этот пухло открытый рот.

Дальше Лиза кое-как перебивалась с ребенком. Работать она не могла. Находило на нее легкое изнеможение, билось, будто закипавшая вода в сосуде, сердце, валилась она, где шла, отлеживалась; так повторялось раз, два, а потом ее, безумную, отвозили в больницу.

В ужасе она шептала мне:

— На меня опять надвигается: сегодня был первый обморок...

Я никогда в жизни не чувствовал себя так горько, как в этот неожиданный день. Лучше бы его не было!

Придя в себя, Лиза помнила только своего ребенка. Мальчика приютил брат, железнодорожник-телеграфист. Был у нее еще параличный отец. Лежал он у старшей своей дочери, многосемейной, нищей, десятый год — и молил о смерти.

Так она и прожила до этой встречи со мной. Она рассказывала, а я думал: что же партия? Но разве партия может сосчитать все свои жертвы? Нет, не может! И Лиза никому не сказала о себе.

Я оставил ее у больного мальчика. Он лежал неподвижно, стиснув губы, будто сдерживая клокотавшую в горле слюну.

Через неделю я зашел к ней. Встретил меня брат Лизы и провел в пустую комнату, где я был в первый раз.

— Как? — спросил я. — В больнице? А мальчик где?

Брат мне ответил угрюмо и жалко:

— Лизы больше нет на свете. Третьего дня мы ее похоронили. Одна смерть за другой. Умер от скарлатины ее Петюшка. Потом убралась она. Выкинулась из окошка.

Брат помолчал и тихо добавил:

— Судно было с пробоиной... И больше ничего. Не знаю, как и отцу написать!

Я молча постоял, словно передумал всю ее жизнь и свою заодно, позвенело у меня в голове, и я посоветовал брату отчаянно и плаксиво:

— А вы не пишите!.. О чем тут писать?..

Немного погодя заболели скарлатиной мои ребяташки. То ли я принес от Лизы заразу, то ли кто другой, то ли сами поддели, бегаючи: не знаю. Смерть и ко мне вползла как-то ночью: унесла сына.

Но ежели от страшной этой встречи свалилась на меня утрата, не осужу товарища.



ПРОНЬКИНЫ ПРОВОДЫ

Пронька коренаст. У него усы, как кошачьи хвосты. Глаза голубеют. Он охотник. Был он земским начальником. А отсюда и начинается рассказ о Пронькиных проводах. Стонал и пел мужицкий стан Проньки:

Сей, горюшко-горе,
Мужицкое горе!

Дожил Пронька до выюжных февральских дней — и вострепетал. Проехался тайком по своей вотчине и засел в своем логовище. Усадебка у Проньки стародавняя, прадедовская, в парках, в прудах, в увялых цветниках, стоит на заднем дворе каменная белая баба, а на переднем дворе — две маленьких пушки. Из этих пушек палили в именины дедушки и бабушки. Стадо у Проньки скудельное, жеребцы не первостатейные: пьяница был Пронька. Но сбегают хлебные горы на десять окоемых верст колесом, и ржаное золото плавится в Пронькиных руках в зимние метельные времена.

Пожгли у него летом хуторок в полях и отпахали клин мужики к своей земле. А из города прислал губернский комиссар-друг охрану. Мужики и отступили от усадьбы. Кормил Пронька солдат и глядел из парка, как верховые хорошо и ловко гарцевали с красными бантиками на груди по захуторским пожарищам, остерегая Пронькины земли. И робость февральская прошла.

Ломили мужики в полях, собирая Проньке урожай. Катал он на беговых дрожках по зеленым оврагам, досматривал поваленную в суслоны рожь. Кланялись мужики и величали барином.

Пронька укрепился и сел в земскую управу опять со своими за одним зеленым столом. Февраля не было.

Но тут задули октябрьские ветры, и стало темно и невмоготу в парке.

Из-за белой каменной бабы глядел раз на зарево в ночь на город, а под утро прискакал на своем двоим братец-беглец и просил укрыть. И сказал ему:

— Дома нет! И ничего нет! Отбирают! Большевики одолели Россию! Конец, Проня! Пришел конец!

Походили по парку. Переправил Пронька братца подальше — к тестю за сорок верст в усадьбу «Березка», а сам затаился, понадеялся на тишь мужичью в его стане.

И вот немного погода видит Пронька: въезжают к нему во двор, к пушкам, мужичьи подводы, слезают мужики целой деревней с топорами, ружьями, вилами и древоколием...

Екнуло сердце у Проньки, забежал по комнатам, забрался под перину, перепушился в пуху, задрогал на пружинах... и замер от стука.

Ввалился народ в дом, требовал Проньку. Нашли под периной:

— Ночевали здорово?

Залепетал Пронька, прыгая головой и губой:

— Здравствуйте, здравствуйте, братцы! Что скажете? За чем пожаловали?

— За тобой! Давай собирайся!

— Куда, братцы? Я всегда готов. Слышал, слышал: рабочая и крестьянская заря поднялась над родиной! Приветствую, поздравляю!

— Ладно, ладно! Собирайся подобиру-поздорову. Надевай свою епанчу.

— Я... я... я... Вещи у меня... жена... я уеду. Дайте уложить вещи. Что вы, братцы, братцы?!

— Окошеливайся!

— От тебе дадим вещь в лоб! Укладется в мать сыру прорву!

— Безлошадный ты теперь! Нажеребячился!

— Опосля и жена приедет!

— Да ну же, говорят тебе, одевайся! Не вводи в соблазн и в охотку!

Мужики затопались и закричали:

— Не надо нам тебя! Поезжай в город! Там с тобой управятся!

Быстро собрался Пронька. Посадили его мужики на лошадь. Кстати кувырнули с крылечка одну пушку: мешала выходить. Молча повезли на станцию. В полях пронзительно дуло с прадедовских земель. Пронька ежился и поглядывал из-под шапки на вздымавшийся у его плеча сырой и суковатый кол смиренного мужика Терехи-кузнеца. Ковал он третьёводни коня Ворона и весело тарабанил с Пронькой о том о сем.

В ушах у Проньки ныл и кололся плач жены, а за глазами стояла она, напуганная, на террасе, в пуховом белом платке. Стерег ее в стеклянных дверях свой кучер Ермил с вожжами.

Сидел Пронька три часа на станции под охраной: ожидали поезда. Мужики окружили его зазябшим кружалом, отгоняли любопытных и курили.

— Земской? Земской? В клетке! — слышал Пронька. — Куды его? В тюрьму? Расстреливать? За-а-служонный человек пуле! Чего рабочий день тратить! Под колесо бы его, братцы, а? Хрусточек один — и нет человека! И памятно на весь стан!

Пронька дрожал, как перышки, поддуваемые ветром, воробья, скакавшего на земле рядом с мужичьими сапогами по закружалам. Пронька видел воробья промеж черных и грязовитых голенищ мужиков, частоколом огородивших его.

А как подошел поезд, мужики купили Проньке билет третьего класса, довели до вагона, посадили — и все сразу сказали, глядя неотступными резаками глаз:

— Мотри, к нам ни ногой! Коли приедешь — убьем! А жена одна приедет. Хозяйство сдаст и приедет. Тоже привезем, великатно, сюды же! На бабу не обрадеем — стара... И свои есть пушей ядрености!

И мужики весело гоготнули. Пронька украдкой придержал скакавшее вороном озябшее сердце.

Тронулся поезд, метнулись в окна мужицкие вилы, погрозили, громыкнули, как железные колеса под вагоном, голоса. Пронька зажмурился и не мог побороть озноба до города.

В двадцатом году Пронька заведовал государственным случным пунктом. И был он Авиниром Петуховым. Бойкий и ловкий, весельчак, знаток случки, подвыпив, он говорил своему красному лесничему:

— Каков народ? Кладезь, неисчерпаемый кладезь! Ты подумай, самодержавие свергнуто одним махом! Илья Муромец скинул свою рубаху и, как вшей, отряс с себя тунеядцев! Но какая душа, какая удивительная душа у этого народа! Я вот слышал. Был один земский начальник. Можно сказать: стражник самодержавия. Бывал строг, конечно, при исполнении служебных обязанностей. У другого народа он мог бы стать объектом ненависти. Но ведь эти славные, незлобивые и великодушные дети проводили его в октябрьские дни... В октябрьские дни! Ты смеряй глубину, океан этой народной души... проводили со слезами на глазах при всем народе, едва, паразит, удержал от колокольного звона, поднесли икону Пантелеймона Великомученика. Символ-то какой, символ-то? Проводили до вокзала. Ты скажешь: вредная слабость, классовая отсталость, его, гадину, нужно было четвертовать, головой вниз зарыть живьем у помойки за народные бедствия! Я согласен с тобой. У меня бы не дрогнула рука кинуть его, как пададь, под копыта моих беспокойных жеребцов! Сам бы я размозжил ему череп запором от конюшни! Дерево бы на него уронил с верхнего

венца на срубе! А все же удивительно трогательно! Великий народ! Какое высокое благородство сидит в нашем мужике! Я знал этого человека. Потом его все же в городе, ах, горожанин — тот жестокосерд и мстителен, расстреляла чека за укрывательство своего звания и за перемену фамилии. Я заходил к нему. Конечно, я и не подозревал, с кем имею дело. Он был мирным советским тружеником. Любопытствуя, я заходил к нему посмотреть икону. Он меня, конечно, обманул, заявив, что она как-то случайно осталась у него от того мифического земского начальника. А сам он и был, как выяснилось потом, хозяином сего деревенского образа кротости. Мне было прямо неловко перед этими добряками: все-таки знаешь, ценная старинная икона, они на нее собирали свои трудовые крохи! Да, да, я был до слез растроган! Можно, можно еще жить на свете, принадлежа к такому народу! Великий, неподражаемый народ!

Пронька пьяно шарашилсЯ с лесничим по казенному коннозаводству и показывал глазами на проходивших мужиков, восторженно крича:

— Велика-а-ны!

Мужики невесело улыбались и скидывали шапки, а Пронька вопил:

— Эй, ты, правительство, рабоче-крестьянское правительство, дай я тебя облобызаю!

Он лез целоваться с мужиками, с другом своим — красным лесничим.



АННУШКА

Аннушка Оглядкова была веселая и разбитная бабенка. И шла худая слава о веселом человеке сперва в деревне, потом в городке. А в городок она пришла по бедности. Мужик у нее плотничал, оборвался со сруба и захромал на обе ноги. От недуга посадил его подрядчик на земляную тёску дерева, не везде годен — и цена другая. Из первой руки в третью угодил Петруха Оглядков. Аннушка в город пошла в прислужницы.

Вдвоем с трудом выработывали на крестьянство, на ребятишек с бабкой да с дедкой. Хозяйство оставлять

деревенскому мужику тяжелее, чем из деревни на заработки уходить.

Хохочет Аннушка, полощет зубы, не стесняется озорного слова, будто девка, с парнями в пляс, в крик, в шум. И нет будто в деревне Большие Кочки и в ближних селах ни одного человека, с кем бы Аннушка обошлась суровее милого дружка Петрухи. Говорить стали и о ребятах: один — от Петрухи, другой — от Ваньки, третий — от церковного старосты Евстигнея. И про тех слава идет. Бабы им в волосы. Отказываются — и хохочут. Баб своих к себе пуще приваживают. Почетно лишнее женское сердце привязать: баба своя любить больше станет.

— Полохалы вы, — смеется Аннушка бабам. — Да я разе свое Петруху на ваших лошадей променяю? Он у меня хроменький, а любый! Слава мне пустяки. Не ославишь меня, когда душа у меня чище хрусталу, из снежинок она чистых, а зубы у меня веселые. Вот и все. И больше ничего.

Пойдет Аннушка по деревне легкой своей, каблучками настукивает, походкой, сарафан из озорства подбирает выше, чем поднимают.

— Эй, Евстигней-ротозей! — кричит-дразнит. — Держи бабу на вожже! Детей у меня твоих отбирает! Своих не достача? Пятерых мало? Ей, Ванька-встанька! Давно мы с тобой в лужках кислицы не собирали?

— Поди ты, вертунья! — смеется Евстигней с Ванькой. — Не кипяти зря баб! Ума у них меньше твоего. Тянешь себе на голову мережу. Шути-шути — и нашутишься на свою голову.

И так это ласково, обоюдно грохочут на улице у телег, у андреев, у кос, завидуют Петрухе на радостную его бабу.

Не любят бабы Больших Кочек Аннушку, зовут пустосмешкой и боятся, распускают про нее были-небылицы, остерегают мужей.

В городке переходила Аннушка от одного хозяина к другому; милое круглое лицо в ямочках было не по сердцу желтым и белым хозяйкиным лицам; смелая прислужница не любя; и стояли за нее горой хозяева. Отказывают хозяйки. А в другом месте засмеет лукавым смехом хозяина, он глазищи выпатит, да и шастанет к ней ночью. Встретит она его ухватом или скалкой, перебудит весь дом... Наутро расчет от мужниных каверз. Городишко

маленький. В одном конце крикнут, в другом отдается. Большие Кочки в двадцати верстах. С субботы на воскресенье кобылкой трусила Аннушка к ребятишкам. Выходной день завелся от советской власти во всех городах. Нарушили бы, да надсмотрщики верные. Пользы от них другой мало, выходной день блюли. Перенюхали весь городок.

— Ты бы, Аннушка, потише,— говорил Петруха,— я-то не усумнюсь... Во вред большой язык твой. Что язык, что волос!

И расславили Аннушку по городу, как и в Больших Кочках. Не берут в дома. Другие города далеко, и неподручно от ребят оторваться,— для них только, востроглазых, и жизнь!

В одном скудельном домике жили три старые девы, пять кошек, шесть кобелей, комнатный индюк, гусь и еж. И те наслышаны про Аннушку. Безопасный дом, а привередливый. Старые девы в училищах учительствуют. Идут с занятий мимо лавочки,— брюками торгуют, выставлены за стеклышками фасонные брюки,— краснеют и отворачиваются от мужского соблазну. А за скотом ходить некому. Они Аннушке не в попрек, а и говорят:

— Принеси удостоверение из деревни. И мы спокойны, и город перестанет судачить, и скот наш будет обласкан. Бегут от нас прислужницы. Не любят бедных птичек, кобельков и кошечек. Тебе деваться некуда. Все дома на запоре. А мы возьмем на испытание.

И старые девы ласково обступили Аннушку. И стояла она промеж них, черных, испитых, жухлых, будто маленький кустик шиповника.

— Принесу,— просмеялась Аннушка.— И о здоровье своим принесу, ежели брезгаете!

— Нет,— говорят,— о здоровье не надо! Здоровье само за себя рапортует. Щека-то, щека-то какая разовеющая! Бока-то какие налитущие!

Старые девы, как курицу, выщупали Аннушку. Она от щекотки зашлась хохотом,— и зазвонило в старых часах в скудельном доме само собой, кобельки залаяли, индюк затрепыхал красной кистью под губой.

Аннушка прискакала в деревню Большие Кочки к сельскому исполнителю Семену Огневу за нужной бумажкой. Тот бороду закрыл лапой и головой качает:

— По какому такому случаю дам я бумагу неправильную?

— Как неправильную?

— А так. С Евстигнеем жила? С Ванькой жила? Еще с кем, дай припомнить?

— Да-к ты что, головой треснул? Бабы подолы нюхаешь?

— Не жила, скажешь, с пономарем? Похвалялся он тут в покров. В городе сколько мужей оставила?

— Ты при свидетелях не отопрешься! — рассерчала Аннушка. — Слова эти сказать?!

Семен Огнев рассмеялся:

— Отопрусь. Я не дохтур, с кем ты там кувыркалась, узнавать! Бумаги же не будет, — не уверен я в своей власти выдавать напраслины.

— Такой степенный мужик ты, Семен! — задумчиво и горько ответила Аннушка. — Свой, деревенский, а дурак вяленой-пареной!

— А ты таскушка!

Аннушка даже всплакнула, а Семен Огнев ей на поход:

— Ваша сестра завсегда оплакивает блуд. Не уберегут стыд, опосля волосья длинные вытаскивают — конский хвост!

Ходила-ходила Аннушка — ни в какую. Семен Огнев, как отвод — скрипит на ветру, а не отворяется, не мычит — не телится.

Аннушка на обман. Разожгла мужика. Пододвинулась к мохнатому уху раз, прихватила зубками жирную волосатую мочку, мужику не повернуться, обвила шею и в глаза глядит.

— Ну, чего там? — скраснел довольный мужик. — Какая у тебя дьявольщина на уме? Выкладывай!

— Люб ты мне за крепость, Семен! — шепчет Аннушка. — Полонил меня! Обижаешь, а мне хоть побои от тебя! Первого мужика такого встречаю. Все я была наверху, а теперь я под тобой. Слюбимся?

Семен Огнев боязливо и трусливо поглядел на двери из избы. Охватил ее за спину и бормочет:

— Краля, хто бы не вошел?

— Ты постой, — отвела Аннушка тяжелую руку, — не так скоро! Приходи полночью ко мне в сеновал, Семушка, только напиши бумажку! Есть нам становится нечего — без места нам не обойтись! По праздникам и будем миловаться. Без зову и ходи в сеновальчик. Твое же хозяйство не хочу зорить. Не приму от тебя

никаких подарков. Любовь моя чистая и первая к такому покорителю моему!

— От ты какая замысловатая, Аннушка! — удивился Семен Огнев.

Аннушка влипла ему в губы, дагнула их и оторвала.

— Будто спичка черкнула! — подобрел мужик. — Искорки высекла! Чудно-хорошо!

Прощаясь у дверей, Аннушка ласкалась к нему:

— Первой и единственной от тебя подарочек — бумажка и будет! И принеси ее в первый раз любви! Бумажка-то мне и детям — хлеб! Подарка дороже нет!

— Принесу, — отшептывал Семен Огнев. — Беспременно буду в сеновальчике. Закружила ты меня, будто Евстигнея. Волос растет в мозгу. Не вижу ничего, кроме похоти! Ядруньюшка моя! Да уж не подкинули ли тебя к тусклым нашим бабам на деревню в Большие Кочки? Липка! Липка!

— погоди, то ли будет, — ожгла и убежала.

Семен Огнев долго писал бумажку — не выходило. Он жалел бумагу. На маленьком лоскутке он применялся и вкривь, и вкось, укладывая смысл. Вспотелый, умученный, наконец, он задумался, натер печать о сажу в устье печки и переписал составленное им на другой, чистый, лоскуток.

Задами прокрался Семен к Аннушкину сеновалу и нес в зажатой руке подарок.

— Семушка, это ты? — позвала Аннушка, как дотронулся он до ворот. — Жду, борода моя кужлявенькая!

Семен Огнев юркнул между полотнищ и попятился взад.

Аннушка сидела на сене. Рядом с ней стоял фонарь с бараньим светцом — к коровам на назем ходить.

— Для ча фонарь? — испугался он.

Аннушка засмеялась.

— А не для ча! А для того, чтобы нагрянет кто, вон и пестерек принесла, было похоже — за сеном пришла. Тебе же в любом месте в сене укрышка...

— Умишко-то, умишко какой! — воскликнул Семен Огнев, валя бабу на сено.

— Жди, жди, — ласково посторонилась Аннушка. — Перво-наперво испытанье тебе, — сдержал ли слово обещанное?

— На, на, моя красавушка, да я тебе всю канцелярию мою выдам за один обним!

Семен Огнев сунул ей бумажку за пазуху и захватил крепко грудь.

— Не все, не все,— веселилась Аннушка,— мы долго связываем себе руки и ноги. Проверить любовь твою надо. Мало снег в школу мяла, а осилю твое письмецо. Вгляжусь в него вкрадчивыми глазоньками.

Аннушка внимательно читала, шепча себе слова. Семен Огнев приткнулся к ней, гладил плотно сжатые ноги и растерянно и воровато расстегивал жаркий пиджак.

— Буква эта «пы», а это «мы»? — говорила Аннушка.— Так, так! Дело! Хорошо написал!

Аннушка засунула глубоко смятую бумажку за пазуху, вскочила на ноги и описала фонарем дугу над головой Семена Огнева. И звонко, как ударили в сторожевой деревенский противень, лязгнула:

— А теперь, Петруха, выходи!

Семен Огнев опрокинулся на сене и пополз. Петруха Оглядков быстро вылез из угла, встряхнулся от сена и загрозил:

— Мы, Семен Иванович, по плотницкой части к топорiku привычны! К-а-к вот тюкну тебя по глупейшей башке за измывательство над бабой! Становись во фронт, обдураченный бык!

Петруха, под хохот Аннушки, наступал на Семена Огнева с топором, прихрамывая и раскачиваясь.

Семен Иванович, кидаясь к воротам, отворил их головой и застучал по молчаливой земле сапожищами.

Петруха выковылял за ним, загремел обухом по железной накладке запора и закричал вдогонку, колебля, как тонкую наволоку, мглу:

— Руки обрублю напрочь! На мясо положу! Держи-и, держи-и его!

Семен Огнев упрыгнул. Оглядковы дружно и нежно обнялись, смеясь, посидели на сеновале у тихого фонаря, прочитали заново дорогую бумажку, а потом Аннушка устало зазевала. И зевая,— а он ее подталкивал в бок,— долго тянула:

— Петруша, не к спанью ли час?

И потушила фонарь, опрокинув его и мотнув.

Провожал Петруха Аннушку в город, неся за поясом топор и взвалив за спину мешок с вещичками.

Старые девы приняли озорную прислужницу. В скудельном домике долго хранилось каракульное удостоверение с черной печатью:

«Настоящим удостоверение дано гражданке деревни Больших Кочек Аннушке Оглядковой о том, што она до настоящие поры, так и в настоящие осень, живет с мужем и никаким пустякам не занимаетца, што и удостоверяет сельисполнитель деревни Больших Кочек Семен Огнев».



КИНОСЪЕМЩИКИ

Милиционер Пучков стоял на посту против банка. Пригнали раз в самый банковский разгар около двух часов дня три автомобиля. Два встали у самого входа, а третий по другой стороне улицы. Была на нем какая-то машина, вроде фонаря с ручкой. Покуда вылезали человек десять с двух автомобилей, выскочил от фонаря маленький юркий человечек, подбежал к Пучкову, сунул ему бумагу и сказал:

— Товарищ милиционер, вот вам отношение из Госкино. Нам необходимо произвести киносъемку. Для вас будет много неожиданного. Не смущайтесь! Так нужно по программе. Будут бегать люди. Будут выстрелы. Крики. Так, пожалуйста, вы не допускайте близко публику, чтобы кто-нибудь не пострадал. Отношение сохраните у себя для отчета по начальству.

Пучков начал просить прохожих:

— Граждане, не толпитесь на панелях! Проходите! Будет стрельба! Снимка для кино. Не переходить, не переходить дорогу! Дядюшка, дядюшка, обратно, друг. Обожди! Эй! Папиросница, куда? Патент есть?

— Начина-а-ем! — крикнул юркий человечек, подсел к фонарю, завертел ручку и махнул рукой к подъезду.

Туда вошли приехавшие на автомобилях и прикрыли дверь. И сразу загудела тревожная сигнализация из банка.

— Весело! Весело! — кричал киносъемщик, накручивая ручку.

Пучков осаживал публику.

— Да нарочно, нарочно для съемки тревога! Трусите, трусите, граждане? То ли еще произойдет! Может и ра-

нить! Ходи, ходи, товарищ женщина! В «Колизее» гляди потом. Чего задарма глядеть!

Огромное зеркальное окно вдруг рухнуло с третьего этажа, засыпая зеленоватой стеклянной крупой мостовую. Будто свалилась с крыши весенняя сосулька и уложила землю мелкими ледяшками. В пролом выкинулся до пояса перепуганный человек и взревел один раз:

— Гра-а-а-бят!

Его кто-то вдернул обратно. И пальнули раз-другой глухие револьверные рывки.

Киносъемщик засмеялся.

— Натурально! — воскликнул Пучков. — Стекло окупится!

— С лихвой! Десять тысяч ассигновано Госкино на эту съемку! Отойдите, товарищи, подальше! Вы закрываете мне поле действия. Я вас уже заснял. Не подпускайте, не подпускайте публику! Какое глупое любопытство! Люди работают, они тут развлекают, снуют!..

— Честью говорю, не понимают! — кричал Пучков. — Ругаться начнешь — оскорбление личности! Проваливайте, проваливайте!

Пучков поворачивал извозчиков, ломовиков, автомобили, осаживал густо набившуюся публику. Шоферы сидели с трубками и держались за рули.

В банке была тишина. Киносъемщик придержал ручку. Сигнализация смолкла.

Немного погодя из банка начали выносить какие-то небольшие мешочки и кидали в кузова автомобилей. Киносъемщик опять весело застрекотал ручкой.

— Очистите дорогу! — кричал он милиционеру. — Скоро поедем! Надо торопиться к другому банку!

Пучков послушно и суетливо делал проход в публике.

— Шире, шире! На себя судачьте — задавят! У них машина заряжена на время! Может остынуть. Погонят!

И вслед за этим из подъезда выскочил знакомый кассир с разорванной манишкой, в красных чернилах на щеке, с портфелем...

— Пучков! — рявкнул он.

Его схватили выбежавшие за ним люди, закутали голову черным платком, смяли на панели и втащили назад. За толстым портфелем, упавшим на панель, выпрыгнул один шофер и лениво швырнул его на подушки.

— Это номерок! Это номерок! — веселился киносъемщик, звякая ручкой.

— Ка-ак кассир-то взревел? Что те актер! — шутил Пучков. — А я и не знал, что будет представление!

— Да, — радостно отвечал киносьемщик, — эта филь-ма будет иметь успех. Ребята очень сыгрались. Настоящее ограбление банка.

— Кассир-то и морду в чернила выкрасил! — ойкнул Пучков.

— Нельзя иначе! Мы должны дать вполне реальную обстановку. Здесь наружный вид ограбления. В другом районе работают киносьемщики внутри. Отсюда поедем ставить сцену после ограбления.

Публика все накапливалась и накапливалась. Пучков торкался, торкался в стороны, серчал и не мог справиться. Тогда киносьемщик, поворачивая фонарь на публику, закричал:

— Товарищи, я прошу вас отойти на тот уголок. Заодно я вас всех сниму. Вблизи нельзя угадать правильный фокус. Снимок будет валиться. Пожалуйста!

Народ загоготал, опрокинулся назад, побежал, киносьемщик заторопился с ручкой.

Пучков легко отгонял немногих оставшихся. Вертя-вый человек вытирал пот со лба.

В разбитом окошке показались двое из приехавших и гаркнули вниз:

— Готово! Сейчас выходим. Снимай последний выход.

— Даешь! — ответил киносьемщик.

— О, здорово! — шумел улыбавшийся Пучков. — Как по расписанию поезда!

— Да! Фильма заряжена на определенный отрезок времени. Один оборот ручки нельзя повернуть зря! Мыла кусок, три копейки брусок!

И они дружественно засмеялись.

Народ опять торопливо подвигался к фонарю. Тут, не спеша, вышли с портфелями товарищи киносьемщика, уселись в автомобили, один повернул на дверях плакат с надписью «Банк закрыт», юркий человек разок подребезжал ручкой, накинул на аппарат тугой черный футляр, пихнул за обшлаг Пучкову белый конвертик, и машины кинулись гуськом, заиграв на рожках тревогу.

— Будем знакомы! — выкрикнул человек у фонаря. — Берегите билеты в кино!

Автомобили ушли. Покружилась пыль, будто сейчас тут выбивали ковры, и стала садиться. Народ расходился...

Пучков с улыбкой вытащил из-за обшлага конвертик — и обомлел. В конверте была пачка червонцев. Он перемуслял пачку и насчитал двадцать красноглазых белячков. И еще больше повеселел Пучков. Он спрятал деньги в карман и сладко задумался на дороге.

Тогда один-другой, крадучись, начали выглядывать люди из пустого окна.

— Окончательно все уехали! — махнул Пучков.

Банк ожил. С грохотом отбросилась дверь входа и, галдя и крича, посыпался народ.

— Где? Куда? Что? Милицию! Чека!

Пучков, похохатывая, ходил против банка.

— Дурак! Идиот! — вопил народ, показывая на Пучкова. — Налетчики! Бандиты! Убийство!

Его потащили внутрь. В вестибюле он увидел, как перерезали ножницами веревки на двух связанных милиционерах, и около них валялись тряпки, вынутые изо рта. А рядом лежал и кровоточил щекой кассир. Он был без памяти, бледен и неподвижен.

— Доктора! Доктора! Директора убили.

— Он выбил окно!

— Наповал!

Тут только Пучков будто понял. Опустив глаза, изруганный, издерганный, суя всем бумагу из Госкино, не веря, он метнулся, скача через ступени, наверх, осел около убитого директора, поднятого на прилавок к решетчатой каске — и заплакал над собой.

Долго допрашивали Пучкова, сажали в тюрьму, — и обманутый «снегирь» записался безработным на бирже.

А деньги он утаил, зарыв в цветочный горшок с появлой фуксией, выкинутый соседями за ненадобностью в темный коридор за сундук и там забытый.

Трудные бесхлебные дни пришли скоро. Вынул он из укромного места первый червонец и подал своей бабе. А та скоро прибежала испуганная и горестная:

— Васенька! Червонец-то фальшивый! Не берут нигде! Смеются! В одном местечке погрозили!

Испробовали в разных местах червонцы. Ездил Пучков из одного района в другой и менял. Баба промышляла по мелким торговкам на толчках.

Спустили пять червонцев. И невдомек было — ползали по пятам за ними агенты МУРа. На шестом разменном червонце Пучкова взяли, унесли горшок с остальным фальшивым добром, — и сел «снегирь» на казенное довольствие в губтютку.



ЗА ШКАФОМ

— Виссарион Иванович, я тебя пропишу на мою площадь. Сам я жить не стану. Только для отвода глаз иногда ночую у тебя. Пускай домоуправление числит комнату за мной. Я добыл себе квартирнку через союз. Однако, на случай, и это убежище не помешает!

Виссарион Иванович Бугорков до того переходил по ночевкам от одних знакомых к другим. И всем был в тягость. В последнее время не открывали дверей на звонок. И он ночевал на бульварах, чутко дремля по скамейкам. Он нарочно засиживался на службе, похрапывая на ворохах разложенных по столу бумаг. И вот пришло освобождение.

Комната была белая, светлая, большая. Виссарион Иванович зажил, забывая недавнее.

Домоуправление год спустя догадалось. Выписали Сергея Антоновича — настоящего съемщика, заплатили домоуправлению и тот, и этот легкую дань, — и переселили тогда Виссариона Ивановича вторым жильцом в комнатушку милиционера Гракова. Стало похуже, а ничего. «Снегирь» редко ночевал дома, а ночевал — вместе пили чай и дружили. Разлад начался из-за баб. Привел «снегирь» бабу, выпили, запьянели... Полночь подкатилась, баба начала раздеваться. Тут Виссарион Иванович не выдержал:

— Слушай, Граков, я протестую! Я не позволю!

Полаялись немного. Баба смирненько потянула на себя кофточку, кинула с вешалки шинель Гракову, — и они ушли.

Зачастили к «снегирю» бабы. И все смелее и злее он стал.

— Я приведу бабу — и ты води себе бабу! А то одну. Марусяка, согласна? — шумел Граков.

— Обнаковенно! — отвечала Маруська. — Кидай же-ребий! Мне вынимать!

Виссарион Иванович не поддавался — и гнал их. Они уже больше не пили вместе чай.

Виссарион Иванович переставил на середину комнаты свой платяной шкаф, натянул веревку от окна до стены и занавесился занавеской. Граков захохотал. И первую ночь не послушался Виссариона Ивановича.

— Эй, Бугорков, — кричал он в темноте, — заткни уши! Полезай под подушку!

И Маруська хохотала, шлепая себя по голому телу.

— Ворочай шкаф на прежнее место — опять твоя наверху. А теперь мы каждый на своей жилплощади. Захочу вскочу, захочу выскочу! Маруська, единоутробная, поворачивай ему нагую спину на смех!

Виссарион Иванович жаловался в домоуправление. Не помогло.

— Ну-к, что баба? — сказал председатель рабочей фракции. — Поди, в каждой квартире не одна баба находится. Чудаки! Эдак спокою никому не будет, ежели мы по квартирам лазить станем. Своим согласием соглашайтесь! Мы не облава. Граков в милиции служит. Нам на рабоче-крестьянского парня не рука жалиться! Брось, товарищ Бугорков, благородство. Чего, право! Не женский элемент, чтобы конфузом заливаться! Не мешай человеку функцию свою тешить по медицинскому закону! И тебе понадобится, он не кыркнет. Дело выеденного яйца не стоит. На собрание общее вопрос поставишь, тебя ж засмеют! Дом у нас простой, — ты один из прежнего духовного звания! Тебя ж заголосуют. И прав, а заголосуют, — опиум леригии в тебе интернационал под себя подожмет! Ты нашему уму чужестранец и бывший враг!

Виссарион Иванович служил секретарем редакции большого советского журнала. Редактор посмеялся и тоже сказал:

— Безобразие, конечно! Но суды завалены такой ерундой! Тут одного судили. Он возмущенно и обиженно доказывал, что имеет полное право вонять на своей площади!

Виссарион Иванович терпел. Граков прятался от него трезвый, а пьяный приходил всегда сам-друг.

— Я в суд на тебя подам! — уже кричал Бугорков.

— Подавай. Докажи, жеребьячью твою в трензеля душу! Сс-с-с-во-лочь! Лови, лови!

И Граков кидал в шкаф Виссариона Ивановича сапоги, лез на него в драку, а баба подступала со стороны, заглядывая к нему за занавеску.

Вдруг Граков остепенился. Пришел домой рано, трезвый ходил по своей половине, кашлянул и негромко сказал:

— Товарищ Бугорков, разговор имею... Выйди!

И поговорили. Клялся характер переменить. Выпили чайку.

Пришел раз Виссарион Иванович, глядит, шкаф, задвинут на прежнее место в угол, вырваны гвоздики, а пестрая занавеска на окошко подвешена. Граков весело угостил его яблоком и дружелюбно сказал:

— Это я срам мой уничтожил! В глаз мне тыкал. Раз одне мужчины покоятся в комнатухе, бельмо на глаза и не к чему. Совестно самому себя. И глаза у нас на улицу теперь в ситцевых очках. К дьяволу несознательные контры промежду кватерантов! Ну, как, голосуешь?

— Ладно,— буркнул Виссарион Иванович.

Поехал Бугорков вскоре в отпуск. Вернулся через месяц, дернул дверь в комнату, заперто изнутри.

— Ково там дергает? — спросила какая-то женщина.

— Это я... Бугорков... Откройте!

— Кто такой Бугорков?

— Жилец. Другой жилец.

— Никакого другого жилья. Я другой жилец. Не туда стучишь. Разомкни глаза-то. Молодожены тут живут, Граковы. Ошибился дверям.

Поглядел Виссарион Иванович, а в полутемном коридорчике свален был на бок шкаф его, свернута стоймя кровать, и корзинка привязана полотенцем к ней, будто хотели через плечо унести их, да не успели. Бугорков осветил коридорчик спичкой. На шкафу лежал под густой пылью портрет его отца, а в серединке, в раздробленном звездой стекле, стоял примус, натекший в рамку желтыми пятнами керосина. Голова отца будто плавала и высывалась кверху, чтобы не захлебнуться. Виссарион Иванович покраснел, задохнулся, швырнул свой ручной багаж на пол рядом со шкафом.

В то же время сам Граков заколотил в двери:

— Товарищ Бугорков! Слышь, что ли? Извини, брат, а я женился! Крой в другое помещение! С моей женой ты и разговаривал. Не Маруська, а через загс!

Женщина громко засмеялась.

— Скарб твой цел-целешенек,— продолжал «снего-гирь».— Я досматривал. Скажи спасибо. Не открываю тебе нарочно. Держу наган и за себя не ручаюсь, когда характерами разойдемся. По за дверям — обоим сердцам загородка! Не смутьянь, а иди... И к тому же опять извини! Сам должен понимать теперь стыд моей бабы при лишнем человеке в медовых положениях! Обстроишься, приходи чаевничать!

Виссарион Иванович, негодуя и дрожа, сбил домоуправление.

Председатель рабочей фракции сердился:

— Скандальной вы, товарищ Бугорков, как же вам не совестно разлучать мужа с женой? Можно сказать, промеж их третий лежит. Смущение! Других местов у нас нет в доме. Разве вот одна старушка живет в подвале, ветошь подбирает в помойках и мусор разной, да конура у нее без двух аршин полторы сажени. Поди сговоришься — и приходи. Мы утеснять не станем вас. И плата на два раза дешевле. Боле на одежду оставаться будет. Старушка хоть и запойная, а ничего, незаметно плохого. Песни поет в запой и пляшет под гармонью. Племянш к ней люмовик ходит, а гармонист... обживетесь! Гракова бередить не почто!

— Милицию! Милицию! — кричал Виссарион Иванович.— Протокол! Это разбой! Убирайтесь вы к черту с вашей старушкой!

Председатель рабочей фракции освирепел:

— Мошенством въехал, а рот открывать? Засужу! Засужу! Партийного пролетария послал ко всем чертям! Не моги, не моги! Кажи свою платформу! Открывай поповское званье! Опиум! Эксплататоры трудовых героев! Да во мне, да во мне ты, буржуазная крысоловка, кровь гнева насосом поднимаешь к роту. Нет тебе жительствова-ния в нашем народно-рабочем жилтовариществе!

Виссарион Иванович простонал, безмолвно поглядел, молча снял пальто, вынул ключ из дверей, швырнул со стола домовые книги, оборвал со стен объявления и вдруг закричал:

— Видите! Видите! Убирайтесь вон из моей комнаты! Я остаюсь здесь! Я не уйду, куда мне не дадут помеще-

ния! Зовите милицию! Мне некуда деваться! Я в тюрьму хочу, я в тюрьму хочу!

И он застучал кулаком по столу:

— Я к Каменеву пойду! К Калинин! Я в Большой Совнарком!

Они схватили друг друга за руки и долго стояли взбешенные, упрямые, охрипшие от брани.

Через два часа, после заседания рабочей фракции, с понятиями, с домовою книгой, с портфелями поднялись к молодоженам. Виссарион Иванович захватил с собой ключ от домоуправления.

— Где такой закон? — вопил Граков. — Я все законы знаю по милиции. Мыслимо ли мужу и жене иметь соглядатая? Я не девку привел на кровать. Вот бумаги у нас — жена и муж по пролетарскому факту! Да я его пристрелить могу, ежели с бабой моею что замечу! Кто мне ее стеречь станет? А? А ежели он снасильничает?

— Тьфу! Тьфу! — плевалась молодая. — Что городит, леший! Страмит как! Заткнись, заткнись — не то мелешь!

И она осматривала рыжего и некрасивого Бугоркова. У того дрожали ноги и руки, и был он бледен, как стоявший на столе фарфоровый чайник.

— По долгому размышлению, — твердил председатель рабочей фракции, — хоша Бугорков не товарищ советского строя, а только лишь подмоченный гражданин, буян и скандальный буржуй, жить, однако, ему в твоей комнате, товарищ Граков. Никто тебе жениться на чужой площади не велел. Ему нету никаких делов, один ты или вдвоем. Он тя за свои вещи, как раскидал ты его добро на бесполезной площади пола, взгреть может, будто ты его ограбил на большой дороге али насильно женил на своей бабе! Пускай его безо всяких!

Председатель рабочей фракции повернулся к Виссариону Ивановичу и зло сказал:

— А ты более не выходи отселева! Тащить будет, упирайся! К тому же он и ответит тогда, — тебе вся и его площадь попадет!

— Я не уйду, — крепко сказал Бугорков.

— Как не уйдешь? — взревел Граков. — Да я, да я тебя изувечу! Да мы тебя с бабой моею на трубе повесим! Да мы тебе дно вышибем из некоторого места! Насильственная твоя личность! Нахрапщик! Налетчик! Подгрыза!

— Товарищи, я прошу записать эти слова в протокол,— опять крепко сказал Бугорков.

Потные, усталые, накурив в комнатухе до серого угарного пара, будто в бане безостановочно плескали шайками в зев раскаленной каменки, и она дышала клубами жара,— наконец сладили дело. Граков вышвырнул форточку в окошке и буркнул:

— Пусть лезет! На корню сложем! — И потом угрожающе всмотрелся в Виссариона Ивановича: — Только не судачить на нас! Дружелюбства не жди! Враг! Врагу одна честь! Заволакивай свой инвентарь!

Молодая села на кровать и заплакала. Все вышли в коридорчик. Председатель рабочей фракции отобрал от Бугоркова ключ и подал ему руку с усмешкой.

— Без рабочей фракции ничего бы не получилось! — весело воскликнул он.— Не сердчай и ты, Граков! Утешение всему городу назначено, сам знаешь! Спи с бабой на своей рогожке. Хи-хи! Одна баба у вас счастливая — с обоих алименты потянет! Хо-хо!

Виссарион Иванович трудно, потя и напрягаясь, втаскивал свой шкаф. Молодые, повернув ему спины, молча сидели за столом. Граков водил пальцем по протеклу от чайника и мазал какие-то мокрые буквы. А когда шкаф с ободранными о косяки боками влез в комнату, снова схватились.

— Куда ты ставишь? — шумел Граков.— Где твоя линия? Она не прежняя. Нас двое, а ты один. Понимаешь рехметику: двоим больше и надо. Сдавай, сдавай еще! Свету, говоришь, нет! Ты нам жизнь загородил, а мы и то молчим! Какой тебе свет, холостяку? Было бы где ноги положить — да и здравствуешь!

Долго спорили, меряли шагами, веревкой, откладывали на четверти, выкидывали из подсчета плинтуса, молодая отжимала Виссариона Ивановича крутыми задиристыми боками, отодвигала шкаф... Бугорков уступал. Не могли договориться из-за света... За полночь Граков весело припрыгнул на месте:

— Ставь накривую! Угол тебе — и свету вдоволь! Слажено!

Виссарион Иванович натянул веревку, замахнул на нее занавес и кинулся на кровать. Под теплым и мягким стеганым одеялом,— сохранил он его из прошлого,— надышав в него распаленным телом тепло, Бугорков улыбался. Была радость, спокойная и ясная, было удов-

летворение, было наслаждение лежать на собственной кровати и даже чувствовать ее скрипучие и неуютные железные ребра и пролежни.

Граковы о чем-то тихо шептались, будто шуршало за обоями. Виссарион Иванович часто просыпался, отбивая в сновидениях захваченную у него жилплощадь. И как он ни просыпался, он слышал на половине молодых легкую зыбь вздохов, тонкий и сонный свист, шелест одеяла... Будто сама темнота ласкала их, а он ехал с поездом из отпуска и лежал на деревянной вагонной скамье на постной своей подстилке.

Года через два как-то сидели в редакции, и Виссарион Иванович рассказал о своем зашкафном существовании. Голос у Бугоркова был медлителен и вял. Жил он в маленькой комнатухе за городом, — и теперь никто не волновал его скромного бытия. Часто он ездил к себе на буферах, на подножке, в перегруженных пригородных поездах, застревал на остановках, хлестало его дождем и метелями на дачных дорогах, но все это казалось столь обыкновенным, что не помнилось и забывалось за порогом.

— Вот мы и зажили втроем, — улыбнулся Виссарион Иванович. — Баба не глядит. Маленькая, грудастая, крепкая, большезадая. А злая до последней крайности. Она меня и начала измором. Дня через три — первый налет.

— Ты по полу ходишь? — кричит. — Пол чистить надо?

Я за щетку в своих апартаментах.

— Не пыли, не пыли так! Ты не двор подметаешь. Одежу нашу гадишь. Да ты нарочно, что ли? Не маши сплеча щеткой! Щетку мочить надо. И от полу не подымай, а елочь мокрым.

Я — беспрекословно. Нет, не так! Отняла у меня щетку. Сама стала подметать.

Раз я мыл свое логово. Выглядывает из-за шкафа на засученные мои руки с тряпкой, на пот мой, будто не лицо у меня, а закапанное дождем стекло в раме, — и хохочет. Сама стала делать уборку бабенка, а с меня деньги, втридорога. Платил.

— Мы тебя выкурим, утеснителя! — кричал Граков. — Мы тебе вытряхнем здоровьишко!

И действительно, я начал худеть. Руки дрожат и дергает веко, будто подмигиваю всем.

— Эй ты, моргалка! Шкилет! — язвила баба. — Не греми посудой! Отдыхать не даешь мне!

Восемь месяцев я жил невыносимой и смешной жизнью. За мной охотились. Баба стирала в комнате белье. Наложит грудку грязного, — и сверху всякие тряпки, отбросы. Так они и лежат день-другой. Я отворачиваюсь, шмыгаю за занавеску, она подсмеивается. Приду из редакции, занавеска моя отдернута, а на веревке развешано стирное, проветривается. Снимать не дает — визжит и сердится. Воздух в комнатухе — пар, мыло, грязь... Иду я по улице, и пахнет прачечной. Злая, брала нарочно чужую стирку, руки содраны в кровь, устала, а бьет в одно место. Так дней пять в неделю и отравляла меня. Днем стирает, к вечеру стирка. Готовили мы допреж того на кухне, нет, перенесла примус в комнату. И закоптели мы трубочистами. Сморгнусь я, а на платке сажа. Делили расходы за электричество, за отопление... Брань, крик, шум... Платил я больше, платил бессмысленно, но только бы не мучили! Пишут мне из дому письма — не доходят. Полгода она их уничтожала, покуда я не догадался переменить адрес на редакцию. Я в домоуправление. А там рукой машет председатель рабочей фракции:

— Не, не! Мы тут ни при чем! Сам заварил, сам и расхлебывай! И не так еще станут хлопотать, выживаячи! Ты им дурной глаз! По фактическому браку ты третий лишний!

Довела меня баба до того, на цыпочках я стал ходить. И нет мне никакого спокойствия. Сижу за шкафом и жду неприятности. Орет баба, поет, наведет Граков товарищей-«снегирей», напьются, лезут ко мне за шкаф, грозят револьверами, кидают через занавески корки, яичную скорлупу. Вzbешусь я, выскочу, а они катаются от хохота, животы трут.

Ходил я только ночевать в комнатуху, скитался беспризорным по городу в остальное время. Я запоздаю — не отворят дверей. Я ломиться — на меня вся квартира. Сонные, раздетые выглядывают из дверей и скандалят.

— Мы тебе не сторожа, не дворники! — вопит баба из комнаты. — Поищи себе других нянек! Полезай в окно!

А жили в четвертом этаже. Ключ я сделал, они на крючок запираются. Ни взад, ни вперед. Выпивши я раз пришел с именин у приятеля. Накипело у меня. В драку. Проснулся я на полу весь рваный, на лице когти бабенки. Неделю сидел безвыходно. Обрадовались случаю и сорвали на мне явную и тайную злость.

Но всего невыносимее было ночью. Денные мелочи,— их не пересчитаешь,— все же были мелочи. Я даже привыкать стал к ним. Баба из себя выходит, а я ничего не отвечаю и усмехаюсь ей в лицо. Ей это зарез. Так бы и впилась в меня зубами.

— Сморчок! Пробник! Слина! Паскудный, паскудный! Нелагожий! Противный! Немилокровный! — бесится баба.

А я ей ласково так иногда отвечаю:

— Бабочка, вередок у вас сядет на губе!

— Тебе, тебе на все места по чирью, сушеному черту! — шипит неразумная.

Ночью было тяжело. Они меня не стеснялись. Граков открыто ласкал свою бабу.

Я еще не ложился, у меня горел огонь, я выходил в коридор по нужде, они возились на моих глазах. Спали они на кровати, ничем не заставленной от прохода.

— Отвяжись,— смеялась громко баба,— дурачок-то не спит! Поди, весь красный лежит! Не дразни человека зря! Он монашек у нас!

И баба в одной рубашонке соскакивала с кровати, заходила ко мне за занавеску, бралась за свои бока и насмешливо и сердито говорила:

— Ты чего же не дрыхнешь? Подслушиваешь? Да как ты можешь мешать мужу с женой?

Глупая и хохочущая рожа «снегиря» высовывалась за ее плечом. Я хватал со стола книгу — и они убегали.

Это было дико, ужасно... Я не жаловался, не подавал в суд... Но почему?

Представьте, я с содроганием, с молчаливым страхом и волнением, так месяц на третий, почувствовал к бабе, несмотря ни на что, глубочайшую нежность. Сначала я удерживал в себе рвоту, отвращение... А потом началось.

Поняла ли баба, нет, наверное, не поняла, но меня, конечно, выдавали мои глаза. Она поливает меня своей нелепой словесностью, а я любуюсь ее мокрыми пухлыми губами, бровями густыми и черными, ласкаю торчком

вылезавшее из-под платяшка беремя живота. Она к восьмому месяцу была на сносях. Кружится у меня перед глазами маленькая, коренастая, грудастая баба. Полюбил я ее глупо, борясь с собой... На бабу иногда находила усталость. Видимо, от тягости. Она тогда каялась.

— Виссарион Иванович,— тихо она тогда мне говорила.— Не серчай на нас — мы порченные. Ты мученик, знаю, только не жить тебе с нами долго! Не ко двору ты нам! Приищи себе угол!

Я однажды размяк да и схватил ее за руку. Еще бы немножко, я выложил бы ей тайное мое. Спасла сама баба. Усталость ее прошла, разъярилась она и взревела:

— Помогите! Помогите!

Я из комнаты вон. Граков на меня вечером с кулаками.

— Подлец ты,— говорю,— знаешь свою бабу! Подстроить хотите, да не придется! Не уеду, не уеду, до смерти с вами проживу!

Они на меня подали в суд о выселении. Тут баба родила. Кричал беспокойно и плакал ночами мальчишка, орала баба, матерился усталый от постовой службы Граков. Житьишко стало еще хуже. А деваться некуда.

За месяц до суда Граков исчез и не появлялся больше. Я ничего не понимал. Баба меня по-прежнему строгала и кричала теперь новое слово:

— Разлучник! Разлучник!

На суде я буквально едва сдерживал слезы и думал, до какой гадости и низости во зле может дойти человек.

Я рассказывал, как жили, а бабенка кричит и трясет ребенком:

— Согрешила я, товарищи, согрешила! Сошлась с ним при живом муже. Улестил он меня своим благородством! И ребенок сиротка его. Муж-то меня и бросил теперь. Вон он стоит! Не будет мне теперь прощения.

— Не прощу,— твердит Граков.— Не нужна она мне при другом муже. Мы честных баб найдем.

— Признаете вы себя отцом ребенка? — спрашивает у меня судья.— Гражданка Гракова записала его на вас.

— Его, его! — вопит баба.— Все выражение лица его. Сразу видать, не простой ребенок. Антиллигентный! Моей кровинки не осталось пролетарской. Все вытравил. Буржуя родила на свою головушку!

Я при таком подвохе только глазами хлопаю и в беспомоществе машу рукой.

— Вам же, — говорит судья, — будет удобнее. Мы Гракова выселим, вы со своей женой и останетесь одни в комнате.

— И он меня бросит! И он меня бросит! — плачет баба. — Вижу, отказывается, проселок выглядывает для бегства. И как же поднять мне малютку моего без средств прожительства?

Я овладел своим отнявшимся было языком и резко сказал:

— Это, гражданин судья, беспримерный шантаж. Это все подстроено. Я не признаю себя отцом чужого мне ребенка. Я прошу меня выселить из комнаты.

Баба тут взвыла так, что судья зазвонил в колокольчик:

— О! Побег, побег! Товарищ судья, товарищ заседатель, спасите меня, вдову при двух муженьках-распутниках! Признайся он отцом, заездил бы он меня в комнатушке! Одна я хочу, отринутая, скоротать свой век без подлых мушин! Узнала я, вызнала тепереча на век свой, вековущечка, натуру мужичью! На ребеночка мне бы помога — я и управлюсь со слезам своим! Не милы мне оба! Насильно собаку привязать можно, а не человека!

— Я знать не знаю! — твердил Граков. — Спал я с ней, конечно, как муж. Ей виднее, от кого ребенок. Она передо мной кается, а настоящего вам отца показывает.

— Ваше последнее слово! — сердится и подозревает меня судья. — Согласны ли вы признать свое отцовство и остаться на совместное с ней проживание? — А вы, — обращается он к Гракову, — согласны ли забыть ее ошибку и снова сойтись с ней?

И сказали мы с Граковым враз:

— Нет.

Суд постановил нас обоих выселить с предоставлением нам жилой площади в доме.

С меня же присудили в добавление алименты.

Вышел я на улицу и захохотал. А Граковы идут впереди вместе и тоже хохочут.

В тот же день я договорился со старухой-ветошницей в подвале и начал перетаскиваться к ней. Шкаф мой

свалили в котельное отделение: не влезал на полторы сажени без двух аршин.

— А, что? — дразнила баба меня. — Вытряхнулся? Поцелуй ребеночка-то, сына-то! За мученья наши плати теперь!

Граков был при этом и колотил себя, издеваясь надо мной, по лбу.

— Мадама Гракова-Бугоркова! — кривлялся он. — Обзаведись третьим мужем. В подвал не моги, не моги! Дитю показывать надобно, а не прочее такое бабское обзаведение!

— Вы, вы... — дрожал я и не мог выговорить.

— Мы, мы, мы, — толкала баба меня в спину, — мы сами по себе, а ты дань нам плати. Детей наших обстраивай.

Так меня и растоптали. У старухи я провел полгода. Это еще труднее рассказать.

Когда я устроился за городом, наконец, пошел в баню, увидел десятичные весы, прикинул по нагим обтянутым ребрам свой вес, — похудел за полгода я на пятьдесят фунтов.

Алименты я платил год. Потом ребенок умер.

Дико сказать, невероятно, но платил я алименты с удовольствием, даже за три месяца заплатил после его смерти, так самой ей на квартиру и носил.

Баба смеялась, а брала. «Снегирь» Граков числился на проживании в милиции, в дежурке, а жил, конечно, со своей бабой.

Посмейтесь надо мной, похочите, ведь я до сих пор питаю к ней глубочайшее неразделенное чувство! При встречах с Граковым на улицах мы раскуриваем.

Ее же лучше не встречать, чтобы не подымать горечь с отстоянного дна моих чувств!

А недавно Виссарион Иванович выдавал нам деньги в редакции, вдруг входит маленькая женщина в платке и манит его пальцем... Бугорков встретился легко и радостно. И они ушли в коридорчик. Машинистка нам шепнула:

— Это та... баба-то... Гракова... жена Виссариона Ивановича. Ушла к нему от мужа... Пятый месяц... Ревнивая. Каждый день его со службы встречает. Виссарион

Иванович вздумал раз проводить меня... Наткнулись на нее... Она на меня красная глядит, дрожит, а выговорить ничего не может... Повернулась потом и... бегом. Виссарион Иванович вдогонку... Недели две он после того ходил на службу с расцарапанным носом.



ПИСЬМО ПИТИРИМА КУЛЬКОВА

«Глубокоуважаемый товарищ заведующий! Наслышаны мы, что ваше издательство печатает разные пиесы для клубов и театров. Имея на руках театральную литературу, автором коей я являюсь, хочу вам предложить свои услуги быть вашим постоянным литератором театральной литературы. Как прошел я, можно сказать, со слов писателя Ивана Николаевича Тургенёва, с военным огнем и мечом всю русскую землю, сперва в германскую, после в гражданскую междуусобную, то набрался разных сведений, насупротив прежней слепоты, до отказа. Удивлению подобно, как другие ребята остались без всяких впечатлений, будто со своего двора не выходили дальше калитки,— а я нет. Сообщаю для сведения краткие биографические слова о самом себе. Состою в настоящее время продавцом в кооперативе. Не по мне служба. Наломались мы по этому делу у прежних купцов, кажись бы, будет, да нужда загнала красного воина в серость уездного городишка Починки, где нету никакого спроса на театральные развлечения, хотя бы от попа Агафадора Пожарищенского — красный поп — до секретаря укома все и величают меня пролетарским писателем Питиримом Кульковым.

Вследствие такого положения, сидишь там у ящиков в лавчонке, домой ли идешь после занятий али бабе дрова колешь для топления печи, в голове разные представления. Ей-ей, ей-богу, скажу я вам, будто прилип у меня за ухом невидимый никому сухлер и подшептывает хриплым голосом всякие театральные разговоры. Да так внятно, что и чудно другой раз покажется! Я вот замечал, муха попадет на клейкую бумажку,— ноне такие бумажки не мастера делать,— муха сядет, смолка ее подцепит, она рванется! На большую удачу, ногу ото-

рвет или крылышко, а сама улетит, — прежде попадет-ся, — тут ей конец, — с боку на бок покатается, облицнет вся, из силов выбьется — и запекает себе отходную. Не разберешь ничего: мушиный язык только мухам и понятен. Говорят, американцы подбираются разузнать мушиный алфавит. Будто бы некоторые буквы уж открыли, держат в секрете для войны — мух будут к неприятелю посылать вроде разведчиков. Я слушаю муху в западне и чую, как это ей не нравится: это она другим подает сигналы спасать ее или предостерегает. Потому не все мухи и на бумажку попадают — только поглупее, вытаскивать ее, и завязили лапки, попроворнее — только покружат окол и больше у хлебных крошек держатся. Наподобие такой мухи сухлер у меня за ухом.

Недавно чуть-чуть не вылетел я по сокращению штатов из-за своего театрального беспокойства. Подошла бабенка к прилавку за товаром, а я кончаю в уме второе действие, выдумываю под занавес один лозунг: мимо роту суется, а в настоящую плоть не облекается, будто мыльный пузырь, — сорочка есть, а нутро из воздуха. Баба чего-то спрашивает, а я гляжу на нее и губами подбираю подходящие словечки. Стояла-стояла баба, да как возопила:

— Чего ты, как лошадь сено, жуешь губищами? Давай товар! Жди вас тут, а у меня щи упревают без соли. В перекатив к вам придешь — настоишься без очереди! Небось, в частном заведении не такое обращение с покупателем: там в дугу приказчик, здрасте, пожалуйста, наше вам с кисточкой. Дьяволы вы такие! Лодыри! Ишь, рожато отливает глянцем, ровно все масло сожрал в лавочке! Подавай фунт соли.

Разошлась невежественная женщина свыше меры, а я в чувство прийти не могу, забывать начал не только что лозунг, а и на конце что уставлял второго действия, ловлю внутри себя, а оно, как напуганный заяц, в поле убегает.

И ляпнул я сам не знаю отчего:

— Нет у нас соли! Вся вышла!

Баба в прискокку от злобности. Соли у нас десять кулей в подвале, и под носом у меня и у бабы — ларь. Баба на соль перстом и за управляющим. Скандал. Меня управляющий некоторыми выражениями почувствовал и вывел из себя, я ему и намекни о прошлогодней ревизии, — нашли у него пять кругов русско-швейцар-

ского сыру со слезкой в квартире. Будучи делегатом от месткома, друг мой рабкор Дышко рассказал мне это. Газеты только не напечатали.

— Погоди ужо,— воскликнул я после его некоторых выражений,— выставлю тебя в комедии! Сыроед!

А он, красный от затылка через голову в под рубашку, говорит:

— Выставляй, мазилка! Вот сокращать будут, я тебя разрисую в комиссии за подрыв советской кооперации! Пи-са-а-тель! Лучше бы на весы глядел! Да знаешь ли ты, мечтательная натура, еще не бывало на свете ни одного писателя из приказчиков, и фамиль у тебя совсем не писательская: Куль-куль-ков. Под стать вагоновожатому или сторожу!

Я усмехнулся на него презрительным манером и погладил кружок русско-швейцарского сыру на прилавке в насмешку. Он поплевал и отошел. Помаленьку все обошлось: он трудится по сырам, я своими сочинениями хочу выйти в люди и переехать поближе к театральным писателям в город Москву для общего услужения трудящихся.

Привычка есть вторая натура, сказано у нашего баснописца и кавалера Красного Знамени Демьяна Бедного,— слышал его на полковом митинге на фронте и сочинения которого завсегда подкрепляют во мне революционный дух против всякой контры и Атланты буржуев. И я так думаю.

Денно и ночью сочиняя свои пьесы,— оных имею достаточно. В настоящее время имею следующие пьесы, приспособленные не только для больших театров, но и к постановкам в клубах. Революционно-санитарно-просветительная пьеса «Багратион Буреносов» носит характер заболевания тяжелыми венерическими болезнями с медицинской точки зрения. Ее вам для пробы и посылаю. Имеется из военной жизни восемь: «Красная пушка», «Жеребец Буденного», «Сашки-Канашки», «Белые прохвосты», «Взятие деревни штыковой атакой», «Миноносец Троцкого», «Саранча над степными просторами» и «Как бандиты попали в лапы доблестным защитникам речки Чигунки». И много других содержательных салонных пьес. Посему, глубокоуважаемый товарищ заведующий, с получением сего письма прошу не отказать и сообщить мне по приложенному адресу на нижеследующие вопросы:

1. Желательно ли вам иметь нового театрального писателя на русском языке?

2. На каких условиях принимаете театральных писателей, т. е. вознаграждение? Не трудящийся да не принимает пищи,— сказал один наш вождь, фамилия его позабыл. Да вы лучше меня знаете: у вас в Москве, поди, все вожди с вами за руку и в ресторашку там и посурьезней куда.

3. По строчкам или по листам платите театральной литературе? Ежели по листам, то какой величины листы? Ежели по строчкам, какие писать строчки?

4. Лист считать с одной стороны или с двух сторон? Каким образом переводите на деньги, скажем, не по ~~вине~~ писателя, недописана когда строчка? Не мне вас учить, знаете, бывает надобно писателю одного героя оставить на своем месте, хотя бы на половине строчки и перевести мысленный взгляд на другого героя. Оставить их в одной строчке не полагается: будет толчея — один за другого задевают. И не только разодрать их по отдаленности требуется, а даже отлиновать точками, как баланс делают в торговых книгах. В точках хотя и ничего не написано, а писатель их ставил не зря, с умыслом. Даете ли деньги за ничего не говорящие точки?

5. Каких содержаний вам желательно иметь пиесы?

6. Присылать ли вам готовые пиесы али для знакомства сперва черновик и от всех пиес для пробы по действию?

7. Пропускать пиесы через профсоюз или же без усмотрения последнего? Могу получить, ежели хотите, печать самого Починковского агитпропа. Ребята меня там знают. Недавно открывали школу для подготовки советских маслоделов, так я от агитпропа читал зажига- тельный водевиль в одном действии «Чье масло лучше — трудовое или загранично-буржуазное?» Смеху было, как в балагане. «Известия Починковского Совдепа» про- печатали на четвертой странице в газете выдержки из водевиля. Отказу мне в печати не будет!

8. Желательно ли вам вообще покупать пиесы от провинциальных пролетарских писателей? Могу указать еще другого пролетарского писателя в Починках — Дядю Сашу — пселдоним Макара Чижичкина — банщик он, писатель вострой нащет частушек и на гармонье играет и сам свои частушки поет.

9. Когда пьесу выпускаете, то как высылаете деньги — по почте или по телеграфу, или надобно приезжать самому с удостоверением со службы? Может, одного партбилета за глаза?

10. Через сколько дней узнаете годность пьесы по содержанию и по постановке?

11. Сколько недель пьесы лежат в цензуре?

12. Не маетесь ли вы касательно бумаги? Рядком с Починками у нас есть бумажная фабрика,— и там ребята свои. Я для своих пьес какую хочешь получу бумагу.

На все мои вопросы прошу описать полностью. Еще один вопрос: на чей счет пересылаются театральные пьесы? При этом мой адрес: город Починки, улица Рабочего Удара (по всей улице, кроме меня, живут нэпачи-буржуи, во всех домах лавки частных,— готовлю пьесу по этому случаю, уезисполкомцы будут просить не ставить, а я поставлю!), товарищу Кулькову (дома не надо, мы тутешние сызмалетства).

Адрес этот посылаю вам, ежели зачислите вашим постоянным писателем театральной литературы. Когда же не сойдемся на общей платформе, пишите мне так: Починки, вокзал, Жуковой, до требования. Жукова — моя жена. Меня все знают, ее никто. А город у нас судачливый, завистный. Почтальон все городские секреты знает. На самоваре, говорят, отпаривает конвертики и вызывает все. На вокзале спешка — некогда. Из вагона прямо под решетку, до требования поступит. Засмеют невежественные личности за отказ мне в постоянном писателе театральной литературы, ежели писать прямо на квартиру. Жена моя втихомолку и получит: недалеко мы от вокзала живем, духом сбегает на вечеру. Посматривать в горести оба будем. Сам я схожу в село Заднее — сорок пять верст от нас, да там и сдам на почту свои пьесы, ежели пробной потрафлю, чтобы потом весь город ошарашить, когда расчихают меня в столице.

Пишу чересчур откровенно потому, как хлебаем мы, можно сказать, из одного котла кашу и понимаем друг друга, не в пример прочим, с одного слова. В случае, ежели обратился не по адресу, прошу переслать пьесу в другие места али сходить туда и намекнуть на принятие меня к представлению. Надеюсь — похлопочете, товарищ, за своего брата писателя. Прошу скорого ответа

и от себя личных указаний с совершенным почтением

Питирим Кульков,
пролетарский писатель,
приказчик Починковского кооператива,
партбилет № 130008.

Повторяюсь, пробная пиеса моя о сифилисе диктует предосторожности трудящихся и служит богатым материалом с медицинской точки зрения как показательная пиеса. Прошу сообщить, какие учреждения, кроме вашего, покупают новые салонные пиесы, их названия и адрес. С сего дня начинаем вести дружественную переписку. Ежели на лето сдумаете прокатиться ко мне, приму с почтением. В Починках жизнь дешевая: недорого вам обойдется.

Еще раз Кульков».



ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ

Дом был каторжный. Из-под бывшей гостиницы с номерами. В восемнадцатом расстреляли хозяина, тогда же налезло в дом разного люда во все четыре темных этажа. Потом всех выселили. А за каждым выселяемым поехало прежнее гостинное имущество — кровати, диваны, платяные шкафы, стулья. От полного вещами в набивку дома осталось негодящее.

Потом выломали перегородки в подвальном этаже для цейхгауза, — и в остальные этажи нагнали Красную армию. Четвертый этаж захватили раньше того анархисты и вывесили на козырьке дома черное знамя.

Когда пришло время свертываться черному знамени, вывезли анархистов в черных автомобилях с прорешками вверх по Малой Лубянке, а флаг дворник подостлал под тюфяк для мягкости. Ушла Красная армия в оренбургские степи, восстановили из чуткой фанеры перегородки в подвале, пустой дом заняла Центропечать своими голодными служащими.

Сменяя друг друга, жили в доме пищевики, железнодорожники, ассенизаторы, театральные студии, вузов-

цы, венгры, ассоры, и, наконец, сколотилось жилтоварищество.

Дом живет и посейчас. Висят на трех площадках по желтому картону крупно написанные «Правила общежития» и указуют заботливо и твердо образцы веры и кротости.

«Внимание, граждане!

1. По всем этажам тихий ход.

2. В коридорах громко не говорить, не сморкаться, не бегать, не собираться гуртом, молочниц не допускать, скандалы и драки запрещаются вплоть до выселения.

3. Собак и кошек без хозяина не выводить. Уборку загрязнения пола после них производить самим. Лежать собакам и кошкам в коридоре нельзя, а также лаять и мяукать. В номерах собак не привязывать в отмену вытья и беспокойства бессобачным гражданам.

4. Столы, диваны и прочую домашнюю утварь в коридоры не выставлять за малой проходимостью коридоров. Особливо сундуков и корзин с вещами во избежание необеспеченности воровства от разных темных элементов, проживающих в доме. Поганые ведра не скрывать у чужих дверей и помои на пол не плескать. Семечков не есть.

5. Не выметать из номеров мусора, а каждому иметь свою мусорницу. Дети чтобы не ползали по коридорам, и не водили хороводов, и груд песку не наваливали. Для всего этого есть правительственные детские площадки на уличных площадях и в садиках.

6. На стенах, на дверях и на косяках ни карандашом, ни пером, ни углем, ни кирпичом, ни прочими чернильными принадлежностями матерных разговоров не высказывать и не похабничать стихом.

7. Лампочки под потолком не отвинчивать и не уносить, будто свои.

8. Гостей к себе пускать с оглядкой и следить за ними во время прохождения вон. В случае пропажи вещей ответственные ответственные съемщики, а не гости.

9. Посудины с ночи нести в закутанном положении для охраны встречных от неприятности.

10. Нагишом в коридор не выходить. Иметь на себе достойное одеяние без ложного стыда трудящихся.

11. Калоши снимать на лестнице и нести их в руках, а также не встряхивать зимой снежные шубы и шапки. Кто же ходит в больших сапогах, тому мыть сапоги в подъезде для того в поставленной там кадушке. Кто же носит валенки, обметать опять же в подъезде дворницкой метлой.

12. Чадить пищей только на кухне. На сале желательно не готовить. Самоваров в коридоре не разводить, а разводить их под черной лестницей. Пожар будет относиться на счет злоумышленников и ротозеваев.

13. Внутри номеров не мыться, как в бане, не стирать, кроме малой стирки; шерсть не раздирать для матрацев и пухом подушечным не пушить. Вообще остерегаться санитарной грязи, отбросов и пыльного воздуха. Всяких животных и мелких насекомых по стенам не пачкать. Обои не обдирать по своим надобностям. Сырость выводить просушкой. В столярные двери для вешалки корабельных гвоздей не вколачивать. Помалу двухдюймовые втыкать с осторожностью.

14. На полу не скакать неразумно, чтобы внизу не свалился потолок другому товарищу на воротник. И тебе, при блюдении сего правила, не свалится с верхнего этажа то же самое.

15. На гармониях играть с восьми утра до полуночи. Ни в какое другое время нельзя. Песни петь в те же часы. Пирушки устраивать с разрешения домоуправления и с опроса всех живущих по коридору. В провода по электричеству булавок не втыкать по случаю короткого тока, замыкающего электричество и вызывающего пожарную опасность магистрали, отопления и канализации. Электрические согревательницы чаю, утюги и прочие машины штрафуются, а виновники наказуются.

16. В полночь и за полночь комендант дома имеет законный вход в номера для проверки документов, нет ли непрописанных ночевальщиков, афонских вечеров, разврата проституцией, бандитизма и санитарного недосмотра.

17. Отопительные краны не перекручивать для регулирования теплой атмосферы, а лучше их совсем не трогать, чтобы не сломать, а в слом не фыркнула влага и не заморозила сеть холодная погода.

18. На подоконниках дров не рубить.

19. Не оставлять номера при выходе на кухню без запора во избежание занятия их другими жильцами.

20. Пища на кухне готовится при закрытых дверях с раскрытой форточкой, дабы избежать удушения паром, жаром и другими газами. Замечено: некоторые трудящиеся товарищи, увиливая от кухонных взносов, сговариваются между собой, выносят из одного номера на полкоридора горшков и занимают плиту одним номером. Задерживать таких гражданочек при переноске с умыслом пищи к своим соучастникам и стыдить на общем собрании словесно, а в домоуправлении бумажно.

21. Женский шум и всякая бранчливая мативировка на кухне преследуется. За драки и сильный разговор лишаются пользования кухней и правые и виноватые.

22. Чужих горшков не уносить под видом своих, а также ножей и вилок. Будем обыскивать поголовно.

23. Не перекидывать с чужой сковородки на свою продуктов. В еду друг к другу не плевать и в чайники не сыпать разных гадостей.

24. Дверкой от плиты не щелкать. А чтобы не обжигаться, отводить с тряпкой дверку в сторону, куда она отводится.

25. Дрова в плиту кладут два раза в день. Подкидывать посторонним лицам, кроме уборщицы, не полагается. Кто желает усиления жара для неупревающей от казенных дров пищи, приносит свое топливо из номера.

26. В десять вечера кухня замыкается на крючок. Все оставленное, ежели будет цело, получается с утренним отпором помещения.

27. Из мужской уборной в женскую мужчинам не забираться, а женщин не хватать в испуг.

28. В уборных бумагой толстой не пользоваться, избегая засорения труб. Туда же не кидать разбитую посуду, стекла, кости, разное тряпье, картофель, морковь, огурцы и помидоры.

29. В умывальную раковину не выливать посудин ни детских, ни взрослых.

30. Выходить на утреннюю себя чистку водой в приличном зрелище, а то некоторые трудящиеся выходят босиком и подтяжки висят, как крендели на недозволенных и конфузных в общежитии местах тела, спереди и сзади.

31. При ночных облавах спокойно все показывать и не укрываться от начальства.

32. Вызывать из каморки дворника не стуком по стеклянным дверям и шевелением оных, а в звонок на проволоке.

33. Женщин Трубного и Цветного поведения дворнику выгонять, а вместе с ними и тех, кто приводит. Это зимой, летом все равно в окошко залезут.

34. У незнакомых дворнику спрашивать документ, в какой номер идет, не пущать сразу, а вызывать хозяина через какого-нибудь своего проходящего мимо жильца, не оставляя незнакомца одного в подъезде, придерживая его незаметно за рукав и изловчаясь в случае чего схватить.

35. При драках, пьянках, картежной игре вызывать дворника и оказывать ему помощь всему мужскому составу коридоров. Женщинам по слабосилию и легкой комплекции лучше быть свидетелями и не участвовать в столкновениях драчущихся.

36. Вносить в дом все можно, выносить ничего. Дворнику не задерживать только женские пустые кошёлки для провизии. Захватывать до разбирательства носильное платье, скрытые узлы и закупоренные помещения.

37. Взносы за все вносить аккуратно, строго, не утаивая платежей единиц. Безработными не притворяться. Домоуправление все равно не поверит.

38. Деньги расходываются по мере поступления от аккуратных плательщиков на хозяйственные недочеты. Неплательщики выселяются в летнее время на волю; зимой никаких дел противу них не возбуждается, а платить надо.

39. В советские праздники следить друг за дружкой, чтобы не стирали буржуазные бабы на зло пролетариям.

не подчеркивали худым платьем по-будничному презрения рабочим классам и партейцам, чтобы не было на лицах у них насмешки, а одна у всех праздничность,— веселие, ласковость и никакого уныния. Красные флаги дворнику развевать у крыльца в полный разворот!

40. Дом жилтоварищества на товарищеской, гражданской и народной солидарности управляется, как то: общим собранием, комендантом, рабочей фракцией, комъячейкой, правлением, ревизионной комиссией, топливной подкомиссией, делегатами от коридоров, ремонтной комиссией, домово́й комиссией, председателем расценочной комиссии, секретарем домоуправления — и всеми, вместе взятыми трудящимися массами по номерам и по коридорам. Да здравствует жилтоварищество «Красная смычка»!»



ПРИМЕЧАНИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые опублик. в кн.: Евдокимов И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1: Зеленые горы: Повести и рассказы. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

Автобиография готовилась специально для этого издания осенью 1927 г. 29 октября Евдокимов сделал запись в дневнике: «Автобиографию написать гораздо труднее, чем рассказ. Еще более противно, если как-то проскочит важничанье».

С. 26. *Дуван* — добыча, дележ заработков (арханг.).

С. 27. *Сямский Богородице-Рождественский монастырь* — мужской заштатный монастырь в 65 верстах от Вологды. Основан в 1524 г. В монастыре находилась чудотворная сямская икона Рождества Богоматери, явившаяся «бывшему в расслаблении крестьянину Ивану Родионову». Монастырь владел землями, рыбной ловлей, имел богатое и благоустроенное хозяйство, при монастыре существовала ярмарочная торговля, дававшая ему значительный доход (см.: Православная богословская энциклопедия. Т. 3. СПб., 1902. Стлб. 746—747).

Благовещение — христианский праздник, отмечающийся 25 марта (7 апреля).

Петров день — праздник святых апостолов Петра и Павла, 29 июня (12 июля).

Рождество Богородицы — христианский праздник 8 (21) сентября.

С. 28. *Четы-Минеи* — церковные книги, содержащие жизнеописание святых в порядке празднования их памяти, богослужебные песни, поучения, каноны, молитвы на каждый день месяца и на весь год на церковнославянском языке. Появились в XII в.

«Кормчий» — религиозно-нравственный воскресный народный листок, издававшийся в Москве в 1888—1916 гг. С 1890 г. — еженедельный иллюстрированный журнал для религиозно-нравственного чтения.

«Палестинский вестник». — В печатных каталогах, а также в генеральном каталоге Гос. библиотеки им. В. И. Ленина СССР журнала с таким названием не зафиксировано. Существовали издания: «Палестинский листок» (СПб., 1899); «Православный благовестник» (М., с 1893 г.); «Православный палестинский сборник» (СПб., с 1881 г.). Возможно, это ошибка памяти автора.

«Троицкие листки» — духовно-нравственный народный листок. Издание Св.-Троицкой лавры. 1890—1914 гг.

«*Биржевые ведомости*» — газета умеренно либерального направления (Пб., 1880—1917, с 1885 г. — еженедельная). Помещала биржевую коммерческую информацию.

«*Сельский вестник*» — еженедельное издание, бесплатное для волостных правлений (Пб., 1881—1916). Издавался при редакции «Правительственного вестника». В самостоятельное издание преобразован в 1905 г.

С. 34. *Тотьма* — город в Вологодской области на реке Сухоне. Известен с 1137 г.

С. 35. *Буквально не расставался с зеленоватыми книжечками издательства «Знание»...* — «Знание» — книгоиздательское товарищество в Петербурге (1898—1913). С 1902 г. «Знание» возглавлял Горький, объединивший вокруг издательства демократических писателей-реалистов. С 1904 г. выпускались «Сборники товарищества «Знание»» (вышло 40 книг).

С. 37. *Брюханов* Николай Павлович (1878—1943; партийный псевдоним — Андрей Симбирский, литературный псевдоним — Н. Павлов) — с 1896 г. принимал участие в революционном движении, член РСДРП с 1902 г.; с 1923 г. нарком продовольствия СССР, с 1926 г. нарком финансов СССР.

С. 38. *Время министерствования Кассо...* — Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — известный юрист, министр народного просвещения Российской империи в 1910—1914 гг.

С. 39. *Платонов* Сергей Федорович (1860—1933) — историк, с 1899 г. профессор Петербургского университета, с 1908 г. член-корреспондент Петербургской академии наук. Был председателем Археографической комиссии, директором Пушкинского Дома и библиотеки АН СССР. Умер в Самаре, в ссылке.

Шляпкин Илья Александрович (1858—1918) — историк литературы, с 1888 г. читал лекции в Петербургском университете, с 1900 г. профессор, с 1907 г. член-корреспондент Академии наук.

Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, исследователь и популяризатор античной литературы, переводчик. В 1885—1921 гг. профессор Петербургского университета, с 1921 г. профессор Варшавского университета.

Введенский Александр Иванович (1856—1925) — философ, крупнейший представитель русского неокантианства, председатель Санкт-Петербургского философского общества, профессор логики и психологии Петербургского университета.

Спицын Александр Андреевич (1858—1931) — археолог, с 1892 г. сотрудник Археологической комиссии. Составил и издал археологические обзоры многих губерний России, датировал многие памятники.

С. 41. *Шмидт* Отто Юльевич (1891—1956) — математик, астроном, геофизик, исследователь Арктики. В 1921—1924 гг. заведующий Госиздатом РСФСР. С 1935 г. академик, в 1939—1943 гг. вице-президент АН СССР; Герой Советского Союза (1937).

КОЛОКОЛА

Впервые роман был напечатан с подзаголовком, предложенным А. К. Воронским, «Из хроники 900-х годов» в журнале «Красная новь», 1926, № 2, с. 59—73; № 3, с. 88—110; № 4, с. 80—101; № 5, с. 72—93; № 6, с. 82—111. Отдельные главы публиковались в журнале «Октябрь», 1926, № 1—2, и др. Первое издание: М.; Л.: ЗИФ, 1926 (560 с.). Роман издавался в 1927 г. (2-е и 3-е изд.), в 1929 г. (4-е изд., доп.), в 1930 г. (5-е изд., доп.), в 1932 г. (6-е изд., доп.), в 1935 г. (7-е изд.). В 1930 г. роман в сокращенном виде вышел в «Дешевой библиотеке ЗИФа» (1-е и 2-е изд.). В сокращенном виде роман был переиздан в 1983 г. в Архангельске (составление, вступительная статья и примечания В. В. Гуры).

Роман печатается по первому изданию, которое, так же, как второе и третье, свободно от последующих искажений и сокращений. Начиная с четвертого издания, «Колокола» подвергались значительным искажениям. И. В. Евдокимов рассказывал в дневнике, что он убрал из романа все «грубые слова». «Книга будет совершенно чиста и непорочна», — писал он с иронией, понимая, что из романа ушли и многие колоритные подробности (см. записи от 20 и 21 октября 1927 г.). Исправления, обедняющие текст, вносились во все последующие издания, и в то же время там появлялись необязательные дополнения. Решение о сокращенном издании романа, принятое весной 1929 г., было для автора, переживавшего острый творческий кризис, компромиссным, он пошел на это потому, что нуждался в заработках.

С. 42. *Мостили улицы там фашинником...* — Фашина — насыпь, вязанка хвороста, прутьев, которыми укрепляли топкие места.

С. 43. *Первого мая... завелось так в недавнее время — выходить на главную улицу и показывать кому следует рабочее изделие — красный флаг...* — В Российской империи праздник 1 Мая впервые отмечался в 1890 г. в Варшаве, в 1891 г. — в Петербурге. В 1895 г. в нем впервые приняли участие рабочие Москвы. С 1901 г. празднование 1 Мая становится повсеместным явлением.

С. 44. *Белела часовня белорижцев...* — Легенда, рассказанная Евдокимовым о часовне белорижцев, перекликается с житиями вологодских святых, основателей церквей и монастырей в Вологодской губернии, в частности с легендой о выходах из Новгорода, осно-

вавших монастырь рядом с поселением чуди и встретивших сопротивление местных племен. На крыше часовни, где молились новгородцы, появился воин в белой одежде на белом коне, который отразил нападение врагов. Чудские племена приняли христианство, подвигнутые на это чудным явлением воина (см.: Вологодский сборник статей церковно-историко-статистического содержания. Вологда, 1869).

Один Никола Мокрый качался белым кораблем вдалеке... — В описаниях озера Евдокимов основывался на собственных воспоминаниях об озере Кубенское: «В 125 верстах от Вологды на Кубенском озере, на маленьком Каменном острове расположен Спасо-Каменный монастырь, в котором работал великий художник Дионисий «со чады» (Евдокимов И. Вологодские стенные росписи. Вологда, 1922). Спасо-Каменный монастырь был основан в XIII в., в 1773 г. истреблен пожаром и не был восстановлен, в 1801 г. в него была переведена Белавинская пустынь (См.: Суворов Н. Описание Спасокаменного, что на Кубенском озере, монастыря. Вологда, 1893).

Высыпала тогда мелкая рабочая челядь к разливам... — Челядь — здесь: домочадцы, дети.

С. 46. *Разглуска* — потеха, забава (волог.).

С. 47. *Кашля и того нет знику...* — Нет знику — не показываться, не давать о себе знать (сев.-двин.).

С. 50. *До Петровок... гостил тумин...* — Петровки — пост перед Петровым днем 29 июня.

С. 51. *Журжа* — любовница, гулящая женщина (волог., пермск.).

С. 57. *Ширкунец* — большой упряжной бубенчик (вост.-русс.). У Евдокимова был неосуществленный замысел романа «Бубенцы и ширкунцы».

С. 60. *Шаять* — гореть без пламени, тлеть, плавиться (арханг., волог.). Горький в письме к Евдокимову от 13 мая 1926 г. замечал: «Не употребляйте местных речений «шаять» и т. д. Надобно писать русским, а не мордовским языком. Слово «шаять» — мордовское».

С. 62. *Кожулей* — худой, изможденный (калуж.); скрытный, зло- вредный (волог.).

С. 71. *Крестовоздвиженская ярмарка* — происходила в день праздника Воздвижения Креста Господня 14 (24) сентября, который отмечается в память обретения царицей Еленой, матерью римского императора Константина в IV в. креста, на котором, по преданию, был распят Христос.

Покров — православный праздник, отмечаемый 1 (14) октября.

С. 73. *Подчеревок* — подчревьё, подбрюшьё, от пупа до таза (вост.-русс.).

С. 75. *Лычей* — листья и стебли, ботва огородных овощей (волог.).

С. 77. *Шишлюн* — копун, медлительный (волог.).

С. 83. *Сплостившийся сак* — сплюснвшееся, поношенное широкое и длинное женское пальто (*устар.*).

С. 84. *Заговенье* — последний перед постом день, в который христианам разрешается есть скоромное.

Введение — праздник православной церкви в память события раннего детства Пресвятой Девы Марии — введения ее во храм. Отмечается 21 ноября (4 декабря).

Федор Студит — день памяти 11 (24) ноября.

С. 92. *Обсоюзка катанька* — обшивка валенка по краю.

С. 94. *Кокотышки* — крупные, центральные суставы пальцев (*волог.*).

С. 95. *Симеон Столпник полгода на одной ноге стоял...* — Симеон Столпник (356—459) — знаменитый христианский аскет. В 423 г. изобрел род подвижничества, который называется столпничеством: обрек себя на постоянное пребывание на площадке, сооруженной на столпе. Симеон Столпник подвизался на столпе несколько десятилетий, непрерывно предаваясь молитве. Существует легенда, согласно которой дьявол, принявший обличье ангела, показался Симеону на огненной колеснице. «И поднял Симеон правую ногу на огненную колесницу, но вместе с тем осенил себя крестным знаменем. Тогда дьявол с колесницею исчез как пыль... А Симеон, познав бесовское прельщение, раскаялся и ногу свою, коею хотел ступить на бесовскую колесницу, казнил тем, что стоял на одной той ноге целый год» (Житие преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника. М., 1901. С. 12).

С. 98. *На старинных кафлях...* — Кафля — устаревшая форма слова изразец, кафель. Евдокимов записал в дневнике отзыв одного из первых читателей главы «Голубой дом» поэта И. И. Доронина: «Очень хорошо. Но что такое кафля?» О случайно сохранившихся в далеком, замкнутом городке Сольвычегодского уезда памятниках старинного кафельного дела, об особенностях северных «цветистых и наивных» кафлей, украшенных в стиле XVII в., Евдокимов писал в книге «Старинные красноборские печи» (Вологда, 1916).

С. 106. *Скоро павжнать пора...* — Павжнать — обедать позже обычного, в три-четыре часа дня (*костр.*).

С. 108. *Лачет* — лакает (*арханг., новг., ср.-урал, перм.*).

С. 109. *Читала любимого своего писателя Монтепена...* — Имеется в виду книга «Mémoires de Madame de M.» (СПб., 1829), мемуары маркизы Ф. А. Монтеспан (Montespan; 1641—1707), фаворитки Людовика XIV.

С. 112. *Кросны* — ручной ткацкий станок (*волог.*).

С. 120. *Приступы почечуя* — приступы геморроя (*устар.*).

С. 127. *Фарфоровые чашки с позолотой фабрики Гарднера...* — Франц Гарднер — английский купец, с середины XVIII в. работал

в Роксн. В 1766 г. основал фарфоровую фабрику в с. Вербилки, которая в 1891 г. перешла в собственность М. С. Кузнецова.

С. 130. *Похищение сабинянок* — похищение по приказу Ромула, одного из мифических основателей Рима, девушек из соседнего племени сабинян. Ромул женился на плененной им сабинской царевне Герсилии. Похищение сабинянок привело к войне римлян с царем сабинян Титом Тацием. С помощью Герсилии и других похищенных женщин Ромул примирился с сабинянами и разделил власть с сабинским царем.

С. 134. *Ильин день* — праздник православной церкви, отмечаемый 20 июля (2 августа).

С. 149. *Панасадила* — искаженное: паникадила, люстры, церковные свечники, подвесные светильники о многих свечах.

Говитан близко, а смерть еще ближе... — Говитан — шнурок, ленточка, на которой носят крест (волг., сев.-двин.).

С. 154. *Святой четверг* — святой четверг, четвертый день на Страстной неделе.

С. 160. *Егор книг прочитал ондрец...* — Ондрец — рыдван, большая развалистая телега, тарантас, долгуша (рязан., тамб.); другое значение — сарай для хранения сена (арханг.).

С. 177. *Адельгеймы* — братья Роберт Львович (1860—1934) и Рафаил Львович (1861—1938), актеры, народные артисты РСФСР (1931). Выступая в классическом репертуаре во многих городах, способствовали поднятию сценической культуры театров провинции. О гастролях в Вологде см. воспоминания Р. Адельгейма в кн.: Сперанская Ю. Братья Адельгейм. М., 1987.

С. 182. *Бёклин Арнольд* (1827—1901) — швейцарский живописец, представитель символизма, стиля модерн. Сочетал символику с натуралистической достоверностью (например, «Остров мертвых», 1880).

С. 209. *Поблескивали золотыми переплетами двенадцать томов «Истории израильского народа» Гертцля и три коренастых тома... «Жизнеописание великих людей из евреев»...* — Имеются в виду книги: Гретц Г. История евреев от древнейших времен до настоящего времени / Пер. с нем. Под ред. О. Инбера и А. Гибша. Т. 1—12. Одесса: Изд. Шерман, 1903—1908; Когут А. Знаменитые мужчины и женщины евреев в истории культуры человечества: Биографические и характерные очерки прошлого и настоящего времени. Роскошно иллюстрированное издание. Настольная книга для всех классов и наций. Вып. 1—3. Одесса: Изд. Л. Лившиц, 1901.

С. 215. *Мордовцев* Даниил Лукич (1830—1905) — русский и украинский писатель, историк. В романе «Знамение времени» (1869) отразил настроения представителей умеренного народничества. Роман был запрещен цензурой и изымался из библиотек.

С. 222. *Никола Зимний* — день смерти святого Николая 6 (19) декабря празднуется как день его памяти.

С. 240. *Ударики шрифта в верстку...* — Речь идет об инструменте, применяемом при ручном наборе текста.

С. 299. *Кротегусные заросли...* — *Crataegus* (лат.) — боярышник. *Золотая фелонь* — верхняя одежда, риза священника.

С. 304. *Царский дядя Николай Николаевич...* — У царя было два дяди: Николай Николаевич Старший (1831—1891) — великий князь, генерал-фельдмаршал, генерал-инспектор по инженерной части и кавалерии, главнокомандующий Дунайской армией во время русско-турецкой войны, и Николай Николаевич Младший (1856—1929) — великий князь, генерал-инспектор кавалерии, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа (в 1905—1914 гг.), во время первой мировой войны верховный главнокомандующий войсками (смещен в августе 1915 г.), наместник на Кавказе. В марте 1919 г. эмигрировал.

С. 340. *Журнал «Дело»* — ежемесячный научно-литературный журнал (Пб., 1866—1888); до 1884 г. сохранял демократическое направление.

Панагия — небольшая круглая икона Богородицы, которая, как знак архиерейского достоинства, носится епископами на груди.

С. 342. *Вошма* — река в Вологодской области, правый приток Ветлуги.

С. 348. *Погром пришел в коронацию, 14 мая...* — Император Николай II вступил на престол 1 января 1896 г., манифест о коронации был издан 14 мая того же года.

Замки у ренсковых погребов... — Погреба виноградных вин (ср.: ренское вино, рейгвейн, вино с Рейна).

С. 355. *Куры плимутроки* — мясо-яичная порода кур, выведенная в США в XIX в. (англ.).

Руга — земля и угодья, отведенные на содержание церковного причта. Ружная церковь — без земли, на руге (устар.).

С. 356. *Починил зад на лафтаки...* — Лафтак, лахтак — лоскут (волог.).

С. 380. *Крещеная караимка...* — Караимы — народ, небольшими группами живущий на Украине, в Литве, в Польше. Сущность религиозного учения караимов заключалась в отрицательном отношении к церковным обрядам. В царской России караимов насчитывалось до 20 тысяч. Им были предоставлены законом значительные по сравнению с евреями права.

С. 389. *В тот год российская земля запела песенку: «Пой, ласточка, пой...»* — Автор музыки и слов Ф. К. Садовский.

Никола Вёшний — 9 (22) мая, праздник православной церкви, который во многих местах празднуется как приходский.

С. 399. *Архирей стоял... под страуфокомилковым золотым лицом на хоросе...* — Страуфокомилковое — страусиное. Струфь, строус, струс, струф, строион, строфокамил (*struthio camelus* — лат.) — страус.

С. 430. *«Счет верен»* — написан Евдокимовым как отдельный рассказ в начале 1924 г. «Лучшая по живописи вещь, которую я когда-либо написал. Вещь жуткая и сильная... В ней горячее дыхание революции». Рассказ не был оценен: «Сказали, что вещь контрреволюционная, что ее нельзя напечатать, что в ней звериное лицо революции». В. Правдухин намеревался опубликовать рассказ в «Красной ниве», но он ушел из журнала. Рассказ опубликован не был.

С. 441. *Канун Георгиева дня* — весенний праздник святого Георгия, христианского мученика, воина, драконоборца, отмечался 23 апреля (6 мая).

Читали паремии перед золотым иконостасом... — Паремия — чтение из Святого писания, Ветхого и Нового заветов, произносимые в православной церкви на вечернем богослужении (главным образом накануне праздников).

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Замысел романа родился в начале 1927 г. «Современный роман теперь стал главной моей задачей... Надо дать героическое гнездо коммунистов... Дать их надо не благонамеренными и святыми, а настоящими людьми... Так и мелькают они передо мной. У меня было множество встреч с коммунистами в Вологде, Москве», — записал Евдокимов в дневнике 8 февраля 1927 г. Роман был написан в марте 1927 г. в Сергиевом Посаде. Издательство «Земля и фабрика» «Чистые пруды» отвергло. Евдокимов привел в дневнике резкий отзыв В. Нарбута о романе: «То, что ты написал плохую, агитационную вещь, это явление социальное, это потому, что ты состоишь в упадочнической группе (имелся в виду «Перевал». — О. А.), принадлежишь к упадочному слою общественному» (запись от 5 мая 1927 г.).

Впервые роман был опубликован в издательстве «Пролетарий» (М.; Харьков) в октябре 1927 г. тиражом 5 тысяч экземпляров. Так как «Чистые пруды» были, по выражению Евдокимова, критикой «разруганы и идеологически заподозрены», то книга больше не переиздавалась. Печатается по изданию «Пролетария».

С. 447. *Пароход у Комиссариатской набережной* — ныне набережная Максима Горького (с 1935 г.). Название Комиссариатская было дано по кригс-комиссариату (интендантству), находившемуся на этой набережной.

19 июня 1927 г. Евдокимов писал о книге «Чистые пруды»: «В ней я отдал дань моему прошлогоднему превосходному путешествию по Оке и Волге». Он так описывал это путешествие в дневнике: «Проехал несколько тысяч верст, многих наглотался впечатлений... Пока еще Россия больна от войны и гражданской баталии, она нищая, пароходство полустойт, берега пусты на реках, ибо нет никакой работы ни на Волге, ни на Оке. Но красоты, красоты столько, что нельзя ни с чем сравнить» (3 августа 1926 г.).

С. 453. *Душистый подмаринник* — просторечье, правильно: подмаренник. Род трав и полукустарников семейства мареновых.

С. 454. *Васильсурск* — поселок городского типа в Горьковской области, пристань на Волге при впадении в нее реки Сур. Основан в 1523 г., до 1927 г. — город. Евдокимов бывал в этом городе. В мае 1926 г., обдумывая план работы над романом «Заозерье», он писал в дневнике: «Васильсурск даст нужные краски».

С. 471. *Книга Жука...* — Имеется в виду книга: Жук В. Н. Мать и дитя: Гигиена в общедоступном изложении. 1-е изд. Спб., 1881. До революции книга выдержала десять переизданий (последнее: Пг., 1916).

Альбом от Дациара... — В торговом доме «И. и Д. Дациар», расположенном на Кузнецком мосту, продавались писчебумажные товары.

С. 473. *Русский Николай Владимирович* (1854—1918) — генерал от инфантерии. В первую мировую войну командовал рядом армий, Северо-Западным и Северным фронтами. С апреля 1917 г. — в отставке по болезни.

Жоффр Жак Сезер (1852—1931) — маршал Франции. В 1914—1916 гг. — главнокомандующий французской армией. Активно участвовал в организации интервенции против Советской России.

Двинск — город, основанный на реке Даугаве в 1278 г. Современное название — Даугавпилс.

С. 549. *На Ильинке...* — Ильинка — с 1935 г. улица Куйбышева.

У памятника Гренадерам... — Памятник русским гренадерам, павшим под Плевной во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (скульптор и архитектор В. О. Шервуд). Установлен в 1887 г.

С. 576. *Задача Роберта Майера...* — Майер Юлиус Роберт (1814—1878) — немецкий естествоиспытатель, первым сформулировал закон сохранения энергии и теоретически рассчитал механический эквивалент теплоты.

С. 577. *Брус Краевича...* — Краевич Константин Дмитриевич (1833—1892) — физик, педагог, профессор, автор наиболее распространенного до революции учебника физики для гимназий и коммерческих училищ, выдержавшего много переизданий (1-е изд. — в 1866 г.).

Задевая попутно московского воеводу и боярина Льва Борисовича Каменева... — После Октябрьской революции Л. Б. Каменев (насто-

ящая фамилия Розенфельд; 1883—1936) был членом Политбюро ЦК, заместителем председателя Совета Труда и Оборона, председателем Моссовета.

С. 578. Бахрушинское общежитие...— Братья Бахрушины содержали больницу, дом призрения для неизлечимо больных, родильный дом, сиротский приют, дом бесплатных квартир. Последний находился на Софийской набережной. Здесь было и общежитие для учащихся девушек.

Граф Уваров Алексей Сергеевич (1828—1884) — археолог, один из основателей Русского и Московского археологического съездов.

Мытищинская вода...— Мытищинский самотечный водопровод для снабжения Москвы водой начали строить по указу Екатерины II в 1779 г. Вступил в строй в 1804 г.

РАССКАЗЫ

Рассказы в основном публикуются по кн.: **Евдокимов И. В.** Зеленые горы // Собр. соч. Т. I. М.; Л.: ЗИФ, 1928. Эти тексты автор называл каноническими (см. запись в дневнике от 29 октября 1927 г.). Однако надо учитывать, как велико было в то время давление цензуры. «Почти половина лучших рассказов из «Трифона» под ударом. Из рассказов делают мне старую деву благонравного поведения», — писал Евдокимов 27 августа 1926 г. Не только по воле автора рассказы в «Зеленых горах» подвергались значительной редактуре, когда все «сомнительное» из них было изъято. Поэтому ряд рассказов печатается по сборникам «У Трифона на Корешках» (М.; Харьков, 1927) и «Овраги» (Моск. товарищество писателей, 1927), в которых содержатся подчас более полные и художественно убедительные варианты рассказов. Сборники рассказов Евдокимова переиздавались и в 1930-е годы. Но на эти переиздания современные читатели ориентироваться не могут, в них рассказы буквально изуродованы цензурой. Так, из сборника «Закоулки» (1932) были выброшены цензурой рассказы «Казнь», «За шкафом», «Киносъемщики», «Черная гряд», «Письмо Питирима Кулькова», а в оставшихся рассказах сокращены самые живые сцены или детали. «Жалко до страдания», — писал об этих рассказах Евдокимов в дневнике 23 февраля 1932 г.

МЕДВЕДИ

Впервые: **Евдокимов И.** У Трифона на Корешках. М.; Харьков: Пролетарий, 1927.

Печатается по кн.: **Евдокимов И.** Собр. соч. Т. I. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

Рассказ написан 8 августа 1926 г. Евдокимов писал в дневнике в этот день: «В «Медведях» много поэтического, описание зимы, леса, половодья, полей. Лирика, лирика. Беда, нет революции, но, может быть, пройдет он и без революции, есть быт, жизнь, есть Россия».

С. 625. *На Спиридона* — день памяти 12 (25) декабря. Известны пословицы, связанные с этим днем: «Кому когда любо, а медведь к Спиридону-солнцевороту ложится»; «Медведь на Спиридона-солнцеворота поворачивается в берлоге на другой бок».

Взял он стервятника... взял двух овсянников... — Охотники различают несколько видов бурого медведя: стервятник — самый большой и плотоядный; овсянник — медведь среднего размера, любитель овса, малины, кореньев.

На речке Леже... — река в Вологодской области, приток Сухоны.

С. 629. *Пестун* — переоговола́лый медведь, пест — старый медведь.

С. 634. *Мазура ты, мизура...* — Мазура, мазурик — плут (*костр., яросл., олон.*); нахал, наглец, хитрый человек (*псковск., волог.*), пересмешник, зубоскал (*псковск.*); грязный, неопрятный (*калуж.*).

БОРКИ И ОВРАЖКИ

Впервые: Евдокимов И. У Трифона на Корешках. М.; Харьков: Пролетарий, 1927.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Собр. соч. Т. 1. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

Рассказ написан 9 августа 1926 г. «Пишу настойчиво, сосредоточенно, кажется, густо», — записывал Евдокимов в дневнике в этот день.

С. 639. *Перегоняли «максимы»...* — «Максим» — длинный пассажирский поезд, предназначенный для низшей социальной категории пассажиров, у которых не было денег на билет.

С. 640. *Дрыхли на тендере, под дровами...* — Тендер — вагон, сцепленный с паровозом и предназначенный для хранения воды, топлива.

КОНИ

Впервые: Красная новь. 1927. № 3. С. 125—129.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Собр. соч. Т. 1. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

ЧЕРНАЯ ГРЯДА

Впервые: Евдокимов И. У Трифона на Корешках. М.; Харьков: Пролетарий, 1927.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Собр. соч. Т. 1. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

Рассказ написан 18 августа 1926 г. Ряд рассказов, в том числе и «Черную грядку», Евдокимов предполагал опубликовать в альманахе «Недра», однако публикация не состоялась, рассказы были найдены упадочническими. «Муки, страдания за человека на земле, которые выплеснуты в моих последних рассказах, как-то не доходят, будто даже какие-то контрреволюционные рассказы получаются», — писал Евдокимов 16 января 1927 г. в дневнике.

С. 658. *Обнора* — река, протекающая по Костромской и Ярославской областям, правый приток реки Костромы.

СОЛДАТЫ КЕРЕНСКОГО

Впервые: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

Печатается по кн.: Овраги.

Евдокимов начал работу над этим рассказом в октябре 1922 г., пытался опубликовать его в газете «Московский понедельник», но его постигла неудача. Рассказ был переработан в 1926 г.

С. 661. *Дико кричал фонопор...* — Фонопор — вид телефона на железнодорожном транспорте для связи со станцией. Был весьма распространен в начале XX в.

Метлахские плашки — устаревшее название керамических плиток для полов.

ВОРЫ 12-ГО ПОЛКА

Впервые: Евдокимов И. Проселки. М.: Огонек, 1926.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

Рассказ написан 10 сентября 1926 г. «Рассказ с яркими пластами человеческой психологии» — так характеризовал Евдокимов в дневнике этот рассказ.

С. 663. *Подшил... за гашник...* — Гашник — пояс, шнурок, который продевается в верхнюю часть штанов для подвязывания.

С. 665. *Не уноси адрес на тот свет* — искаженное: адрес. Одно из значений этого слова — ярлык для отыскивания лица, словесное указание, поименование в векселе того, кому должник обязан уплатить деньги.

КАЗНЬ

Впервые: Красная новь. 1927. № 2. С. 93—98.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Собр. соч. Т. 1. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

Рассказ написан 13 августа 1926 г.

ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ

Впервые: Евдокимов И. У Трифона на Корешках. М.; Харьков: Пролетарий, 1927.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Собр. соч. Т. 1. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

Рассказ был написан 17 августа 1926 г. В дневнике Евдокимов называл его «острым, волнующим, сюжетным». «В рассказах много пола, но нет натурализма», — писал он в дневнике на следующий день. Эти слова относились и к рассказу «Офицерские жены».

ГОЛОВА

Впервые: Евдокимов И. У Трифона на Корешках. М.; Харьков: Пролетарий, 1927.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Собр. соч. Т. 1. М.; Л.: ЗИФ, 1928.

Рассказ написан 15 августа 1926 г.

ПРОНЬКИНЫ ПРОВОДЫ

Впервые: Евдокимов И. Проселки. М.: Огонек, 1926.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

Рассказ написан 16—17 сентября 1926 г.

АННУШКА

Впервые: Евдокимов И. Проселки. М.: Огонек, 1926.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

Рассказ написан 16—17 сентября 1926 г.

КИНОСЪЕМШИКИ

Впервые: Евдокимов И. Проселки. М.: Огонек, 1926.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

ЗА ШКАФОМ

Впервые: Евдокимов И. Проселки. М.: Огонек, 1926.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

Рассказ написан 16—17 сентября 1926 г. О рассказах, написанных в эти дни, Евдокимов писал в дневнике 17 сентября 1926 г.: «Я не гонюсь за смешными словами. Что губит современных юмористов? Они обрабатывают неправдоподобный анекдот и увеселяют публику броским словом, зубоверчением. Я ищу правдоподобных положений и раньше всего сюжета и образцового языка... Может быть, у меня не получается жеребьячего хохота, но у меня сатира, над которой в зависимости от воспринимающего человека можно и смеяться, и порядком гурить».

ПИСЬМО ПИТИРИМА КУЛЬКОВА

Впервые: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

Печатается по кн.: Овраги.

Рассказ написан 5 сентября 1926 г.

С. 713. *Революционно-санитарно-просветительская пьеса «Багратион Буреносов» носит характер заболевания тяжелыми венерическими болезнями с медицинской точки зрения...*— Подобные пьесы были распространены в 1920-е годы. См., например: Барадин Д. Санитарный суд над сифилитиком: Инсценировка. Верхнеудинск: Изд. Бурят-Монгольского уч. комитета, 1924.

ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ

Впервые: 30 дней. 1927. № 1. С. 68—71.

Печатается по кн.: Евдокимов И. Овраги. Моск. тов-во писателей, 1927.

Рассказ написан утром 14 сентября 1926 г. Включенные в книгу «Овраги» рассказы «За шкафом» и «Правила общежития» Евдокимов называл в дневнике «злыми изюминками» (запись от 12 июня 1927 г.).

С. 716. *Пустой дом заняла Центропечать...*— Центральное агентство ВЦИК по распространению произведений печати, созданное в конце 1917 г. на базе национализированного контрагентства Суворина-Ефимова и К°. В 1922 г. преобразовано в «Товарищество на паях контрагентства печати», которое, просуществовав около семи лет, уступило место Союзпечати.

С. 717. *Жили венгры, ассоры...*— Ассоры — искаженное: айсоры, ассирийцы. Народ, живущий в странах Ближнего Востока, США, СССР и некоторых других странах.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>О. Ю. Авдеева «Революция делается не по трафарету...» (Судьба И. В. Евдокимова в зеркале его литературного дневника)</i>	5
Автобиография	24
КОЛОКОЛА. Роман	42
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ. Роман	447
РАССКАЗЫ	625
Медведи	625
Борки и Овражки	637
Кони	652
Черная гряда	657
Солдаты Керенского	661
Воры 12-го полка	663
Казнь	668
Офицерские жены	674
Голова	681
Пронькины проводы	685
Аннушка	689
Киносъемщики	695
За шкафом	699
Письмо Питирима Кулькова	711
Правила общежития	716
Примечания	722

Иван Васильевич Евдокимов

КОЛОКОЛА

Романы и рассказы

С о с т а в и т е л ь

Ольга Юрьевна Авдеева

Заведующая редакцией *Л. Сурова*. Редактор *И. Геника*. Художник *Б. Лавров*. Художественный редактор *И. Сайко*. Технический редактор *Г. Шитова*. Корректоры *И. Фридлянд, Т. Семочкина*. ИБ № 4141

Сдано в набор 29.12.88. Подписано к печати 18.10.89. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 38,64. Усл. кр.-отт. 38,64. Уч.-изд. л. 42,4. Тираж 200 000 экз. Заказ 26. Цена 3 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8. Фотонабор выполнен в типографии им. Франциска Скорины издательства «Наука и техника». 220600, Минск, Ленинский проспект, 68. Отпечатано в типографии издательства ЦК КП Белоруссии. 220041, Минск, Ленинский проспект, 79.